

ХУЛИО КОРТАСАР

ХУЛИО КОРТАСАР

62.

МОДЕЛЬ  
ДЛЯ  
СБОРКИ



РАССКАЗЫ

**ХУЛИО КОРТАСАР**

**62.**

**МОДЕЛЬ  
ДЛЯ  
СБОРКИ**

**РОМАН**

**РАССКАЗЫ**

*Перевод с испанского*



**МОСКВА «РАДУГА» 1985**

ББК 84.7Ар  
К 69

Составление и предисловие *И. Тертерян*  
Комментарий *Б. Дубина*  
Редактор *Л. Борисевич*

## **Х. Кортасар**

К 69 62. Модель для сборки: Роман. Рассказы. Пер. с исп.; Составл. и предисл. *И. Тертерян*.— М.: Радуга, 1985.—496 с.

Настоящий сборник всемирно известного аргентинского прозаика включает его роман, созданный в конце 60-х годов и посвященный духовным поискам левой западной интеллигенции, пытающейся преодолеть отчуждение и пустоту, царящие в буржуазном обществе. В сборник вошли также рассказы последних лет.

К  $\frac{4703000000-434}{030(05)-85}$  26—85

ББК 84.7Ар  
И (Аргентина)

© Julio Cortázar, 1982

© Ed. Nueva Imagen, S.A.  
Ed. Okeja Negra

© Alfaquara, 1979

© Julio Cortázar, 1977

© Ed. Sudamericana, 1974

© Составление, предисловие, комментарий, а также переводы на русский язык, кроме отмеченных в содержании знаком \*, издательство «Радуга», 1985

## **Хулио Кортасар**

**62. МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ. Роман. Рассказы**

*Составитель Инна Арташесовна Тертерян*

ИБ № 1519. Редактор *Л. Борисевич*. Художник *А. Сапожников*. Художественный редактор *О. Грин*. Технические редакторы *Л. Пчурова*, *Г. Немтинова*, *О. Ининова*. Корректор *Е. Рудницкая*. Сдано в набор 08.02.85. Подписано в печать 22.07.85. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Условн. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 29,09. Тираж 50.000 экз. Заказ № 615. Цена 3 р. 20 к. Изд. № 1021. Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая» типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валуевая, 28.

## ХУЛИО КОРТАСАР: ИГРА ВЗАПРАВДУ

«Я говорю с тобой образами, как ты любишь», — объясняет один из персонажей романа «62. Модель для сборки» другому, вернее, другой. Точно так же мог бы объяснить особенности своей литературной манеры нам, читателям, Хулио Кортасар. Он верил, что мы любим, когда художник говорит образами, метафорами, ассоциациями, а не декларативными утверждениями. Кортасар много времени и сил, особенно в последнее десятилетие своей жизни, отдавал политической деятельности — борьбе за свободу и независимость латиноамериканских народов, борьбе против диктаторских режимов, и в этой борьбе он прибегал к открытой, политически четкой публицистике. Однако, когда наступал час творчества, когда он оставался наедине со своим искусством, он говорил все о том же, но совершенно на другом языке.

У Кортасара была теория двух типов читателя. Он изложил ее в романе «Игра в классики», а потом не раз повторял. Один тип — читателя-потребителя, желающего получить от чтения легкое и гарантированное удовольствие, — он не любил, другой — он называл его читателем-соучастником — уважал, для него работал, на него рассчитывал. С этим связан и подзаголовок публикуемого романа — «Модель для сборки». Но не только романы, а и все рассказы Кортасара рассчитаны на соучастие, сотворчество читателя, на его готовность вчитываться, воображать, расшифровывать многослойную символику, отделять грезы от яви, восстанавливать связную последовательность причин и следствий.

Биография и творческий путь Хулио Кортасара (1914—1984) в основных чертах уже известны нашему читателю по изданиям в русском переводе романа «Выигрыши» и рассказов разных лет, по статьям в периодике<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Л. Осповат. Поиски и открытия Хулио Кортасара. В кн.: Х. Кортасар. Выигрыши. Повести и рассказы. М., 1976; Х. Кортасар. Другое небо. М., 1971; Х. Кортасар. Непрерывность парков. М., 1984.

Кортасар культивировал многие жанры: роман (кроме «Выигрышей», 1960, и «Игры в классики», 1963, он написал «62. Модель для сборки», 1968, и «Книгу Мануэля», 1973), рассказ (сборники «Бестиарий», 1951, «Конец игры», 1956—1964, «Секретное оружие», 1959, «Жизнь хронопов и фамов», 1962, «Все огни огонь», 1966, «Восьмигранник», 1974, «Тот, кто здесь бродит», 1977, «Некто Лукас», 1979, «Мы так любим Гленду», 1980, «Вне времени», 1982), эссе, стихи («Памеос и меопас», 1971, «Только сумерки», 1984), изобретал новые жанры: «прозе́мы» (по аналогии с поэмой), книги-коллажи («Вокруг дня на 80 мирах», 1966, «Последний раунд», 1969), — но при этом оставался в кругу своих тем, персонажей, мучительных духовных проблем. Образный язык цементировал его творчество. Читатель сможет в этом убедиться.

Кортасар — один из наиболее комментируемых и изучаемых испаноязычных, а может быть, и вообще современных писателей. Его произведения как будто подталкивают критиков к классификации, инвентаризации, описанию приемов, фантастических допущений, культурных ассоциаций. Это свойство он перенял у Хорхе Луиса Борхеса, которому посвятил немало признаний в ученичестве и творческом преклонении: «Посреди литературного сладкого пирога / он встал и сказал «Вавилон». / Лишь очень немногие поняли / что он хотел этим сказать «Ла Плата» (такими поэтическими строками начинается посвященное Борхесу эссе из «Вокруг дня на 80 мирах»). Но еще в меньшей степени, чем Борхеса, Кортасара можно постичь, ограничиваясь сбором и анализом формальных признаков, иными словами, доискиваясь, откуда взялся «Вавилон», забывая о «Ла Плате». Ибо всю свою жизнь Кортасар был значительно непосредственнее, прямее, чем Борхес, связан с общественной реальностью. Если Борхес выстраивал цепь «культура — культура», то Кортасар — «культура — современная жизнь». Поэтому все его, нередко весьма хитроумные, образные разветвления наполняются живой кровью, начинают пульсировать в силовом поле конкретной — исторически и социально — действительности.

Если упрощенно суммировать фабулу романа «62. Модель для сборки», то она уместится в извечную схему, памятную еще по стихотворению Генриха Гейне:

Девушку юноша любит,  
А ей по сердцу другой,  
Другой полюбил другую и т. д.,

*Перевод В. Зоргенфельда.*

только без надежды на благополучное разрешение хотя бы одной из множества спутанных в клубок коллизий. Конечно, история об ищущих и теряющих друг друга влюбленных, о «невстречах» (употребим любимое слово Анны Ахматовой) рассказана «по-современному»: с мгновенными сменами ракурса повествования и соответственно переходами от первого грамматического лица к третьему — слышится голос то одного, то другого персонажа, а то и вовсе стороннего наблюдателя, то ли автора, то ли мифического «моего соседа». Для искусства после Пикассо, для искусства кинематографической эпохи это не так уж непривычно: разве в кино мы не видим сцену глазами то одного, то другого действующего лица, а то и «общим планом», то есть извне круга участников?

Чрезвычайно занимала писателя проблема внутреннего времени и внутреннего пространства. Он удивлялся, например, как это в течение двух-трех минут поездки в метро — от станции до станции — успеваешь вспомнить столько событий прошлой жизни, разговоров, лиц, что последовательное изложение этих воспоминаний заняло бы не менее получаса. Особенности внутреннего времени Кортасар не раз пытался воспроизвести в рассказах и в романах, всячески при этом подчеркивая: во внутреннем времени спрессовано то, что было, есть и будет (или может быть), тут нарушена временная и причинная последовательность, как говорится в романе «62», «„до“ и „после“ крошатся в руках». Поэтому Хуан, выйдя из ресторана «Полидор», уже знает все, чему еще предстоит сбыться: приключение в Вене, посылку куклы, последнюю ночь с Элен. Точно так же внутреннее пространство существует в романе как бы параллельно реальному, только в другом измерении. В финальном эпизоде ночной поезд мчит героев к Парижу, и в то же время в своем внутреннем пространстве Николь приближается к зловещему каналу, а Элен — к роковой комнате, где ее ждет нож Остина.

Но гораздо важнее понять, что же общезначимое, даже исторически значимое, скрыто в этой грустной истории нескольких людей, — истории, не раз напомина-

ющей автору беспорядочное мелькание мотыльков в свете уличного фонаря.

Обратимся к загадочной цифре в заглавии книги. В главе № 62 своего предыдущего романа, «Игра в классики», Кортасар вывел некоего писателя Морелли, который развивает замысел своей будущей книги: «...взять группу людей, которые думают, что они переживают психологические реакции в классическом смысле этого старого-старого слова, но на самом деле эти реакции, этот поток духовной материи... устремлен к поиску чего-то более высокого, находящегося вне нас самих как индивидуумов, и только использует нас как средство...» Иными словами, Морелли хотел бы показать, как в чувствах, поступках, решениях людей неосознанно бьется что-то общее, прорывается духовная неудовлетворенность современного человека. Замысел Морелли осуществлен в романе «62».

Впоследствии Кортасар уточнил свою цель: «Я хотел заставить увидеть на примере группы людей, что наши представления о свободе могут оказаться не столь уж простыми»<sup>1</sup>. Замысел Кортасара станет яснее, если его воспринять в свете общественной реальности 60-х годов, если учитывать разнообразные лозунги «великого отказа», «бегства», «выпадения», многочисленные и, как правило, неудачные попытки организации всякого рода общин, коммун и т. п., распространившиеся в ту пору среди интеллигенции капиталистических стран. Кортасар включает этот поиск свободы в давнюю европейскую традицию гуманистических утопий — включает, чтобы показать неосуществимость утопии, тщетность надежд на выгораживание «зоны» в антигуманном мире.

С этим словом, «зона», мы уже оказываемся в странной вселенной кортасаровского романа и должны ориентироваться по ее координатам.

Итак, группа парижан собирается то в кафе «Клюни», то на выставке, то в вагонном купе во время совместных путешествий. Когда они сходятся, они вступают в «зону» — так называют они свой круг, свое общение. Термин этот взят, скорее всего, у Гийома Аполлинера, чье стихотворение «Зона» начинается строкой, которую повторил бы убежденно каждый из кортасаровских пер-

---

<sup>1</sup> E. González Bermejo. Conversaciones con Cortázar. Barcelona, 1978, p. 97.

сонажей: «Ты от старого мира устал наконец», а дальше, как и в романе Кортасара, мелькают города и страны (упоминается даже Аргентина!), гостиницы, пансионаты, странствия, страдания от неразделенной любви и... «в ресторане большом ты встречаешь ночи приход», опять же как будто о герое Кортасара<sup>1</sup>.

В «зоне» у кортасаровских персонажей царят смех, игра, розыгрыши. Задают тон два аргентинца — Калак и Поланко, — неистощимые на выдумки и мистификации. Калак и Поланко появляются во многих рассказах и очерках Кортасара и всегда спорят, острят, поддразнивают и подначивают друг друга и автора. Эти персонажи — воспоминание об аргентинских друзьях, о Буэнос-Айресе, и с ними как будто врывается карнавальный гам. Так и в романе «62»: Калак и Поланко затевают какую-нибудь проделку или комическую перебранку, здравый смысл летит вверх тормашками, мещане и пошляки бросаются рассыпную, а «зона» хохочет во все горло.

Биография Кортасара помогает понять некоторые особенности сюжетов его книг. Еще в 1951 г., не найдя на родине подходящей работы и после того, как подвергся преследованиям за участие в антидиктаторских выступлениях интеллигенции, Кортасар уехал в Европу. С тех пор и до конца своих дней он жил в Париже, многие годы работал переводчиком в ЮНЕСКО, так что служебные тяготы Хуана в «62» списаны, что называется, с натуры. В Париже Кортасар был окружен многонациональной толпой, и это обусловило человеческий климат всех его романов после «Выигрышей» — книги, написанной исключительно на аргентинском материале. В «Игре в классики», «62», «Книге Мануэля» действуют французы, англичане, датчане — а в центре всегда аргентинцы. Кортасар не порывал связи с родиной, с Латинской Америкой, регулярно наезжал на южноамериканский континент, поддерживал постоянные контакты с литературной общественностью.

Вернемся в «зону». По мере чтения романа смутная

---

<sup>1</sup> В очерке «Сломанная кукла» из сборника «Последний раунд» Кортасар перечислил некоторые литературные и философские влияния периода работы над «62»: в частности, фрагменты из романов Л. Арагона «Гибель всерьез» и В. Набокова «Бледный огонь», последние стихи Гёльдерлина, трактаты Г. Башляра и М. Мерло-Понти. Мы пробуем обнаружить другие ассоциативные связи, осознанно или неосознанно установившиеся в процессе осуществления замысла романа.



ассоциация крепнет. Конечно же, это новая Телемская обитель, куда, как писал Рабле, «просят пожаловать всех весельчаков, шутников, зубоскалов и хороших товарищей...». Герои «62» отстаивают свободу (или думают, что отстаивают) от моральных условностей старого мира. Разумеется, заявление о «веселом и упорном попирании десяти заповедей» не надо понимать буквально: просто они упорно поступают вопреки тому, что и как «принято» (так устав Телемской обители состоял из одного пункта — «делай что хочешь»). Предлагая свой вариант старой гуманистической мечты, Кортасар как бы задается вопросом: можно ли укрыться в обители близких по духу, установить между товарищами по убежищу такие отношения, которые опровергали бы внешний мир?

Нет, Кортасар убежден, что мечта о «зоне», о новой Телемской обители утопична: в ее пределах недостижима подлинная гармония человека и мира. И если разрушить бытовые стереотипы и напугать мещан оказывается делом несложным, то более глубокое ощущение духовной свободы героям романа не дается.

Эта подлинная духовная свобода обозначена в романе символическим городом. Казалось бы, город для их компании — такая же игра, как улитка Освальд, как детское лепетание, но нет — они отделяют город от игры, хотя это чистая условность, детский «уговор». Так и кажется, что любой из них кричит: «Чур, я в городе!» — а потом рассказывает, что с ним там приключилось. А в городе всегда происходит нечто важное и судьбоносное: лишь там могут встретиться любящие, там выполняются решения, выносятся приговоры, человека настигает возмездие. Жуть там действительно Жуть, но и любовь — действительно Любовь. Хуан удивляется, когда Телль рассказывает ему о городе, потому что он считал ее легкомысленным существом, неспособным на тоску по-настоящему. Конечно, в отличие от «зоны» — реальной попытки противостоять буржуазному быту — город — область воображаемого; то, что там происходит — потери, встречи, расставания, смерти, — происходит в воображении. Хуан, Марраст, Николь, Элен, Телль и за пределами фабулы романа, наверное, продолжили бы ходить на службу и даже встречаться за столиком кафе. Но город — реализация их истинной судьбы, там каждый получает «по заслугам» и узнает себе цену. И если они не могут встретиться, если каждый в городе фатально одинок,

это по сути лишь означает, что их чувства в реальности неполны, неистинны, их общение в «зоне» поверхностно. Ведь город — царство должного.

Образом Элен автор и пытается объяснить, почему герои не могут встретиться в городе. Элен почти до конца романа остается неуловимо-загадочной, сотканной из метафорических ассоциаций. В посмертно изданной книге стихов Кортасара «Только сумерки» есть большой лирический цикл, посвященный женщине по имени Крис, в чьем облике угадываются эмоциональные черты Элен. Но это личное, по-видимому, реальное и дорогое писателю воспоминание осмыслено и раскрыто в романе с помощью литературной темы вампиризма. Уже в первом развернутом эпизоде — вечере в ресторане «Полидор» — сплетаются все книжные ассоциации, подготавливающие отождествление Элен — через некую фрау Марту, встреченную Хуаном и Телль в Вене, — с жившей в XVII в. венгерской графиней Эршебет Батори, которую народная молва прославила как вампиришу. Тут все детали значащи: ростбиф «кровавый замок», вино «сильванер» (Трансильвания — родина этого вина и вместе с тем, по народному поверью, край вампиров, здесь жил и пресловутый Дракула, герой романа Абрахама Стокера и созданных на его основе «фильмов ужасов»), брошка с изображением василиска (мифическое существо, якобы убивающее взглядом). Немаловажно и само название ресторана. В 1819 г. под именем Байрона вышла повесть «Вампир», вызвавшая в европейских литературах повальное увлечение темой упырей, оборотней и т. п. Как вскоре выяснилось, автором повести был домашний врач Байрона Джон Уильям Полидори (под его именем теперь и публикуется «Вампир»), воспользовавшийся незаконченным наброском великого поэта. В образе лорда Рутвена из повести Полидори есть все то, что считалось признаком вампирства и что повторено в образе Элен: отчужденность от людей, не позволяющая искренне ответить на любовь и дружбу, скрытая тайна, недоступная тем, кто пленяется красотой, умом и другими привлекательными качествами оборотня.

Но какого же рода вампирство Элен, ведь не сосет она на самом деле кровь, как истолковать эту метафору?

Кортасар дает нам ключ в эссе «Меж клеток. Бестиарий Алоиза Цетля» (из книги «Территории»): «Психический вампиризм не менее страшен, и, возможно,

именно он питает столь укоренившиеся поверья».

Вампирство Элен психологическое — это внутренний холод, отсутствие естественности, неспособность любить и быть счастливой, которую умная женщина осознает и от которой сама страдает. Элен — единственный персонаж романа (кроме, конечно, госпожи Корицы и иже с ней), лишенный чувства юмора и радости игры, во всех проделках «зоны» она остается лишь снисходительным зрителем. В очертаниях ее рта притаилась «мелочная жестокость», улыбкой она напоминает кусающегося зверька. Когда в «зоне» начинают фантазировать о городе, то выясняется, что Элен только «приходит из города», иными словами, она всегда хочет вернуться в уютную, пошлую повседневность, в то время как другие мечтают «уйти в город», то есть преодолеть быт, вырваться из тисков каждодневной рутины. Элен сторонится всего серьезного, настоящего, глубокого, оттого ее так потрясает смерть юноши на операционном столе. После этого и она стала «уходить в город» — внезапно, едва задумавшись за столиком в кафе. Ее все сильнее мучает чувство вины и долга — не опоздать, встретиться, отдать кому-то тяжелый пакет.

Метафора пакета, как и связанная с ней метафора куклы, также имеет свою историю. В эссе «Другие способы употребления веревки» (книга «Территории») Кортасар рассказал о первой службе, найденной им, тогда безвестным иммигрантом, в Париже. В книготорговой фирме ему поручили упаковывать книги. «Вопреки ожиданиям патрона, — пишет Кортасар, — работа доставляла мне удовольствие думать, что где-то далеко какие-то неведомые руки развяжут твой пакет после „планетарного путешествия“».

Пакеты, когда-то увязанные Кортасаром, содержали многоцветные, пахнущие типографией, доставляющие людям радость книги, в куклах месье Окса спрятана неожиданность: то забавная, то отвратительная, а в пакете Элен неожиданность подарка (так женщины, которых видит Хуан на улице в рождественскую ночь, спешат домой с пакетами — порадовать любимых и родных) сочетается с избавлением: подарить любовь, подарить себя и значит для Элен избавиться от смертельного холода одиночества, от мерзкого эгоизма. Выпить живой крови — значит занять у другого свежести, молодости, душевных сил — ведь только этого ищет Элен

у Селии. А когда Хуан после свидания с Элен потирает больную шею, то беглое напоминание об укусе вампира сразу дает нам понять, что и в ту пылкую ночь Элен не любила — всего лишь была захвачена его страстью, его напором, хлебнула и опьянилась чужой кровью. Оттого Хуан и отождествляется в ее сознании с мертвым юношей, что она убивает его любовью, убивает его душу. Как вампиру не дано вернуться в мир живых, так Элен не может избыть свой эгоизм, отказаться от привычного и удобного равнодушия. И приговор, который Остин осуществляет в городе, выносит себе она сама — ведь эта сцена происходит в ее воображении.

Образ Элен важен не только как решающее звено сюжета. Он еще и помогает нам понять, почему город вообще недостижим для персонажей романа, почему даже лучшим из них суждено остаться в «зоне». Хотя они сочинили город сообща и владели им сообща, все же город оставался личным делом каждого. Героев объединяет мечта о городе (то есть потребность противостоять унижающему и уничтожающему их быту), но не сам город. Для Хуана город — это страх смерти (недаром его видения номеров с испорченным душем вызывают в памяти слова Свидригайлова о вечности — «вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки...»), для Николь — забвение опустошившей ее любви, для Элен — избавление от себялюбия, для Телль — подливную, а не мотыльковую связь... У них нет общего дела, общего чувства в городе. Герои этого, по-видимому, не понимают, да и сам писатель в пору работы над романом еще не был тверд в своих идейных и жизненных решениях, хотя к тому моменту уже был написан знаменитый рассказ «Воссоединение», ознаменовавший крутой поворот в писательской судьбе Кортасара. Воссоединение — встреча партизан после поражения (рассказ написан по мотивам воспоминаний Эрнесто Че Гевары) и вообще первая настоящая встреча кортасаровских героев. Можно сказать, что впервые персонажи Кортасара встретились в городе и городом оказалась борьба за свободу.

Ход событий новейшей истории, с одной стороны, и бескомпромиссная требовательность к себе, жажда ясности, с другой, заставили писателя самоопределиться в социальном мире. Поездки на Кубу и в Никарагуа, личная дружба с Сальвадором Альенде, а потом и с ру-

ководителями Сандинистского фронта национального освобождения, участие в антиимпериалистических акциях латиноамериканской интеллигенции позволили Кортасару создать произведения, окрашенные четким пониманием того, где брезжит надежда на воссоединение с миром.

По некоторым всплескам иронии, маскирующей душевную ранимость (начало рассказа «Апокалипсис Солентинаме», «Лукас — его дискуссии с единомышленниками»), мы можем судить, сколь нелегко давалось писателю следовать избранным им путем и вместе с тем оберегать дорогие ему мечты и представления как о художественном творчестве, так и о поведении человека в современном мире. Тут еще многое оставалось неясным, спорным, проблематичным, вызывало сомнения не только у критиков и читателей, но и у самого автора. Кортасар пытался рассмотреть эти проблемы в рассказах, созданных уже после романа «62» и собранных в книги «Восьмигранник», «Тот, кто здесь бродит», «Некто Лукас», «Мы так любим Гленду», «Вне времени», а также в подготовленных им, но вышедших уже посмертно книге стихов и прозы «Только сумерки» и публицистической книге «Никарагуа, беспощадно-нежный край».

В интервью Кортасар не раз отмечал, что с годами доля фантастического, необычайного в его творчестве уменьшается. «Я думаю, что теперь персонажи попадают в ситуации, в которые, понятно каждый по-своему, могут попасть многие люди. Иными словами, связь между персонажами и читателями как эвентуальными протагонистами теперь более прямая, чем в начале моей работы»<sup>1</sup>. Можно прибавить, что фантастическое не только убавляется, но и видоизменяется. Значительно меньше становится рассказов, где фантастическое допущение как бы растворено в реальности, где непонятная, немислимая угроза надвигается на человека извне, и все больше рассказов, где фантастическое, а вернее, непривычное, неожиданное всецело исходит от самого человека, зарождается в его внутреннем пространстве (по существу, так же как в «62» идея города возникла во внутреннем пространстве группы людей).

Можно, конечно, говорить о тяге зрелого Кортасара

---

<sup>1</sup> E. González Bermejo. Conversaciones con Cortázar. Barcelona, 1978, p. 31.

к психологизму, но это психологизм особого рода — метафорический, пользующийся фантастическим домыслом. Трудно представить себе, что в реальной жизни встречаются люди с психологией героев «Блокнота, найденного в кармане» или «Мы так любим Гленду», но эти рассказы высвечивают потайные углы психологии реальных людей. Как и в романе «62», в рассказах Кортасар старается понять и запечатлеть не столько индивидуально характерные, сколько общие духовные свойства людей нашего времени, предоставленные им эпохой возможности и грозящие им опасности.

Необходимо также иметь в виду отношение Кортасара к рассказу, продолжающее борхесианскую линию современной испаноязычной прозы. Как и для Борхеса, для Кортасара рассказ ближе к стихотворению, чем к прозаическому произведению большой формы. Рассказ всегда метафоричен, воздействует на читателя прежде всего атмосферой, нарастанием и спадом внутреннего напряжения, словесным ритмом. Рассказы Кортасара — сгустки смысла, образы идей, какими бывают стихи больших поэтов. Поэтому, должно быть, читая Кортасара, всегда вспоминаешь строфы любимых стихов.

Если обозначить одним словом сквозную тему поздних рассказов Кортасара, то этим словом будет «игра». Но тут нужны пояснения.

С первых творческих шагов Кортасар отстаивал игровое отношение к жизни и к литературе. «Для меня невозможно жить, не играя... Писать для меня — значит играть»<sup>1</sup>. Понятие игры для него очень широко — это юмор, ирония, словесная изобретательность, условность, различные ритуалы («церемонии», как назвал он один из сборников рассказов), жизнетворчество, вообще воображение, вторгающееся в жизнь, меняющее ее естественное, не зависящее от человека течение.

Игра у Кортасара не только многообразна, она еще и неоднозначна на протяжении его творческого пути. Неизменным оставалось только уважение к игре. «Вот именно. Есть игры и игры, и мое видение игры, представленное во всем, что я сделал, — это как занятие очень серьезное и очень глубокое. Я считаю игру сущностной деятельностью человеческой личности. Так что путать игру с легковесностью абсолютно ошибочно»<sup>2</sup>. По-видимому, Кортасар

<sup>1</sup> E. Picón Garfield. Cortázar por Cortázar. Mexico, 1978, p. 52, 55.

<sup>2</sup> E. González Bermejo. Conversaciones con Cortázar Barcelona, 1978. p. 126.

чувствовал, что далеко не все читатели понимают и принимают его позицию, и в тексте, включенном в посмертно вышедшую книгу «Только сумерки», он вновь возражает тем, кто упрекает его за «игровое поведение»: «Почему, собственно, в литературе, рабски подражая бытовым понятиям, утверждают, что искренность возможна только в драматическом или лирическом обличье, а игровое поведение почти всегда искусственно или притворно?»

Великий испанский поэт Антонио Мачадо когда-то сказал:

А искусство?  
— Только игра,  
Подобная только жизни,  
Подобная только огню,  
Пылающий пепел костра.

*(Перевод В. Столбова)*

И другой великий поэт, Борис Пастернак, писал:

То же бешенство риска,  
Та же радость и боль  
Слили роль и артистку  
И артистку и роль.  
.....  
Сколько надо отваги,  
Чтоб играть на века...

Так играл в литературе Хулио Кортасар. С этими поэтическими образами его понимание игры сходится в главном — игра требует душевных сил, смелости, риска, может стоить счастья и жизни. И еще один, обращенный к художнику, призыв вспоминается: «Играй же на разрыв аорты...» (О. Мандельштам). В игре Кортасара и его персонажей мы находим обжигающие ответы на самые важные вопросы: об отношении к миру, к другим людям, к власти, о самостоятельности и свободе, об эгоизме и долге, о доброте и любви. Все его романы основаны, в той или иной форме, на игре (мы в этом убедились на примере «62. Модель для сборки»): играют персонажи, играет автор, призывая и читателя «сыграть» для себя, на свой собственный лад, произведение, подобно тому как джазист импровизирует на заданную тему.

Вначале было упоение игрой, любой игрой, отталкивание от прямолинейно серьезного, монотонно серьезного отношения к жизни. Кортасар восхищался игровым мо-

ментом молодежного бунта 1968 г., коллекционировал надписи на стенах парижских зданий, вроде: «Хватит подниматься в лифте — поднимемся к власти», «Преувеличение — вот наше оружие», «Воображение — к власти!» и т. п. Однако по прошествии нескольких лет писатель убедился, что без руководства, без зрелой и продуманной политической программы, так сказать — играючи, революцию не совершишь и юношеский запал бессилен и бесперспективен. Это не дискредитировало в его глазах игру вообще, но заставило внимательно приглядеться к играм, придуманным людьми, дифференцировать их.

Так один за другим стали появляться рассказы, описывающие, как мы бы их назвали, «грустные игры». Это попытки преодолеть безлюбовый, безвкусный быт, попытки воображением внести в жизнь нечто значительное: судьбу («Блокнот, найденный в кармане»), свой идеал красоты и покоя («В ином свете»), трепет новизны («Жаркие ветры»). Попытки эти неосуществимы, игра всякий раз кончается гибелью любви, а то и гибелью героя. Кортасар в одной беседе заметил, что название «Блокнот, найденный в кармане» указывает на то, что владелец блокнота бросился, по-видимому, под поезд метро, когда понял, что навсегда потерял возлюбленную.

Характерна для поздних рассказов Кортасара трактовка игры как своего рода судебного процесса или экзамена, где не прощаются ни малодушие, ни предательство, где человек оказывается наконец лицом к лицу со своей сущностью. В «Дневниковых записях для рассказа» такая игра-экзамен — творчество, сочинение, когда думаешь, что разыгрывается что-то или кто-то другой, а на самом деле ты сам — твоё прошлое, твои несбывшиеся мечты, твоя самооценка и переоценка. Автор как бы играет с образом Анабел, то вызывая его из забвения, то вновь отодвигая, переключаясь на современную жизнь, размышляя на литературные темы, но на самом деле он вызывает из забвения себя тогдашнего и проверяет себя сегодняшнего.

Еще более суровый суд разыгрывается в рассказе «Апокалипсис Солентинаме». «Предварительным следствием» служит внутренний спор писателя со своим «близнецом»-двойником: почему выдумка прежде, чем сама жизнь? а почему бы и нет, разве все — искусство и жизнь — не одно и то же? И вот слайды заправлены и настоящий экзамен начался. Но это уже игра, в которую не автор играет — с ним играют, играют его память, его сознание,



наконец, сама реальность XX века с геноцидом, политическим терроризмом, пытками, социальной несправедливостью. Конечно, видения, возникающие на домашнем экранчике, проецированы не диапроектором, а уязвленной, раненой совестью художника — ведь он любовался наивной живописью, когда во многих странах Латинской Америки бесчинствуют свои «эскадроны смерти»!

Игра может стать протестом, может объединять бунтующих («Граффити»). Есть игры, которые приносят прозрение, дают возможность обобщенного понимания действительности: так, в «Сатарсе» увлечение палиндромами, словесной игрой, помогает герою найти образ, слово для обозначения самого страшного на свете, того, что гораздо страшнее крыс, отъевших ребенку руку, — фашизма.

В последних сборниках Кортасара вначале исподволь, в сугубо метафоризированном варианте, возникла тема «жестоких игр» («Во второй раз», «Мы так любим Гленду»), чтобы затем обрести весьма конкретные социальные очертания. Показателен рассказ «Закатный час «Мантекильи»: террористы как будто выполняют условия игры — код, явки, пароли, но ставка в этой игре — жизнь. Жестокость подчеркнута образным отождествлением с самой жестокой из спортивных игр — боксом. По сути, в этом рассказе Кортасар пересматривает свою позицию, поскольку ранее, в романе «Книга Мануэля», он со всеми возможными оговорками относительно благородства цели и вынужденности средств все же допускал и даже романтизировал террористические способы борьбы за свободу Латинской Америки. Здесь же терроризм предстает в ясном и холодном свете как одна из «игр», опасных для человека и всего человечества.

Тема «опасных игр» с необычайной силой кульминирует в рассказе «Ночная школа», который заслуживает более пристального и подробного рассмотрения — слишком уж о важных вещах тут говорится. Действие рассказа происходит в Буэнос-Айресе 30-х годов, в пору отрочества писателя, но могло бы происходить и вчера, и сегодня — кстати, весь этот последний сборник рассказов недавно называется «Вне времени». Много лет тому назад Кортасар написал эссе «Ночи в министерствах Европы» — о том, как он, работавший тогда переводчиком в ЮНЕСКО, любил допоздна засиживаться в зданиях, где происходили днем международные конференции, какими романтично-загадочными кажутся конференц-залы, гале-

реи, коридоры в скудном ночном освещении, как с детским волнением ожидаешь «чего-то неведомого, что боишься встретить». Это лирическое признание — зерно, проросшее «Ночной школой». Лишь постепенно, в ходе социальных битв 70-х годов, лишь после чилийской трагедии Кортасар понял, что можно увидеть в официальном здании «ночью», то есть когда замрет показная, фарисейски притворная «дневная жизнь».

Итак, два подростка, Тото и Нито, из озорства проникли ночью в запертую школу, но вместо детской романтической игры с выдуманными тайнами и приключениями оказались втянутыми в совсем иную игру учителей и учеников, — в игру безжалостную, омерзительную и, к сожалению, хорошо известную и дорого стоившую человечеству. В рассказе дается, по существу, метафорическая анатомия фашизма. Ощутимое в «Ночной школе» влияние повести австрийского писателя Р. Музиля «Смятение воспитанника Тёрлеса» помогает выявить эту задачу, так как, по выражению советского исследователя, атмосфера этой повести — в чем-то атмосфера будущих нацистских концлагерей<sup>1</sup>.

У Кортасара символичны все детали ночного шабаша. Переодевание, переряживание учителей и учеников нужно потому, что маска освобождает их от самих себя — от привычного, благопристойного «я». На подобном действии маски зиждется освобождающая сила карнавала, его способность на какое-то время ломать социальную ограниченность жизни; но в этом же таится и опасность. Уже в XVIII—XIX веках светские дамы, прикрывшись маской, любили вести себя как гризетки: карнавал превращался в маскарад. У Кортасара в «Ночной школе» осуществляется новая жуткая метаморфоза: самомаскировка переходит в саморазоблачение.

Похабщина с примесью извращенности — тоже лишь средство перешагнуть все границы, почувствовать себя свободным грязной свободой насильника. Если бы речь шла, как первоначально может показаться, только об «афинской ночи», об оргии учителей и учеников, которым равно обрыдло дневное фарисейство, это было бы далеко не так страшно. Тут же все иначе: даже сохранившиеся в сеньорите Маджи крохи женственности не вызывают

---

<sup>1</sup> Д. Затонский. Роберт Музиль и его роман «Человек без свойств». В кн.: Р. Музиль. Человек без свойств. М., 1984, с. 14.

к ней ни сочувствия, ни жалости — ведь все это служит злу. Изуверское убийство беленькой собачки доказывает готовность собравшихся в ночной школе к беспредельной, самозабвенной жестокости — только так можно назвать игры в «жмурки» и в «чехарду», когда каждый знает, что может стать сегодняшней или завтрашней жертвой, но все же вступает в игру.

Здесь подмечена важная закономерность. Все закрытые организации террористического типа — начиная с нечаевщины и кончая неонацистами в ФРГ — упражняются на своих. Нет ничего надежнее для укрепления круговой поруки, чем убийство слабого, который якобы изменил или может изменить в будущем. Аргентинская «ночная школа» — подготовительный класс фашизма, тут еще ограничиваются разбитой головой, но угрожают и кое-чем посерьезнее. Нет крепче банды, чем повязанная кровью. От уголовщины эта аксиома досталась фашизму: сначала «малой кровью», потом большой.

То, что увидели Тото и Нито, похоже на шабаш, описанный в каком-нибудь «Молоте ведьм» — «пособии» для инквизиции XV—XVII в.в. В символике «ночной школы» брезжат и мифологические ассоциации (обряд инициации, элевсинские мистерии и т. п.), и исторические реминисценции. И неудивительно. Ведь и мифология, и мистика также используются «ловцами душ». Гиммлер культивировал в СС мистические церемонии. Розенберг эксплуатировал в пропагандистских целях германскую языческую мифологию. В кругу первых фашистских организаций Германии 20-х годов («Оргеш», «Консул» и др.) возрождались тайные обряды средневековых судилищ («Фема»).

Так и в ночной школе у Кортасара — не мистика, не богохульство, даже не разнуздывание темных инстинктов толпы. Тут инстинкт, иррациональное эксплуатируются расчетом и волей. Кажущаяся свобода от дневных общественных ограничений на деле обернется (и уже обращается для тех, кто способен это увидеть и понять) еще более страшным подавлением свободы, полным, беспросветным тоталитаризмом, порабощением ума, воли и души.

В «ночной школе» есть учителя и ученики, есть уроки и проверка их усвоения. Разнузданность, освобожденные инстинкты, жестокость — все строго дозируется. В нужный момент раздаются команды, они беспрекословно исполняются. Все продумано, и расчеловечение идет по

ступенькам заранее выстроенной лестницы. Весь этот кровавый маскарад умело подводится к центральному моменту — восприятию и заучиванию «десяти заповедей». Нам достаточно первой из них, чтобы оценить политический характер тех действий, к которым наставники готовят отобранных ими будущих штурмовиков.

В «Ночной школе» вскрыта оборотная сторона порядка, унылой благопристойности, царящих днем в «нормальном учебном заведении». А разве германский фашизм не поразило человечество своим удивительным родством-противоречием с традиционными чертами немецкого характера — дисциплинированностью, аккуратностью немецкого бюргера. «О бюргеры Кёльна, да будет вам срамно! О граждане Кёльна, как же так?» — негодовал советский поэт. А разве фашистская диктатура не захлестнула Чили — страну, выделяющуюся на латиноамериканском континенте гражданскими традициями, парламентаризмом, законностью? Нет, не только там, где политических или личных противников подают на блюде разделанными, как жареных поросят (об этом есть памятный эпизод в «Осени патриарха» Г. Гарсиа Маркеса), возможно фашистское варварство. Но и там, где фашизм подчиняет себе толпу, он не всемогущ: есть люди, изначально не приемлющие насилия и жестокости, пусть даже полусознательно, по-детски инстинктивно. Поэтому навсегда расходятся двое друзей: Нито покорно участвует в оргии, Тото шарахается от увиденного. По-видимому, Тото не одинок: ведь он замечает, что в «ночной школе» отсутствуют и многие другие симпатичные ему одноклассники.

Тото в ту страшную ночь убедился: есть вещи, которые нельзя победить игрой и фантазией. От них надо бежать или с ними необходимо бороться. Герой «Ночной школы» бежит — он еще не готов к борьбе. Впрочем, он почти ребенок. Его создатель, Хулио Кортасар, был к борьбе готов и боролся.

Ну а как же все-таки обстоит дело с кортасаровской игрой? Неужели писатель кончил свой творческий путь на такой отчаянной, трагической ноте, разочаровавшись в любимой идее, разуверившись в силе воображения?

Нет, Кортасар отнюдь не свел игру только к фашистскому маскараду, хотя и увидел отчетливо способность этих «опасных игр» засасывать слабые души. Но до конца своих дней он считал, что можно и должно человеку играть по-другому.

Кортасар обрисовал в своих романах и рассказах особый человеческий тип — он назвал его хронопом. В раннем цикле рассказов «Жизнь хронопов и фамов» этот тип был представлен художественно обобщенным в фантастических ситуациях, в окружении условных «фамов» и «надеек», за которыми угадывались вполне реальные и определенные типы современных западных обывателей и буржуазных интеллектуалов. Хроноп — сплав поэта, ребенка, юмориста, романтика, визионера. Не раз Кортасар сопоставлял его даже со своим любимым литературным героем — князем Мышкиным из «Идиота» Достоевского. Во всех центральных персонажах Кортасара есть больше или меньше от хронопа и вместе с тем больше или меньше от самого автора — частицы биографии, жизненного опыта, воспоминаний, впечатлений, пристрастий. По мере того как менялся Кортасар, менялся и его герой-хроноп. Марраст в романе «62» все время испытывает страх, что любой из них «сделает обычный рутинный ход» и вся их компания хронопов «вольется в благомыслящую и благопоступающую массу». Но в Лукасе чувствуется уже иной внутренний фон: он совершил жизненный выбор и уверен в своей правоте — и оттого он издевается над умственной рутинной, ложью, буржуазной пошлостью не столько с яростной злостью, сколько с веселой, победоносной иронией. Лобовым утверждениям Лукас предпочитает пародию, параболу, парадокс. Однако, играя и усмехаясь, он умеет отстаивать свою твердую позицию в жизни, идеологии, литературе.

Конечно, можно спорить относительно правомерности «хронопьего» отношения к жизни: зачем же всегда поступать наперекор здравому смыслу, зачем стремиться к небанальному поведению? Кортасар придавал этой хронопьей игре, этому разрушению всяких тривиальных стереотипов двойной смысл: художественный и социальный. В художественном плане без игрового начала, на его взгляд, невозможно обновление искусства. В социальном плане игра — профилактика конформизма, начальная школа революционного отношения к жизни, готовность ее преобразовывать. В одном из стихотворений последней книги стихов, «Только сумерки», он отождествляет свой человеческий идеал с поэтом и революционером: «Но бывает, что тот, кто поэт, / тот и хроноп в обыденной жизни... Таким был Роке Дальтон, ах если бы / он заглядывал мне через плечо, улыбаясь как лукавая птица... /

Таким был Че, носивший книжку стихов в кармане... /  
И такими были / ребята, однажды ночью в Гаване / гово-  
рившие мне невидимыми ртами, дружище, / когда у нас  
там бывает передышка, / нам нравится читать твои рас-  
сказы про хронопов, / ну вот и все, что мы хотели сказать  
тебе, пока, до скорого».

Как уже было сказано, посмертно вышла публицисти-  
ческая книга Хулио Кортасара «Никарагуа, беспощадно-  
нежный край». Вновь заявив, что он «верит только в социа-  
лизм как перспективу для человечества»<sup>1</sup>, Кортасар обли-  
чает в этой книге разные формы зла XX века: диктатуры,  
империализм, попрание национального и человеческого  
достоинства. Но художник завещает нам и свою неискоре-  
нимую веру в то, что неминуемо возникнет общество «но-  
вых людей», которым будет открыто все, и, главное, им  
будет даровано творчество, которое невозможно без радо-  
сти и без игры.

*И. Тертерян*

---

<sup>1</sup> J. Cortázar. Nicaragua tan violentamente dulce. Barcelona, 1984, p. 17.



62.

МОДЕЛЬ  
ДЛЯ  
СБОРКИ





## **62. MODELO PARA ARMAR**

**Buenos Aires, 1968**

Многие читатели, наверно, заметят, что в этом произведении я кое-где престаю литературные условности. Приведу лишь несколько примеров: аргентинцы у меня то и дело переходят с «вы» на «ты», когда это для них естественно в диалоге; житель Лондона, только недавно бравший уроки французского, вдруг начинает говорить на нем с поразительной беглостью (более того, еще и в переводе на испанский), едва пересек Ла-Манш; география, расположение станций метро, свобода, психология, куклы и время явно перестают быть тем, чем они были под владычеством Цинары.

Возможно, кое-кому это покажется странным. Таким читателям я хочу заметить, что на том уровне, на котором здесь ведется повествование, уже нельзя говорить, что автор что-то там «престаёт»; префикс «пре» здесь следует включить в ряд других префиксов, вращающихся вокруг глагола «ступать»: «наступать», «отступать», «выступать» — все эти понятия равно совместимы с намерениями, высказанными некогда в заключительных абзацах главы 62 «Игры в классики», намерениями, которые объясняют название этой книги и, надеюсь, осуществляются в ее изложении.

Подзаголовок «Модель для сборки» может навести на мысль, что куски повествования, разделенные на страницах интервалами, предлагаются автором как поддающиеся перестановке. Если с некоторыми это и возможно проделать, все же природа задуманной конструкции иная, и она сказывается уже в характере изложения, где повторы и перемещения должны создать ощущение свободы от жесткой причинной связи, но особенно в характере замысла, где еще более настойчиво и властно утверждается простор для комбинаций. Выбор, к которому придет читатель, его личный монтаж элементов повествования — это, во всяком случае, и будет той книгой, которую он захотел прочитать.

— Попрошу замо́к с кровью,— сказал толстяк за столиком.

Почему я зашел в ресторан «Полидор»? Почему — если уж заняться вопросами такого рода — купил книгу, которую, вероятно, не буду читать? (Наречие здесь — увертка, ведь мне уже не раз случалось покупать книги с тайной уверенностью, что они навсегда затеряются в моей библиотеке, и все же я их покупал; загадка состоит в самом факте покупки, в мотиве приобретения этой бесполезной собственности.) И, продолжая цепь вопросов, почему, войдя в ресторан «Полидор», я сел за столик в глубине, перед большим зеркалом, иллюзорно удваивавшим тусклое уныние зала? И еще одно звено цепи: почему я заказал бутылку «сильванера»?

(Но последний вопрос оставим на потом: бутылка «сильванера» — это, возможно, один из фальшивых звуков в будущем аккорде, разве что аккорд этот окажется совсем другим и будет включать в себя бутылку «сильванера», как включит графиню, книгу и только что заказанное толстяком блюдо.)

— Je voudrais un château saignant<sup>1</sup>,— сказал толстяк за столиком.

Судя по отражению в зеркале, толстяк сидел за соседним столиком, позади Хуана, и поэтому его образ и его голос должны были проделать противоположно направленные пути, чтобы, встретившись, привлечь к себе внезапно обострившееся внимание. (Так же книга в витрине на бульваре Сен-Жермен: внезапный бросок вперед белой обложки «NRF»<sup>2</sup>, выпад на Хуана, как прежде — образ Элен, а теперь — фраза толстяка за столиком, просившего «замок с кровью»; как покорное согласие Хуана сесть за этот

---

<sup>1</sup> Попрошу ростбиф с кровью (*франц.*).— Здесь и далее прим. перев.

<sup>2</sup> «Нувель реву франсез» — «Новый французский журнал».

дурацкий столик в ресторане «Полидор» спиной ко всему миру.)

Конечно, Хуан был единственным посетителем, для которого заказ толстяка имел второй смысл; автоматически, иронически, как умелый переводчик, привыкший мгновенно решать любую переводческую проблему в той борьбе с временем и безмолвием, которую воплощает его кабина при конференц-зале, он построил ловушку, если слово «ловушка» уместно для констатации того, что *saignant*<sup>1</sup> и *sanglant*<sup>2</sup> равноценны и что толстяк за столиком заказал «замок с кровью», — во всяком случае, Хуан построил эту ловушку, ничуть не подозревая, что смещение смысла во фразе вдруг заставит сгуститься другие образы, образы из далекого прошлого или нынешнего вечера, — книгу или графиню, образ Элен, покорное его согласие сесть спиной к залу за столик в глубине ресторана «Полидор». (И заказать бутылку «сильванера», и пить первый бокал охлажденного вина в тот момент, когда образ толстяка в зеркале и его голос, шедший из-за спины Хуана, разрешились в то, что Хуан не мог назвать, ибо слова «цепь» или «сгусток» были всего лишь попыткой локализовать на уровне речи нечто, проявлявшееся как мгновенное противоречие, нечто, обретавшее форму и одновременно растворявшееся, и это уже не могло быть выражено членораздельной речью кого бы то ни было, даже столь опытного переводчика, как Хуан.)

Во всяком случае, ни к чему было усложнять. Толстяк за столиком заказал «кровавый замок», его голос вызвал к бытию другие образы, особенно ярко книгу и графиню, чуть менее ярко — образ Элен (быть может, потому, что он был ближе, не то что более привычным, но более неотъемлемым в повседневной жизни, тогда как книга была чем-то новым, а графиня — воспоминанием, впрочем, воспоминанием необычным, ведь дело шло не столько о графине, сколько о фрау Марте и о том, что случилось в Вене, в «Гостинице Венгерского Короля», но тогда, в последнюю минуту, все стало графиней, и, в конце концов, господствующим образом и прежде была графиня, образом не менее ярким, чем книга или фраза толстяка или аромат «сильванера»).

«Надо признать, что у меня особый талант праздно-

---

<sup>1</sup> С кровью, кровоточащий (франц.).

<sup>2</sup> Кровавый (франц.).

вать сочельник», — подумал Хуан, наливая себе второй бокал в ожидании hors d'oeuvres<sup>1</sup>. Неким подступом к тому, что с ним произошло, была дверь ресторана «Полидор», решение — внезапное и с сознанием его нелепости — открыть эту дверь и поужинать в этом унылом зале. Почему я вошел в ресторан «Полидор», почему купил книгу и раскрыл ее наугад и, тоже наугад, прочитал первую попавшуюся фразу за секунду до того, как толстяк заказал полусырой ростбиф? Если я попытаюсь это проанализировать, я как бы все свалю в хозяйственную сумку и непоправимо искажу. Самое большее — я могу пытаться повторить в терминах мысли то, что происходило в другой «зоне», могу стараться отделить то, что вошло в этот внезапный сгусток по праву, от того, что другие мои ассоциации могли включить в него как нечто паразитарное.

Но в глубине души я знаю, что все — ложь, что я уже отдалился от того, что со мною только что произошло, и, как уже не раз бывало, все сведется к тщетному желанию понять, возможно упуская призыв или тайный сигнал от самой сути, ту тревогу, в которую она меня повергает, то мгновенное явление мне какого-то иного порядка, куда прорываются воспоминания, скрытые силы и сигналы, чтобы создать ослепительную единую вспышку, меркнущую в тот самый миг, когда она меня убивает и выбивает из меня самого. Сейчас от всего этого осталось лишь чувство любопытства, исконное человеческое желание: понять. Да еще спазм в устье желудка, тайная уверенность, что именно там, а не в логическом упрощении начинается и пролегает нужный путь.

Ясно, что этого мало; в общем, надо мыслить, а значит, нужен анализ, нужно отделить то, что действительно составляет этот вневременной миг, от того, что в него приносят ассоциации, чтобы приблизить его к тебе, сделать больше твоим, перенести по сю сторону. Но совсем худо придется, когда ты попытаешься рассказать об этом другим. Всегда ведь наступает минута, когда надо попытаться рассказать одному из друзей, к примеру Поланко или Калаку или всем сразу за столиком в «Клюни», возможно надеясь в душе, что самый факт рассказа вырвет опять из небытия тот сгусток, придаст ему наконец какой-то смысл. И будут они сидеть и слушать тебя, будет там также Элен, тебе будут задавать вопросы, стараясь по-

---

<sup>1</sup> Закуска (франц.).

мочь вспомнить, словно есть смысл в воспоминании, лишенном той особой силы, которая в ресторане «Полидор» сумела снять его свойства минувшего, явить его тебе как нечто живое и угрожающее, как воспоминание, сорвавшееся со своей привязи во времени, чтобы *быть* в тот самый миг, когда оно вновь исчезает, чтобы стать некоей особой формой жизни, настоящим, но в другом измерении, силой, действующей по другой траектории. Однако слова не находились, потому что не было мысли, способной охватить эту силу, превращающую обрывки воспоминаний, отдельные, бессмысленные образы во внезапно слившийся в единое целое умопомрачительный сгусток, в живое созвездие, аннигилирующее в момент своего явления, — этакое противоречие, как бы утверждающее и одновременно отрицающее то, что Хуан, пьющий сейчас второй бокал «сильванера», будет впоследствии рассказывать Калаку, Телль, Элен, когда встретится с ними за столиком в «Клюни», и что теперь ему надо хоть как-то освоить, словно сама попытка фиксировать это воспоминание не доказывала, что это бесполезно, что он лишь разбрасывает темные мазки по непроглядному мраку.

«Да, это так», — подумал Хуан со вздохом, и во вздохе было приятие того, что все шло «с той стороны», происходило в диафрагме, в легких, нуждавшихся в большом глотке воздуха. Да, это так, но надо же и продумать — ведь в конце-то концов он и есть *это* плюс его мысль, он не может остановиться на вздохе, на спазме солнечного сплетения, на смутном страхе перед явленным ему. А думать было бесполезно, было похоже на отчаянные попытки вспомнить сон, от которого, когда открываешь глаза,ловишь только какие-то последние ниточки; думать, пожалуй, означало бы уничтожать узоры, еще маячащие на чем-то вроде оборотной стороны чувства, уничтожать возможность их повторного явления. Закрывать глаза, расслабиться, отдаться на волю наплывающих волн с готовностью ожидания. Нет, бесполезно, и всегда было бесполезно; из химерических тех сфер возвращаешься обедневшим, еще более отчужденным от себя самого. Однако мыслить, охотиться за смыслом по крайней мере помогало вернуться по сю сторону — итак, толстяк за столиком заказал «кровавый замок», и внезапно возникли графиня, причина, побудившая его усесться перед зеркалом в ресто-

ране «Полидор», книжка, купленная на бульваре Сен-Жермен и раскрытая наугад, ослепительный сгусток (и разумеется, также Элен), уплотнившийся и тут же исчезнувший по непонятному его свойству отрицать себя в самом утверждении, расплываться, едва уплотнившись, представляться чем-то незначительным, ранив насмерть, внушать, что это не имеет никакого значения, что это лишь игра ассоциаций — зеркало, и воспоминание, и еще другое воспоминание, — мелкие шалости праздного воображения. «Э, нет, я не дам тебе так уйти, — подумал Хуан, — вряд ли придется мне еще когда-нибудь оказаться средоточием того, что приходит с той стороны, и заодно быть как бы выброшенным из самого себя. Нет, ты не уйдешь так легко, что-нибудь да останется в моих руках, ты, маленький василиск, один из образов, о которых я уже не могу сказать, участвовали они или нет в этом беззвучном взрыве...» И он не мог подавить улыбки, вчуже и сардонически наблюдая, как его мысль уже подбирается к жердочке с маленьким василиском — вполне понятной ассоциации, связанной с Basiliskenhause<sup>1</sup> в Вене и тамошней графиней... Все прочее наплывало, не встречая сопротивления — было совсем не трудно найти опору в дыре, образовавшейся где-то в центре исчезнувшей мгновенной наполненности, явления, тут же сметенного отрицанием и скрывшегося, чтобы эту дыру заполнять удобно складывающейся системой близких образов, связанных с нею хронологически или эмоционально. Думать о василиске означало думать одновременно об Элен и о графине, но думать о графине было все равно что думать о фрау Марте, о крике, ведь служаночки графинины наверняка кричали в подвалах на Блютгассе и графине наверняка нравилось, что они кричат, а если бы они не кричали, у крови не было бы того аромата гелиотропов и прибрежных болот.

Наливая себе еще бокал «сильванера», Хуан поднял глаза к зеркалу. Толстяк за столиком развернул «Франсуар», и буквы заголовков во всю страницу были в зеркальном отражении похожи на буквы русского алфавита. Хуан с напряжением расшифровал несколько слов, смутно надеясь, что в момент этой нарочитой сосредоточенности — которая была также желанием отвлечься, попыткой снова увидеть изначальную дыру, куда ускользнула звезда с верткими лучами, — если он сконцентрирует внимание

---

<sup>1</sup> Дом с василиском (нем.).

на какой-нибудь чепухе, вроде расшифровки заголовков «Франс-суар» в зеркале, и заодно отвлечется от действительно для него важного, тогда из еще мерцающей ауры вновь воссияет во всей своей нетронутости созвездие и осядет в зоне по ту или по сю сторону речи или образов, испуская прозрачные свои лучи, рисуя изящный очерк лица, которое вместе с тем будет брошью с крошечным василиском, а тот — разбитой куклой в шкафу, заодно стоном отчаяния и площадью, пересекаемой бессчетными трамваями, и фрау Мартой у борта баржи. Быть может, теперь, полуприкрыв глаза, ему удастся подменить образ зеркала, эту пограничную территорию между призраком ресторана «Полидор» и другим призраком, который исчез, но чье эхо еще вибрирует; возможно, теперь он смог бы перейти от русских букв в зеркале к той, другой речи, возникшей на грани восприятия, к той подстреленной, уже отчаявшейся в бегстве птице, бьющей крыльями по силкам и придающей им свою форму, некий синтез силков и птицы, и само бегство будет в какой-то миг пленником в парадоксальной попытке уйти из силков, схвативших его мельчайшими звеньями в миг своего распада: графиня, книга, незнакомец, заказавший «кровавый замок», баржа на заре, стук падающей на пол и разбивающейся куклы.

Русские буквы все еще отражаются, колеблясь в руках толстяка, сообщая новости дня, как впоследствии в «зоне» («Клюни», какой-нибудь перекресток, канал Сен-Мартен — все это тоже «зона») придется приступить к рассказу, придется что-то сообщить, потому что все они ждут, когда ты начнешь рассказывать, этот всегда беспокойный и чуть враждебный в начале рассказа кружок; как бы там ни было, все ждут, когда ты приступишь к рассказу в «зоне», в любом месте «зоны», неизвестно, где именно, потому что «зона» бывает в разных местах, и в разные вечера, и с разными друзьями — Телль и Остин, Элен и Поланко, и Селия, и Калак, и Николь; также и им в иные вечера выпадает явиться в «зону» с новостями из Города, и тогда уже твой черед быть участником кружка, жадно дожидаящегося, чтобы тот, другой, приступил к рассказу, ведь, как бы там ни было, в «зоне» словно ощущается дружелюбная и вместе с тем агрессивная потребность не терять связи, знать, что с кем происходит, а почти всегда ведь происходит



что-то, имеющее значение для всех: например, когда они видят сны, или сообщают новости из Города, или возвращаются из поездки и опять появляются в «зоне» (вечерами это почти всегда «Клюни», общая территория за столиком в кафе, но также может быть постель, или *sleeping-car*<sup>1</sup>, или машина, мчащаяся из Венеции в Мантую), в «зоне» вездесущей и вместе с тем ограниченной, похожей на них самих, на Марраста и на Николь, на Селию, на месье Окса и на фрау Марту, в «зоне», находящейся иногда и в Городе, и в самой же «зоне», некоем сооружении из слов, где все происходит с такой же яркостью, как в жизни каждого из них вне «зоны». И поэтому вокруг Хуана как бы дышит жадно слушающий кружок, хотя никого из них сейчас нет возле него, вспоминающего их в ресторане «Полидор», а есть слюна тошноты, открытие памятника, цветководы, и всегда Элен, Марраст и Поланко; «зона» — она и есть жадное внимание, льнущее, цепкое, впечатывающееся в тебя, это номера телефонов, которые ты будешь набирать попозже, перед сном, какие-то комнаты, в которых будут все это обсуждать, это Николь, воюющая с незакрывающимся чемоданом, это догорающая меж двумя пальцами спичка, это портрет в английском музее, сигарета на дне пачки, кораблекрушение у островка, это Калак и Остин, совы, жалюзи и трамваи, все, что всплывает в уме человека, иронически размышляющего о том, что ему однажды придется приступить к рассказу и что, возможно, Элен не будет в «зоне» и не будет его слушать, хотя, по сути, все, что он скажет,— это всегда будет Элен. А вполне может быть и так, что он не только будет в «зоне» один, как нынче в ресторане «Полидор», где все прочее, включая толстяка, не идут в счет, но, может статься, рассказывать придется в еще большем одиночестве, в комнате, где только кошка да пишущая машинка; или, быть может, он будет тем человеком, который на железнодорожной платформе глядит на мгновенно меняющиеся комбинации мошек, снующих под фонарем. Но также может случиться, что все прочее будут в «зоне», как бывало не раз, и что жизнь ворвется к ним, и послышится кашель музейного

---

<sup>1</sup> Спальный вагон (англ.).

смотрителя, меж тем как та рука медленно нащупывает очертания горла и кому-то грезится пляж в Югославии, меж тем как Телль и Николь запихивают кое-как в чемодан одежду, а Элен долгим взглядом смотрит на Селию, которая плачет, повернувшись лицом к стене, как плачут примерные девочки.

Принявшись размышлять в ожидании, пока подадут *hors d'oeuvres*, Хуан без особого труда снова проделал свою прогулку этого вечера. Сперва, вероятно, была книжка Мишеля Бютора, купленная на бульваре Сен-Жермен, а до того — унылое блуждание по улицам и моросящий дождь Латинского Квартала, гложущее чувство от пустынности Парижа в сочельник, когда все сидят по домам, а на улицах остаются только люди вида нерешительного и в некотором роде заговорщического, искоса переглядывающиеся за стойками кафе или на перекрестках, это почти всегда мужчины, но изредка попадает и женщина, несущая сверток как бы в оправдание того, что она находится здесь, на улице, двадцать четвертого декабря, в половине одиннадцатого вечера, и Хуану так хотелось подойти к какой-нибудь из этих женщин — среди них не было ни одной молодой или хорошенькой, все выглядели одинокими и странноватыми, — чтобы спросить, действительно ли она несет что-то в пакете, или это просто узел с тряпьем или тщательно увязанными старыми газетами, обман, отчасти служащий ей защитой, когда она идет по улице одна, меж тем как все люди сидят дома.

Второе, что следовало отметить, была графиня, его ощущение графини, определившееся на углу улиц Месьеле-Пренс и Вожирар — но не потому, что на этом углу было что-либо способное напомнить ему о графине, разве что клочок красноватого неба да запах сырости из подъезда, которые внезапно оказались как бы мостом, равно как Дом с василиском в Вене мог бы в свое время послужить для него переходом на территорию, где ждала графиня. Или же, если вспомнить атмосферу кощунства, постоянной греховности, в которой, вероятно, жила графиня (согласно версии той легенды, в не слишком интересной хронике, читанной Хуаном много лет назад, задолго до Элен и фрау Марты и дома с василиском в Вене), тогда перекресток с клочком красноватого неба и сырой подъезд неотвратимо сливались с убеждением, что именно сочель-

ник благоприятен для появления графини, для ее, иным способом не объяснимого, присутствия в сознании Хуана — он не мог избавиться от мысли, что графине кровь была особенно приятна в такую ночь, как эта, — при колокольном звоне и песнопениях всенощной была особенно вкусна кровь девушки, корчащейся со связанными руками и ногами, так близко от пастухов, и ясель, и агнца, смывающего своей кровью грехи мира. Так что книга, купленная за минуту до того, переход к графине, а потом, уже как-то сразу, без перехода, нелепая, со зловещим фонарем дверь ресторана «Полидор», предвидение полупустого зала, освещение которого в ироническом и раздраженном настроении не назовешь иначе как мертвенным, а в зале том движутся женщины в очках и с салфеткой, и тут легкий спазм в устье желудка, нежелание входить — да и впрямь не было никакого резона входить в подобное заведение, — быстрый гневный диалог, как всегда при бичевании своего извращенного нрава: Войду / Нет / Почему нет / Ваша правда, почему нет / Тогда входите, сударь, по-вашему, тут мрачно, и поделом / За дурость, конечно / Unto us a boy is born, glory hallelujah<sup>1</sup> / Похоже на морг / Он и есть, давай входи / Но еда, наверное, отвратная / А ты же не голоден / Да, это так, но надо ведь будет что-то заказать / Закажи что-нибудь и выпей / Это идея / Охлажденное вино, хорошо охлажденное вино / Ну вот видите, сударь, входите. Но если мне хотелось выпить, почему я зашел в ресторан «Полидор»? Я знал столько уютных баров на правом берегу, вдоль улицы Комартен, где к тому же всегда можно было завершить празднование сочельника в вертепе какой-нибудь блондинки, которая спела бы мне «ноэль» Сентонжа или Камарга, и мы бы недурно позабавились. То-то и оно, как начнешь размышлять, так уж вовсе не понятно, что именно побудило меня после этого диалога все же войти в ресторан «Полидор», постучаться в дверь почти бетховенским стуком, войти в ресторан, где пара очков и салфетка под мышкой уже решительно двигались ко мне, чтобы повести к самому дрянному столику, столику обманов, где сидишь лицом к стене, а стена-то переряжена зеркалом, подобно многим другим вещам в этот вечер и во все вечера, и особенно подобно Элен; вот и сиди лицом к стене, потому что с другой стороны столика, где в нормальных

---

<sup>1</sup> Для нас младенец родился, слава, аллилуйя (англ.).

условиях любой посетитель мог бы сесть лицом к залу, уважаемая дирекция ресторана «Полидор» соизволила водрузить огромную пластиковую гирлянду с цветными лампочками, дабы показать свою заботу о христианских чувствах дорогих клиентов. Ускользнуть от воздействия всего этого невозможно: если я, несмотря ни на что, согласился сесть за столик спиной к залу, имея перед глазами зеркало с его обманным ликом над отвратительной рождественской гирляндой (*les autres tables sont réservées, monsieur / Ça ira comme ça, madame / Merci, monsieur*)<sup>1</sup>, значит, нечто для меня непонятное, но, видимо, глубоко мне присущее заставило меня войти и заказать бутылку «сильванера», которую можно было так легко и приятно заказать в другом месте, среди других огней и других лиц.

Если предположить, что рассказчик будет рассказывать на свой лад, то есть что многое уже будет молча рассказано находящимся в «зоне» (понимающей все без слов Телль или Элен, которую никогда не волнует то, что волнует тебя) или что из листов бумаги, магнитофонной кассеты, книжки, живота куклы сложится что-то совсем не то, чего ждут они от твоего рассказа; если предположить, что рассказываемое будет нисколько не интересно Калаку и Остину и, напротив, отчаянно увлечет Марраста или Николь, особенно Николь, безнадежно в тебя влюбленную; если предположить, что ты примешься бормотать длинную поэму, где говорится о Городе, который они тоже любят, которого боятся и по которому порой бродят; если ты в это время, как бы взамен рассказа, снимешь с себя галстук и наклонишься, чтобы сунуть его, предварительно аккуратно сложив, в руки Поланко, который удивленно на него воззрится и в конце концов передаст его Калаку, не желающему его брать и возмущенно вопрошающему Телль, которая, пользуясь моментом, подстраивает ему ловушку в покере и выигрывает у него партию; если предположить такой абсурд, что в «зоне» в такую минуту могут произойти подобные вещи, стоило бы спросить себя — а есть ли смысл в том, чтобы они ждали, когда ты приступишь к рассказу, и не удовле-

<sup>1</sup> Другие столики заказаны, месье / Ничего, сойдет и так, мадам / Спасибо, месье (*франц.*).

творит ли куда успешнее банановый пончик, о котором думает Сухой Листик, это неопределенное ожидание тех, кто тебя окружает в «зоне», равнодушных и вместе настойчивых, требовательных и насмешливых, как ты сам по отношению к ним, когда приходит твой черед слушать и смотреть, как они живут, причем ты знаешь, что все это идет с той стороны и уходит бог весть куда и именно поэтому почти для всех них так важно?

И ты, Элен, тоже будешь на меня так смотреть? Я увижу, как будут уходить Марраст, Николь, Остин, небрежно прощаясь, с такой миной, словно они пожимают плечами, или же как они будут переговариваться между собой, потому что им тоже надо будет рассказывать, они, видите ли, явились с новостями из Города или же собираются на самолет или на поезд. Я увижу Телль, увижу Хуана (ведь может статься, что я тоже в этот миг увижу Хуана там, в «зоне»), увижу Сухой Листик, Гарольда Гарольдсона и увижу графиню или фрау Марту, если окажусь в «зоне» или в Городе, увижу, как они уходят, глядя на меня. А ты, Элен, ты тоже уйдешь с ними или медленно направишься ко мне и с твоих ногтей будет сочиться презрение? Была ты в «зоне» или привиделась мне во сне? Мои друзья уходят смеясь, мы встретимся снова и будем говорить о Лондоне, о Бонифасе Пертейле, о Городе. А ты, Элен, неужто ты опять будешь только именем, которым я защищаюсь от ничто, призраком, который я выдумываю с помощью слов, меж тем как фрау Марта или графиня приближаются ко мне и глядят на меня?

— Прошу замок с кровью,— сказал толстяк за столиком.

Все было гипотетично, но вполне можно было предположить, что, если бы Хуан не открыл машинально книжку Мишеля Бютора за какую-то долю времени до того, как посетитель сделал свой заказ, слагаемые чувства, от которого у него сжался желудок, остались бы каждое порознь. Но вот случилось так, что с первым глотком охлажденного вина, в ожидании, когда ему принесут устрицу «сен-жак», которую ему вовсе не хотелось есть, Хуан раскрыл книжку, чтобы без особого интереса узнать, что в 1791 году

автор «Аталá» и «Рене» соизволил созерцать Ниагарский водопад, дабы впоследствии сделать знаменитое его описание. В это мгновение (он как раз закрывал книгу, потому что читать не хотелось и свет был отвратительный) он отчетливо услышал просьбу толстяка за столиком, и все это сгустилось в тот миг, когда он поднял глаза и обнаружил в зеркале отражение толстяка, чей голос дошел до него сзади. Нет, тут невозможно отделить одно от другого: отрывочное впечатление от книжки, графиню, ресторан «Полидор», замок с кровью и, пожалуй, бутылку «сильванера»; из них возник вневременной этот сгусток, умопомрачительная, блаженная жуть сверкающего созвездия, дыра для прыжка, который ему предстояло совершить и который он не совершит, потому что это не был бы прыжок к чему-то определенному, и вообще не был бы прыжок. Скорее наоборот, из этой головокружительной пустоты на него, Хуана, прыгали метафоры, как пауки, как прыгали всегда эвфемизмы или слойки из неуловимых смыслов (вот опять метафора), к тому же старуха в очках уже ставила перед ним устрицу «сен-жак», а в таких случаях во французском ресторане надо всегда благодарить словесно, иначе все пойдет наперекос, вплоть до сыров и кофе.

О Городе — который впредь будет упоминаться не с большой буквы, ведь нет причины выделять его, то есть придавать ему особое значение в отличие от городов для нас привычных,— надо бы поговорить прямо сейчас, так как все мы были согласны в том, что с городом могут быть связаны любая местность и любой предмет, вот поэтому и Хуан не считал невозможным, что происшедшее с ним только что исходило каким-то образом из города, было одним из вторжений города или ведущих к нему галерей, возникших в этот вечер в Париже, как могли бы они возникнуть в любом из городов, куда его забрасывала профессия переводчика. По городу случалось бродить всем нам, всегда невольно, и, возвратясь, мы толковали о нем в часы «Клюни», сравнивали его улицы и площади. Город мог явиться в Париже, мог явиться Телль или Калаку в пивной в Осло, кое-кому из нас случалось переходить из города в постель в Барселоне, или же бывало наоборот. Город не требовал объ-

яснения, он был: он возник однажды во время разговора в «зоне», и, хотя первым принес новости из города мой сосед, вопрос о том, побывал ты или не побывал в городе, стал делом самым обычным для всех нас, кроме Сухого Листика. И раз уж зашла об этом речь, следует также сказать, что «мой сосед» — также было у нас обычным выражением, мы всегда называли кого-нибудь из нашей компании «мой сосед», ввел это выражение Калак, и мы употребляли его без всякой иронии — просто званием «сосед» наделяли, как сказано, кого-то из наших, словно приписывая ему роль «дядьки», «воспитателя», «baby-sitter»<sup>1</sup> рядом с чем-то из ряда вон выходящим, тем самым ему поручалось изрекать здравое суждение в своей временной отчужденной роли, притом ни на йоту не теряя качество «нашего», как любой пейзаж в местах, где мы бывали, мог нести на себе черты города или же город мог оставить что-то свое (площадь с трамваями, ряды с торговками рыбой, северный канал) в любом из мест, по которым мы ходили и где жили в то время.

Объяснить себе, почему он заказал бутылку «сильванера», было не слишком трудно, хотя в минуту, когда он принял это решение, он, вероятно, о графине не думал, тут помешал ресторан «Полидор» своим мрачным и вместе с тем ироническим зеркалом, отвлекшим его внимание. От Хуана все же не ускользнуло, что в какой-то мере графиня присутствовала в поступке якобы спонтанном, в том, что он предпочел охлажденный «сильванер» всем другим винам, составлявшим гордость ресторана «Полидор», как в прежние времена она присутствовала в атмосфере подозрений и страха, пленяя своих сообщников и даже свои жертвы особым очарованием, которое, возможно, ей придавала ее манера улыбаться, наклонять голову или, что более вероятно, звук ее голоса или запах ее кожи,— во всяком случае, то было очарование подспудное, не связанное с присутствием, действовавшее как бы исподтишка; и то, что он, не раздумывая, попросил бутылку «сильванера», содержавшего в первых двух слогах — как бывает в шарадах — двусложную основу слова, в котором в свой черед жило географическое название, овеванное древним страхом,— все это, в общем, не выходило за рамки заурядной

---

<sup>1</sup> Приходящая няня (англ.).

звуковой ассоциации. И вот вино стоит перед ним, живое, ароматное, то самое вино, которое возникло во всей полноте яви рядом с другим явлением, с тут же исчезнувшим ослепительным сгустком, и Хуан не мог отделаться от ощущения злой шутки, потягивая вино из бокала, смакуя его на смехотворно доступном уровне и зная, что это всего лишь жалкий придаток к тому, чем ему на самом деле хотелось завладеть и что уже было так далеко. Зато просьба толстяка за столиком имела иной смысл, она побуждала спросить себя, а не возникла ли причинная связь, когда Хуан рассеянно заглянул в книжку Мишеля Бютора за секунду до того, как послышался голос, просивший «кровавый замок», и если бы он не открыл книжку и не наткнулся на фамилию автора «Аталá», прозвучала бы просьба толстяка в безмолвии ресторана «Полидор» так, чтобы сплавить воедино разрозненные или последовательные элементы, или же незаметно примешалась бы к стольким другим голосам и шепотам, звучащим в томной полудреме человека, пьющего «сильванер»? Потому что теперь Хуан мог восстановить тот миг, когда услышал заказ толстяка, и был убежден, что голос этот раздался как раз в один из тех моментов тишины, какие обычно возникают среди коллективного гула и народным воображением, не без смутной тревоги, приписываются вмешательству высших сил, ныне десакрализованному и сведенному к принятой в обществе шутке «тихий ангел пролетел». Но ангелы являются не всем присутствующим, и порой кто-то брякнет свое слово, попросит свой «кровавый замок» как раз в середине паузы, дыры, образовавшейся от полета ангела в звучащем воздухе, и это слово вдруг обретает нестерпимые галб и резонанс, которые надо немедленно погасить — смехом, и избитыми фразами, и возобновленным хором голосов,— не считая другой возможности, открывшейся Хуану сразу же,— той, что дыра в звучащем воздухе была пробита для него одного, а прочих посетителей ресторана «Полидор», похоже, мало интересовало, что кто-то заказал «кровавый замок», поскольку для всех них это было лишь блюдо ресторанного меню. А если бы за секунду до того он не листал книжку Мишеля Бютора, дошел бы до него голос толстяка с такой пронзительной четкостью? Возможно, дошел бы, даже наверняка дошел бы, потому что выбор бутылки «сильванера» указывал на настойчивое присутствие чего-то под внешней рассеянностью,— угол улицы Вожирар присутст-



вовал здесь, в зале ресторана «Полидор», и не помогало ни зеркало с его меняющимися картинами, ни изучение меню, ни улыбка, зеркально отраженная над гирляндой лампочек; то была ты, Элен, и, как и прежде, все было маленькой брошью с изображением василиска, площадью с трамваями, графией, которая каким-то образом была итогом всего. И мне довелось слишком много раз пережить воздействие подобных взрывов некоей силы, исходившей из меня против меня самого же, чтобы не знать, что если иные из них были не более чем молниями, уходившими в ничто, оставляя лишь чувство фрустрации (однообразные *déjà vu*<sup>1</sup>, смысловые ассоциации, образующие порочный круг), то порой, как это случилось со мною только что, внутри у меня что-то всколыхивалось, что-то больно вдруг пронзало, вроде иронической шпильки, вроде захлопнутой перед твоим носом двери. Все поступки мои в последние полчаса выстраивались в ряд, который получал смысл лишь в свете того, что произошло в ресторане «Полидор», с головокружительной легкостью сметая всякую обычную причинную связь. Итак, тот факт, что я раскрыл книжку и рассеянным взглядом прочитал фамилию виконта де Шатобриана, простое это движение всякого хронического читателя — взглянуть на любую печатную страницу, попавшую в поле его зрения, — как бы наделило силой то, что неизбежно за ним последовало, и голос толстяка, в модном парижском стиле проглотивший конец фамилии автора «Атала», дошел до меня отчетливо в паузе ресторанного гула, что, наверно, не случилось бы, не наткнись я на полную его фамилию на странице книги. Значит, необходимо было, чтобы я рассеянно глянул на страницу книги (а за полчаса до того эту книгу купил, сам не зная почему), для того чтобы эта прямотаки жуткая отчетливость просьбы толстяка среди внезапной тишины в ресторане «Полидор» дала толчок и меня огрело ударом бесконечно более сокрушительной силы, чем было ее в какой-либо осязаемой реальности окружавших меня в зале вещей. Но в то же время, если предположить, что моя реакция осуществлялась на словесном уровне, была связана с напечатанным словом и с заказом блюда с «сильванером» и с «кровавым замком», бессмысленно предполагать, что именно прочитанная фамилия автора «Атала» явилась пусковой кнопкой, раз сама

---

<sup>1</sup> Уже виденное (*франц.*) — термин психиатрии.

эта фамилия нуждалась в свою очередь (и *vice versa*<sup>1</sup>) в том, чтобы толстяк высказал свою просьбу, невольно удвоив один из элементов, которые мгновенно сплывались в нечто единое. «Да, да,— сказал себе Хуан, управляясь с устрицей «сен-жак»,— но в то же время я вправе думать, что, не раскрой я книжку на мгновение раньше, голос толстяка слился бы с гомоном зала». Теперь, когда толстяк продолжал оживленно беседовать со своей женой, комментируя отрывки из напечатанной русским алфавитом в «Франс-суар», Хуану отнюдь не казалось — как он ни прислушивался,— что голос толстяка заглушает голос его жены или других посетителей. Если Хуан слышал (если ему показалось, что он услышал, если ему было дано услышать, если ему следовало услышать), что толстяк за столиком потребовал «крававый замок», значит, дыру в звучащем воздухе пробила книжка Мишеля Бютора. Но книгу-то он купил до того, как пришел на угол улицы Вожирар, и, только подойдя к этому углу, почувствовал присутствие графини, вспомнил фрау Марту и Дом с василиском, объединил все это в образе Элен. Если он купил книгу, зная, что покупает ее без надобности и без охоты, но все же купил, потому что двадцать минут спустя книга должна была пробить для него в воздухе дыру, откуда грянет удар, значит, установление какого-либо порядка в этих элементах вряд ли возможно, и это, сказал себе Хуан, допивая третий бокал «сильванера», и было, по сути, самым, так сказать, полезным итогом всего, что с ним произошло: урок, преподанный жизнью, демонстрация того, как в который уж раз «до» и «после» крошились у него в руках, превращаясь в бесполезную труху дохлых бабочек моли.

О городе будет сказано в свое время (даже поэма имеется, которая либо будет процитирована, либо нет), как и о «моем соседе» мог бы рассказать любой из нас, и он в свою очередь мог рассказать обо мне или о других; выше уже говорилось, что звание «сосед» было зыбким и зависело от мгновенного решения любого из нас, причем никто не мог знать с уверенностью, когда он является или не является «соседом» других присутствующих в «зоне» или отсутствующих, а также был ли он «соседом» и уже перестал им быть.

---

<sup>1</sup> Наоборот (*лат.*).

Функция «соседа», видимо, состояла главным образом в том, что некоторые свои слова или поступки мы приписывали «соседу», не столько чтобы избежать ответственности, сколько потому, что «мой сосед» был как бы воплощением стыдливости каждого из нас. Я знаю, что это было так, особенно для Николь, или Калака, или Марраста, но, кроме того, «мой сосед» был ценен как молчаливый очевидец, знавший город, знавший о существовании в нас города, которым мы решили владеть сообща с того вечера, когда в первый раз он был упомянут и стали известны первые его штрихи — отели с тропическими верандами, галереи, площадь с трамваями; никому и в голову бы не пришло сказать, что вот, мол, о городе первыми заговорили Марраст, или Поланко, или Телль, или Хуан, все это было придумкой «моего соседа», и таким манером, приписывая какое-либо намерение или осуществление чего-либо «моему соседу», мы какой-то гранью сообщались с городом. Речь о «моем соседе» или о городе всегда велась с глубокой серьезностью, и никто не подумал бы пренебречь званием «сосед», если один из нас награждал им кого-то даже просто так. Разумеется (надо еще и об этом упомянуть), женщины тоже могли быть «моим соседом», кроме Сухого Листика; каждый мог быть «соседом» другого или всех, и звание это придавало как бы свойство козырной карты, слегка волнуящее могущество, которым приятно было обладать и в случае надобности бросить его на кон. Иногда бывало даже, что мы чувствовали, будто «мой сосед» существует где-то вне всех нас, будто вот мы, а вот он, подобно тому как города, где мы жили, всегда были и городами, и городом; предоставляя слово «соседу», упоминая о нем в письмах и при встречах, вмешивая его в наши жизни, мы порой даже вели себя так, как если бы он уже не был по очереди кем-то из нас, но в некие особые часы жил сам по себе, глядя на нас извне. Тогда мы в «зоне» поспешно наделяли заново званием «моего соседа» кого-то из присутствующих, и уже твердо зная, что ты или он «сосед» вон того или вон тех, мы смыкали ряды вокруг столика в «Клюни» и насмехались над своими иллюзорными ощущениями; но со временем, постепенно, незаметно для самих себя, мы приходили к ним снова, и из открыток Телль

или известий от Калака, из цепи телефонных звонков и передаваемых из одного адреса в другой сообщений опять выростал образ «моего соседа», который не был никем из нас; многие сведения о городе наверняка исходили от него, никто уже не мог вспомнить, что их сообщил кто-то из нас; они каким-то образом прибавлялись к тому, что мы уже знали и пережили в городе; мы принимали их без спора, хотя невозможно было установить, кто первый их высказал; да это было неважно, все исходило от «моего соседа», за все отвечал «мой сосед».

Еда была дрянная, но по крайней мере она была перед ним, равно как четвертый бокал охлажденного вина, как сигарета меж двумя пальцами; все прочее, голоса и образы ресторана «Полидор», доходили до него через зеркало, и, возможно, поэтому или потому, что он пил уже вторую половину бутылки «сильванера», Хуан стал подозревать, что нарушение временного порядка — ставшее для него очевидным благодаря покупке книги, заказу толстяка за столиком и призраку графини на углу улицы Вожирар — обретает забавную аналогию в самом зеркале. Внезапная брешь, в которой так четко прозвучал заказ толстяка и которую он, Хуан, тщетно старался определить в логически понятных терминах «до» и «после», странным образом перекликалась с нарушением порядка чисто оптического, нарушением, которое производилось зеркалом в понятиях «впереди» и «позади». Так, голос, требовавший «кровавый замок», шел сзади, а рот, произносивший эти слова, был перед Хуаном. Хуан отчетливо помнил, что поднял глаза от книги Мишеля Бютора и увидел лицо толстяка как раз в тот миг, когда толстяк собирался сделать заказ. Разумеется, Хуан знал, что то, что он видит, — это отражение толстяка, но все равно образ-то был перед ним, и вот тогда возникла в воздухе дыра, пролетел тихий ангел и голос донесся сзади; образ и голос встретились, идя с противоположных сторон, чтобы пересечься в его внезапно пробужденном внимании. И именно потому, что образ был перед ним, казалось, что голос идет сзади из какого-то очень далекого далека, такого далекого, что тут и речи не могло быть о ресторане «Полидор», или о Париже, или о треклятом этом сочельнике; и все это как бы перекликалось — если можно так выразиться — с разными «до» и «после», в которые я тщетно пытался втис-

нуть элементы того, что сгущалось звездой в моем желудке. Только в одном я мог быть уверен — в этой дыре, возникшей среди гастрономического гомона ресторана «Полидор», когда зеркало пространственное и зеркало временное встретились в точке нестерпимой мгновенной реальности, чтобы затем оставить меня наедине с моим жалким хитроумием, со всеми этими «до», и «позади», и «перед», и «после».

Чуть позже, ощущая привкус гущи дурно сваренного кофе, Хуан отправился под морозящим дождем к кварталу, где расположен пантеон; по пути он покурил, укрывшись в подъезде; опьянев от «сильванера» и усталости, с затуманенной головой, он еще пытался воскресить происшедшее, которое все больше превращалось в слова, в искусные комбинации воспоминаний и обстоятельств, — зная, что в эту же ночь или завтра в «зоне» все, что он расскажет, будет непоправимым искажением, будет упорядочено, представлено в виде развлекательной загадки, шарады в лицах, черепахи, которую вынимают из кармана, как порою «мой сосед» вынимает из кармана улитку Освальда, к радости Сухого Листика и Телль: идиотские забавы, жизнь.

Из всего этого оставалась Элен — как всегда, ее холодная тень в глубине подъезда, куда я укрылся от дождя, чтобы покурить. Ее холодная, отчужденная, неотвратимая, враждебная тень. И еще раз, и всегда: холодная, отчужденная, неотвратимая, враждебная. Зачем ты сюда явилась? Ты не вправе быть среди карт этой колоды, не ты ждала меня на углу улицы Вожирар. Почему ты так упорно лепишься ко мне, почему я должен слышать опять твой голос, твои слова о юноше, умершем на операционном столе, о спрятанной в шкафу кукле? Почему ты опять плакала, ненавидя меня?

Я продолжил свою одинокую прогулку и помню, что в какой-то момент поддался желанию пойти к каналу Сен-Мартен, просто уступая тоске, чувствуя, что там твоя маленькая тень станет менее враждебной — может, потому, что однажды ты согласилась пройтись со мною вдоль канала и я под каждым мутным фонарем видел, как на миг сверкала на твоей груди брошь с василиском. Угнетенный этой ночью, рестораном «Полидор», ощущением удара в живот, я, как всегда, покорился инерции: утром снова начнется жизнь, *glory halleluyah*. Кажется, именно

тогда у меня, сморенного усталостью, возникло смутное понимание, что я бился негодным оружием, пытаюсь что-то понять перед зеркалом ресторана «Полидор», и я догадался, почему твоя тень была все время тут рядом, кружила возле меня, подобно призракам у магического круга, стремясь проникнуть в этот эпизод, стать каждым когтем ударившей меня лапы. Возможно, что в этот момент, в конце нескончаемой прогулки, я и увидел силуэт фрау Марты на барже, бесшумно скользящей по воде, похожей на ртуть; и хотя это произошло в городе, в конце бесконечной погони, мне уже не казалось невероятным, что я вижу фрау Марту в этот сочельник в Париже на канале, который не был каналом города. Я проснулся (надо дать каналу название, Элен) засветло на скамье; и опять мне было очень легко найти убедительное объяснение: то был сон, в нем смешались разные пласты времени, в нем ты — в эту минуту, наверно, спящая, в одинокой своей квартире на улице Кле,— была со мною, в нем я явился в «зону», чтобы рассказать обо всем друзьям, и в нем же я немного раньше поужинал, как на поминальном пиру, среди гирлянд, русских букв и вампиров.

Вхожу я вечером в мой город, я спускаюсь в мой город, где кто-то ждет меня, а кто-то избегает и где надо уйти от страшного свиданья, от чего-то, чему нет имени, от встречи с пальцами, с кусками плоти в шкафу, с душем, которого никак не найдешь, а в моем городе  
есть много душей,  
есть канал, прорезающий мой город посередине,  
и большие корабли без мачт проплывают в нестерпимой  
тишине,  
они идут в порт, который я знаю, но, возвратясь, забываю,  
в порт, совсем непохожий на мой город,  
где никто не всходит на корабль, где остаются навсегда,  
хотя корабли плывут мимо и на гладкой палубе кто-то  
стоит и смотрит на мой город.  
Вхожу, сам не знаю как, в мой город, а порой, иными  
вечерами,  
иду по улицам вдоль домов и знаю, что это не мой город,  
мой город я узнаю по притаившемуся ожиданью,  
по чему-то, что еще не страх, но похоже на страх, и его  
сосущую жуть, и, если это мой город,  
я знаю, что сперва будет рынок с торговыми рядами и с

фруктовыми лотками,  
блестящие рельсы трамвая, уходящего куда-то вдаль,  
туда, где я был юн, но это было не в моем городе, а в  
квартале вроде

Онсе в Буэнос-Айресе; там запах коллегии,  
спокойные стены и белая кенотафия, улица Двадцать  
Четвертого Ноября,  
где, может быть, нет кенотафий, но она есть в моем горо-  
де, когда приходит его ночь.

Вхожу через рынок, где сгущается роса предвесья,  
пока еще безразличного, благодушно грозного, там на  
меня смотрят торговки фруктами,  
они зовут на свидание, возбуждают желание, и мне надо  
идти туда, где скорбь и тлен,  
тлен — вот тайный ключ к моему городу, мерзкое произ-  
водство воскового жасмина,  
вот извилистая улица, ведущая меня на встречу с  
неведомым,  
лица рыбачек, неглядящие их глаза и вызов  
на свидание,  
и потом отель, на одну эту ночь, а завтра  
или когда-то потом будет другой,  
мой город — это бесчисленные отели и всегда один и  
тот же отель,  
тропические веранды с тростниковыми стенками и жалюзи  
и москитные сетки и запах  
корицы и шафрана,  
номера идут один за другим, и во всех светлые обои,  
плетеные кресла,  
и вентиляторы на фоне розового неба, и двери, никуда не  
ведущие,  
нет, ведущие в другие номера, где еще вентиляторы  
и еще двери,  
все это — тайные ступени, ведущие к свиданию, и надо  
входить и идти по безлюдному отелю,  
а то вдруг лифт, в моем городе столько лифтов, почти  
всегда есть лифт,  
в котором страх уже начинает сгущаться, но иногда лифт  
бывает пуст,  
когда тебе хуже всего, лифты пусты, и я должен  
подыматься бесконечно,  
пока не прекратится подъем и лифт не заскользит  
горизонтально,

в моем городе  
лифты похожи на стеклянные клетки и движутся  
зигзагами,  
проезжают по крытым мостам меж двумя зданиями, и  
внизу открывается город и все сильнее кружится голова,  
потому что мне снова надо войти в этот отель или в  
нежилые галереи чего-то,  
что уже не отель, но огромный ангар, куда ведут  
все лифты, и двери, и все галереи,  
и надо выйти из лифта и искать душ или клозет,  
потому что так надо, без объяснений, потому что сви-  
данье — это душ или клозет, а вовсе не свиданье,  
ищи счастья в одних трусах, с мылом и расческой,  
но всегда нет полотенца, надо искать полотенце и клозет,  
мой город — это бессчетные грязные клозеты, и дверца у  
них с глазком,  
но без задвижки, там воняет аммиаком, и душ  
тоже в этом огромном сарае с замызганным полом,  
и всегда там полно людей, людей без лиц,  
но они там,  
они в душевых, они в клозетах, где тоже почему-то есть  
душ,  
где я должен мыться, но нет полотенца и некуда  
положить расческу и мыло, негде оставить одежду, а ведь  
иногда  
я бываю в городе одетый, и после душа надо идти на  
свиданье,  
я пойду по улице с высокими тротуарами, такая улица  
есть в моем городе,  
и выходит она на пустырь, удаляя меня от канала и от  
трамваев,  
и вот я иду по ее тротуарам из оббитых кирпичей, вдоль  
плетеных оград,  
там все встречные враждебны, лошади — призраки и слы-  
шится запах беды.

А не то возьму и пойду по моему городу, и зайду в отель  
или выйду из отеля, и попаду в место, где всюду клозеты,  
загаженные мочой и экскрементами,  
или буду там с тобой, любовь моя, бывало же, что я  
спускался в мой город с тобою  
и в трамвае, набитом чужими, безликими пассажирами,  
вдруг понимал,  
что надвигается ужасное, что нагрянет Жуть, и мне



прижать тебя к себе, уберечь от страха,  
но столько тел разделяло нас, и когда, топчась и толкаясь,  
тебя вынуждали сойти,  
я не мог последовать за тобой, я боролся с коварно ре-  
зиновыми фалдами и лицами,  
с бесстрастным кондуктором, с бегом трамвая и его звон-  
ками,  
пока на каком-то углу не вырвусь, и, соскочив, оказывался  
на сумеречной площадке.  
О, знать, что ты кричала, кричала, заблудившись в моем  
городе, была так близко и так недостижимо,  
навек заблудившись в моем городе, вот это и была Жуть,  
было то самое свиданье,  
роковое то свиданье — мы навек были разлучены в моем  
городе, где  
для тебя, конечно, не будет ни отелей, ни лифтов, ни  
душей, лишь ужас, что ты одна, и вот кто-то  
молча приближается к тебе и кладет тебе на губы бледный  
палец.

Или еще вариант — я стою и смотрю на мой город с борта  
корабля без мачт, плывущего по каналу; мертвая тишина  
и мерное скольжение к чему-то, чего мы никогда не  
достигнем,  
ибо в какой-то миг корабль исчезает, а вокруг лишь  
перрон да запоздавшие поезда,  
забытые чемоданы, бесчисленные пути  
и неподвижные поезда, которые вдруг трогаются, и вот  
это уже не перрон,  
а надо идти по путям, чтобы найти свой поезд, и чемоданы  
затерялись,  
и никто ничего не знает, кругом пахнет углем и унифор-  
мой бесстрастных кондукторов,  
пока наконец заберешься в отправляющийся вагон  
и пойдешь по поезду, которому нет конца,  
где пассажиры спят, сгрудясь в купе с потертыми  
сиденьями,  
с темными шторками и запахом пыли и пива,  
и надо идти в хвост поезда, ведь где-то там надо встре-  
титься  
неизвестно с кем, свиданье назначено с кем-то неизвест-  
ным, и чемоданы потерялись,  
и ты тоже иногда бываешь на станции, но твой поезд —

это другой поезд, твоя Жуть — другая Жуть, и мы не  
встретимся, любовь моя,  
я снова потеряю тебя в трамвае или в поезде, я побегу  
в одних трусах  
среди людей, толпящихся или спящих в купе, где фио-  
летовый свет  
обдаёт пыльные шторы, занавеси, скрывающие мой  
город.

Элен, если бы я сказал им, ждущим (потому что они здесь ждут, чтобы кто-то начал рассказывать, да по порядку), если бы я им сказал, что все, по сути, сводится к тому местечку на камине у меня в Париже, между маленькой статуэткой работы Марраста и пепельницей, тому местечку, которое я приберегал, чтобы положить там твое письмо, тобою так и не написанное. Если бы я рассказал им про угол улицы Эстрапад, где я ждал тебя в полночь под дождем, роняя один за другим окурки в грязную лужу с мерцающей звездой плевка. Но рассказывать, сама знаешь, означало бы наводить порядок, вроде того как из птицы делают чучело, и в «зоне» тоже это знают, и первым улыбнулся бы мой сосед, и зевнул бы первым Поланко, да и ты, Элен, когда вместо твоего имени я стал бы выпускать колечки дыма или описательные обороты. Видишь ли, до самого финала я не смогу согласиться, что все должно было произойти так, до самого финала я лучше буду называть фрау Марту, которая ведет меня за руку по Блютгассе, где в мгlistом тумане еще маячит дворец графини, я буду упорно подменять девушку из Парижа девушкой из Лондона, одно лицо другим, и когда почувствую себя припертым к краю неизбежного твоего имени (ведь ты все время будешь тут, чтобы вынудить меня назвать его, чтобы наказать себя и отомстить за себя на мне и мною), у меня еще останется выход — можно поиграть с Телль, повообразить меж двумя глотками сливовицы, что все произошло вне «зоны», в городе, если тебе угодно (но там может быть хуже, там могут тебя убить), и, кроме того, там будут друзья, будут Калак и Поланко, они будут забавляться лодками и лютнистами, это будет общая ночь, ночь по сю сторону, ночь-покровительница с газетами, и с Телль, и с гринвичским временем.

Элен, вчера я получил из Италии вполне обычную цветную открытку с видом Бари. Но если повернуть ее

вверх ногами и смотреть прищулив глаза, то эти соты с тысячами сверкающих ячеек и каймой моря вверх кажутся абстрактной картинкой удивительной тонкости. Я взял и отрезал ту ее часть, где не выделялись ни примечательные здания, ни знаменитые шириной проспекты; так она и стоит, прислоненная к стакану с моими карандашами и трубками. Я смотрю на нее, и передо мной вовсе не итальянский город, а кропотливо выписанное нагромождение крошечных ячеек, розовых и зеленых, белых и голубых, и это утоляет жажду чистой красоты. Понимаешь ли, Элен, я мог бы описывать мой Бари, перевернутый вверх ногами и обрезанный, увиденный в другом масштабе, с другой ступеньки, и тогда зеленое пятнышко, оттеняющее весь верхний план моей маленькой картонной драгоценности, прислоненной к стакану, зеленое это пятнышко, которое (и мы могли бы это установить, потратив два часа в самолете плюс сколько-то там в такси) является домом номер такой-то улицы такой-то, где живут мужчины и женщины с такими-то именами, так вот, это зеленое пятнышко обретает другое значение, я могу говорить о нем как о чем-то существующем для меня, отвлекаясь от дома и его обитателей. И когда я примеряю себя к тебе, Элен, мне кажется, что ты извечно была для меня как это крошечное зеленое пятнышко на моем обрезке открытки — я могу показать его Николь, или Селии, или Маррасту, могу показать тебе, когда мы встретимся за столиком в «Клюни» и заговорим о городе, о поездках, среди шуток, и анекдотов, и эволюций улитки Освальда, тихонько прячущейся на ладони у Сухого Листика. А под этим скрыт страх, отказ согласиться с тем, что нынче вечером швырнули мне в лицо ресторанное зеркало, толстак за столиком, раскрытая наугад книжка да запах сырости из подъезда. Но теперь выслушай меня, хотя бы ты и спала сейчас одна в своей квартире на улице Кле, ведь молчание — это тоже предательство. До самого финала я буду думать, что мог ошибиться, что улики, которые пятнают тебя в моих глазах, от которых меня тошнит каждое утро этой жизни, мне опостылевшей, порождены, возможно, тем, что я не сумел отыскать истинный порядок и что ты сама, Элен, никогда не понимала, что происходит, не понимала смерти юноши в клинике, куклы месье Окса, плача Селии, что ты просто неверно раскинула карты, выдумала себе такое их расположение, которое напорочило тебе быть тем, чем ты не являешься, тем, во что я до

сих пор упорно отказываюсь верить. И если бы я промолчал, это было бы предательством, никуда ведь не денешься, карты налицо, как кукла в твоём шкафу или вмятина от моего тела в твоей постели, и я попробую раскинуть их по-своему раз и еще раз, пока не придет уверенность, что комбинация неуклонно повторяется, или пока наконец не увижу тебя такой, какой хотел бы встретить в городе или в «зоне» (твои открытые глаза в комнате города, твои непомерно открытые, не глядящие на меня глаза); и тогда молчать было бы подло, ты и я слишком хорошо знаем о существовании чего-то, что не есть мы и что играет этими картами, в которых мы то ли трефы, то ли черви, но уж никак не тасующие их и раскладывающие руки,— такая умопомрачительная игра, в которой нам дано лишь узнавать нашу судьбу, как она ткется или распускается с каждым ходом, узнавать, какая фигура идет до нас или после, в каком наборе рука выкладывает нас противнику, узнавать борьбу взаимоисключающих жребиев, которая определяет нашу позицию и наши отказы. Прости меня за этот язык, иначе сказать не могу. Если бы ты сейчас меня слушала, ты бы согласилась, кивнув с тем серьезным выражением лица, которое иногда делает тебя чуть более близкой легкомыслию рассказчика. Ах, уступить этому непрерывно меняющемуся сплетению сетей, покорно войти в колоду, подчиниться тому, что нас тасует и распределяет, какой соблазн, Элен, как приятно колыхаться, лежа на спине в спокойном море! Взгляни на Селию, взгляни на Остина, на эту пару зимородков, колышущихся на волнах непротивления по воле судьбы. Взгляни на бедняжку Николь, которая следует за моей тенью, умоляюще сложив руки. Но я слишком хорошо знаю, что для тебя жить означает сопротивляться, что ты никогда не признавала подчинения; хотя бы поэтому — уж не говоря обо мне или многих других, игравших в эти игры,— я заставляю себя быть тем, кого ты не станешь слушать или будешь слушать с иронией и этим окончательно побудишь меня говорить. Ты же видишь, я говорю не для других, хотя другие слушают меня; если хочешь, скажи мне, что я продолжаю играть словами, что я тоже тасую их и бросаю на стол. Владычица сердец, посмейся надо мною еще раз. Скажи: я не могла этому помешать, это было безвкусно, как вышитое сердце. Я все равно буду искать подступов, Элен, на каждом углу буду спрашивать направление, я учту все — площадь

с трамваями, Николь, брошь, которая была на тебе в ночь канала Сен-Мартен, куклы месье Окса, призрак фрау Марты на Блютгассе, важное и неважное, я все перетасую снова, чтобы найти тебя такой, какой хочу,— перетасую и случайно купленную книжку, гирлянду лампочек, даже глыбу антрацита, которую Марраст искал на севере Англии, глыбу антрацита для статуи Верцингеторига, заказанной и наполовину оплаченной муниципалитетом Аркейля<sup>1</sup>, к превеликому огорчению благомыслящих горожан.

«Еще не все кончено,— подумал мой сосед,— не все кончено, если он способен на минуту отвлечься от дифирамбов и гаданий и вспомнить о таких, к примеру, вещах, как глыба антрацита. Нет, он еще не совсем погиб, если способен помнить о глыбе антрацита».

— Мы ждем, че,— сказал мой сосед.— Что произошло в ресторане, мы уже знаем, если там действительно что-то произошло. А потом?

— Уж, наверно, дождик был что надо,— сказал Поланко.— Так всегда бывает, когда ты...

— Когда ты — что? — спросила Селия.

Поланко посмотрел на Селию и грустно покачал головой.

— Это со всеми бывает,— утешила его Селия.— Известно, вид парамнезии.

— Бисбис, бисбис,— сказала Сухой Листик, которую чрезвычайно возбуждали научные термины.

— Помолчи-ка, дочушка,— сказал Селии Поланко.— Давай не будем ему мешать, не будем затыкать бутылку, жажда предшествует ее утолению и куда похвальнее сытости. Конечно, по существу ты права, потому что когда этот тип начинает восторгаться своими сгустками или как их там, это уж он заливает.

Элен молчала, не спеша затягиваясь сигаретой, внимательная и далекая, как всегда, когда я говорил. Я ни разу ее не упомянул (в конце концов, что я им такое напелл, какую странную мешанину из зеркал и «сильванера», чтобы позабавить их в сочельник?), однако она будто знала, что речь идет о ней, и, пока я говорил, пряталась за своей сигаретой или за случайным замечанием, обращенным к Телль или к Маррасту, вежливо

---

<sup>1</sup> Аркейль — город в 6 милях к югу от Парижа.

прислушиваясь к рассказу. Были бы мы с нею одни, она, думаю, сказала бы мне: «Я не отвечаю за образ, который тебя преследует». Сказала бы без улыбки, но почти любовно. «Если бы я случайно увидела тебя во сне, ты бы за это не отвечал»,— могла бы мне сказать Элен. «Но это был не сон,— ответил бы я ей,— и вдобавок я не уверен, имела ли ты к этому отношение, или же я приплел тебя по своему обыкновению, по глупой привычке». Вообразить такой диалог было нетрудно, но, окажись я наедине с Элен, она бы мне этого не сказала, ничего, вероятно бы, не сказала, как всегда, внимательная и далекая; и я еще раз приплетал ее в своем воображении, не имея на то права, в виде утешения за такую далекость и молчание. Нам с Элен уже нечего было сказать друг другу, хотя было сказано так мало. Почему-то — но от нас обоих ускользало почему, впрочем, это, возможно, и прояснилось тем, что произошло нынче вечером в ресторане «Полидор»,— мы с нею уже не совпадали ни в «зоне», ни в городе, хотя и встретились за столиком в «Ключи» и беседовали с друзьями, а иногда, коротко, и друг с другом. Только я надеялся, а Элен просто сидела, внимательная и далекая. Если где-то на последнем рубеже моей честности Элен, и графиня, и фрау Марта сливались для меня в один ужасающий образ, то разве Элен не говорила мне прежде — или не скажет потом, будто я не знал этого с самого начала, не знал всегда,— что единственный образ, в котором я живу в ее сознании,— это образ человека, умершего в клинике? Мы обменивались видениями, метафорами или снами; до или после мы оставались каждый сам по себе, вечер за вечером переглядываясь поверх чашечек с кофе.

И раз уж зашел разговор о снах, так когда на наших дикарей найдет стих толковать о коллективных снах — нечто аналогичное городу, но тщательно отделяемое, потому что никто не подумает смешивать город со снами, вроде как жизнь с игрой,— они впадают в ребячливость, для людей серьезных прямо-таки отталкивающую.

Начинает почти всегда Поланко: слушайте, мне снилось, что я стою на площади и вдруг вижу на земле сердце. Поднимаю его, а оно бьется, это было человеческое сердце, и оно билось, тогда я понес его к фонтану, отмыл, как мог,— оно было все в пыли

и с налипшими листьями — и пошел сдать его в полицию на улице Л'Аббе. Все было совершенно не так, говорит Марраст. Ты его помыл, но потом без всякого почтения завернул в старую газету и сунул в карман пиджака. Как он мог сунуть его в карман пиджака, если он был в одной сорочке? Нет, я был в пиджаке, говорит Поланко, и отнес сердце в полицию, и мне выдали квитанцию, и это было самое необычайное в моем сне. Нет, ты его не отнес, говорит Телль, мы видели, как ты входил к себе в дом и прятал сердце в стенной шкаф, в тот, на котором висит золотой замок. О да, только вообразить, Поланко с золотым замком, нахально смеется Калак. Нет, я отнес сердце в полицию, говорит Поланко. Ладно уж, соглашается Николь, наверно, это было второе сердце, мы же все знаем, что ты их нашел по крайней мере два. Бисбис, бисбис, говорит Сухой Листик. Теперь, когда я подумал, говорит Поланко, я вспоминаю, что, кажется, нашел их около двадцати. О господи боже, я же забыл о второй половине сна! Ты нашел их на площади Мобер под кучей мусора, говорит мой сосед, я видел тебя из кафе «Матросы». Да, и все бились, с восторгом говорит Поланко. Я нашел двадцать сердец, а с тем, что отнес в полицию, двадцать одно, и все бились как сумасшедшие. Ты не отнес его в полицию, говорит Телль, я видела, как ты прятал его в шкаф. Во всяком случае, оно билось, допускает мой сосед. Может, и так, говорит Телль, билось оно или нет, мне наплевать. Нет, женщины неподражаемы, говорит Марраст, им, представьте, все равно, бьется сердце или нет, они видят только золотой замок. Не будь женоненавистником, говорит мой сосед. Весь город был усеян сердцами, говорит Поланко, я очень хорошо помню, удивительное было дело. И подумать, что я сначала вспомнил только об одном сердце. С чего-то же надо начать, говорит Хуан. И все бились, говорит Поланко. И на что это им надо было, говорит Телль.

Почему доктор Даниэл Лайсонс, Д. Г. П., Д. М.<sup>1</sup>, держал в руке стебель *hermodactylus tuberosis*<sup>2</sup>? Первое, что

<sup>1</sup> ДГП — Доктор Гражданского права; ДМ — Доктор медицины (англ. DCL, MD).

<sup>2</sup> Безвременник (Колхикум) — луковичное растение, применяемое в медицине.

сделал Марраст — не зря же он был французом,— он обследовал поверхность портрета (написанного в трудные дни Тилли Кеттлом) в поисках объяснения научного, зашифрованного или даже масонского; затем он обратился к каталогу Института Куртолда, но тот коварно сообщал лишь название растения. Возможно, во времена доктора Лайсонса мягчительные или отвлекающие свойства *hermodactylus tuberosis* оправдывали изображение его в руках Д. Г. П., Д. М., но уверенности не было, и за неимением лучшего занятия в те дни Марраст заинтересовался этой проблемой.

Второе, что его тогда занимало, было объявление в «Нью-стейтсмен», где в квадратной рамке микроскопически значилось: *Are you sensitive, intelligent, anxious or a little lonely? Neurotics Anonymous are a lively, mixed group who believe that the individual is unique. Details s.a.e., Box 8662*<sup>1</sup>. Началось все с того, что Марраст задумался над этим объявлением в полумраке номера в «Грешам-отеле». Возле окна, почти полностью закрытого шторой, чтобы избавиться от мерзких силуэтов домов на противоположной стороне Бедфорд-авеню, а главное, от шума автобусов 52, 52А, 895 и 678, Николь усердно рисовала гномов на плотной бумаге типа «кансон» и время от времени обдувала кисточки.

— Нет, отказываюсь,— сказал Марраст, внимательно изучив объявление.— Я, как и они, считаю себя чувствительным, робким и немного одиноким, но факт, что я не умен, раз мне никак не удастся уловить связь между этими качествами и заявлением, что «Анонимные невротики» полагают индивидуальное единственным в своем роде.

— О,— сказала Николь, видимо слушавшая не слишком внимательно,— Телль говорит, что многие из этих объявлений зашифрованы.

— Как по-твоему, получился бы из меня порядочный анонимный невротик?

— О да, Мар,— сказала Николь, улыбаясь ему, словно издали, и подбирая нужную краску для колпачка второго гнома слева.

Марраст с минуту поколебался, выбросить ли газету или запросить, как предлагалось, о подробностях, но в

---

<sup>1</sup> «Вы чувствительны, умны, робки или же немного одиноки? Общество «Анонимные невротики» — группа приятных и самых разных людей, полагающих, что все индивидуальное единично. Подробности в/ысылаем/ п/олучив/ к/онверт/с м/аркой». Почтовый ящик 8662 (англ.).



конце концов решил, что вопрос о стебле *hermodactylus tuberosis* более интересен, и он объединил два эти предмета, адресовав на почтовый ящик 8662 краткое письмо о том, что «Анонимные невротики» были бы гораздо полезней для общества и, главное, для самих себя, если бы оставили в покое свои единственные в своем роде индивидуальности, и направились бы в зал номер два (следовало указать местонахождение портрета), и попытались бы разрешить загадку изображенного растения. Письмо он послал анонимно, что казалось ему в высшей степени логичным, хотя Калак и Поланко не преминули ему заметить, что его фамилия происходила из мест, лежащих слишком далеко за *white cliffs*<sup>1</sup> Дувра, чтобы привлечь внимание чувствительных и робких невротиков. Дни в Лондоне проходили для Марраста в подобных развлечениях, потому что после первых нудных демаршей ему ужасно не хотелось заниматься глыбой антрацита, а, возвратясь во Францию, он сразу же должен был приступить к созданию статуи воображаемого Верцингеторига, наполовину уже оплаченной муниципалитетом Аркейля, но которую из-за отсутствия подходящего куска антрацита он не мог начать. Все это откладывалось на потом, на будущее, о котором он мало думал; было приятно бродить по Лондону, почти всегда в одиночестве, хотя иногда и Николь выходила с ним, и они молча, изредка обмениваясь вежливыми репликами, шли по Вест-Энду или к конечной остановке какого-нибудь автобуса и садились в него, даже не взглянув на номер. В эти дни Маррасту было трудно оторваться от любого места, любого столика в кафе, любой картины в музее, и когда, вернувшись в отель, он заставлял Николь все так же рисующей гномов для какой-то детской книжки — причем выходить с ним она отказывалась или же выходила из чистого милосердия, — ежедневное повторение все тех же заранее известных фраз, тех же улыбок при тех же поворотах разговора, весь этот банальный и вместе с тем полный гнетущей тоски словесный хлам, к которому сводилась его речь, внушал ему смутный ужас. Тогда он отправлялся к двум аргентинцам, поселившимся в отеле по соседству, или проводил послеобеденное время в каком-нибудь музее или за чтением газет в парке, вырезая объявления, чтобы что-то делать, чтобы постепенно привыкать к тому, что Николь не спросит его, где он был,

---

<sup>1</sup> Белые утесы (англ.).

что она только поднимет глаза от гномов и улыбнется ему прежней улыбкой, но не больше, пустой улыбкой, привычкой к улыбке, в которой, возможно, притаилась жалость.

Так минуло четыре или пять дней, но вот однажды утром он снова пришел в Институт Куртолда, где его уже считали тронувшимся, потому что он бесконечно долго стоял перед портретом доктора Даниэла Лайсонса и почти не глядел на «Те рериоа» Гогена. Словно мимоходом он спросил у наименее чопорного из зрителей, нет ли в картине Тилли Кеттла чего-то особо примечательного, что ему, жалкому французу, хотя и скульптору, не известно. Зритель взглянул на него с легким удивлением и удостоил ответа, сказав, что и сам он, подумав, недоумевает, почему в эти дни множество посетителей упорно разглядывают этот портрет, впрочем, судя по их лицам и замечаниям, видимо, без особых результатов. Самой рьяной казалась одна дама, явившаяся с толстым ботаническим трактатом, чтобы проверить название растения, и так громко щелкавшая языком, что это переполошило тех, кто стоял у других картин. Зрителей беспокоит непонятный интерес к картине, до сих пор не вызывавшей скопления зрителей, и они уже сообщили об этом директору (весть эта вызвала у Марраста плохо скрытое веселье), на днях, видите ли, ждут инспектора из дирекции музеев, и ведется скрытый учет посетителей. С деланным равнодушием Марраст сумел выведать, что портрет доктора Лайсонса привлек в эту неделю больше публики, чем «Bar des „Folies-Bergères“»<sup>1</sup> Мане, являвшийся в некотором роде Джокондой их Института. Не оставалось уже никаких сомнений, что у анонимных невротиков были затронуты самые глубокие струны их чувствительности, их ума, их робости и их некоторого одиночества и что посланный по почте энергичный удар хлыста оторвал их от самосожаления, столь заметного в их рекламе, дабы устремить к деятельности, о целях которой никто из них, даже сам зачинщик, не имел ни малейшего понятия.

Ни малейшего понятия. Пожалуй, не совсем так. Потому что Марраст был из тех, кто стремится понять, усложняя (а по его мнению, провоцируя), либо усложнять, понимая (по мнению его, а может, и других, так как всякое понимание «множит»), и эта преимущественно

---

<sup>1</sup> «Бар в „Фоли-Бержер“» (франц.).

французская его склонность часто обсуждалась Хуаном, Калаком или моим соседом, людьми, с которыми он встречался в Париже и которые спорили обо всем с тем упрямством, что порождается витающим в атмосфере кафе ощущением некой дипломатической неприкосновенности, интеллектуальной и моральной вседозволенности. Уже в эти лондонские дни Калак и Поланко выразили сомнение в плодотворности спровоцированных Маррастом общений, и, наверное, кое в чем наши два дикаря из пампы были правы, ибо стебель *hermodactylus tuberosis* продолжал оставаться столь же загадочным, как и прежде. Но стебель был лишь поводом вырваться из круга, внутри которого Николь рисовала гномов или ходила с Маррастом по улицам, причем он знал, что в конце концов — который и концом-то не будет — опять будут гномы и молчание, изредка прерываемое вежливыми, нейтральными фразами по поводу какой-нибудь торговой витрины или фильма. Марраста не слишком тешило, что анонимные невротики получили повод выйти на время из своих кругов, но то, что он расковал эту деятельность, было как бы временной компенсацией, помогавшей меньше ощущать замкнутость в собственном круге. «Опьянение могуществом», — сказал он себе, бросая последний взгляд на портрет доктора Лайсонса. «Ах, утешение для идиотов». При всем том его диалог со зрителем представлял совершенный стереотип, не мешая одновременно думать о своем. Все-таки это странно / Разумеется, сэр, раньше никто на него не смотрел / А теперь вдруг такое... / Это началось дня три тому и все продолжается / Но я не вижу, чтобы сейчас кто-нибудь особенно им интересовался / Еще рано, сэр, народ собирается часов с трех / Я, например, не нахожу в этом портрете ничего примечательного / Также и я, сэр, но это вещь музейная / О да, конечно / Портрет восемнадцатого века / (Девятнадцатого) / Ну ясно / Да-да, сэр / Что ж, мне пора / Очень приятно, сэр /

В дни между вторником и субботой беседа несколько варьировалась.

Было всего около одиннадцати, а Николь просила его дать ей закончить до обеда один из листов, поэтому у Марраста осталось времени с избытком, и он смог встретиться с м-ром Уитлоу, владельцем оптового магазина художественных принадлежностей на Портобелло-роуд, чтобы выяснить, не смогут ли они отправить для него во Францию глыбу антрацита в сто пятьдесят кубических метров.

М-р Уитлоу, подумав, сказал, что в принципе это возможно, если только Марраст подробнее объяснит ему, какой должна быть эта глыба, ибо, насколько он знает, этот минерал в каменоломнях Сусекса попадаетея не часто, кроме того, надо знать, кто, когда и как оплатит глыбу. Маррасту понадобилось много времени, чтобы выяснить, что у м-ра Уитлоу было о муниципалитете Аркейля не слишком четкое представление, несмотря на эстетические познания, необходимые для владельца такого магазина, и он заподозрил, что под этим незнанием кроется типично британская неприязнь к Франции за ее безразличие к жизни и творчеству Тернера или Сиккерта.

— Может быть, вам стоило бы съездить в Нортумберленд,— посоветовал м-р Уитлоу с заученным выражением лица, напомнившим Маррасту мину, с какой сбрасываешь с рукава муху, не считая невежливым такое обращение с насекомым.

— Мне было бы удобнее купить эту глыбу в Лондоне,— сказал Марраст, который терпеть не мог сельскую местность и пчел.

— Таких кусков угля, как в Нортумберленде, нигде не найдете, и я могу дать вам письмо к моему коллеге, который когда-то продавал материалы Архипенко и сэру Джекобу Эпстайну.

— Мне теперь ехать было бы затруднительно,— сказал Марраст.— Я должен сидеть в Лондоне и ждать, пока решится один вопрос в одном музее. Почему бы вам не написать вашему коллеге и не выяснить, есть ли у него большие куски антрацита и сможет ли он отправить один из них в Аркейль?

— Разумеется, можно,— сказал м-р Уитлоу, явно держась иного мнения.

— На следующей неделе зайду к вам опять. Да, раз уж мы об этом заговорили, не знакомы ли вы с директором Института Куртолда?

— О да,— сказал м-р Уитлоу,— он приходится дальним родственником моей жене. («Мир тесен»,— подумал Марраст, скорее восхищенный, чем удивленный.) Гарольд Гарольдсон, бывший художник, писал натюрморты, скандинав по отцовской линии. В первую мировую лишился руки, замечательный человек. Ему так и не удалось приучиться писать левой рукой. Любопытно, что человек в некоторых вещах — это всего лишь его правая рука, верно? Я-то думаю, что он просто нашел прекрасный

предлог, чтобы закинуть в кусты свою палитру — как художника его никто не ценил. На своих полотнах он упорно громоздил тыквы, тема не такая уж привлекательная. Тогда сэр Уинстон назначил его директором, и он теперь чудеса делает с живописью других. Не кажется ли вам, что, по сути, каждый из нас — это два человека: один левый, другой правый? Один полезный, другой никуда не годный?

— Тонкая проблема, — сказал Марраст, — тут надо бы основательнее изучить понятие «человек-микрокосм». А я с этими хлопотами насчет глыбы угля...

— Во всяком случае, он директор, — сказал м-р Уитлоу. — Но если вы хотели бы встретиться с ним по поводу глыбы, должен предупредить, что в его обязанности не входит...

— Ни в коем случае, — сказал Марраст. — Дело с глыбой, я уверен, сможете для меня уладить вы и ваш коллега в горах. Просто я рад, что спросил о нем и что он оказался вашим родственником, это упрощает мою задачу. Передайте ему, — значительно произнес Марраст, — чтобы он остерегался.

— Остерегался? — переспросил м-р Уитлоу, и впервые в его голосе прозвучало что-то человеческое.

Из последовавшего разговора некоторый интерес представляли только реплики Марраста: Это всего лишь предположение / ... / Я в Лондоне только проездом и думаю, что я не самый подходящий кандидат, чтобы / ... / Разговор, случайно услышанный в одном пабе <sup>1</sup> / ... / Говорили по-итальянски, это все, что я могу вам сообщить / ... / Я предпочел бы, чтобы вы не называли мое имя, ведь вы можете сказать ему прямо, как родственник / ... / О, что вы, не за что.

Несколько позже, после нескончаемой прогулки по Стрэнду, соразмерной с числом гномов, которых Николь осталось нарисовать, он позволил себе роскошь потешиться и с удовлетворением электромонтера признать, что неожиданное родство Гарольда Гарольдсона и м-ра Уитлоу замечательно замкнуло один из контактов линии. Первые спайки были, на взгляд, никак меж собой не связаны, вроде бы соединяешь элементы конструктора, не имея в виду никакой определенной модели, и вдруг — но для нас-то, если поразмыслить, это не было так уж

---

<sup>1</sup> Пивная (англ.: pub).

необычно — глыба антрацита повлекла за собой м-ра Уитлоу, а тот — Гарольда Гарольдсона, который в свою очередь присоединился к портрету доктора Лайсона и анонимным невротиком. Моему соседу подобная история показалась бы вполне естественной, а возможно, и Хуану, склонному видеть все как бы в галерее зеркал и вдобавок, наверно, уже понявшему, что Николь и я, с некоего вечера на итальянском шоссе, включились в узоры калейдоскопа, который он хотел зафиксировать и описать. В Вене (если он находится в Вене, но, вероятно, он там, потому что Николь три дня тому назад получила открытку от Телль; он бродит по городу и, как всегда, впутывается в нелепые истории, хотя не мне бы это говорить о Хуане, когда и тридцати минут не прошло после моей беседы с м-ром Уитлоу и сообщения о специалистке по ботанике, целыми часами изучающей стебель *hermodactylus tuberosis*), в Вене у Хуана могло оказаться вдоволь времени, чтобы думать о нас, о Николь, томящейся и как бы заброшенной, хотя никто ее не бросал, и обо мне — как вот сейчас я пью пиво и спрашиваю себя, что буду делать, что мне еще остается делать.

Свободным пальцем — остальные были заняты стаканом и сигаретой — Марраст изобразил пивной пеной нечто вроде крота и смотрел, как он постепенно расплывается по желтой пластиковой скатерке. «Все было бы так просто, если бы он ее любил», — подумал он, подрисовывая кроту брюшко. Возможно, что и Хуан думает нечто подобное сейчас, когда цветок в калейдоскопе изящно застыл, в неизбежной своей скучной симметрии, но никому не дано быть синим осколком или пурпурным кружочком и менять узор — когда трубка вращается и сам собою возникает включающий тебя узор, — нельзя же быть сразу и рукой и узором. Как знать, размышлял Марраст, начиная другой рисунок, может, и в самом деле идет какая-то игра вне нас, за пределами наших чувств и желаний, но, во всяком случае, теперь никто не мог его лишить сардонической радости при мысли о мине Гарольда Гарольдсона, когда тот услышит по телефону неотвратимое, почти роковое сообщение м-ра Уитлоу. «Будем упражняться, — думал Марраст, глядя на часы, отмечавшие последнего гнома, нарисованного Николь в «Грешам-отеле», — не будем вести себя, как она, застывшая в своем кресле, отдающаяся воле судьбы, синий осколочек в узоре

Хуана. Увы, очень скоро один из троих сделает то, что принято, скажет то, что надо сказать, совершит положенную глупость — уйдет, или вернется, или ошибется, или заплачет, или покончит с собой, или пожертвует собой, или смирится, или влюбится в другого, или получит премию Гуггенхейма, в общем, сделает обычный, стандартный ход, и мы перестанем быть тем, чем были, вольемся в благомыслящую и благопоступающую массу. Нет, брат, уж лучше упражняться в играх, более достойных художника на досуге, — представим себе мину Гарольда Гарольдсона в этот самый момент, ряды зрителей получают подкрепление, не смейте покидать зал номер два, мы поставим электронную сигнализацию, надо просить о кредитах, я свяжусь со Скотланд-Ярдом, у меня поднимется давление, схожу к доктору Смигу, теперь надо в кофе класть поменьше сахара, лучше нам не ехать на континент, дорогая, в Институте критическое положение, понимаешь, обязанности». Пожав плечами, он выбросил за борт бесконечный ряд возможных следствий (а он уже дошел до момента, когда супруга Гарольда Гарольдсона возвращает в магазин пару чемоданов, специально купленных для поездки в Канн: мой муж вынужден отказаться от отдыха, о да, очень прискорбно, но, знаете ли, обстоятельства) и направился в отель с мыслью зайти за Калаком и Поланко, чтобы они пообедали с ним и с Николь, — необходимая прокладка, заполнение диалогов, будет легче, что не придется встречаться глазами с Николь, что Николь будет смотреть на друзей и смеяться их новостям и похождениям, истории с Гарольдом Гарольдсоном и глыбой антрацита, они снова будут в «зоне» с двумя аргентинскими дикарями, в «зоне», где для них двоих возможно держаться достойно, вдали от атмосферы номера в «Грешам-отеле», от молчания, встречающего тебя в номере, или любезно поясняющих фраз, оконченных и высохших гномов, от поцелуя, который он запечатлеет на волосах Николь, от доброй улыбки Николь.

Не очень хорошо помню, как я добрался до канала Сен-Мартен. Возможно, я сел в такси и попросил подвезти меня к Бастилии, откуда я мог пройти пешком до площади Республики, во всяком случае, помню, что некоторое время шел под дождем, что книжка Бютора

промокла и я оставил ее в каком-то подъезде и что под конец дождь прекратился и я пошел и сел на одну из скамеек, прячущихся за оградой и решетками шлюза.

В эту пору я с горькой ясностью чувствовал свою ошибку, допущенную в сочельник, то, что я словно бы ждал в пределах времени чего-то, что в ресторане «Полидор» обрушилось на меня и в тот же миг рассыпалось, как бы оскорбленное моим ничтожеством, моей неспособностью раскрыться навстречу смыслу этих знаков. Я съежился вместо того, чтобы поддаться занятному случаю, что было бы своего рода бегством из нелепой области надежд, оттуда, где уже не на что надеяться. Но теперь, из-за того ли, что я так сильно устал, промок и позади были «сильванер» и сочельник, я перестал надеяться и на миг осознал, что смысл тех знаков, вероятно, тоже не был ни смыслом, ни ключом, но скорее вслепую избранным поведением, готовностью к тому, что вскоре выявится или осветится нечто, быть может крах. Главное, я понимал, что это будет крах, но мне все равно не удалось бы до конца понять свое ощущение — что-то тихо кончалось, как бы уходило вдаль. «Элен,— еще раз повторил Хуан, глядя на густую воду, в которой медленно корчился уличный фонарь.— Неужели мне суждено осознать это здесь, навсегда примириться с тем, что произошло между нами в городе? Неужели она, которая теперь спит одна в своей квартире на улице Кле, она и есть та женщина, что села в трамвай, та, за которой я гнался до глубокой ночи? Неужели ты и есть то непонятное, что ворочается в глубинах моего естества, когда я думаю о тебе? Элен, неужели я на самом деле тот мертвый юноша, которого ты оплакивала без слез, которого ты бросила мне в лицо вместе с кусками куклы?»

Они собирались пойти в Институт Куртолда, чтобы Николь наконец ознакомилась с портретом доктора Лайсонса, но еще не было трех часов, уходить из отеля было рано, и Марраст стал рассказывать, как утром он, по вине Калака и Поланко, опоздал на урок французского, к тому ж его ученик не выучил глаголов на «ег», зато они долго беседовали о поэзии Лорие Ли за обедом в «Сохо». Николь в свою очередь смогла сообщить, что нарисовала последнего гнома этой серии (всего пятьдесят



девять штук) и что издатель позвонил ей в полдень из Парижа и предложил сделать иллюстрации для детского энциклопедического словаря, срок — год, довольно приличный аванс и полная свобода кисти. Марраст поцеловал ее в кончик носа, поздравляя в особенности с окончанием пятьдесят девятого гнома, и Николь осведомилась, хорошо ли он пообедал с лютнистом Остином, или же опять, как всегда, они ели пирог с мясом и почками, — как бы говоря, ну и дурачок же ты, Марраст. На всем этом был отпечаток отработанного церемониала, искусно приготовленного эрзаца. Когда он, потянувшись к ее губам, поцеловал ее во второй раз, Николь ответила беглым поцелуем и откинулась на спинку старого кресла, стоявшего у самого окна. Марраст, не говоря ни слова, отошел от нее, закурил и принялся ходить взад-вперед по узкому и длинному номеру. Оставалось лишь продолжать говорить о новостях дня, задавать вопросы, вроде того, что теперь подделывают Элен или мой сосед, где бродят Хуан и Телль, — и так до без двадцати трех, чтобы не прийти в музей слишком рано. Можно еще было прервать хождение вдоль номера и раз-другой попробовать пройтись поперек, хотя для маневров в этом направлении места было мало, и рассказать Николь о м-ре Уитлоу и о Гарольде Гарольдсоне, о том, как оказалось, что Гарольд Гарольдсон родственник м-ра Уитлоу, и о том, как глыба антрацита через м-ра Уитлоу переплелась с необычно активным посещением зала номер два анонимными невротиками. Вдобавок (о чем-то же надо было говорить до без двадцати трех) Марраст полагал, что ему пора подумать о работе над монументом, кстати, он уже довольно точно представляет себе, какой будет статуя воображаемого Верцингеторига, а именно — как первая набросок, — соотношение «пьедестал — статуя» будет перевернуто, вроде как в структуре Дворца Дожей в Венеции; Николь, наверно, хорошо его помнит, ведь они посетили Венецию в конце этой весны и она, казалось, была так довольна — до того вечера на шоссе Венеция — Мантуя, возле красных домов, когда она вдруг погрузилась, как если бы в открытке, присланной Хуаном и Теллем из какого-то города, где Хуан работал, из Праги или Женевы, открытке с медведями и гербами и, как всегда, с одной дружеской фразой, содержалось тайное послание, которого там, вероятно, не было, но которое Николь примыслила, как это часто

бывает, и красные дома у дороги остались в памяти Марраста приметой этого часа, когда все дошло до состояния перенасыщенности, и не потому, что прежде нельзя было заподозрить, что Николь грустит или расстроена, но просто до тех пор ее охлаждение к нему не мешало им разговаривать, и по вечерам посещать вместе столько разных мест в стольких городах, и ходить по мостам, и пить кофе в парках. Итак, возвращаясь к Верцингеторигу, в этой статуе традиционные элементы будут радикально перевернуты, и это неоспоримое пластическое и визуальное новшество, по убеждению Марраста, выразит динамическую трактовку галльского героя, который будет, как древесный ствол, вырастать из земли в самом центре площади Аркейля, держа в обеих руках, вместо бесконечно пошлых меча и щита, столь удобных для голубей, основной объем глыбы, и тем самым средствами скульптуры будет заодно дано перевернутым традиционное несоответствие между скрытой и видимой частями айсберга, что Маррасту всегда казалось символом злобного коварства природы, и, хотя между айсбергом и героем Алезии весьма мало общего, коллективное подсознание наверняка получит по подспудным каналам сильный шок, а в плане эстетическом — приятное удивление при виде статуи, которая поднимает к небесам самую тяжелую и скучную часть себя самой, косную материю существования, устремляя к лазури грязную, плачевную свою основу в истинно героическом преображении. Разумеется, все будет чистой абстракцией, но муниципалитет на соответствующей таблице укажет жителям Аркейля имя героя, которому посвящен памятник.

— Калак и Поланко, как всегда, спорили, — говорю я Николь, — но на сей раз большой новостью было то, что они делали это на английском языке в переполненном вагоне метро, спорили о ласточках — думаю, ради практики.

— И можно было что-то понять? — спрашивает Николь.

— Ну, они говорили достаточно внятно, чтобы несколько пассажиров слушали их вытаращив глаза. Была там одна дама, of course<sup>1</sup> в розовом платье, она непрерывно озиралась, будто надеялась увидеть стаю ласточек посреди станции «Лестер-сквер», которая, наверно, находится под землей метров на тридцать.

<sup>1</sup> Конечно (англ.).

— Но о чем они могли спорить, говоря о ласточках? — спрашивает Николь, очищая кисточку.

— Об их привычках, засовывают ли они головку под крыло, глупы ли они, являются ли они млекопитающими, вот в таком роде.

— Когда они спорят, они такие забавные,— говорит Николь.

— Особенно по-испански, так и видно, что они это делают для развлечения. А по-испански они тоже говорят о ласточках? Надо бы спросить у моего соседа, в Аргентине, наверно, полно ласточек, и это прекрасная тема для разговора.

— У моего соседа или у Хуана,— говорю я.— Эта южная страна неплохо среди нас представлена.

Николь ничего не отвечает, опускает глаза и опять принимается чистить кисточку; с каждым разом все хуже, с каждым разом мы все больше приближаемся к той точке, где надо весьма осторожно плясать вокруг этого имени, стараясь его не произносить, прибегая к намекам или перечислениям, никогда не называя прямо. Но когда она сказала «мой сосед», кого же она имела в виду? Зачем надо было мне произносить это имя? Однако, если мы его больше не будем упоминать, как быть с этим черным колодцем, с этим жутким омутом? До сих пор нас спасали вежливость и привязанность. А теперь не будет ничего, кроме ласточек?

Конечно, споры не ограничиваются только ласточками, как может убедиться всякий, понимающий наречие дикарей.

— Из всех, кого я знаю, вы самый большой бурдак,— говорит Калак.

— А вы — самый большой финтихлюпик,— говорит Поланко.— Меня обзываете бурдаком, но видно, что сами-то никогда не глядели на свою рожу в зеркало.

— Вы, дон, хотите, видно, со мной подраться,— говорит Калак.

Оба смотрят друг на друга со зверскими минами. Потом Поланко вынимает из кармана мелок и пишет на полу «дурак».

— Вы самый большой бурдак,— говорит Калак.

— А вы самый большой финтихлюпик,— говорит Поланко.

Калак подошвой туфли стирает «дурака». Похоже, что они вот-вот сцепятся.

— Вы просто хотите со мной подраться,— говорит Калак.

— Вы стерли моего «дурака»,— говорит Поланко.

— Стер, потому что вы обозвали меня финтихлюпиком.

— И опять обзову, раз уж на то пошло.

— Потому что вы — бурдак,— говорит Калак.

— Бурдак все-таки лучше, чем финтихлюпик,— говорит Поланко.

Поланко вынимает из кармана перочинный складной ножик и сует его под нос Калаку, который и бровью не ведет.

— Теперь, дон, вы мне заплатите за ваши слова, что я бурдак,— говорит Поланко.

— Я вам заплачу за все и сотру всякого вашего «дурака»,— говорит Калак.

— Тогда я выполошу этот ножик в вашей требухе.

— Все равно вы бурдак.

— А вы жалкий финтихлюпик.

— А такому бурдаку, как вы, надо стереть всех «дураков», хоть бы он вытащил ножик с шестью лезвиями.

— Я вам сейчас как всажу этот ножик! — говорит Поланко, сверля его взглядом.— Никто не смеет стирать моего «дурака» и обзывать меня бурдаком.

— Виноваты во всем вы, вы первый меня обозвали,— говорит Калак.

— Нет, первый обозвали вы,— говорит Поланко.— Тогда я, как положено, обозвал в ответ, а вы мне стерли «дурака» и еще обругали бурдаком.

— Да, обругал, потому как вы первый меня тронули.

— А вы зачем мне стерли «дурака»?

— А потому, что вы на меня смотрели зверем, и я не позволю обзывать себя финтихлюпиком, хоть бы и тыкали мне ножик под нос.

— Ну ладно, ладно,— говорит Хуан.— Это похоже на конференцию по разоружению в Женеве, говорю как очевидец.

— Этот ножик, видать, никогда не чистили? —

спрашивает мой сосед, который любит делать вид, что во всем разбирается.

— Глядите получше,— говорит Поланко.— Положите его, а то он опять заржавеет, а приводить его в порядок ох как трудно. Оружие — вещь нежная, че.

— Моя грудь — это серебряные ножны, и такая гадость недостойна их,— говорит Калак.— Давай убери ее обратно в карман, там, в тряпье, ему место.

Моя профессия обрекала меня на жизнь в отелях, что не так уж приятно, как вспомнишь о своей квартирке в Париже, обставленной за пятнадцать лет по моему вкусу, с холостяцкими причудами, чего левая моя нога захочет, и удовольствиями для всех пяти чувств, пластинками и книгами и бутылками, все покорно находится всегда на своем месте, по средам и субботам молчаливое усердие мадам Жермен с метелочкой, жизнь без денежных забот, внизу под окнами — Люксембургский сад, но, чтобы все это сохранить, я, подчиняясь злобному парадоксу, должен был каждые три недели вылетать на конференции, где хлопок, мирное сосуществование, техническая помощь и ЮНИСЕФ выясняют свои проблемы на разных языках, электронными путями проникающих в кабины переводчиков, чтобы превращаться — еще один алхимический фокус слова — в шестьдесят долларов в день. Но зачем жаловаться? Чем-то отели мне не нравились, а чем-то и привлекали, они были нейтральной территорией, откуда, между прочим, мне всегда казалось легче перенестись в город и где я в любую минуту ощущал его зыбкое противостояние. В конце концов я обнаружил, что в любом из отелей, где приходилось останавливаться, мне чаще случалось входить в отель города, чтобы снова и снова бесконечно идти по его номерам со светлыми обоями в поисках кого-то, кого я в этот момент не мог назвать; я пришел к убеждению, что отели, где я в те годы поселялся, были в какой-то мере посредниками, и, во всяком случае, стоит мне остановиться в новом отеле, как, например, тогда в венском «Козероге», и ощущение физического отращения к иному расположению кранов, выключателей, вешалок и подушек отрывает меня от парижских навыков и переносит, так сказать, к вратам города, снова к пределам того, что начинается улицами-галереями, что открывается на площади с трамваями и что

заканчивается, как заметил мой сосед, стеклянными домами-башнями и каналом на севере, по которому скользят баржи.

Все начало усложниться в те осенние дни в Вене, частью из-за истории с фрау Мартой и девушкой-англичанкой, но особенно из-за куклы месье Окса и способности Телль устраивать бури в стакане воды, что обычно очень веселило дикарей, когда по возвращении из поездок и приключений об этом говорили в «зоне». Первый знак безумная датчанка, сама-то не часто отправлявшаяся в город, подала, когда вдруг удивила Хуана описанием улиц с высокими тротуарами, по которым, мол, гуляла, удивила родной, ни с чем не схожей топографией, Николь или мой сосед были бы потрясены, слыша, как она звучит в насмешливых устах Телль в какой-нибудь из вечеров в «Клюни». Телль была уверена, что видела там издали Николь и, возможно, Марраста, они бродили по торговому кварталу, и похоже было, что Николь ищет (но не находит, и это было ужасно грустно) ожерелье из больших голубых камней, такие продают на улицах Тегерана. Пока она рассказывала это Хуану, лежа в постели и внимательно разглядывая пальцы на своих ногах,— причем к рассказу примешивалось содержание открытки Поланко из Лондона, сообщавшей о совершенно непонятной деятельности Марраста в связи с какой-то глыбой и какой-то картиной,— Хуан вспомнил — но вспоминать, когда это касалось города, означало мгновенно возвратиться оттуда,— что и он как-то побывал в торговом квартале и, переходя через площадь с трамваями, как будто узнал издали силуэт Элен. Он сказал это Телль, он всегда говорил ей обо всем, что касалось Элен, и Телль игриво поцеловала его и стала насмешливо утешать, рассказывая о фрау Марте и о случайно подслушанном разговоре за завтраком. Так, с самого начала, все стало смешиваться: кукла и Дом с василиском, фрау Марта, площадь с трамваями в городе и Телль, которая до тех пор вроде бы благосклонно наблюдала за игрой и вдруг, будто имея на это право, вышла на улицу с высокими тротуарами, кстати, еще и потому, что со спокойным своим цинизмом подслушала разговор между фрау Мартой и юной англичанкой в ресторане «Козерог».

В эти дни, в минуту отдыха посреди напряженной работы, я задумался над шаловливым вторжением Телль и с горечью отметил, что оно меня тревожит, что ее более

активное вмешательство в область города и случайное открытие насчет фрау Марты могут нарушить чувство отрешенности и отдыха, которое она умела вселять в меня все годы, что мы были знакомы и спали вместе. Без всяких драм, с кошачьей независимостью, за которую я всегда был ей благодарен, Телль умела быть приятным спутником в любой рабочей поездке и в любом отеле, чтобы дать мне отдых от Парижа и от всего, чем тогда Париж для меня был (всего, чем тогда Париж для меня не был), этакое нейтральное междуцарствие, когда можно жить, и пить, и любить, как бы в отпуске, не нарушая клятвы верности, хотя никаких клятв я не давал. Разве не мог я, работая ради денег и играя в любовь, эти две-три недели на ничейной земле рассматривать как паузу, в которую так удачно вписывался тонкий стан Телль? Любительница баров и таможен, технических новшеств и постелей, в которых не затаились воспоминания и унылый запах времени, Телль для меня была Римом, Лугано, Винья-дель-Мар, Тегераном, Лондоном, Токио, и почему бы ей теперь не быть Веной с уютными венскими кафе, с шестнадцатью венскими полотнами Брейгеля, струнными квартетами и ветренными перекрестками! Все должно было быть как всегда — открытки с восточками от Николь, которую Телль опекала, и от дикарей, над посланиями которых она хохотала, катаясь по кровати; но теперь она тоже побывала в городе, впервые увидела улицу с высокими тротуарами и одновременно познакомилась в Вене с фрау Мартой и юной англичанкой. Ей-то невдомек, что она как бы перешла на мою сторону, оказалась сама причастна к тому, что своей непринужденной и легкой нежностью до сих пор помогала мне переносить; теперь она была вроде сообщницы, я чувствовал, что уже не смогу, как прежде, говорить с ней о Элен, поверять ей свою тоску по Элен. Я высказал ей это, бреясь у окна, а она смотрела на меня с кровати, голая и такая красивая, какой может быть только Телль в девять часов утра.

— Я понимаю, Хуан, но это не имеет никакого значения. Кажется, ты порезал себе щеку. Город же принадлежит всем, правда? Когда-то должна была прийти и моя очередь познакомиться с ним не только по твоим рассказам, вестям от моего соседа или беглым прогулкам. Не пойму, почему это должно на нас отразиться? Нет, ты по-прежнему можешь говорить о Элен, своей пылкой северянке.

— Да, но ты — это нечто другое, что-то вроде убежища или аптечки с бинтами для первой помощи, если решишь мне такое сравнение («Я в восторге», — сказала Телль), и вдруг ты очутилась так близко, ты ходила по городу тогда же, когда и я, и, пусть моя мысль кажется нелепой, это тебя отдаляет, делает тебя активной стороной, ты уже в ряду раны, а не перевязки.

— Очень жаль, — сказала Телль, — но город так устроен, в негоходишь и из него выходишь, не спрашивая разрешения, и у тебя его не спрашивают. Если не ошибаюсь, всегда было так. А аптечка с бинтами тебе и впрямь нужна, сейчас испачкаешь пижаму.

— О да, дорогая! Но видишь, что получается, я там искал Элен, а ты видела Николь.

— А, — сказала Телль, — и ты думаешь, я видела Николь, потому что хотела бы, чтобы ты искал ее, а не Элен.

— Клянусь богом, нет, — сказал Хуан, вытирая лицо и манипулируя ватками и спиртом. — Но видишь, ты сама чувствуешь разницу, ты придаешь нашему совместному пребыванию в городе какой-то моральный смысл, говоришь о каких-то предпочтениях. Между тем, ты и я — мы существуем в другом плане, вот в этом.

Его вытянутая рука обвела кровать, комнату, окно, день, Новый Дели, Буэнос-Айрес, Женеву.

Телль поднялась, подошла к Хуану. Все еще вытянутая его рука коснулась ее груди, медленно и ласково очертила ее бок и, опустившись до колена, не спеша возвратилась наверх, огладив бедро. Телль прижалась к нему и поцеловала в голову.

— Может и так случиться, что я когда-нибудь встречу ее в городе, — сказала она. — Ты же знаешь, если смогу, я приведу ее к тебе, дурачина ты этакий.

— О, — сказал Хуан, снимая ватку, — увидишь, это невозможно. Но мне хотелось бы знать, как ты туда попала, как ты поняла, что очутилась в городе. Раньше ты, бывало, рассказывала что-то туманное, это могли быть просто сны или безотчетное подражание вестям от моего соседа. Но теперь другое, это совершенно очевидно. Расскажи, Телль.

Что всех нас спасает, так это потаенная жизнь, имеющая мало общего с повседневной и астрономиче-



ской, подспудный мощный поток, не дающий нам разбрасываться в попытках конформизма или заурядного бунта, это как бы непрерывная лавина черепак, чье противостояние быту никогда не прекращается, потому что движется она в запаздывающем темпе, едва ли сохраняя какую-то связь с нашими удостоверениями личности, фото в три четверти на белом фоне, отпечатком большого пальца правой руки, с жизнью как с чем-то чужим, но о чем все равно надо заботиться, как о ребенке, которого оставили на вас, пока мать занимается по хозяйству, как о бегонии в горшке, которую надо поливать два раза в неделю, только, пожалуйста, лейте воды не больше, чем один кувшинчик, а то бедняжка у меня чахнет. Бывает, что Марраст или Калак смотрят на меня, как бы спрашивая, что я тут делаю, почему не освобождаю пространство, которое занимает мое тело; а иногда так смотрю на них я, а иногда Телль или Хуан, и почти никогда Элен, но иной раз и Элен, и в таких случаях мы, на которых смотрят, отвечаем на такой взгляд индивидуально или коллективно, словно желая узнать, до каких пор будут на нас так смотреть, и тогда мы ужасно благодарны Сухому Листик, на которую никогда не смотрят, и тем паче она не смотрит, наивно дающей знак, что пора на переменку и за игру.

— Бисбис, бисбис,— говорит Сухой Листик, восхищенная тем, что может говорить.

Людам, вроде г-жи Корицы, никогда не понять приступов ребячливости, которые обычно вызываются подобными взглядами. Почти всегда, после реплики Сухого Листика, игру затевает мой сосед. «Ути, ути, ути»,— говорит мой сосед. «Ата-та по попке»,— говорит Телль. Больше всех горячится Поланко. «Топ, топ, ножки, побежали по дорожке»,— говорит Поланко. Так как все это обычно происходит за столиком в «Ключни», некоторые посетители явно начинают нервничать. Маррасту становится досадно, что люди так негибки, и он немедленно повышает голос. «Вот я вам зададу»,— говорит Марраст, грозясь пальцем. «Бисбис, бисбис»,— говорит Сухой Листик. «Ути, ути»,— говорит мой сосед. «Бу-бух»,— говорит Калак. «Топ, топ, ножки»,— говорит Поланко. «Бу-бух»,— настаивает Калак. «Тюк, тюк, тюк»,— говорит Ни-

коль. «Ути, ути»,— говорит мой сосед. «Гоп, гоп, гоп»,— с восторгом говорит Марраст. «Бисбис, бисбис»,— говорит Сухой Листик. «Гоп, гоп»,— настаивает Марраст, который всегда стремится заткнуть нам рот. «Ути, ути»,— говорит мой сосед. «Ата-та по попке»,— говорит Телль. «Бу-бух»,— говорит Калак. «Гоп, гоп»,— говорит Марраст. «Агу-агусеньки»,— говорит Николь.

На этой стадии беседы часто случается, что мой сосед вынимает из кармана клеточку с улиткой Освальдом, появление еще одной персоны встречают бурными изъявлениями радости. Достаточно поднять проволочную дверцу, и Освальд предстает во всей своей влажной невинной нагоде и начинает прогулку по галетам и кусочкам сахара, разбросанным на столе. «Ути, ути»,— говорит мой сосед, поглаживая ему рожки, что Освальду совершенно не по вкусу. «Бисбис, бисбис!» — выкрикивает Сухой Листик, для которой Освальд вроде сыночка. «Тюк, тюк, тюк»,— говорит Телль, изо всех сил стараясь приманить Освальда к себе. «Бисбис, бисбис!» — кричит Сухой Листик, протестуя против такого искательства.

Поскольку движения Освальда нисколько не напоминают прыжки леопарда, мой сосед и прочие быстро теряют к нему интерес и углубляются в более серьезные материи; между тем Телль и Сухой Листик продолжают шепотом гипнотизировать его и приручать. «Бяка ты»,— говорит Поланко. «Сам ты бяка»,— говорит Калак, всегда готовый ему возразить. «Финтихлюпик»,— ворчит Поланко. «Из всех, кого я знаю, вы самый большой бурдак»,— говорит Калак. Тогда мой сосед спешит убрать Освальда со стола, потому что его огорчает любая напряженность в нашем кружке, а кроме того, уже дважды приходил Курро с предупреждением, что, если мы не уберем с глаз этого слизняка, он вызовет полицию,— эта подробность тоже не лишена значения.

— Ты, Курро,— говорит мой сосед,— поступил бы куда умнее, кабы остался в Асторге, а то здесь, в Париже, ты вовсе не ко двору, красавчик. Нет, дон, вы и впрямь тот безумный галисиец, о котором говорит фрай Луис де Леон, хотя некоторые считают, что он имел в виду ветер.

— Уберите-ка слизняка, или я позову жандар-

ма,—говорит Курро, подмигивая нам одним глазом и одновременно повышая голос, чтобы успокоить госпожу Корицу, расплывшуюся за четвертым столиком слева, со стороны бульвара Сен-Жермен.

— Ладно, сделаем,— говорит Хуан,— можете идти.

— Бисбис, бисбис,— говорит Сухой Листик.

Все это, разумеется, кажется невероятно глупым госпоже Корице, так как, прямо надо сказать, теперь даме, очевидно, уже нельзя прийти в кафе, чтобы пристойно провести время.

— Говорю тебе, Лила, вот увидишь, они кончат тюрьмой, с виду сумасшедшие, вытаскивают все время из карманов какие-то странные вещи и болтают бог весть что.

— Не огорчайтесь, тетя,— говорит мне Лила.

— Как я могу не огорчаться,— отвечаю я.— У меня от всего этого компрессия, клянусь тебе.

— Вы хотели сказать — депрессия,— пытается меня поправить Лила.

— Ничего подобного, милочка. При депрессии на тебя как будто что-то давит, ты опускаешься, опускаешься и в конце концов делаешься плоская, вроде электрического ската, помнишь, такая тварь в аквариуме. А при компрессии все вокруг тебя как-то вырастает, ты бьешься, отбиваешься, но все напрасно, и в конце концов тебя все равно прибивает к земле, как лист с дерева.

— Ах, вот как,— говорит Лила, она девушка такая почтительная.

— Я шла по улице с очень высокими тротуарами,— сказала Телль.— Это трудно объяснить, мостовая будто пролежала по глубокому рву, похожему на пересохшее русло, а люди ходили по двум тротуарам на несколько метров выше. Правду сказать, людей не было, только собака да старуха, и насчет старухи я тебе потом должна рассказать что-то очень занятное, а по тротуару в конце концов выходишь на открытую местность, дома там, кажется, кончались, это была граница города.

— О, граница,— говорит Хуан,— ее никто не знает, поверь.

— Во всяком случае, улица казалась мне знакомой, потому что другие уже ходили по ней. Не ты ли рас-

сказывал мне про эту улицу? Тогда, возможно, Калак, с ним же что-то случилось на улице с высокими тротуарами. Место там такое, что сердце сжимается, тоска гложет беспричинная только из-за того, что ты там находишься, что идешь по этим тротуарам, которые на самом деле не тротуары, а проселочные дороги, поросшие травкой и испещренные следами. В общем, если ты хочешь, чтобы я вернулась в Париж, так ты же знаешь — ежедневно есть два поезда да еще самолеты, такие миленькие «Каравеллы».

— Не будь дурочкой,— сказал Хуан.— Если я тебе рассказал, что я чувствую, так именно для того, чтобы ты осталась. Ты сама знаешь: все, что нас разделяет, оно-то и помогает нам так хорошо жить вместе. Если же мы начнем умалчивать о том, что чувствуем, мы оба потеряем свободу.

— Ясность мысли — не самая сильная твоя сторона,— съязвила Телль.

— Боюсь, что так, но ты меня понимаешь. Конечно, если ты предпочитаешь уехать...

— Мне здесь очень хорошо. Только мне показалось, что все может измениться, и, если мы начнем высказывать мысли вроде той, которую ты сейчас изволил...

— Я вовсе не хотел тебя упрекать, просто меня встревожило, что мы оба побывали в городе, и я подумал, что когда-нибудь мы там можем встретиться, понимаешь, в каком-нибудь из номеров отеля или на улице с высокими тротуарами, столкнуться во время скитаний по городу, бесконечных поисков кого-то. Ты здесь, рядом, ты такая дневная. Мне тревожно думать, что теперь и ты, как Николь или Элен...

— О нет,— сказала Телль, откидываясь в постели на спину и вращая ногами педали невидимого велосипеда.— Нет, Хуан, там мы не встретимся, нет, дорогой мой, это невысказано, это какой-то квадратный мыльный пузырь.

— Кубический, ослица,— сказал Хуан, усаживаясь на край кровати и критическим взором наблюдая за упражнениями Телль.— Ты великолепна, безумная моя датчанка. Бесстыжая, все прелести наружу, такая атлетичная, такая северная, вплоть до несносного берганизма, без всяких теней, сплошная бронза. Знаешь, иногда, когда я смотрю на себя в зеркало, когда рассказываю тебе про Элен — причем, как всегда, все загрязняю,— я спрашиваю себя, почему ты...

— Тсс, в эту сторону удочку не закидывай, я всегда говорила, что я свою свободу тоже понимаю по-своему. Ты в самом деле думаешь, что я стала бы у тебя спрашивать, если бы мне вздумалось вернуться в Париж или в Копенгаген, где мать в отчаянии хранит последнюю надежду на возвращение взбалмошной дочери?

— Нет, надеюсь, ты не стала бы меня спрашивать, — сказал Хуан. — Словом, суди сама, хорошо ли я поступаю, рассказывая, что со мной происходит?

— Наверно, мне следовало бы обидеться, — раздумчиво сказала Телль, прекращая велосипедную езду, чтобы свернуться калачиком и упереться ногой в живот Хуана. — Будь у меня хоть где-нибудь крошечка ума. Мне кажется, где-то он есть, только я никогда его не видела. Ты не грусти, твоя безумная датчанка будет и дальше тебя любить на свой лад. Вот увидишь, мы в городе никогда не встретимся.

— Я в этом не так уверен, — пробормотал Хуан. — Но ты права, не будем совершать старую как мир глупость, не будем пытаться определять будущее, достаточно уже такого навсегда испорченного будущего скопилось в моем городе, и вне города, и во всех порах тела. Ты даешь мне что-то вроде удобного счастья, ощущение разумной человеческой повседневности, и это много, и этим я обязан тебе, только тебе, моему душевному кузнечнику. Но бывают минуты, когда я чувствую себя циником, когда все табу моей расы дразнят меня своими клешнями; тогда я думаю, что поступаю дурно, что я тебя — если позволишь употребить ученый термин — превращаю в свой объект, в свою вещь, что я злоупотребляю твоей жизнерадостностью, таскаю тебя то туда, то сюда, закрываю и открываю, вожу с собой, а потом оставляю, когда приходит час тосковать или побыть одному. Ты же, напротив, никогда не делала меня своим объектом, разве что в глубине души жалеешь меня и бережешь в качестве повседневного доброго дела — закваска гёрлскаут или что-то в этом роде.

— А, гордость самца, — сказала Телль, упираясь всей ступней в лицо Хуану. — Оставьте меня, я сам! — крикнул тореро. Помнишь тогда, в Арле? Его оставили, и, боже мой, как подумают, что было... Нет, сыночек, я тебя не жалею, вещь не может испытывать жалость к мужчине.

— Ты не вещь. Я не это хотел сказать, Телль.

— Не это, но ты же это сказал.

— Во всяком случае, сказал в упрек себе.

— О, бедненький, бедненький,— усмехнулась Телль, глядя его ступней по лицу.— Э, постой, так дело не пойдет, я уже знаю, что будет, если мы продолжим этот разговор, уברי-ка отсюда свою лапку, помнится, в половине одиннадцатого у тебя заседание.

— Черт подери, и в самом деле, а теперь без двадцати десять.

— Старуха! — воскликнула Телль, вскакивая и распрямляясь во всем своем великолепии золотоволосой валькирии.— Пока ты будешь одеваться, я расскажу, это очень волнующе.

Волнующего там было немного, по крайней мере вначале, в той части рассказа, когда Хуан залежался в постели, и Телль, хотя и с грустью, спустилась одна позавтракать в оранжевом зале отеля «Козерог» и случайно, без всякого намерения, подслушала разговор старухи и юной англичанки, старуха сперва сидела за столиком в глубине и уже там затеяла беседу на бейсик-инглиш с молодой туристкой, потом вдруг спросила, нельзя ли составить ей компанию, и девушка ответила, о да, миссис, и я за моим столиком, загороженная огромным кувшином с грейпфрутовым соком, увидела, как старуха переместилась за столик к девушке, да с немалым трудом, потому что операция эта разделялась у нее на два этапа — сперва вскарабкаться на стул, а затем опуститься,— о, благодарю вас, миссис, дальше обычный разговор о том, кто откуда, о маршрутах, впечатлениях, таможнях и погоде, о да, миссис, о нет, миссис. Хуану, а тем паче Телль никогда не узнать, почему оказалось так необходимо все более внимательно прислушиваться к разговору и почему внушал этот разговор убежденность, что надо слушать и дальше и что для этого необходимо переехать немедленно из этого отеля, что они и сделали в тот же вечер, поселившись в «Гостинице Венгерского Короля», старой и обветшалой, но зато находящейся так близко от Блютгассе, в пропыленном барочном лабиринте старой Вены. Жить вблизи Блютгассе — только это могло вознаградить Хуана за оставленные удобства, и гигиену, и бар «Козерога», но не было другого способа продолжать прислушиваться к речам фрау Марты во время завтрака, когда юная англичанка — о да, миссис, большое спасибо за то, что порекомендовали мне этот отель, куда более дешевый и типичный,— усаживалась за столик фрау Марты и рассказывала ей о своих вчерашних экскурсиях, были там, и Шенбрунн, и дом Шуберта, и прочее,

но почему-то все это звучало как одна и та же экскурсия и как все экскурсии сразу, сплошной путеводитель Нагеля в пестрой обложке и в английском переводе, о да, миссис.

Николь кончила мыть кисточки и тщательно закрывала коробку с красками; блестящий гном сохнул на краю стола, огражденный барьером из журналов и книг.

— Здесь пахнет затхлостью,— сказал Марраст, продолжая ходить по комнате.— Не пойти ли нам пройтись, чем вспоминать друзей? Право, мы похожи на призраков, которые беседуют о других призраках, это нездорово.

— О да, Мар,— сказала Николь. Она не собиралась упрекать его за то, что он первый обронил имени, сперва Хуана, затем Элен, вперемежку с ласточками и анекдотами про Остина и сообщением о бесконечной поездке в метро с Калаком и Поланко. Он это сделал неумышленно, но все же от Марраста исходило первое и косвенное легкомысленное упоминание о Хуане, а потом, как стряхиваемый с сигареты остаток пепла, в конце абзаца — о Элен, что идеально довершало рисунок. Обо всем этом можно думать без неприязни и укора, было бы несправедливо упрекать Марраста за то, что он курит, расхаживая по номеру как большой медведь, было почти логично, что в какой-то миг, когда иссякнет прокладочная пакля слов, Марраст в конце концов поддастся тому единственному, что еще могло сблизить их после прежних, таких недавних и таких иных дней, и что посреди какой-то фразы проглянет имя Хуана — ведь не было никакой явной причины, мешающей ему проглянуть вперемежку с именами прочих друзей,— и что он тут же вспомнит, что в эту ночь ему приснилась Элен, и скажет об этом, продолжая курить и монотонно расхаживая взад и вперед по номеру. Почти не глядя на него — теперь ей было все труднее встречаться с ним глазами,— Николь подумала о прежнем Маррасте, человеке-борце, рыцаре скульптуры, неустанно бросающем вызов, таком непохожем на этого медведя, который затихал и съеживался всякий раз, когда подходил взглянуть на гномов или поцеловать Николь, едва отвечающую на поцелуй и говорившую о пустячных событиях дня, как вот теперь — он ей о ласточках, а она ему про энциклопедию, пока все как бы парализовалось упоминанием о Хуане и Элен, но это Маррасту можно было простить, и совсем нетрудно простить, как посмотришь

в его печальные глаза, даже и прощать-то не надо, виноват не он, и никто не виноват, нет, это сама вина, худшая из всех вин, обосновалась здесь непрошенная, и в конце концов пришлось с ней примириться.

Если он поцелует меня еще раз, я отвечу на его поцелуй, чтобы хоть на время вывести его из состояния безнадежности, но нет, он больше не пытается, все курит и ходит по номеру, вот опять завел речь о портрете доктора Лайсонса и даже про время забыл, мы же опоздаем в музей, опять, как уже бывало столько раз, придется смотреть на закрытые двери, и пойдут легкомысленные предложения, чем бы заменить музей, как будто все это не имеет ровно никакого значения — спуститься до Чаринг-кросс, или пойти в кино, или сесть и смотреть на голубей на Лестер-сквер, пока не наступит время встретиться с Калаком и Поланко, или вернуться в отель и продолжать рисовать гномов и читать романы и газеты, поставив между собой маленький транзистор, который вроде добавочной пакли, он позволяет экономить слова, оставляя свободу только взглядам, этим тощим котам, которые стыдливо встречаются где-то на гладком потолке, потрутся друг об дружку — и вдруг расходятся, по возможности избегая встречаться до часа, когда пора ложиться спать и гасить свет.

Вот и сейчас он опять закурит сигарету, сядет у сумеречного окна и будет смотреть на унылое зрелище — на Бедфорд-авеню с деловыми зданиями на противоположной стороне, с автобусами, которыми мы так восхищались, очутившись в Лондоне в первый раз, и на которых решили ездить методически, пока не охватим все маршруты (мы дошли до № 75А, потом у нас кончились деньги, и пришлось вернуться в Париж, где у Мара была работа). Его движения легко предвидеть, печаль делает его поведение однообразным. Достает из пачки сигарету, четыре шага до плетеного кресла, взгляд, бесцельно устремленный за окно, куда-то вдаль, с облегчением уходящий куда-то вдаль от меня и от того, что нас окружает. Он, наверно, забыл про музей, забыл, что уже четыре часа и что мы туда приедем слишком поздно, если вообще приедем. Словно образовалась какая-то пустота, провал. Почему он не выхватит сигарету изо рта и не раздавит ее о мою грудь? Почему не подойдет ко мне и не ударит, не обнажит меня грубо, не изнасилует на грязном линолеуме, не потрудившись даже швырнуть меня, как тряпку, на



кровать? Все это он должен был сделать, способен сделать, ему нужно это сделать. О Мар, как я заражаю тебя привычной моей пассивностью, которая меня подавляет, как жду от тебя кары, которую сама не могу над собой совершить. Вот, я вручаю тебе диплом палача, но делаю это настолько тайно, что ты ничего не подозреваешь, пока мы так мило беседуем о ласточках. Мне теперь страшно посмотретья в зеркало, я увидела бы черную дыру, воронку, с отвратительным бульканьем заглатывающую настоящее. У меня не хватит сил ни убить себя, ни уйти, не хватит сил освободить его, чтобы он снова вышел на улицу. О Телль, если бы ты была здесь, если бы ты это видела! Как права была ты в тот вечер, сказав мне, что мое место в гареме, что я могу лишь угодать. Ты была в бешенстве, что я не еду с тобой в гости к кому-то там на юге Франции, упрекала меня, что я неспособна быть, как ты, инициативной, самой решать свои дела, оставляя нацарапанную наспех записку или известив по телефону. Ты была права, я не способна ни на что решиться, и, похоже, я убиваю Мара, знавшего меня другой, боровшегося со мной в битве двух отстаивавших себя свобод, взявшего меня силой, когда его сила и моя объединились, познав друг друга в примиряющей встрече. Надо бы это ему сказать, распутать этот липкий узел, хорошо бы прийти в музей до закрытия и посмотреть на портрет.

— Ты понимаешь, ласточки.

— Воображаю лицо дамы в розовом там, в метро.

— Это, собственно, была не дама, а что-то вроде формы для пудинга с множеством розовых пятен. Немножко похожая на госпожу Корицу, помнишь, в тот первый вечер, когда мой сосед и Поланко вынули Освальда из клетки и пустили его на стол?

— Конечно, помню,— говорит Николь.— Но в конце концов мы стали с госпожой Корицей друзьями, это была большая победа.

— Благодаря ее дочке, которая по уши влюбилась в Калака. Она сама сказала ему потом, что то был ее звездный вечер, Калак пересказал нам это выражение, и мой сосед чуть не задохнулся от хохота.

— Это было чудесно,— сказала Николь.— А не хочется ли тебе опять побывать в «Клюни»? Странно, в Париже почему-то чувствуешь все более близким, родным.

— Пока не окажешься в Париже,— сказал я.— Через неделю-другую начинается ностальгия по Риму или по

Нью-Йорку, дело известное.

— Не надо безличных оборотов. Ты имеешь в виду меня и, конечно, еще Хуана и Калака.

— О, Хуан! У Хуана это просто профессиональное извращение, он полиглот-бедуин, прожженный переводчик. Но у Калака и у тебя это, по-моему, симптом чего-то другого, некоего *taedium vitae*<sup>1</sup>.

— Чтобы бороться с этим *taedium*,— сказала Николь, подымаясь,— ты мог бы показать мне портрет, который тебя так интересует в эти дни. Скоро уже четверть пятого.

— Четверть пятого,— повторил Марраст.— Наверняка мы опоздаем. Лучше отложим на завтрашнее утро, я думаю, завтра там соберется несколько анонимных невротиков, изучающих растение. Поверь, готовятся большие события.

— Которые нас здорово позабавят,— сказала Николь.

— Разумеется. Я тебе рассказал про Гарольда Гарольдсона?

— Совсем немного. Расскажи еще.

— Лучше уж завтра в музее, под сенью загадочного растения.

— Мы все откладываем на завтра, Мар,— сказала Николь.

Марраст подошел к ней, сделал неопределенный жест, который завершился тем, что он погладил ее по голове.

— Что делать, дорогая? Я, во всяком случае, еще имею глупость надеяться, что завтра, возможно, будет другим. Что мы проснемся по-другому, что будем приходить повсюду вовремя. Я говорил тебе, мне приснилась Элен? Странно, этот сон был более реален, чем весь нынешний день.

— Я знаю, Мар,— сказала Николь будто откуда-то издалека.

— И заметь, пробуждаясь от сна, я все так ясно увидел: эту робость, нерешительность, когда правду чувствуешь вот здесь, всем нутром, ту правду, от которой потом, открыв глаза, мы отнекиваемся. В этот момент я дал тебе имя, оно очень тебе подходит и очень верное: недовольная.

— Недовольная,— повторила Николь.— Да, теперь вспоминаю, канал в Венеции, виллы Палладио. История узницы в одной из вилл, лестницы среди деревьев. Да, Мар. Но что я могу поделать, Мар?

---

<sup>1</sup> Отвращение к жизни (лат.).

Когда она называет меня «Мар», это обычно нас сближает, но теперь похоже на вынужденную взятку, и мне больно. Я не могу удержаться, чтобы не взять ее руку и не приложить ладонью к своему лицу, мягко подвигать рукой, чтобы она погладила меня по лицу, этакая направляемая ласка, экскурсия, в которой все предусмотрено заранее — чаевые, входные билеты, плата за жилье и питание. Рука покорно позволяет себя водить, скользит по щеке и падает на юбку Николь, сухой лист, мертвая ласточка.

— Это объяснение не хуже и не лучше других, — сказал я ей. — Случайная встреча на вилле Палладио с женщиной, которая вдруг обнаружила, что не любит меня. На первый взгляд здесь как будто недостает пресловутого анатомического стола, но, если вдуматься, он тоже есть, еще бы ему не быть.

— О нет, Мар, — говорит Николь. — Пожалуйста, не надо, Мар.

— Я так хорошо помню, ты вдруг погрустнела. Это было при полном свете дня, мы ехали в Мантую посмотреть на гигантов Джулио Романо, я услышал, что ты тихонько плачешь, и стал тормозить, я помню каждую минуту и каждый предмет, слева был ряд красных домов, я затормозил, хотел посмотреть на твое лицо, но в этом не было надобности, все казалось настолько ясным, хотя мы не обмолвились ни словом, и я понял, что мы уже много недель предаемся бессловесному обману, который никого не обманывает, и что тебе вдруг стало неважно и ты в этом признаешься, что ты недовольная, ты узница, и уж не помню, сказал ли я тебе что-нибудь, но знаю, что мы доехали до Мантуи и что нас очаровали церковь Леона Баттисты Альберти и Чайный дворец.

У Николь есть привычка неожиданно вскидывать голову и смотреть тебе в глаза, будто она раздвигает ветки дерева или паутину, прокладывая дорогу.

— Но, Мар, я же не узница. Ты не держишь меня в тюрьме.

— Нет, держу, на наш лад. Ну конечно, без замков. Держу тем, что порой мы целуемся, ходим в кино.

— Ты не виноват, Мар. Тебе оно должно быть очень больно, уже не должно быть. Ты обо мне заботишься, не оставляешь меня, а пока дни идут.

— Пятьдесят два гнома.

— Если я недовольная, это не по твоей вине. Ты нашел точное слово, но ведь не ты заточил меня в этой

пассивности. Одно только мне непонятно — то, что ты еще со мной, Мар.

— Эх ты, Захер-Мазох,— говорю я, глядя ее по голове.

— Но ты же не такой, Мар.

— Существование предшествует сущности, дорогая.

— Нет, ты не такой, ты не создан быть таким. Конечно, я должна бы...

— Тсс, не говори о долге. Все это я знаю, да и ничего бы у тебя не вышло. В самолете беглеца всегда найдется еще одно место, позади или рядом, всегда можно быть либо тенью, либо эхом. Не делай того, что ты должна сделать, все равно я останусь с тобой, недовольная моя.

Позже она, как всегда, будет выговаривать мне в этом сентиментальном стиле, смеси шантажа и мести,— в общем, бесполезное мучительство. Видимо, и Николь так это поняла — она потупила голову и принялась складывать по порядку рисунки, убирать карандаши. Я опять погладил ее по голове, попросил прощения, и она быстро сказала: «Нет-нет, ты не...» — и запнулась, и, сами не зная почему, мы одновременно улыбнулись и поцеловались долгим поцелуем; я почувствовал, что наши лица и наши уста стали вроде песочных часов, по которым снова потекла тонкая струйка безмолвного, праздного времени. Идти в музей было поздно, свет в номере приобретал тусклый оттенок, так хорошо подходивший к здешним запахам и коридорному гулу. В этой отсрочке, которая будет повторением стольких предыдущих — с того вечера на дороге в Мантую, с красными домами по левую сторону,— открывалось поприще для обрядов и игр, для древних церемоний, побуждающих к любви два эгоистичных тела, упорно отвергающих одиночество, которое подстерегает их в изножье кровати. То было хрупкое перемирие, ничейная земля, на которую они, обнявшись, упадут, бормоча что-то, станут раздеваться, путая, где чьи руки, где чья одежда, торопясь к мнимому, повторяющемуся моменту вечности. Начнется игра в прозвища или в зверьков, постепенный и привычный и всегда упоительный набор слов. Глупый-преглупый, скажет Николь. Совсем я не глупый, скажет Марраст. Ты очень глупый и очень злой / Вот и неправда / Нет, правда / Нет / Да / Нет / Да / Тогда я вам немного попорчу ваш садик / Садик у меня хорошенький, и вы мне его не портите / А вот я напущу туда уйму зверьков / А я не боюсь / Сперва напущу туда всех кротов / Ваши кроты дураки / Трех сурков / Все равно не боюсь /

Кучку хомяков / Вы злюка / И стадо дикобразов /  
Мой садик — это мой садик, его нельзя трогать / Садик  
ваш, да, но я напущу вам зверьков / А я ваших зверьков  
не боюсь, мой садик хорошо защищен / Ничего он не  
защищен, и мои зверьки сожрут у вас все цветы / Нет,  
не сожрут / Кроты погрызут корни / Ваши кроты злючки  
и дураки / А сурки будут писать на розы / Ваши сурки  
вонючие и глупые / Вы дурно отзываетесь о трех сурках /  
Потому что они глупые / Тогда я напущу вам не трех,  
а всех-всех сурков / Все равно они все глупые / И всех  
хомяков / А я не боюсь / А ну-ка выйдите в свой садик,  
посмотрите, что там натворили мои зверьки / Вы глупый  
и злой / И неужто я и впрямь глупый и злой? / Вы  
не злой, только глупый / Тогда я забираю трех дикоб-  
разов / Мне все равно / Я глупый? / Нет, не глупый /  
Тогда забираю всех хомяков и одного крота / Забирайте  
кого хотите, мне все равно / Чтоб вы знали, какой я  
добрый, забираю всех зверьков / Вы злой / Значит,  
я злой? / Да, злой и глупый-преглупый / Тогда полу-  
чайте двух кротов / Не боюсь / И всех дикобразов.

Смугло-шелковистое фото Элен, галечный камушек, который на ладони притворяется, будто теплеет, а на самом деле леденеет, пока не обожжет, лента Мёбиуса, по которой скрыто движутся слова и поступки, и вдруг — орел или решка, теперь или никогда; Элен Арпа, Элен Бранкузи, многократная Элен из Хайду с лезвиями двойного топора и привкусом песчаника в поцелуе, Элен — пронзенный стрелой лучник, бюст юного Коммода, Элен — «дама из Эльче», юноша из Эльче, холодная, хитрая, равнодушная, учтивая жестокость инфанты посреди просителей и карликов, Элен — *marîée mise à nu par ses célibataires*<sup>1</sup>, Элен — дыхание мрамора, морская звезда, ползущая по уснувшему человеку и навек присасывающаяся к сердцу, далекая и холодная, идеально совершенная. Элен — тигр, который прежде был кошкой, которая прежде была клубком шерсти. (Тень у Элен гуще, чем у других людей, и более холодная; кто ступит ногой в эти саргассовы водоросли, почувствует, как в тело проникает яд, который погрузит

---

<sup>1</sup> Невеста, раздетая холостяками (франц.).

его навсегда в единственный роковой бред.) До Элен и после — хоть потоп; любой телефон, вроде гигантского скорпиона, ждет приказа Элен, чтобы разорвать кабель, свою привязь к времени, и огненным своим жалом выжечь истинное имя любви на коже того, кто еще надеялся пить чай с Элен, услышать звонок от Элен.

Как мы вскоре узнали, в игру еще много чего входило, но сперва были в основном руки фрау Марты и запах плесени в «Гостинице Венгерского Короля» на Шулергассе, с окном нашего номера, выходившим на Домгассе, неким глазом отеля, глядящим в прошлое (там, в нескольких метрах, начиналась Блутгассе со своим недвусмысленным названием, хотя и не намекающим на дворец графини; там вы оказывались во власти предполагаемых совпадений, каких-то сил, косвенно подсовывавших вам название улицы, созвучное тому, которое, верно, шептал народ в дни великого страха), аромат плесени и старой кожи, подозрительно ожидавший нас в номере, куда нас привел сам администратор, номере историческом, *Ladislao Boleslawski Zimmer*<sup>1</sup> с соответственной готической надписью на двустворчатой двери и толстыми стенами, сквозь которые не проник бы и самый ужасный вопль, как, вероятно, иногда (а мы знали, куда выходит стена, к которой примыкало изголовье нашей скрипучей кровати) они заглушали голос и фортепиано Моцарта, сочинявшего в соседнем доме «Свадьбу Фигаро», — так пояснял путеводитель Нагеля и восторженно повторяла юная англичанка во время завтрака с фрау Мартой, ибо никто из приезжающих в Вену не может не посетить «Фигаро-Хаус» с путеводителем Нагеля в руках и не прийти в волнение с девяти до двенадцати и с четырнадцати до семнадцати, вход пять шиллингов.

Ни Телль, ни я не смогли бы сказать точно, когда начались эти ассоциации, и, конечно, ни у нее, ни у меня не возникла прямо мысль, что старуха может быть чем-то вроде инобытия графини, — мы же всегда уныло соглашались, что перевоплощений нет, а если они и есть, то перевоплотившийся не сознает этого, и потому дело теряет всякий интерес. Видимо, действовала атмосфера

---

<sup>1</sup> Комната Владислава Болеславского (нем.).

отеля или временами находившая на нас тоска, с которою мы таким образом боролись, не сознавая еще, что тут кроется нечто большее, что не просто легкомыслие бездельников побудило нас переехать из «Козерога», покидая идеально чистые полотенца, бар с удобными креслами, и что почему-то мы должны продолжать игру, иронически, разочарованно, а порой тревожно ожидая, что может произойти нечто, чего мы не в силах предвидеть. С самого начала наше внимание привлекли (в обоих смыслах) руки фрау Марты, с тех самых пор, как Телль однажды утром в «Козероге» заметила пауэчи ухватки, с какими фрау Марта буквально опутывала юную англичанку, чтобы добиться права вскарабкаться в кресло за ее столиком. Эти руки в конце концов нас заворожили (я преувеличиваю, но так мы поступали всегда, рассказывая что-либо друзьям, заранее наслаждаясь негодованием моего соседа, чествующего нас истериками), руки, постоянно копошившиеся в старой черной сумке, откуда появлялись и где исчезали блокноты и тетрадки в клеенчатой обложке, листки бумаги, монеты, карандашные огрызки и прозрачная линейка, с помощью которой фрау Марта подчеркивала свои письменные наставления юной англичанке в ее прогулках по Вене, — о да, миссис, — возбужденно и чутьточку испуганно смотревшей, как фрау Марта, похожая на пожилую школьницу или юную старушку, вытаскивает линейку, чтобы дважды подчеркнуть название и адрес «Гостиницы Венгерского Короля», где, как подслушала Телль, советчица пользовалась особым уважением и изрядной скидкой.

Калак много раз повторял, что моя обостренная чувствительность к рукам болезненна и что какой-нибудь психоаналитик и т. д. В «Closerie des lilas»<sup>1</sup>, к концу одной из нечастых встреч согласившись выпить сухого вина и держась менее отчужденно, чем прежде, Элен мне сказала, что на мои руки тягостно смотреть, что они слишком нервны, они чем-то напоминают послание, у которого уже нет адресата, но которому нейметя, и оно тычется везде — на столах, в карманах, под подушками, на теле женщины, причесываясь, строка письма, открывая двери бесчисленных номеров, где проходит жизнь переводчика. Стоило ли возразить ей, что адресат послания вот он здесь, рукой подать, что ее волосы, и ее подушка, и ее

---

<sup>1</sup> «Сиреневый хутор» (франц.).

тело отказываются принять посланца? Элен, наверно, усмехнулась бы словно издалека, сказала бы что-нибудь об освещении в «Closerie des lilas», по-прежнему куда более мягком, чем в прочих ресторанах Парижа. По словам Телль, руки фрау Марты чем-то напоминали сов или черные крюки; сидя за моим столиком и глядя на них каждое утро, я в конце концов уловил то, что, видимо, уловила Элен, глядя на мои руки в тот вечер,— сообщение на непонятном языке, упорное мелькание иероглифических знаков в воздухе над столиком, среди хлебцев и баночек с вареньем, медленный гипноз с помощью прозрачной линейки, тетрадки в клеенчатой обложке, фокусов в черной сумке, пока англичанка рассказывала о своих прогулках и выслушивала советы о Бельведере, о церкви Мария-Гештаде, о палате сокровищ в Хофбурге.

Любопытно (отмечаю это с некоторой досадой), что мысль о графине пришла в голову Телль, сперва она пользовалась ею просто как метафорой, а затем — чтобы убедить меня переехать в «Гостиницу Венгерского Короля». Когда меня начали мучить руки фрау Марты и завтраки в обшарпанном зале постепенно стали превращаться в утонченную пытку среди мармелада, и хлебцев, и страстного желания слушать, понять, не нарушая приличий и ритуала утренних вежливых улыбок, я согласился, что графиня годится хотя бы как рабочая гипотеза, раз уж в этот момент, при нашем бессмысленном переезде в другой отель, мы не видим иного достойного выхода, как довести дело до конца и вызнать точно намерения фрау Марты. Итак, возвращаясь с заседаний конференции, я узнавал в подробностях о розысках, проводимых Телль, которая здорово развлекалась, следя за англичанкой или за фрау Мартой, когда не было лучшего занятия, а его явно не было. Я Телль не говорил об этом, но меня слегка тревожил духовный вампиризм, которым графиня завороживала Телль по моей вине в первые наши ночи в Вене, когда я пространно рассказывал ей о графине и повел ее из «Козерога» посмотреть Блютгассе, не подозревая, что очень скоро мы будем жить в нескольких метрах от ее пепельных стен и глядеть в окно, высящея над застойным воздухом старого города. Теперь уже Телль мучила меня своими сообщениями, в которых фрау Марта каким-то образом заменяла графиню в воображении безумной датчанки, но ведь это я ненамеренно выпустил на волю сонмы образов и атмосферу минувшего, и в конце



концов среди смеха и шуточек они на нас нахлынули, хотя мы лишь наполовину верили в то, что где-то в душе уже приняли, вероятно, с самого начала. У меня в этой игре сразу было больше карт, чем у Телль, — в эти дни прибыла кукла месье Окса, рельеф василиска ввел в венский танец другие фигуры, подобно тому как потом в Париже к ним присоединилась книжка Мишеля Бютора и под конец (но этот конец, пожалуй, был началом) — образ умершего в клинике юноши. Со своей, дневной и суматошной, стороны Телль разыгрывала минимум карт: старуха, юная англичанка, отель, населенный призраками, уничтожавшими время, и — неосязаемо — графиня, она якобы тоже могла жить в отеле, ну хоть бы потому, что велела произвести в своем дворце побелку, Телль была способна такое вообразить и даже сказать вполне серьезно: графине, ясное дело, на это время удобней всего поселиться в «Гостинице Венгерского Короля». С этим невинным и двусмысленным набором карт Телль входила в игру, к моему тайному удовольствию. Потому что до того момента уподобления и розыски казались нам забавными, и каждый вечер, очень поздно, когда я старался забыть о дневной работе с помощью виски или занимаясь любовью с Телль в комнате Владислава Болеславского, мы выходили на притихшие улочки, шли по старинному кварталу с церковью иезуитов и в какой-то момент выходили на Блютгассе, недоверчиво ожидая, что вот-вот заметим силуэт фрау Марты на каком-нибудь плохо освещенном углу, зная, однако, что в этот час мы ее не встретим хотя бы потому, что графиня должна бродить по другим развалинам, по башне замка, где много веков тому назад скончалась от холода и одиночества, там, где ее замуровали, чтобы она больше не брала у девушек кровь.

Я пошел по Уорддор-стрит, без удовольствия затягиваясь сигаретой, отдаваясь на волю темноты и улиц, затем пошел вдоль Темзы, выбрал паб и принялся пить, смутно соображая, что Николь, наверно, легла, не дожидаясь меня, хотя она, кажется, говорила, что в этот вечер будет делать эскизы для энциклопедического словаря: Абак, абонемент, абордаж, абориген, абразия. Почему не заключают договор со мной, чтобы я проиллюстрировал абстрактные слова: аберрация, абстракция, абсурд, абулия, агония, апа-

тия? Это было бы так легко, надо только выпить можжевельной и закрыть глаза: все тут — и абберрация, и агония, и апатия. Хотя нет, теперь, закрывая глаза, я видел очертания города, образ, маячащий в полудреме, в минуты рассеянности или когда сосредоточишься на чем-то другом; возникают они всегда внезапно, не повинуюсь ни призывам, ни ожиданиям. Я снова пережил — а в явлении города сочетались и зрительные, и эмоциональные моменты, они были неким состоянием, эфемерным междуцарствием, — тот случай, когда встретил Хуана на улице с аркадами (вот еще слово для иллюстрации, Николь нарисовала бы их тонкими линиями и с глубокой перспективой, наверно, она тоже вспомнила бы бесконечные галереи из красноватого камня, если ей довелось проходить по этой части города, и нарисовала бы их для своего энциклопедического словаря, и никто никогда бы не узнал, что эта улица с галереями — улица города), мы с Хуаном пошли рядом, не разговаривая, несколько кварталов шли параллельно, потом вдруг резко разделились — Хуан поспешно вскочил в трамвай, проходивший по большой площади, будто увидев знакомого среди пассажиров, а я свернул налево к отелю с верандами, чтобы начать, как бывало уже много раз, поиски ванной комнаты. И теперь, в этом пабе, где свет скорее напоминал темноту, мне было бы приятно встретиться с Хуаном и сказать ему, что, мол, в одном лондонском отеле его ждут, сказать по-дружески, как может говорить человек, берущийся иллюстрировать слово «абберрация» или слово «апатия», оба тут равно неприменимые. Можно было предвидеть, что Хуан удивленно и аффективно (еще одно абстрактное слово) округлит брови и что на следующий день его ласковое и учтивое обращение с Николь примет круглые или продолговатые формы коробок с конфетами, купленных на одном из аэродромов, по которым он мечется, или какой-нибудь из английских головоломов, восхищающих Николь, а затем он снова отправится на очередную международную конференцию, без особой тревоги полагаясь на то, что расстояние исцелит раны, как не преминула бы выразиться госпожа Корица, которую мы с Поланко, Калаком и Николь так часто вспоминали в эти дни в часы веселья.

Конечно, что касается абстрактных рассуждений, так Хуан сейчас в Вене, но я ничего бы ему не сказал и в том случае, если бы непредвиденное изменение планов привело его в Лондон. Никто из нас не был по-настоящему серь-

езен (разве что Элен, но о ней мы, по сути, так мало знали), и соединяло нас в городе, в «зоне», в жизни одно — веселое и упрямое попираание десяти заповедей. Каждого из нас наше прошлое по-разному научило, что совершенно бесполезно быть серьезным, прибегать к серьезности в кризисные минуты, хватать себя за лацканы и требовать от себя каких-то поступков, решений или отречений; и ничего не могло быть логичней, чем этот безмолвный сговор, объединивший нас вокруг моего соседа, чтобы иначе понимать существование и чувства, чтобы идти по путям, которые в каждой данной ситуации не рекомендовались, отдаваться на волю судьбы, прыгать в трамвай, как сделал Хуан в городе, или лежать в постели, как делали мы с Николь, без рассуждений и чрезмерного интереса подозревая, что все это по-своему сплетает и расплетает то, что на уровне здравого смысла выразилось бы в объяснениях, письмах, телефонных звонках, а может, и в попытках самоубийства или во внезапных отъездах на политические акции либо на тихоокеанские острова. Мой сосед однажды, кажется, изрек, что мы гораздо больше основываемся на общем множественном минимуме, чем на общем разделяющем максимуме, — правда, не совсем ясно, что он этим хотел сказать. Странное дело, несмотря на пятую рюмку можжевельной, у которой в этот вечер был непонятный привкус мыла, за всем, о чем я думал, притаилось что-то похожее на радость, на почти ликующее приятие того, что недовольная наконец заполнит одну из пустот, собственно даже не она сама, а понятие «недовольная», смысл этого слова, явившегося в конце концов, чтобы заткнуть слишком долго зиявшую дыру. Я ей сегодня сказал: «Недовольная», и она потупила голову, приводя в порядок кисточки. Кое-как, но мы сумели ликвидировать дыры в наших отношениях последних месяцев: сомнение — вот одна дыра, надежда — дыра еще больше, неприязнь — дыра-дырища, словом, все разновидности великой дыры, того, с чем я всю свою жизнь боролся молотком и резцом, любовью к нескольким женщинам и тоннами испорченной глины. Теперь не остается ничего, территория расчищена, почва выравнена, и можно уверенно ступать после многих пустых недель, с того самого дня, когда мы остановились на дороге из Венеции в Мانتую и я, заметив, что Николь грустит, в первый раз отчетливо почувствовал, что теперь она — недовольная. Все остальное — придумывание вся-

ческих дыр, сперва отрицание с оттенком надежды, нет, это невозможно, нет, попробуем еще немного, а затем попытки временно заполнять дыры, например, стеблем *hermodactylus tuberosis* и анонимными невротиками. Зачем мы приехали в Лондон? Зачем продолжать быть вместе? Из них двоих у Марраста по крайней мере были какие-то заслуги (это он так думал), он все же пытался что-то делать, чтобы заполнить эту дыру, придумал себе нечто вроде параллельного действия, посещая Институт Куртолда, проверяя результаты своего вмешательства и реакцию Гарольда Гарольдсона, между тем как Николь все сидела над своими гномами, иногда слушая транзистор и равнодушно соглашаясь на все, что предлагали Калак, и Поланко, и Марраст, отправляясь в кино или на мюзиклы и обсуждая вести от Телль, которая стала писать ужасно загадочно и весьма в стиле Шеридана Ле Фаню. О да, у Марраста премного заслуг, думал Марраст, потягивая шестую рюмку можжевелевой, которую ему принесли не без колебаний, хотя подлинной заслугой было бы послать все к черту и посвятить себя исключительно глыбе антрацита, заполнить до конца проклятую дыру, швырнув в нее глыбу антрацита, которую м-р Уитлоу ищет в шахтах Нортумберленда, кинуться на нее с молотком и резцом, как Гамлет кинулся в дыру по имени Офелия, высечь фигуру Верцингеторига в самой толще прежней дыры, отрицая ее и уничтожая ударами молотка, и трудом, и обильным потом, и красным вином, открыть, черт возьми, период, исключительно заполненный антрацитом и древними героями, без красных домов, без любезно подаренных головоломок, без сохнувших на столе гномов. А тем временем она, что она? Ты, наверно, плачешь обо мне, ну конечно, обо мне, а не о себе, бедняжка, ведь ты тоже ненавидишь дыры, и любое чувство жалости к себе показалось бы тебе самой вонючей дырой, и вся твоя любовь к Хуану (дарившему тебе конфеты и головоломки и уезжавшему) была как бы приглушена с бог весть какого времени из боязни причинить мне боль, из боязни, что я ее обнаружу и приду в отчаяние, не имея сил бросить тебя, как законченную статую, и идти дальше. И я длил эти терзания, сам терзаемый надеждой, и вот я еще раз ушел, хлопнув дверью (о, иногда я закрывал ее с бесконечной осторожностью, чтобы не разбудить Николь или не помешать ей), начав новый этап скитаний, и анонимных невротиков, и пьянства, вместо того чтобы еще раз на-

всегда кинуться на глыбу антрацита и вернуть недовольную к ее энциклопедии и грядущим коробкам конфет. «Но теперь другое дело,— подумал он,— теперь надежды больше нет, мы уже произнесли слова заклęcia. Теперь есть недовольная, и это слово окончательно закупоривает дыру надежды, вот она, настоящая глыба антрацита. Мне остается одно — уехать, потому что я знаю: если вернусь, мы поцелуемся, будем заниматься любовью, еще одна отсрочка, опять бесконечное натягивание лука, еще одно перемирие, украшенное прогулками, и вежливостью, и нежностью, гномы и разные новости и даже проекты, эх, дерьмо дерьмовое, когда все кончилось на том, что моя левая нога однажды во вторник под вечер затормозила возле красных домов». Когда он вышел из паба, ему показалось, что улицы идут в гору, было почему-то трудней шагать, чем прежде. Понятно, почему они шли в гору, ведь они снова, еще раз, вели его обратно в отель.

Бывает, что без Хуана день ужасно тянется. О чем могут там спорить эти бирманцы, эти турки, все эти народы, которые бедный мой дурачок должен заставить говорить по-испански и из-за которых он приходит опустошенный и усталый? Не будь тут меня, его ожидающей,— скажем это без ложной скромности,— он, наверно, выпил бы бутылку сливовицы, и на следующий день его синхронные или диахронные переводы открыли бы новую эру в международных отношениях, уж это верней верного. По сути говоря, я для него изобретаю ночь, и не только в обычном смысле, который вызвал бы смехок Поланко, нет, я отмываю его от слов, от работы ради денег, от недостатка мужества бросить то, к чему душа не лежит, от того, что это я, а не Элен, буду медленно раздеваться под его горьким и лихорадочным взглядом.

Да, Телль, так оно и есть, напрасно ты глядишь на меня из зеркала с такой миной (кстати, надо бы удалить волосы под мышками, до прихода Хуана еще есть время, а он терпеть не может запаха депилятора вопреки красноречивым утверждениям госпожи Элизабет Арден). Раз нет будущего, заслуживающего усилий, то есть будущего с Элен, надо изобретать его и смотреть, что будет, забрасывать в него бумажные змеи, воздушные зонды, засылать почтовых голубей, лучи лазеров и радаров, письма с неопределенным адресом. Ну, как если бы я послала Элен

куклу, которую мне подарил мой дурачок. Во второй рюмке «кампари» (я это проверила уже не раз, строго научно, детка) есть капелька надежды, без сомнения, алкоголь sends me <sup>1</sup>, как говорил Лерой, помогает изобретать более интересное будущее с фрау Мартой, и юными туристками, и этим траченным молью, призрачным отелем, где, я уверена, что-то произойдет. Yes, it sends me, сколько раз повторял это Лерой, когда мы слушали пластинки, и курили всю ночь, и задумывали путешествия, которых так и не совершили, бедный Лерой, снимок в кливлендской газете, носилки, в которых его несли в больницу, красная машина, врезавшаяся в ствол дерева. Бедный Лерой, в любви он был всегда один и тот же, в отличие от Хуана, который вечно будто ждет, что я придумаю ему новый способ упираться коленями, гладить мне талию, называть меня по-новому. Бедный Лерой, мне почему-то кажется, что мертвый негр дважды мертв. Copenhagen Blues <sup>2</sup>, если это он. Еще рюмку «кампари», от второй рюмки, ей-богу, никакого толку не было, одни датские воспоминания, прошлое, лежащее навзничь с открытыми глазами, все эти мертвецы, что иногда посылают открытки или вспоминают о моем дне рождения, дорогая мамочка, папа-инженер, братья, которые мне бесцеремонно дарят каждый год по новому племяннику, damn the dirty bunch <sup>3</sup>. Насколько лучше, да-да, лучше, милая девушка в зеркале (а вот здесь еще остались волоски), наша выдумка с этим идиотским, но забавным будущим, которое мы с моим дурачком создаем, используя фрау Марту с ее плиссированными юбками и миллиметровой линейкой, похожую утром на грязную крысу, точно она спала одетая. Разумеется, ничего особенного не произойдет, но все равно это очень хорошо, чего уж лучше — спровоцировать то, что хочется обнаружить, хотя на душе уже страшновато и чуть противно (мне больше, чем Хуану, который готов принять или выдумать что угодно, лишь бы не принять то, другое, будущее без Элен), как бывает часто, когда они, мужчины, возвращаясь из города с раскисшими губами и смутными ночными страхами, начинают подозревать, что за этими мерзкими, грязными прогулками кроется нечто иное, исполнение желаний, и что, быть может, именно в городе

---

<sup>1</sup> Поднимает меня (англ.).

<sup>2</sup> Копенгагенский блюз (англ.).

<sup>3</sup> Будь проклята эта гнусная компания (англ.).

с ними произойдет то, что здесь кажется им чудовищным, или невозможным, или *nevermore*<sup>1</sup>. О да, вы правы, сказал бы Зигмунд из Вены. Безумная датчанка, сказал бы Хуан. Это третья или четвертая рюмка? Сохраним хоть капельку благоразумия к тому времени, когда вернется мой дурачок, весь измаранный словами и уставами на четырех языках. Но я уверена, вполне уверена, что, если в двух шагах от Блютгассе, где она мучила девушек и умывалась кровью доставленных ее подручными, мы упорно ждем, что начнется столько раз повторявшееся действие, это не может быть чистой игрой, я чувствую, что многое в наших выдумках уже было выдуманно до нас. Послать Элен куклу? Бедный мой дурачок, какая будет у него физиономия, когда он узнает, разве что в глубине души позабавится — с ним все возможно. А она, о, конечно, такая серьезная, отчужденная, ну прямо вижу ее, *damn it*<sup>2</sup>, Телль, ты пьяна. Все атмосфера этого отеля, и подумать, что тут рядом бедный Моцарт... *Tiens*<sup>3</sup>, я сейчас вспомнила, что вчера вечером спросила у Хуана: а может быть, мы, сами того не зная, являемся пособниками фрау Марты? Он не ответил, был слишком утомлен работой и слишком много выпил, был мрачен, как обычно, когда в него вселяется призрак Элен. А его самого выселяет. Однако, если будет так продолжаться, я заскучаю, что-то в этот вечер даже «кампари» не помогает. О, если бы здесь были Николь и Марраст, чтобы я могла себя почувствовать хоть относительно веселой (но ведь мне весело, виновата эта проклятая четвертая рюмка, четные числа всегда мне приносят несчастье), ну еще на два пальца, перейдем в счастливую клеточку, *easy does it*<sup>4</sup>, о мои два аргентинца, ангелы-хранители моей жизни с их узкими костюмами и широкими душами. А этот Остин, Остин! Просто какая-то наглость есть в том, как все они пишут об Остине в открытках с лондонским Тауэром или гигантским пандой, мне что-то подумалось, что с Остином я бы потрясающе позабавилась, хотя, надо признаться, представить себе Остина и его лютню в этом отеле, где полно моли и привидений, довольно трудно. Если верить Поланко, в этом юном англичанине есть что-то от Парсифаля, этакое воплощение девствен-

---

<sup>1</sup> Никогда (*англ.*). Здесь в смысле «невероятным».

<sup>2</sup> Проклятье (*англ.*).

<sup>3</sup> Постой (*франц.*).

<sup>4</sup> Ну, ну, спокойно (*англ.*).

ности в паже-лютнисте, Остин *der Reine, der Tor*<sup>1</sup>, но я-то чертовски мало похожа на Кундри, уж это точно. Не кажется ли тебе, Хуан, что я блистаю остроумием, что я вполне достойная девка переводчика ВОЗ и МОТ<sup>2</sup>? Телль, безумная датчанка, ты пьяна; когда из тебя брызжут разные языки, это значит, что ты пьяна и даже готова вообразить Остина в постели. Остин еще немножко ребенок со своей лютней и больной мамой (*Поланко dixit*<sup>3</sup>). А ну, Остин, положи руку сюда, на всех языках это пупочка, которая твердеет, ох, как удивится маленький Остин. Было бы забавно встретить его когда-нибудь в городе, если дикари его этим заразят, он в конце концов тоже окажется там, но, право, я совсем опьянела, если воображаю, будто в городе может произойти что-то забавное, — а почему бы нет, черт возьми, — в каком-нибудь из этих номеров с верандами, там ведь жарко, и вполне естественно было бы раздеться. Иди к своей безумной датчанке, она тебя научит, как не осрамиться в постели. Не кусай меня, малыш, ты, видно, перепутал руководства, в руководствах для моряков этого нет и в помине. А теперь, раз уж я об этом думаю, а на пятой рюмке «кампари» я всегда начинаю думать, хотя на что оно мне теперь, — почему я назвала себя девкой, перед тем как принялась так фривольно фантазировать перед зеркалом, в котором ясно видно, что я все еще одна, и Хуан не приходит, и все так провоняло венгерским королем. Ну и дерьмо! Нет, никак не найду точного определения, но, во всяком случае, я великая утешительница, я омываю раны любви у моего бедного дурачка, который вдобавок страдает румынами и конголезцами. Я тут говорю о моем дурачке, а он, привет, *there you are*<sup>4</sup>. Но что за физиономия, так и видно, что ты перелистал все словари в мире. Сейчас позвоню, чтобы нам принесли лед и бутылку «аполлинариса». *On the rocks, my dear?*<sup>5</sup> Я буду продолжать «кампари», смешивать вредно. Вот тебе первая. Пей долго-долго. А вот и вторая. *Good boy*<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Чистый, глупый (*нем.*).

<sup>2</sup> ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения; МОТ — Международная организация труда.

<sup>3</sup> Сказал (*лат.*).

<sup>4</sup> Вот и ты (*англ.*).

<sup>5</sup> Со льдом, мой дорогой? (*англ.*)

<sup>6</sup> Пай-мальчик (*англ.*).



В то утро он встретился с Калаком и Поланко на станции Чаринг-кросс и уставился на них, как на редких зверей.

— Вы и в Париже мозолите глаза французу своими приталенными аргентинскими пиджаками в полоску, уж не говоря о ваших прическах. А здесь, среди лондонцев, на вас еще неприятней смотреть.

— Он скульптор,— сообщил Калак Поланко.— Это многое объясняет.

— Верно говоришь, дружище,— одобрил Поланко.— Слушай, малыш, уже по гринвичскому времени двадцать минут прошло, как мы тебя тут ждем, а у меня ведь склонность к клаустрофобии.

— Живей, пошли в этот поезд,— предложил Калак, и, беседуя о неаккуратности и приталенных пиджаках, они влезли в некое пюре из англичан, перемещавшееся на юг Лондона. Где-то после второй остановки Поланко и Калак принялись обсуждать проблему ласточек, пока Марраст что есть силы цеплялся за кожаную ручку и равнодушно внимал орнитологическому волнению, которое два жителя пампы вызвали в большей части вагона. Когда они опомнились, оказалось, что проехали уже восемь станций, а они даже не посмотрели, в том ли направлении едут. Пришлось выйти на Баттерси и брести по бесконечным туннелям, пока не попали на линию Бейкерлоо, которая, по-видимому, должна была их вернуть в Сити.

— Они млекопитающие,— утверждал Поланко,— я это знаю из надежного источника. А ты что скажешь, че? Нет, вы поглядите на него, стоит себе и спит, наука его не интересуется. Ему если не дашь в руки камень да молоток, он на тебя, братец, и бровью не поведет.

— Foutez-moi la raix <sup>1</sup>,— попросил Марраст, который предпочитал думать о ласточках на свой лад и уже некоторое время слышал, как они посвистывают над островом Сан-Джорджо, куда он столько раз переправлялся, чтобы посмотреть с другого берега лагуны на Венецию в золотистой закатной пыли, беседуя с Николь о Бароне Корво и в особенности о Тернере, который вовсе не был так неизвестен во Франции, как полагал м-р Уитлоу. Что там Николь, все сидит тихонько в «Грешам-отеле»? Закончила ли она рисовать сцену встречи

---

<sup>1</sup> Оставьте меня в покое (франц.).

Мерлина с лепрахаунами, помнит ли, что сегодня Марраст должен повести ее в музей, о котором в эти дни было столько говорено? Возможно, что нет, даже наверное нет; остров Сан-Джорджо, без сомнения, далек от образов ее отвлекающего занятия, ностальгические воспоминания — это его доля, а Николь оставляет себе тоску вне времени и предметов, туманную завесу, которая должна оградить ее от воспоминаний, а может, и от надежды, но, во всяком случае, от ласточек.

— Вон место освобождается, — сказал Калак, — толстуха с челкой собирается выходить.

— Нам тоже пора, — сказал я. — Мы совершенно заплутались среди этих треклятых ласточек. Ни у кого нет плана метро?

Мы вышли на Суисс-Вилледж и пересели на северную линию в направлении Вест-Энда. Нашей целью было встретиться с лютнистом, который учился у меня французскому и ждал меня, чтобы спрягать глаголы на «er» да кстати позавтракать (*dé-jeu-ner*) пресловутым пирогом с мясом и почками, беседуя об Уильяме Бёрде с Калаком и Поланко, которые пользовались случаем, чтобы усваивать английскую фонетику и интонацию. Поланко, видимо, подготовился, потому что на этом участке пути он пустился в рассуждения о ладовой музыке, в которой, похоже, разобрался неплохо — во всяком случае, когда Остин отсутствовал, а при Остине мы замечали, что он о вопросах акустики благоразумно помалкивает.

— Вы заметьте, что в «*Le martyre de Saint Sébastien*»<sup>1</sup> ладовая музыка сочетается с византийским духом, — говорил Поланко.

— Они млекопитающие, — настаивал Калак, интересовавшийся, кстати, некой машинисточкой с торчащими грудками.

Потом я расскажу Николь, что эта фраза Поланко вдруг привела мне на память Элен, и я, вообще-то мало думавший об Элен, вспомнил, что в предыдущую ночь, меж двумя снами и смутным бормотанием спящей Николь, у меня было словно бы видение: Элен, привязанная к дереву и пронзенная многими стрелами, маленький святой Себастьян с курчавыми темными волосами и ртом, в очерке которого чувствовалась мелочная жестокость, чего никогда не замечаешь в линиях рта Николь и что

---

<sup>1</sup> «Мученичество святого Себастьяна» (франц.).

ей бы так пригодилось в жизни и со мною, особенно со мною. Когда-то, совсем юным, я знал наизусть большие куски этой поэмы, и особенно тот отрывок, когда кажется, что все сосредоточилось вокруг поразительного стиха: «J'ai trop d'amour sur les lèvres pour chanter»<sup>1</sup>, который теперь возвращал мне, вместе с образом пытаемой Элен, совет ложных богов, время, когда Себастьян плясал перед императором и сама жизнь воспринималась как бесконечный танец, пока все эти женщины, и статуи, и стихи не застыли в прошлом навсегда в тот день, когда мои глаза встретились с глазами Николь на улице в Пасси и я почувствовал, что эта женщина — первая, которая поистине пляшет для меня, а я для нее, и все же я увидел во сне Элен, привязанную к дереву, а не профиль Николь, спящей рядом со мной, так близко и так бесконечно далеко. Конечно, видение это можно очень легко объяснить: я подумал о Элен как о замене Хуана, чтобы стереть образ Хуана, — глупейший ход подсознательной цензуры, как и всякой цензуры, стоит лишь его обнаружить и отнестись с презрением. Я тогда опять уснул (рука Николь шевелилась на подушке, как лист папоротника) с иронической мыслью, что я краду видения у Хуана, что это он в свои бессонные ночи должен бы увидеть Элен вот такой, такой или другой, пронзенной стрелами или пронзающей, но непременно жестокой и недостижимой, он должен был искать улыбку Элен, которой Элен иногда могла улыбнуться любому из нас, но только не ему, улыбку Элен, этого юркого зверька, который порой выглядывал из ее уст, чтобы взбаламутить нам жизнь быстрым, равнодушным укусом. Но зачем же я думаю обо всем этом, вместо того чтобы поискать план метро и найти самую близкую к Сохо станцию, кажется, это Тоттнхем-Корт-Роуд?

— Ни в коем случае, — сказал Поланко. — Надо выйти на Челси и идти до Гайд-Парка, а оттуда совсем просто, доберемся за пять минут.

— В том конце вагона я вижу план, — сказал Калак, — тебе надо только подойти и выяснить.

— Идите, сударь, сами, вы же так хорошо знаете Лондон, — сказал Поланко. — А для меня этот город остался, каким он был при Конан Дойле.

— Все дело в том, что вы бурдак, — сказал Калак.

---

<sup>1</sup> «У меня на устах слишком много любви, чтобы петь» (франц.).

— А вы жалкий финтихлюпик,— сказал Поланко.

— Из всех, кого я знаю, вы самый большой бурдак.

— А вы самый большой финтихлюпик.

Поезд остановился на станции, где все стали выходить.

— Вы просто хотите со мной подраться, дон,— сказал Калак.

Пришлось выйти и нам, служащий метро уже делал нам гневные знаки с платформы, и почти сразу обнаружилось, что мы находимся на самой далекой от Сохо станции. Пока Поланко заканчивал толковать Маррасту о ладовой музыке, Калак подошел к служащему за справкой и вернулся с потрясающей вестью, что им надо сделать только две пересадки и что они быстро доберутся до места, если не запутаются на второй, очень сложной. Они углубились в длиннейший туннель, Калак, чтобы не сбиться, на ходу повторял вслух маршрут, а Марраст и Поланко, слушая его, проникались убеждением, что вторая его устная версия сильно отличалась от первой, но они уже истратили на поездку столько пенни, что все это не имело значения, разве что урок французского; бедняга Остин, верно, ждет их на углу, потому что его комната на верхнем этаже пансиона очень мала, да еще забита старинными инструментами, не говоря уж о старенькой парализованной маме.

Да, on the rocks, долгий глоток, чтобы смыть последнее вязкое воспоминание о пленарном заседании этого дня. Закрывать глаза, поцеловать самаритянскую руку Телль, которая гладит ему щеку, полежать тихонько в исторической кровати номера Владислава Болеславского, примиряясь с ночью — с тишиной, с мягким синим светом ночника, духами Телль, напоминавшими не то лимон, не то плесень. Закрывать глаза, чтобы лучше слышать мурлыканье Телль, последние новости о фрау Марте, но в этот час Хуан всегда отдавался течению другого потока, покорно соглашаясь, что фрау Марта каким-то образом явилась из прошлого, возможно из той ночи, когда он вышел один, без Телль, увлекшейся шпионским романом, бродить по улицам, вокруг собора и от Грихенштрассе и Зоммерфельдштрассе прошел до плохо освещенного участка с церковью иезуитов, осаждаемый, как всегда после трудного дня, словами, выпадавшими из пустоты, множась, подобно пляшущим перед бессонными веками

искоркам, например слово «Трапезунд», из которого получились «трап», «раунд», «урна», «уран», «тур», «раут», пролив Зунд и с небольшим изменением — знойный ветер, что иногда дул в Мендосе<sup>1</sup> и в его детстве. Привыкший к этим следствиям своей работы, Хуан остановился на углу, ожидая, что же еще выскочит из ларца «Трапезунд». Не хватало «пруда», но он появился после «трупа», который был последней искрой, извергнутой угасавшим словом. На Грихенштрассе, как и следовало ожидать, несколько человек еще бродило в поисках «Keller»<sup>2</sup>, чтобы выпить и попеть; Хуан пошел дальше, останавливаясь в порталах, куда его всегда влекла возможность более потаенного общения, полумрак, зовущий выкурить сигарету и пройти во двор,— порталы старой Вены ведут во внутренние мощеные дворы, где обычные для барокко открытые галереи вдоль этажей похожи на темные ложи заброшенного театра. Постояв под сенью одного из многих порталов (Haus mit der Renaissance Portal<sup>3</sup> — поясняя неперемнная в таких случаях таблица, и это было так нелепо, а впрочем, надо же эдилам что-то прицепить, раз этот дом — исторический памятник; неразрешимая проблема: описывают то, что громогласно само себя определяет, как почти все картины в музеях: женский портрет с табличкой «Женский портрет», стол и яблоки с табличкой «Натюрморт с яблоками», а теперь, судя по последним вестям от Поланко и Марраста, еще портрет врача, державшего стебель *hermodactylus tuberosis*, разумеется, с соответствующей табличкой, и, как превосходно сказал однажды мой сосед, в этом смысле было бы вполне логично, чтобы люди ходили по улицам с табличкой «человек», трамваи — с табличкой «трамвай», улицы имели бы огромные таблицы «улица», «тротуар», «мостовая», «угол»), Хуан направился дальше без определенной цели, пока не дошел до Дома с василиском, где, разумеется, также была табличка «Basilisken Haus», там он немного постоял, покурил и подумал о последних вестях от Поланко, и особенно о замечательной новости, что глыба антрацита для Марраста уже едет во Францию. Поланко эту новость несколько раз подчеркнул, словно Хуана так уж интересовали известия, касающиеся Марраста.

<sup>1</sup> Мендоса — город в Аргентине у подножия Анд.

<sup>2</sup> Погребок (нем.).

<sup>3</sup> Дом с ренессансным порталом (нем.).

Меня всегда привлекали василиски, и было очень приятно, что в эту ночь тут рядом был старинный дом с горельефом василиска, кругом лапки, колючки и все прочее, чем снабжают василисков, когда они попадают в руки художников. Совсем он был не похож на маленького, простенького василиска Элен, на брошь, которую Элен надевала лишь изредка, по ее словам, василиск чувствителен к краскам (и когда она это говорила — а она всегда так отвечала Селии или Николь, если те спрашивали у нее про брошку, — мой сосед и я примечали, как она улыбалась, слушая наши объяснения, что это свойство хамелеона, а не василиска), точно так же как маленький василиск Элен сильно отличался от того, который был у месье Окса на его серебряном перстне, от зеленого василиска, непонятно как поджигавшего себе хвост. Вот так в ту ночь венские улицы привели мне василисков, иными словами — Элен, подобно тому как в древнем, затхлом воздухе, словно исходявшем из каменных порталов, всегда ощущалась Блютгассе, и в таком случае мое воспоминание о месье Оксе, возможно, было навеяно не столько Домом с василиском, перенесшим меня к нему через брошь Элен, но куклами, поскольку куклы были одним из знаков графини, когда-то обитавшей на Блютгассе, — ведь все куклы месье Окса кончали тем, что их терзали и рвали на части после истории на улице Шерш-Миди. Эту историю я рассказал Тель в поезде, шедшем в Кале, и тогда-то случилось происшествие с рыжей пассажиркой, такое любопытное совпадение, но теперь, в старой Вене, у Дома с василиском, все эти знаки возвращали меня к графине, приближали ее, как никогда раньше, к местам, где скрытно пульсировал страх, и когда Тель рассказала мне про фрау Марту, то на следующий день или дня через два стало казаться, что фрау Марта явилась из прошлого, обосновалась, и расположилась, и определилась после встречи с неясными знаками, у Дома с василиском, в синем сумраке, в отсутствие Элен.

Хуан уже не помнил, почему они с Тель сели на поезд, идущий в Кале, было это, видимо, в те дни, когда Калак и Поланко предприняли колонизацию Лондона и звали их почтовыми открытками и всяческими посулами, однако еще до того, как Марраст и Николь решили присоединиться к аргентинцам и у всех у них начались при-

ключения, довольно туманно описываемые ими в частых письмах, приходивших в эти дни на имя Телль,— кажется, в поездку тогда отправились из-за того, что их друг, попав в историю, просил помощи из какого-то отеля вблизи Британского музея, такая уж мания у аргентинцев и французов — обязательно селиться возле Британского музея, и не потому, что там гостиницы дешевле, а потому, что Британский музей для них — это пуп Лондона, дорожный столб, от которого можно без труда добраться куда захочешь. Итак, Телль и Хуан ехали в поезде по направлению к Кале, беседуя о буреветниках и других гиперборейских тварях — любимая тема безумной датчанки,— и в какую-то минуту Хуан начал ей рассказывать историю с куклами, тогда Телль, выбросив буреветников в окно, стала слушать историю о куклах и о месье Оксе, изготавлявшем их в подвале возле Бютт-Шомон<sup>1</sup>.

— Месье Оксу шестьдесят лет, он холостяк,— пояснил Хуан, чтобы Телль лучше поняла историю с набивкой кукол, но Телль не слишком интересовалась биографиями и требовала, чтобы Хуан растолковал ей, почему мадам Дениз отправилась в комиссариат седьмого округа с разбитой куклой в пластиковой сумке. Хуану нравилось рассказывать в некотором художественном беспорядке, тогда как Телль, видимо, не терпелось сразу прийти к развязке — возможно, чтобы вернуться к экологии буреветников. Потерпев неудачу со своим самым эффектным приемом, Хуан смирился и рассказал, что первой нашла предмет, спрятанный в набивке куклы, дочка мадам Дениз, а он, Хуан, жил тогда возле Тупика Астролябии — хотя бы потому, что, если существует место с таким названием, ни в каком другом месте жить нельзя,— и что он познакомился с мадам Дениз, по профессии консьержкой, в зеленой лавке Роже, любившего поговорить с покупателями о водородной бомбе, словно кто-то из них что-нибудь в этом смыслил, включая его самого. И вот однажды утром Хуан узнал о том, что мадам Дениз ходила в окружной комиссариат с куклой, и о том, что нашла ее дочка внутри куклы, уж не говоря о сценах в комиссариате, которые Роже, получивший сведения из первоисточника, от самой мадам Дениз и одного из инспекторов, покупавшего у него свеклу, воспроизвел в

---

<sup>1</sup> Бютт-Шомон — парк в Париже.

назидание Хуану и нескольким покупательницам, стоявшим с раскрытыми ртами.

— Сам комиссар лично принял мадам Дениз,— рассказывал Роже.— Разумеется, после того как она положила эту штуку на барьер в комиссариате. О кукле как таковой я ничего не могу сказать, хотя, по словам инспектора, кукла тоже была уликой. Ну, скажите на милость, разве не позор, чтобы невинная девочка шести с половиной лет, играя со своей куклой, вдруг являлась к маме, держа в ручке такое...

Дамы стыдливо отвели глаза, потому что Роже, в своем стремлении к реализму, поставил стоймя некий овощ и показал его публике с великолепным, по мнению Хуана, жестом. Комиссар, естественно, повел мадам Дениз в свой кабинет, меж тем как один из полицейских с известным смущением занялся сломанной куклой и предметом. Из показаний жалобщицы можно было заключить, что во время игр с вышеупомянутой куклой младшая Эвелин Рипалье, в порыве преждевременного материнского чувства, с чрезмерным усердием совершала гигиенические процедуры, в результате чего часть корпуса упомянутой куклы растворилась в воде, ибо эта игрушка невысокого качества, и обнаружилось большое количество пакли, каковая стала объектом естественного любопытства ребенка, и девочка вскоре вытащила раскрашенный предмет, явившийся причиной жалобы мадам Дениз Рипалье, урожденной Гюдюлон. Все вышеизложенное дало окружному комиссару основание предпринять расследование — с целью найти гнусного виновника столь непристойного покушения на мораль и добрые нравы.

— Ты думаешь, девочка поняла, что у нее в руке?— спросила Телль.

— Ну конечно, нет, бедный ангелочек,— сказал Хуан,— но неистовые вопли ее матери должны были травмировать ее на всю жизнь. Когда я познакомился с месье Оксом, я понял, что он человек слишком тонкий, чтобы тратить время на невинных деточек, он метил выше и, как сказал бы Роже, запускал трехступенчатые ракеты. Первая ступень взрывалась, когда малышка ломала куклу, и, кстати сказать, он тут помогал ее садистическим инстинктам; второй ступенью, которая больше интересовала месье Окса, было впечатление, произведенное открытием девочки на ее мать и других близких; третьей ступенью, выведившей боеголовку на орбиту, было



заявление в полицию и возмущение публики, должным образом использованное газетами.

Телль хотела узнать, чем закончилось происшествие, но Хуан уже отвлекся, задумавшись о лотереях Гелиогабала, о том, как другие девочки, вскрывавшие животы своим куклам, находили использованную зубную щетку, или перчатку на левую руку, или тысячефранковый билет, потому что месье Окс неоднократно клал бумажки в тысячу франков в свои куклы, стоившие едва ли пятнадцать, и кто-то на процессе подтвердил это, и это стало одним из самых поразительных смягчающих обстоятельств, возможных в капиталистическом обществе. Когда Хуан снова увидел месье Окса (было это в Ларшан-ле-Роше, в тот день, когда Поланко повез Хуана на мотоцикле, чтобы доказать ему, что и сельская местность имеет свою прелесть, но потерпел неудачу), они поговорили об этом деле, и месье Окс рассказал, что штраф на него наложили умеренный и что несколько проведенных в тюрьме недель оказались для него полезны, так как его товарищ по камере был знатоком tiercé<sup>1</sup> и топологической теории лабиринтов; но самым замечательным результатом процесса — и тут Хуан и Поланко горячо согласились с ним — было то, что во всей Франции, в стране, славящейся почти суеверным почтением к самым ненужным предметам, толпы растрепанных матерей клещами и ножницами потрошили животы куклам своих дочек, невзирая на судороги ужаса у малышей, и делали это не из вполне понятного зуда христианской нравственности, но потому, что в вечерних газетах была должным образом освещена история с тысячефранковыми билетами. У месье Окса глаза увлажнились при мысли о воплях сотен девочек, у которых грубо отнимали их кукол, и лотерея Гелиогабала вдруг приобрела для Хуана значение, вовсе ей не свойственное в те времена, когда он неохотно листал хронику Элиана Спартанского, или теперь, много спустя, хронику, повествующую о графине, другой изящной потрошительнице; не настал еще миг, когда ему скажут о ком-то на него похожем, что лежал на операционном столе голый и вскрытый, похожий на куклу, вскрытую на углу Тупика Астролябии.

---

<sup>1</sup> Геральдический щит, разделенный на три равные части (франц.).

Бывает момент, когда начинаешь спускаться по лестнице на станцию парижского метро и в то же время глаза еще видят улицу с фигурами людей, и солнцем, и деревьями, и тут возникает ощущение, будто, по мере того как спускаешься, твои глаза перемещаются, будто в какой-то миг ты смотришь с уровня талии, потом с бедер и почти сразу — с колен, пока все не заканчивается после того, как видишь на уровне туфель, и вот последняя секунда, когда ты точно вровень с тротуаром и с обувью прохожих, и все туфли вокруг как бы переглядываются, и изразцовый свод перехода становится промежуточным слоем между улицей, увиденной на уровне туфель, и ее оборотной, ночной стороной, внезапно поглощающей твой взгляд, чтобы погрузить его в теплую тьму застоявшегося воздуха. Всякий раз, когда Элен спускалась на станцию «Малерб», она до последнего мгновения упорно смотрела на улицу, рискуя споткнуться и потерять равновесие, продлевая невыразимое удовольствие, таившее в себе также нечто жуткое, постепенного, ступенька за ступенькой, погружения, — как бы созерцая добровольную метаморфозу, когда свет и простор дневного бытия исчезают и ее, будничную Ифигению, поглощает царство нелепых светильников, отдающая сыростью круговерть сумок и развернутых газет. Теперь она снова, как обычно, спустилась на станцию «Малерб», но в этот день, чтобы не терять времени, отказалась от своей игры — она вышла из клиники, не решив, куда идти, не думая ни о чем ином, как о том, чтобы уйти подальше и побыть одной. Наверху светили последние лучи солнца, от которых ей было больно, июньский свет будто приглашал ее, как прежде, сесть в автобус или долго-долго идти до Латинского Квартала. Ее коллега проводила Элен до первого угла, болтая о чем-то, что Элен сразу же забыла, едва девушка простилась с ней; в воздухе еще секунду держалось обычное «до свиданья», приветствие, которое таило в себе обещание и которое обычаем превратил в два пустых слова, в знак, который можно заменить движением руки или улыбкой, но теперь эти два слова возвращали ее к другому прощанью, к последним словам того, кто уже ни для кого не повторит их. Вероятно, поэтому Элен все же спустилась еще раз на станцию «Малерб», не в силах стерпеть солнце и листву деревьев на бульваре, предпочитая полумрак, который по крайней мере намечал ей определенные маршруты, направлял ее ум к неизбеж-

ным решениям: «Порт-де-Лиля» или «Левалуа-Перре», «Нейи» или «Венсенн», направо или налево, север или юг, и уже внутри этого общего решения вынуждал ее выбрать станцию, где она выйдет, а очутившись на станции, ей предстояло выбрать, по какой лестнице удобнее подняться, чтобы попасть на сторону с четными или нечетными номерами домов. Весь этот церемониал совершался так, как если бы кто-то вел ее под руку, слегка поддерживая и указывая дорогу; она спустилась по лестницам, повернула в нужном направлении, протянула билет контролерше на платформе, прошла на место, где должен был остановиться вагон первого класса. Все это время смутно думалось о городе, где в твоих путях-дорогах есть что-то пассивное, ибо они неизбежны и предопределены, есть что-то роковое, если дозволено употребить это роковое слово. То, что могло случиться с нею в городе, всегда тревожило Элен меньше, чем ощущение необходимости совершать маршруты, в которых ее воля не участвовала, как если бы сама топография города, лабиринт тенистых улиц, его отели и трамваи неизменно складывались в неотвратимый, кем-то другим намеченный маршрут. Но теперь, в подземном Париже, в поезде, который в течение нескольких минут также понесет ее через неизбежную мешанину пейзажей и дорог, она испытывала странное облегчение, оттого что избавлена от своей свободы, может уйти в себя, отвлечься и в то же время сосредоточиться на последних часах в клинике, на том, что произошло в эти последние часы. «Почти как в городе», — подумала она, глядя на серое сплетение кабелей по цементу, вибрировавшее за окном вагона. Теперь она была уверена только в одном — в том, что не скоро вернется домой, что разумнее всего остаться до вечера в Латинском Квартале, почитать что-нибудь в кафе, спастись расстояниями и компрессами, прокладывая первые, впитывающие слои ваты, вот метро — такой первый слой между клиникой и кафе, а потом кафе станет повязкой, предохраняющей кожу от слишком жестких прикосновений памяти, сложная система противоударных и изолирующих мер, которую ее разум, как всегда, применит между этим днем и завтрашним утром и между тем, что останется от этого дня, — и последующими, до полного забвения. «Потому что я забуду», — сказала я себе иронически, по сути, это и будет ужасней всего, то, что я снова стану ходить под деревьями, будто

ничего не случилось, прощенная забвением, вернувшим мне работоспособность и силы. Мой сосед, наверно, добродушно обозвал бы меня неудавшейся самоубийцей, он сказал бы мне: «Мы-то уходим в город, а ты только умеешь оттуда приходить, ты ничего другого не умеешь, как приходить из города», и, хотя понять, что он хочет этим сказать мне, было бы нелегко — ведь мой сосед иногда сам себе как будто противоречит,— что-то во мне в тот день готово было с ним согласиться, потому что жизнь, основанная на разуме, жизнь, подкрепленная слоями ваты и изоляторов, казалась мне самым наглым плевком в лицо тому, что произошло так недавно, в половине пятого, в палате номер два на втором этаже, где оперировал мой шеф, и мысль о том, что неизбежно придет забвение что спасительное утешение обеспечено двойным слоем впитывающих поверхностей, была самым отвратительным утешением, ибо исходила от меня самой, меня, которая в эту минуту хотела бы суметь навсегда сохранить в себе каждое проявление абсурда и нелепости, отшвырнуть подсовываемые жизнью ее слои ваты, ее компрессы, хотела всей душой согласиться с тем, что почва под ногами у меня проваливается, меж тем как я твердо ступаю по городскому асфальту. Бедная девочка, подумала я, растрогавшись, как возвышенно ты все же судишь о себе в глубине души, как ты похожа этим на любую другую женщину, но без ее преимуществ, Элен, без преимуществ». Потому что меня погубит гордыня, гордыня без тщеславия, суровость статуи, обреченной, однако, двигаться, и есть, и менструировать. Это что, автобиография? О нет, да еще в это время и в метро. Скорей в кафе, в кафе. Первый компресс, сестренка, и срочно.

Когда она переходила на другую платформу, чтобы попасть на линию, ведущую к станции «Сен-Мишель», образ юноши на носилках еще раз напомнил ей Хуана, хотя она Хуана никогда не видела голым, каким увидела это покинутое кровью тело. Но еще с самого начала, когда она утром, как положено анестезиологу, посетила больного, назначенного в этот день на операцию, что-то в его прическе, в решительном контуре носа и в тонких ранних морщинках у рта напомнило ей Хуана. Знакомство состоялось в рамках обычного вежливого ритуала, надо было войти в контакт с больным, чтобы определить его характер и реакции, однако стоило юноше приподняться в постели и протянуть ей костистую руку, а затем с

учтывым вниманием показать, что он ее слушает, и сходство с Хуаном стало очевидным еще до того, как днем она снова увидела его в операционной уже голым, и он, узнав ее, видя, как она наклоняется к нему, чтобы подготовить его руку, улыбнулся ей тою же чуть судорожной улыбкой, что и Хуан, и сказал «до свиданья» — только это, в ожидании черной волны пентотала, никаких глупых фраз, в отличие от многих других больных, пытающихся скрыть страх под пошлым «постараюсь увидеть вас во сне» или чем-то в этом роде. Потом был только неподвижный профиль, пока она делала укол в вену, его бледный и, однако, такой четкий рисунок, что она могла бы наложить его на любую из реклам, покрывавших стены вестибюля, могла его видеть с открытыми глазами, но также закрыв их, как она сделала сейчас, дойдя до конца платформы, где начиналась короткая лестница, ведущая в туннель, могла видеть его в том, другом, головокружительном туннеле под веками, где набухали слезы, тщетно пытаясь смыть неподвижный, неотвязный профиль. «Я тебя забуду, — сказала я ему, — забуду очень скоро, это необходимо, ты же знаешь. Я тоже скажу тебе «до свиданья», как сказал ты, и оба мы сождем, бедненький мой. Но пока оставайся, у нас еще есть достаточно времени. Это тоже иногда как город».

Бедный Остин, не успел он еще вдоволь насмотреться на портрет, еще не оправился от волнения, вызванного тем, что он находится в Институте Куртолда и разглядывает стебель *hermodactylus tuberosis* в случайном обществе еще нескольких анонимных невротиков (являвшихся каждый сам по себе, однако в изрядном количестве), и вот к нему подходит Марраст спросить, который час, и под этим довольно избитым предлогом вступить в разговор, который навсегда или, скажем, почти навсегда соединит его с дикарями. Сидевшие на большом диване, подобном каменистому островку в центре зала, Калак и Поланко довольно равнодушно наблюдали за этим маневром, спрашивая себя, почему Марраст выбрал этого робеющего юнца среди многих других предполагаемых анонимных невротиков, которые в эти дни приходили изучать исподтишка картину Тилли Кеттла под все более изумленным взором зрителя.

— Это такой тест, — сказал им потом Марраст. —

Надо установить контакт с группой, и Остин мне кажется идеальным кроликом. Как иначе узнать результаты эксперимента? Мне мало того, что я здесь вижу их толпы, я извлекаю одного и на нем проверяю воздействие на коллектив.

— Он ученый,— сообщил Поланко Калаку.

— О да,— сказал Калак, и оба уселись поглубже на диване, пытаясь подавить хохот, который в атмосфере музея мог прозвучать слишком громко.

Затем они вышли все вместе и, сев в автобус-экспресс, поехали в «Грешам-отель», и Марраст пошел за Николь, чтобы она познакомилась с Остином и женским присутствием оживила их кружок, которому угрожала скука. Но Остин сразу же освободился от робости и невротической анонимности, стал рассказывать нам о музыке для лютни и в особенности о Вальдеррабано и других достаточно нам неизвестных испанцах. Нам пришлось признать, что Марраст не ошибся, извлекая Остина из толпы объектов его эксперимента, хотя его резоны были нам еще не вполне ясны, если не считать практики в английском, всем нам весьма необходимой. Я так никогда и не спросила у Марраста, почему среди пяти или шести предполагаемых анонимных невротиков он столь решительно избрал Остина; по словам Калака, он не колеблясь ринулся к Остину, когда было бы гораздо уместней причалить к некой девице в фиолетовом платье, которая, хоть и невротичка, имела вид весьма «секси». Но Мар, видимо, считал не только логичным, но даже необходимым включить Остина в нашу группу и начать давать ему уроки французского, о чем Остин почти сразу же попросил, уверяя, что будет за них платить, так как у его матери есть деньги на совершенствование его образования. В общем, как-то так получилось, что после первого удивления мы все примирились с тем, что Остин естественно вошел в нашу группу, стал подопечным Поланко, который, умиляясь и помирая со смеху, выслушивал его суждения о будущем человечества, а Остин начал знакомить нас с музыкальным и отчасти бойскаутским Лондоном, что нас иногда забавляло. В конце концов я была благодарна Мару за то, что он привел к нам Остина, за то, что Остин, сам того не ведая, включился в нашу жизнь, чтобы, вроде морской свинки или нового романа, стать частью ее обстановки. Вечером, оставаясь одни, мы толковали о портрете и о Гарольде Гарольдсоне, ко-

торый, наверно, испытывал невыразимые нравственные терзания, а также об Остине, прилежно изучавшем французский. Мар словно бы приобретал нам мебель, чтобы заполнить пустоту вокруг нас, — то м-р Уитлоу, то гигантская тень глыбы антрацита, уже найденной в Нортумберленде, а теперь, глядишь, Остин, в общем-то ничуть не невротик. Между двумя такими предметами обстановки, между упоминанием о Тилли Кеттле и мнением о звуке лютни Остина, Мар поцеловал меня в кончик носа и спросил как бы мимоходом, почему я не возвращаюсь в Париж.

— Но ты ведь тоже вернешься, — сказала я, соглашаясь, что все бесполезно, что наши «предметы обстановки» рассыпаются в прах, как мертвые бабочки моли, что в этот час и в этой кровати «Грешам-отеля» все начнется сызнова, как бывало уже столько раз, и что все это ни к чему.

— Я останусь в Аркейле, буду работать, — сказал Мар. — Меня ничто не заставляет появляться в Париже, и тебя мне не придется посещать. У тебя есть ключ от квартиры, есть твоя работа, ты уже на букве «б». Там прекрасный свет, рисовать удобно.

Мы с головокружительной быстротой возвращались вспять — ни Гарольд Гарольдсон, ни Остин не могли помешать этим вечным возвращениям: ряд красных домов слева вдоль шоссе, щит с рекламой минеральной воды «рекоаро». Закурив сигарету, словно желая оправдать свою остановку посреди дороги, Мар ждал, что я что-то скажу, объясню, почему у меня лицо мокрое от слез, но не было слов сказать что-либо, кроме «рекоаро», красные дома, что угодно, только не Хуан, хотя в этот миг все было им, все было Хуаном, дорога, красные дома, вода «рекоаро». И каким-то образом, лишь переглянувшись, мы оба это поняли (Мар нежно утер мне слезы, пустив мне в нос клуб дыма), казалось, один из нас двоих лишний в этой машине или в этой постели, или, хуже того, нам почудилось, будто кто-то третий наблюдает за нами из чемоданов и путевых воспоминаний, из ракушек и сомбреро или сидя в кресле у окна и упорно глядя на Бедфорд-авеню, чтобы не смотреть на нас.

— Вот такая глыба антрацита, — сказал Марраст, внешне садясь в постели и очертив руками нечто вроде бочки, которая от размашистости его жеста вместила не только номер, но и большую часть «Грешам-отеля».

— Нам обоим так трудно, Мар,— сказала Николь, прижимаясь к нему.— Ты все время говоришь о пустяках, зачем-то усложняешь жизнь другим людям, бедняге Гарольду Гарольдсону, но все равно мы останемся здесь, хоть бы и забавлялись Остином, хоть и вернулась бы я в Париж, хоть случилось бы что угодно, Мар.

— Замечательнейшая глыба антрацита,— настаивал Марраст.— И я прекрасно обойдусь в Лондоне, пока не закончу дела с ней, я прекрасно тут проживу с двумя дикарями аргентинцами и лютнистом.

— Я не хочу так возвращаться в Париж.

— Из гордости? Гордости собою, я хочу сказать. Почему бы тебе не сбавить гонору, почему не сложить оружие, ты, недовольная?

— Тебе трудно принять меня, какая я есть,— сказала Николь.— Наверно, я сильно изменилась, Мар.

— Мы были счастливы,— сказал Марраст, ложась навзничь и глядя в потолок.— А потом, сама знаешь, возникли эти красные дома, и все вдруг окаменело, будто мы и в самом деле очутились в глыбе антрацита. Заметь и постарайся это оценить — я первый скульптор, которому довелось оказаться внутри камня, эта новость заслуживает внимания.

— Нет, я не из гордости,— сказала Николь.— В душе я себя не чувствую ни в чем виноватой, я ничего не делала для того, чтобы это со мной случилось. Зачем мне было сохранять заданный тобою облик, тот, который ты придумал? Я такая, какая есть, раньше ты меня считал другой, а теперь я недовольная, но по сути я все та же, я люблю тебя, как всегда, Мар.

— Дело не в том, кто виноват,— сказал Марраст,— Хуан тоже не виноват, что его адамово яблоко тебе так понравилось; бедняга, я полагаю, весьма далек от всего этого. Ну ладно, вернемся в Париж вместе, ведь правда, бессмысленно оставаться мне здесь одному, когда в этом отеле так плохо топят, а кроме того, что сказали бы Калак, и Поланко, и мой сосед. В общем, постарайся хорошо уснуть, по крайней мере это у нас остается.

— Да, Мар.

— А мне наверняка всю ночь будет сниться глыба антрацита. Если я стану слишком сильно ворочаться или храпеть, дай мне пинка. Выключатель на твоей стороне, в этом отеле никогда ничего не меняется.



В темноте василиск на портале был почти неразличим, но, если присмотреться, был виден, или так казалось, вроде бы венчик из шипов. У василисков месье Окса и Элен венчиков не было, правда, василиск Элен был такой маленький, что, может, венчик там и был, а василиск месье Окса, похоже, был слишком поглощен тем, чтобы поджечь свой хвост. Было ли в гербе графини какое-нибудь сказочное животное, саламандра например? Позже, сидя с Телль за бутылкой сливовицы в комнате Владислава Болеславского и по очереди поглядывая в глазок двустворчатой исторической двери, когда им слышался шум в коридоре, они говорили о куклах и вспоминали о рыжей женщине, о том, как в самом конце рассказа о месье Оксе — поезд, шедший в Кале, отправлялся от какой-то скрытой туманом станции — уютное одиночество их купе эта рыжая женщина нарушила уже тем, что вошла с сигаретой во рту, и, почти не глядя на них, села ближе к коридору, и положила рядом с собой сумку, откуда торчали журналы, соответствующие ее полу, прическе и сигарете, и еще коробку, вроде обувной для самого большого размера, из которой пять минут спустя (Телль уже снова заводила речь о буревестниках, особенно об одном, совсем ручном, который когда-то был у них в Клегберге) появилась кукла-брюнетка, одетая по моде Сен-Жермен-де-Пре, и женщина принялась с величайшим вниманием разглядывать ее, она явно только что ее купила. Позабыв о буревестнике, Телль посмотрела на Хуана тем взглядом, который всегда предвещал поток красноречия, и Хуан, ощущая ползущий по спине холодок, положил руку ей на колено, пытаясь удержать от слов, чтобы не испортить красоту момента, — что-то тут замыкалось или раскрывалось: после долгого разговора о месье Оксе они увидели, как женщина, не вынимая изо рта сигареты, тщательно осматривала куклу, вертела ее и так и этак, приподнимала ей юбку и спускала крошечные розовые трусики, чтобы с холодным бесстыдством, выставляя все напоказ, проверить икры и бедра, выпуклости ягодиц, невинный пах, затем снова натянула трусики и стала щупать кукле руки и парик, пока, видимо, не убедилась, что покупка удачная, и не уложила ее обратно в коробку, после чего, как бы возвращаясь к привычному в поезде занятию, закурила другую сигарету и раскрыла журнал «Эль» на 32—33 страницах, в которые погрузилась на три следующих пролета.

Конечно, то не была кукла месье Окса, месье Оксу после процесса было запрещено изготавливать куклы, и он служил ночным сторожем на стройке в Сент-Уэне, куда Хуан и Поланко время от времени наезжали, чтобы привезти ему бутылку вина и несколько франков. В то время месье Окс совершил странный поступок: однажды вечером, когда Хуан посетил его один, месье Окс намекнул ему, что Поланко, мол, не заслуживает особого доверия, потому что у Поланко научный склад ума и он кончит тем, что будет изготавливать атомное оружие, затем, выпив полбутылки «медока», привезенного Хуаном, месье Окс вытащил из чемоданчика сверток и преподнес его Хуану. Хуану хотелось узнать о содержимом куклы, не портя ее, но он понял, что спрашивать об этом у месье Окса было бы неудобно, все равно что выказать сомнение в этом знаке доверия и благодарности. Затем настали времена маленьких василисков, стеблей редких растений, конференций министров просвещения, грустных друзей и ресторанов с зеркалами; кукла между тем спала среди сорочек и перчаток, в самом подходящем месте для сна кукол, а сейчас она, наверно, едет в Вену в заказной бандероли, потому что после всех этих историй с куклами в поездах Хуан решил подарить ее Телль и в последние дни пребывания в Париже поручил моему соседу отправить бандероль в отель «Козерог», откуда ее, естественно, перешлют в «Гостиницу Венгерского Короля». Кукла придет, когда оба они меньше всего будут ее ожидать, особенно Телль, не подозревающая о подарке; однажды вечером, возвращаясь с конференции, он застанет Телль с куклой в руках, вспоминающей о вечере в поезде, и до чего забавно будет открыть ей происхождение куклы, если только безумная датчанка уже не поработала ножницами и пилкой для ногтей. Невозможно угадать, что сделает Телль, которая теперь смотрит в глазок двери и вдруг поворачивает голову, подзывая Хуана между двумя глотками сливовицы и воспоминаниями; но сигнал тревоги дан, приходится нехотя расстаться со старым историческим диваном и подойти к двери, хотя ты так устал после целого дня пленарных заседаний и блужданий по старинному кварталу,— подойти и слушать шепот Телль, ее сообщение, которое, конечно, завершится фрау Мартой, и коридором, и лестницей, ведущей на верхний этаж, где находится комната юной англичанки.

На платформе станции метро людей было немного, людей, напоминавших серые пятна на скамейках вдоль вогнутой стены с изразцами и рекламными плакатами. Элен прошла до конца платформы, где по небольшой лестнице можно было — но почему-то было воспрещено — войти в туннель; пожав плечами, недоуменно проведя тыльной стороной ладони по глазам, она возвратилась на освещенную часть платформы. Вот так, сперва будто и не видя, начинаешь рассматривать одну за другой эти огромные рекламы, нарушающие твою отрешенность и ищущие путей в твою память,— сперва суп, потом очки, потом новая марка телевизора, гигантские фотоснимки, на которых каждый зуб ребенка, любящего супы «Норр», величиной со спичечный коробок, а ногти мужчины, глядящего на экран телевизора, похожи на ложки (например, такие, чтобы есть суп с соседней рекламы), но единственное из всего этого, что может меня привлечь,— это левый глаз девочки, любящей сыр «бебибел», глаз, похожий на вход в туннель, несколько концентрических кругов и в середине конус туннеля, смыкающийся в глубине, как тот другой туннель, в который мне хотелось бы войти, спустившись по запретной лестнице, и который теперь начинает вибрировать, стонать, наполняться огнями и скрипом, пока двери поезда не откроются; и вот я вхожу и сажусь на скамью для инвалидов, или стариков, или беременных женщин, напротив других скамей, где сидят жалкие пигмеи с микроскопическими зубами и неразличимыми ногтями, вот их застывшие и недоверчивые лица парижан, прикованных к скудному жалованью и к серийно производимой гадости вроде супов «Норр». Пять или шесть остановок еду с нелепым желанием сойти с ума, уверить себя в невероятном, в том, что стоит захотеть, сделать некий мысленный шаг, ринуться в туннель на рекламе, чтобы она обернулась реальностью, подлинным масштабом жизни, и этих до смешного измельчавших людишек в вагоне стало бы на один глоток девочке, любящей сыр «бебибел», на одну пригоршню гиганту у телевизора. Там, у самого начала лестницы в запретный туннель, словно что-то манящее и жуткое, эта реклама... Пожать плечами, еще раз отвернуться от искушений; ты же здесь, Элен, и горький урожай нынешнего дня при тебе; день еще не кончился, надо выйти на станции «Сен-Мишель», люди все нормальных размеров, на рекламах все увеличено, голый человек мал, хрупок, ни у

кого нет ни ногтей с ложку величиной, ни глаз-туннелей. Нет, никакими играми ты не обретишь забвение: твоя душа — бесчувственная машина, четкая запись. Ты никогда ничего не забудешь в вихре, сметающем и большое и малое и бросающем в другое настоящее; даже бродя по городу, ты — это ты, неотвратно. Но ты сумеешь забыть, применив свой метод, расставив «до» и «после», не спеша, день еще не кончился. Ага, вот оно кафе.

Еще с порога она узнала прядь волос Селии, склонившейся над чашкой с чем-то темным, не похожим на кофе. Народу в «Клюни» было немного и любимый столик моего соседа был свободен; Селия сидела за другим, как если бы ее огорчало отсутствие дикарей и она хотела бы это показать. «Наверняка ее больше всего восхищает улитка Освальд», — сказала себе Элен, склонная видеть Селию в возрасте игрушек и мороженого. Взмахом руки она приветствовала Курро, и два зеркала вернули ей жест толстой руки Курро, указывавшего на столик дикарей; два отражения плюс сама рука предлагали три различных направления. Элен подумала, что в эту минуту никто не смог бы ее направить более удачно, и подошла к Селии, которая как раз уронила слезу в самую середину чашки бульона, сваренного из кубиков.

— Зачем ты это ешь, — сказала Элен. — Воняет конским потом.

— В такое время дня нет ничего лучше, — пробормотала Селия, прядь волос свешивалась ей на лицо, и она походила на девочку, любящую сыр «бебибел». — В него замечательно макать галеты, он заменяет и суп, и второе. Может, его готовят из конины, но все равно вкусно.

— Макать галеты, — сказала Элен, садясь рядом на табурет и, не глядя, раскрывая «Нувель Обсерватёр». — С такими вкусами тебе бы надо уже час тому назад лежать в кровати, твой психологический возраст — между девятью и одиннадцатью годами: макать галеты в суп, пять кусков сахара в любой напиток, космы по всему лицу... И в довершение слезы над этой дымящейся гадостью. А ты еще говоришь, будто тебе семнадцать лет и ты учишься в Сорбонне.

Селия приподняла голову и рассмеялась, еще несколько слезинок скатилось по ее лицу, и она стерла их рукой, прихватив свисающую прядь.

— Да, доктор. Слушаюсь, доктор. Знаешь, я ушла из дому. Навсегда, теперь уж навсегда.

— А,— сказала Элен,— я думаю, что «навсегда» означает «до послезавтра».

— Говорю тебе, навсегда. Наш дом — это ад, это клетка со сколопендрами.

— Никогда не видала сколопендр в клетке.

— Я тоже не видала и даже не очень хорошо знаю, что такое сколопендра, но Поланко говорит, что они сидят в клетках.

— Ну и как же ты намерена жить?

— Я все подсчитала. Два месяца я могу прожить на те деньги, что у меня есть, около пятисот франков. Если продам книги и меховое пальто, это будет, скажем, еще тысяча франков...

— Выходит, ты всерьез,— сказала Элен, закрывая журнал. Она заказала коньяк и выпила рюмку залпом. Селия опять склонилась над бульоном, и Курро, подавая Элен вторую рюмку коньяку, соорил вопросительную мину, которая ее растрогала до смешного. Обе долго сидели, не глядя друг на друга и не разговаривая. Селия посасывала мокрую галету, подперев щеку кулаком и облокотясь на угол столика. Безотчетным движением Элен легко провела рукою по свисающей пряди волос на лице Селии. И только когда отвела руку, эта ласка вызвала воспоминание о бессмысленном, глупом жесте (он не был лаской, ничего похожего на ласку, но почему же тогда был тот самый жест, что сейчас), и она увидела, как ее рука мимолетно касается пряди волос голого юноши, увидела, как быстро отдернула тогда руку, словно окружающие — этот нелепый кордебалет людей в белом, попусту суетившихся вокруг койки, которая уже была моргом, катафалком,— могли осудить ее движение, повиновавшееся, не в пример их движениям, не велениям разума, не имеющее ничего общего с массажем сердца, корамином или искусственным дыханием.

Вторая рюмка коньяку была выпита медленней и согрела, Элен было приятно, что коньяк обжигал губы, что где-то в глубине печет язык. Селия обмакнула в бульон вторую галету и, вздохнув, проглотила ее почти всю вместе с последним всхлипом. Она, видимо, не замятила ласкового жеста Элен и, молча взяв предложенную сигарету, позволила ее зажечь. В этом полупустом кафе, где Курро стоял у входа как стерегущий бульдог, обе предались молчанию, защищенные дымом, который отгонял сколопендр и разлуку. На сей раз торговые ряды,

где рыбачки стояли у своих прилавков, были пусты и как бы свежевывыты, единственное, что было знакомо,— это перспектива уходящих вдаль галерей и аркад и еще невыразимое, бесцветное и ровное освещение города. Элен знала, что если не поторопится, то опоздает на свидание, но было трудно ориентироваться в этом квартале, где улицы вдруг переходили в дворы или в узкие щели между обшарпанными домами или упирались в непонятные склады без выходов, загроможденные старыми мешками и грудями консервных банок. Оставалось одно — идти вперед, неся пакет, казавшийся все тяжелее, и собираясь спросить дорогу у кого-нибудь из прохожих, которые появлялись на улицах, но никогда не приближались, а куда-то сворачивали всякий раз, когда думалось, что вот-вот догонишь и спросишь. Приходилось идти наугад, пока не появится отель, как он появлялся всегда, возникая внезапно со своими верандами, где циновки и плетеные ширмы и занавески, колышущиеся от знойного бриза. Улица как бы переходила в коридор отеля, и ты вдруг оказывался перед рядом дверей, открывавшихся в номера, где стены с выцветшими светлыми обоями в розовые и зеленые полосы, где лепные потолки и люстры с подвесками, а иногда старый двухлопастный вентилятор, медленно вращающийся в рое мошек; но каждый номер представлял собой прихожую другого номера, совершенно такого же, единственным отличием были фасон или местоположение старинных комодов красного дерева с гипсовыми статуэтками и пустыми цветочными вазочками; где-то стоял стол, а где-то его не было, но нигде ни кровати, ни умывальника; эти номера пригодны лишь на то, чтобы пройти через них и идти дальше, а то подойти к окну и со второго этажа увидеть знакомые, уходящие вдаль галереи, а иногда, с третьего, более высокого этажа увидишь блеск далекого канала или площадь, где беззвучно движутся трамваи, снуют туда-сюда, подобно муравьям в их нескончаемых хлопотах.

— Знаешь, когда я сюда зашла, я почему-то забыла, что наши уехали в Лондон,— сказала вдруг Селия.— Я пришла попросить совета у Калака, он знает все недорогие отели. И Тель тоже знает отели, но она куда-то уехала с Хуаном.

— В Вену,— сказала Элен, глядя, как порожняя коньячная рюмка снова вдвигается в фокус, окаменевают и кристаллизуются, согласно своей форме и ожиданиям гля-

дящих на нее глаз, которые ее воспринимают и фиксируют, как следует от них ожидать.

— Ах, да. И мой сосед тоже, видишь ли, в Лондоне с нашими сеньорами. Остались здесь только мы с тобой да Сухой Листик, но она, ты же знаешь...

— Сухой Листик, конечно.

— Отец все рассуждал о нынешней испорченной молодежи,— сказала Селия, прыскавая от смеха так, что остатки бульона чуть не выплескивались на стол.— А мама сидела и вышивала скатерку, представляешь, им и в голову не приходило, что я сейчас соберу свои вещички и от них уеду. Я перенесла книги в дом моей сокурсницы, но там я не могу остаться: ее родители еще похуже моих. На эту ночь пойду в какой-нибудь дешевой отель, а завтра поищу себе квартиру. Мне надо немедленно что-нибудь найти, отели слишком дорогие.

— Выходит, всерьез,— сказала Элен.

— Я же тебе сказала,— буркнула Селия.— Я-не-грудной-мла-де-нец.

— Извини, Селия.

— Нет, это ты извини, я, знаешь, такая.

Элен вертела в руке пустую рюмку. Конечно, Селия не грудной младенец. С грудным младенцем можно было бы что-то делать — дать ему соску с успокоительным лекарством в молоке, попудрить присыпкой, пощекотать, опять погладить по волосам, пока не уснет.

— Ты можешь пожить у меня,— сказала Элен.— Квартира у меня маленькая, но есть двухспальная кровать, и для твоих книг найдется место, есть складной столик, ты сможешь им пользоваться.

Селия в первый раз посмотрела ей в глаза, и Элен снова увидела лицо девочки, любящей сыр «бебибел», увидела крошечные туннели, возникавшие в ее зрачках.

— Правда? Но, Элен, я же знаю, что ты...

— Ты ничего не знаешь, знаешь только свои галеты жевать. Да, мое неприступное уединение, моя крепость на улице Кле — спасибо за почтение. Так вот, знай, что все это так, потому что мне так хочется, а вот теперь мне хочется предложить тебе жилье, пока ты не помиришься со сколопендрами или не найдешь подходящую мансарду.

— Ты же сказала, что квартира маленькая, а я всегда устраиваю такой беспорядок.

— Только не у меня, сама увидишь, что у меня это

невозможно. Иногда мне даже самой хотелось бы устроить беспорядок, да не получается. Вещи приучены укладываться на свои места, вот увидишь, это ужасно.

— Все равно какой-нибудь чулок будет валяться на полу возле кровати,— честно заявила Селия.— Я не могу согласиться, я не должна.

— Разговор идиоток,— сказала Элен, снова раскрывая журнал.

Селия, слегка наклонясь, прильнула к Элен, теперь уже волосы совсем закрыли ей лицо — это всегда помогало, если хотелось тихонько поплакать, а теперь ей необходимо было посидеть вот так, углубившись в себя, и помолчать, чтобы не надоедать Элен, которая читала и курила и разок подозвала Курро, чтобы заказать два кофе, хватит утешающих, ласковых жестов и фраз жалостливого врача-педиатра,— она, конечно, согласится пойти ко мне, и, может быть, это получится нелепо, или же приятно, или же просто никак, но, во всяком случае, эту ночь я буду не одна, со мной будет она, чтобы, сама того не зная, помочь мне перестать видеть этот профиль затвердевшего, бледного лица, эту койку с ее теперь уже ненужными шарнирами. Горячий и горький кофе, вот второй добрый товарищ, но все равно привкус плесени, неотвязный вопрос — зачем я трогала пальцами эти черные волосы, которые теперь, наверно, кто-то причесывает, чтобы родные, созданные срочно — но лишь после того, как труп будет приведен в пристойный вид,— не слишком ужаснулись перемене облика от страшной, леденящей бури и узнали своего родственника, юношу, который вошел в операционную с зачесанными назад волосами, как причесывался и Хуан, но никто не мог вернуть на его лицо улыбку, которой он встретил этим утром Элен, будто понимая, что она пришла лишь понаблюдать его под предлогом краткой беседы насчет анестезии. Нет, никто уже не вернет ему эту улыбку, точную копию улыбки Хуана, никто не восстановит ее на этих черных губах, в этих полуприкрытых и остеклеванных глазах. Она снова слышала его голос, его наивное и полное надежды «до свиданья», два словечка, в которые как бы вместились его доверие ко всем тем, кто его окружал, два словечка, которые вновь и вновь до тошноты бесконечно возвращали ей его образ, как неопределенную отсрочку, данную ей, посюсторонней, с ее платформами метро, коньяками и сбежавшими из



дому девчонками. Открыв еще одну дверь, а было их уже без счета, Элен вошла в номер побольше прочих, но с такими же стенами в обоях и с ветхой, кое-как распаханной по углам мебелью; в задней стене виднелась клетка старого лифта, и кабина поджидала ее. Элен хотелось минутку передохнуть, положить пакет на какой-нибудь стол, но это было невозможно, она опоздала бы на свидание, а отель бесконечно разрастался, множилось число похожих номеров, невозможно было представить себе или узнать комнату, где ее ждут, и даже сообразить, кто ждет, хотя в этот миг все было сплошным ожиданием, которое становилось все нестерпимей, равно как тяжесть пакета, чья желтая тесемка резала ей пальцы, равно как остановившийся лифт, ждавший, пока Элен войдет в кабину и нажмет на кнопку этажа, что, пожалуй, было и необязательно для того, чтобы кабина тронулась и стала подниматься и опускаться в полной тишине, озаренной светом, не похожим ни на какой другой.

— Нет, я все никак не могу поверить,— внезапно сказала Селия.— Когда я увидела, что ты вошла,— а я, должна признаться, очень хорошо тебя видела, хотя волосы закрывали мне лицо,— мне, знаешь, почти страшно стало. Вот сейчас докторша меня отругает, ну что-то в этом роде. А теперь идти к тебе, жить с тобой. Нет, ты в самом деле не из жалости мне предложила?

— Ну а с чего бы? — сказала Элен, как бы удивленно.— Естественно, я это делаю из жалости. Девочка, любящая сыр «бебибел», не может идти куда-то спать одна, она будет бояться без мамы. А тараканы, а ночные сторожа-китайцы, объединенные в таинственные страшные братства, а сатиры, которые бродят по коридорам, и главное, не забудь про самое страшное, про «ту штуку», спрятанную в стенном шкафу или под кроватью.

— Какие глупости,— сказала Селия, наклонилась и быстро поцеловала ей руку, а потом, зарумянившись, выпрямилась.— Ты всегда такая. И что это за девочка, любящая сыр «бебибел»? Но нет, погляди на меня. Ты такая грустная, Элен, ты еще более грустная, чем я. Ты понимаешь, что я хочу сказать, я знаю, ты никогда не бываешь веселой, как Поланко или Сухой Листик, у тебя в лице всегда есть что-то... Все анестезиологи такие, что ли?

— Необязательно. Эта профессия к лицам не имеет отношения. Надо следить, чтобы пульс был хороший, а

главное, чтобы маска была правильно наложена, ведь бывает, что поездка совершается только в одном направлении.

Селия не поняла, ей хотелось спросить, но она сдержалась, подозревая, что Элен ей не ответит. И потом передышка, чудо, чувство, что ты спасена, что с Элен ты возвратилась в «зону», в атмосферу доверия, что рядом она, доктор, насмешливая и отчужденная, но в нужный момент сумевшая протянуть палец, чтобы Селия на него вскарабкалась, как Освальд на кофейные ложечки, к ужасу госпожи Корицы. А если Элен грустна...

— Госпожа Корица не появляется здесь уже целую неделю, это Курро мне сказал,— выпалила Селия.— Я думаю, не заразилась ли она страстью к путешествиям — может, где-то странствует со своей племянницей и в этой шляпе, похожей на телевизор. Я говорила тебе, что утром получила открытку от Николь? Они там в Лондоне все походили с ума, Марраст как будто открыл какую-то картину.

— Сумасшествие — портативно,— сказала Элен.

— Калак и Поланко познакомились с одним лютистом, который играет средневековые баллады, но вот про Освальда Николь ничего не сообщает.

— Они повезли туда Освальда, такое нежное существо?

— Его увез мой сосед, я была при том, как он обернул клеточку листом салата и спрятал ее в карман пальто. Я что-то не очень поняла твои слова о поездках в одном направлении,— быстро прибавила Селия.

Элен посмотрела ей в глаза, в эти концентрические туннели, в крошечные черные точки, с головокружительной скоростью переносившие в мир девочки, любящей сыр «бебибел».

— Видишь ли, они у нас иногда умирают,— сказала она.— Два часа тому назад умер молодой человек двадцати четырех лет.

— О, прости. Прости, Элен. А я тут болтаю. Так глупо.

— Это работа, деточка, нечего тут прощать. Мне надо было пойти прямо домой, принять душ и пить виски, пока не засну, да вот видишь, я тоже пришла обмакнуть свою галету, и это не так уж плохо, мы побудем вместе, пока обе не придем в себя.

— Не знаю, Элен, мне, может быть, не следовало бы,—

сказала Селия.— Ты так ко мне добра, и ты такая грустная...

— Пойдем, увидишь, нам обеим будет лучше.

— Элен...

— Пойдем,— повторила Элен, и Селия секунду поглядела на нее, а потом, опустив голову, нашарила свою сумку на стуле.

Поланко каждое утро исповедует Остина, с тех пор как обнаружил, насколько Остин может быть забавен, когда разматывает клубок своего анонимного невроза перед зрелым другом, в некотором роде отцом-аргентинцем с серебриющимися висками и в хорошо скроенном, внушающем доверие костюме. Урок французского с Маррастом — в двенадцать, если только Марраст является вовремя, но обычно с ним что-то приключается, и Остин терпеливо ждет его на углу или играя на лютне; тогда Поланко выбирается на часок раньше и изображает духовника, они с Остином идут пить пиво и томатный сок — один пиво, другой сок,— и мало-помалу Остин излагает Поланко свои проблемы, которые, по сути, всегда одна и та же проблема, но с бесчисленными вариантами, вот, например, высокие прически. Остину хотелось бы, чтобы девушка была покорной и податливой, чтобы ей нравилось свернуться калачиком в его объятиях и минуточку посидеть спокойно, болтать, или курить, или ласкать друг друга нежными прикосновениями, но что поделаешь, теперь у всех у них прически à la Нефертити, монументальные катафалки, которые им сооружают в парикмахерских, не жалея лаков и накладок. Tu comprends, ça me coûte très cher, mon chéri<sup>1</sup>, говорила ему, например, Жоржетта, alors tu vas être sage et tu vas voir comme c'est chouette<sup>2</sup>. Остин еще пытается погладить Жоржетту по лицу, но она боится, что разрушится ее Вавилонская башня, ah, ça non je te l'ai déjà dit, surtout il faut pas me décoiffer, j'en ai pour mille balles, tu comprends, il faut que ça tienne jusqu'à après demain<sup>3</sup>. Остин в роли жалкого цыпленка, его

<sup>1</sup> Ты понимаешь, это мне обходится очень дорого, миленький (франц.).

<sup>2</sup> Так что ты будь паинькой, и увидишь, как нам будет чудненько (франц.).

<sup>3</sup> Ах, нет, это нельзя, я же тебе сказала, главное, не растрепывай меня, мне это стоило тысячу франков, понимаешь, надо, чтобы продержалось до послезавтра (франц.).

первое посещение Парижа два года назад невероятно веселит Поланко-исповедника. Но тогда как же нам быть? — спрашивает Остин, не очень-то понимая речи Жоржетты. Là tu vas voir<sup>1</sup>, объясняет Жоржетта, которая кажется Остину все больше похожей на детского врача — так мягко она заставляет его делать все, что сочтет нужным. Maintenant tu vas te coucher comme ça sur le dos, comme ça c'est bien<sup>2</sup>. Жоржетта пригвоздила его навзничь, и красная гроза ее куафюры, вроде зловещей тучи, надвигается на него и парит между потолком и его носом. Surtout ne dnrange pas ma coiffure, mon chou, je te l'ai déjà dit. Il est bien maintenant, mon chéri?<sup>3</sup> Остин отвечает «да», потому что он робок, но он отнюдь не удовлетворен, и Жоржетта это знает, и ей на это начхать. Tu vas voir, on va le faire d'une façon que va drôlement te plaire, mais alors drôlement. Ne touche pas mes cheveux, mais si, tu vas me décoiffer. Bon, maintenant bouge pas, surtout ne bouge pas<sup>4</sup>, потому что Остин еще пытается обнять Жоржетту и прижать ее к себе, но по ее глазам он видит, что теряет время попусту: Жоржетта сделает все, что угодно, все, что возможно в этом мире и в этой кровати, только бы ее голова была подальше от подушки. Остин — а он робок («Ты это уже говорил», — ворчит Поланко) — понимает, что гамма задуманных им шалостей с Жоржеттой, избранной на улице Сегаль из-за ее икр, побудивших его к близкому знакомству, непоправимо сузилась, а кроме того, у него уже нет времени.

— Но какой же ты все-таки идиот, — говорит возмущенный Поланко. — Чего ты не влепил ей хорошего тумака?

— Это было трудно, — бормочет Остин. — Она боялась, что я испорчу ее прическу.

В тот понедельник м-р Уитлоу известил Марраста, что глыба антрацита должна прибыть на товарную станцию Бромптон-роуд и что ему необходимо явиться туда лично, дабы подписать какие-то бумаги для отправки этого груза во Францию.

---

<sup>1</sup> Сейчас ты увидишь (франц.).

<sup>2</sup> Сейчас ты ляжешь вот так, на спинку, вот и хорошо (франц.).

<sup>3</sup> Главное, не испортить моей прически, лапочка, я тебе уже сказала. Теперь тебе хорошо, дорогой? (франц.)

<sup>4</sup> Вот увидишь, тебе ужасно понравится, прямо-таки ужасно. Не трогай моих волос, ну же, ты меня растреплешь. Вот так, а теперь ты не двигайся, главное, не двигайся (франц.).

— Калак, послушай, а не могли бы ты и твои земляки покараулить у Куртолда? — попросил Марраст. — Мне надо ехать подписывать эти чертовы бумаги, а сегодня как раз будет изрядное сборище невротиков, чую это костями, как говорим мы здесь, в Лондоне.

— Мне надо обдумать некоторые важные вопросы, — заявил Калак, — к тому же я за твоих невротиков и ломаного рога не дал бы, как говорим мы там, в Буэнос-Айресе.

— Что может быть удобней для обдумывания, чем диван в зале номер два. Я там почти всего Рескина перечитал.

— А что это даст, если мы будем там караулить?

— Минуточку, — вставил Поланко. — Меня этот тип ни о чем не просил.

— Я прошу и тебя, дорогой мой гаучо. Что это даст? Вы сможете сообщить мне о происшествиях, а они, конечно, будут, и очень важные, как всегда случается в отсутствие заинтересованного лица. Резервы Гарольда Гарольдсона исчерпаны, и можно ожидать событий непредсказуемых.

Они заказали три пива и томатный сок для Остина.

— Для тебя это действительно так важно? — спросил Калак.

— Нет, — честно ответил Марраст. — Теперь уже нет. Но бывает, что выпустишь орлов на волю, а потом надо все-таки поглядеть, куда они, черти, залетят. Вроде как чувство ответственности у демиурга, если можно так выразиться.

— Это такой эксперимент или что?

— Эксперимент, эксперимент, — проворчал Марраст. — Вам сразу же подавай ярлык. Видите ли, я, если уж держаться этой метафоры, не в первый раз выпускаю орла — отчасти, чтобы нарушить привычный ход вещей, но также потому, что мне кажется таинственно необходимой идея о том, что надо постоянно что-либо будоражить, все равно что.

— Превосходно, — сказал Калак. — Как только ты берешься объяснять, у тебя такой набор слов, что Гурджиеву впору. Таинственно необходимо, скажите на милость. Да ты вроде вот этого, с его техническими экспериментами в отеле, только и знает, что гайки крутить.

— Все дело в том, что вы всего лишь жалкий финти-

хлюпик,— сказал Поланко.— Ты не обращай на него внимания, че, я-то очень хорошо тебя понимаю, ты, парень, из моего сорта.

— Спасибо, куманек,— сказал Марраст, слегка удивленный таким безоговорочным согласием с тем, что ему самому было не очень-то понятно.

— Ты, брат,— продолжал Поланко с великолепным жестом, восхитившим Остина,— строишь моторы невесомые, мутишь воды невидимые. Ты изобретатель облаков небывалых, ты вводишь бурлящую пену прямо в косный цемент, ты наполняешь вселенную объектами прозрачными и метафизическими.

— По чести тебе сказать...

— И тогда у тебя рождается зеленая роза,— восторженно продолжал Поланко,— или, наоборот, никакая роза не рождается, а все лопается вдрызг, но зато возникает аромат, и никто не может понять, откуда этот аромат, когда цветка-то нет. Вот так и я, непонятый, но неустрашимый изобретатель.

— Достаточно нам было одного бурдака,— пробурчал Калак.— Теперь, вишь, эти двое стакнутся и меня заклюют.

Последовала обычная дискуссия в духе того, что, во всяком случае, бурдаки чего-то стоят и, главное, хранят верность друзьям. / Один одинокий финтихлюпик стоит больше, чем бурдак, одураченный безголовым скульптором / Если вы из-за меня вздумаете драться, я могу попросить Остина сходить в музей / Никто тебе не говорил, что мы не пойдем, но я по крайней мере сделаю это из дружбы, а не для того, чтобы забивать себе мозги твоими орлами / Мне это безразлично, лишь бы ты рассказал, что произойдет сегодня днем / Наверно, ничего не произойдет / Когда ничего не происходит, тогда именно это и происходит / Ну вот, теперь еще этот болван строит из себя метафизика / Че, красиво говорить — легче легкого / Если бы среди этих невротиков оказался хоть один хорошенький симпомпончик / Если ты не способен самостоятельно найти женщину во всем Лондоне, не понимаю, почему в музее ты привередничаешь? / Ты видишь, он просит нас туда пойти, да нас же еще оскорбляет / Это, может, тебя он оскорбляет, а мне никаких невротичек не надо, у меня вкусы особые / Разрешите улыбнуться / И так далее и тому подобное.

Если бы со мною был мой сосед или Поланко, было бы нетрудно отыскать номер юной англичанки, но на Телль, всегда готовую выслеживать фрау Марту на улицах или в парках, нападала в отеле поразительная робость — устроив себе штаб-квартиру в номере Владислава Болеславского, она прилежно следила через глазок двустворчатой двери, не решаясь под каким-либо предлогом подняться на верхние этажи и изучить их топографию. Излишне говорить, что в ее распоряжении был весь день, что она могла это делать в часы досуга, а такими в Вене были почти все ее часы,— возвращаясь с работы, я заставлял ее на посту, как верного часового, но она не вышла ни разу за пределы нашего этажа, а мне было неудобно это делать в такое позднее время или по утрам, риск был слишком велик. Мы было понадеялись, что нам поможет доска с ключами в тесной сырой комнатке администратора, но обнаружили, что там полно ключей, не бывших в употреблении с давних пор, а надписи на жетонах сделаны готическими буквами, в которых безвозвратно тонула всякая английская фамилия. Обсудили также возможность расспросить кого-нибудь из служащих, сунув кредитку, но они не внушали нам доверия своим видом — не то лакеи, не то бездушные зомби. Уже три ночи следили мы за коридором, и, даже когда я сдавался, сморенный усталостью и сливовицей, Телль до часу ночи не отходила от двустворчатой двери, своей террасы Эльсинора. Ну а после часу ночи, по нашим предположениям, фрау Марта должна была спать, как все люди, и не совершать подозрительных прогулок; тогда Телль возвращалась в кровать и, зевая, прижималась ко мне, потягиваясь и мурлыча, как разочарованная кошка, я же на миг вырывался из сна, и мы обнимались, как после долгой разлуки, а иногда дело кончалось полусонными ласками при зеленоватом свете ночника, в котором Телль казалась гибкой, изящной рыбой в аквариуме. Так шло время, и мы почти ничего не узнали, кроме того, что фрау Марта живет на нашем этаже, в глубине коридора, и что номер юной англичанки находится на одном из верхних этажей; каждый вечер, приступая к наблюдению, мы с научной точностью определяли шаги англичанки между половиной девятого и девятью часами, время для сна немыслимое, но туристы к этому часу обычно очень устают, и мы слышали, как бедняжка слегка волочит ноги, возвращаясь со своим путеводителем Нагеля. Убедившись, что она в безопасности

(на четвертом или на пятом этаже?), мы отправлялись ужинать, свободные от всяких обязанностей до одиннадцати; в эти часы жизнь в отеле шла полным ходом, и фрау Марта вряд ли могла выйти из своей комнаты с иной целью, кроме как посетить исторический клозет в коридоре.

На четвертый вечер, после ужина в сербском ресторане на Шонлатернргассе, где к любому куску мяса вела палочка с нанизанными на нее кружками лука и перцев, мне в темноте коридора почудилось какое-то движение. Не оглядываясь, я отворил нашу двустворчатую дверь и рассказал Телль об этом, лишь когда мы оказались в своей комнате. Конечно, фрау Марта, никто другой не мог бы так скользнуть во мраке. В двенадцать без пяти минут (мне была дарована привилегия смотреть в глазок, пока Телль, поддавшись непростительной слабости, вновь погружалась в роман Джона Ле Карре, который, по-моему, достоин своей фамилии), при свете мутного исторического плафона на лестничной площадке, я увидел похожую на пепельно-серого крота фрау Марту — она шла, неся в правой руке что-то, что мне не удалось разглядеть, наверно универсальный ключ, память о давнем знакомстве с администратором, который ее поселил в отеле пожизненно, быть может, тут были австро-венгерские любовные шашни, вообразить себе которые, глядя на то, что осталось от фрау Марты, не сумел бы никто. Когда она исчезла наверху лестницы, я выждал секунд двадцать, подал Телль условный знак, чтобы она держала дверь приоткрытой на случай внезапного моего отступления, и, сделав последний глоток сливовицы, выглянул в коридор. Было маловероятно, чтобы по отелю разгуливал кто-то из постояльцев, в камерке у администратора храпел сторож, и я убедился, что, когда звонили постояльцы-полуночники, колокольчик у входной двери был хорошо слышен с лестницы, так что я успел бы ретироваться в наш исторический номер. Мне не понадобился Джон Ле Карре, чтобы догадаться обуть мокасины на каучуке, и, держась за перила, я начал подниматься туда, куда свет с нашей площадки почти не доходил.

Телль ждала, прильнув к двустворчатой двери номера Владислава Болеславского, и все напряженной прислушивалась к глубокой тишине отеля, к дробному тиканью маленького будильника на ночном столике. Тогда это уже перестало быть шуткой, способом провести время; Хуан



отправился в поход, он оказался вне пределов комнаты, где мы столько смеялись над фрау Мартой, а я осталась одна с точным поручением обеспечить в случае опасности его отступление. Я устала смотреть в глазок, для этого надо было наклоняться, и я предпочла приоткрыть обе створки дверей, готовая в любой момент их закрыть, если в коридоре покажется кто-то из постояльцев; я смотрела попеременно то на лестницу, то в нашу комнату, все острее чувствуя, что где-то там, в дверной притолоке, намечается трещина и нечто наше, нами вымышленное, где-то там кончается, отступая перед чем-то, что не могло быть реальностью, однако происходило, и, стало быть, мы все-таки были правы, и фрау Марта выходит по ночам и поднимается на верхний этаж, а на верхнем этаже живет молодая англичанка, и два плюс два будет четыре и т. д. Страха я не испытывала, но по мне словно забегали мурашки и на нёбе проступило что-то липкое; я была одна в комнате Владислава Болеславского, одна с куклой месье Окса, сидевшей на комодe. Нет, ничего не произойдет, Хуан вернется разочарованный, мы ляжем, и это будет эпилогом глупой истории ужасов, нам даже не очень захочется подшучивать над собою; Хуан станет говорить, что надо вернуться в «Козерог», раз ему осталось пять дней работать в Вене. С моего наблюдательного поста — а мы в эти дни давали нашим действиям громкие названия — я видела куклу, освещенную зеленой лампочкой, и конверт с наполовину засунутым письмом к Николь, я не знала, что ей написать, и спрашивала себя, не поехать ли мне в Лондон, чтобы лучше разобраться в истории, о которой мне недавно писал Марраст. Тут фрау Марта кашлянула, кашель был сдержанный, почти нарочитый, вроде легкого перханья, как у человека, когда он, углубившись в себя, подошел к концу своих размышлений и решает что-то сделать — переменить позу или объявить, что ныне вечером пойдет в кино или что ляжет рано.

Хуан тоже засомневался, спустился вниз на пять ступенек, высчитывая, сколько времени займет бегство в комнату Владислава Болеславского в случае, если это перханье фрау Марты означает возвращение, перемену намерений. Но в тот же миг я услышал, что она снова пошла, тишина стояла полная, и, однако, я знал, что она удаляется, что она не изменила намерений, и, хотя слышать ее шаги было невозможно, казалось, тишина сообщает о них какими-то иными способами, изменениями в эластичности

среды или предметов. Когда я ступил на площадку четвертого этажа, старуха стояла у четвертой двери слева в классической позе человека, собирающегося действовать ключом или отмычкой. Тогда-то все подтвердилось, тогда-то легкий скрип двери стал как бы развязкой и заодно прорывом чего-то, к чему я, в общем-то, совершенно не был готов, разве что мог бы прибегнуть к какому-нибудь из жалких банальных приемов, например кинуться на фрау Марту, что было бы неприлично, как-никак пожилая дама, либо разбудить сторожа, сославшись на распоряжок отеля и благопристойность, — но сторож ничего не поймет, пойдет звать администратора, дальнейшее будет заурядно и убого, — либо выждать еще секунду и подойти к двери, когда осторожный крот (нет, теперь она походила на огромную крысу) войдет в комнату, о да, миссис, конечно, это единственное, что мне остается, хотя желудок корчит судорога и сливовица поднимается к горлу всеми своими сорока пятью градусами алкоголя, гарантированными изготовителем.

Пожитки моего соседа умещались в портфеле, одним из преимуществ которого было то, что его без долгих слов можно сунуть в руки друга, пришедшего тебя встретить, — в данном случае Калака, в полдень на Виктория-Стейшн. Они издавна привыкли встречаться каждый вечер, сами толком не зная зачем, и лондонская их беседа велась краткими репликами вроде: возьми, что ты сказал, дай сигарету, вот сюда, какой туман, *they call it smog*<sup>1</sup>, привет от Сухого Листика, как там эта кататоничка, да так, понемножку, главное, здоровье, дай мне немного *english money*<sup>2</sup>, в отеле разменяют, надеюсь, горячей воды будет достаточно, сколько хочешь, зато завтраки неважные, так почему ты не переешь, видишь ли, когда чемодан раскрыт, лучше, чтоб вещи были на полу и не портить себе кровь, ты прав, а ты зачем изволил приехать, сам не очень-то знаю, как это не знаешь, да вот Марраст написал мне, что ищет глыбу антрацита, и я тогда подумал, не вижу тут никакой связи, да я тоже, потому и приехал, а кроме того, у меня на работе пять свободных дней, вот это работа, дело в том, что у нас забастовка, а, тогда другое дело,

---

<sup>1</sup> Они называют это смогом (*англ.*).

<sup>2</sup> Английских денег (*англ.*).

а так как меня наверняка уволят, потому что бастую я один, лучше побыть с друзьями, а ты и впрямь поступил правильно, не говоря о том, что у Марраста, сдастся мне, не все в порядке, да-да, и особенно у Николь, да-да, потому я и приехал, вот именно, где гвоздь, где панихида, в котором часу вы тут обедаете с Поланко и прочими, я в Лондоне не обедаю, то есть как это ты в Лондоне не обедаешь, а вот так, сэр, в Лондоне не обедают, но ты же сказал, что завтрак очень плохой, плохой-то плохой, но обильный, первое дело — качество, о, разумеется, у тебя французские предрассудки, по-твоему, выходит, аргентинцы лопают что попало, лишь бы побольше, ну, не совсем так, в этом метро пахнет мятой, это от чая, который пьют англичанки, и так далее до Тоттнхем-Корт-Роуд и отеля в трех кварталах от станции. По дороге мой сосед узнал, что Калак и Поланко по-аргентински делят на двоих комнату с пятачок величиной, однако хозяйка отеля у них ирландка, а потому не эвклидианка, и легко поймет, что, где помещаются двое, уместятся и трое; он еще узнал, что на этих днях они познакомились с одним лютнистом, что Марраст и Николь живут в отеле неподалеку и что Поланко уже показал Остину багуалу и тот играет ее в стиле Пёрселла, что недопустимо, и прочие подобные новости.

Когда они вошли в комнату номер четырнадцать, Поланко предавался научным исследованиям, а именно: погрузил электробритву в кастрюльку с овсяной кашей и изучал поведение этих разнородных объектов. Слышалось бульканье, и время от времени в воздух прыскала струя овсянки, однако до потолка не долетала и шлепалась на пол с зловещим чавкающим звуком. То было зрелище суровое и назидательное.

— Привет,— сказал мой сосед, покамест Калак поспешно оттеснял из комнаты миссис О'Лири, для виду что-то ей толкуя о полотенцах и вешалках.

— Привет,— сказал Поланко.— Вы пришли как раз вовремя, групповая работа устраняет ошибки в параллаксе и тому подобное.

Он погрузил электробритву по самый шнур, и из глубин овсянки пошел некий первозданный гул, нечто подобное, верно, слышалось в плейстоцене или в огромных папоротниковых лесах. Однако дальше гула дело не шло, хотя мой сосед сразу включился в группу наблюдения, едва успев скинуть пиджак и бросить портфель на кро-

вать,— и вообще в комнате царила сугубо научная атмосфера, которая сулила великие свершения.

— А можно узнать, для чего это? — спросил мой сосед так через четверть часа.

— Не порть себе нервы,— посоветовал Калак.— Он уже неделю этим занимается, лучше ему не мешать.

И словно бы в этот миг наступила решающая фаза, Поланко покрутил электробритвою в кастрюльке, и овсянка покрылась рябью, обнаруживая все симптомы близящегося извержения на никарагуанских плоскогорьях, даже струйка дыма взвилась, но тут внезапно сорвалась какая-то гайка, и опыт пришлось сразу прекратить.

— Только подумать, продают ее тебе с гарантией на три года,— проворчал Поланко.— Теперь четверть часа уйдет на то, чтобы очистить ее от каши и опять навинтить гайку, уже пятый раз у меня это случается, вот дьявол.

— Пусть он работает,— предложил Калак,— а покамест мы вдвоем обсудим ситуацию.

Поланко, нахмурившись, принялся зубной щеткой чистить электробритву. И тут, к великому удивлению моего соседа, зазвонил телефон in every room<sup>1</sup>, и Калак с важным видом взял трубку; это лютнист спрашивал, можно ли сказать «Je très fort vous aime»<sup>2</sup> и нет ли других, более действенных, но столь же правильных формулировок.

— Объясни ему, что не ты его учитель, тем паче по телефону,— мрачно сказал Поланко.— Если он начнет позволять себе такое, нам житья не будет, а у меня, понимаешь, в самом разгаре эксперимент.

— Oui, oui<sup>3</sup>,— говорил Калак.— Non, c'est pas comme ça, Austin, my boy, bien sûr qu'elle vous tomberait dans les bras raide morte, c'est le cas de le dire. Comment? Listen, old man, il faudrait demander ça à votre professeur, le très noble monsieur Marrast. Moi je suis bon pour un petit remplacement de temps en temps, mais le français, vous savez... D'accord il n'est pas là pour l'instant mais enfin, passez-lui un coup de fil plus tard, bon sang. Oui, oui, la baguala, c'est ça, tout ce que vous voudrez. Oui, parfait<sup>4</sup>. «Я свободен (я полон сил) готов любить», mettez

<sup>1</sup> Здесь: на всю комнату (англ.).

<sup>2</sup> Я сильно очень вас люблю (франц.).

<sup>3</sup> Да, да (франц.).

<sup>4</sup> Нет, это неправильно. Остин, мой мальчик, она, без сомнения, упадет в ваши объятия, убитая наповал, тут смело можно это сказать.

du sentiment sur «любить». Allez, bye bye et bonne continuation<sup>1</sup>.

— Он за это утро уже третий раз звонит,— сказал Калак, открывая две бутылки пива.— Я, братец, ужасно огорчен, что не могу предложить тебе вина.

— Марраст мне писал про какую-то глыбу антрацита и какое-то растение,— сказал мой сосед.

Пока они пили пиво, Калак принялся ему объяснять, и некоторое время речь шла о всякой всячине, на первый взгляд ничуть не напоминая настоящий разговор, такой, в котором идет обмен новостями и впечатлениями, излюбленное занятие наших дикарей, точно они обсуждают, почему нынче селедка на рынке на улице Де-Бюси, но теперь речь шла прежде всего о Николь и о Маррасте, особенно о Николь, и притом в тоне досадливо-пренебрежительном, у нас ведь был молчаливый уговор, что такие проблемы решаются не коллективно и тем более не обсуждаются, не говоря уж о том, что их и проблемами-то не назовешь. Я продолжал чистить зубной щеткой электробритву, которая была вся в каше, и заодно поставил снова разогревать овсянку, чтобы экспериментально выяснить возможность двигательных импульсов по касательной. Моей идеей было получить непрерывное и равномерное извержение овсянки, которая, например, покрыла бы расстояние от кастрюли до словаря Эпплтона (принадлежащего Калаку), разумеется, поверх расстеленной старой газеты для промежуточных попаданий. Мой сосед и Калак обсуждали положение Николь, словно что-то понимали, словно тут можно было что-то сделать; я же размышлял о двигателе сенокосилки, который мне предложили в садоводческой школе Бонифаса Пертейля и который в общих чертах имел те же характеристики, что и двигатель электробритвы, то есть приводил в движение ряд тангенциально расположенных валиков. Моя идея заключалась в том, чтобы этот двигатель поставить на лодку и поплыть по пруду у садоводческой школы,

---

Как? Слушай, старик, это надо бы спросить у вашего учителя, у distinguished господина Марраста. Я гожусь лишь на то, чтобы иногда немножко его заменить, но французский, вы же понимаете... Согласен, только его сейчас здесь нет, но, в конце-то концов, звякните ему попозже, черт возьми. Да, да, насчет багуалы, о, пожалуйста, все что хотите. Да, прекрасно (смешан. франц. и англ.).

<sup>1</sup> Побольше чувства в слове «любить». Ладно, пока, желаю дальнейших успехов (смешан. франц. и англ.).

а поскольку на работе в заведении Бонифаса Пертейля у меня было немало свободных часов — не то что в действительности свободных, но просто я укрывался где-нибудь на плантациях и делал, что мне захочется, вдали от чужих глаз, не говоря о том, что крутил роман с дочкой Бонифаса Пертейля, — представлялось вполне разумным установить двигатель сенокосилки на старой, никому не нужной лодке, которую надо только с помощью Калака проконопатить, и потом курсируй себе по пруду во всех направлениях, можно даже карпов удить и форелей, если они там есть. Вот почему, пока мой сосед сообщал Калаку парижские новости, а Калак знакомил его с делом Гарольда Гарольдсона и с упованиями Марраста в области косвенного воздействия, я следил за тем, чтобы овсянка достигла температуры, наиболее близкой к той, какую может иметь вода в пруду в июне месяце, учитывая различие в плотности исследуемых субстанций, ибо единственным способом убедиться в применимости двигателя сенокосилки в качестве водяной турбины было погрузить электробритву в возможно более плотную субстанцию, во всяком случае, более густую, чем вода, и, если овсянка извергнется в направлении Эплтона — что пока еще не произошло, — будет достигнута немалая степень уверенности в эффективной работе двигателя сенокосилки в воде. Вторичное согревание овсянки имело дополнительной целью сообщить этой несъедобной пище пластичность, каковая, не ослабляя ее сопротивления, столь необходимого для проверки эффективности системы, позволила бы валикам двигать ее с неким усилием, которое будет прямо пропорционально скорости лодки на пруду в середине июня.

— А что, если пойти проведать Марраста, — в двадцатый раз сказал мой сосед.

— Погоди минутку, — попросил Поланко, — мне кажется, сейчас возникло сочетание оптимальных условий.

— Марраст занят отправкой глыбы антрацита во Францию, — заметил Калак, — но все равно, мы можем встретиться с Николь, в конце-то концов, мне сдается, ты ради нее приехал.

— Сказать тебе правду, мне не очень-то ясно, ради чего я приехал, — сказал мой сосед. — В Париже, там вроде как после отступления армии, в последний раз, когда я заглянул в кафе, бедняга Курро из-за нашего отсутствия был сам не свой.

— С ними что-то случилось в Италии,— подытожил Калак.— Сами-то они мало говорят, но, знаешь, у каждого есть свой радар, чувствуешь посторонние предметы на большом расстоянии.

— Бедная Николь, бедные они оба. Ясно, что-то с ними случилось в Италии, но на самом-то деле это случилось куда раньше. Чует мое сердце, за нашим столиком будет все более пусто. Разве что когда-нибудь приду я с Освальдом и с Сухим Листиком.

— А мы? — сказал Калак.— Не понимаю, почему бы нам не прийти, даже если перестанет ходить Хуан и мы больше не увидим там Николь. Но ты прав, столик наш опустеет... Прости, я, видать, выпил слишком много пива, этот напиток размягчает, как говаривал негр Акоста. Ах, если б ты его знал!

— Твои заокеанские воспоминания меня всегда восхищают,— сказал мой сосед.— В общем, ничего не сделаешь, если замахнешься на многое, зато иногда случается, что... Но к чему толковать об этих вещах, не правда ли?

Тут изрядная струя овсянки, явно отклонившись от намеченной Поланко траектории, покрыла некое расстояние, достаточное для того, чтобы шмякнуться на правое колено Калака, который в бешенстве вскочил.

— Ну и кретин же ты,— сказал он голосом, ничуть от пива не смягчившимся.— За всю мою собачью жизнь не видел я большего бурдака.

— Вместо того чтобы поздравить с успехом в моих исследованиях, он думает только о своих брюках, эх ты, финтихлюпик законченный.

— Счетик из химчистки оплатите вы, дон.

— Когда вернете мне два фунта, которые я вам дал вот уже больше трех недель тому назад, еще как из поезда выходили.

— Там и пятнадцати шиллингов не было,— сказал Калак, вытирая овсянку оконной шторой.

Так обстояли дела, когда позвонила Николь и сообщила, что в Лондон приехала Телль. Еще одна, вздохнул Поланко, убирая научные принадлежности с миной, какая была бы у Галилея в сходной ситуации.

Они охотно прошли бы пешком до дома Элен, но чемодан и пакет с книгами Селии были слишком тяжелыми. Вот наконец они вышли из такси на улице Кле.

Селия направилась вперед с чемоданом, и у Элен, пока она расплачивалась с таксистом, было мгновение, когда в ее усталом мозгу все смешалось; неужто опять, смутно подумалось ей, придется идти, неся в руке пакет, теперь пакет с книгами Селии, а прежде был другой пакет, перевязанный желтой тесемкой, который ей надо было кому-то передать в отеле города?

Они едва уместились вдвоем в ветхой кабине гидравлического лифта, который, пыхтя и кряхтя, поднял их на шестой этаж. Селия смотрела на покрытый зеленым линолеумом пол, покачиваясь от вибрации лифта, от внезапных, на каждом этаже, сотрясений этого ящика из дерева и стекла. Пусть это длится годы, века, пусть всегда будет так, нет, непостижимо, я в лифте рядом с Элен, я приближаюсь к квартире Элен. Никто ее не знает, подумала я, когда лифт с каким-то всхлипом остановился и я увидела, что Элен, вытолкнув чемодан и ища в сумочке ключ, выходит, никто из наших не бывал в этой квартире, разве что Хуан, возможно, смотрел иногда с улицы на ее окна и спрашивал себя, какие там комнаты, где у Элен лежит сахар, а где пижамы. О да, Хуан, наверно, приходил вечерами сюда на угол, высматривал свет в окнах шестого этажа и курил сигареты одну за другой, прислонясь к этой стене с рекламами. Элен сразу решила, что первой пойдет мыться, чтобы заняться ужином, пока я буду принимать душ. О да, доктор, конечно, доктор. Я услышала шум воды и опустилась в кресло так, что затылком оперлась на его спинку; я не была счастлива, это было что-то другое, что-то вроде награды за то, чего я даже не сделала, награды вообще, некой благодати. Мой сосед или Калак посмеялись бы над такими словами, они все смеялись надо мной, когда я говорила что-нибудь такое, чего они терпеть не могли. Элен мне уже отвела часть стенового шкафа, точно все указала, прежде чем запереться в ванной; я открыла чемодан, куда не положила того, что было необходимо, зато второпях и в ярости сунула коробку цветных карандашей, путеводитель по Голландии и пачку карамелек. Правда, там все же оказались три летних платья, пара туфель и книга стихов Арагона.

— Ты мойся зеленой губкой,— сказала Элен.— Полотенце твое тоже зеленое.

Я вошла в ванную (но, значит, Элен не такая, вот у Элен флаконы с экстрактами для ванны и полотенца



чудесной расцветки — мое зеленое, — но, значит, Элен, ах если бы мой сосед и Телль могли увидеть эти полочки, ах — если бы Хуан, но, значит, Элен не такая); что за наслаждение, вода струится по спине, и запах фиалкового мыла, которое скользит в руке, как вьюн, а теперь вытремся зеленым полотенцем, которое Элен повесила на вешалку слева, мое белье также будет в шкафу лежать слева, и наверняка я буду спать на левой стороне кровати. Сами вещи направляли меня, надо только слушаться указаний Элен, — зеленый цвет, левая сторона. Квартирка была небольшая, и Элен обставила ее очень удачно (как тут не вспомнить мой дом, эту необозримую буржуазную квартиру времен барона Османна, где тебя теснят дюжины ненужных стульев, и комодов, и столов, и консолей, стоящих именно там, где им стоять не следует, а также мои родители, и брат, и, так часто, жена брата, и два кота, и прислуга). Здесь такой нежный аромат, суховатый и терпкий, а там запахи нафталина, скипидара, ношеного платья, жакетов из кошачьего меха, таблеток от кашля, кухонных паров, век впитывавшихся в обои, зловонного старческого кашля. И освещение тут особенное, оно есть и вроде его нет, оно такое мягкое, что, излучаясь от ламп гостиной или спальни, сливается с воздухом, это тебе не тяжелые холодные люстры, не чередование темных углов и ярко освещенных полос, в которых мы то появляемся, то исчезаем, как идиотские марионетки. О, теперь чудесно запахло поджаренным хлебом и яичницей, я так спешу одеться, что вхожу в кухню с чулком в руке, когда Элен заканчивает накрывать на стол. Ну, ясно, с чулком в руке, а лицо лоснится от мытья и восхищения, бедняжка как замороженная смотрит на тарелки и стаканы. «Живей, а то остынет», — сказала я, и лишь тогда она натянула чулок, немного покрутилась, пристегивая его, и уселась перед своей тарелкой с таким голодным и счастливым лицом, что мне стало смешно.

Яичница с ветчиной была чудо, были божоле и швейцарский сыр, а еще они поделили пополам апельсин и грушу, потом Элен приготовила кофе по-итальянски и объяснила, где что находится, чтобы утром приготовлением завтрака занялась Селия. А та, все еще сияющая, старалась запомнить: зеленое полотенце, левая сторона, завтрак. Да, доктор, конечно, доктор, и думала, как бы вчуже, что мужчину такая мелочная точность, наверно, раздражала бы.

— У меня все будет падать из рук,— сказала Селия.— Вот увидишь, я разобью тебе чашку или что другое.

— Возможно, но, если ты уже заранее заявляешь...

— А сахар я найду? Ты же будешь спать, я не захочу тебя будить. Ах да, он здесь, в этом ящике. Ложечки...

— Дуреха,— сказала Элен.— Все сразу для тебя чересчур много. Постепенно научишься.

Да, доктор, конечно, доктор, я научусь; а вот кто не научится, так это ты, безупречная укладчица сахара и чашек. Как бы тебя кольнуть, заставить чуть-чуть смутиться, в чем-то нарушить твоё совершенство? А ведь ты не такая, я-то знаю, что ты не такая, что все эти штуки — зелёный цвет и третья полка — вроде математически рассчитанной защиты твоего одиночества, нечто такое, что мужчина смел бы одним взмахом руки, даже о том не ведая, между двумя поцелуями и прожигающей ковер сигаретой. Хуан. Нет, именно не Хуан, потому что он на свой лад тоже слишком любит ковры, по другой причине, но любит; потому не Хуан, и именно потому она такая.

— Я устала,— протянула Селия, откидываясь в кресле.— Здесь так хорошо, вроде как перед началом фильма или концерта, знаешь, будто кошка мурлычет в животе.

— Можем послушать концерт, если хочешь,— сказала Элен.— Пойдем в гостиную, я захвачу кофейник.

И вот долгое забытьё, блаженство мурлычущей кошки, пластинка со струнным трио, Филипп Моррис и цыгане, между нами низкий столик, бутылка коньяку как теплящийся огонек. И можно говорить, говорить, как бы уступая медленно наплывающему сну, и сидеть в тепле с кем-то, вроде Элен, которая курит и маленькими глотками пьёт коньяк и слушает, как говорит девочка, любящая сыр «бебибел», между тем как где-то сзади, где-то сзади, где-то там — причём надо определить где, и смутно, в общем-то, понимаешь, что где-то сзади или в глубине, во всяком случае, в области, отчужденной от того, что происходит здесь,— надо судорожно ждать, пока лифт не дойдет до этажа, где её ждут, но этаж этот она не указала на табло, потому что в лифте нет табло, это белая сверкающая кабина, совершенно голая, в которой, стоит случайно повернуться, уже не сможешь разглядеть, где дверь, и ты ждешь, держа пакет с желтой тесемкой, которая режет пальцы. Но лифт остановится, дверь бес-

шумно откроется, и на тебя надвинется бесконечная перспектива коридора, уставленного старыми плетеными креслами, с рядом гостиничных дверей, на которых портьеры с бахромой и выцветшими кистями, и отель этот никак не вяжется с хирургически чистым голым лифтом, но еще до того кабина на миг приостановится, это даже не остановка, а минутное замедление хода, и потом пойдет опять, а Элен, как всегда, будет знать, что теперь кабина движется горизонтально по одному из многих поворотов зигзага, которыми в городе никого не удивишь, как не удивляет и то, что в окошко теперь видны крыши и башни, огни на большом проспекте в глубине и блики канала, когда кабина проходит по мосту, невидимому для той, что едет в лифте, придерживая теперь пакет обеими руками и не желая опустить на пол, словно она обязана держать его, хотя тяжесть пакета возрастает до нестерпимого, пока наконец дверь не открылась на одном из верхних этажей отеля, и Элен со вздохом облегчения ставит на край столика рюмку с коньяком.

— Тебе надо бы отдохнуть,— сказала Селия.— После того, что там случилось сегодня... Если хочешь, я приготовлю еще кофе, нам обоим это не помешает. Я больше не буду болтать, я, знаешь, такая болтушка.

— О, я иногда и не слушаю тебя. Мне приятно, что ты здесь, в тебе столько живости.

— Во мне, живости? Ну знаете, доктор, вы говорите, как моя мама. Что за мания напускать на себя?.. Прости, молчу. Но, право, ты иногда такая. Во мне живости не больше, чем в тебе. Заметь, я говорю не о тебе, я говорю о себе, и это ты мне не можешь запретить. Ах, Элен, ей-богу, я не знаю, как себя вести с тобою. Ты такая. А иногда ведь хочется, чтобы... *Merde, alors*<sup>1</sup>. Не смотри на меня так.

— Хорошие девочки не говорят гадких слов.

— *Merde, alors*,— повторила Селия, засовывая два пальца в рот, будто готовясь грызть ногти, у нее есть такая привычка. Мы обе разом рассмеялись, сварили еще кофе и в заключение поговорили о друзьях в Лондоне и о письме Николь, которое Селия получила в то утро. Всякий раз, когда речь заходила о друзьях, мне было забавно, что Селия о Хуане упоминала вскользь и как бы мимоходом, а ведь Хуан и Телль играли с ней

---

<sup>1</sup> Да ну, дерьмо (*франц.*).

как с кошечкой, засыпали ее подарками и прогулками и, возвращаясь в Париж, вечно спорили из-за нее с моим соседом и с Поланко, вели долгие дебаты в «Клюни», похваляясь взятыми за месяц билетами в театр, экскурсиями в зоопарк в Венсенне, интересными докладами и уик-эндами в садоводческой школе, где работал Поланко. Невозможно обо всем этом говорить, не упоминая Хуана; и невозможно, чтобы Селия понимала — я-то ей этого никогда не скажу, — что его имя для меня как иные духи, которые и влекут, и отталкивают, как искушение погладить спинку золотистой лягушки, зная, что пальцы ощутят что-то противно клейкое. Как сказать об этом кому бы то ни было, даже если тебе никогда не узнать, что звук твоего имени, твой образ в чужом сознании меня обнажает и ранит, бросает мне в лицо меня самое с тем абсолютным бесстыдством, которое ни в зеркалах, ни в любовных объятиях, ни в беспощадной рефлексии никогда не бывает столь жестоким; а ведь я по-своему люблю тебя, и в этой любви твой приговор, она делает тебя моим сближителем, который, именно потому что любит меня и любим, меня обнажает, разоблачает, показывает мне, какова я на самом деле, — да, меня томит страх, но я никогда об этом не скажу, я превращаю свой страх в силу, помогающую мне жить так, как я живу. Такой меня и увидела Селия, такой, чувствую, она видит и осуждает меня и четкий механизм моей жизни. Как в моей работе, так и во всем остальном я боюсь глубокого вторжения в свою жизнь, нарушения жесткого порядка своей житейской азбуки, я та Элен, которая отдавала свое тело лишь при уверенности, что ее не любят, и именно поэтому — чтобы отделить настоящее от будущего, чтобы никто потом не приходил стучаться в ее дверь во имя чувства.

— Они такие, — сказала Селия. — Смотри, что мне пишет Николь, вот этот абзац. Они уже совсем того.

— Веселые самоубийцы, — сказала Элен. — Нет, среди них нет сумасшедших, как среди нас. Как раз сегодня днем я подумала, что не всякий может сойти с ума, это надо заслужить. Понимаешь, это не то, что смерть, это не такой полный абсурд, как смерть, или паралич, или слепота. Среди нас есть такие, что притворяются сумасшедшими просто от тоски или от желания бросить вызов; иногда, правда, само притворство приводит... Но им это не удастся. Во всяком случае, Маррасту

не удастся, прекрасно и то, что он забавляется и будоражит весь Лондон.

— Николь такая грустная,— сказала Селия.— Она пишет про Телль, ей хотелось бы, чтобы Телль была рядом, Телль, пишет она, всегда прибавляет ей немножко жизни.

— О, вспомнила! — внезапно сказала Элен.— Ты любишь кукол? Посмотри, что мне прислала Телль из Вены. Кстати, о сумасшествии, я никак не пойму, почему она прислала мне куклу. Телль никогда мне ничего не дарила, да и я ей. И вдруг из Вены. Разве что Хуан, но тогда это еще более бессмысленно.

Селия минутку смотрела на нее, потом опустила глаза, чтобы поглядеть на куклу, которую ей протянула Элен. Ей хотелось вставить слово, сказать, что, возможно, и так, что Хуану, возможно, захотелось сделать ей подарок, и тогда — но что тогда и с чего бы это Хуану пользоваться Телль как ширмой, даже напротив, воспользоваться Телль в таком деле было бы нетактично, хотя Элен ничуть не тревожило, что Телль любовница Хуана; в любом случае лучше помолчать, но тогда почему Элен назвала Хуана, назвала так, будто хочет нарушить вето, приглашает говорить о Хуане, чтобы Хуан вошел в нашу беседу, в которой уже прошли чередой имена всех друзей. Мне вспомнилась маленькая сценка, при которой я присутствовала, не придав ей значения, но которую поняла потом, когда их узнала поближе. Странная такая. Мы сидели на террасе кафе на площади Республики — почему нас туда занесло, не знаю, вообще-то мы этот район не любили, но, возможно, то была одна из тех бессмысленных встреч, какие устраивал Калак или мой сосед, — и вот, когда нам принесли кофе, и кто-то передавал сахарницу, и чьи-то пальцы погружались в нее и вынимали кусочки сахара, я в эту минуту посмотрела на сахарницу, возможно в ожидании своей очереди, и увидела, как Хуан запустил туда два длинных, тонких пальца, похожих на пальцы хирурга, который у меня вырезал аппендикс, потом эти искусные пальцы хирурга появились, неся кубик рафинада как бы в клюве, но вместо того, чтобы бросить его в свою чашку, они двинулись к чашке Элен и мягко опустили в нее кубик, и я увидела — а я еще мало их знала и потому это не забылось, — я увидела, что Элен смотрит на Хуана, смотрит взглядом, который никому не показался бы

странным, если бы одновременно не видеть лицо Хуана, и я почувствовала, что тут что-то не так, что это отказ, безусловное «нет» этому движению Хуана, этому куску сахара, который Хуан опустил в кофе Элен, и Хуан, видно, понял, он резко отдернул руку и даже не взял себе сахару, лишь секунду поглядел на Элен, затем потупился, ну будто вдруг ощутил усталость, или отключился, или с горечью покорился несправедливости. И только тогда Элен сказала: «Спасибо».

— Нелепый подарок,— сказала Элен.— Но в этом его прелесть, надеюсь, мне не грозит, что Телль станет посылать коробки венского шоколада. Жаль, что я к куклам равнодушна.

— Но эта очень миленькая, она особенная,— сказала Селия, осматривая куклу со всех сторон.— Так и хочется скинуть лет десять, чтобы поиграть с ней, смотри, какое у нее белишко, она же полностью одета, вот трусики, даже *soutien-gorge*<sup>1</sup> есть, и в этом что-то порочное, если подумать, личико-то у нее совсем детское.

Как у тебя самой. Я с трудом сдерживаю улыбку, когда слышу эти слова: «Так и хочется скинуть лет десять». Это ей-то, которая пять лет тому назад наверняка еще играла с медвежонком и с куклой, умывала их, кормила. Даже в ее побеге из дому есть что-то от игры в куклы, это каприз, он пройдет при первых трудностях, при малейшем щелчке по носу, который ей даст жизнь. Одна кукла играет другой куклой, теперь у меня в доме две куклы, безумие заразительно. Но так лучше, по крайней мере в этот вечер, и, в общем-то, вполне можно понять тех сумасшедших, что на свой лад играют в куклы там, в Лондоне, и Хуана, играющего с Телль, и Телль, посылающую мне куклу просто так, потому что это забавно. А ты читала, Селия, что произошло на этой неделе в Бурунди? О, конечно, ты, скорее всего, и не знаешь о существовании Бурунди, а ведь это независимое и суверенное государство. Я тоже о нем не знала, но на то есть «Монд». Так вот, дорогая, в Бурунди произошло восстание; мятежники захватили всех депутатов и сенаторов, около девяноста человек, и всех скопом расстреляли. Почти в те же часы король Бурунди, чье имя не выговоришь, зато оно снабжено безупречно римским «III», встретился здесь с де Голлем, торжест-

---

<sup>1</sup> Бюстгальтер (франц.).

венная церемония в зале с зеркалами, комплименты и, вероятно, что-то насчет технической помощи и прочее. Как же не понять, что Марраст и Телль, которые чувствительны к таким вещам, и даже Хуан, правда менее чувствительный, потому что отчасти этим кормится, решили, что ничего другого не остается, как отравить жизнь директору музея или же немедленно послать куклу одинокой подруге на улице Кле?

— Хочется ее искупать,— сказала Селия, которую мало тревожила судьба парламентариев Бурунди,— покормить, сменить пеленки. Но, знаешь, когда к ней присмотришься, видишь, что это не дитя, и отнюдь...

В крайностях, думала Элен, откидываясь в кресле и обжигая себе веки дымком сигареты, в пограничных ситуациях, «до» и «после» соприкасаются и сходятся в одно. Юноша улыбался, когда она ему разъясняла этапы подготовки к операции, а потом сказал: «Спасибо, что пришли до нее», и она сказала: «Мы всегда так делаем, кстати, это повод проверить пульс пациента и лучше с ним познакомиться» — и улыбнулась ответной улыбкой, вселявшей уверенность, чтобы пациент набрался терпения, а заодно проникся доверием и не чувствовал себя таким одиноким. Возможно, именно в этот миг, нащупывая у него пульс и глядя на хронометр, она вдруг поняла, что юноша похож на Хуана, но это означало, что крайности сошлись, и этот мужчина на койке, он вроде ребенка, нуждающегося в самом элементарном уходе, ждущего, что к нему придут с полотенцами и чистым бельем, и займутся им, и дадут ему немного бульона, да и потом, в два часа дня, в нем также было что-то детское, обнаженное и беззащитное — лежа на носилках, он, когда в его вену входила игла, едва повернул голову, чтобы сказать «до свиданья» и утонуть в забытии, которое, по правилам, должно было длиться не более полутора часов.

— У меня никогда не было такой куклы,— сказала Селия, зевая.

Ну что ж, спать, малое забытие. Почистить зубы, взять коробочку с транквилизантами, не всякий может сойти с ума, но всегда можно уснуть с помощью лабораторий фирмы «Сандос»; а может быть, до этого она успеет прийти в ту комнату, где ее ждут, потому что теперь она по винтовой лестнице с веревочными перилами спустилась обратно на улицу,— после бесконечного,

тщетного хождения по номерам отеля, которые заканчивались лифтом, который тоже заканчивался чем-то, что Элен уже не могла вспомнить, но что каким-то образом опять приводило ее на улицу, и ей опять надо было идти по городу, с трудом неся пакет, становящийся все тяжелее.

Таинственным образом анонимные невротики являлись в Институт Куртолда по средам в большем числе, чем в прочие дни недели, и вот именно тогда, когда тут, возможно, удалось бы продвинуться в каком-либо интересном направлении, прибыло извещение с таможни, призывавшее Марраста в эту самую среду заняться отправкой глыбы антрацита, которая никак не могла покинуть территорию Ее Величества. По возвращении из «Грешам-отеля», в эспрессо у Рональдо, за спагетти и разноцветными кремами, шло обсуждение этого вопроса — вначале никто не соглашался заменить Марраста на диване в музейном зале номер два. Оказалось, что мой сосед обнаружил на набережной Виктории некий бар, где назначена совершенно безотлагательная встреча, и что Поланко в этот же день должен отправиться на поиски пружины, необходимой для его экспериментов. Вскоре стало ясно, что меньше всех заняты Калак и Николь — ну можно ли принимать всерьез обязательства Николь перед издателем энциклопедии или литературные опусы, которые Калак предназначал для окрестностей Рио-де-ла-Платы или других тамошних провинций? Беднягу Остина, который больше всех жаждал участвовать, сразу же отвергли, потому что он никак не мог понять проблему картины Тилли Кеттла, не говоря о том, что его свидетельство как бывшего анонимного невротика было бы искажено субъективностью и пристрастием. И, словно этого мало, Остин накануне признался своему учителю французского и Поланко, что он, как социалист, считает групповую деятельность по меньшей мере бесполезной, если не опасной; наряду со спряжением глагола *jouir*<sup>1</sup>, выбранного по совету Поланко, Маррасту пришлось выслушать речь о воспитании масс и о борьбе против расизма. Еще сейчас, среди мелькающих вилок со спагетти, слышались более или менее

---

<sup>1</sup> Наслаждаться (франц.).



внятные отзвуки этой темы: Вы не имеете права тратить время таким образом / Посоли, иначе их есть невозможно / Но разве ты не понимаешь, что это тоже способ направить человечество на более здоровые пути? / Как я соскучился по парижскому хлебу, кабы кто знал / Здесь все поливают кетчупом / Очень странный ваш способ, скажу тебе напрямик / Чем более странный, тем он эффективней, че, люди, знаешь, не насекомые / Значит, для вас то, что происходит в Конго / Да нет же, Остин, мы вполне / И в Алабаме / Мы все в курсе, у Поланко прямая телефонная связь с пастором Кингом / А то, что на Кубе / О, Кубу мы знаем преотлично, и, во всяком случае, мы им не продадим флотилию автобусов, а то они потопят их вместе с судном, и крышка / Вы комедианты, вот вы кто / Очень возможно, милый лютнист, но ты-то что делал до того, как познакомился с комедиантами? / Я, ну в самом деле / Нет, не в самом деле, а в твоём клубе параноиков, скажи нам спасибо / Я по крайней мере создавал, что эти проблемы есть / Ясно, и при этом спал как ангелочек / Скажи Джованни, пусть принесет вина, у тебя же произношение как в Сан-Сеполькро <sup>1</sup> /. А теперь признайся, что на ваш клуб тебе начхать и тебе, напротив, хочется делать что-то полезное и увлекательное / Да, я согласен, что вы открыли передо мной другие горизонты / (издевательский хохот) / Но это не оправдывает вас как личностей / Скажи Джованни, пусть принесет флан <sup>2</sup> погуще, чтобы заткнул ему глотку / Да пусть себе треплется, а я покамест постараюсь уговорить Калака, чтобы он сегодня подежурил / Хорошо, я пойду, если кто-нибудь пойдет со мной, а то мне будет неуютно одному на этом лохматом диване / Я же сказал тебе, пойдет Николь / А, тогда я согласен / Вы себе никогда и вообразить не сможете, как трудно найти в Лондоне пружину / Ну вот, теперь этот пошел трепаться / Я-то говорю о предмете сугубо научном / То про человечество, теперь про науку — и это вы называете обедом / Все дело в том, что вы бурдак / А вы финтихлюпик / Гляди, как ест Николь, вот настоящая француженка, она никогда не поймет, что спагетти основное блюдо в обеде / Но в Италии их никогда не подают как основное блюдо / Ты права, малышка, только я этому

---

<sup>1</sup> Сан-Сеполькро — селение в Италии, пров. Ареццо.

<sup>2</sup> Сладкое блюдо из взбитых яиц и молока.

господину говорил про Буэнос-Айрес / А при чем тут Буэнос-Айрес? Спагетти, кажется, блюдо итальянское / Буэнос-Айрес тоже / Вот как / Пора бы тебе уже знать / Но если Буэнос-Айрес итальянский город, не понимаю, почему там спагетти основное блюдо / Потому основное, что мы едим его с большим количеством жира, и это очень питательно, да еще добавляем к нему тушеное мясо, такое, что пальчики оближешь / Все меня спрашивают, зачем мне эта пружина, но я не могу так сразу объяснить / Насколько я знаю, никто у тебя ничего не спрашивал / Мне же пришлось бы начать с того времени, когда я познакомился с моей толстухой на танцах в Виль-д'Авре / Ну, теперь он надолго, это будут семь томов Казановы / И она почти сразу согласилась взглянуть на потолок моей скромной комнатенки / Он готов все выложить, лишь бы мы узнали о его победах / Я вам сотру вашего «дурака», и оглянуться не успеете / И единственное, что он получил от толстухи, — это работенка в садоводческой школе старика Пертёйля с нищенской зарплатой / Да, платят мало, зато у меня есть моя толстуха, и какой пруд, кругом в камышах / Джованни, четыре кофе, четыре / Че, пять, Остин уже пьет кофе, мама разрешила / *Allez au diable*<sup>1</sup> / Нет, сынок, так не говорят, я научу тебя другим выражениям на французском наречии Бельвиля<sup>2</sup>, чтобы ты сразу клал любого на лопатки. Разумеется, по краткости и изяществу ничто не сравнится с *ta gueule*<sup>3</sup>, это отметим номер один. *Et ta soeur*<sup>4</sup> — тоже недурно, тут есть неоспоримая прелесть всякого упоминания о родне / *Thank you*<sup>5</sup>, господин учитель / *Da pas de quoi, man pote*<sup>6</sup>.

В итоге пойти в музей согласились Николь и Калак, а Марраст должен был к ним присоединиться, как только глыбе антрацита будет обеспечена зеленая улица. Мой сосед расплатился, произвел деление и неумолимо собрал с каждого его долю, объявив, что чаевые за его счет. Музей был почти пуст, и, глядя, как немногие посетители, почти не задерживаясь во втором зале, проходили, как и следовало ожидать, к Гогену и Мане, Калаку стало

<sup>1</sup> Идите к черту (франц.).

<sup>2</sup> Бельвиль — пригород Парижа.

<sup>3</sup> Заткни свою глотку (франц.).

<sup>4</sup> И твою сестру (франц.).

<sup>5</sup> Благодарю вас (англ.).

<sup>6</sup> Не за что, дорогуша (франц.).

смешно, что Марраст так тревожился насчет наблюдения; но когда Николь и он уселись на диване и прошло несколько минут, внимание Калака привлек тот факт, что в зале было целых три зрителя, глядевших как-то слишком настороженно, хотя у картин этого зала никто не останавливался. Сидеть на диване было вполне удобно, только вот курить запрещалось, и Николь, как обычно, была грустная, рассеянная. В какую-то минуту, хоть и зная все, Калак спросил, почему она такая.

— Ты, наверно, и сам понимаешь,— сказала Николь.— Что тут рассказывать, просто все идет очень плохо и мы не знаем, что делать. Хуже того, мы очень хорошо знаем, что должен делать каждый из нас, и не делаем этого.

— Что ж, значит, надежда? Эта шлюха в зеленом?

— Ах, я уже давно ни на что не надеюсь. Но Мар на свой лад надеется, и тут моя вина. Я остаюсь с ним, мы смотрим друг на друга, мы спим вместе, и вот он каждый день все ждет чего-то большего.

Из лифта вышли четыре человека, напоминавшие повадкой быков на арене, они озирались, ничего не видя, сосредоточенно составляли план осмотра: вначале стена слева с примитивистами, затем натюрморты на противоположной стене — и вдруг обнаружили явную тенденцию пройти вереницей во второй зал, где они безошибочно устремились к портрету доктора Лайсонса, Д.Г.П., Д.М.

— Как пить дать это невротики,— сказал Калак.— Они друг друга не знают, но мы, словно око господне, сразу отличаем званных от избранных. Мамочка моя, кидаются на этот гермодактилус ну прямо как мошкара, тучей.

— Уйти должна бы я,— сказала Николь.— Но только уйти по-настоящему, не оставляя следов. Тогда он бы исцелился. Как видишь, план превосходный, но осуществить его куда труднее, чем переживать то, что теперь с нами происходит и что можно назвать чистейшим безумием.

— Верно, дорогая, ты изрекла бессмертную истину. А вот подходят еще двое, обрати внимание, прямо видно, как у них усики шевелятся, по выражению одной моей родственницы из Вилья-Элисы. А в той кучке, что сейчас выходит из лифта, по меньшей мере трое — невротики. Видишь ли, Николь, если ты перестала его любить — ты только пойми меня правильно, когда я говорю «любить», я не имею в виду питать нежность или быть к нему доброй и прочие приятные заменители, высшее

достижение нашей цивилизации,— если ты перестала его любить, тогда я не понимаю, почему у тебя не хватает духа уйти.

— Да, конечно,— сказала Николь.— Это ведь так легко, правда?

— Не говори чепухи. Я очень хорошо понимаю, сколько сложностей.

— Вот если бы и мне прислали письмо,— сказала Николь.— Анонимное письмо с советом, например сделать то-то и не делать того-то. Смотри, как они разглядывают эту картину и как всполошились зрители. Каждый знает точно, что ему делать, потому что все получили анонимки, кто-то извне их толкает, без всяких объяснений.

— Без объяснений? — переспросил Калак.— Ох, будь они прокляты, почему тут нельзя курить. А ты никогда не задумывалась, почему Марраст напрасно теряет время на то, что ты изволила назвать чистейшим безумием? Прошло уже два месяца с лишним, как он должен был начать работу над заказанной статуей. И вот, пожалуйста, он еще и нас заставляет терять день на этом диване, похожем на лохматого пса.

Николь ничего не ответила, и у Калака создалось впечатление, что она отказывается думать, что она все глубже уходит в угрюмое молчание.

— Был бы я моложе лет на пятнадцать да имей чуть поболее фунтов стерлингов, я бы увез тебя в Хельсинки или куда-нибудь еще,— внезапно сказал Калак.— Просто так, совершенно по-дружески, ясное дело, только чтобы дать тебе тот дополнительный толчок, которого, по-твоему, тебе не хватает. Нет, ты не смейся, я вполне серьезно. Хочешь, отправимся в путешествие вместе или я провожу тебя на поезд и передам пачку карамелек через окно? О, дуреха, да не смотри на меня так. Я тут не в счет, я, так сказать, готов играть вспомогательную роль, как если бы ты была персонажем одной из моих книг, а я бы тебя любил и хотел бы тебе помочь.

— Ты отлично знаешь, — сказала Николь так тихо, что Калак с трудом расслышал,— что на какой бы поезд я теперь ни села, он повезет меня в Вену, а я туда не хочу.

— А, понял. Ну и ну, никакой слаженности действий. Погляди вон на ту толстуху, она притащила нечто вроде инкунабулы, чтобы изучать растение,— наверно, это и есть та самая любительница ботаники, о которой говорил мой

сосед. Эге, теперь, кажется, что-то начинается, глянь, как нервничают зрители, бедняги не знают, что делать. Весь зал пуст, и только эти типы толпятся вокруг дурацкого растения, нет, это невероятно. Ты сказала — в Вену? Раз уж ты почтила меня своим доверием, признаюсь — я спрашиваю тебя, знаешь ли ты, что Хуан переживает примерно то же самое?

— Да, знаю, как же мне не знать,— сказала Николь.— Я-то не могу себе представить, что его кто-то не любит.

— И все же это так, крошка, и если поезд, о котором ты сказала, пришел бы по назначению с тобою на борту, ты бы нашла, что Хуан в свою очередь тоже мечтает вскочить в поезд, направляющийся в Париж, но не делает этого по той же причине, по какой вы, сударыня, не едете в Вену, и так далее. Играть в уголки, знаешь, очень занятно в восемь лет, но позже это может довести до отчаяния, вот так мы и живем. Обрати внимание на того зрителя, самого тощего, у него, видно, есть приказ записывать точные приметы наиболее подозрительных, бедняга уже исписал две тетрадки — я точно помню, что в прошлый раз у него была тетрадка с обложкой другого цвета, разве что они каждый день меняют цвета, как делали ацтеки. Хочешь, расскажу тебе про ацтеков?

— Я не буду плакать,— сказала Николь, сжимая мне руку повыше локтя.— Не глупи, и не надо мне рассказывать про ацтеков.

— О, это тема, в которой я знаток, хотя, конечно, там про Вену ничего не будет. А насчет того, что ты не станешь плакать, спрячь сейчас же свой платок и не будь дурочкой. Бог мой, только подумать, что Марраста, можно сказать, воспитали Поланко и я и что мы лишали себя почти всех радостей жизни ради этого кретина! И для этого покинул я свою родину? Толпы эссеистов и критиков осыпают меня горькими упреками, а я тут вожусь с этими недотепами. Да, Остин прав, вам надо записаться в партию, в любую партию, но главное, в партию, приносить, черт побери, какую-то пользу, эх вы, кучка мандаринов.

Он был в таком бешенстве и в то же время так явно старался меня развеселить, что я высморкалась, спрятала платок, и попросила у него прощения, и поблагодарила за карамельки, которые он мне передаст в окно, и сказала, что больше всего люблю мятные. Нам обоим

было чуточку стыдно, и мы смотрели друг на друга, беззащитные, как всякий цивилизованный человек, когда он не может закурить сигарету и укрыться за привычными жестами, за завесой дыма. Ну словно голые сидели мы на этом диване, на который с завистью взирали невротики из разных углов зала.

— Не знаю, что я буду делать,— сказала я.— Для окружающих, как всегда, все ясно. Но потом приходит Мар, и, понимаешь, каждый день — это повторение вчерашнего, да, ты прав, шлюха в зеленом платье.

— От него тебе нечего ждать,— сказал Калак.— Он ничего не сделает, чтобы решить вашу проблему. Разве что, думая, что ничего не делает, он...

Тут я взглянул на зрителя, который, кое-как примостясь, писал в своей тетрадке; я остановился на середине фразы, потому что не мог ее продолжить, и странным образом мы оба остановились — зритель перестал писать, а я говорить,— и в одно и то же мгновение мы издали посмотрели друг на друга с досадливым и озабоченным видом людей, не знающих, как продолжить, и, однако, подозревающих, что в продолжении-то самая суть, как в финале снов, вмиг забываемых, когда именно в нем-то и должен быть ключ, ответ на все. «Разве что, думая, что ничего не делает, он...» Мне очень хотелось знать, что там пишет зритель и на каком месте какой фразы он тоже остановился. Но в конце-то концов, на кой черт мне улаживать проблемы этой женщины? Было очень легко сказать ей, что лично я в этом деле в счет не иду, что я помог бы ей исключительно по-дружески, потому что Марраст для Поланко и для меня был как бы сыном, а следовательно, она — любимой дочуркой, но я был более чем уверен, что, когда я это сказал, в тот миг, когда я сказал: «Я тут не иду в счет», я высказал — невольно или даже с умыслом, но от всей души — то, что Николь прекрасно знала и что было глупо, и неизбежно, и не ново, и так грустно, словом, что я ее люблю чуть побольше, чем милую дочурку, и мне было бы вовсе не легко увозить ее в Хельсинки только в качестве доброго дядюшки, желающего развлечь свою заскучавшую племянницу.

— Да, он ничего не сделает,— сказала Николь.— Вот видишь, что же тогда...

— Сейчас здесь начнется славная заварушка,— сказал Калак,— в воздухе чувствуется, зрители явно чего-то ждут, я еще не видел их такими настроенными. Вот

эти трое, которые только пришли, похожи на законченных невротиков, а всего их тут девять, хотя в одном или двух я не очень уверен. В общем, дочурка, мне вас всех сердечно жаль.

То была фраза, которую каждый из нас часто повторял, говоря о других, и которая произносилась довольно спокойно, но Николь она ранила, как удар хлыстом по лицу. Ей опять захотелось быть одной, сидеть взаперти в отеле, она почувствовала себя вроде бы замаранной в глазах Калака, который уже и не рад был, что это сказал.

— Знаешь, я даже не заслуживаю, чтобы меня жалели.

— О, не обращай внимания на мои слова.

— И даже того, чтобы ты увозил меня в Хельсинки или в Дубровник.

— Правду сказать, у меня нет ни малейшего намерения,— сказал Калак.

— Тем лучше,— сказала Николь, улыбаясь и снова вытаскивая платочек.

Привязать себя к мачте из страха перед музыкой, оставаться с Маррастом, и чувствовать себя замаранной, и все равно привязывать себя к мачте из страха перед ненужной свободой, которая неизбежно предстанет в виде запертой двери в Вене или, сколько разрешает благовоспитанность, вежливо-холодного объяснения и удивленно поднятых бровей, да, Хуан нежно на нее посмотрит и поцелует в щеку, поведет ее ужинать, в театр, будет рассеян и любезен, но полон другой, и, если вдруг легкомыслие в нем разыграется, если, целуя в щеку, он соскользнет к губам, если потом его руки нащупают плечи Николь и прижмут ее чуть крепче, ей все это будет как подавание надежде-нищенке, как возмездие той шлюхе в зеленом платье, по выражению Калака, который вдруг встал и ошалело уставился на трех зрителей, почтительно окруживших господина без правой руки, однако двигавшего одной левой за обе, указуя на портрет доктора Лайсонса, который осаждали пять-шесть анонимных невротиков.

— Что я тебе говорил,— прошептал Калак, опять усаживаясь,— вот и начинается, посмотри на этого безрукого, как он хлопочет.

— Это директор,— сказала Николь.— Его зовут Гарольд Гарольдсон.

— А я-то думал, что такие имена встречаются только

у Борхеса, еще пример того, что природа подражает искусству. Да вот и он, его-то нам не доставало. Ты, братец, пришел вовремя, тютелька в тютельку, безрукий этот, слышь, что твой Вишну со всеми его щупальцами.

Марраст еще не успел поцеловать Николь и разобратся в ситуации, как три зрителя подошли к картине Тилли Кеттла и с надлежащей, однако минимальной, вежливостью, оттеснили удивленных невротиков, затем двое из них сняли картину со стены, тогда как третий наблюдал за этой операцией и удерживал невротиков на дистанции, пока портрет доктора Лайсонса не исчез в глубине коридора, где кто-то с поразившей Калака синхронностью открыл дверцу, до тех пор не заметную за всеми этими бронзовыми штуками и консолями, так что вся операция была завершена с той же четкостью, с какой началась. Единственной стратегической ошибкой, как сразу же выяснилось, было то, что Гарольд Гарольдсон остался в зале, вмиг толстуха ботаничка вместе с двумя подругами и еще несколькими невротиками, которые внезапно в этот скорбный час как бы признали друг друга и решили покончить с присущей им прежде анонимностью, устремились к нему, требуя объяснений случившегося и указывая на то, что никто не стал бы трудиться, ходить в музей, чтобы у него чуть ли не из-под носа утаскивали картину, на которую он смотрит. На то есть причины, господа / Объясните их, сэр / Причины административного порядка, а также эстетического / Но почему именно эту картину, а не другую? / Потому что мы намерены повесить ее в более освещенном месте / На прежнем месте она прекрасно смотрелась / Это ваше мнение / Но это же правда, и все эти господа со мной согласятся / Hear, hear <sup>1</sup> / В таком случае я вам советую написать жалобу / Которую вы бросите в корзину / Это не в моих правилах, миссис / Что до ваших правил, сэр, мы только что видели весьма поучительный их образец / Разрешите вам ответить, что ваше мнение не лишит меня спокойного сна / И ты, брат, не вшиваешься? Сам, можно сказать, заварил эту кашу, а теперь в кусты / Да, тут ничего не скажешь, куманек, это превзошло все мои ожидания. Пошли отсюда поскорее, пока нас не зацапали, мы таки дождались своего звездного часа. Николь, кисонька, ты без плаща, а ведь на дворе дождь.

---

<sup>1</sup> Слушайте, слушайте (англ.).



Но в пабе не было дождя, и они зашли выпить портвейна, после того как Калак, выйдя из музея, откланялся с видом человека, который сыт по горло. Теплый портвейн так чудесно сочетался с сигаретой и с этим уголком в облезлых панелях красного дерева, где Марраст после такого финала его забавы никак не мог успокоиться и все требовал подробностей, пока Николь, улыбаясь, не повторила их несколько раз кряду и под конец погладила его по лицу, чтобы отогнать тревоги, и тогда Марраст попросил еще портвейна и сказал ей, что глыба антрацита завтра отправится в Кале на борту «Рок-энд-Ролл» с капитаном Сином О'Брейди. Глыбу он успел хорошо осмотреть, пока таможенники лазили по ней туда-сюда, разумеется с помощью лесенки, им все не верилось, что в ней не упрятан плутоний или скелет какого-нибудь гигантозавра. А что скажет муниципалитет Аркейля, получив накладные м-ра Уитлоу, это другой вопрос, но от него их отделяют несколько дней, а покамест вторая рюмка портвейна так приятно согревает горло.

— Да, кстати, мой сосед получил письмо от Селии, что она приедет сюда, что-то в этом роде он сказал мне, когда мы выходили из эспрессо. Все это не имеет значения, и глыба антрацита тоже, просто я тебе сообщаю, чтобы с этим покончить. Сняли картину! — восклицал Марраст все с большим восхищением. — Невероятно! Лично сам Гарольд Гарольдсон! О, чудо!

Николь забавляла эта восторженная манера говорить о вполне обычных вещах, но прошло еще немало времени, пока Марраст уgomонился и до него стало доходить, что видимый и доступный этап операции закончился и что с этого дня невротики станут еще более анонимными, чем когда-либо, за исключением одного-единственного, Остина.

— В каком-то виде все будет продолжаться, — сказала Николь, — только мы этого уже не увидим.

Марраст, закуривая очередную сигарету, взглянул на нее. Медленно сдвинув с места рюмку с портвейном, он посмотрел на еле заметный влажный кружок на столе, ничтожный след чего-то минувшего, что кельнер сотрет равнодушной рукой.

— Кое-что все же можно предугадать, первые концентрические круги. Портрет доктора Лайсонса перевесят на другое место или, скорее всего, оставят в запасниках музея до менее бурных времен. Мы вернемся в Париж, Гарольд Гарольдсон постепенно забудет об этом служеб-

ном кошмаре, и Скотланд-Ярд, если им стало что-то известно об этом деле, сдаст в архив едва начатую папку.

— Гоген и Мане снова станут хозяевами положения. В зале номер два опять будет только один зритель.

Да, но это было не все, не могло быть все. Марраст чувствовал, что от него что-то ускользает, столь же близкое, как Николь, которая тоже ускользала, все это было ничуть не похоже на предвидение возможных вариантов. Игра, затеянная из отвращения к жизни и тоски, нарушила порядок, в причинную цепь вмешалась причуда, чтобы вызвать резкий поворот, и значит, посланные по почте две строчки могут взбудоражить мир, ну, скажем, не мир, а мирок; Остин, Гарольд Гарольдсон, и, возможно, полиция, два десятка анонимных невротиков и два дополнительных зрителя были на время выбиты из своих орбит, чтобы встретиться, перемешаться, спорить, сталкиваться, и из всего этого возникла сила, сумевшая снять со стены исторически ценную картину и породить следствия, которых ему уже не увидеть из мастерской в Аркейле, где он будет сражаться с глыбой антрацита. Рука Николь в его правой, потной, беспокойной, руке казалась еще меньше, чем обычно. Левой он нарисовал над нежными бровями Николь воображаемые и еще более нежные брови и улыбнулся ей.

— Если бы можно было,— сказал он.— Если бы все же можно было, дорогая.

— Что «можно было», Мар?

— Не знаю. Снимать картины со стен, рисовать другие брови, ну, в общем, такое.

— Не грусти, Мар,— сказала Николь.— Я привыкну к тем бровям, которые ты мне сейчас нарисовал, дай только время.

— А каталог, представляешь? — сказал Марраст, как бы не слушая.— В следующем издании придется им убрать упоминание о картине за номером восемь и заменить ее другой. И сразу тысячи каталогов во всех библиотеках мира изменятся, они будут те же и, однако, станут другими, чем были, потому что уже не будут сообщать правду о картине номер восемь.

— Вот видишь, все может перемениться,— жалобно сказала Николь, опуская голову. Марраст медленно поднялся, взял ее за подбородок и опять погладил лоб и брови.

— Вот тут у тебя вырос волосок, которого раньше не было.

— Он всегда был,— сказала Николь, прижимаясь лицом к плечу Марраста.— Ты просто не наблюдателен.

— Не хочешь ли пойти в кино на фильм Годара?

— Пойдем. И пообедаем в Сохо, в испанском ресторане, где, ты сказал, волосы у меня как-то особенно блестят.

— Я никогда такого не говорил.

— Нет, говорил. Ты сказал, там какое-то особенное освещение, вот так.

— Не думаю, чтобы от него менялся цвет твоих волос,— сказал Марраст.— Не думаю, что в тебе, дорогая, что-нибудь изменится. Ты же сама сказала, что этот волосок был у тебя и раньше, так ведь? Просто я не наблюдателен, ты это тоже сказала.

Мы засиделись допоздна, беседуя и попивая коньяк, и в долгие паузы Элен казалась далекой и безучастной, потом вдруг бралась снова за сигарету или рюмку или снова улыбалась, хотя только что и не видела меня, пока я тянула свой дурацкий монолог. Когда она снова взглядывала на меня — точно спохватываясь и стараясь быть внимательной, даже с оттенком смущения за свою рассеянность,— собственные мои движения, подражавшие ей, то, как я закуривала сигарету, как ей улыбалась, тоже были как бы вызваны чем-то извне, были возобновлением доверия и счастья, на миг исчезнувших в том зиянии, каким был отсутствующий взгляд Элен. Я с огорчением сознавала, что в эти паузы я страдаю, что я остаюсь одна и что Элен имела бы полное право еще из-за этого относиться ко мне как к девчонке; но стоило нам перекинуться словом-другим, и опять воцарялось доверие, блаженное сознание, что вот я здесь, и вовсе незачем Элен меня успокаивать, ну, ясно, можешь оставаться здесь, сколько хочешь, устроимся, все эти фразы-ширмы, которые Николь, и Тель, и все мы, женщины, то и дело говорим друг другу и которые, конечно, надо говорить, чтобы не жить так одиноко, как Элен, никогда их не говорившая. Так легко было в тот вечер быть счастливой с Элен, без заверений, без признаний, но где-то в глубине все время таилось что-то иное, черная дыра, и она тоже была Элен, когда та словно бы уносилась куда-то и взгляд ее застывал на ее рюмке, на руке, на кукле, сидевшей в кресле. И мне так хотелось сделать

что-нибудь такое, чего я никогда не сделаю, ну вроде бы стать на колени, потому что на коленях ты как-то ближе, ты можешь уткнуться лицом в тепло другого тела, прижаться щекою к нежной шерсти пуловера; мне еще с детства хотелось, чтобы все действительно важное, или грустное, или чудесное совершалось мною или со мной, когда я стою на коленях, мне хотелось молча ждать, что она погладит меня по голове, ведь Элен сделала бы это; если приблизиться к другому снизу, с миной песика или ребенка, то рука другого непременно сама собой ляжет на твою голову, и мягко скользнет по волосам, и коснется плеч с нежной лаской, и тогда можно сказать ей то, чего иначе никогда не скажешь, сказать, что она как мертвая, что ее жизнь, на мой взгляд, похожа на смерть и, главное — но это было бы сказать трудней всего, почти невозможно, — что такова она и на взгляд Хуана, и что мы никогда не поймем и не согласимся с этим безобразием, хотя все мы словно пляшем вокруг нее, в свете солнышка-Элен, разумницы-Элен; и тогда она посмотрит на меня взглядом анестезиолога, о да, доктор, без злости и без удивления, сперва издали, будто глядя на что-то непонятное, а потом улыбаясь и нашаривая другую сигарету, но ничего не говоря, не соглашаясь ни с чем из того, что, конечно, никто из нас ей не сказал бы, даже мой сосед, а он-то мог высказать что угодно всякому, кто этого добивался.

Но тогда остается другое, тоже в духе кроткого и смиренного песика, которого я, сидя в кресле напротив Элен, воображаю себе, о чем она не подозревает, — можно просто быть здесь, все равно это счастье и кров на ночь, коньяк и дружба без всяких фраз, можно смириться с тем, что Элен — вот эта женщина, порою рассеянно трогаящая маленькую брошку с саламандрой или ящерицей, и в то же время — о да, доктор, вы не сможете этого отрицать, — в то же время флаконы с разноцветными экстрактами для ванны, мыло и духи, такие же, как у Тель и Николь и какие будут у меня когда-нибудь, когда я буду жить одна в собственной квартире. Ты такая же, ты наша, ты женщина с духами, и зеркалами, и капризами. Но это не делает тебя более близкой, поразительно, но все это никак тебя не приближает: вот только что я мылась здесь, вытиралась твоими полотенцами, удивляясь, что твоя квартира так не похожа на то, что мы могли предполагать, и теперь снова сижу

напротив тебя, которая мне все это дает, облегчая мне жизнь, чтобы я не страдала,— а расстояние между нами растёт умопомрачительно, и это меня убивает, отнимает последнюю способность хоть как-то объяснить вам, доктор, ваше отличие от нас, которое нас и привлекает, и приводит в отчаяние. Элен всегда мне казалась намного старше меня (но кто может знать точно возраст Элен, старше она меня на пять или на десять лет, и дело ли тут в годах или в чем другом, может в зеркале или в манере говорить?), и какой толк в том, что я сижу напротив нее, что она протягивает мне рюмку коньяку, такую же точно, как ее рюмка коньяку, нет, невозможное не произойдет никогда, Элен не посмотрит мне в глаза и не скажет чистосердечно слова, которые пришли бы точно из долгого странствия среди папоротников Элен, озер Элен, холмов Элен, слова, которые не будут отзвуком пережитого в этот день,— умершего в клинике больного, присланной Телль куклы, всех этих алиби, подбрасываемых временем и разными вещами, чтобы никогда не говорить о ней самой, не быть с нами настоящей Элен.

Нет, это ничуть не походило на отмычку, и вся операция теряла то свойство, на которое Хуан, не очень-то себе признаваясь, втайне рассчитывал; похоже на обычный гостиничный ключ, и фрау Марта бесшумно открыла им дверь номера 22, где, судя по сырости и узости коридора, явно никогда не жила исторические постояльцы. Хуан подумал об отступлении и о том, чтобы спуститься и позвать Телль, которая явно заслужила такую награду за долгое, самоотверженное подглядывание, но действия его опередили (как и положено) его мысль: скользя вдоль стены, он — едва фрау Марта скрылась в проеме двери, открывавшейся вовнутрь,— поставил ногу в туфле между дверью и порогом, чтобы помешать ее закрыть, и приготовился к неизбежному скандалу. Старуха, разумеется, закроет за собой дверь, никто бы не поступил иначе в таких обстоятельствах, да, никто, кроме фрау Марты,— дверь так и осталась полуоткрытой, и туфля Хуана не испытала того, к чему его ступня уже приготовилась, судорожно сжавшись. В номере было темно и пахло хвойным мылом, явление необычное и приятное в «Гостинице Венгерского Короля», и хвалить за это, вероятно, следовало юную англичанку. Ошеломленному, потерявшему

необходимые в такой ситуации логические способности Хуану лишь оставалось сохранять принятую позу, по возможности прижимаясь к стене и на всякий случай не убирая ногу, ибо прорывы в логике свершаются с молниеносной внезапностью и уж затем по обе стороны от сверкнувшего исключения разверзаются бездонные пропасти чистой, безупречной причинности. Вот, например, потайной фонарь — роковым образом в такой момент из потайного фонаря вырвался луч фиолетового света, — в каких-нибудь двух метрах от двери на полу обозначился трепещущий круг, двигаясь то вправо, то влево, будто в поисках нужного места. И во второй раз Хуан отметил, что действует, не спросив совета у своих высших инстанций; боком в дверной проем он как раз мог протиснуться, и он это выполнил совершенно бесшумно, а затем, сделав поворот на одной ноге, прижался к двери с другой стороны и потихоньку прикрыл ее мягким движением плеча. Еще чуть-чуть, и замок бы щелкнул, однако плечо вовремя остановилось; смутно — как и все тут происходящее — у Хуана мелькнула мысль, что эта щель спасла его от полного срыва в нечто, уже начинавшее проявлять себя спазмом в желудке, не говоря о том, что по другую сторону этого неведомого, темного мира ждала Телль, и это было каким-то мостом, контактом с остатками здравого смысла; и пока круг света упорно колебался на некоем участке пола, где начинался фиолетовый ковер, было чуть ли не забавно (если б только меня не мучил спазм) поразмыслить над понятием здравого смысла, которое казалось равно неуместным и по ту сторону двери, и по эту; почему, в конце концов, я могу быть уверен, что с другой стороны, в коридоре, ведущем на лестницу и в номер Владислава Болеславского, расположилась утешительная реальность, Телль, и сливовица, и моя треклятая международная конференция? Одновременно с этим мельканием чего-то, что и мыслью не назовешь, я сознавал, что круг света, то наплывавший на фиолетовый ковер, то сходявший с него, дергался из-за небольшой одышки у фрау Марты, углубившейся в эту темную комнату. С каждым колебанием светового луча мой страх усиливался, я вспомнил Раффлса, Ника Картера, книги моего детства, где всегда фигурировал потайной фонарь и странное, ибо непонятное, сочетание этих двух слов; но выходит, это всерьез, выходит, у фрау Марты есть и потайной фонарь, и ключ, и сама она вот здесь, не-

далеко, тяжело дышит, и, несмотря на темноту, чувствуется, что все это происходит в комнате более просторной, чем номер Владислава Болеславского («Как может быть фонарь потайным?» — спросил я когда-то у отца), и в этом было что-то обидное, ведь юная англичанка одна занимала такую комнату, меж тем как администратор нас уверял, что даст нам один из самых просторных номеров в отеле («Не задавай глупых вопросов», — ответил отец). Невозможно постичь, каким образом в полной темноте истинный объем комнаты становился почти осязаемым, хотя я начинал уже различать силуэт фрау Марты, все волочившей за собой по фиолетовому ковру круг света и дотянувшей его с резкими попятными и поперечными рывками до ножки кровати (а кровать находилась в нескольких метрах от двери, комната была огромная, в ней могли спать пять человек, и англичанке, наверное, было очень странно жить в этом подобии амбара с двумя большущими окнами, которые мало-помалу побеждали темноту и начинали проступать на задней стене), где он на миг замер, а потом, как золотистый паук, стал взбираться вверх по розовому стеганому одеялу (разве могло оно быть другого цвета, о England, my England? <sup>1</sup>) и притаился рядом с лежавшей на одеяле рукой и рукавом розовой пижамы (England, my own! <sup>2</sup>), не решаясь сделать большой скачок на край подушки и поползти по ней миллиметр за миллиметром, а меж тем желудок у меня совсем свело и под мышками струился пот, и вот круг замер на пряди белокурых волос, пряди, свисавшей и слегка покачивавшейся, хотя нет, не могла она покачиваться, но светящийся круг упрямо колыхался на висящей в воздухе пряди, и если прядь покачивалась, значит, голова-то не лежала на подушке, значит, если бы круг света наконец решился и сделал небольшой победный скачок на лицо спящей, неизбежно оказалось бы, что глаза на этом лице широко раскрыты, что спящая вовсе не спит, а сидит, положив руки на одеяло, сидит в своей розовой пижаме, широко раскрыв немигающие глаза, ожидая, когда свет ударит ей прямо в лицо.

— Да ты уже клюешь носом от усталости, — сказала Элен. — Пошли ложиться.

<sup>1</sup> Англия, моя Англия (англ.).

<sup>2</sup> Англия моя родная! (англ.)

— Да, доктор. Разреши мне еще немного посидеть, мне так нравится у тебя, здесь такое освещение.

— Как хочешь, а я иду спать.

Селия потянулась в кресле, заломила руки, не соглашаясь с тем, чтобы наступил конец этому вечеру, когда во всем, даже в движении тянущихся кверху рук или в том, как гасишь сигарету в пепельнице, было какое-то совершенство, и хотелось, чтобы оно длилось вечно. Зачем кончаются такие часы? — подумала она, зевая. Сон нежными мурашками уже щекотал ей веки, и это сонное состояние тоже было частью блаженства.

— Вымой, пожалуйста, чашки, прежде чем ляжешь, — сказал голос Элен из спальни. — Тебе одну подушку или две?

Селия отнесла чашки на кухню, вымыла их и убрала, стараясь хорошенько запомнить, где что должно стоять. Запах зубной пасты Элен, поющий голос, доносившийся с улицы, глубокая тишина, усталость. На одном из кресел сидела кукла, Селия взяла ее, покружилась с нею на руках и вошла в спальню, где Элен уже лежала и листала журнал. Все еще пританцовывая, Селия раздела куклу, уложила ее на табурет рядом с дверью, накрыла зеленой салфеткой и, тихонько напевая, стала укутывать. Немного смущенная, она деланно, для Элен, хихикала, однако укладывание куклы было не только игрой; достаточно было взглянуть на ее рот, когда Селия склонялась, чтобы поправить зеленую салфетку, — в ее руках и в складке губ была серьезность девочки, царящей в своем мире, девочки, которая после вечернего туалета вышла из ванной и, прежде чем раздеться, обращается на миг к чему-то, что принадлежит только ей, чего не могут отнять никакие сколопендры. В конце концов я закрыла журнал, было ясно, что усталость не даст заснуть, и я все смотрела на Селию, которая расправляла складки импровизированного одеяла и причесывала куклу, разглаживая ее локоны на подушке, сделанной из полотенца. Свет ночников не достигал до Селии и куклы, я видела их как бы в тумане своей усталости, но вот Селия вышла из полутени, достала свою смятую и, пожалуй, не очень чистую пижаму, положила ее на край постели и, в последний раз приласкав куклу, словно бы задумалась.

— Я тоже умиралась. Я рада, да, рада, что ушла из дому, но, знаешь, тут внутри... — она потрогала рукою где-то в области желудка и улыбнулась. — Завтра, конечно,



надо начинать что-то искать. А мне в этот вечер не хочется, чтобы было завтра, это в первый раз... Здесь так хорошо, я могла бы здесь остаться навсегда. О, ты не думай,— быстро добавила она, глянув с испугом.— Я вовсе не намекаю, что... Я хочу сказать...

— Ложись и не болтай глупостей,— сказала я, бросая журнал и поворачиваясь на другой бок. Мне показалось, я слышу, как она молчит, чувствую в воздухе легкий холодок, бодрящее напряжение, как бывает в клинике, в операционных, когда чья-то рука, помедлив, начинает расстегивать брюки или блузку.

— О, можешь смотреть,— сказала Селия.— Почему ты отвернулась? Мы тут обе женщины...

— Ложись,— повторила я.— Не мешай мне спать или по крайней мере лежать спокойно.

— Ты приняла снотворное?

— Да, оно наверняка уже начинает действовать, и ты тоже прими. Белая коробочка в шкафчике над умывальником. Только не больше чем полтаблетки, не надо тебе привыкать.

— О, я буду спать,— сказала Селия.— А если не сразу усну... Элен, ты не рассердишься, если я еще немножко поговорю, ну совсем немножечко. У меня столько всего накопилось. Да, я эгоистка, у тебя такие переживания, а я...

— Хватит,— сказала я,— оставь меня в покое. Если хочешь читать, ты знаешь, где книги. Желаю райских снов.

— Да, Элен,— сказала девочка, любящая сыр «беби-бел», и наступила глубокая тишина, и кровать поддалась под тяжестью ее тела, и одновременно погас ночник с ее стороны. Я закрыла глаза, слишком хорошо зная, что не засну, что снотворное в лучшем случае развяжет петлю, сжимавшую мне горло то сильнее, то послабей, то опять сильнее. Прошло, наверно, немало времени, я чувствовала, что Селия, тоже повернувшись ко мне спиной, тихонько плачет, и тут улочка внезапно сделала поворот, и, выйдя на угол, где теснились старые каменные дома, я оказалась на площади с трамваями. Я, кажется, еще сделала усилие, чтобы вернуться к Селии, участливо заговорить, успокоить ее — ведь слезы ее были просто от усталости и ребяческой глупости,— но надо было смотреть в оба, так как трамваи двигались с разных концов огромной площади и рельсы неожиданно скрещивались на голой эспланаде, вымощенной розоватыми плитами, и, кроме того, я четко

сознавала, что должна как можно быстрее пересечь эспланаду и искать улицу Двадцать Четвертого Ноября, теперь уже не было ни малейшего сомнения, что свидание назначено на этой улице, хотя я о ней прежде никогда не думала, причем я понимала, что добраться до улицы Двадцать Четвертого Ноября можно только на одном из бесчисленных трамваев, которые сновали туда-сюда, как игрушечные трамвайчики в детском аттракционе, проезжая без остановки один мимо другого, мелькая охряными, облупленными боками и искрившими дугами и беспрестанно звоня, бог весть почему и зачем, а в окнах виднелись пустые, усталые лица, причем все они упорно смотрели вниз, будто ища какую-нибудь собаку, затерявшуюся среди розоватых плит.

— Простите, доктор,— сказала Селия, глотая слюны, как маленькая, и утирая нос рукавом пижамы.— Я просто дура, мне с тобой так чудно, но тут я ничего не могу поделать, это всегда так, ну, будто какое-то растение вдруг выросло и лезет у меня из глаз и из носа, особенно из носа, я идиотка, ты должна меня избить. Я больше не буду тебе мешать, Элен, прости меня.

Элен, облокотясь на подушку, приподнялась, включила ночник и повернулась к Селии, чтобы вытереть ей глаза уголком простыни. Она на Селию почти не смотрела, чувствуя, что та охвачена бессловесным стыдом, и разгладила скомканный угол простыни со смутно мелькнувшей мыслью, что дурацкий ритуал в точности повторяется — девочка с торжественной тщательностью укладывает свою куклу, затем хочет, чтобы уложили ее самое, и ждет, чтобы с нею проделали то же: пригладили локоны на подушке, подтянули одеяльце к шее. А где-то позади, в каком-то ином месте, которое не было ни площадью с трамваями, ни этой кроватью, где Селия закрыла глаза и с последним гаснущим вскриком глубоко вздохнула, происходило или уже произошло нечто чудовищно похожее — в подвале клиники кто-то подтянул белый холст к подбородку мертвого юноши, и кукла Телль была Селией, а Селия — мертвым юношей, и это я определяла и совершала все три обряда, в судорожном напряжении и одновременно уже отключаясь, потому что снотворное увлекло меня куда-то вниз, в легкую полудрему, в которой кто-то — это была еще я, и я следила за своими мыслями — спрашивал себя: кем, однако, была послана кукла, и все менее возможным казалось, что послала ее

Телль, хотя нет, это могла сделать Телль, но не сама по себе, не по своему почину, а по подсказке Хуана, который однажды перед сном, будто в шутку, в той легкомысленной манере, которая была ему присуща, но также была нарочитой, усвоенной в кабинах переводчиков, в международных барах или у операционных столов, возможно, сказал: «Тебе следовало бы подарить эту куклу Элен», подтягивая простыню к подбородку перед тем, как заснуть, и Телль, наверно, посмотрела на него с удивлением и даже с досадой, хотя такие вещи ее мало интересовали, а потом, пожалуй, она подумала, что мысль недурная, потому что абсурдное почти никогда не бывает дурным, и что я, верно, буду забавно озадачена, когда вскрою посылку и обнаружу куклу, которая мне абсолютно ни к чему, как и подарившей мне ее Телль.

— Ну, довольно хлюпать, — возмутилась Элен. — Я га-шу свет, сейчас будем спать.

— Да, — сказала Селия, закрывая глаза и покорно улыбаясь. — Да, доктор, сейчас мы будем спать, эта кровать такая чудная.

Ей-то уснуть нетрудно, ее голос уже звучит полусонно, но моя рука, нажав на выключатель, повторила жест с какой-то другой картины, и напрасно я закрываю в темноте глаза и стараюсь расслабиться, все эта дурацкая мания объявлять о своих действиях: сейчас я погашу свет, сейчас мы будем спать — точное повторение профессиональной предусмотрительности и аккуратности — сестра слева от пациента и чуть позади, чтобы не быть перед его глазами, нащупать вену на руке, протереть ваткой со спиртом и потом сказать ласково, почти легкомысленно, как, наверно, Хуан говорил Телль, сказать: «Сейчас я вас уколю», чтобы пациент знал, был предупрежден и не реагировал на острую боль резким рывком, от которого может согнуться игла. Сейчас я погашу свет, сейчас я вас уколю, сейчас мы будем спать, бедный мальчик, он так похож на Хуана, который дарит кукол через подставное лицо, бедный мальчик, он так доверчиво улыбнулся, так мило сказал «до свиданья», с уверенностью, что все будет хорошо, что они могут гасить свет, что он проснется исцеленный, на другом берегу тяжкого сна. Наверно, его уже вскрыли, как вскрывают куклу, чтобы посмотреть, что у нее внутри, и это гладкое, красивое, голое тело, которое, как стебель, завершалось ясным цветком голоса, сказавшего с благодарностью «до свиданья», теперь подобно ужас-

ной сине-красно-черной анатомической таблице, которую поспешно прикрыл санитар и, быть может, подтянул белую простыню к подбородку из сострадания к ожидающим в коридоре родным и друзьям, начало ловкого обмана, первый, временный и непрочный белый одр, подушечка под затылок, торжественное освещение в палате, где, наверно, уже плачут в голос родители, где приятели по кафе и по работе переглядываются, не в силах поверить, близкие к истерическому взрыву хохота, чувствуя себя тоже голыми и вскрытыми, как покойник под белым полотном, и наконец они тоже говорят, говорят друг другу, говорят ему «до свиданья» и уходят выпить коньяку или одиноко поплакать где-нибудь в уборной, стыдясь, и дрожа, и затягиваясь сигаретой.

Селия в темноте глубоко вздохнула, и Элен услышала, как она с ленивой непринужденностью кошки потянулась. Легкий сон, хорошая девочка отправляется спать без вопросов. И пяти минут не прошло, как она уснула, поиграв с куклой и поплавав; казалось невозможным, чтобы сон был здесь, так близко от Элен, которая медленно поворачивалась к Селии, смутно различая пряди волос на подушке, очертания чуть согнутой руки; нет, невозможно, что сон вселился в одно тело, тогда как в другом было лишь горькое, терпкое бдение, одинокая усталость, пакет, перевязанный желтой тесемкой и становящийся все тяжелее, хотя она положила его себе на колени, сидя в трамвае, скрежещущем идвигающемся, будто по волнам, в чем-то непонятном, где тишина была одновременно и скрежетом, где они совмещались, как совмещалось покорное сидение на скамейке трамвая со стремлением скорей прийти на улицу Двадцать Четвертого Ноября, где ее ждут, на улице с уже виденными когда-то высокими глинобитными оградами, за которыми, кажется, склады или трамвайные депо, и всюду уйма трамваев — и на улицах, и на этих пустырях за высокими оградами, а в оградах ворота из ржавого железа, и к ним подходят и под ними исчезают рельсы, и вот скоро надо будет выходить с пакетом из трамвая и пойти (но это еще не Двадцать Четвертое Ноября) по боковой улице странно загородного вида, хотя она в центре города, по улице с пучками травы между брусчаткой, с тротуарами намного выше мостовой, по которой бродят тощие собаки и изредка равнодушные чужие люди, и, оказавшись на тротуаре, надо идти осторожно, чтобы не оступиться и не свалиться на мостовую, где груды ржа-

вых обручей, и пучки травы, и тощие собаки, вылизывающие себе бока с клочковатой шерстью. Но ей не удастся попасть на свидание, потому что она опять слышит прерывистое дыхание Селии и, открыв глаза во внезапно наступившей темноте, слышит ее посапывание и уже не может решить — идти ли дальше или остаться здесь, рядом с Селией, которая дышит так, будто в глубине ее сна еще притаился остаток плача. Может, и я в конце концов усну, подумала Элен с благодарностью, глупо, конечно, но уютная близость Селии успокаивала, и хотя непривычная покатошь матраца под тяжестью Селии создавала неудобство, мешала растянуться по диагонали, чтобы найти более прохладное место на простыне, и приходилось отодвигаться на край, а то еще скатишься на середину, где столкнешься с Селией и, возможно, пробудишь девочку от сна, полног гневных родителей или югославских пляжей,— все это ничуть не пробуждало в ней всегдашнего желания наводить порядок, отвергать всякое нарушение своих привычек. Она с иронией подумала о Хуане, о том, как недоверчиво бы он глядел, окажись он здесь, рядом с кроватью или в каком-нибудь другом углу комнаты, как он стоял бы и покорно ждал, что она, как всегда, отдаст кесарю кесарево, и вдруг обнаружил бы, что почему-то на сей раз все тихо и что она как бы умиротворена и безропотно примирилась с вторжением Селии в ее дом и в ее ночь. Бедный Хуан, далекий, горький друг, все это могло бы каким-то образом быть для него, окажись он здесь, у кровати, в темноте, в который раз ожидая ответа, теперь звучавшего слишком поздно и ни для кого. «Надо было тебе самому приехать, а не посылать мне куклу»,— подумала Элен. Все еще с открытыми в темноте глазами она улыбалась образу отсутствующего, как улыбнулась юноше, прежде чем согнуть его руку и нащупать вену, но ее улыбке ни один из двоих не мог увидеть — один, голый, с застывшим профилем, другой в Вене, посылающий ей кукол.

Время от времени ей вспоминались слова песни, которую Калак напевал, мурлыкал и насвистывал, какое-то танго, где говорилось о том, как, желая спасти любовь, ее губят, что-то в этом духе, что в любезно сделанном Калаком переводе, наверно, наполовину теряло свой смысл. Позже Николь подумала, что надо попросить его

повторить ей эти слова, но после появления Гарольда Гарольдсона и удаления портрета доктора Лайсонса они как раз выходили из музея, и Марраст без умолку говорил, требуя подробностей происшедшего, а потом Калак, насвистывая это танго, ушел в моросящий дождь, и Марраст повел ее в паб выпить портвейна, а вечером — еще и в кино. Лишь несколько дней спустя, рассеянно глядя по голове спавшего рядом с ней Остина, она подумала, что с некоторым правом могла бы применить к себе слова танго, и чуть не рассмеялась — по-французски все танго звучат немного смешно и приводят на ум старинные фотографии смуглых красавцев с черными, как у жуков, головами, и так же смешно было, что рядом с нею спит Остин и что именно Марраст обучил его тем несколькими фразами, которые он, путая акценты, с трудом ей высказал, пока держал ее в объятиях.

Да, можно сказать, что между Остином и гномами невелика разница; когда я смотрю, как он спит, и глажу его волосы — на мой вкус, слишком длинные, викинг-подросток, девственник, — то, вспоминая его отчаянную неопытность, его неловкость и нелепую заботливость, я чувствую себя старой, матерински настроенной развратницей. Отче, я каюсь в том, что совратила юношу / А кто ты такая? / Отче, сосед мой, я недовольная, *mi chiamano così / Ma il tuo nome, figliola / Il mio nome e Nicole / Ahimé, Chalchiuhtotolin abbia misericordia di te, perdoni i tuoi peccati e ti conduca alla vita eterna / Confesso a te, paredro mio, che ho peccato molto, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa / Va bene, lascia perdere, andate in pace, Nicole. Visto: se ne permette la stampa*<sup>1</sup>. / Но кто такой Чальчукакеготам? / Это бог тьмы, вечный разрушитель, чей образ является лишь в крови жертв, в бесценной влаге, какой становится кровь на жертвенном камне. Он воплощение женщин, ставших жертвами и обожествленных, в отличие от принесших себя в жертву воинов / Но я, отче, вовсе не жертва, я не хочу быть жертвой, это я нанесла первый удар, сосед мой, я поспешила ударить, я без зазрения совести гублю свою любовь, а остальное пусть

---

<sup>1</sup> Так меня зовут / Но как твое имя, дочурка? / Мое имя Николь / Увы, да смилуется над тобою Чальчухтотолин, да простит он твои грехи и приведет тебя к жизни вечной / Признаюсь тебе, мой сосед, что я очень много грешила, в том моя вина, моя вина, великая моя вина / Ничего, забудь это, ступайте с миром, Николь. Просмотрено: разрешается печатать (*итал.*).

тебе споеет Калак, он это знает на своем языке. А насчет того, что *se ne permette la stampa*, — это грубый ляпсус моего соседа, он, видите ли, не очень силен в наречии, которым заблагодарасудилось изъясняться недовольной, когда среди прочих кошмаров ей грезился этот литургический эпизод. Но зато ей не снился «Марки-Клуб» на Уорддор-стрит, клуб со старомодным джазом, и мрачный, и без спиртного, там молодежь сидела на полу, чтобы лучше слушать соло старика Бена Вебстера, который в Лондоне проездом, и Марраст уже загодя наклюкался, зная, что в «Марки» будет самое большое чай да фруктовые соки, и Остин за яичницей с ветчиной и двумя стаканами молока толковал о Кропоткине, если не о Потемкине — с его франко-английским не всегда разберешь. И в какую-то минуту, между «Take a train»<sup>1</sup> и «Body and soul»<sup>2</sup>, Николь вспомнила слова танго, как повторял их под дождем Калак для нее, только для нее, устав ее жалеть, предлагать карамельки через окно вагона, в который она не сядет; она осторожно коснулась руки Остина, сидевшего между нею и Маррастом на скамейке, которая из-за стоявших вокруг людей казалась темной траншеей, улыбнулась ему, *per mia grandissima colpa*, да, недовольная тронула руку Остина-викинга, улыбнулась смущенному и жаждущему Парсифалю, о, *der Reine, der Tog*<sup>3</sup>, и тут Остин вмиг проглотил все ступеньки эпизода с одесской лестницей (а все же речь шла о «Потемкине»), и его адамово яблоко только разок дернулось, прежде чем он стал робко удостоверяться, что рука, играющая его рукой, принадлежит подруге его учителя французского, которого укачали «Body and soul» и предусмотрительно принятые стаканы красного вина, и тут их руки, вроде тарантулов-лунатиков, отправились на прогулку по кожаной обивке скамейки, то сплетаясь, то разбегаясь врозь, то указательный к большому, то четыре пальца к трем, то влажная ладонь на волосатую тыльную сторону ладони, *per mia colpa*, и Остин опять судорожно проглотил русско-японскую войну или что-то в этом роде, пока с опаской не убедился, что Марраст поглощен, и отсутствует, и полностью с Беном Вебстером, и тогда он ткнулся в шею Николь первым легким поцелуем явно сыновнего свойства.

---

<sup>1</sup> «Сядь в поезд» (англ.).

<sup>2</sup> «Тело и душа» (англ.).

<sup>3</sup> Чистый, глупый (нем.).

Visto, se ne permette la stampa, пойдём отсюда, здесь слишком жарко, и иронический страх, что Парсифаль может в последний момент спросить: «What about him?»<sup>1</sup>, дивная уличная прохлада, первый поцелуй в подъезде, украшенном рекламами импортных швейцарских игрушек с гарантией, квартира Остина, тут на цыпочках, хотя м-с Джонс спала в другом конце пансиона. Нет, Остин, не надо так, еще нет, я только чтобы тебя спасти, andate in pace. Это действительно в первый раз, Остин? Well, not exactly, but you see...<sup>2</sup> Не имеет значения, детка, одним гномом больше, одним меньше, тут тоже есть своя прелесть, если закрыть глаза, и видеть другое лицо, и чувствовать другие руки, и отдаваться другим губам. Chalchihotolin abbia misericordia dite, бог тьмы, бесценная влага, всесильный разрушитель.

Никто не мог бы объяснить, почему она постепенно отвлеклась от чтения романа и стала разглядывать со всех сторон подаренную Хуаном куклу, думая о его причудах, о том, что и ему иногда нравится рассматривать ее со всех сторон, как куклу, и спрашивая себя, какая из причуд месье Окса ждет своего часа в этом набитом паклей, небольшом, округлом животике, а может, там ничего и нет, может, Хуан просто забавы ради рассказал ей в тот вечер выдуманную историю в поезде, шедшем в Кале. Да еще гнетущая тишина в комнате Владислава Болеславского и липкий, унижительный страх мало-помалу одолевали Телль и заставили ее быстро одеться, выйти через двустворчатую дверь — сперва испуганно поглядев в глазок, — подняться по исторической лестнице и пробежать по темному коридору до первой полуоткрытой двери, за которой уже ничто не могло ей помешать судорожно уцепиться за Хуана и с внезапной и неуместной радостью обнаружить, что Хуан тоже дрожит и что первой его реакцией, когда он почувствовал руки Телль у своего лица, было сделать боковой выпад левой, который лишь ангелу-хранителю всякого скандинава удалось превратить в дружеское объятие и в поворот вдвоем синхронно с движениями фрау Марты, которая начинала обходить кровать, не переставая светить в лицо юной англичанке, а та с рас-

---

<sup>1</sup> А как с ним быть? (англ.)

<sup>2</sup> Собственно, не совсем, но знаете... (англ.)



крытыми, застывшими глазами словно не замечала медленного скольжения потайного фонаря. Телль едва не закричала, но рука Хуана заранее приблизилась к ее губам и прижалась к ним чем-то, что показалось ей пятью ледяными липкими пластырями, и Телль все поняла, и Хуан убрал пальцы, чтобы впитаться ими в плечо Телль, как бы внушая: я здесь, не бойся, что не слишком-то утешало Телль, когда сам Хуан так дрожал и когда она видела это замороженное лицо, вписанное в желтый круг и, будто с ожиданием, слегка улыбавшееся. Выходит, они опоздали, они это поняли без слов, и было бы просто нелепо кричать, включать свет и будоражить весь отель из-за чего-то уже совершившегося, что не станет опасней, хоть повторяйся оно сто раз, уж лучше стоять вот так, прижавшись к двери, и смотреть, в конце-то концов ради этого они переехали в «Гостиницу Венгерского Короля», ну, не совсем ради этого, но, если их благие намерения потерпели крах, что тут можно поделаться, к тому же у англичанки был такой спокойный и счастливый вид, она смотрела на приближавшуюся шаг за шагом фрау Марту, похожую, позади потайного фонаря, на сухой угловатый куст, в одной руке фонарь, другая тоже приподнята, и серый ореол волос, озаренный слабым лучом, видно просочившимся сквозь щель в жести — наверно, во всех потайных фонарях бывает щель в задней стенке, и фонарь Эршебет Батори тоже, наверно, смутно освещал черные графинины волосы, когда она приближалась к кровати, где связанная по рукам и ногам служаночка билась с кляпом во рту, в отличие от юной англичанки, хотя после первого посещения они все тоже ждали графиню вот так, все сидели в кровати уже без пут и кляпов, связанные другими, более глубокими узами с ночной гостьей, которая ставила фонарь на ночной столик так, чтобы он продолжал освещать профиль нешелохнувшей девушки и ее шею, которую рука фрау Марты принялась обнажать, медленно раздвигая кружевной воротничок розовой пижамы.

«А если мне ее разбудить,— подумала Элен,— если сказать ей об этом как о чем-то бесспорном, будто Хуан и вправду был здесь и я ему улыбнулась; если просто сказать: с тобой в этот дом пришел Хуан, или сказать: сегодня днем я в клинике убила Хуана, или, может быть, сказать: теперь я знаю, что настоящая кукла — это ты,

а не та маленькая слепая штуковина, которая спит на стуле, и тот, кто тебя прислал, он здесь, он пришел с тобой, неся под мышкой куклу, как я несла без конца пакет с желтой тесемкой, если ей сказать: он был голый и такой молодой, и я никогда еще не смотрела на плечи, на торс как на что-то иное, чем плечи и торс, я никогда не думала, что кто-то может быть так похож на Хуана,— наверно, потому, что не знала, каков из себя Хуан, если сказать: я завидую тебе, да, завидую, завидую твоему невинному, крепкому сну, твоей руке, которая легла на мою подушку, завидую, что ты можешь уйти из дому, воевать со сколопендрами, быть девственной и полной жизни для кого-то, кто придет к тебе по одной из дорог времени, завидую, что ты трепещешь, будто капля, на краю будущего, что ты такая сочная, такой свежий росток, такой выглядывающий на солнышко червячок. Если б я могла сказать тебе это, не разбудив, но каким-то образом проникнув тебе в душу, если прошептать тебе на ухо: бойся катаров. Если бы я могла взять у тебя чуточку твоей, такой обильной жизни, не повредив тебе, без пентотала, если б я была властна над тем вечным утром, в которое ты облечена, и могла перенести его туда, в подвал, где толпятся плачущие, недоумевающие люди, могла повторить то движение и сказать: сейчас я вас уколю, но боли не будет, и чтобы он открыл глаза и ощутил, как в вену входит тепло возвращения, тепло жизни, тогда я опять могла бы лечь с тобой рядом так, чтобы ты и не знала, что я уходила и что Хуан здесь в темноте, что непостижимый тихий ритуал сблизил нас с тобой в эту ночь, нас, бесконечно далеких, приведя друг к другу от грусти Хуана, от твоего ликования молодой кобылки, от моих ладоней, полных горя — но нет, возможно, в моих горстях уже нет горя, быть может, я спаслась, сама того не зная,— от причуды Телль, от куклы, которая и Телль, и Хуан, и, главное, ты, и тогда можно было бы спать, как спишь ты, как спит кукла в сделанной тобой постельке, и проснуться, чувствуя себя ближе к тебе, и к Хуану, и к миру, и начать примиряться или забывать, соглашаясь с тем, что молоко может убежать на огонь и в этом нет ничего страшного, что тарелки могут оставаться невымытыми до вечера, что можно не убирать постель и жить с мужчиной, который разбрасывает повсюду свое белье и выбивает трубку в кофейную чашку. Ах, но тогда этому юноше не надо было умереть так сегодня днем, зачем же сперва он, а потом ты, зачем он «до», а ты «после».

Как подумаешь, что вдруг бы можно было изменить порядок, уничтожить эту смерть, заковать ее, изгнать отсюда, из этого напрасного ожидания бессонницы, о, какая дурацкая чушь! Нет, Элен, будь верной себе, дочь моя, ничего не поделаешь, твои мечты о том, что жажда жизни, пробужденная в тебе девчонкой и ее куклой, может что-то изменить,— это пустые мечты, нет, знаки говорят ясно, кто-то умер сперва, жизнь и куклы пришли потом, но уже напрасно. Слышишь, как она дышит, слышишь этот другой мир, в который тебе уже нет доступа, слышишь кружение ее крови, которой не быть твоей кровью; чем ближе ты к этому умершему, похожему на Хуана, тем безнадежней; вот если бы изменился порядок, если бы он очнулся от обморока, чтобы исполнить обещанное, робкое свое «до свиданья», о, тогда, может быть, тогда кукла и девочка, любящая сыр «бебибел», возможно, были бы явлены в должном порядке, и я могла бы ждать Хуана, и все то, что мне сейчас видится по-другому, то, что можно иронически назвать «томлением», все это обернулось бы куклой в пакете, подлинной весточкой от Хуана, дыханием этой счастливой девчушки. Так значит, бреша не может быть, я должна идти дальше по пыльной дороге и снова чувствовать тяжесть пакета, режущего мне пальцы? Поговори со мной, Селия, во сне, в своем глупом, покорном забытии, скажи ты первое слово, скажи мне, что я ошибаюсь, как это говорили мне все столько раз, и я им верила, но, едва войдя к себе, снова впадала в свою профессиональную привычку или в свою гордыню, скажи мне, что Телль не совсем уж напрасно прислала мне куклу и что ты и впрямь тут, рядом, несмотря на ту немыслимую смерть под белыми лампами. Я не усну, нет, не усну всю ночь, я увижу первый луч зари в этом окне, свидетеля стольких бессонниц, и я пойму, что ничего не изменилось, что пощады нет. Бойся катаров, девочка, или сумей вырвать меня из этого болота. Но ты спишь, ты не ведаешь своей силы, тебе не узнать, как тяжела твоя рука, лежащая на моей подушке, тебе так и не узнать, что терпкий ужас этого дня и смерть в холодном свете ламп отступила на миг перед теплом твоего дыхания, перед этим телом, простершимся словно озерцо на солнечном песке. Не просыпайся, я хочу еще послушать, как наплывают и опадают маленькие волны твоего озера, позволь мне думать, что, если бы Хуан был здесь и смотрел на меня, тогда что-то, что было бы уже не мною, вырвалось бы из ложного бесконечного отчуж-

дения, чтобы протянуть к нему руки. Ах, знаю, это все обман, ночные химеры, но не шевелись, Селия, позволь мне еще раз попытаться изменить порядок: прощание, вонзающаяся в руку игла, пакет, столик в «Клюни», зависть, надежда, и еще то, другое, Селия, с чем, быть может, легче будет понять или совсем себя погубить, не шевелись, Селия, не просыпайся.

— Так значит, она уже?..

— Ну да, стоит посмотреть на ее глаза,— прошептал Хуан.— Не сумели мы уследить, а теперь уже поздно, как всегда бывает.

— Лучше об этом никому не рассказывать,— сказала Телль,— серьезные люди сочтут это бредом.

— Среди наших знакомых мало людей серьезных,— сказал Хуан, который ужасно быстро уставал, когда приходилось говорить сдавленным голосом.— Серьезные люди, как правило, узнают о таких вещах, читая газеты за завтраком. Но скажи, как может быть, что они нас не слышат?

— Просто мы говорим очень тихо,— блестяще нашлась Телль.— А то бы, конечно, в такой час и в той же комнате...

— Погоди, погоди,— сказал Хуан, пытаюсь установить связи, ускользавшие, как ниточки, которые, кажется, могли бы что-то связать, но вдруг куда-то исчезали, когда он, внезапно и смутно, начинал как будто понимать, почему фрау Марта не замечает их присутствия, почему дверь осталась полуоткрытой и Телль смогла так легко к нему подойти, почему юная англичанка не спала; и еще ночь в ресторане «Полидор», вдруг пронесшаяся вихрем по чему-то, что не назовешь памятью, была здесь, нарушая все законы времени, и казалось — сейчас все объяснится, хотя объяснение невозможно; и еще это поползновение к бегству, представлявшее тот факт (как иначе его назвать?), что губы фрау Марты еще не припали к горлу девушки и что следы преступления едва угадывались в двух крошечных багровых пятнышках, которые не отличишь от двух родинок,— чистейшим пустяком, конечно не заслуживающим быть причиной скандала или страха, которые легко подменило почти равнодушное непротивление, и оно также — Хуан это чувствовал, и бесполезно было бы это отрицать — было

одной из ниточек, которую он хотел бы связать с другими ниточками, чтобы наконец прийти к пониманию, к чему-то, имеющему облик и название, но в этот миг Тель стиснула его бицепс с резкостью стреляющего стартера, молниеносно взламывающего идеальную неподвижность, и вот струя воды обрушивается на кучку совершенно сухих людей, стоящих у бассейна. Проклятье, про себя выругался Хуан, понимая, что ему все равно не удалось бы связать отдельные ниточки, как не сумел он этого сделать в вечер ресторана «Полидор», что, как не раз уже бывало, он оказался обманут страстной надеждой и что рука Тель, сжимающая его бицепс, является как бы невольным оправданием теперь, когда все опять растворилось в пассивном приятии, не столь далеко от соучастия.

— Не дай ей укусить, — прошептала Тель. — Если только она укусит, я на нее кинусь и убью.

Хуан продолжал смотреть, ни на что другое не способный. Он чувствовал, как, прильнув к нему, дрожит Тель — его трепет вдруг передался ее телу. Он же вяло обнял ее за талию, прижал к себе. «Конечно, нельзя допустить, чтобы она укусила, — подумал он. — И хотя уже ничего не изменишь, это дело принципа». Несмотря на одолевшую его апатию, каждая подробность действия воспринималась с почти нестерпимой выпуклостью и четкостью, хотя восприятие это было лишено смысла, не будило совести; по сути, человеческой здесь была только дрожь Тель, ее страх при виде того, как фрау Марта медленно — словно чтобы продлить удовольствие — наклонилась и затем внезапным движением опустила руки к талии девушки и принялась тянуть вверх розовую пижаму, не встречая ни стыда, ни сопротивления, пока не обнажилась грудь, и тут девушка, будто этого лишь дожидалась, чтобы не утруждать себя зря, вскинула жестом танцовщицы вверх руки, и пижамная блузка была снята и упала на пол у кровати, напоминая комнатную собачку, свернувшуюся клубком у ног хозяйки.

— Не допусти этого, не допусти / Погоди, ты же видишь, она ей ничего не сделала / Но это ужасно, не дай ей / Погоди / Я не хочу, не хочу / Я думаю, а если... / Она сейчас ее укусит в грудь, не допусти до этого / Погоди / Хуан, ради бога / Говорю тебе, погоди, надо убедиться, что... / Но это ужасно, Хуан / Нет, ты смотри / Не хочу, говорю тебе, она ее укусит /

Смотри, ты же видишь, что нет / Укусит, укусит, она просто выжидает, потому что слышит нас, но она укусит / Нет, Телль, не укусит / Или сделает еще что похуже, не допусти этого / Я не допущу / Ну вот, вот сейчас, Хуан / Ну же, дорогая, минутку подожди еще, тут что-то не то, это чувствуется, не бойся, она ее не укусит, она ее раздела не для того, чтобы укусить, она сама уже не знает, для чего, гляди на нее, она как бы забыла, что должна сделать, она растерялась, гляди на нее, хорошенько гляди, видишь, она поднимает с полу пижаму и подает девушке, хочет помочь ей надеть, и это так же трудно, как одевать покойника. Почему бы тебе не помочь ей одеться, Телль? Женщины так ловко это делают, прикрой эти невинные грудки, ты же видишь, они нетронуты, нет, тут должно было произойти что-то совсем другое, фрау Марте вовсе не надо было снимать с нее пижаму, она пришла сюда, чтобы еще раз прокусить ей горло, а вместо этого... Нет, Телль, мы никогда не узнаем, да не дрожи так, порядок восстанавливается, сперва один рукав, потом другой. Ну ясно, дорогая, мы будем начеку, разумеется, горло все еще обнажено, и на нем два крошечных следа, но ты увидишь, она ее не укусит, все расстроилось, все пошло не так, возможно, из-за нас или из-за чего-то, что я, казалось, сейчас пойму, но нет, не понял.

— Девушка зашевелилась,— сказала Телль.

— Да, верно,— сказал Хуан.— Пока что можно с уверенностью сказать одно — сегодня она будет невредима.

— Она надевает халат.

— Голубой,— сказал Хуан.— Поверх розовой пижамы. Только англичанка способна на такое.

— Она сейчас выйдет через ту дверь,— сказала Телль.— Там, между двумя окнами, есть дверь, мы ее раньше не замечали.

— О да,— равнодушно согласился Хуан.— Фрау Марта пойдет за ней, а потом пойдём мы. О да, миссис, потом мы. Сама понимаешь, мы должны пойти вслед за ними, это единственное, что мы можем сделать.

Теперь они, пожалуй, уже не выслеживали, но просто сопровождали, англичанка и фрау Марта уныло шли вперед гуськом, а Хуан и Телль следовали за ними с той пассивностью, какую Хуан всегда меланхолично

отмечал, когда приходилось идти гуськом,— один за другим сменялись коридоры, еле освещенные на поворотах историческими лампами и желтым кругом потайного фонаря, как бы подметавшим каждую из ступенек, которые наконец вывели их на улицу с аркадами, где пахло сыростью. Под аркадами в этот час не было ни души, хотя, как помнилось Хуану, днем по улице не пройти из-за лотков и торговых рыбой. Он с трудом обернулся, посмотрел на Телль — понимает ли также она, что они в первый раз вместе в городе, но Телль глядела себе под ноги, словно мостовая не внушала ей доверия, и ни она, ни Хуан не смогли бы сказать, в какой миг потух потайной фонарь, уступая мутному розоватому свету, всегда озарявшему город ночью, а они тем временем миновали аркады и вышли на площадь, по которой двигались ранние трамваи с еще дремлющими пассажирами, едущими на работу, держа в руках свертки с едой, разбухшие портфели, ненужные в этой жаре и сырости пальто. Переходя площадь, надо было оглядываться вокруг, потому что трамваи подъезжали без шума и почти не останавливались, скрещиваясь и разъезжаясь через точно рассчитанные интервалы, и когда англичанка вошла в один из немногих вагонов, останавливавшихся в центре площади, и фрау Марта, вдруг всполошившись, побежала за ней, чтобы не потерять ее, и Хуан тоже побежал (но где же замешкалась Телль?), и люди, толпившиеся на задней площадке, неохотно пропускали его, не говоря ни слова, но пассивно сопротивляясь скоплением многих тел, свертков и пакетов, резкий толчок тронувшегося трамвая и преградившая путь безликая масса создали как бы новый регион, где то, что произошло в «Гостинице Венгерского Короля», имело меньше значения, чем необходимость пробиться вперед, чтобы найти англичанку, которая уже, наверно, где-то в передней части трамвая, и фрау Марту, которая, видимо, преодолела лишь небольшое расстояние, пробиваясь сквозь грозди полусонных тел, уцепившись за петли, старающихся продлить отдых перед началом работы.

Еще много времени спустя Селия предпочла бы думать и отчаянно спорить, что все это было как детская игра с закрытыми глазами, что-то вроде жмурок, когда натыкаешься на мебель и, продлевая иллюзию игры,

не хочешь соглашаться с тем, что это мебель; но нет, то было бы неправдой — по ту сторону век или по эту, все равно то, что происходит, происходит, утро наступало и в тебе самой, и вне тебя, на приснившемся озере или у бассейна солнце обжигало кожу (серые полосы на шторах венецианского окна становились все отчетливей, как и шум грузовиков и голоса первых прохожих), а в теле та же противная усталость, тот же остаток бесконечного плача, начавшегося в полной темноте, столько веков тому назад, где-то в другом мире, который оказался тем же самым миром, где сейчас минута за минутой утверждается день, вторник, семнадцатое июня. Ничего не осталось, ничто не началось, и эта пустота, это отрицание всего сливались в нечто единое, в какую-то огромную глыбу без поверхности и без граней, каменную пустоту, в которой не было места ни для чего, даже для плача, для судорожного глотанья слез.

Она ведь уснула, иначе как объяснить лицо ее отца, утирающего рот салфеткой, игры на озере или в бассейне. А сейчас засмотрелась на окно, устремляясь к светлевшему небу, потом очень медленно опустила одну ногу, за ней другую и села на край кровати. Халат валялся у ее ног, она подняла его и направилась к дверям ванной, ни разу не взглянув на Элен, уверенная, что та не спит и знает, что она хочет уйти, но не пошевелится. Она даже не очень старалась не шуметь — вода из душа брызнула на зеркало, кусок мыла ударился о край раковины, прежде чем упасть на резиновый коврик. Потом она включила свет в прихожей и занесла пустой чемодан в спальню, где Элен лежала, повернувшись спиной, будто желая облегчить ей сборы. Селия оделась, открыла стенной шкаф, сложила в чемодан одежду, книги, цветные карандаши. Чемодан был уложен плохо и с одной стороны не закрывался, Селия билась с ним понапрасну, почти не видя, что делает, так как полоса света из прихожей захватывала только шкаф и кровать, в конце концов она подняла чемодан, как он был, и понесла в гостиную. Сама не зная зачем, она прикрыла за собой дверь и тогда увидела куклу, лежавшую на табурете, головою к стене. Были ярко освещены ее голова и кудри, под зеленой салфеткой виднелись выпуклости туловища. Селия опустила чемодан на пол, кинулась к кукле, одним рывком сдернула салфетку и швырнула куклу на пол — та разбилась с резким, как взрыв, но



тут же заглохшим стуком. Неподвижно стоя в дверях, Селия посмотрела на Элен, в темноте почти неразличимую, и увидела, как та медленно поворачивается, словно шум и впрямь ее разбудил и она еще не понимает, в чем дело. Кукла сперва упала ничком, но от удара перевернулась на спину и теперь лежала, расколотая на две половинки и с вывихнутой ручкой. Поднимая чемодан и готовясь выйти, Селия увидела туловище куклы и что-то торчащее из разлома. Еще не понимая, она вскрикнула, крик этот был вызван не дошедшим до сознания, произвольным ужасом, за которым последовало паническое бегство, позади слышался голос Элен, тщетно ее окликавший, устремленный в пустоту, а Селия бегом спустилась по лестнице на улицу, пахнущую хлебом, кофе с молоком и утром в восемь тридцать.

В какую-то минуту мне надо было выходить, однако, как всегда в переполненных трамваях, было нелегко разглядеть или угадать, где тот перекресток, откуда мне предстоит еще идти пешком по улице Двадцать Четвертого Ноября; выйдя из трамвая, я, конечно, окажусь на улице с высокими тротуарами и пройду по ней до пустыря, где железные ворота и трамвайные депо, а потом будет улица и дом, где меня ждут, где я, быть может, смогу отдать пакет и отдохнуть от этой поездки среди людей, теснившихся и теснивших меня на каждом повороте, на каждой бесшумной остановке, завершавшейся резким звонком. Когда наконец, ушибаясь о сумки, и локти, и портфели, защищая резавший мне пальцы пакет, мне удалось выйти, то, едва ступив на площадку трамвайной остановки посреди широкой улицы, я поняла, что ошиблась и сошла то ли раньше, то ли позже того перекрестка, где следовало выходить; чувствуя себя как бы вытолкнутой из трамвая грудой тел, толпившихся на передней площадке, я смотрела, как он удаляется по улице, которая, казалось, все расширялась, не становясь, однако, площадью, справа от меня высился какой-то холм с остатками запущенного парка или просто участками голой земли, он торчал посреди города, похожий на курган, а за ним виднелись гараж и станция обслуживания с непременной блестящей лужей машинного масла,—идеальный антураж для того, чтобы почувствовать, что ты окончательно заблудилась с этим

пакетом и боишься опоздать, никогда уже не попасть туда, где тебя ждут. Где-то совсем далеко трамвай опять остановился после бесшумного движения по рельсам, во время которого Хуану, стиснутому скоплением тел и сумок, пришлось всячески исхитряться, чтобы вытащить двумя пальцами монету из глубины кармана, между тем как на задней площадке толстая женщина в фуражке, заломленной набекрень, протягивала руку между плеч пассажиров, и каждый с трудом доставал монету и передавал ее соседу, чтобы тот передал кондуктору, и было что-то вроде непрерывного курсирования монет и билетов, возвращавшихся через те же или через другие руки, пока их не схватывали вместе со сдачей, причем никто не протестовал, не ошибался и даже не считал монеты. Почти в тот же миг, когда он поднялся на заднюю площадку, Хуан увидел Элен на середине трамвая, и, возможно, он сумел бы пробраться к ней или хотя бы выйти на том же перекрестке, если бы в этот момент толстуха не потребовала заплатить за проезд, и Хуан, и те, кто стоял с ним рядом, были вынуждены помогать друг другу, передавая деньги, и билеты, и сдачу, из-за этого он замешкался и не успел пройти вперед, когда Элен, ни разу не оглянувшись, уже собиралась выходить, и Хуан потерял ее из виду, как если бы ее вытолкнула из его поля зрения плотная масса сгрудившихся тел. А когда ему тоже удалось выйти, уже гораздо дальше, перекресток был обычным перекрестком города, уходили вдаль торговые ряды и аркады, и где-то в глубине начинался новый город с домами-башнями и мерцающим блеском канала. Идти обратно, чтобы искать Элен, было невозможно — улицы сразу же стали раздваиваться и на каждой улице было по две, а то и по три трамвайных линии. Оставалось лишь прислониться к стене да выкурить горькую и короткую сигарету, как он уже курил когда-то в подъезде на парижской улице, и наконец спросить у первого встречного, где находится Домгассе, и поплестись обратно в гостиницу. Не слишком взбудораженная бессонной ночью, Тель, сидя возле кровати, читала роман.

— Я потеряла тебя из виду, как только мы вышли, — сказала Тель. — Решила, что лучше вернуться, было так жарко. Если хочешь помыться, вода еще теплая, хотя уже поздно и в отеле экономят. Какое у тебя лицо, бедный ты мой!

— Безумно тяжелые туфли,— сказал Хуан, растягиваясь на кровати.— Выпьем, о моя Лесбия, выпьем чего угодно, что есть под рукой. Спасибо.

Телль сняла с него туфли, помогла стащить сорочку и брюки. Полуголый, дыша с облегчением, Хуан встал, чтобы глотнуть виски. Телль уже опередила его на два стакана, и это было заметно по ее глазам, по особому выражению рта.

— Во всяком случае, нам больше не надо выслеживать,— сказала Телль.— Вот увидишь, с завтрашнего дня в тех двух комнатах будут жить другие люди.

— Мы этого не увидим,— сказал Хуан.— С третьим криком петуха мы возвращаемся в «Козерог».

— Вот и отлично. Там такой миленький бар и подают замечательный прозрачный бульон, не то по четвергам, не то по вторникам.

— А знаешь, кто был в трамвае? — спросил Хуан.

— А я не видела никакого трамвая,— сказала Телль.— Ты бежал как настоящий спортсмен, и я не стала тебя догонять, бежать по улице в сандалетах — это же самоубийство. Но если ты сел в трамвай, тогда, конечно, знаю. В трамваях нас всегда ждет наша судьба, это я узнала еще в Копенгагене, давным-давно. Ну и ты, естественно, потерял ее из виду.

— Иногда я спрашиваю себя, как это ты можешь соглашаться со всем, что я тебе говорю,— проворчал Хуан, протягивая ей стакан, чтобы она налила еще.

— Но ведь ты тоже мне веришь,— сказала Телль, как бы удивляясь.

— В общем, было как всегда,— сказал Хуан.— Какая тоска, милочка, какая гнусная тоска. Не правда ли, кажется невероятным? Уезжаешь так далеко, часами летишь в самолете через горные хребты, и вдруг в первом попавшемся трамвае...

— Ты упорно желаешь разделить неделимое,— сказала Телль.— Разве ты не знаешь, что трамваи — это и есть Немезида, разве ты их никогда не видел? Все они всегда один и тот же трамвай, только войдешь и сразу видишь, что все как всегда,— неважно какая линия, какой город или континент, какое лицо у кондуктора. Поэтому теперь все меньше трамваев,— блеснула остроумием Телль,— люди уже догадались и их уничтожают, это последние драконы, последние Горгоны.

— Ты очаровательно пьяна,— сказал Хуан умиляясь.

— И ты, ясное дело, должен был войти в трамвай, и она тоже. Диалог Эдипа и сфинкса поистине должен был происходить в трамвае. Где еще может оказаться Элен, как не на этой ничейной земле? Где ты мог ее встретить, как не в трамвае, бедный мой неудачник? Ну, для одной ночи предовольно, правда ведь?

Хуан привлек ее к себе и крепко обнял. Телль отчужденно и деликатно разрешила себя целовать. Горечь рта с утренним перегаром сливовицы, с привкусом виски, и отдельных номеров, и потайных фонарей, и англичанок, покоренных древним привидением, все тщетное желание без любви после рассвета с трамваями и невстречами; ну что ж, я еще раз подставила ему губы, разрешила его рукам раздеть меня донага, прижать к нему, начать меня ласкать в должном порядке, с божественной последовательностью, которая приведет к божественному мигу. Уже не в первый раз, когда его руки и губы начнут прогулку по моему телу, когда его взгляд медленно заскользит по моим грудям, животу или спине, я почувствую, что перед ним возникает образ другой, что он представляет меня, берет меня как другую, слишком хорошо зная, что я это знаю, и презирая себя. «Почему он подарил мне куклу месье Окса? — подумала я, засыпая.— Пошлю ее завтра Элен, этот подарок для нее предназначен. Мои игры другие, эта уже кончается, Телль, эта уже кончается. Вот ты и получила твою международную конференцию, твоё венское барокко, твоё кафе «Моцарт», твой дрянной фильм ужасов с фрау Мартой, твоего терзающегося, глупого аргентинца. *By the way*<sup>1</sup>, надо рассказать ему про письмо Марраста, заказать билет на самолет в Лондон. Какое счастье, что я не слишком люблю тебя, дружок, какое счастье, что я свободна, что я дарю тебе свое время и все, что тебе угодно, не придавая этому чрезмерного значения, и в трамвае нам не быть никогда, дружок, главное, в трамвае никогда, дурень ты мой бедненький».

Звонок телефона был как пощечина, прекращающая истерику, бесполезные вопросы, порыв бежать вдогонку за кем-то, кто уже далеко. Элен села на краю кровати и выслушала сообщение, нашаривая свободной рукой пижамную блузу и натягивая ее на дрожащие плечи.

---

<sup>1</sup> Кстати (англ.).

В десять пятнадцать надо быть в клинике, сменявшая ее коллега заболела. Хорошо, она вызовет такси. В десять пятнадцать, времени в обрез. Стараясь не думать, она накинула халат и пошла закрыть входную дверь. Надо помыться, вызвать такси, надеть серый костюм, с утра может быть прохладно. Вытираясь, она для надежности заказала такси по телефону и оделась, лишь бегло взглянув в зеркало. Уже поздно, нельзя терять время на уборку постели, уберет, когда вернется. Взяла сумочку, перчатки. Такси, наверно, уже ждет, а они долго не ждут, почти сразу уезжают. Войдя в гостиную, она увидела вблизи куклу, которая до тех пор светлела розовым пятном на полу, как что-то, о чем нельзя было думать до возвращения. Элен ухватилась за дверной косяк, почувствовала, что сейчас и она закричит, но нет, это — когда вернется, равно как грязные простыни, и беспорядок, и невытертый пол в ванной. Туловище куклы распалось надвое, было отчетливо видно все внутри. Такси не будет ждать, такси не будет ждать. Если не спуститься немедленно, такси не будет ждать, они никогда не ждут. Значит, так, в десять пятнадцать в клинике. И если сейчас же не спуститься, такси ждать не будет.

— Так что сама понимаешь,— писал Марраст в письме Телль,— для других в этом не будет ничего необычного

такое случается каждый день.

но я отказываюсь верить что это можно объяснить как возможно объяснила бы ты или Хуан или мой сосед перечисляя на пальцах левой руки все доводы а пальцами правой делая движение, напоминающее движение гильотины или веера.

Я не пытаюсь себе ничего объяснять, даже то, что я пишу это письмо в трех метрах от juke-box<sup>1</sup>; признаться, я предполагаю, что пишу его Хуану, предвидя, что ты дашь ему прочесть, это было бы логично, и справедливо, и самоочевидно, и я говорю с ним через твое плечо, которое чуть заслоняет мне его лицо. Я так противен себе, Телль, и мне так противен этот паб на Чансери-Лейн, где я пью уже пятый стакан виски, и пишу тебе, и теперь

---

<sup>1</sup> Музыкальный автомат (англ.).

вдруг подумал, что у меня даже нет вашего адреса. Но неважно, я всегда могу сделать из письма бумажный кораблик и бросить его в Темзу с моста Ватерлоо. Если оно до тебя дойдет, ты, конечно, вспомнишь Вивьен Ли и ту ночь в Менильмонтане<sup>1</sup>, когда ты со слезами говорила мне о своем друге-негре, который был у тебя в Дании и разбился в красной машине, а потом ты еще сильнее разрыдалась, вспомнив фильмы того времени и мост Ватерлоо. Право же, в ту ночь мы чуть-чуть не легли вместе, и мне кажется, мы вполне могли бы это сделать, и все бы тогда изменилось или вовсе не изменилось, и я, сидя в кафе где-нибудь в Братиславе или в Сан-Франциско, все равно писал бы это же письмо Николь, говоря о тебе и о ком-нибудь другом, кого бы уже не звали Остин, потому что... Телль, ну сколько комбинаций может быть в этой засаленной колоде, которую тип с рыбьей мордой тасует где-то за столиком в глубине?

Завтра я возвращаюсь в Париж, я должен делать статую, ты, верно, об этом знаешь. Ничего страшного, к сожалению, я быстро восстанавливаюсь; ты еще увидишь меня смеющимся, мы будем встречаться с моим соседом в «Клюни», и время от времени с Николь, и с Остином, и с аргентинцами, и даже может случиться, что ты и я когда-нибудь ляжем вместе просто от скуки

но не для того чтобы друг друга утешать, мне никогда и в голову не пришло бы, что ты могла бы утешаться от тоски по Хуану с кем-нибудь другим, хотя, конечно, ты это сделаешь, в конце концов мы все так поступаем, но это будет иначе, я хочу сказать, ты не сделаешь этого с умыслом, как человек, хлопающий дверью, как Николь. Заметь, если я думаю, что когда-нибудь карты колоды лягут так, что соединят нас в одной из постелей этого мира, я думаю об этом без задней мысли, а не из-за того, что со мною произошло или что может произойти у тебя с Хуаном

я думаю об этом, потому что мы друзья, и еще тогда, когда мы беседовали о Вивьен Ли в том

---

<sup>1</sup> Район Парижа.

кафе в Менильмонтане, еще тогда все вполне могло кончиться поцелуями, это всегда было и для тебя, и для меня так легко, да, мы легко целуем тех, кто нас не любит, потому что и сами-то себя не полюбили бы, думаю, тебе это понятно.

Я должен сделать тебе ужасное признание: сегодняшнее утро я провел в парке. Ты мне не веришь, ведь правда? Я — в окружении зелени и голубей. Тогда я еще не начал пить, и, наверно, было бы лучше писать тебе с блокнотом на коленях под каштаном, похожим на дурацкую страну птиц. Я ушел из отеля, стараясь не шуметь, потому что Николь еще спала, я заставил ее уснуть, понимаешь, было невыносимо продолжать разговор все о том, о чем уже столько говорено, и я заставил ее принять таблетки и ждал, пока она уснет, и еще постоял, глядя на нее, знаешь, Телль,— говорю это, потому что пьян,— мне кажется, Николь уснула, уверенная, что больше не проснется, ну, что-то в этом роде, понимаешь, и, прежде чем закрыть глаза, она посмотрела на меня говорящим взглядом, посмотрела с невыразимой предсмертной благодарностью, и я уверен, она думала, что я ее убью, как только она уснет, или что я уже начал ее убивать таблетками. Вот такая нелепость, и я стоял возле нее и говорил ей всякие слова, Николь, гусеничка моя, слушай меня хорошенько, мне все равно, спишь ты или притворяешься, бродишь, быть может, по городу или стараешься удержать слезинку, которая блестит на твоих ресницах, как первый иней, помнишь, блестел на обочинах провансальских шоссе, когда мы еще были счастливы. Видишь, Телль, как неумоимо тешится несчастье, воскрешая картины всего, что было тогда

ну просто становится невыносимо  
но, понимаешь, Николь спала и меня не слышала, и я не хотел, чтобы она страдала за двоих, за Хуана и за меня, из-за отсутствия Хуана и из-за того, что мои губы еще целовали ее, не имея на то права, целовали с той немислимой страстью, какую дает отсутствие права. И я говорил ей все это, потому что она меня не слышала, а до того, как она уснула, мы проговорили почти всю ночь, главное, чтобы убедить ее остаться в отеле, раз я уезжаю

во Францию и оставляю ей номер, но она настаивала на том, чтобы сразу же перебраться куда-нибудь, она, казалось, решила и во второй раз взять на себя инициативу, отрезать мне пути к отступлению, словно ей мало было моей тоски, моих idiotических усилий понять, хотя бы начать понимать весь этот бред — ты же не станешь отрицать, что все это не имело никакого смысла и что единственное возможное объяснение было таким же детским, как ее рисунки для буквы «Б» в энциклопедии, те самые, которые сохли на столе у окна, и Николь даже не пыталась это отрицать, только взглядывала на меня, и опускала голову, и без конца повторяла рассказ о том, что она сделала, и это было так наивно и глупо, и всякий, даже этот болван Остин, понял бы, что она сделала это с целью отдалить меня, заставить меня наконец ее возненавидеть, изгнать из моей памяти ее облик или заменить его чем-то грязным, все было так бесконечно глупо, что я мог бы схватить ее в объятия и уложить ничком и поиграть, как мы играли уже столько раз, награждая ее шлепками, прежде чем целовать, — так мы делали всегда, играя в шлепки, и, наверно, с тобою тоже такое бывало, это есть во всех руководствах, особенно в копенгагенских. Пойми, Телль, я же все время знал точно, что Остин для нее ничто и что единственный, кто ее интересуется, — это тот, кто будет читать поверх твоего плеча как поживаешь Хуан

и если бы она переспала с ним, я бы радовался за нее, я сидел бы пьяный под тем проклятым каштаном или в этом же пабе, и, право же, радовался бы за нее, и оставил бы ее в покое ради нее же, между тем как теперь, заметь, Телль, теперь я ухажу только ради себя, Телль, да, внезапно эта глупая история, это, так сказать, немотивированное деяние с одной лишь целью — разочаровать меня в обоих смыслах слова, этот idiotизм недовольной, желавшей доставить мне причину вескую и именно на моем уровне, чтобы уронить себя в моих глазах и заставить уехать, и главное, да, Телль, главное, предоставить мне благородную роль, взять вину на себя, чтобы моя совесть была спокойна, помочь мне выбраться из ямы и найти другой путь, внезапно



все это обернулось чем-то ею не предусмотренным, внезапно подействовало наоборот, внезапно запятнало ее во мне — уж не знаю, как бы это выразить, все проклятый juke-бокс и головная боль, от которой череп раскалывается,— да, запятнало, как будто она и впрямь спала с Остином, чтобы меня обмануть, понимаешь, или по какой-то причине предпочтя его, или безо всякой причины, кроме минутной прихоти или джаза Бена Вебстера,

повторяю, запятнало, будто она и вправду хотела меня обмануть, и я вот сейчас сознавал, что она шлюха, а я рогач и прочее, а это же не так, Телль, нет, не так, но тут в игру вступает обида, чего недовольная не могла предвидеть,— я убеждаюсь в том, что я заурядный человек, ничем не лучше других, вполне муж, хотя не женат, и я не могу ей простить, что она спала с Остином, хотя мне ясно, что она сделала это, не умея придумать ничего другого, и если б ты видела ее взгляд в последние дни, ее смущение, словно ее загнали в угол, если б ты видела меня, как я по-идиотски молчал или просто надеялся, как будто

можно было еще на что-то надеяться, когда, в общем, Телль, ничего другого она не могла придумать, чтобы я ушел со спокойной совестью человека, который прав, потому что его предали и он уходит и когда-нибудь он излечится

потому что он был прав, тогда как она

Итог двойной: непосредственный результат тот же, я возвращаюсь во Францию и так далее. Но, не будь я таким глупцом (и это второе), мне следовало бы увезти с собою ее всегдашний образ, воспоминание о глупенькой девочке, а я, напротив, чувствую ее в себе запятнанной, ее образ запятнан навсегда, но это не она запятнана, и я это знаю и не могу этому помешать, пятно во мне самом, ведь я не могу изгнать из своей крови то, что позволяет так трезво рассуждать, и напрасно я стану говорить: глупая девочка, бедняжка недовольная, Николь, гусеничка моя глупая, я чувствую ее грязной в своей крови, шлюхой в своей крови, и, возможно, она тоже это предвидела и на это шла

в конце концов

но тогда было бы замечательно, Телль, ты в самом

деле думаешь, она могла предвидеть, что я почувствую, что она шлюха, ты думаешь, она вправду? Заметь, я говорю: чувствую, о таких вещах не думают, это где-то там внизу или еще где, думаю: бедняжка, чувствую: шлюха, но тогда ад торжествует, она же не хотела этого, Телль, она только хотела разочаровать меня, зная, что сам уйти я не способен, просто узнать и оставить ее одну, а там статуя Верцингеторига, и другая жизнь, и другие женщины, что угодно, как было до красных домов. Ты полагаешь, она и впрямь думала, что я ее убью? Лицо такое бледное, лучшее у Бена Вебстера было «Body and soul», но они не слушали, с левой стороны шоссе, я должен был все это объяснить тебе,

Телль,

накануне вечером мы ходили в кино, мы ласкали друг друга так долго, так нежно. Ее руки, нет неправда

только мои руки

мои губы

она, вежливое ожидание, покорный ответ

только ответ

и мне было достаточно, Телль, достаточно

было достаточно и то было много

Это тоже неправда, ты же понимаешь, кто тут грязен,

Телль,

и она это знала и была неспособна лгать, не умеет лгать, она сразу же мне сказала, вошла в номер и сказала Мар я спала с Остином и начала складывать рисунки не глядя на меня и я понял что это правда и понял все и почему и кто виноват и опять увидел красные дома увидел Хуана увидел себя как блевотину на полу у кровати и в эту минуту еще было так как она себе воображала невинная истерзанная отчаявшаяся до предела

в эту минуту было ясно как кристалл ее отречение ее безмолвный плач пока она укладывала рисунки в папку

папку в чемодан одежду в чемодан желая уйти прямо сейчас

Телль

ее талия, мои руки на ее талии, вопросы, почему, почему, скажи почему, только скажи почему?

о, говорящая блевотина, жалкий дурень

бессонница таблетки ее бледное лицо этот паб  
каштан страх Верцингеториг  
Если бы я сейчас вернулся в отель я бы ее убил  
каштан загаженный птицами мне больно вот здесь,  
Телль, все вы женщины  
все шлюхи с птицами все шлюхи а я мужчина Телль  
оскорбленный но ее спасает ее пол я настоящий мужчина  
бедная моя шлюха бедная бедненькая шлюха  
мужчина спасен и его шлюха в нем  
мужчина потому что шлюха  
только поэтому  
и значит шлюха значит шлюха значит шлюха  
Верю потому что нелепо

Поланко был прав, но только наполовину: едва они уселись в лодку, двигатель дал такую скорость, что обычная техника управления пошла насмарку и судно достигло немыслимых рекордов, попутно вышвырнув Поланко, Калака и моего соседа на самый болотистый участок пруда.

Пройдя вброд полосу, где трудно было определить, что неприятней — то ли вода, губившая их обувь, то ли хлеставшие по рукам камыши, — потерпевшие крушение достигли острова на середине пруда и оттуда смогли должным образом оценить выразительность воплей и стенаний дочери Бонифаса Пертейля, оставленной на суше, пока мужчины испытывали лодку, и патетическими возгласами и жестами возвещавшей о своем намерении тотчас бежать за помощью.

— Она всегда так разговаривает, не придавайте значения, — скромно сказал Поланко. — А правда, двигатель потрясающий.

Поверхность острова составляла не более двух квадратных метров, по каковой причине мой сосед и Калак были далеки от того, чтобы разделять мореплавательский энтузиазм Поланко, хотя дела обстояли не так уж скверно — четыре часа дня, послеполуденное солнце и несколько «Житан», которые они без долгих слов закурили. Можно было также ожидать, что дочь Бонифаса Пертейля, кончив излагать свои планы спасения, приступит к их практическому осуществлению, на что потребуется время, ибо на пруду никакой другой лодки, кроме потерпевшей аварию, не было, однако ученики садоводческой школы могли бы, вероятно, соорудить из старых досок плот,

отвлекшись на часок от прививки садовых лютиков и петуний под руководством Бонифаса Пертейля. А покамест у потерпевших крушение было достаточно времени, чтобы высушить туфли и вспомнить лондонские деньки, а в особенности инспектора Каррузерса, фигуру совершенно нереальную в романском пейзаже Сены и Уазы, где с ними произошла катастрофа, зато идеально сочетавшаяся с запахом сырости в «Болтон-отеле» и в разных кафе, которые все они посещали до дня злосчастного появления инспектора. Калаку и Поланко на эту историю было наплевать, но мой сосед чувствовал себя оскорбленным вмешательством инспектора Каррузерса, что было для него необычно, ибо стоило кому-то из его друзей влипнуть в историю, как он почти всегда старался занять позицию равнодушного наблюдателя. В стиле, по подобию Калака, заимствованном, видимо, из какого-то кодекса майя, мой сосед снова и снова возвращался к тому моменту, когда инспектор Каррузерс постучал в дверь комнаты номер четырнадцать в «Болтон-отеле» на Бедфорд-авеню, где Остин занимался с Маррастом французским, а Поланко налаживал систему блоков в миниатюре с целью проверки, что лодка выдержит тяжесть двигателя сенокосилки, подарка, сделанного Бонифасом Пертейлем в минуту необъяснимого помрачения ума. Воспоминания моего соседа шли в таком порядке: некий тощий субъект, да, субъект в черном, тощий и с зонтиком. Инспектор Каррузерс был субъект с зонтиком, тощий и в черном. Как всегда, если стучат в дверь, лучше не открывать, потому что за дверью наверняка будет тощий субъект с зонтиком, инспектор Каррузерс в черном.

— Че, да ведь я тоже там был,— с досадой сказал Поланко.— А Калак, хоть и не был, знает на память все, что произошло. Побереги-ка глотку, братец.

— Меня поражает,— с невозмутимым видом продолжал мой сосед,— что Скотланд-Ярд облакает полномочиями субъекта, от которого разит плесенью и канцелярией, субъекта с зонтиком, тощего и одетого в черное, который вылупил на нас глаза, похожие на истертые пенни. Глаза инспектора Каррузерса были как истертые пенни, инспектор Каррузерс явился не затем, чтобы нас выслать, он никоим образом не мог бы нас выслать из страны. Тощим, одетым в черное субъектам приятнее, чтобы жильцы гостиниц добровольно покидали страну

в течение двух недель, они ходят в черном и с зонтиками, почти всегда их зовут Каррузерс, и от них разит плесенью и канцелярией, глаза как стертые пенни, они стучатся в комнаты отелей, предпочитая комнату номер четырнадцать. Они никого не высылают, они ходят в черном, им нравится, чтобы жильцы отеля уезжали из страны по собственному желанию. Всех их зовут Каррузерс, они тощие и стоят за дверью номера. А, ну тогда я ему сказал...

— Ты ему ни слова не сказал,— прервал его Калак.— Единственным, кто говорил, был Остин, по той простой причине, что он знает английский. Но и это мало помогло, как доказывает наше присутствие на сем скалистом утесе. Факт тот, что мы переезжаем с одного острова на другой, но каждый раз остров почему-то становится все меньше, надо говорить как есть.

— А Марраст на это — ни слова,— с обидой сказал Поланко.— В таких случаях, знаешь, человек идет навстречу, раскрывает объятия и, как у Достоевского, сознается, что это он испортил воздух. В конце концов Марраст сам уже решил тогда уехать, не говоря о том, что муниципалитет Аркейля тратил бешеные деньги на грозные телеграммы. А вы знаете, что глыба антрацита прибыла без предварительного извещения и тамошние эдилы чуть в обморок не упали, когда увидели ее величину?

— Величину суммы в накладной, you mean<sup>1</sup>,— сказал мой сосед.— Но в чем мог себя винить Марраст, скажите на милость? Невинная шутка, маленькая встряска закоснелого образа жизни м-ра Гарольда Гарольдсона. Заметь, что Скотланд-Ярд не мог против нас ничего выдвинуть, кроме панического, иначе говоря, метафизического и ноуменального страха. Они поняли, что мы способны совершить нечто покрупнее, что то был всего лишь эксперимент, вроде как у этого типа с его электробритвой. О братья, за дверью поэта всегда будет стоять инспектор Каррузерс. Да еще эта толстуха не появляется с плотом, и мы останемся без сигарет, а скоро солнце зайдет.

— Разведем костер,— предложил Поланко,— и соорудим флаг из сорочки Калака, у которого их навалом.

---

<sup>1</sup> Вы имеете в виду (англ.).

— В отличие от некоторых я чту гигиену,— сказал Калак.

— Я предпочитаю чувствовать сорочку на своем теле,— сказал Поланко,— это бодрит мою душу. Ну и история, че, все-то получилось хуже некуда. Даже мотор подвел, должен признать, что он слишком мощный для такого судна. Не поможете ли вы мне построить корабль, но потяжелее, ну что-нибудь вроде триремы? Дрожу при мысли, что толстухе в один прекрасный день вдруг захочется сесть в лодку, а на середине пруда, знаете, глубина почти полтора метра, с лихвой хватит ей, чтобы утонуть. А мне не хотелось бы терять эту работу, и с толстухой у нас все ладненько, хотя папаша — премерзкий чистоплюй.

— Что говорить,— сказал мой сосед,— вы, дон, вполне правы, дело хуже некуда, но никто не станет отрицать, что мы знатно развлекаемся.

В те сорок минут, что они провели на острове, размеры территории предоставляли им весьма скромные возможности передвижения — так, Поланко перешел на камень, где прежде сидел Калак, а этот предпочел устроиться в некоем подобии каменной воронки, послужившей первым прибежищем моему соседу, который теперь лежал на земле в этрусской позе, опершись на локоть. Как ни мало двигались все трое, они задевали друг друга туфлями, плечами и руками, и, поскольку остров высился в центре пруда подобно пьедесталу, наблюдатели на суше могли бы видеть щедрые толчки, пинки и прочие стратегические приемы, которыми каждый из потерпевших крушение старался увеличить свое жизненное пространство. Однако на берегу не было никого, кто бы мог за ними наблюдать, и Поланко, слишком хорошо зная дочь Бонифаса Пертейля, предполагал, что она носится как угорелая по плантациям тюльпанов в поисках учеников садоводческой школы, которые взяли бы составить спасательный отряд.

— В общем, мы правильно сделали, что уехали,— заявил мой сосед.— Невообразимое нашествие женщин, и все три, как водится, вконец сумасшедшие. Какого дьявола примчалась в Лондон Телль, скажите на милость? Вывалилась из самолета Люфтганзы с миной попавшейся на крючок рыбы, даже не верится, а что сказать о Селии, эта будто из морга сбежала, не говоря уж о той, третьей, ошалевшей от экзистенциалистского угара, с ее

гномами и манерой вываливать половину салата из своей тарелки мне на брюки, damn it.

— Твой английский явно усовершенствовался,— заметил Поланко, услышавший лишь конец фразы.

— А мы уже болтаем по-английски довольно бегло,— сказал Калак.— Говоришь, сумасшедшие? Однако надо признать, что наш образ жизни в Вест-Энде не дает тебе особых оснований быть спесивым, че, или горделивым, если тебе так приятней. Oh dear.

Так продолжали они беседовать на своем замечательном английском, пока Поланко, вдруг встревожась, не предложил произвести генеральную ревизию запасов сигарет и провианта. Уже несколько раз доносились до них крики с плантации садовых лютиков, где Бонифас Пертейль в этот день обучал прививкам по-румьнски, однако спасательный отряд не появлялся. Всего на троих оказалось двадцать семь сигарет, что было не так много, если учесть, что двенадцать сигарет намокли, а провианта не было вовсе. Два носовых платка, карманная расческа да перочинный нож составляли наличный инвентарь вместе с четырнадцатью коробками спичек, принадлежавшими Поланко, у которого была мания оптовых покупок. Предвидя, что спасательный отряд может замешкаться и что, возможно, вскоре изменится направление муссона, мой сосед предложил укрыть все припасы в своего рода нише, находившейся в нижней части скалистого конуса, и бросить жребий, дабы определить управляющего или главного кладовщика, чьей обязанностью будет строгое распределение припасов, необходимое в таких обстоятельствах.

— Считай, что назначен ты,— в один голос сказали Калак и Поланко, которые расположились с удобствами и не желали пошевелинуться или потрудиться ради общего блага.

— Мне это кажется в высшей степени неправильным,— сказал мой сосед,— но, коли на то пошло, я подчиняюсь воле большинства. Давайте сюда сигареты и спички. Эй ты, не забудь про перочинный нож. Что до наручных часов, пусть каждый оставит их при себе, их же надо заводить.

— Он мне напоминает капитана Кука,— сказал Калак с искренним восхищением.

— На Бугенвиле, че,— сказал Поланко.— Ишь ты, провел несколько недель за границей и уже совершенно

утратил патриотическое чувство. Ты живешь во Франции или не во Франции?

— Минуточку,— сказал Калак.— Раз уж ты ударился в национализм, так надо его сравнивать с нашими адмиралами, Брауном или Бучардом, но, сам видишь, это мало что меняет.

— Следовало бы учредить ночную стражу,— сказал мой сосед.— Допустим, толстуха будет организовывать спасательную команду еще целый месяц, что меня ничуть не удивило бы у такого толстокожего существа, или что им вздумается приплыть ночью, в таком случае полагается разжечь костер и спрашивать пароль.

— Что до толстокожести, то вы, дон, сами и есть носорог лохматый,— сказал оскорбленный Поланко.

— Требую уважения и дисциплины,— приказал мой сосед.— Вы назначили меня главным и теперь, как положено, помалкивайте.

Последовала горячая дискуссия о носорогах, аргентинских адмиралах, иерархии и на сопутствующие темы, временами прерываемая справедливым распределением сигарет и спичек. Прислонясь к пологому откосу каменной воронки, Калак слушал их краем уха и засыпал с меланхолическими мыслями о лондонских днях, последнее, что он увидел, было лицо Николь в окне парижского поезда, и еще ему подумалось о том, что было бы, кабы в музее запеть танго или начать беседу о пользе путешествий для гигиены ума. В конце-то концов, если ты искала верного средства, чтобы Марраст тебя бросил, почему же лютнист, Николь, когда рядом с тобой, на этом жутком музейном диване, сидел я? Я предлагал увезти тебя далеко-далеко, проветриться под другими небесами, ведь это ободряет, а ты ничего лучше не смогла придумать, как... О тщеславный, о обиженный, да это же яснее, чем ее ясные голубые глаза. Со мною это не было бы так легко, меня бы ты не устранила одним взмахом руки, как лютниста, ты бы снова связала себя с будущим на месяцы или годы, а тебе не хотелось нового будущего, такого же скверного, как и прежнее, нового Марраста, такого же терпеливого и покорного, как прежний, и, стало быть, Остин, муха-однодневка, предлог, чтобы и вправду остаться одинокой. Как будто ты предчувствовала, что, едва появится Селия с ее веснушчатой мордашкой, вся коллекция лютен заиграет неистовую пассакалью и сразу излечится от подростковых страхов, от долгих часов жи-



дания у входа в твой отель, от жалоб на плече у Поланко, от желания убить Марраста, не успев выучить глаголы на «ir». Не хватало еще мне... Да, брат, ты узнал жизнь, ты научился быть также другими, влезать в их шкуру, а ты, Николь, поступила правильно, чтобы не быть чем-то, хоть чем-нибудь обязанной мне, ведь тогда тебе снова пришлось бы страдать за всех, тебе, не желающей никому причинять зла. Довольно, что я, сам того не зная, подал тебе, крошка, идею, насвистав то миленькое танго... Уф, какая едкая сигарета, они, конечно, подсунули мне одну из самых промокших, да, эти двое стакнулись, и, когда настанет час каннибальства, надо мне их опередить.

Калак прикрыл глаза, отчасти потому, что уже засыпал, отчасти по разумной привычке всякого потерпевшего крушение докуривать сигарету до конца, не вынимая изо рта окурков, но также и потому, что в полутьме ему отчетливей виделось лицо Николь, после того как Телль ему позвонила, чтобы он помог им отвезти чемоданы на вокзал. Вот Николь пьет кофе без сахара в баре возле «Виктория Стейшн», Николь у окошка boat-train<sup>1</sup> («Nous irons à Paris toutes les deux»<sup>2</sup>, — пропела Телль, высунувшись из окна до пояса, к ужасу вокзальных служащих), Николь протягивает ему расслабленные пальцы правой руки, и они на минуту задерживаются в его ладони. «Вы все слишком добры», — сказала она, словно это имело какой-то смысл, а сумасшедшая датчанка сунула себе в рот горсть карамелек — Калак с меланхолическим злорадством привез-таки обещанные карамельки на вокзал, провожая Николь, но, разумеется, сумасшедшая датчанка съест их одна, а Николь закроет глаза и пропустит все английские пейзажи, прислонясь лбом к окошку, слушая будто издали доносящийся голос Телль, которая будет ей говорить о буре-вестниках и моржах. Итак, вот еще один пример того, что всякое вмешательство...

— В этом пруду бывают приливы! — вскричал мой сосед, одним прыжком став на ноги и указывая на промокший манжет штанины и льющуюся из туфли воду. — Вода прибывает, наши спички отсыреют.

Поланко был склонен думать, что мой сосед по нечаянности опустил ногу в воду, но для проверки все же положил камешек на край узехонькой прибрежной полосы,

---

<sup>1</sup> Железнодорожный паром (англ.).

<sup>2</sup> Мы вместе поедем в Париж (франц.).

и все трое, затаив дыхание, стали ждать. Вода почти сразу накрыла камень, а кстати и туфлю Калака, у которого одна нога свисала — так ему было удобней вспоминать Лондон и прочее, — и он, изрыгнув проклятие, кое-как примостился на самом верху воронки, край которой был довольно широким. С этого места он начал взывать к обитателям суши, следствия чего оказались противоречивы — на берегу, в том секторе, где кончались грядки черных тюльпанов, появилось несколько малолетних учеников, они остановились, с изумлением глядя на потерпевших крушение, а тем временем у клумб с садовыми лютиками показался ученик постарше, с волосатыми ногами, и, пока малыши оторопело и выжидающе усаживались на берегу пруда, он, упершись руками в бока, согнулся до земли в приступе такого отчаянного хохота, что можно было подумать, будто он плачет в голос, затем он сделал угрожающий жест в сторону малышей, и все они исчезли с той же быстротой, с какой появились.

— Ах, детство, хваленый возраст, — пробурчал Калак, предвидя тот миг, когда товарищи по несчастью начнут у него оспаривать каменную воронку, и опасаясь за свои брюки. — Ну конечно, твоя толстуха лопает салями в каком-нибудь углу, совершенно забыв о нашей репутации, черт подери. Лучше нам как-нибудь пройти до берега вброд, а там обсушиться в деревенском кафе, насколько я помню, у них есть ром, весьма рекомендуемый потерпевшим кораблекрушение.

— Ты с ума сошел, — возмущенно сказал Поланко. — Отсюда до берега по меньшей мере пять метров, не станешь же ты требовать, чтобы мы их прошли пешком. А гидры, а пиявки, а подводные ямы? Он, видно, думает, что я — капитан Кусто.

— Во всем виноваты вы, дон, — сказал мой сосед. — Нам так хорошо было среди цветов, и надо же было усложнять нам жизнь твоей чудо-турбиной. Вот и сидим посреди пруда с его грозными приливами, в жизни не слышал о подобном явлении. Надо бы послать сообщение в адмиралтейство, а вдруг нас за это вычеркнут из черного списка, и мы когда-нибудь сможем вернуться в этот паб на Чансери-Лейн, куда ходили с Маррастом.

— Мне что-то уже неохота возвращаться в Лондон, — сказал Калак.

— И ты прав, там такая сырость. Но, раз уж об этом заговорили, не кажется ли вам странным такое нашествие

женщин в наш фаланстер? Николь, эта еще куда ни шло, бедняжку можно даже не считать, мы ее почти не видели из-за ее гномов и прочих дел. Но вдруг появляются две другие, и не проходит и трех дней, как они и инспектор Каррузерс делают жизнь там невыносимой — одни своим приездом, другой тем, что хочет нас выдворить, — ну разве это жизнь?

— Если подумать, — сказал Поланко, — то Телль приехала очень кстати, она взяла на себя заботу о Николь и в своей обычной бурной манере вытащила ее из ямы. Ведь надо признать, что из нас никудышные baby-sitters, как говорят у нас в Челси.

— Согласен. Но что ты скажешь о другой? Ей-то за каким дьяволом понадобилось приезжать в Лондон? Это было точно как заговор, братья мои, они сыпались на нас со всех сторон, как собаки из космоса.

— О, Селия, это понятно, — равнодушно сказал мой сосед, — в ее возрасте легко ездить туда-сюда, она приехала не ради нас, а может, просто по привычке, приехала посоветоваться. Хорошо бы узнать, что с нею случилось, надо спросить у лютниста, уж он-то наверняка обо всем информирован. А теперь скажите: видите ли вы то, что я вижу, или это уже начались обычные в таких обстоятельствах галлюцинации?

— Такой бюст не может быть галлюцинацией, — сказал Калак. — Эта толстуха в своем платье-сафари смахивает на Стэнли.

— Ну, что я вам говорил? — просиял от восторга Поланко. — Моя Зезетта!

— Вы, дон, вместо того чтобы похвалиться интимными прозвищами, лучше бы крикнули ей, что вы доктор Ливингстон, пока она не передумала, — посоветовал мой сосед. — Че, глядите-ка, они тащат веревку и что-то вроде лохани, спасательная операция люкс. Help! Help! <sup>1</sup>

— Ты что, не соображаешь, она же английского не понимает, — сказал Поланко. — Глядите, какая самоотверженность, а вы-то способны на такое? Она привела всех учеников, я тронут.

— Дай-ка мне присесть на краю воронки, — кротко сказал мой сосед Калаку.

— Здесь место только для одного, — ответил Калак.

— У меня, видишь, уже носки мокнут.

---

<sup>1</sup> На помощь! На помощь! (англ.)

— А здесь ты можешь простудиться, я чувствую, ветер здесь сильнее.

Ситуация изменилась, и это, разумеется, вызвало оживленный обмен мнениями, а между тем на берегу дочь Бонифаса Пертейля в окружении учеников садоводческой школы заготовливала всяческие спасательные принадлежности и столь неумеренно суежилась, что это могло неблагоприятно сказаться на практических действиях. Отнюдь не собираясь мешать спасательным операциям, добавляя к континентальным распоряжениям советы с острова, наши друзья с деланным стоическим равнодушием продолжали беседовать о своих делах. Поланко для начала вскользь упомянул о решении, принятом всеми тремя после визита инспектора Каррузерса и состоявшем в том, чтобы не оставлять Селию в Лондоне одну — после более или менее внезапного отъезда Марраста, Николь и Телль проявлять солидарность было возможно только с ней. Когда ж они оправились от первого удивления, узнав, что к ним присоединяется Остин со своими скромными сбережениями и двумя лютнями — чему способствовали беглые робкие улыбки Селии и явное стремление Остина найти местечко в вагоне, где поместились бы лютни, Селия и он сам, — трое будущих мореплавателей поняли, что для умственного и нравственного здоровья группы не надо желать ничего лучшего, и они оказались правы — перемена, происшедшая в Остине между мостом в Челси и кафе в Дюнкерке, где они ожидали *ferry-boat*<sup>1</sup>, была столь явной, что одним лишь различием в климате и широтах ее никак нельзя было объяснить, не говоря уж о том, что и с Селией произошло подобное же явление, начиная со станции Оук-Ридж, семь минут спустя после отъезда из Лондона, причем это совпало с открытием, что Остин, прилежный ученик Марраста, начал столь красноречиво изъясняться по-французски, словно в его речах действительно был какой-то смысл. Итак, на *ferry-boat* они взошли в заметно улучшившемся расположении духа, и при первых приступах тошноты — то есть почти немедленно — Калак с неким умилением мог наблюдать, как Остин подвел Селию к борту, укутал ее в свой дождевик и какой-то миг поддержал ее лоб, затем утер платком ей нос и помог пожертвовать Нептуну выпитый на суше чай с лимоном. Утратив вместе с влагой всю свою волю, Селия разрешала

---

<sup>1</sup> Железнодорожный паром (англ.).

себя лелеять и выслушивала советы Остина касательно дыхания, причем он с каждым часом все лучше говорил по-французски, если только не переходил на английский, и тут Селии помогали подсознательные воспоминания об уроках в лицее. Как бы там ни было, воды треклятого канала отражали изумительное солнце, и оно ласково их озаряло, день был такой, что про всякую тошноту забудешь, вдали постепенно исчезали английские холмы, и, хотя ни Остин, ни Селия понятия не имели о том, что ждет их на другом берегу, становилось все очевиднее, что они намерены встретиться это вместе — Остин быстро превращался из Парсифаля в Галаада, а Селия, отдавая тритонам последние глотки чая, чувствовала опору в руке, удерживавшей ее по сю сторону поручней, и в голосе, сулившем ей на лучшие времена сюиты Бёрда и виланеллы Пёрселла.

— Только бы толстухе не вздумалось самой возглавить спасательную экспедицию,— шепнул мой сосед Калаку,— во-первых, тогда для нас на плоту не останется места, а во-вторых, она тут же у берега пойдет на дно, если только ступит на этот плот или что они там сооружают.

— Не думаю, что она настолько глупа,— задумчиво сказал Калак.— Трудность скорее будет в том, что все эти ребятишки хотят на плот, не говоря о том, что у плота этого ни носа нет, ни кормы, и ты увидишь, какая начнется сумятица.

Поланко с нежностью наблюдал за дочерью Бонифаса Пертейля и уже прокричал ей, чтобы она, воспользовавшись случаем, вывела на буксире застрявшую в камышах лодку. Калак между тем, подавленный всем происходящим и научным фанатизмом Поланко, попытался получше устроиться на краю воронки, который начал уже отпечатываться в его душе; достаточно было этой секундной рассеянности, чтобы мой сосед вскочил на край воронки и завладел лучшей его частью с видом прямо на плантации черных тюльпанов. Калак не стал отвоевывать оставленную позицию, ему, в общем, и так было неплохо, к тому же с брюк моего соседа струились ручьи, надо же иметь сочувствие. Вода прибывала неуклонно, и единственный, кто этого, казалось, не замечал, был Поланко, восхищенно наблюдавший за хлопотами дочери Бонифаса Пертейля. Он был подобен герою Виктора Гюго — вода поднялась до его ляжек, еще немного, и дойдет до пояса.

— Спасем по крайней мере запасы сигарет и спичек,—

сказал Калаку мой сосед.— Сомневаюсь, что наши моряки сумеют что-то сделать, пока что они только покатываются со смеху, глядя на наше бедственное положение. Сложим наши припасы на самом верху воронки; по моим расчетам, тебе и мне хватит на три дня плюс три ночи. А ему через полчаса вода дойдет до рта, бедный Поланко.

— Бедный братец,— сказал Калак, меж тем как Поланко смотрел на них с невыразимым презрением и потихоньку расслаблял себе пояс, который от действия воды становился туже. Вечернее солнце превращало пруд в большое сверкающее зеркало, и гипнотические свойства столь поэтического преобразования воды усыпляли потерпевших бедствие, они и всегда были склонны видеть призраки и фата-морганы, в особенности мой сосед — пользуясь своим роскошным местоположением, он курил и веселился, вспоминая, как Телль внезапно явилась в разгаре их лондонских катастроф, ее деликатную и в то же время деловую манеру приезжать без предупреждения, то, как она вдруг позвонила им, что умирает с голоду и чтобы они зашли за ней в «Грешам-отель» и повели ужинать, каковую весть мой сосед воспринял со смесью отчаяния и облегчения, как я легко могла заметить и даже понять, глядя на Николь, которая ошалело бродила по комнате, подбирала свои вещи, папки с рисунками и старые журналы, засовывала все это в чемодан и снова вынимала, чтобы как-нибудь все же упорядочить, что завершалось новой тщетной попыткой аккуратно уложить чемодан. Меня она встретила, ничего не сказав — видно, знала, что Марраст мне все сообщил,— только подошла ко мне с пижамой в одной руке и карандашами в другой и, уронив все на пол, обняла меня и долго стояла, прижимаясь ко мне и вся дрожа, потом спросила, писал ли мне Марраст и не закажу ли я по телефону вторую чашку кофе, и снова принялась кружить по комнате, то занимаясь укладкой вещей, то вдруг забывая об этом и подходя к окну или садясь в кресло спиной ко мне. Николь уже не могла вспомнить, когда именно ушел Марраст, наверно, в понедельник, если сегодня среда, или, может быть, вечером в воскресенье,— она, во всяком случае, благодаря таблеткам проспала целый день, а потом, выпив черного кофе без сахара, принялась укладывать чемодан, но мой сосед и Поланко все время наведывались взглянуть, как она там, причем с самым невинным видом, хотя прекрасно знали, что Марраст уже во Франции, да еще повели ее на какие-то совершенно

нелепые музыкальные комедии, где вдобавок были выведены карлики и прочие сказочные персонажи,— в общем-то, ей не так уж легко определить, сколько прошло времени, вдобавок теперь это и не имело значения, раз Телль была здесь и еще оставалось двадцать фунтов и четырнадцать шиллингов, которые Марраст, уходя, оставил на столе, и этого будет сверхдостаточно, чтобы заплатить за номер и еще за несколько чашек кофе и минеральную воду. Марраст ушел не попрощавшись, потому что благодаря таблеткам она спала, а потом Николь тоже хотела уйти, но ноги ее не слушались, и ей пришлось провести целый день в постели, лишь изредка она вставала и пыталась укладывать вещи в чемодан, и вдруг кто-то постучался, и, конечно, это был Остин, он испуганно посмотрел на меня из-за полуоткрытой двери, пытаюсь улыбаться и показать, что он на высоте положения,— видимо, мой сосед или Калак уже сказали ему, что Марраст оставил меня одну и что он может прийти,— достаточно было видеть его лицо, чтобы убедиться, что он пришел больше из чувства долга, а не какого иного чувства, а чемодан все не закрывался, и все время появлялись то Поланко, то мой сосед, то м-с Гриффит с чистыми полотенцами, осуждающим видом и счетом, Остин так и ушел, ничего не поняв, то ли струсил, то ли сообразил, что в этот момент он был совсем лишним, куда более лишним, чем м-с Гриффит или любая из уймы моих вещей, не вмещавшихся в чемодан, пока Телль, усевшись на него и предварительно еще совершив сальто, ловко его не закрыла и не расхохоталась, как только она умеет.

— Прежде всего горячий душ,— сказала Телль,— а потом мы выйдем пройтись, не для того я приехала в Лондон, чтобы глядеть на эти жуткие обои.

Николь позволила снять с себя пижаму, уложить в восхитительно теплую ванну, вымыть себе волосы и потереть спину — все это сопровождалось смехом Телль и не всегда приличными замечаниями касательно ее анатомического строения и гигиенических навыков. Она позволила себя обсушить, растереть одеколоном и одеть, неловко помогая Телль, радуясь, что чувствует ее рядом, что будет еще некоторое время не одна, прежде чем сделает то, что когда-нибудь придется сделать. Затем был роскошный чай на Шефтсбери-авеню, и за чаем Телль просматривала газету, выискивая спектакль, чтобы сходить в этот же вечер, разумеется за счет дикарей, потом она позвонила

им, чтобы договориться о встрече, и ужине, и театре, к слову прибавив, что это наименьшее, что они могут сделать для человека, явившегося как раз вовремя, между тем как они, трио бездельников, крутились здесь как идиоты, не догадываясь, что надо заняться захворавшей бедняжкой, и так далее. И Николь выпила чаю и поела пирожных, слушая истории, вероятно выдуманные, привезенные Телль из Вены, и ни разу не спросила про Хуана — возможно, потому что Телль, как одно из целительных средств, ежеминутно поминала Хуана таким тоном, что он становился послушным и безвредным, казался чем-то равно далеким от них обеих, что, по сути, было очень верно, согласно мнению, высказанным чуть позже дикарями, которые поужинали сочным мясом с красным вином.

— Матушка родимая! — сказал Поланко. — Только этого нам не хватало!

Внезапное появление Бонифаса Пертейля, одетого в синий комбинезон для практических занятий и тащившего огромную лейку, видимо, сильно повредило спасательным работам — большинство учеников, особенно самых маленьких, вмиг кинулись врассыпную и попрятались среди садовых лютиков и черных тюльпанов, тогда как ученики постарше, преданные толстухе, застыли с видом растерявшихся сенбернардов, что весьма встревожило Калака и моего соседа. Бросившись к отцу, толстуха стала объяснять ему ситуацию, энергично указывая в сторону острова. В чистом послеполуденном воздухе голос Бонифаса Пертейля раздался с почти сверхъестественной отчетливостью.

— Пусть себе тонет, дерьмо!

— Папа! — вскричала толстуха.

— И его дружки заодно! Они здесь никому не нужны! А ты молчи, я знаю, что говорю, не зря я воевал в войну четырнадцатого года, да, я! Меня два раза ранили, да, меня! У меня медаль за воинскую храбрость, да, у меня! Зимой шестнадцатого года, нет, погоди, это было в семнадцатом, но тогда... А ты молчи, это было в шестнадцатом, всю зиму мы проторчали в окопах у Соммы, холод, но какой холод! — когда меня подобрали, у меня были отморожены половые органы, мне едва их не отрезали, а ты молчи. Я человек трудящийся, да, я, мне ни к чему, чтобы эти экзистенциалисты развлекались тут во вред моему заведению и портили моих учеников. Эй вы, работайте! Кто не сделает двадцать румынских прививок, будет без обеда!



— Это против принципов МОТ,— заметил Калак негромко, чтобы Бонифас Пертейль не мог услышать.

— Эй ты, не будь чистоплюем,— сказал Поланко.— Неужто ты не понимаешь, разыгрывается наш последний шанс — если толстуха меня подведет, мы пропали, придется возвращаться пешком, такой позор, че.

— Разбили мою лодку!— проревел Бонифас Пертейль в ответ на вкрадчивое, но вызвавшее обратный эффект сообщение дочери.—*Ça alors!*<sup>1</sup>

— Нет, дон, ты представляешь?— сказал Поланко Калаку.— Он обвиняет меня, что я разбил его лодку, которую он сам мне торжественно подарил, у меня есть свидетели. Отлично помню, как он сказал, что она насквозь прогнила, но я все равно был ему благодарен, в общем-то, это был великодушный жест.

— Лодку, которая мне стоила семьсот тысяч франков!— кричал Бонифас Пертейль.— Сейчас же приведите их сюда! Они заплатят мне за лодку, или я вызову жандармов, мы находимся во Франции, а не в их дикой стране! Это будет мне уроком, как брать на работу иностранцев!

— Заткни свою глотку, чертов ксенофоб,— любезно сказал мой сосед.— Я только не хочу мочить себе ноги, а кабы не это, я бы пошел вброд, чтобы свернуть тебе шею, пока язык не вылезет из задницы, да простит меня сеньорита. И подумать только, что мы утром притащили ему три бутылки вина, дабы украсить наше присутствие на ужине, а теперь они выдуют его по-семейному, потому как я не удостою, так я говорю и расписываюсь.

— Че, будь хоть чуточку повежливей,— сказал Поланко.— Это папаша моей невесты, и, если даже он ведет себя как сукин сын, ты не имеешь права оскорблять бедного старикана.

— Пусть их приведут ко мне,— кричал Бонифас Пертейль, отталкивая дочку, которая, к всеобщему веселью учеников, пыталась поцеловать его и утихомирить.

— Нечего бояться, вот увидите, она на плоту не поплывет,— пророчил Калак.— Ага, операция начинается, вот это будет настоящий крестовый поход детей. Ставлю тысячу франков, что они утонут, прежде чем отдадут швартовы.

— Дай-то бог,— с яростью прошипел мой сосед.—

---

<sup>1</sup> Еще чего! (франц.)

Если у него ученики потонут, не видать ему субсидии ЮНЕСКО.

— А нам, право же, было здесь так хорошо,— меланхолично произнес Калак.— Втроем, одни в нашем маленьком королевстве, да еще с британскими обычаями, которые так быстро усваиваются. И сигарет хватило бы на какое-то время, и спичек, и было нас трое, а три — магическое число.

— Нет, вы смотрите, как они действуют,— посоветовал мой сосед,— это нечто умопомрачительное.

Никак не справляясь с тем, чтобы оторваться от берега, ученики садоводческой школы изо всех сил старались выйти на открытые просторы пруда и преодолеть пять метров, отделявшие их от острова, где потерпевшие крушение, почтительно внимая сопению побагровевшего Бонифаса Пертейля и стыдливым всхлипам его дочери, невозмутимо курили, как бы наблюдая за попытками спасти кого-то другого. На середине плота, выпрямившись, как адмирал *ex officio*<sup>1</sup>, ученик с волосатыми ногами отдавал приказы в темпе, усвоенном из репортажей о регате Кембридж — Оксфорд. Восемнадцать учеников разного возраста, с таким же количеством весел, лишь несколько минут назад бывших досками, метлами и лопатами, толпились у каждой из четырех сторон плота и гребли одновременно, чем достигалось лишь слабое вращательное движение их судна от бакборта к штирборту, а затем от штирборта к бакборту и общая тенденция к постепенному погружению. Мой сосед и Калак уже заключили пари насчет расстояния, которое успеет пройти плот, прежде чем утонет; Поланко же, более причастный к свершившемуся, старался как бы установить дистанцию между событиями и своей особой и предавался меланхолическим воспоминаниям. Да, всему виною ошибочный расчет мощности двигателя, что в свою очередь имело причиной неверные эмпирические данные, полученные при эксперименте с миниатюрной моделью в лондонском отеле. «По сути, это трагедия,— размышлял Поланко,— толстухе теперь придется выбирать между отцом и мной, и этим вполне убедительно доказывается значение овсяной каши: да, жребий был брошен в Лондоне, теперь остается одно — отступать вперед». Именно это и делали пловцы на плоту, к немалому их удивлению,— после долгих вращательных маневров плот переместился на

---

<sup>1</sup> При исполнении обязанностей (*лат.*).

полтора метра в направлении острова, и можно было утверждать, что он находится на середине пути к аварии, которая приведет его к окончательному плотокрушению.

— Гляди,— сказал мой сосед Калаку,— еще не хватало вон этих, чтобы окончательно нас добить, если только это не одна из классических галлюцинаций жертв крушения, умирающих от жажды.

Ведя за руку Сухой Листик, которая вращала свободной рукой как мельничным крылом, из клумб с садовыми лютиками появился Марраст, изумленно наблюдая за разворотом трагических событий. Дочь Бонифаса Пертейля, зная его после нескольких орошенных вином встреч в местном кафе при участии Поланко и моего соседа, бросилась объяснять ему основные элементы задачи, а между тем плот, невесть почему, начал заметно пятиться назад под проклятия Бонифаса Пертейля и судорожные приказания волосатого ученика.

— Привет,— сказал Марраст, рассеянно выслушав предысторию происшествия.— Я приехал за вами, потому что сыт по горло всяческими эдилами и прочими кретинами Аркейля, и, кстати, мы выпьем по стаканчику, а затем я приглашаю вас на открытие памятника, которое назначено на завтра в семнадцать часов.

— А я позволю себе заметить,— с некоторым сарказмом сказал мой сосед,— что про открытие мы и сами знали и намеревались явиться туда всей компанией, если только нас успеют к тому времени спасти, в чем я сомневаюсь.

— Почему вы не идете вброд?— спросил Марраст.

— Бисбис, бисбис,— испуганно сказала Сухой Листик.

— Вот видите, дон, она куда лучше разобралась в деле, чем вы,— сказал мой сосед.— Одна моя нога промокла из-за прилива, но другая еще на диво суха, а я всегда полагал, что с симметрией надо бороться. Сигареты у нас есть, и здесь не так плохо, можешь спросить у них.

— О да,— сказали Калак и Поланко, с огромным удовольствием наблюдая маневры спасателей и бурные жесты дочери Бонифаса Пертейля, пытавшейся растолковать Сухому Листикку суть событий. К сожалению, они при самом большом желании не могли помешать тому, что Марраст, подойдя поближе к воде, носком левой туфли, будто багром, притянул плот к берегу, а Бонифас Пертейль, налетев как орел, еще придержал плот своим подкованным сапогом, чтобы причал был надежней, и принялся разда-

вать оплеухи направо и налево — дети, торопливо пробираясь под его рукою, как под Кавдинским ярмом, разбежались, держа весла на изготовку, по плантациям садовых лютиков и тюльпанов. Волосатоногий капитан прошел последним, и в этот миг разжата была ладонь Бонифаса Пертейля явно приняла форму кулака, но капитан вовремя отпрянул в сторону, и кулак едва не прикончил Марраста, который великодушно сделал вид, что ничего не заметил, и, вооруженный заступом, взошел на плот. Друзья встретили его с учтиво-снихождительным видом и погрузились на плот при громких возгласах Сухого Листика и толстухи. Прибытие на сушу было ознаменовано заявлением Бонифаса Пертейля, что Поланко немедленно увольняется с работы, и хриплыми рыданиями толстухи, которую Сухой Листик принялась утешать, меж тем как потерпевшие крушение и Марраст молча и с достоинством шествовали по дорожке, которая вела через насаждения разноцветных тюльпанов к деревенской лавке, где они могли обсушиться и потолковать об открытии памятника.

Какой смысл объяснять? Уже одно то, что это кажется необходимым, иронически доказывает бесполезность объяснения. Я ничего не мог объяснить Элен, самое большее — мог перечислить то, что произошло, предложить обычный засушенный гербарий — сказать о Доме с василиском, о вечере в ресторане «Полидор», о месье Оксе, о фрау Марте, словно это помогло бы ей понять выходку Телль, то, что Телль и вообразить не могла и что случилось как завершение ряда событий, о которых никто из нас и не думал, но которые были все налицо, произошли сами по себе. Так вот, письмо Элен пришло в Вену после отъезда Телль; укладывая чемодан, я обнаружил, что Телль забыла одежную щетку и последний, начатый ею роман; я представил себе, как она там, в Лондоне, проводит время с дикарями, и тут мне принесли твое письмо, адресованное Телль, и я вскрыл его, как оба мы вскрывали все наши письма, и вот снова передо мной возникло скопление пассажиров в проходе, отчаянные, тщетные попытки пробиться к тебе, увидеть, как ты сошла на этом перекрестке, который уже остался позади, и, хотя в твоём письме ни о чем таком не говорилось, а, напротив, шла речь о кукле, присланной Телль, это все равно было тем проходом и тем расстоянием между нами и тоской, что я

почти мог дотронуться до тебя, а ты вот выходишь на каком-то углу, и я не могу тебя догнать, я еще раз опоздал. Не было смысла пытаться что-либо объяснить, единственное, что можно было сделать,— это найти тебя в Париже, и это было мне дано, «Austrian Airlines»<sup>1</sup>, отправление в два часа дня, прилететь и взглянуть на тебя, что ли, еще раз взглянуть на тебя и подождать, может быть, ты поймешь, что все было не так, что я не имею никакого отношения ни к этой посылке, ни к этой мерзости, выпавшей из куклы на пол (ты, правда, ни на что не жаловалась, в твоём рассказе для Телль было столько иронической отчужденности, и ты ни разу не назвала меня), и однако, все это касается меня и касается тебя, это мы, но как бы извне, это ряд звеньев, начавшийся бог знает когда — на Блютгассе несколько веков тому назад или в сочельник в ресторане «Полидор», в беседе с месье Оксом и в его сторожке, в причуде Телль, подсазанной хлопьями тумана, которые я однажды ночью тщетно пробовал расшифровать, куря сигарету вблизи пантеона, куря сигарету и изнемогая от любви к тебе у Дома с василиском, думая о канале Сен-Мартен и маленькой брошке, которую ты прикалывала к своей блузе.

Но письмо прибыло, и Хуану надо было объяснить, хотя бы это было бессмысленно и нелепо и завершилось бы, как уже не раз, холодной прощальной улыбкой и сухим, коротким рукопожатием. Он прилетел в Орли, внешне успокоенный тремя стаканами виски и привычной суетой при выходе из самолета и на эскалаторах. Элен, наверно, в клинике и, возможно, придет домой поздно; не исключено и то, что ее нет в Париже, она столько раз уезжала в своей машине и по несколько недель пропадала где-нибудь в провинции, никому ничего не сообщая, не оставив письма «до востребования», а потом, однажды вечером, появлялась в «Клюни» и выкладывала на столик коробку провансальских сладостей или набор ярких открыток, к удовольствию Телль и моего соседа. Еще с аэродрома Хуан позвонил в клинику. Элен отозвалась почти сразу, без удивления. Сегодня вечером в кафе. Нет, в кафе нет. Он может захватить за ней на машине и отвезти ее домой, или в другое кафе, или куда-нибудь поужинать, если она захочет.

---

<sup>1</sup> «Австрийская авиакомпания» (англ.).

— Спасибо,— сказала Элен.— Я бы хотела отдохнуть часок, прежде чем опять выходить из дому.

— Умоляю,— сказал Хуан.— Если я хочу поговорить с тобой поскорее, так это потому, что у меня есть причина, о которой ты, верно, догадываешься.

— Какая в этом срочность,— сказала Элен.— Оставь до другого дня.

— Нет-нет, сегодня. Я ради этого прилетел, я звоню тебе с аэродрома. В шесть я заеду за тобой в клинику. Ведь я впервые прошу тебя о чем-то.

— Ладно,— сказала Элен.— Прости, я не хотела тебя обидеть. Я просто устала.

— Ну, чего там,— сказал Хуан и повесил трубку, испытывая ту же горькую радость, какая, бывало, иногда пронзала его при малейшем знаке благосклонности Элен— прогулка у канала Сен-Мартен, улыбка, только ему предназначенная, за столиком кафе. В половине шестого (он тревожно поспал час у себя дома, принял ванну и побрился без надобности, послушал пластинки и еще выпил виски) он вывел машину из гаража и поехал по Парижу, ни о чем не думая, не имея наготове ни одной фразы, заранее смиряясь с тем, что все будет как всегда и Элен будет как всегда. Когда он открыл дверцу и она протянула ему руку в перчатке, а потом резко ее отдернула, чтобы достать из сумочки сигареты, Хуан молчал и почти на нее не смотрел. Он сделал все возможное, чтобы пробиться на левую сторону, пока ехал по более спокойным улицам, но в Париже в этот час не было спокойных улиц, и им пришлось долго добираться до дома Элен, изредка обмениваясь короткими фразами, но только о других: о дикарях в Лондоне, о Сухом Листике, которая переболела гриппом, о недавно возвратившемся Маррасте, о моем соседе, посылавшем почтовые открытки с highlanders<sup>1</sup> и гигантскими панда.

— Если хочешь, зайдем в кафе на углу,— сказал Хуан, останавливая машину.

— Да, хорошо,— сказала Элен, не глядя на него.— Нет, поднимемся ко мне, если хочешь.

— Не делай этого из вежливости,— сказал Хуан.— Я прекрасно знаю, что никто из наших не видел твоей квартиры. Это надо считать удовольствием или правом, так, что ли?

— Поднимемся,— сказала Элен и пошла вперед.

---

<sup>1</sup> Шотландцами (англ.).

Поланко уступил им свою квартиру до тех пор, пока Остин не найдет работу в каком-нибудь из boîtes<sup>1</sup> Латинского Квартала, где могут слушать лютню, не слишком зевая. Калак, не скрывая своей неприязни к Остину, запротестовал, когда Поланко, приведя соображения гуманности, попросил разрешения поселиться у него на несколько недель, но затем согласился с условием, что идет на такую жертву ради Селии, а не ради лютниста.

— Ты понимаешь, пора уже Остину по-настоящему познать, что такое женщина, — сказал Поланко. — Бедняге до сих пор все не везло, сперва эта девица с прической, а потом роль трутня, которую ему отвели в Лондоне и о которой я не стану распространяться, чтобы тебя не раздражать.

— Пошел ты к чертям собачьим, — была простая отповедь Калака, который в эти дни начинал писать книгу в виде противоядия от тяжелых воспоминаний.

Как Поланко и ожидал, Остин со страхом и тревогой познал ночи любви и хруст соленого миндаля, который так любила Селия, и Селия со всем положенным ритуалом тоже познала лепет нового языка, и оба они, совершенно забыв о том, что надо начинать жить, лежали навзничь, глядя на слуховое окно, где временами мелькали лапки голубя и тени облаков. Теперь они были уже так далеки от того первого дня, когда Селия прошептала: «Отвернись, я не хочу, чтобы ты на меня смотрел», пока ее дрожащие пальцы нащупывали пуговицы блузки. Я разделся в углу, за полуоткрытой дверцей шкафа, и, обернувшись, увидел очертания ее тела под простыней, блик солнца на ковре, чулок, будто реявший на бронзовой перекладине изголовья. Минуту я подождал, не в силах еще поверить, что все это возможно, потом накинул халат и, став на колени возле кровати, начал потихоньку стягивать простыню, пока не показались сперва волосы Селии, профиль уткнувшегося в подушку лица, закрытый глаз, шея и плечи, — пока простыня сдвигалась, казалось, то девочка-богиня медленно выходит из воды, и чудо это превращается в голубое и розовое видение, озаренное лучами солнца, проникавшими в слуховое окно; постепенно рождалось тело в колорите Боннара под моей рукой, тянувшей простыню, с трудом подавляя стремление сдернуть ее одним рывком, открывая тайну того, чего никто еще не видел, — начало спины,

---

<sup>1</sup> Ночной ресторанчик (франц.).

едва прикрытые скрещенными руками груди, тонкую талию, родинку в низу спины, продолговатую тень, разделяющую ягодицы и теряющуюся между крепко сжатыми бедрами, гладкие подколенки и дальше знакомое — загорелые икры, нечто дневное и обычное после той потайной зоны, лодыжки и две ступни, притаившиеся, как спящие кузнечики, в глубине постели. Еще не в силах нарушить ее неподвижность, и покорную, и боязливую, я наклонился над Селией и стал разглядывать вблизи эту страну с мягкохолмистым рельефом. Прошло, наверно, немало времени, а может быть, когда закроешь глаза, время течет иначе — сперва была глубокая тишина, потом стук упавшей на пол туфли, скрипенье дверцы шкафа, потом чья-то близость, потом я почувствовала, что простыня потихоньку сдвигается, и я, насторожась, ожидала тяжести его тела, чтобы повернуться к нему, и обнять его, и просить быть хорошим и терпеливым, но простыня все сдвигалась, и мне стало страшно, в моем уме промелькнул другой образ, и я чуть не закричала, но он же дурачок, и это было бы глупо, я знала, что это было бы глупо, и мне так хотелось внезапно повернуться к нему с улыбкой, но я не хотела видеть его вот таким, голым как статуя, стоящим возле кровати, и я ждала, а простыня все сдвигалась, и наконец я почувствовала, что я тоже голая, и тут я уже не могла выдержать и, обернувшись, вскочила, а Остин стоял на коленях в наброшенном на плечи халате и смотрел на меня, и я стала искать простыню, чтобы накрыться, но он ее слишком далеко отбросил, а его руки уже касались моей груди — сумерки, мутное окошко, шаги на лестнице, скрип шкафа, время, миндаль, шоколад, ночь, стакан воды, звезда в слуховом окне, духота, одеколон, стыд, трубка, одеяло, повернись вот так, устала, чувствуешь? укрой меня, стучат в дверь, оставь меня, хочу пить, от тебя пахнет бурным морем, а от тебя трубочным табаком, когда я был ребенком, меня купали в отваре отрубей, когда я была ребенком, меня звали Лала, пошел дождь? а здесь у тебя кожа смуглая, глупый, мне же холодно, не смотри на меня так, укрой меня опять, миндаля, кто тебе подарил эти духи? кажется, Телль, ну пожалуйста, укрой меня получше, значит, ты боялась, потому лежала так смиренно? Да, я тебе все расскажу, прости меня, я не думал, что ты боишься, мне казалось только, что ты ждешь, ну конечно, я ждала, ждала тебя.

— Знаешь, я так счастлив, что мы ждали,— сказал



Остин.— Не могу тебе объяснить, я себя чувствовал как... Ну, как морская птица, повисшая в воздухе над маленьким островком, и мне хотелось всю жизнь провести вот так, не опускаясь на остров, да, смейся, глупышка ты, я объясню тебе, как могу, к тому же еще неизвестно, захотел ли бы я провести вот так всю жизнь, ясное дело, нет, зачем это мне без того, что «потом», без твоих слез у меня на груди.

— Молчи,— сказала Селия, закрывая ему рот.— Ты грубиян.

— Дуреха, глупышка, разиня, грешница, блудница.

— Сам дурень. Вот так.

— Ничего не скажешь, вполне логично.

— Миндаля,— попросила Селия.

До этого мгновения все было в меру горько и трудно, но, когда мы вошли в лифт — который между этажами как бы застывал на время, а потом, дернувшись вроде в горизонтальном направлении, вдруг снова начинал подниматься,— соседство Элен стало еще тягостней, я ощущал ее рядом как еще один отказ, тем более жестокий, что ее тело из-за тесноты касалось моего тела, и она, едва повернув голову, спросила: «Ты уверен, что не бывал здесь раньше?»

Я взглянул на нее с недоумением, но она уже открывала дверь лифта и выходила в коридор — потом повернула ключ в замке и, не оборачиваясь, скрылась в темноте. Я замешкался на пороге, ожидая приглашения войти, но Элен уже была в другой комнате, включая всюду свет. Мои мысли укладывались в три слова, выражались всего тремя словами: «Она меня ждет», но относилось это не к Элен. Я услышал ее голос и, с трудом отделившись от чего-то похожего на страх, закрыл за собою дверь и стал искать, куда повесить плащ. Гостиная уже была освещена, Элен стояла у низкого столика со стаканами и бутылками; не глядя на меня, она поставила на столик пепельницу, жестом предложила сесть в кресло и сама села в другое; в руке у нее уже была сигарета.

— О да, я совершенно в этом уверен,— сказал Хуан.— И мы оба знаем, что я сюда не входил никогда. Даже теперь, уж ты прости мне эти слова.

Лишь тогда, подавая стакан, Элен посмотрела ему в лицо. Хуан выпил виски, не ожидая, пока она нальет

себе, выпил без всякого тоста.

— Извини,— сказала Элен.— Я устала, последние дни живу как во сне. Да, конечно, ты здесь не бывал. Сама не знаю, почему я это спросила.

— В каком-то смысле мне бы следовало обрадоваться. Это было бы нормальной реакцией на нечто лестное, как если бы ты угадала мое желание. А меня, напротив, охватило другое чувство, что-то похожее на... Но я пришел сюда не затем, чтобы говорить тебе о своих фобиях. Телль получила твое письмо и дала мне его прочесть. Она дает мне читать все свои письма, даже письма от отца и прежних своих любовников, так что не сердись.

— В этом письме не было секретов,— сказала Элен.

— Я хотел бы, чтобы ты поняла одно: кукла принадлежала Телль, я подарил ее Телль. Подарил шутки ради, по разным причинам, и еще потому, что однажды рассказал ей историю одной из этих кукол. Я никогда не узнаю, почему она решила послать ее тебе, да и она сама вряд ли это вполне понимает, но, когда она это сказала, я не был застигнут врасплох — мне просто показалось, что некое действие совершается в два приема. Пока она рассказывала, я осознал, что все, что я мог подарить Телль, я дарил тебе.

Элен протянула руку, поправила, чтобы лежал ровнее, ножик для разрезания бумаг.

— Но это не имеет ровно никакого значения,— сказал Хуан.— А важно для меня то, чтобы ты знала — для этого я и приехал, вместо того чтобы написать или ждать удобного случая,— чтобы ты знала, что Телль послала тебе куклу не по моей указке. Ты знаешь мои недостатки лучше, чем кто-либо, но, думаю, в их числе ты не обнаружишь хамства. Ни Телль, ни я понятия не имели, что могло быть внутри этой куклы.

— Ну, разумеется,— сказала Элен.— Просто нелепо об этом говорить, я могла бы хранить куклу всю жизнь, и она не разбилась бы. А вдруг в один прекрасный день обнаружится, что все на свете куклы набиты подобными вещами!

Но ведь на самом деле это не так, и Хуан мог бы объяснить, почему не так и почему его подарок имел юмористический и даже эротический оттенок для всякого, знавшего, как месье Окс управлял случаем; но беда объяснений в том, что, когда их излагаешь, они превращаются в некое второе объяснение для самого объясняющего и

оно отрицает или извращает первое, поверхностное, объяснение; достаточно было сказать Элен, что все его подарки Телль были, по сути, подарками для нее (а он ей это сказал, еще не начав объяснять, в тот миг еще не зная, что эта фраза полностью изменит перспективу того, что он честно собирался объяснить), как осознал, что причуда Телль была только еще одним ходом в игре таинственной, но неизбежной подмены, вследствие чего кукла месье Окса пришла к своему подлинному адресату. И Элен не могла не почувствовать, что в какой-то мере он, зная о происхождении куклы, мог ожидать такого оборота, и хотя на первый взгляд в его поступке главным было ироническое удовольствие подарить куклу Телль, но в каком-то смысле этот подарок уже тогда предназначался для Элен, и кукла, и ее содержимое всегда были для Элен, хотя, конечно, Элен никогда бы не получила куклу, не вздумай Телль ее послать, — и так, за всеми перипетиями случайного, невысказанного и неведомого и даже вопреки им путь был ужасающе прямым и вел от него, Хуана, к Элен, и в эту самую минуту, когда он старался объяснить ей, что ему никогда бы в голову не пришло сделать то, что в конце концов обернулось подобной чудовищной нелепостью, что-то возвращало ему прямо в лицо этот бумеранг из фаянса и черных локонов, прибывший из Вены для Элен, эту его двойную ответственность за происшедшее в результате двойной случайности — причуды и падения на пол. Теперь уже было нетрудно понять, почему он почувствовал, что в квартире его ждет еще кто-то, кроме Элен, почему он помедлил в дверях, как иногда в городе он колебался, прежде чем куда-то войти, хотя потом все равно приходилось войти и закрыть за собою дверь.

Миндаль и шоколад кончились, дождь моросил по слуховому окну, и Селия засыпала, кое-как укутавшись в смятую простыню, слыша будто издалека голос Остина, сморенная усталостью, которая, видно, и была блаженством. Лишь изредка ее что-то тревожило, словно что-то исподтишка крошилось в этом томном, однообразном забытьи, какая-то появлялась трещинка, которую на время заполнял голос Остина, и, наверно, было уже очень поздно, и надо было им встать и пойти поесть, и Остин, не унимаясь, все спрашивал ее, но ты подумай, подумай

хорошенько, что я знал о тебе? и наклонялся, чтобы поцеловать ее и повторить свой вопрос, что я на деле-то знал о тебе? Лицо, руки, икры ног, манеру смеяться, то, как сильно тебя рвало на ferrug-boat, ничего больше. Глупый, сказала Селия с закрытыми глазами, а он настаивал, нет, ты подумай об этом, это важно, это очень важно, от шеи до колен там великая тайна, я говорю о твоём теле, о твоих грудях например, ну что я знал о них, видел только их очертания под блузкой, а они оказались меньше, чем я думал, но все это ничто рядом с чем-то куда более важным, с тем, что и тебе пришлось узнать, что чужие глаза увидят тебя в первый раз, в смысле увидят тебя такой, какая ты есть, ты вся, а не кусочек сверху и кусочек снизу, наподобие тех четвертованных женщин, которых мы видим на улице, теперь мои руки могут соединить эти куски в единое целое, сверху донизу, вот так. Ах, помолчи, сказала Селия, но это было бесполезно, Остин хотел знать, ему очень надо было знать, кто мог когда-либо вот так видеть ее тело, и Селия, после минутного колебания, почувствовала, что в ее блаженстве опять на миг появилась трещинка, и потом сказала то, что можно было ожидать, да никто, ну, может быть, врач, и, конечно, подруга по комнате на летних каникулах в Ницце. Но, ясное дело, не так, это же ясно. Не так, повторил Остин, разумеется, не так, поэтому ты должна понять, каково это — сотворить раз навсегда твоё тело, как сотворили его ты и я, вспомни-ка, ты лежала и разрешала смотреть на тебя, а я потихоньку стягивал простыню и смотрел, как рождается то, что есть ты, то, что теперь по праву называется твоим именем и говорит твоим голосом. Врач, интересно, что же мог увидеть у тебя врач. Ну да, в каком-то смысле, если угодно, больше, чем я, он тебя ощупывал, исследовал, определял, что где, но это была не ты, ты была просто телом, появившимся до и после других тел, была номером восьмым в четверг в половине шестого в консультации, острый плеврит. Миндалины, сказала Селия, и аппендикс, два года тому назад. Но вернемся к делу, вот твоя мать, например, когда ты была маленькой, никто не мог тебя знать лучше, чем она, это понятно, но и тогда то была не ты, только сегодня, теперь, в этой комнате это ты, и твоя мать тут уже ни при чем — ее руки тебя мыли, и знали каждую складочку твоего тела, и делали с тобой все, что положено делать с ребенком, почти не глядя

на него, не производя его окончательно на свет, как я тебя теперь, как ты и я теперь. Хвастунишка, сказала Селия, опять покоряясь этому голосу, усыплявшему ее. Вот женщины толкуют о девственности, сказал Остин, они определяют ее, как определили бы твоя мать и твой врач, а того они не знают, что важна только одна девственность, та, которая существует до первого настоящего взгляда, и от этого взгляда она исчезает в тот миг, когда чья-то рука приподнимет простыню и, наконец, соединит в единый образ все элементы головоломки. Вот видишь, по существу, ты стала моей в этом смысле еще до того, как начала хныкать и просить передышки, и я тебя не послушался и не пожалел, потому что ты уже была моей и, что бы мы ни сделали, ничто уже не могло тебя изменить. Ты был грубый и злой, сказала Селия, целуя его в плечо, а Остин, поглаживая светлый пушок на ее животе, сказал что-то о чуде, что чудо, мол, не прекращается, ему нравилось говорить ей подобные вещи, нет, не прекращается, настаивал он, оно происходит медленно и волшебно и еще будет долго происходить, потому что всякий раз, как я смотрю на твое тело, я знаю, что осталось еще столько неизвестного, и, кроме того, я тебя целую, и трогаю, и вдыхаю, и все это так ново, у тебя столько неведомых долин, заросших папоротниками ущелий, деревьев с ящерицами и звездчатыми кораллами. На деревьях кораллов не бывает, сказала Селия, и, знаешь, мне стыдно, замолчи, мне холодно, дай сюда простыню, мне стыдно и холодно, и ты гадкий. Но Остин наклонился над ней, клал голову ей на грудь, позволь на тебя смотреть, позволь обладать тобой на самом деле, твое тело счастливо, и оно это знает, хотя твой скудный умишко благовоспитанной девочки еще не соглашается, ты подумай, насколько ужасно и противоестественно было, что твоя кожа, вся как есть, не знала настоящего света, разве что неоновый в твоей ванной, знала лишь лживый холодный поцелуй зеркала, и твои собственные глаза рассматривали твое тело, лишь куда могли видеть, причем видеть плохо, неверно и без великодушия. Ну понимаешь, едва ты снимала трусики, их сразу же заменяли другие, бюстгальтер спадал, чтобы тут же пара этих смешных голубков оказалась в другой темнице. Серое платье сменялось красным, джинсы — черной юбкой, и туфли, и чулки, и блузки... Что знало твое тело о дневном свете? Потому что день — вот он, это когда мы двое нагишом смотрим

друг на друга, только это настоящие зеркала, настоящие солнечные пляжи. А вот здесь, прибавил Остин, слегка смущенный своими метафорами, у тебя крохотная родинка, и ты о ней, наверно, не знала, а здесь другая, и обе они, и этот сосок образуют прехорошенький равнобедренный треугольник; а ты этого, пожалуй, и не знала, и до этого вечера на твоём теле родинок этих по-настоящему и не было.

— А ты рыжий и безобразный,— сказала Селия.— Пора тебе об этом узнать, если уж говорить начистоту, но, может быть, Николь уже объяснила тебе это со всеми подробностями.

— О нет,— сказал Остин.— Я же тебе говорил, там было все совсем по-другому, нам нечего было открывать друг у друга, ты ведь знаешь, как это произошло. Не будем больше говорить о ней, продолжай, говори мне, какой я, я тоже хочу себя знать, я тоже, если угодно, был девствен. О да, не смейся, я тоже был девствен, и все, что я тебе сказал, годится для нас обоих.

— Гм,— хмыкнула Селия.

— Ну, продолжай, говори мне, какой я.

— Ты мне совсем не нравишься, ты неуклюжий, ты слишком сильный, и от тебя разит табаком, и ты мне сделал больно, и я хочу воды.

— Мне приятно, что ты на меня смотришь,— сказал Остин,— и я хотел бы тебе напомнить, что я отнюдь не завершаюсь на уровне желудка. Я продолжаюсь вниз, далеко вниз, и, если приглядишься, ты увидишь уйму всего: вот, например, колени, а на этом бедре у меня рубец, собака укусила в Бате во время каникул. Гляди же на меня, вот я.

Селия оперлась на локоть, потянулась к стакану с водой на ночном столике и с жадностью выпила. Остин прижался к ней и, закинув руку ей за спину, крепко обнял, а Селия, поворачиваясь к нему, спрятала лицо у него на груди и вдруг съежилась, как бы отстраняясь, однако не отталкивая его резко, и начала что-то говорить, и не кончила фразу, и смолкла, трепеща от его ласки, все глубже завладевавшей ее телом, но, все же отстраняя его, еле слышно произнесла: «Остин, я тебе солгала», хотя это не было ложью, ведь тогда речь шла о враче, о ее матери, о людях, которые к ней прикасались по-другому, о соученице, жившей с нею в одной комнате, и она не солгала, но если не говорить все означает лгать,

тогда да, она солгала, умолчав, и трещина эта открылась вот теперь, в миг высшего счастья, отдавая ее от Остина, который не слушал, который продолжал ее ласкать, который мягко пытался повернуть ее на спину, который понемногу начинал как будто понимать, и неуверенно расспрашивать, и отодвигаться, так что меж двумя телами пролегла пустота, и смотрел ей в глаза и ждал. Только намного позже, в темноте, она рассказала ему все, и Остин узнал, что он был не первым, кто потихоньку сдвигал простыню, чтобы посмотреть на неподвижную спину, чтобы истинное тело Селии из детства родилось на свет.

— Понимаешь,— сказал Хуан,— ты в письме ни в чем меня не обвиняла, я знаю, но это было еще хуже, я бы предпочел полное непонимание, оскорбление, что угодно. Даже Телль поняла, что тут что-то не так, что ты бы не написала ей это письмо, если бы не подозревала меня.

— То было не подозрение,— сказала Элен,— тут, знаешь, и слова нельзя подобрать. Ну что-то вроде сального пятна или блевотины, что ли. Мне надо было объяснить тебе, почему это пятно возникло в должный момент, так сказать без твоего прямого вмешательства, но теперь ты и сам знаешь. Благодарю, что ты приехал поговорить со мной, я ни за что бы не поверила, что ты способен на такое.

— Ты это назвала пятном или блевотиной. Оно было, и оно есть. Ты считала меня неспособным на такое, однако твое письмо меня обвиняло, по крайней мере я так понял.

— Возможно, ты прав,— устало сказала Элен,— возможно, я написала его, не желая допустить, чтобы ты остался в стороне от того, что случилось. В общем, тут ничего нельзя уразуметь, так ведь?

— You're telling me<sup>1</sup>,— пробормотал Хуан.

— Как разрешить такое явное противоречие — не подозревать тебя и вместе с тем чувствовать, что ты виноват в случившемся со мною, хотя как будто ты и ни при чем? Твоя вина, как ее понять...

— Да, да, я тоже чувствовал нечто подобное. Ну, будто моя вина сама отправилась странствовать в этой кукле. Но тогда, Элен...

---

<sup>1</sup> Это ты так считаешь (англ.).

— Тогда,— сказала Элен, глядя ему прямо в глаза,— получается, вроде бы ни ты, ни я, по существу, здесь ни при чем. Но это же не так, и мы это знаем. Это случилось с нами, а не с кем-то другим. Да, это вина, о которой ты сказал, вина, которая бродит сама по себе...

Хуан увидел, что она закрыла лицо руками, и с каким-то страхом и мучительной, беспомощной нежностью спросил себя, не собирается ли Элен заплакать, не произойдет ли невозможное — кто-то увидит слезы Элен. Но когда она отвела руки, лицо ее было таким, как всегда.

— Во всяком случае, раз уж ты ради этого приехал, по-моему, из справедливости следует сказать тебе, что все произошло именно тогда, когда должно было произойти, и что тут можно говорить об исполненной миссии, какова бы она ни была. Все это касается меня, только меня. Я сожалею, что написала Тель, что огорчила тебя. Прости.

Хуан сделал неопределенный жест, потом как-то по-детски отдернул руку.

— Где она?

— Там,— сказала Элен, указывая на стенной шкаф.— Иногда ночью я ее вынимаю. Делай с ней что хочешь, мне все равно.

Так вот, значит, какой это был пакет, значит, Элен выходила из трамвая, неся пакет с куклой, когда было так просто оставить ее в переполненном трамвае, бросить где-нибудь, не вскрыв и не разбив куклу. Теперь, когда он будет ее искать, думал Хуан, Элен будет нести пакет на тесемке, и когда он встретит ее в городе или в другом месте, кукла будет с нею, как теперь — в стенном шкафу, или в другом месте, или все еще в коробке. И напрасно пытаться воображать, что в пакете находится что-то другое — портативный набор для анестезии, образцы лекарств, пара туфель,— равно как напрасно воображать, что ему удастся сойти на том же углу, где Элен, да, напрасно и еще более горько теперь, когда он, казалось, угадывал скрытый смысл этой надежды,— словно, если бы он догнал Элен и освободил ее от ее ноши, это могло бы стать неким завершением, помогло бы оттеснить в прошлое одну из тех схем, которые осуществяются помимо нашей воли, да, словно встреча его с Элен в городе могла бы смыть с них обоих эти вины, которые бродят сами по себе, отражаясь от ресторанных



зеркал и от бликов потайных фонарей на коврах, а ведь теперь, когда зажигаешь еще одну сигарету, когда вы рядом, так близко, все прочее бессмысленно, не существует ничего, кроме вот этого твоего движения, когда ты чиркаешь спичкой, да ваших взглядов, встречающихся поверх ее огонька, да взмаха рукой в знак благодарности.

— Почему ты ее не уничтожила? — спросил Хуан, и звук его голоса отдался во мне как удар, хотя я уверена, что он говорил очень тихо, выходя из молчания, в которое оба мы были погружены, отчужденные более, чем когда-либо, и он, видимо, упорно искал оправданий и путей — голова потуплена, заостренные очертания профиля неподвижны, будто и он ждал укола иглы, которая проникнет в вену его руки. Возможно, я могла бы его остановить, когда он встал и пошел открывать шкаф, могла сказать ему, что это бесполезно и что он сам знает, что это бесполезно, — что игла так или иначе уже вонзилась в вену и все совершится, хотим мы или не хотим и будем ли этому препятствовать, обладая безграничной свободой выбора в том, что для нас не важно. Оставив сигарету в пепельнице, Хуан направился к шкафу и одним рывком открыл его. Кукла сидела, выделяясь в полумраке, голая, улыбающаяся, среди простынь и полотенец. Рядом была коробка с ее одеждой, туфлями и капором; пахло сандалом, а может, и паклей, в темноте трудно было разглядеть дыру, частично скрытую согнутыми коленками. Хуан взял ее за руку и вытащил на освещенное место, к краю полки, где аккуратно сложенная простыня могла в кукольных масштабах сойти за постель или за операционный стол. Туловище куклы на простыне раскрылось надвое, и Хуан убедился, что Элен даже не попыталась прикрыть щель, заклеить липким пластырем, спрятать обратно то, что мягко вывалилось на простыню.

— Мне не мешает, пусть так и остается, — сказал голос Элен за его спиной. — Если хочешь, можешь ее унести, но мне все равно.

Хуан резким движением закрыл шкаф, от удара хлопнувшей дверцы подпрыгнули предметы на низком столике. Элен даже не шевельнулась, когда его руки впились ей в плечи и встряхнули ее.

— Ты не имеешь права так поступать, — сказал Хуан. — И я еще раз повторяю, ты не имеешь права так поступать со мной. Виноват я или не виноват, это я послал ее тебе. Это я там, внутри, жду твоей мести,

это ты на меня смотришь каждый раз, когда открываешь шкаф, когда вечером ее вынимаешь, когда подходишь к ней с фонариком, чтобы посмотреть на нее, или берешь ее под мышку.

— Но мне не за что тебе мстить, Хуан,— сказала Элен.

Быть может, впервые за эту ночь она произнесла его имя. Произнесла в заключение фразы, и имя прозвучало с таким оттенком, с такой интонацией, какой не было бы при другом порядке слов,— оно несло что-то сверх обычного смысла, вырвавшееся, видимо, против воли Элен, потому что у нее вдруг задрожали губы, и она медленно попыталась освободиться от впивавшихся в ее плечи пальцев, но он еще крепче их сжал, и я чуть не закричала, но прикусила губу, тогда он наконец понял и, бормоча извинения, отпрянул от меня и повернулся спиной.

— Я храню ее не из-за тебя,— сказала я.— Сейчас это не стоит объяснять, но, верь, не из-за тебя. Не я ее раздела, ты это знаешь, и не я ее разбила.

— Прости меня,— сказал Хуан, все еще стоя спиной,— но теперь мне нелегко тебе верить. С такими фетишами, такими алтарями человек чувствует себя навек замаранным в душе другого, а когда другой — это ты... Ты всегда питала ко мне вражду, всегда мстила мне так или иначе. Знаешь, как меня однажды называл мой сосед? Актеоном. Он у нас очень ученый.

— Не я ее раздела,— повторила Элен, будто не слыша его слов.— Все это совсем с другим связано, и к тому, что случилось, ты прямого отношения не имеешь. И однако, ты здесь именно из-за этого, и приходится еще раз признать, что нами играют, нас используют бог весть в каких целях.

— Не думай, будто ты должна мне что-то объяснять,— резко обернувшись, сказал Хуан.— Я тоже знаю, что это бессмысленно.

— О, уж если мы сошли с ума, позволь высказать одну безумную мысль: я тебя убила, Хуан, и все началось тогда, в тот самый день, когда я тебя убила. Конечно, то был не ты, и, конечно, его я тоже не убила — это было вроде этой куклы или нашего разговора, намек на что-то другое, но с ощущением полной ответственности, понимаешь? Присядь тут рядом, подай мне бутылку или, если хочешь, налей ты. Налей мне полный стакан, тогда

я смогу тебе рассказать, мне станет легче, а потом, если захочешь, уйдешь, будет даже лучше, если ты уйдешь, но сперва дай мне виски и еще сигарету, Хуан. Да, это безумие, но он был так на тебя похож, и он был голый — юноша намного моложе тебя, но у него была твоя манера улыбаться, твои волосы, и он умер у меня на руках. Ничего не говори, сиди и слушай; теперь ты ничего не говори.

Откуда доносился этот голос, который непостижимым образом был голосом Элен? Он звучал так близко, я слышал ее прерывистое дыхание, но не мог поверить, что это она так говорит, повторяя мое имя через каждые несколько слов, бормоча фразы, усеченные, запинаящиеся или вырывающиеся подобно крику, когда она рассказывала мне мою смерть, уделяя мне часть своей долгой одинокой ночи, снова погружая иглу в мою вену. Она рассказывала это мне, пила и курила со мною, рассказывая все это, но я-то знал, что это для нее не важно и никогда важным не было, что в той смерти, которая была похожа на мою смерть, родилось нечто иное, и тогда явилась кукла, и кто-то эту куклу уронил — точно так же кто-то мог попросить кровавый замок или смотреть на дом с горельефом василиска, собирая воедино все это, ныне ставшее рыданием в голосе Элен. Я понял, что, если бы я мог выйти вместе с нею на том углу, где ее потерял, все, возможно, сложилось бы иначе — хотя бы потому, что, находясь рядом с Телль, я бы не испытывал такого отчаяния и, возможно, у Телль не возникла бы ироническая прихоть послать куклу. Но пока все рушилось, потому что я знал твердо лишь одно — что Элен и я никогда не сойдем вместе ни на каком углу в городе или где бы то ни было, и, хотя когда-то она снисходила до нескольких любезных слов или до дружеской прогулки вдоль канала Сен-Мартен, по сути, мы нигде не встретимся, и ее новый голос, это истеричное упоминание моего имени через каждые несколько слов, этот плач, который наконец разрешился теперь в осязаемые слезы, в стекавшие по ее щекам искрящиеся капли, которые она гасила тыльной стороны ладони, а они опять вспыхивали, — все это не имело ко мне никакого отношения, и в душе она опять отвергала меня, видя во мне постороннего и несносного свидетеля наихудшего, что могло приключиться с Элен, свидетеля горя Элен и слез Элен. Мне хотелось бы этого избежать, возратить ее в прежнюю, вежливую

отчужденность, чтобы когда-нибудь она могла простить мое присутствие при ее поражении, и в то же время я испытывал неопишное наслаждение, видя ее слабой и сломленной под бременем чего-то, что вырвало ее из привычного въедливого отрицания жизни, что заставляло ее плакать и смотреть мне в глаза, что вынуждало ее, запятнанную и обиженную, брести с тем пакетом, увязая в теплой топи слов и слез. Снова и снова говорила она мне о мертвом юноше, меняя нас местами в замедленном горячечном бреде, который то уводил ее в палату клиники, то возвращал к монологу передо мной (я погасил в гостиной все лампы, кроме одной в углу, чтобы Элен могла плакать, не утирая слезы досадливым жестом), и временами казалось, будто я и есть тот лежащий на койке больной и она говорит ему обо мне, но вдруг все менялось, и она, рукою утирая слезы, будто срывая с себя маску, опять обращалась ко мне и повторяла мое имя, и я знал, что все это ни к чему, что ее маска всегда на ней, что не из-за меня она отчаивается и что где-то там внутри есть другая Элен, и та другая Элен все выходит на углу, и мне не дано ее догнать, хотя бы она была у меня в объятьях. И та Элен, что удалялась, неся пакет, та, что понапрасну плакала передо мной, навсегда упрячет ключи от кровавого замка; да, моя последняя, жалкая свобода состояла в том, что я мог вообразить что угодно, мог выбрать любую Элен среди многих, которых во время бесед в кафе предположительно рисовал то мой сосед, то Марраст, то Телль, мог воображать ее фригидной, или пуританкой, или просто эгоисткой, или злокой, жертвой своего отца или что-нибудь еще похуже, жрицей, приносящей таинственную, непостижимую жертву, — такую мысль внушило мне что-то на углу улицы Вожирар и еще в желтом пятне света от потайного фонаря, ищущего горло юной англичанки, — но какое все это имело значение, если я ее любил, если крохотный василиск, когда-то вспыхивавший зелеными искрами на ее груди, был символом вечного моего рабства.

Потом я вдруг перестала говорить — возможно, это Хуан попросил меня замолчать, во всяком случае, он погасил лампы и неустанно протягивал мне свой носовой платок, стараясь не смущать меня взглядом в лицо, как будто он занят лишь своей сигаретой да стаканом виски и ждет, пока усталость и отвращение к самой себе не обессилят меня, как ждал, когда догорит в его руке спич-

ка, которую затем отшвырнул. Когда я погрузилась в безмолвие, которое где-то внутри боролось с царапавшими горло шипами, он сел рядом, вытер мне лицо, налил виски в мой стакан, зазвенели кусочки льда. «Выпей залпом,— сказал он,— ничего лучше для нас пока не придумаешь». Терпкий и свежий запах его одеколona смешался с ароматом виски. «Не знаю, удалось ли тебе понять,— сказала я,— мне хотелось бы, чтобы ты понял хотя бы то, что ничего не делается по нашей воле, что я заставила тебя страдать не из-за порочности, что я убила тебя не ради удовольствия». Я ощутила его губы у моей руки и их легкий поцелуй. «Я не умею так любить,— сказала я,— и напрасно думать, будто привычка, повседневность тут помогут. Отдалась ли Диана Актеону, это неизвестно, но важно то, что она бросила его псам и, верно, с наслаждением смотрела, как они его терзают. Я не Диана, но чувствую, что где-то во мне притаились псы, и я не хотела бы, чтобы они разорвали тебя на части. Теперь в ходу внутривенные инъекции, я это говорю символически, и мифология совершается в гостиной, где курят английскую сигару и рассказывают истории, также символические,— человека убивают гораздо раньше, чем принимают его как гостя, и наливают ему виски, и оплакивают его смерть, пока он предлагает свой носовой платок. Возьми меня, если хочешь,— видишь, я ничего тебе не обещаю, я остаюсь такой, как была. Если ты считаешь себя более сильным, если полагаешь, что сможешь меня изменить, возьми меня сейчас же. Это наименьшее, что я могу тебе дать, и это все, что я могу тебе дать». Я почувствовала дрожь его тела, подставила ему свои загрязненные словами губы, полная благодарности за то, что он вынудил меня замолчать, превратил меня в послушный его объятьям предмет. К рассвету я наконец уснула (он курил, лежа на спине, в комнате было темно) — разглядев его профиль, освещенный тлеющей сигаретой, я зажмурила глаза, пока не стало больно, пока я не провалилась в сон без сновидений.

Когда пластиковое покрывало было спущено и муниципальный оркестр Аркейля заиграл «Sambre-et-Meuse»<sup>1</sup>, первые комментарии, услышанные моим соседом, были:

---

<sup>1</sup> «Самбр-э-Мез» — популярный французский марш.

но у него же нет ни меча, ни щита / это в духе Пикассо / а где голова? / он похож на осьминога / *dis donc, ce type-là se fout de nos gueules?*<sup>1</sup> / а что там вверху, чемодан? / правую руку он держит на заднице / это не задница, это Галлия / какое зрелище для детей / нет, религия погибла / а обещали лимонад и флажки / *ça alors* / теперь я понимаю Юлия Цезаря / ну-ну, не надо преувеличивать, тогда были другие времена / только подумать, что Мальро это допускает / он что, голый? А вот это у него внизу, это что? / бедная Франция / я пришла, потому что получила приглашение на такой голубой изящной карточке, но клянусь тебе всем, что есть самого святого, если бы я подозревала /

— Но, тетенька, это же современное искусство,— сказала Лиля.

— Не толкуй мне о всяких футуризмах,— сказала госпожа Корица.— Искусство — это красота, и оно кончилось. Вы же не станете мне возражать, молодой человек?

— Нет, сударыня,— сказал Поланко, который веселился, как боров у корыта.

— Я обращаюсь не к вам, а вот к этому молодому человеку,— сказала госпожа Корица.— Известно, что вы и ваши собутыльники — закадычные друзья создателя этого чудовища, и зачем я только пришла, о боже!

Как обычно, рассуждения госпожи Корицы мгновенно вызывали у дикарей желание объяснить все на свой лад. «Ути, ути, ути»,— сказал мой сосед. «Ата-та по попке»,— сказала Телль. «Буки-буки-бук»,— сказал Поланко. «Вот я вам зададу»,— сказал Марраст, которому, разумеется, полагалось защищать статую. «Бисбис, бисбис»,— сказала Сухой Листик. «Ути, ути»,— сказал мой сосед. «Бух»,— сказал Калак, надеясь, что это односложное словечко закроет дискуссию. «Гоп, гоп»,— сказал Марраст, желавший, напротив, ее подогреть. «Бисбис, бисбис»,— сказала Сухой Листик, которую слегка обеспокоило направление спора. «Гоп, гоп, гоп»,— настаивал Марраст, который никогда бы не дал наступить себе на мозоль. «Бух»,— сказал Калак, с удовлетворением глядя, как госпожа Корица поворачивает к ним спину в фиолетовую полоску и тащит прочь Лилу, бросающую на них грустные и все более удаляющиеся взгляды. Обо всем этом и еще о

---

<sup>1</sup> Послушай, этот тип издевается над нами, что ли? (*франц.*)

многим они могли всласть поболтать в поезде на обратном пути, сморенные усталостью и лимонадом, от которого в желудках чувствовалось приятное томление, и сожалели только о том, что Маррасту пришлось остаться в Аркейле, в окружении эдилов, которые собирались прикрыть банкетом свое желание разmozжить ему голову. Дикарям статуя героя показалась великолепной, и они были убеждены, что никогда еще глыба антрацита не высилась со столь точно рассчитанным вызовом на какой-либо французской площади, не говоря о том, что идея поместить пьедестал сверху представлялась им вполне логичной и не требующей пояснений — во всяком случае, Калаку и Поланко, сумевшим сломить робкое сопротивление Телль, для которой русалочка Андерсена в копенгагенском порту оставалась абсолютным идеалом в области скульптуры.

Поезд был почти пуст и проявлял явную склонность останавливаться на всех станциях и даже между оными, но, так как никто никуда не спешил, друзья рассеялись по вагону, где вечернее солнце изображало всевозможные кинетические картины на спинках и сиденьях, способствуя художественному настроению, с каким дикари вошли в вагон. На скамейке в глубине Николь и Элен тихо курили и только изредка нарушали молчание, чтобы прокомментировать суждения госпожи Корицы, грусть Лилы, которой пришлось оторваться от лицеzрения Калака, и то усердие, с каким дочь Бонифаса Пертейля старалась восхищаться всем, чем восхищался Поланко в вопросах открытия монументов. Так славно было в этом полупустом вагоне, где разрешалось курить, переходить с места на место, чтобы поболтать и повздорить с друзьями, посмеяться над лицами Селии и Остина, которые, держась за руки, любовались пригородным пейзажем, как если бы то была Аркадия; мы чувствовали себя почти как в «Клюни», хотя не хватало Курро и кофе, хотя бедняге Маррасту пришлось остаться на этот треклятый банкет, — и каждый развлекался или отвлекался по-своему, уж не говоря о том волнующем мгновении, когда контролер обнаружил, что у Калака нет билета, и предъявил ему огромный желтый лист бумаги с указанием штрафа и строгим предупреждением — к безграничному веселью Поланко, и Телль, и моего соседа, и все это вперемежку с воспоминаниями о кораблекрушении и об открытии памятника, но вот наконец мой сосед вытащил улитку

Освальда и попытался выяснить (заключая пари), сумеет ли Освальд проползти по верху спинки одного сиденья, пока поезд покроет дистанцию от Аркейля до Парижа, — тут присутствовал и некий поэтический момент, идея перпендикулярного перемещения Освальда по отношению к движению поезда и воображаемая диагональная результирующая двух перекрестных движений и их соответственных скоростей.

Обычно после поездок и разлук дикари встречались с волнением, радостью и воинственным задором. Еще в конце торжественного открытия памятника они заспорили о каком-то сне моего соседа, по мнению Калака, подозрительно походившем на фильмы Милоша Формана, и Телль вмешалась, чтобы слегка изменить развязку, в чем ее тут же уличил мой сосед, а Поланко и Марраст внесли дополнительные предложения, чем довели этот сон до таких масштабов, которые его автор объявил чистойшей фантазией. Теперь дорожное настроение побуждало их к ностальгии и задумчивости, а те, кто взаправду заснули и временами видели сны, не испытывали желаний поделиться ими. Дремлющий Поланко с чувством, похожим на нежность, вспоминал о том, что дочь Бонифаса Пертейля явилась на открытие, иначе говоря, продолжает его любить, несмотря на кораблекрушение, хотя противовесом этим сентиментальным грезам была неотвязная мысль, что он остался без места и придется искать другую работу. «Водитель такси, — подумал Поланко, который всегда выбирал себе хорошую работу, а потом соглашался на любую. — Будет у меня такси, буду ездить ночью, подбирать подозрительных пассажиров, и они будут меня возить в самые немыслимые места, ведь на самом-то деле везет пассажир, и такси приезжает в незнакомые места, в тупиковые улочки, и там что-то случается, и ездить ночью всегда немного опасно, а потом, малыш, можно спать днем, а это для молодцов вроде меня самое разлюбезное дело».

— Буду всех возить бесплатно, — заявил Поланко, — по крайней мере первые три дня, а потом спущу флаг и уже не подниму его до греческих календ.

— О чем это он? — спросил Калак у моего соседа.

— Что до флага, можно полагать, что он заразился муниципальным патриотизмом сегодняшнего торжества, — сказал мой сосед, подбадривая Освальда, который всегда немного унывал, начиная с третьего сантиметра. — Не



дрейфь, братец, гляди, как бы из-за твоей слабины я не потерял тысячу франков. Смотрите, смотрите, как он реагирует, право, я настоящий Легисамо слизняков, глядите, какая живость в его рожках.

— Бисбис, бисбис,— сказала Сухой Листик, которая пари не заключила, но все равно волновалась.

Калак сидел в углу с тетрадкой и набрасывал план книги или что-то вроде того, время от времени, между двумя затяжками, поглядывая на сидящих напротив Элен и Николь и улыбаясь им без особой охоты, а так, по привычке, отчасти потому, что ему было не очень-то приятно смотреть на Николь, а главное, потому, что он глубоко погрузился в литературу и все прочее было для него вроде игры бабочек моли. Именно тогда Поланко заговорил с ним про такси, и Калак нелюбезно ответил, что никогда не сядет в такси, где водителем будет такой бурдак. Даже бесплатно? Тем более, потому что это всего лишь спекуляция на чувствах. Даже на пять кварталов, попробовать дорогу? И на два метра не сяду.

— Вы, дон, здесь не ко двору,— сказал Поланко.— И нечего тыкать мне свою тетрадь, где вы делаете заметки. Заметки о чем, спрашиваю я?

— Настало время,— сказал Калак,— чтоб кто-нибудь описал эту коллекцию ненормальных.

— Et ta soeur<sup>1</sup>,— сказала Тель, не уступая ему ни пяди.

— Не обращай на него внимания,— презрительно отозвался Поланко,— можно себе представить, что способен написать такой финтихлюпик. Че, скажи-ка, по какой причине ты не возвращаешься в Буэнос-Айрес, ты там вроде бы фигура известная, только непонятно почему.

— Сейчас тебе объясню,— сказал Калак, складывая тетрадь наподобие японского веера, что было знаком сильного гнева.— Я не могу решить важнейшую задачу, а именно: там многие меня очень любят *in absentia*<sup>2</sup>, и, если я вернусь, наверняка поссорюсь с ними со всеми, не говоря о том, что там еще есть уйма хлыщей, которые меня отнюдь не любят и будут в восторге, когда я поссорюсь с теми, кто меня очень любит.

Объяснение было встречено, как и следовало ожидать, минутой молчания.

---

<sup>1</sup> И твою сестру (франц.).

<sup>2</sup> В отсутствие (лат.).

— Вот видишь,— сделал надлежащий вывод Поланко,— куда лучше бы тебе сесть в мое такси, там таких историй не будет. А вы как думаете, слипинг бьюти? <sup>1</sup>

— Не знаю,— сказала Николь, очнувшись от долгой задумчивости,— но я готова сесть в твое желтое такси, ты такой добрый, и ты повезешь меня в...

— Довольно неопределенный адрес,— пробормотал Калак, снова открывая тетрадь.

— Да, красавица, я тебя повезу,— сказал Поланко,— а этого финтихлюпика мы оставим в дураках, если только вы, сударыня, не потребуете от меня чего-то другого. Ладно, согласен, пусть он садится, пусть, но скажите, разве это жизнь?

Почему бы нет, в конце-то концов, почему бы Калаку не сесть в такси вместе с Николь и почему такси вдруг желтое? Рука крепко сжимала тетрадь, и карандаш остановился на слове «остановился», но ведь Калак уже столько раз сопровождал Николь в самые нелепые места, сидел с ней на диване в музее, провожал на вокзал, чтобы подать ей в окно вагона карамельки, они даже поговаривали о совместном путешествии, и, хотя они бы на это не пошли, Калака порадовало, что Николь пригласила его в желтое такси несмотря на гнев Поланко. Он поглядел на нее улыбаясь и снова укрылся за своей тетрадью — что-то говорило ему, что Николь опять ушла далеко, что она еще слаба и ей не хочется участвовать в играх, она была погружена в созерцание улицы, идущей на север (но этого Калак уже не видел), в дальнем конце которой блестела вода канала обманным блеском, потому что у горизонта параллельные аркады встречались и, возможно, то поблескивал какой-нибудь дом-башня из алюминия и стекла, а вовсе не вода канала; все равно оставалось только идти по этим галереям, без определенной причины переходя с одного тротуара на противоположный, и квартал за кварталом приближаться к тому далекому блеску, почти наверняка исходившему от канала в вечернем свете. Спешить не стоило, в любом случае, когда приду на берег канала, я буду чувствовать себя грязной и измученной, потому что в городе я всегда какая-то усталая и вроде бы грязная, и, возможно, поэтому так часто приходится тратить безумно много времени на коридоры отеля, которые ведут в ванны, где потом нельзя вы-

---

<sup>1</sup> Спящая красавица (англ.).

мыться, потому что либо двери сломаны, либо нет полотенца, но что-то мне говорило, что теперь больше не будет ни коридоров, ни лифтов, ни уборных, что на сей раз не будет задержек, и улица с аркадами приведет меня наконец к каналу — так же как рельсы (но этого уже не видела Николь) вели поезд из Аркейля в Париж, — и блестящий след, усердно выписываемый Освальдом, вел его с одной стороны спинки сиденья на другую, пока окружавшие его делали все более точные расчеты и их спортивный азарт разгорался.

— Еще шажок, Освальд, ну же, не подведи меня, а то вон уже мерцают огни столицы, — подбадривал его мой сосед. — Четыре с половиной сантиметра за тридцать восемь секунд, отличная средняя скорость; если и дальше так пойдет, можете прощаться с тысячью франков, слава богу, что я нынче утром дал ему добавочную порцию салата в предвидении волнений, связанных с открытием памятника, видите, метаболизм у него соответственный, о, это животное — утеха моей жизни.

— Когда он дойдет до этого черного пятна, похожего на след от смачного плевка, он затормозит всеми четырьмя рожами, — пророчил Поланко.

— Ты дурень, — сказал мой сосед. — Для него нет ничего вкусней слюны, даже высохшей. Последний этап он проделает на повышенной скорости, у него железная воля.

— Вы, дон, его подзуживаете своими речами, так любой может выиграть, — возмутился Поланко. — Иди-ка сюда, Сухой Листик, поддержи меня, видишь, этот тип злоупотребляет своим красноречием.

— Бисбис, бисбис, — выказала свою солидарность Сухой Листик.

— И вон та особа пусть подойдет, не все ж о лютнях толковать, — проворчал Поланко. — Малышка, поди сюда на минутку. Ах, была бы тут моя толстуха, вот у кого азартная душа.

Селия неопределенно улыбалась, будто не понимая, и продолжала слушать Остина, который горячо толковал ей о различиях между виолами, арфами и пианино. Она не могла не видеть Элен, хотя старалась ее избегать весь день, с самого прибытия на площадь Аркейля, когда Элен поздоровалась с дикарями, *just back from England*<sup>1</sup>, и принялась болтать с Николь и Телль. Со своего почет-

---

<sup>1</sup> Только что (возвратившимися) из Англии (англ.).

ного места среди эдилов Марраст сделал жест приветствия и благодарности, и Элен ему улыбнулась, точно подбадривая у подножия эшафота. Так дикари встретились снова и были очень довольны, но Селия прилипла к руке Остина, немного сторонясь их всех, а когда садились на поезд, то в надежде, что Элен сядет рядом с Николь, она выбрала себе место в другом конце вагона. Здесь, сказала она, указывая на скамью, где они сидели бы спиной к дикарям, но Остин отказался так ехать и, поясняя различие между клавишином и клавибордами, не сводил глаз с Элен, которая курила и временами смотрела журнал. Николь сквозь дремоту также смутно почувствовала, что глаза Остина прикованы к Элен, и, лениво спросив себя, с чего бы, тут же потеряла к этому интерес.

— Пожалуйста, не смотри на нее так,— попросила Селия.

— Я хочу, чтобы она знала,— сказал Остин.

Ну да, bébé<sup>1</sup>, как же мне не знать, можно ли себе представить, чтобы Селия смолчала, достаточно было увидеть их вместе на площади, и я сразу поняла, что все рассказано и как это правильно, что рассказано; вот и еще раз подушка оказалась удобным мостиком для тайн, и в какую-то минуту Остин, наверно, приподнялся, опершись на локоть, и посмотрел на нее так, как он смотрит на меня теперь, со всей суровостью, присущей невинным душам, потом захотел узнать все-все, и Селия закрыла себе лицо руками, и он отвел ее руки и повторил вопросы, и все было высказано обрывочными фразами попеременно с поцелуями и ласками, и получено что-то вроде прощения, которого ей было незачем просить, а ему давать, вроде некоего аттестата на право жить такими вот счастливыми дурачками, держась за руки и любясь печными трубами и начальниками всех станций от Аркейля до Парижа. «Потом он, наверно, тоже рассказал ей про Николь,— сказала себе Элен: — и Селия, наверно, всплакнула, потому что всегда любила Николь и понимает, что потеряла ее как подругу, что потеряла нас обеих, Николь и меня, но ей, конечно, и в голову не приходит, что каким-то странным образом она потеряла Николь из-за того, что бежала от меня и оказалась между Николь и этим юнцом, так же как юнцу не придет в голову, что он должен не ненавидеть меня, но благодарить за

---

<sup>1</sup> Дитя (франц.).

Селию, и что мой сосед прав, говоря, что Сартр сумасшедший и что мы в гораздо большей степени являемся суммой чужих поступков, чем своих собственных. Вот и ты сидишь там спиной ко мне, вдруг какой-то умудренный и погрустневший, ну чем помогла тебе твоя прозорливость, если в конце концов ты тоже пляшешь под ту же безумную музыку. Что же тут делать, Хуан, остается лишь закурить еще одну сигарету и разрешить обиженному bébé смотреть на меня, подставить ему свое лицо как географическую карту, чтобы он выучил его на память».

— Вон там, на лугу, смотри,— сказала Селия.

— Это корова,— сказал Остин.— Но вернемся к водяному органу...

— Черно-белая! — сказала Селия.— А какая красивая!

— Да, и у нее даже есть теленок.

— Теленок? Остин, выйдем сейчас же, пойдем взглянем на нее поближе, я никогда по-настоящему не видела корову, клянусь.

— В этом нет ничего удивительного,— сказал Остин.

— Мы сейчас подъезжаем к станции, потом мы можем сесть на следующий поезд, выйдем не прощаясь, чтобы никто не заметил.

Николь приоткрыла глаза и, будто в тумане увидев, как они прошли к выходу, подумала, что они переходят в другой вагон, желая уединиться; сейчас они были столь же далеки от нее, как Марраст, в окружении эдилов входящий после обмена мнениями в банкетный зал, как Хуан, сидящий к ней спиной возле скамьи, на которой обсуждались гонки,— все они виделись ей смутными, далекими, Остин уходит, Марраст далеко, Хуан сидит к ней спиной, и это даже лучше, так проще идти по улице, ведущей на север — хотя в городе никогда не светило солнце, было известно, что канал находится на севере, и речь всегда шла о том, что надо идти к каналу, который, однако, мало кто видел, мало кому довелось следить за бесшумным движением плоских барж к заливу, откуда уходят в рейс к пресловутым островам. Идти под сенью аркад становилось все труднее, Николь замедляла шаг, но она была уверена, что вдали блеснит канал, а не дом-башня и что блеск этот укажет ей, что делать, когда она подойдет к берегу, но теперь она этого знать не может и не может ни у кого спросить, хотя рядом сидит Элен и время от времени предлагает ей сигарету или

говорит об открытии памятника, да, Элен, у которой было бы так просто спросить, добиралась ли она когда-нибудь до канала или же всегда должна была возвращаться на трамвае или входить в номер отеля и снова видеть веранды, и плетеные кресла, и вентиляторы.

— Этой статуе не хватает жизни,— настаивала Телль, хранившая верность бронзовой русалочке,— и пусть Верцингеториг похож на гориллу, которая поднимает фисгармонию, ты меня не переубедишь. Не думай, что я не сказала этого Маррасту, и он в душе был со мной почти согласен, хотя единственное, что его интересовало,— это известия от Николь, кроме того, он, кажется, совсем засыпал от речей.

— Бедный Марраст,— сказал Хуан, усаживаясь рядом с Телль на скамейку, где прежде сидели Селия и Остин,— представляю его там, в зале, в окружении эдилов и лепнины, что одно и то же, сидит несчастный и жует остывшие бараньи котлеты, как обычно на таких ужинах, и думает о нас, которым так славно здесь, на этих скамейках из натуральной сосны.

— Столько сочувствия Маррасту,— сказала Телль,— а для меня ни словечка доброго. Подумайте, я же день и ночь воевала в Лондоне, чтобы спасти эту дуреху, и не успела сюда приехать, как должна выносить его приставания — он, видите ли, никак не может понять, сто раз спросил меня, приехала ли Николь на открытие добровольно или потому, что я ей навязала свой динамизм, клянусь, так он выразился. Бедняга помирал от желания подойти к нам, но его окружали эдилы, а Николь была в толпе где-то сзади — представляешь сценку?

— Не понимаю, зачем тебе понадобилось ее привозить,— сказал Хуан.

— Она настаивала, сказала, что хочет издали взглянуть на Марраста, причем сказала так, что это прозвучало... Право,— добавила Телль со зловещим вздохом,— сегодня все здесь глядят друг на друга с таким видом, что в Копенгагене этого бы не понял сам Сёрен Кьеркегор. И ты, и вон ты...

— Глаза — это у многих из нас единственные оставшиеся руки, милочка,— сказал Хуан.— Не старайся слишком много понимать, не то лимонад тебе повредит.

— Понимать, понимать... А ты-то понимаешь, что ли?

— Не знаю, возможно, что нет. Во всяком случае, мне это уже ни к чему.

— Ты спал с ней, ведь правда?

— Да,— сказал Хуан.

— А теперь?

— Мы с тобой, кажется, говорили о глазах?

— Ну да, но ты сказал, что глаза — это руки.

— Пожалуйста,— сказал Хуан, глядя ее по голове.—

В другой раз, только не теперь. For old time's sake, my dear<sup>1</sup>.

— Ну конечно, Хуан, прости,— сказала Телль.

Хуан еще раз погладил ее по голове — это он тоже по-своему просил у нее прощения. Несколько незнакомых пассажиров вышли на станции, скудно освещенной желтыми фонарями, разбросанными среди деревьев, навесов и железнодорожных платформ, в их свете лица и предметы там, снаружи, были полны уныния, но вот поезд после хриплого и вроде бы ненужного свистка стал медленно отъезжать и снова углубился в полумрак, который вдруг прорезали кирпичные трубы, дерево, уже почти скрытое темнотой, или другая, плохо освещенная станция, где поезд останавливался попусту, потому что больше никто не садился, по крайней мере в тот вагон, где осталась наша маленькая компания: Элен, и Николь, и Сухой Листик, и Освальд, и Телль, и Хуан, и Поланко, и Калак — все те же, кроме Марраста, который, сидя среди эдилов, воображал себе этот вагон, мысленно вызвал его образ в разгаре банкета и словно ехал в Париж вместе с дикарями, подобно тому как днем, на открытии памятника, он как бы мысленно вызвал присутствие Николь на площади, Николь с сомнамбулическим лицом выздоравливающей, которая впервые выходит на солнце об руку с дипломированной медсестрой нордического типа, но нет, то был не вымысел, недовольная, ты действительно стояла там в последних рядах, стало быть, ты приехала посмотреть на открытие моей статуи, ты приехала, да, приехала, недовольная, и, кажется, в какое-то мгновение ты мне улыбнулась ободряюще, как улыбнулась и Элен, чтобы хоть на миг избавить меня от эдилов и от представителя общества историков, который сейчас готовится, будь он неладен, прославить память Верцингеторига, а слева стоял Остин, мой экс-ученик, бывший уроки французского, этот, конечно, не смотрел на меня, потому что так полагается вести себя джентльмену, и я

---

<sup>1</sup> Ради прошлого, дорогая (англ.).

себя спрашивал / *Дамы и господа! Ход истории...* / может быть, это тоже ход истории, может, начавшись у красных домов или у стебля некоего растения в руке британского врача, все пришло закономерно к тому, что меня окружает, к присутствию здесь недовольной / *Еще Мишле заметил...* / и к тому, что во всем этом нет ни малейшего смысла, разве что смысл этот спрятан так, что я не способен его уловить, точно так же как почтенный оратор не способен уловить смысл моей статуи / *Цезарь подвергнет героя унижению, прикажет вести его в цепях в Рим, бросит в темницу и затем велит обезглавить...* / и не может понять, что глыба, которую моя статуя держит в поднятых руках,— это ее собственная голова, отрубленная и гигантски увеличенная историей, это два тысячелетия школьных сочинений и повод для напыщенных речей, и тогда, недовольная, личико мое сахарное, что оставалось мне тогда, как не смотреть на тебя издали, как смотрел я на тебя, стоявшую с дикарями, и начхать на ход истории, на лютниста и на то, что ты сделала глупость, недовольная, на все начхать, и так почти до конца торжества, когда ты обернулась — ты должна была под конец это сделать, чтобы возвратить меня к действительности и к этому мрачному банкету, именно под конец ты и должна была обернуться, чтобы посмотреть на затерянного в толпе Хуана, показать мне его, как историк показывал ход истории и то, как стебель мало-помалу никнет в руке, получившей его, чтобы держать его всегда зеленым, и прямым, и гермодактилусом во веки веков. (*Аплодисменты.*)

Кто-то слегка тронул его плечо, официант сообщил, что ему звонят из Парижа. Это немисливо, повторял себе Марраст, идя вслед за официантом в служебную комнату, нет, не могло быть, чтобы на другом конце провода его ждал голос Николь. И впрямь не могло, как совершенно четко выяснилось из того факта, что голос принадлежал Поланко, да к тому же говорил он не из Парижа, а из телефонной будки на пригородной станции с двойным названием, которое Поланко не запомнил, а также не запомнили мой сосед, и Калак, и Телль, видимо тоже втиснувшиеся в будку.

— Слушай, мы подумали, что ты уже сыт по горло речами, и звоним тебе, что не худо бы нам встретиться и выпить глоток вина,— сказал Поланко.— Жизнь — это не только статуя, ты меня понял?



— Еще бы не понял,— сказал Марраст.

— Тогда валяйте сюда, дон, и мы тебя ждем, чтобы сыграть в карты или еще чем поразвлечься.

— Согласен,— с готовностью сказал Марраст,— но чего я не понимаю, так это почему вы звоните с какой-то станции. Ты сказал, Освальд? Передай лучше трубку моему соседу, может, тогда я что-нибудь пойму.

В конце концов мы ему растолковали, но времени на это ушло много, потому что слышимость была неважная, к тому же пришлось рассказать предысторию, начиная с пари между моим соседом и Поланко и с замечательного достижения Освальда, который явно должен был победить и преодолел, даже не глядя, черноватое пятно, последнюю надежду Поланко, и до появления типа в форме, который обрушился на нас с грозным выражением лица, очень напоминавшим оскал трупа, и стал требовать, чтобы мы выбросили Освальда в окно под страхом немедленного изгнания из вагона.

— Господин инспектор,— сказал Калак, в подобных случаях всегда вылезавший не вовремя, хотя до той минуты он, казалось, был поглощен своими записями в тетради,— то, что эта игра вполне невинна, не требует доказательств.

— Вы имеете к этому какое-то отношение?— спросил инспектор.

Калак ответил, что нет, но, поскольку Освальд пока еще не в состоянии овладеть французским языком, он считает уместным объявить себя его официальным представителем, дабы уверить в том, что его пробег по спинке скамьи — дело совершенно безобидное.

— Либо эта тварь отправится сейчас же в окно, либо вы трое сойдете на следующей станции,— сказал инспектор, доставая узкую, продолговатую книжицу и не слишком чистым перстом указывая какой-то параграф. Мой сосед и Поланко наклонились, чтобы прочесть этот обвинительный параграф, изображая необычайную заинтересованность, которая должна была скрыть приступ смеха, и ознакомились с похвальной заботой властей о соблюдении гигиены в вагонах. Сам понимаешь, мы сразу же объяснили этому типу, что Освальд куда чище, чем его сестра — сестра этого типа, разумеется,— и мой сосед предложил ему провести пальцем по следу и обнаружить хоть намек на слизь, что этот тип поостерегся сделать. Поезд между тем остановился на какой-то станции (мне

кажется, Николь там вышла, на следующем пролете мы заметили, что ее уже нет в вагоне, возможно, она перешла в другой вагон, чтобы еще подремать, но я думаю, она просто вышла, последовав примеру Селии и лютниста, все вдруг стали романтиками, стали убегать любоваться на коров или собирать клевер), однако настоящая дискуссия еще не началась, и поезд отправился прежде, чем инспектору удалось решить альтернативу: Освальд — окно / мы — дверь. Ясное дело, выиграли мы от этого немного — задолго до прибытия на следующую станцию, вот эту, с двойным названием, инспектор подобрал нам три санитарно-гигиенические статьи и начал вести что-то вроде протокола в своем блокноте, в котором были наготове копирка да прикрепленный к корешку карандаш, довольно удобная вещь, если вдуматься, и тут мой сосед сообразил, что дело может кончиться грубым вмешательством жандарма, и, нежно подхватив Освальда, засунул его в клеточку, не преминув провозгласить моральным победителем гонок, что Поланко уже не отважился оспаривать — ведь было очевидно, что Освальду оставались до финиша всего каких-нибудь два сантиметра, а поезд еще не выбрался из диких зарослей. Уф! Вот так было дело, братец.

— Они просто трусы, — сообщила Маррасту Телль. — Когда мой сосед убрал Освальда, какое право имел инспектор вышвыривать нас из поезда? Почему они позволили прогнать себя как бараны?

— Женщины всегда жаждут крови, — сказал Калак под аккомпанемент одобрительных похрюкиваний Поланко и моего соседа. — Ну же, дон, приезжайте сюда, разопьем бутылку, а потом поедem в Париж.

— Согласен, — сказал Марраст, — но сперва скажите мне название станции.

— Сходи посмотри, — сказал Поланко моему соседу. — Там, на перроне, вот такенная таблица.

— Сходи ты, я должен присматривать за Освальдом, он ужасно разнервничался из-за этого нелепого происшествия.

— Пусть пойдет Телль, — предложил голос Калака, и с этого момента они как будто забыли, что Марраст в Аркейле ждет названия станции, и заспорили до хрипоты, а у Марраста тем временем разыгрывалось воображение, он представлял себе, как Николь среди ночи идет одна в Париж.

— Сборище идиотов,— сказал Марраст,— как вы разрешили ей выйти, зная, что она еще больна, что она быстро устает.

— Они чем-то недовольны,— сообщил Поланко остальным.

— Дай мне Телль. Стоило тебе, дуреха, столько с нею возиться, держать ее весь день под руку, чтобы теперь отпустить одну шагать по полям?

— Торжественные открытия ему во вред,— сообщила Телль.— Он меня оскорбляет, видимо, меня было ужасное.

— Скажи, как называется эта треклятая станция.

— Как называется станция, Калак?

— Не знаю,— сказал Калак.— Вам, дон, следовало бы пойти и прочитать название на перроне, но чего ожидать от подобного бурдака.

— Идите собственной персоной,— сказал Поланко.— Всякий финтихлюпик автоматически служит мальчиком на побегушках. Ну же, сынок, поторопись.

— Они собираются пойти посмотреть,— объяснила Телль Маррасту.— А пока что можешь продолжать меня оскорблять дальше, времени у тебя будет предостаточно. Замечу, кстати, что для Николь, вероятно, полезнее идти одной, чем быть с нами, воздух в вагоне был очень спертый, поверь. А тебя не интересует, к примеру, почему я тоже вышла с этими господами? Меня-то никто не высаживал, я вышла, потому что мне надоело присутствовать при поединках взглядами, разгадывать их бессмысленные головоломки. Во всяком случае, эти трое, хотя они более безумны, однако более здоровы, и было бы неплохо, если бы ты приехал сюда и помирил остальных.

— Название станции,— повторил Марраст.

— По чести говоря, у нее, кажется, нет названия,— сообщил ему мой сосед.— Мы только что выяснили, что это не станция, а что-то вроде переезда, всякие кочегары да машинисты тут выходят и отмечают свои книжечки в автомате, стоящем на перроне. Погоди, погоди, не горячись. Тут какой-то тип сказал Калаку, что мы даже не имеем права звонить из этой будки, не понимаю, как это инспектор оставил нас на такой станции, где у нас нет никаких прав. Погоди, сейчас дам тебе точную информацию. Станция названия не имеет, потому что, как я тебе сказал, это не станция, но предыдущая стан-

ция называется Кюрвизи, а следующая носит шикарное название Лафлёр-Амарранш, фу-ты ну-ты.

Мой сосед повесил трубку с важным видом, чтобы никто не заподозрил, будто Марраст сделал это раньше, чем он.

— Он вне себя,— сообщил мой сосед.— Они его там довели на этих торжествах, сразу видно.

— Принесите мне попить,— попросила Телль.— Вижу, мне снова придется исполнять роль сестры милосердия, этот трижды идиот думает, что Николь не способна передвигаться самостоятельно. В общем, он не так уж не прав, и, раз мы здесь, давайте попробуем ее поискать. Если она сошла там, где вы думаете, далеко уйти не могла.

Они зашагали вдоль путей, в полной темноте, поглядывая во все стороны; в какой-то миг они прошли мимо Николь, которая их опередила, пока они говорили по телефону; прислонясь к стволу дерева, она отдыхала и курила, глядя вдаль на огни Парижа, туфли ее промокли от влажной травы, она докурила последнюю оставшуюся сигарету, прежде чем продолжить свой путь к уже близкому зареву города.

Как часто случается в незавидных пригородных поездах, забыли включить свет, и вагон погрузился в полутьму, которая от дыма многих сигарет сгустилась до осязаемости, стала неким податливым и уютным веществом, приятным для утомленных глаз Элен. Какое-то время она без особого интереса ждала возвращения Николь, полагая, что та либо ищет уборную, либо вышла в тамбур поглядеть на убогий пейзаж с кирпичными зданиями и столбами высоковольтных линий, но Николь не вернулась, как не вернулись Селия и Остин, и Элен все курила, смутно и равнодушно отмечая в уме, что остались с нею только Хуан да Сухой Листик — Сухой Листик была скрыта спинкой скамьи, а тень Хуана иногда двигалась, чтобы взглянуть в одно из окон, и, только когда темнота совсем размыла очертания вагона, Хуан молча сел на скамью напротив.

— Они забыли Сухой Листик,— сказала я.

— Да, бедняжка осталась там, в углу, будто ее потеряли,— сказал Хуан.— Они так были заняты спором с инспектором, что о ней и не подумали.

— Тогда своди ее в «Клюни» сегодня вечером, мы единственные оставшиеся в живых в этом вагоне.

— А ты не придешь?

— Нет.

— Элен,— сказал Хуан.— Элен, вчера вечером...

Это повторялось словно ритуал — они то вставляли взять стакан, то зажигали или гасили лампу или сигарету, то обнимались долго-долго или же бурно, отрываясь друг от друга лишь на миг, будто желание делало нестерпимым малейшее отдаление. И постоянно ощущалось притаившееся где-то безмолвие, в котором пульсирует враждебное время и повторяется жест Элен, прикрывавшей лицо предплечьем, будто она хочет уснуть, и тогда Хуан неуверенной рукой нашаривал простыню, на миг укрывая ее дрожащие от холода плечи, но, тут же снова обнажая, поворачивал навзничь или ласкал ее смуглую спину, снова ища забвенья, начинал все вновь.

Передышки быть не могло, минуты покоя не затягивались долее мимолетного удовлетворения, и вот мы опять смотрим друг на друга, и опять мы те же, что прежде,— вопреки сближению и примирению, сколько бы мы со стонами и ласками ни сплетались, пытаюсь тяжестью наших тел придушить пульсацию того, другого времени, равнодушно поджидающего во вспышке каждой спички, во вкусе каждого глотка. Что нам сказать друг другу, что не будет пошлостью и самообманом, о чем говорить, если нам никогда не перейти на ту сторону и не завершить узор, если мы всегда будем искать друг друга, держа в уме мертвецов и кукол. Что могу я сказать Элен, когда сам чувствую, что так от нее далек, сам все ищу ее в городе, как прежде искал в «зоне», в малейшем движении ее лица, в надежде, что в ее отчужденной улыбке что-то обращено ко мне одному. И однако, я, наверно, сказал ей это — ведь временами мы что-то говорили в темноте, прильнув устами к устам, говорили словами, которые были продолжением ласк или передышкой между ними, чтобы снова привести нас к этой все отодвигающейся встрече, к тому трамваю, в который я вошел даже не ради нее, где я встретил ее просто по прихоти города, по заведенному в городе порядку — чтобы потерять ее почти сразу же, как то бывало прежде в «зоне» и как было теперь, когда я прижимал ее к себе, чувствуя, что она снова и снова ускользает, подобно накатывающей и опадающей волне. И что могла я ответить этой жажде, которая искала меня и пугала, когда его губы припадали

к моим в порыве безмерной благодарности, я, которая никогда не встречала Хуана в городе и не подозревала об этой погоне, срывающейся из-за очередной ошибки, из-за оплошности, из-за того, что он почему-то выходил не на том углу. Что мне было в том, что он с отчаянием обнимал меня, обещая следовать за мной, встретить меня в конце концов, как встретились мы по сю сторону, — если что-то за гранью слов и мыслей наполняло меня уверенностью, что все будет не так, что в какой-то миг придется мне догонять его и нести пакет в назначенное место, и, возможно, лишь тогда, с того мгновения — но нет, нет, и тогда не будет так, и нежнейшая из его ласк не избавит меня от этой уверенности, от этого ощущения пепла на коже, на которой уже начинает просыхать ночной пот. Я сказала это, я говорила о непонятном, навязанном мне поручении, начавшемся без начала, как все в городе или в жизни, сказала, что я должна встретиться с кем-то в городе, а он, видимо, вообразил (его зубы легонько меня покусывали, его руки снова меня искали), что, быть может, он все же успеет, успеет прийти на ту встречу, я угадала по его коже и по его слюне, что эта последняя иллюзия еще у него оставалась, иллюзия, что свидания будет с ним, что наши пути в конце концов сойдутся в каком-нибудь номере отеля в городе.

— Не думаю, — сказала Элен. — Дай бог, чтобы так было, но я не думаю. Там для меня будет то же самое.

— Но ведь теперь, Элен, теперь, когда мы наконец...

— Это «теперь» уже в прошлом, сейчас рассветет, и все начнется сызнова, мы опять увидим глаза друг друга и пойдем.

— Здесь ты моя, — пробормотал Хуан, — здесь и сейчас — это единственно истинное. Какое нам дело до того свидания, до тех невест? Откажись идти, взбунтуйся, швырни проклятый этот пакет в канал или тоже ищи меня там, как я ищу тебя. Не может быть, чтобы мы не встретились, теперь, после всего. Пришлось бы нас убить, чтобы мы не встретились.

Я почувствовал, как она в моих объятиях сжалась, напряглась, будто что-то в ней оборонялось, не хотело уступить. Нам вдруг стало холодно, мы укутались влажной простыней и видели, как забрезжила заря, слышали запах наших утомленных тел, ночной пены, сплывавшей с нас, простертых на берегу, где прилив оставил мусор, щепки, битое стекло. Теперь все уже было в прошлом, как сказала

Элен, и ее чуть теплое тело было в моих объятиях тяжелым, как беспощадный отказ. Я целовал ее, пока она со стоном не отвернулась, я прижимал ее к себе, звал ее, умоляя еще раз помочь мне встретить ее. Я услышал короткий, сухой смешок, и ее рука легла на мои губы, отстраняя меня от ее лица.

— Мы тут так легко все решили,— сказала Элен,— а возможно, в эту самую минуту ты страдаешь оттого, что ходишь голый по коридорам, или оттого, что у тебя нет мыла, чтобы помыться, а я, может быть, пришла туда, куда должна была прийти, и передаю пакет, если его надо передать. Что мы знаем о нас самих там? Зачем воображать себе это в последовательности, когда, возможно, все уже решено в городе, а то, что здесь,— лишь подтверждение?

— Пожалуйста,— сказал Хуан, ища ее губы.— Пожалуйста, Элен.

Но Элен снова засмеялась в темноте, и Хуан отпрянул от нее, и нащупал выключатель, и из небытия появились волосы Элен, прикрывающие закинутую за голову руку, небольшие, торчащие груди, пушок на животе и короткая, полная шея, плечи изящные, но крепкие — их силу ему приходилось покорять, упорно вдавливать их в постель, пока не удавалось припасть к ее стиснутым, твердым губам, а потом заставить разжать их со стоном. Колючий луч света вонзился в последнюю усмешку Элен, и Хуан увидел широко раскрытые глаза, огромные зрачки, выражение торжествующего зла, бессознательного запрета собственному желанию, которое теперь укрылось в руках и ногах, обвивавших тело Хуана, ласкавших его и призывавших, пока он не припал к ее спине, зарывшись губами в волосы, и тогда она сказала «да», она всегда будет с ним, и пусть он выкинет куклу на помойку, пусть освободит ее от этого наваждения, от запаха смерти, еще стоящего в ее доме и в клинике, пусть больше никогда ей не говорит «до свиданья», пусть не позволяет ей брать верх, пусть себя спасет от себя самого, и все это она говорила, словно вновь овладевая им, а потом вдруг стала коротко и резко всхлипывать, будто икала, и это слегка тревожило Хуана, несмотря на одолевавшую его дремоту и сладкое ощущение, что он все это слышал, что все это было, сознание, что теперь не придется догонять Элен в городе, что умерший юноша каким-то образом простил их, и был с ними, и уже никогда

не скажет «до свиданья», потому что теперь «до свиданья» не будет, теперь, когда Элен, свернувшись клубком, спит рядом с ним и временами вздрагивает, но вот он ее укрыл и поцеловал в переносицу, что было так приятно, и Элен открыла глаза, улыбнулась ему и, взяв сигарету, заговорила о Селии.

Она была уверена, что дойдет, хотя идти становилось все тяжелее; теперь не было сомнений, что блеск исходит от канала и что там ее ждет какой ни на есть отдых. Вот уже кончились аркады, а с ними и боязнь забрести в какой-нибудь из тупиков, которыми завершалась улица с высокими тротуарами, или в какой-нибудь коридор отеля. По мостовой, выложенной белыми гладкими плитами, Николь шла к каналу, по пути она сняла мокрые туфли, натиравшие ей ноги, ощутила тепло камня, от которого стало легче идти. Она нагнулась, потрогала одну из плит и подумала, что Маррасту, наверно, понравился бы такой камень, что когда-нибудь, возможно, он тоже пройдет по этой улице и скинет с себя туфли, чтобы ощутить тепло мостовой.

На берегу канала не было ни души, вода цвета ртути текла спокойно, не плыли баржи, и на противоположной стороне, далекой и туманной, никакого движения не было видно. Николь села на парапет, свесив ноги над водой, струившейся внизу на расстоянии четырех или пяти метров. Сигареты кончились, что немного огорчило Николь, она устало пошарила в сумочке — не раз бывало, что где-то на дне находились смятые, но еще годные сигареты. В эти последние минуты — а она знала, что они последние, хотя никогда о них так не думала, даже в тот первый день в «Грешам-отеле», проснувшись после долгого сна, когда поняла, что должна дойти до канала, — она примирилась с иллюзиями, которые днем, в поезде из Аркейля, упорно отвергала. Теперь она могла издали улыбнуться Маррасту, который, наверно, возвращается в Париж один, пресытившийся разговорами и ложью, могла повернуться к Хуану, сидевшему в поезде спиной к ней, могла бесконечно смотреть на него, как если бы он и впрямь был здесь, и, как бывало много раз, понимал, что происходит, и вынимал пачку сигарет и зажигалку, предлагая ей все, что мог предложить с дружеской улыбкой, как по вечерам в «Клюни». Быть может, поэтому — потому



что она уступила призраку Хуана, который, склонясь, предлагает ей сигарету,— ее не слишком удивило, что она видит, как по берегу канала идет худенькая седая женщина, потом, остановясь, с минуту глядит на воду, сует руку в сумочку, где болтается уйма всяких предметов, вытаскивает длинный сигаретный мундштук и предлагает ей, как будто они знакомы, как будто все в городе знакомы, и можно подходить друг к другу, и курить, и садиться на берегу канала, чтобы посмотреть, как пройдет первая тупоногая, плоская, черная баржа, которая уже показалась на востоке и скользит в полной тишине.

«Вот видишь, тебе даже не стоит трудиться выбрасывать куклу,— сказала Элен.— Это ничему не поможет, она все равно будет здесь». Еще не рассвело, мы курили в темноте, больше не притрагиваясь друг к другу, смиряясь с тем, что продолжение ночи и безумия оказалось чем-то холодным, вязким, в чем медленно плавали наши слова. «Ты недоволен? — спросила Элен.— Оставалось открыть эту карту, так вот она на столе, игра честная, дорогой мой. Я говорю с тобой образами, как ты любишь. Карта юной девственницы, разбившей куклу, маленького глупого и девственного святого Георгия, который потрошит твоих василисков». Ее глаза над огоньком сигареты закрывались, уступая усталости от столь долгой прожитой жизни.

— Но тогда, Элен...

— Тебе захотелось приехать, захотелось узнать,— сказала она, лежа все так же неподвижно, как статуя.— Ну что ж, получай все как есть и не жалуйся, больше я ничего не могу тебе дать.

— Почему ты не сказала о ней вчера вечером, сразу как мы вошли сюда?

— А чего ты ожидал? — сказала Элен.— Торжественных признаний на пороге, еще не сняв перчатки? Теперь другое дело, теперь ты знаешь каждую пору на моей коже. Оставалось лишь перейти от куклы к Селии, и этот шаг сделан. Мне это было нелегко, хотя теперь это не имеет значения; как знать, не надеялась ли и я найти там тебя, найти то, что тебя привлекает, что ты и во мне находил привлекательным. Теперь я знаю, не вышло, и значит, оставалось вот это, рассказать тебе финал, честно завершить. Я тебя люблю на свой лад, но ты должен знать — мне все равно, что Селия, что ты или еще что-то,

что придет завтра, я не могу быть вся здесь, что-то во мне всегда остается по ту сторону, и это ты тоже знаешь.

«На Блютгассе»,— подумал Хуан. Закрыв глаза, он отогнал назойливое видение — свет потайного фонаря на полу, угол, откуда ему надо идти дальше в поисках Элен. Но тогда что значит Селия и то, чего она искала в Селии? Как он этому ни сопротивлялся, он чувствовал, что его видение уличает Элен и что он всегда это знал, с того сочельника, с того вечера, когда стоял на углу улицы Вожирар или сидел напротив зеркала с гирляндами, еще тогда я тебя настиг, узнал то, с чем теперь не могу примириться, мне было страшно, и я хватался за что угодно, только бы не поверить, я чересчур тебя любил, чтобы принять эту галлюцинацию, в которой тебя даже не было, где ты была лишь зеркалом, или книгой, или призраком в замке, и я запутался в аналогиях и в бутылках белого вина, я дошел до края и предпочел не знать, согласился не знать, Элен, хотя и мог бы узнать, все говорило мне об этом, и теперь я понимаю, что мог бы знать правду, согласиться с тем, что ты...

— Кто я, Хуан, кто?

Но он курил, не вынимая сигареты из рта, осаждаемый бредовым вихрем слов, упорствуя в своем молчании.

— Вот видишь,— сказала я,— тебе даже не стоит трудиться выбрасывать куклу. Это ничему не поможет, она все равно будет здесь.

Это ничему не поможет, поступки и слова ничему не помогут, как и прежде никогда не помогали в моих отношениях с Элен, разве что посмотреть с другой, непостижимой точки зрения (но нет, она не была непостижимой, это был либо лифт, либо номер, оклеенный обоями в розовую или зеленую полоску, мне уже оставалось только это, и я не мог себе позволить это потерять), разве что мы встретимся как-то совсем по-другому — теперь, когда кожа у нас стала холодной, отдает высохшим, кислым потом, а столько раз произнесенные слова подобныдохлым мухам.

— Человек может ошибаться, сама понимаешь,— сказал Хуан наконец.— Значит, все было не здесь, было не в твоём доме этой ночью. И мне придется и дальше искать тебя, Элен, мне уже неважно, кто ты будешь, мне надо поспеть вовремя, надо сейчас же уходить. Прости

за нескладные речи, я теперь не способен говорить красиво. Пойду, уже почти светло.

В полутьме я видела, как он встал, немного постоял посреди незнакомой ему комнаты, такой высокий, совершенно нагой. Потом услышала шум душа, стала ждать, сидя на кровати и закурив сигарету; когда он вернулся, я включила лампу на ночном столике, чтобы он мог найти свою одежду, и смотрела, как он одевается точными, уверенными движениями. Галстука он не надел, сунул его в карман куртки, прошел мимо стенового шкафа, даже на него не взглянув, на пороге обернулся и сделал левой рукой неопределенный жест, не то прощальный, не то приглашающий ждать, а может быть, просто машинальный, между тем как правая уже открывала дверь. Я услышала стук лифта, первые шумы улицы.

В четыре часа пополудни должно было состояться открытие статуи Верцингеторига. Хуан пошарил в кармане, хотя был уверен, что сигарет не осталось и придется ждать, пока откроется какое-нибудь кафе; он нащупал шелковистую ленту, вытащил свой галстук и уставился на него, как бы не узнавая. Но нашлась также одна сигарета, застрявшая на дне последней пачки. Сидя на каменной скамье среди кустов бирючины на маленькой площади рядом с каналом Сен-Мартен, он курил, не вынимая сигареты изо рта, а между тем его руки, развернув голубую пачку, машинально делали бумажный кораблик; затем, подойдя к каналу, он бросил кораблик в воду. Кораблик упал удачно и поплыл в дружеской компании двух пробок и сухой ветки. Хуан постоял, глядя на него, провел раз другой пальцами по шее, точно что-то там побаливало. Будь у него при себе карманное зеркальце, он посмотрел бы на свою шею, он даже подумал с усмешкой, что возле грязной, черной воды канала лучше не иметь зеркала. Потом снова сел на скамью — одолевала усталость, и он лениво размышлял, что, когда откроется кафе напротив, неплохо бы пойти выпить кофе и купить сигарет, а покамест он сидел и ждал, чтобы течение воды в канале вынесло кораблик на середину канала и он мог следить за ним, не вставая с места.

— Ты не придешь?

— Нет.

— Элен,— сказал Хуан.— Элен, вчера вечером...

В дверях появился кто-то похожий на инспектора, изгнавшего дикарей; стоя на пороге, он оглядел вагон и с возмущением попятился — согласно параграфу двадцатому, с наступлением темноты полагалось включать в поезде свет. Сухой Листик, видимо, уснула, потому что сидела в своем углу совсем тихо; поезд уже давно мчался без остановок мимо бесчисленных пригородных станций, фиолетовыми вспышками озарявших окна и скамьи — безмолвная свистопляска огней и теней. Элен все курила, смутно и равнодушно отмечая в уме, что остались с нею только Хуан да Сухой Листик — Сухой Листик была скрыта спинкой скамьи, а тень Хуана иногда двигалась, чтобы взглянуть в одно из окон, и, только когда темнота совсем размыла очертания вагона, Хуан молча сел на скамью напротив.

— Они забыли Сухой Листик,— сказала Элен.

— Да, бедняжка осталась там, в углу, будто ее потеряли. Они так были заняты спором с инспектором, что о ней и не подумали.

— Тогда своди ее в «Клюни» сегодня вечером, мы единственные оставшиеся в живых в этом вагоне.

— А ты не придешь?

— Нет.

— Элен,— сказал Хуан.— Элен, вчера вечером...

На пороге снова показался инспектор и тут же ушел, оставив дверь открытой. Огни какой-то станции пронеслись по вагону, но Элен вовсе не нужно было света, чтобы перейти из одного вагона в другой, хотя сперва она с трудом прокладывала себе дорогу среди спящих людей и нагромождения свертков и чемоданов в проходах между скамьями, но вот наконец ей удалось выйти в тамбур и сойти с поезда у возвышавшегося на противоположной стороне улицы холма, рядом со станцией обслуживания, возле которой, как водится, была лужа с нефтяными разводами. Оставалось лишь идти вперед, сворачивать на том или другом углу и, как столько раз бывало, узнавать вход в отель, веранду с плетеной оградой на втором этаже, безлюдные коридоры, по которым проходишь в первые пустые номера; пакет становился нелегким и тяжелым, но теперь Элен знала, что после вот этого номера будет короткий коридор, поворот, а там дверь в то помещение, где она сможет отдать пакет и возвратиться на улицу Кле, чтобы поспать до полудня.

Дверь подалась от легкого нажатия пальцев и отворилась в темноту. Элен этого не ожидала, отель всегда был хорошо освещен, но она надеялась, что сейчас зажжется лампочка или кто-то назовет свое имя. Сделав два шага, она прикрыла за собой дверь. Ей хотелось положить пакет на стол или на пол, потому что тесемка резала пальцы; она взяла его в другую руку, постепенно стала различать в глубине комнаты кровать и медленно к ней направилась, ожидая, что ее окликнут. Да, она услышала свое имя, однако голос исходил не из какого-то определенного места или, вернее, прозвучал где-то совсем близко, но уходя вдаль, словно кто-то позвал ее, прощаясь. Ей почудилось, что, слегка протянув руку, она могла бы погладить голову того, чей голос это был, ледяной лоб умершего юноши; стало быть, Хуан был прав, свидание назначено с ним, умерший юноша звал ее, чтобы все стало на место, чтобы владевшее ею безумие обрело смысл, и Хуан проснулся в постели голый — чтобы получить пакет и навсегда уничтожить содержавшуюся в нем мерзость, тяжесть которой все больше резала ее судорожно сведенные пальцы.

— Я здесь,— сказала Элен.

Из темноты появился Остин — короткий кинжал, неуклюжий взмах. Кто-то, похоже женщина, вскрикнул на кровати, Элен не могла понять, откуда это и кто пронзил ее этим огнем, вспыхнувшим в ее груди, но ей еще удалось услышать стук упавшего на пол пакета, хотя то, как упала она сама на что-то, во второй раз разбившееся под тяжестью ее тела, она уже не слышала. В темноте, двигаясь как автомат, Остин нагнулся, чтобы обтереть кинжал о подол Элен. Кто-то крикнул еще раз, убегая через дверь в глубине комнаты. Элен лежала навзничь, с открытыми глазами.

Он тоже вышел, после того как в луче желтого света увидел, что вагон пуст и только Сухой Листик спит на своей скамье,— и было вполне понятно, что единственный правильный путь начинался с того угла, где он так бестолково прекратил поиски, чтобы вернуться на Домгассе, к Телль. Из многих сходящихся тут дорог достаточно было выбрать — теперь это было так ясно — ту, которая вела прямо на большую площадь, затем выйти на одну из боковых, отходивших от площади улиц, и она приведет

к перекрестку, став на котором видишь все совершенно четко; дальше надо свернуть налево, чтобы улица с аркадами осталась позади, выйти к верандам отеля и с легкой иронией осознать, что ничего не изменилось и что придется снова идти по коридорам и номерам без определенного направления, но и без колебаний, переходя из одного номера в другой, выходя на площадку перед лифтом, который будет подниматься вверх мимо этажей без счета и потом скользить по старым мостам, откуда открывается вид города с поблескивающим на севере каналом, пока снова не углубится в отель, и в какой-то момент надо выйти из лифта и найти дверь в номер с обоями в цветочках и полосках, пройти один вслед за другим много номеров до последней двери, открывающейся в такой же номер, только в нем от мертвенного света лампы на ночном столике поблескивают задвижка на двери в глубине, да бронзовые ножки кровати, да открытые глаза Элен.

Хуан махнул рукой у лица, точно отгоняя муху. Даже не опускаясь на колени возле кровати, он мог различить лежащий у нее на груди пакет с повисшей веревочкой, выщепившейся как еще одна струйка крови. Дверь в глубине была распахнута настежь, и он знал эту дверь. Он вышел, спустился по лестнице на улицу, пошел по направлению к северу. Почти сразу же он очутился возле канала, улица выходила прямо на выложенный гладкими плитами берег, окаймлявший ослепительно блестящую воду. Отчаливая от берега, плыла одна из черных, бесшумно скользящих барж, и на ровной палубе был четко виден силуэт Николь. Хуан совершенно равнодушно спросил себя, почему это Николь оказалась на барже, почему она плывет на запад на этой ветхой барже. Николь узнала Хуана, и крикнула ему что-то, и протянула к нему руки, и Хуан сказал себе, что, наверно, Николь собирается броситься в воду, в ртутного цвета узкую полосу между огромной баржей и берегом, и что ему тоже придется броситься в воду, чтобы ее спасти, потому что нельзя ведь допустить, чтобы женщина утонула, и ничего не делать. Тут он увидел на барже второй силуэт, небольшую фигуру фрау Марты, которая приблизилась к Николь сзади, ласково взяла ее под руку, стала что-то говорить ей на ухо, и хотя с берега невозможно было расслышать ее слова, и так было совершенно понятно, что происходит: фрау Марта толковала Николь о преимуществах спокой-

ного и недорогого отеля, и потихоньку отводила ее подалее от борта баржи, и вела куда-то, чтобы познакомить ее с администратором отеля, где ей дадут превосходную комнату на четвертом этаже с видом на старинные улицы.

Когда они вспомнили про Сухой Листик, то переглянулись с укоризненными лицами, но мой сосед сразу придумал, как избежать бесконечных препирательств.

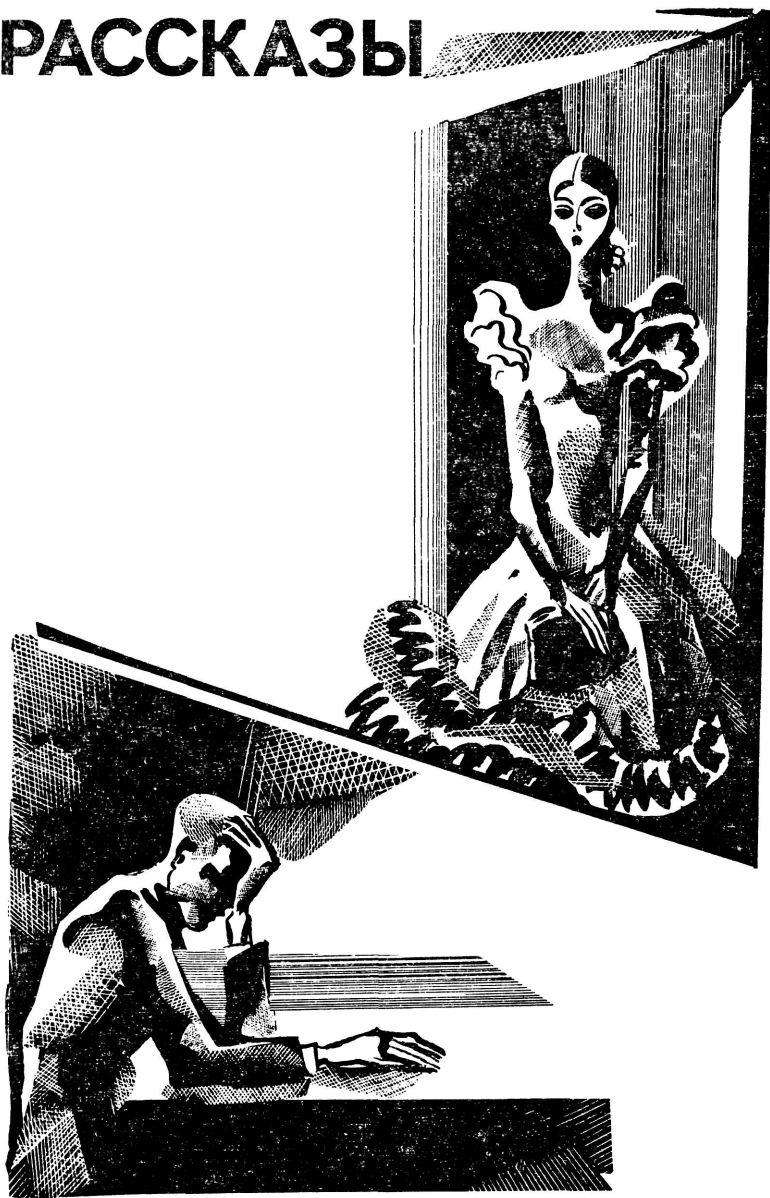
— Мы, как в ковбойских фильмах, приедем раньше, чем поезд, — сказал мой сосед непререкаемо-авторитетным тоном. — Возьмите такси, и мы вызволим Сухой Листик — при той суматохе, что была в вагоне, бедняжка, вполне возможно, осталась одна и ужасно напугана.

— Эй, дон, остановите такси, — сказал Поланко Калаку.

К великому удивлению Поланко, Калак, не протестуя, остановил такси. Телль и все прочие всерьез тревожились из-за Сухого Листика и почти не разговаривали, пока не приехали на станцию Монпарнас и не убедились с облегчением, что до прибытия поезда из Аркейля остается еще восемь минут. Пока они, рассеявшись по перрону, занимали стратегически удобные позиции, чтобы Сухой Листик не затерялась в толпе, мой сосед стал у одного из выходов и закурил, глядя на фонарь, привлекавший рой насекомых; забавно было смотреть, как образовывались и мгновенно распадались многоугольники, которые удавалось закрепить на миг, лишь пристально взглядевшись или зажмурив глаза, и тут же возникали новые комбинации, в которых выделялись из-за своих размеров несколько белых бабочек, комаров да какой-то мохнатый жук. Мой сосед мог бы так провести всю жизнь, были бы только сигареты; и стоило ему остаться одному, как он склонялся к мысли, что, по существу, никогда ничего иного и не было, что нет ничего лучше, как стоять вот так всю ночь или всю жизнь под фонарем, глядя на мошек. Но вот он увидел, как по перрону идет спасательный отряд с Сухим Листиком посередине, целой и невредимой, и она обнимает Поланко, целует Телль, меняется местами с Калаком, который в свою очередь уступает место Телль, так что временами посередине идет Поланко, а по сторонам от него — Сухой Листик и Телль, а потом снова Сухой Листик оказывается в центре, окруженная своими спасителями.

— Бисбис, бисбис, — говорила Сухой Листик.

# РАССКАЗЫ







## «ВОСЬМИГРАННИК»

### ШАГИ ПО СЛЕДАМ

Хорхе Фрага уже переступил порог своего сорокалетия, когда у него созрело решение изучить жизнь и творчество поэта Клаудио Ромеро.

Мысль эта зародилась у Фраги во время одной из бесед с друзьями в кафе, где все снова сошлись во мнении, что о Ромеро как человеке до сих пор почти ничего не известно: автор трех книг, все еще вызывавших восхищение и зависть и принесших ему шумный, хотя и непродолжительный успех в начале нашего века, поэт Ромеро как бы сливался с собственными поэтическими образами и не оставил заметного следа в литературоведческих, а тем более в иконографических трудах своей эпохи. О жизни и творчестве поэта можно было узнать лишь из умеренно хвалебных рецензий в журналах того времени и единственной книжки неизвестного энтузиаста-учителя из провинции Санта-Фе, чье упоение лирикой не оставляло места трезвым умозаключениям. Отрывочные сведения, неясные фотографии, а все остальное — досужие выдумки завсегдатаев литературных вечеров или краткие панегирики в антологиях случайных издателей. Но внимание Фраги привлекал тот факт, что стихами Ромеро продолжают зачитываться так же, как зачитывались когда-то стихами Карриего или Альфонсины Сторни. Сам Фрага открыл для себя поэзию Ромеро еще на школьной скамье, и, несмотря на все усилия эпигонов с их нравоучительным тоном и затасканными образами, поэмы «певца Рио-Платы» произвели на него в юности столь же сильное впечатление, как Альмафуэрте или Карлос де ла Пуа. Однако лишь много позже, став уже довольно

известным критиком и эссеистом, Фрага серьезно заинтересовался творчеством Ромеро и пришел к выводу, что почти ничего не знает о его личных переживаниях, возможно еще более впечатляющих, чем его творения. От стихов других хороших поэтов начала века стихи Клаудио Ромеро отличались особой доверительностью тона, задушевностью, сразу же привлекавшей к себе сердца молодых, которые по горло были сыты пустозвонством и велеречивостью. Правда, во время бесед о поэмах Ромеро с друзьями или учениками Фрага нередко задавался вопросом, не приумножает ли тайна, окутывающая личность поэта, магию этой поэзии, идеалы которой туманны, а истоки неведомы. И всякий раз с досадой убеждался, что и в самом деле таинственность еще сильнее распаляет страсти почитателей Ромеро; впрочем, его поэзия была настолько хороша, что обнажение ее корней никак не могло ее умалить.

Выходя из кафе после одной из таких бесед, где, как обычно, Ромеро прославляли в неопределенно-общих выражениях, Фрага ощутил настоятельную потребность серьезно заняться поэтом. И еще он почувствовал, что на сей раз не сможет ограничиться чисто филологическими изысканиями, как почти всегда делал прежде. Сразу стало ясно — надо воссоздать биографию, биографию в самом высоком смысле слова: человек, среда, творчество в их нерасторжимом единстве, хотя задача казалась неразрешимой — время заволкло прошлое плотной пеленой тумана. Вначале надо было составить подробную картотеку, а затем постараться синтезировать данные, идя по следам поэта, став его преследователем, и, лишь настигнув его, можно будет раскрыть подлинный смысл творчества Ромеро.

Когда Фрага решил приступить к делу, его жизненные обстоятельства складывались критически. У него был известный научный авторитет и должность адъюнкт-профессора, его уважали коллеги по кафедре и студенты. Но в то же время он не смог заручиться официальной поддержкой для поездки в Европу, чтобы поработать там в библиотеках: хлопоты окончились плачевно, наткнувшись на бюрократические препоны. Его публикации не принадлежали к тем, перед которыми распахиваются двери министерств. Модный романист или критик, ведущий ли-

тературную колонку в газете, могли рассчитывать на гораздо большее, чем он. Фрага прекрасно понимал, что, если бы его книга о Ромеро имела успех, самые сложные вопросы разрешились бы сами собой. Он не был тщеславен сверх меры, но кипел от возмущения, глядя, как ловкие борзописцы оставляют его позади. В свое время Клаудио Ромеро с горечью сетовал на то, что «стихотворец великосветских салонов» удостоивается дипломатического поста, в котором отказывают ему, Ромеро.

Два с половиной года собирал Фрага материалы для книги. Работа была нетрудной, но кропотливой и подчас утомительной. Приходилось ездить в Пергамино, в Санта-Крус, в Мендосу, переписываться с библиотекарями и архивариусами, копаться в подшивках газет и журналов, делать необходимые выписки, проводить сравнительный анализ литературных течений той эпохи. К концу 1954 года уже определились основные положения будущей книги, хотя Фрага не написал еще ни строчки, ни единого слова.

Как-то сентябрьским вечером, ставя новую карточку в черный картонный ящик, он спросил себя: а по силам ли ему эта задача? Трудности его не волновали, скорее наоборот — тревожила легкость, с какой можно припустить по хорошо знакомой дорожке. Все данные были собраны, и ничего интересного больше не обнаруживалось ни в аргентинских книгохранилищах, ни в воспоминаниях современников. Он собрал доселе не известные факты и сведения, которые проливали свет на жизнь Ромеро и его творчество. Главное состояло теперь в том, чтобы не ошибиться, найти точный фокус, наметить линию изложения и композицию книги в целом.

«Но образ Ромеро... Достаточно ли он мне ясен? — спрашивал себя Фрага, сосредоточенно глядя на тлеющий кончик сигареты. — Да, есть сходство нашего мироощущения, определенная общность эстетических и поэтических вкусов, есть все, что неизбежно обуславливает интерес биографа, но не уведет ли это меня в сторону, к созданию, по сути, собственной биографии?»

И отвечал себе, что сам никогда не обладал поэтическим даром, что он не поэт, а любитель поэзии и способен лишь оценивать произведения и наслаждаться познанием. Значит, достаточно быть настороже, не забываясь, погружаясь в творчество поэта, дабы случайно не вжиться в чужую роль. Нет, не было у него причин

опасаться своего пристрастия к Ромеро и обаяния его стихов. Следовало лишь, как при фотографировании, так установить аппарат, чтобы тот, кого снимают, оказался в кадре, а тень фотографа не сделала бы его безногим.

Но вот перед ним чистый лист бумаги — словно дверь, которую давно пора открыть, а его снова охватывает сомнение: получится ли книга такой, какой он хотел ее видеть? Обычное жизнеописание и критические экскурсы грозят обернуться легковесной занимательностью, если ориентироваться на читателя, вкус которого сформирован кино и биографиями Моруа. С другой стороны, ни в коем случае нельзя пожертвовать в угоду кучке своих коллег-эрудитов этим безмянным массовым потребителем, которого друзья-социалисты именуют «народ». Необходимо подать материал так, чтобы книга вызвала живой интерес, но не стала обычным бестселлером, одновременно снискала бы признание в научном мире и любовь обывателя, уютно располагающегося в кресле субботним вечером.

Ну чем не переживания Фауста в минуту роковой сделки. За окном рассвет, на столе окурки, бокал вина в бессильно повисшей руке. «Вино, ты как перчатка, скрывающая время», — написал где-то Клаудио Ромеро.

«А почему бы и нет, — сказал себе Фрага, закуривая сигарету. — Сейчас я знаю о нем то, чего никто не знает, и было бы величайшей глупостью писать обычное эссе, которое издадут тиражом экземпляров в триста. Хуарес или Риккарди могли бы состряпать нечто подобное не хуже меня. Но ведь никто и ничего не слышал о Сусане Маркес».

Слова, нечаянно оброненные мировым судьей из Брагадо, младшим братом покойного друга Клаудио Ромеро, навели его на важный след. Чиновник в регистрационном бюро города Ла-Платы после долгих поисков вручил нужный адрес в Пиларе. Дочь Сусаны Маркес оказалась маленькой пухлой женщиной лет тридцати. Сначала она не хотела разговаривать с Фрагой, ссылаясь на занятость (в зеленой лавке), но затем пригласила его в комнату, указала на пыльное кресло и согласилась побеседовать. После первого вопроса с минуту молча смотрела на него, потом всхлипнула, промокнула глаза платком и стала говорить о своей бедной маме. Фрага, преодолев некоторое

смущение, намекнул, что ему кое-что известно об отношениях Клаудио Ромеро и Сусаны, а затем с надлежащей деликатностью немного порассуждал о том, что любовь поэта стоит неизмеримо больше официального свидетельства о браке. Еще несколько таких роз к ее ногам — и она, признав справедливость его слов и даже придя от них в умиление, пошла ему навстречу. Через несколько минут в ее руках оказались две фотографии: одна — редкая, не публиковавшаяся ранее, изображала Ромеро, другая пожелтевшая, выцветшая воспроизводила поэта вместе с женщиной, такой же кругленькой и маленькой, как ее дочь.

— У меня есть и письма, — сказала Ракель Маркес. — Может, они вам пригодятся, если вы уж говорите, что будете писать о нем.

Она долго рылась в бумагах на нотной этажерке и наконец протянула Фраге три письма, которые тот быстро спрятал в портфель, кинув на них беглый взгляд и убедившись в подлинности почерка Ромеро. Он уже понял, что Ракель не была дочерью поэта, ибо при первом же намеке опустила голову и смолкла, будто раздумывая о чем-то. Затем рассказала, что ее мать позже вышла замуж за одного офицера из Балькарсе («с родины Фанхио», добавила она как бы в подтверждение своих слов) и что они оба умерли, когда ей исполнилось всего восемь лет. Мать она помнит хорошо, а отца почти не помнит. Строгий он был, да...

По возвращении в Буэнос-Айрес Фрага прочитал письма Клаудио Ромеро к Сусане, последние части мозаичной картины вдруг легли на свои места, и получилась совершенно неожиданная композиция, открылась драма, о которой невежественное и ханжеское поколение поэта даже не подозревало. В 1917 году Ромеро опубликовал несколько стихотворений, посвященных Ирене Пас, и среди них знаменитую «Оду к твоему дивному имени»<sup>1</sup>, которую критика провозгласила самой прекрасной поэмой о любви из всех написанных в Аргентине. А всего за год до появления этой оды другая женщина получила три письма, проникнутых духом высочайшей поэзии, отличавшим Ромеро, полных экзальтации и самоотреченности, где автор был одновременно и во власти судьбы, и вершителем судеб, героем и хором. До прочтения писем Фрага полагал,

---

<sup>1</sup> Paz — мир, покой (исп.).

что это обычная любовная переписка, застывшее зеркальное отражение чувств, важных лишь для двоих. Однако дело обстояло иначе — в каждой фразе он открывал все тот же духовный мир большого поэта, ту же силу всеобъемлющего восприятия любви. Страсть Ромеро к Сусане Маркес отнюдь не отрывала его от земли, напротив, в каждой строке ощущался пульс самой жизни, что еще более возвышало любимую женщину, служило утверждением и оправданием активной, воинствующей поэзии.

История сама по себе была несложной. Ромеро познакомился с Сусаной в одном непрезентабельном литературном салоне Ла-Платы, и их роман совпал с периодом почти полного молчания поэта, молчания, которое его узколобые биографы не могли объяснить или относили за счет первых проявлений чахотки, сведшей его в могилу два года спустя. Никто не знал о существовании Сусаны — словно тогда, как и позже, она была всего лишь тусклым изображением на выцветшей фотографии, с которой смотрели на мир большие испуганные глаза. Безработная учительница средней школы, единственная дочь старых и бедных родителей, не имевшая друзей, которые могли бы проявить к ней участие. Отсутствие поэта на литературных вечерах Ла-Платы совпало и с наиболее драматическим периодом европейской войны, пробуждением новых общественных интересов, появлением молодых поэтических голосов. Поэтому Фрага мог считать себя счастливым, когда услышал мимоходом брошенные слова провинциального мирового судьи. Ухватившись за эту тончайшую нить, он разыскал мрачный дом в Бурсако, где Ромеро и Сусана прожили почти два года; письма, которые отдала ему Ракель Маркес, приходились на конец этого двухлетия. Первое письмо со штампом Ла-Платы как бы продолжало предыдущее, где речь, вероятно, шла о браке поэта с Сусаной. Теперь он выражал печаль по поводу своей болезни и отвергал всякую мысль о женитьбе на той, которую, увы, ждала скорее участь сиделки, нежели супруги. Второе письмо потрясло: страсть уступала место доводам почти невероятной ясности, словно Ромеро всеми силами стремился пробудить в возлюбленной то же здравомыслие, которое сделает неизбежный разрыв менее болезненным. В одном кратком отрывке было сказано все: «Никому нет дела до нашей жизни, я предлагаю тебе свободу и молчание. Еще более крепкие, вечные узы свяжут меня с тобой, если ты будешь

свободной. Вступи мы в брак, я чувствовал бы себя твоим палачом всякий раз, как ты входила бы в мою комнату с розой в руке». И сурово добавлял: «Я не желаю кашлять тебе в лицо, не хочу, чтобы ты вытирала мне пот. Ты знала другое тело, другие цветы я тебе дарил. Ночь мне нужна одному, и я не позволю тебе смотреть на мои слезы». Третье письмо было написано в более спокойном тоне: очевидно, Сусана уже склонялась к тому, чтобы принять жертву поэта. В одном месте говорилось так: «Ты уверяешь, что я околдовал тебя и вынуждаю уступать своей воле... Но моя воля — твоя будущность, и позволь мне сеять семена, которые вознаградят меня за нелепую смерть».

По хронологии, установленной Фрагой, жизнь Клаудио Ромеро вошла с той поры в монотонно-спокойное русло и мирно текла в стенах родительского дома. Ничто более не говорило о его новых встречах с Сусаной Маркес, хотя нельзя было утверждать и противное. Однако лучшим доказательством того, что самоотвержение Ромеро состоялось и что Сусана в конце концов предпочла свободу, отказавшись связать свою жизнь с больным, служило появление новой, удивительно яркой звезды на поэтическом небосводе Ромеро. Год спустя после этой переписки и разлуки с Сусаной в одном из журналов Буэнос-Айреса появилась «Ода к твоему дивному имени», посвященная Ирене Пас. Здоровье Ромеро, по-видимому, улучшилось, и поэма, которую сам автор читал в различных салонах, вдруг вознесла его на вершину славы, той славы, что исподволь готовилась всем предыдущим творчеством поэта. Подобно Байрону, он мог сказать, что проснулся однажды утром знаменитым, — и он сказал это. Тем не менее вспыхнувшая страсть поэта к Ирене Пас осталась неразделенной, и потому, судя по некоторым довольно противоречивым светским сплетням, дошедшим благодаря стараниям острословов той поры, престиж поэта серьезно пострадал, а сам он, покинутый друзьями и почитателями, снова удалился под родительский кров. Вскоре вышла последняя книга стихов Ромеро. Несколько месяцев спустя у него прямо на улице хлынула горлом кровь, и через три недели он скончался. На похороны собралось немало писателей, но из надгробных слов и хроник можно заключить, что мир, к которому принадлежала Ирена Пас, не проводил его в последний путь и не почтил его память, как все же можно было ожидать.



Фрага без труда представил себе, что любовь Ромеро к Ирене Пас в той же мере льстила аристократии Буэнос-Айреса и Ла-Платы, в какой шокировала ее. О самой Ирене он не мог составить точного представления. Судя по фотографиям, она была красива и молода, остальное приходилось черпать из столбцов светской хроники. Однако нетрудно было вообразить, как складывались отношения Ромеро с этой ревностной хранительницей традиций семейства Пас. Она, вероятно, встретила Клаудио на одном из вечеров, которые иногда устраивали ее родители, дабы послушать тех, кого они называли модными «артистами» и «поэтами», тоном заключаая эти слова в кавычки. Польстила ли ее самолюбию «Ода», побудило ли прекрасное название поверить в истинность ослепительной страсти, звавшей презреть все жизненные препоны,— на это мог ответить, наверное, только Ромеро, да и то едва ли. Но Фрага и сам понимал, что тут не стоит ломать голову и что тема эта не заслуживает развития. Клаудио Ромеро был слишком умен, чтобы хоть на момент поверить в возможность ответного чувства. Разделявшая их пропасть, всякого рода преграды, абсолютная недоступность Ирены, заточенной в тюрьму с двойными стенами, воздвигнутыми аристократическим семейством и ею самой, верной обычаям своей касты,— все это делало ее недосыгаемой для него с самого начала. Тон «Оды» не оставлял в том сомнений: торжественная приподнятость не имела ничего общего с пошлостью трафаретных образов любовной лирики. Ромеро назвал себя «Икаром, павшим к ногам белоснежным», чем вызвал язвительные насмешки одного из корифеев журнала «Карас и каретас»; сама же ода являла собой высочайшее устремление к недостижимому, а потому еще более прекрасному идеалу: отчаянный рывок человека на крыльях поэзии к солнцу, которое обожгло его и погубило. Затворничество и молчание поэта перед смертью разительно напоминало падение с высоты, прискорбный возврат на землю, от которой он хотел оторваться в мечтах, превосходящих его силы.

«Да,— подумал Фрага, подливая себе вина,— все совпадает, все стало на свои места. Остается только писать».

Успех «Жизни одного аргентинского поэта» превзошел все ожидания — и автора, и издателя. В первые две недели почти не было никаких отзывов, а затем вдруг появилась хвалебная рецензия в газете «Ла Расон» и расше-

велила флегматичных, осторожных в своих суждениях жителей столицы: все, кроме ничтожного меньшинства, заговорили об этой книге. Журнал «Сур», газета «Ла Насьон», влиятельная провинциальная пресса с энтузиазмом писали о сенсационной новинке, которая тотчас сделалась предметом разговоров за чашечкой кофе или за десертом. Яростные дискуссии (о влиянии Дарио на Ромеро и о достоверности хронологии) еще более подогрели интерес публики. Первое издание «Жизни поэта» разошлось за два месяца, второе — за полтора. Не устояв перед некоторыми предложениями, возможными материальными выгодами, Фрага разрешил сделать из «Жизни поэта» сценарий для театра и радио. Казалось, подходил момент, когда накал страстей и шумиха вокруг книги достигли пика — или, если хотите, той опасной вершины, из-за которой уже готов вынырнуть очередной любимец публики. Ввиду этой неприятной неизбежности и словно бы в качестве компенсации Фрага был удостоен Национальной премии, правда не без содействия двух друзей, которые успели сообщить ему новость, опередив первые телефонные звонки и разногласный хор поздравителей. Смеясь, Фрага заметил, что присуждение Нобелевской премии не помешало Андре Жиду тем же вечером отправиться смотреть фильм с участием Фернанделя. Возможно, именно поэтому он поспешил укрыться в доме одного приятеля и спастись от бури массовых восторгов, оставаясь настолько спокойным, что даже его сообщник в этом дружеском укрывательстве нашел подобное поведение противоестественным и даже лицемерным. Но все эти дни Фрагу не оставляла странная задумчивость, в нем росло необъяснимое желание отдалиться от людей, отгородиться от того себя, которого создали газеты и радио, от популярности, которая перешагнула границы Буэнос-Айреса, достигла провинциальных кругов и даже вышла за пределы отечества. Национальная премия ему казалась не сошедшей с неба благодатью, а вполне заслуженным воздаянием. Теперь и остальное было не за горами — то, что, признаться, некогда более всего вдохновляло его на создание «Жизни поэта». Он не ошибся: неделей позже министр иностранных дел пригласил его к себе домой («мы, дипломаты, знаем, что хороших писателей не привлекают официальные приемы») и предложил ему пост советника по вопросам культуры в одной из стран Европы.

Все происходило как во сне и было настолько непривычно, что Фрага должен был собраться с силами, чтобы понудить себя взбираться — ступенька за ступенькой — по лестнице славы: от первых интервью, улыбок и объятий издателей, от первых приглашений выступить в литературных обществах и кружках он добрался наконец до той площадки, откуда, почти не склоняя головы, он смог увидеть светское общество, почувствовать себя словно бы его властителем и обозреть вплоть до последнего угла, до последней белоснежной манишки и последнего шиншиллового палантина литературных меценатов и меценаток, жующих бутерброды с foie gras<sup>1</sup> и рассуждающих о Дилане Томасе. А там, дальше — или ближе, в зависимости от точки обозрения или состояния духа в данный момент, — он видел массы отупевших и смиренных пожирателей газет, телезрителей и радиослушателей, большинство которых, не зная, для чего и почему, подчиняется вдруг потребности купить стиральную машину или толстый роман — предмет объемом в двести пятьдесят кубических сантиметров, или триста двадцать восемь страниц, — и покупает, хватая немедля, подчас жертвуя хлебом насущным, и тащит домой, где супруга и дети ждут не дождутся, потому что у соседки «это» уже есть, потому что популярный обозреватель столичной радиостанции «Эль Мундо» опять превозносил «это» до небес в своей ежедневной передаче в одиннадцать пятьдесят пять.

Самым удивительным было то, что его книга попала в каталог произведений, которые рекомендовалось приобрести и прочитать, хотя столько лет жизнь и творчество Клаудио Ромеро интересовали одних лишь интеллектуалов, то есть очень и очень немногих. Когда же, случалось, Фрага снова ощущал необходимость остаться наедине с собой и поразмыслить над тем, что происходит (теперь на очереди были переговоры с кинопродюсерами), первоначальное удивление все чаще уступало место какому-то тревожному ожиданию. Впрочем, впереди могла быть только еще одна ступенька на лестнице славы, и так до того неизбежного дня, когда, как на парковых мостиках, последняя ступень вверх становится первой ступенью вниз, достойным сошествием к пресыщению публики, которая отвернется от него в поисках новых

---

<sup>1</sup> Паштет из гусиной печени.

эмоций. К тому времени, когда он собрался уединиться, чтобы подготовить свою речь при получении Национальной премии, его эмоции, вызванные головокружительным успехом последних недель, свелись к иронической удовлетворенности, отчего и триумф представлялся лишь своего рода сведением счетов, да к тому же еще омрачался непонятным беспокойством, которое иногда вдруг целиком овладевало им и грозило отнести к тем берегам, куда здравый смысл и чувство юмора решительно не давали держать курс. Он надеялся, что подготовка текста выступления вернет ему радость труда, и отправился работать в усадьбу Офелии Фернандес, где всегда чувствовал себя хорошо и спокойно.

Был конец лета, парк уже оделся в цвета осени, и Фрага любовался им с веранды, разговаривая с Офелией и лаская собак. В комнате на первом этаже стоял его рабочий стол с картотекой. Придвинув к себе главный ящик, Фрага рассеянно перебирал пальцами карточки, как пианист клавиши перед игрой, и повторял, что все идет хорошо, что, несмотря на вульгарный практицизм, неизбежно сопровождающий большой литературный успех, «Жизнь поэта» является достойным трудом, служит нации и родине. И можно с легким сердцем приступить к написанию речи, получить свою премию, готовиться к поездке в Европу. Даты и цифры мешались в его голове с параграфами договоров и часами приглашений на обед. Скоро должна была прийти Офелия с бутылкой хереса, молча сесть неподалеку и с интересом наблюдать, как он работает. Все шло прекрасно. Оставалось только взять лист бумаги, придвинуть лампу и закурить, слушая, как кричит вдали птица теро.

Он так никогда и не смог вспомнить, открылась ли ему истина именно в эту минуту или позже, когда они с Офелией, насладившись любовью, лежали в постели, дымили сигаретами и глядели на маленькую зеленую звездочку в окне. Презрение, назовем это так (впрочем, как это назвать и в чем его суть, не имеет значения), могло прийти и с первой фразой речи, которая началась легко, но внезапно застопорилась, лишилась смысла, который был словно выметен ветром из дальнейших слов. А потом наступила мертвая тишина — да, видимо, так: он уже знал, когда выходил из той маленькой гостиной от Ракели, знал, но не хотел знать, и это все время мучило, как разыгравшаяся мигрень или начинающийся грипп.

И вдруг в какой-то неуловимый миг душевное недомогание, темная дымка тумана исчезли, появилась уверенность: «Жизнь поэта» — сплошной вымысел, история Клаудио Ромеро не имеет ничего общего со всей этой писаниной. Не надо никаких доводов, никаких доказательств, все это — сплошной вымысел. Пусть были годы работы, сопоставление дат, желание идти по следу и отметить предположения, все это — сплошной вымысел. Клаудио Ромеро не жертвовал собой ради Сусаны Маркес, не возвращал ей свободу ценой самоотречения и не был Икарсом у белоснежных ног Ирены Пас. А он, биограф, словно плыл под водой и не мог вынырнуть, открыть глаза под хлесткой волной, хотя и знал правду. Более того: на самом дне души, как в мутной и грязной заводи, осела тягостная уверенность в том, что правда была ему известна с самого начала.

Незачем раскуривать вторую сигарету, винить расшавившиеся нервы, целовать в темноте тонкие податливые губы Офелии. Незачем убеждать себя, что затмение нашло в пылу чрезмерной увлеченности своим героем, что слабость можно оправдать слишком большой затратой сил. Рука Офелии мягко касалась его груди, ее горячее прерывистое дыхание щекотало ухо. И все же он уснул.

Утром он взглянул на открытый ящик картотеки, на бумаги, и все это показалось ему гораздо более чуждым, нежели ночные переживания. Внизу Офелия звонила по телефону на станцию, чтобы узнать расписание поездов. До Пилара он добрался около половины двенадцатого и направился прямо к зеленой лавке. Дочь Сусаны смотрела на него робко и настороженно, как побитая собака. Фрага попросил уделить ему пять минут, снова вошел в пыльную гостиную и сел в то же самое кресло, покрытое белым чехлом. Ему не пришлось долго говорить, ибо дочь Сусаны, смахивая слезинки, стала кивать в подтверждение его слов и все ниже склоняла голову.

— Да, да, сеньор. Именно так и было, сеньор.

— Но почему же вы не сказали мне об этом сразу?

Нелегко было объяснить, почему она не сказала об этом сразу. Мать заставила ее поклясться, что она кое о чем никогда и никому не проболтается, а после того, как на матери женился офицер из Балкарсе, тем более, вот и... Но ей очень, очень хотелось написать ему, когда

поднялся такой шум вокруг книги о Ромеро, потому что...

Она испуганно глядела на него, а слезинки катились по щекам.

— Да как же вам стало известно? — спросила она затем.

— Пусть это вас не волнует, — сказал Фрага. — Когда-нибудь все становится известным.

— Но в книге вы написали совсем не так. Я ведь ее читала. Я все там читала.

— Именно из-за вас в книге написано совсем не так. У вас есть другие письма Ромеро к вашей матери. Вы мне дали только те, которые вам хотелось дать, которые выставляют в наилучшем свете Ромеро, а заодно и вашу матушку. Мне нужны другие, немедленно. Дайте их.

— Есть только одно, — сказала Ракель Маркес. — Но я поклялась матери, сеньор.

— Если она не сожгла его, значит, в нем нет ничего страшного. Дайте мне. Я куплю.

— Сеньор Фрага, я не потому вам его не даю...

— Вот деньги, — резко сказал Фрага. — За свои тыквы столько не выручите.

Глядя, как она роется в бумагах на нотной этажерке, он подумал: то, что он знает сейчас, он уже знал (возможно, неточно, но знал) в день своего первого посещения Ракели Маркес. Открывшаяся истина вовсе не застала его врасплох, и теперь, задним числом, он мог сколько угодно винить себя и спрашивать, почему, например, его первое свидание с дочерью Сусаны окончилось так быстро; почему он так обрадовался трем письмам Ромеро, словно только они одни и существовали на свете; почему не предложил денег взамен, не докопался до сути, о которой Ракель знала и молчала. «Глупости, — тут же подумал он. — В ту пору я не мог знать, что Сусана стала проституткой по вине Ромеро». А почему же тогда он оборвал на полуслове свой разговор с Ракелью, удовольствовавшись полученными фотографиями и тремя письмами? «Э, нет, я знал, бог весть откуда, но знал, и, зная это, написал книгу; возможно, и читатели тоже знают, и критика знает, и вокруг — сплошная ложь, в которой барахтаемся мы все, до единого...» Однако легче легкого идти по пути обобщений и возлагать на себя лишь частицу вины. Это тоже ложь: виновен был только он, он один.

Чтение последнего письма стало всего-навсего словесным подтверждением того, о чем у Фраги сложилось

представление, хотя и несколько иное, и письмо это было ему нужно лишь как «вещественное доказательство» на случай полемики. После того как маска была сорвана, некто по имени Клаудио Ромеро по-звериному оскалился в последних фразах, обладающих неотразимой логикой. Фактически приговаривая Сусану к грязному ремеслу, которым ей отныне и до конца дней придется заниматься — на что недвусмысленно намекалось в двух великолепных пассажах, — он обрекал ее на молчание, одиночество и ненависть, толкая с глумлением и угрозами в ту яму, которую два года копал для нее, неторопливо и постепенно развращая наивное существо. Человек, который несколькими неделями раньше писал, довольный собой: «Ночи нужны мне одному, я не хочу, чтобы ты видела мои слезы», завершал теперь свое послание грязным намеком, видимо, точно рассчитав его эффект, и добавлял гнусные издевательские наставления и пожелания, перемежая прощальные слова угрозами, запрещая Сусане показываться ему на глаза.

Ничто из прочитанного не удивило Фрагу, но еще долгое время сидел он с письмом в руке, бессильно привалившись плечом к косяку вагонного окна, словно кто-то внутри его старался вырваться из когтей кошмарного, невыносимо долгого сна. «Это объясняет и все остальное», — услышал он биение собственной мысли. «Остальным» были Ирена Пас, «Ода к твоему дивному имени», финальный крах Клаудио Ромеро. К чему веские доводы и прямые доказательства, если твердая уверенность в ином развитии событий, не нуждающаяся ни в каких письмах или свидетельствах, теперь сама день за днем выстраивала последние годы жизни Ромеро перед мысленным взором человека — если можно так об этом сказать, — ехавшего в поезде из Пилара и выглядевшего в глазах пассажиров сеньором, который хватил лишнюю рюмку вермута.

Когда он сошел на своей станции, было четыре часа пополудни, моросил дождь. В шарабане, который довез его до усадьбы Офелии, было холодно и пахло отсыревшей кожей. Сколько же здравого смысла было у этой надменной Ирены Пас, сколь силен был в ней аристократизм, породивший презрительный отказ. Ромеро мог вскружить голову простой, бедной женщине, но вовсе не был Икаром, героем своих прекрасных поэм. Ирена, или не она, а ее мать или братья тотчас разглядели в его

маневрах назойливость парвеню, проходимца, который начинает с того, что отворачивается от людей своего круга, а потом, если нужно, готов их уничтожить (такое преступление называлось «Сусана Маркес, школьная учительница»). Чтобы избавиться от него, аристократам — во всеоружии их денег и в окружении понятливых лакеев — было достаточно криво улыбнуться, отказать в приеме, уехать к себе в поместье. Они даже не потрудились присутствовать на похоронах поэта.

Офелия ждала его в дверях. Фрага сказал ей, что тотчас садится за работу. Когда, прикусив зубами сигарету и чувствуя огромную усталость, давившую на плечи, он увидел первые строчки, написанные вчера вечером, то сказал себе, что, кроме него, никто ничего не знает. Словно «Жизнь поэта» еще не написана и у него все ключи в руках. Он слегка усмехнулся и приступил к своей речи. Лишь значительно позже ему пришлось в голову, что где-то в пути письмо Ромеро потерялось.

Каждый, кто хочет, может найти в архивах буэнос-айресские газеты тех лет, сообщающие о вручении Национальной премии Хорхе Фраге и о том, как он привел в замешательство и разгневал немало здравомыслящих людей, изложив с трибуны свою новую, ни с чем не сопоставимую версию жизни поэта Клаудио Ромеро. Какой-то хроникер писал, что Фрага, по всей видимости, был не вполне здоров (достаточно прозрачный эвфемизм!), ибо, помимо всего прочего, иной раз заговаривался, выступая как бы от лица Ромеро. Оратор, правда, замечал свою оплошность, но тут же снова впадал в эту странную ошибку. Другой корреспондент отметил, что Фрага держал в руке два или три сплошь исписанных листка бумаги, но почти ни разу не заглянул в них, и создалось впечатление, будто он говорит для себя, одобряя или опровергая свои же только что высказанные мысли, чем вызывал растущее раздражение, перешедшее затем в негодование многочисленной аудитории, собравшейся с явным намерением выразить ему свою искреннюю признательность. Еще в одной газете рассказывалось о яростной полемике между Фрагой и доктором Ховельяносом после окончания речи и о том, что многие, вслух возмущаясь, покидали зал; с неодобрением упоминалось также, что на просьбу доктора Ховельяноса представить бесспорные доказатель-



ства его шатких обвинений, порочащих священную память Клаудио Ромеро, лауреат только пожал плечами и потер рукою лоб, словно давая понять, что требуемые доказательства не выходят за пределы его воображения, а затем впал в прострацию, не замечая ни ропота расходившейся публики, ни вызывающе громких аплодисментов и поздравлений со стороны нескольких молодых людей, ценителей юмора, которые, казалось, были в восторге от такого оригинального ответа на присуждение Национальной премии.

Когда Фрага два часа спустя после торжественного акта вернулся в усадьбу, Офелия молча протянула ему список поздравителей, звонивших по телефону, — открывал его министр иностранных дел, а кончал родной брат, с которым они давно порвали отношения. Он рассеянно взглянул на столбец имен — одни были жирно подчеркнуты, другие начертаны небрежно. Листок выскользнул из его руки и упал на ковер. Ничего не замечая, Фрага стал подниматься по лестнице в свой кабинет.

Прошло немало времени, прежде чем Офелия услышала его тяжелые шаги там, наверху. Она легла и постаралась ни о чем не думать. Шаги то приближались, то удалялись, иногда затихали: наверное, он останавливался у письменного стола, размышляя о чем-то. Спустя час она услышала скрип лестницы и шаги у двери в спальню. Не открывая глаз, она почувствовала, как осели пружины под тяжестью тела и он вытянулся на спине рядом с ней. Холодная рука сжала ее руку. В темноте Офелия коснулась губами его щеки.

— Единственное, чего я не понимаю... — сказал Фрага, словно обращаясь не к ней, а в пустоту, — почему я так долго не сознавал, что знал это всегда. Глупо было бы думать, что я медиум. У меня с Ромеро ничего общего. До последних дней у меня не было с ним ничего общего.

— Ты бы поспал немного, — сказала Офелия.

— Нет, я должен разобраться. Существует то, что я еще не смог постичь, и то, что начнется завтра или уже началось сегодня вечером. Мне конец, понимаешь? Мне никогда не простят того, что я сотворил им кумира, а потом вырвал его у них из рук и разбил на куски. И представь себе, как все странно и глупо: Ромеро ведь остается автором лучших стихотворений двадцатых годов. Но идола не могут иметь глиняных ног; и с таким же цинизмом мне завтра заявят об этом мои дорогие коллеги.

— Но если ты считал своим долгом сказать правду...

— Я ничего не считал, Офелия. Сказал — и все. Или кто-то сказал за меня. Сегодня вечером мне показалось, что это единственный путь. Я мог поступить только так, и не иначе.

— Может быть, лучше было бы чуть-чуть подождать,— робко сказала Офелия.— А то вдруг сразу, в лицо...

Она хотела сказать «министру», и Фрага услышал это слово так ясно, будто оно было произнесено. Улыбнулся и погладил ее по руке. Мало-помалу вода спадала, нечто еще неясное начинало вырисовываться, приобретает очертания. Долгое, тоскливое молчание Офелии помогало сосредоточиться, прислушаться к себе, и он глядел в темноту широко раскрытыми глазами.

Нет, никогда бы, наверное, ему не понять, почему раньше от него ускользало то, что было ясно как день, если бы в конце концов он не признался себе, что сам такой же ловкач и каналья, как Ромеро. Одна мысль написать книгу уже заключала в себе желание взять реванш у общества, добиться легкого успеха, вернуть то, что ему причитается и что еще более хваткие приспособленцы у него отняли. С виду безукоризненно точная «Жизнь поэта» уже при рождении была оснащена всем необходимым, чтобы пробиться на книжные прилавки. Каждый этап ее триумфа был заранее обдуман, скрупулезно подготовлен каждой главой, каждой фразой. Даже его ирония, его все возраставшее равнодушие к этим победам по сути тоже были одной из личин этой нечистоплотной затеи. Под скромной обложкой «Жизни» исподволь свивали гнезда радиопередачи и кинофильмы, дипломатический пост в Европе и Национальная премия, богатство и слава. Лишь у самого финиша ждало нечто непредвиденное, чтобы рухнуть на тщательно отлаженный механизм и превратить его в груды обломков. И незачем теперь думать об этом непредвиденном, страшиться чего-то, сходить с ума от проигрыша.

— У меня нет с ним ничего общего,— повторил Фрага, закрывая глаза.— Не знаю, как это случилось, Офелия, мы совсем разные люди.— Он почувствовал, что она беззвучно плачет.— Но тогда получается еще хуже. Словно бы мы с ним заражены одним и тем же вирусом и болезнь моя развивалась скрыто, а потом вдруг выявилась, и скверна вышла наружу. Всякий раз, когда мне

надо было сделать выбор, принять решение за этого человека, я выбирал именно ту казовую сторону, которую он настойчиво демонстрировал нам при жизни. Мой выбор был его выбором, хотя кто-нибудь мог открыть иную правду его жизни, его писем, даже его последнего года, когда близость смерти обнажила всю его суть. Я не желал ни в чем убеждаться, не хотел добираться до истины, ибо тогда, Офелия, тогда Ромеро не был бы тем, кто был нужен мне и ему самому, чтобы создать легенду, чтобы...

Он умолк, но все само собой упорядочилось и логически завершилось. Теперь он допускал свою тождественность с Ромеро, в которой не было ничего сверхъестественного. Узами братства связали их и лицемерие, и ложь, и мечта о головокружительном взлете, но и беда, поразившая их и повергшая в прах. Просто и ясно представилось Фраге, что такие, как он, всегда будут Клаудио Ромеро, а вчерашние и завтрашние Ромеро всегда будут Хорхе Фрагой. Произошло именно то, чего он боялся в тот далекий сентябрьский вечер: он все-таки написал свою биографию. Хотелось рассмеяться, и в то же время подумалось о револьвере, который хранился в письменном столе.

Он так и не вспомнил, в эту ли минуту или позже Офелия сказала: «Самое главное — что сегодня ты выложил им правду». Об этом он тогда не думал, не хотелось снова переживать эти невероятные минуты, когда он говорил, глядя прямо в лицо тем, чьи восторженные или вежливые улыбки постепенно уступали место злобной или презрительной гримасе, тем, кто вздымал в знак негодования руки. Но лишь они, эти минуты, имели цену, лишь они были подлинными и непреходящими во всей этой истории: никто не мог отнять у него минуты истинного триумфа, действительно не имевшего ничего общего ни с фарисейским вымыслом, ни с тщеславием. Когда он склонился над Офелией и нежно провел рукой по ее волосам, ему на какой-то миг показалось, что это — Сусана Маркес и что его нежность спасает и удерживает ее возле него. В то же время Национальная премия, пост дипломата в Европе и прочие блага — это Ирена Пас, нечто такое, что надо отвергнуть, отбросить, если не хочешь полностью уподобиться Ромеро, целиком воплотиться в лжегероя книги и радиопостановки.

А потом — этой же ночью, которая тихо вращала

небосвод, сверкавший звездами,— другая колода карт была перетасована в бескрайнем одиночестве бессонницы. Утро принесет с собой телефонные звонки, газеты, скандал, раздутый на дзе колонки. Ему показалось невыносимой глупостью даже на миг подумать о том, что все потеряно, когда стоит только проявить немного расторопности и прыти — и ход за ходом партия будет отыграна. Все зависит от быстроты действий, от нескольких встреч. Если только захотеть, то и сообщения об отмене премии и отказе министерства иностранных дел от его кандидатуры могут обернуться весьма приятными известиями, которые откроют ему путь в большой мир массовых тиражей и переводных изданий. Но можно, конечно, и дальше лежать на спине в постели, прекратить всякие визиты, месяцами жить в тиши этой усадьбы, возобновить и продолжить свои филологические изыскания, восстановить прежние, уже прервавшиеся знакомства. Через полгода он был бы всеми забыт, благополучно вытеснен из рядов счастливых очередным, еще более бесталанным сочинителем.

Оба пути были в равной мере просты, в равной мере надежны. Осталось только решить. Нет, все решено. Однако он еще продолжал размышлять ради самих размышлений, обдумывать и взвешивать, доказывать себе правильность своего выбора, пока рассветные лучи не стали светлить окно и волосы спящей Офелии, а расплывчатый силуэт сейбы в саду не начал уплотняться на глазах — как будущее, которое сгущается в настоящее, постепенно затвердевает, принимает свою дневную форму, смиряется с ней и отстаивает ее и осуждает в свете нового дня.

## ИЗ БЛОКНОТА, НАЙДЕННОГО В КАРМАНЕ

То, о чем я сейчас пишу, для других могло стать рулеткой или тотализатором, но не деньги мне были нужны. Я вдруг почувствовал — или решил, — что темное окно метро может дать мне ответ и помочь найти счастье именно здесь, под землей, где особенно остро ощущается жесточайшее разобщение людей, а время рассекается короткими перегонами и его отрезки — вместе с каждой станцией — остаются позади, во тьме тоннеля. Я говорю о разобщенности, чтобы лучше понять (а мне довелось

многое понять с тех пор, как я начал свою игру), на чем была основана моя надежда на совпадение, вероятно, зародившаяся, когда я глядел на отражения в оконном стекле вагона,— надежда покончить с разобщенностью, о которой люди, кажется, и не догадываются. Впрочем, кто знает, о чем думают в этой толкотне люди, входящие и выходящие на остановках, о чем, кроме того, чтобы скорее доехать, думают эти люди, входящие тут или там, чтобы выйти там или тут, люди совпадают, оказываются вместе в пределах вагона, где все заранее предопределено, хотя никто не знает, выйдем ли мы вместе, или я выйду раньше того длинного мужчины со свертками, и поедет ли та старуха в зеленом до конечной остановки или нет, выйдут ли эти ребятишки сейчас... да, наверно, выйдут, потому что ухватились за свои ранцы и линейки и пробираются, хохоча и толкаясь, к дверям, а вон в том углу какая-то девушка расположилась, видимо, надолго, на несколько остановок, заняв освободившееся место, а эта, другая, пока остается загадкой.

Да, Ана тоже оставалась загадкой. Она сидела очень прямо, чуть касаясь спинки скамьи у самого окна, и была уже в вагоне, когда я вошел на станции «Этьен Марсель», а негр, сидевший напротив нее, как раз встал, освободив место, на которое никто не покушался, и я смог, бормоча извинения, протиснуться меж коленей двух сидевших с краю пассажиров и сесть напротив Аны. Тотчас же — ибо я спустился в метро, чтобы еще раз сыграть в свою игру,— я отыскал в окне отражение профиля Маргрит и нашел, что она очень мила, что мне нравятся ее черные волосы, эта прядь, косым крылом прикрывающая лоб.

Нет, имена — Маргрит или Ана — не были придуманы позже и не служат сейчас, когда я делаю эту запись в блокноте, чтоб отличить одну от другой: имена, как того требовали правила игры, возникли сразу, без всякой прикидки. Скажем, отражение той девушки в окне могло зваться только Маргрит, и никак иначе, и только Аной могла называться девушка, сидевшая напротив меня и на меня не смотревшая, а устремившая невидящий взор на это временное скопище людей, где каждый притворяется, что смотрит куда-то в сторону, только, упаси бог, не на ближнего своего. Разве лишь дети прямо и открыто глядят вам в глаза, пока их тоже не научат смотреть мимо, смотреть не видя, с таким гражданственным игнорированием любого соседа, любых интимных контактов;

когда всяк съеживается в собственном мыльном пузыре, заключает себя в скобки, заботливо отгораживаясь миллиметровой воздушной прокладкой от чужих локтей и коленей или углубившись в книжку либо в «Франс суар», а чаще всего, как Ана, устремив взгляд в пустоту, в эту идиотскую «ничейную зону», которая находится между моим лицом и лицом мужчины, вперившего взор в «Фигаро». И именно поэтому Маргрит (а если я правильно угадал, то в один прекрасный момент и Ана) должна была бросить рассеянный взгляд в окно, Маргрит должна увидеть мое отражение, и наши взгляды скрестятся за стеклом, на которое тьма тоннеля наложила тончайший слой ртути, набросила черный колышущийся бархат. В этом эфемерном зеркале лица обретают какую-то иную жизнь, перестают быть отвратительными гипсовыми масками, сотворенными казенным светом вагонных ламп, и — ты не посмела бы отрицать этого, Маргрит, — могут открыто и честно глядеть друг на друга, ибо на какую-то долю минуты наши взгляды освобождаются от самоконтроля. Там, за стеклом, я не был мужчиной, который сидел напротив Аны и на которого Ана не смогла открыто смотреть в вагоне метро, но, впрочем, Ана и не смотрела на мое отражение — смотрела Маргрит, а Ана тотчас отвела взор от мужчины, сидевшего напротив нее, — нехорошо смотреть на мужчину в метро, — повернула голову к оконному стеклу и тут увидела мое отражение, которое ждало этого момента, чтобы чуть-чуть раздвинуть губы в улыбке — вовсе не нахальной и не вызывающей, — когда взгляд Маргрит камнем упал на мой. Все это длилось мгновение или чуть больше, но я успел уловить, что Маргрит заметила мою улыбку и что Ана была явно шокирована, хотя она всего лишь опустила голову и сделала вид, будто проверяет замок на своей сумке из красной кожи. Право, мне захотелось еще раз улыбнуться, хотя Маргрит больше не смотрела на меня, так как Ана перехватила и осудила мою улыбку. И поэтому уже не было необходимости, чтобы Ана или Маргрит смотрели на меня, — впрочем, они занялись детальным изучением замка на красной сумке Аны.

Как это и прежде бывало, во времена Паулы (во времена Офелии) и всех тех, кто с видимым интересом рассматривал замок на сумке, пуговицу или сгиб журнальной страницы, во мне снова разверзлась бездна, где клубком скрутились страх и надежда, схватились

на смерть, как пауки в банке, а время стало отсчитываться частыми ударами сердца, совпадать с пульсом игры, и теперь каждая станция метро означала новый, неизвестный поворот в моей жизни, ибо такова была игра. Взгляд Маргрит и моя улыбка, мгновенное отступление Аны, занявшей замком своей сумки, были торжественным открытием церемонии, которая вопреки всем законам разума предпочитала иной раз самые дикие несоответствия нелепым цепям обыденной причинности.

Условия игры не были сложными, однако сама игра походила на сражение вслепую, на беспомощное барахтанье в вязком болоте, где всюду, куда ни глянь, перед вами вырастает раскидистое дерево судьбы неисповедимой. Мондрианово дерево парижского метрополитена с его красными, желтыми, синими и черными ветвями запечатлело обширное, однако ограниченное число сообщающихся станций. Это дерево живет двадцать из каждых двадцати четырех часов, наполняется бурлящим соком, капли которого устремляются в определенные ответвления: одни выкатываются на «Шателе», другие входят на «Вожирар», третьи делают пересадку на «Одеоне», чтобы следовать в «Ла Мотт-Пике», — сотни, тысячи. А кто знает, сколько вариантов пересадок и переходов закодировано и запрограммировано для всех этих живых частиц, внедряющихся в чрево города там и выскакивающих тут, рассыпающихся по Галереям Лафайет, чтобы застаться либо пачкой бумажных салфеток, либо парой лампочек на третьем этаже магазина близ улицы Гей-Люссака.

Мои правила игры были удивительно просты, прекрасны, безрассудны и деспотичны. Если мне нравилась женщина, если мне нравилась женщина, сидевшая напротив меня у окна, если ее изображение в окне встречалось глазами с моим изображением в окне, если улыбка моего изображения в окне смущала, или радовала, или злила изображение женщины в окне, если Маргрит увидела мою улыбку и Ана тут же опустила голову и стала усердно разглядывать замком своей красной сумки, значит, игра началась независимо от того, как встречена улыбка — с раздражением, удовольствием или видимым равнодушием. Первая часть церемонии на этом завершалась: улыбка замечена той, для которой она предназначена, а затем начиналось сражение на дне бездны, тревожное колебание — от станции до станции — маятника надежды.

Я думаю о том, как начался тот день; тогда в игру

вступила Маргрит (и Ана), неделей же раньше — Паула (и Офелия): рыжеволосая девушка вышла на одной из самых каверзных станций, на «Монпарнас-Бьенвеню», которая, подобно зловонной многоголовой гидре, не оставляла почти никакого шанса на удачу. Я сделал ставку на переход к линии «Порт-де-Вавен» и тут же, у первой подземной развилки, понял, что Паула (что Офелия) направится к переходу на станцию «Мэрия Исси». Ничего не поделаешь, оставалось только взглянуть на нее в последний раз на перекрестке коридоров, увидеть, как она исчезает, как ее заглатывает лестница, ведущая вниз. Таково было условие игры: улыбка, замеченная в окне вагона, давала право следовать за женщиной и почти безнадежно надеяться на то, что ее маршрут в метро совпадает с моим, выбранным еще до спуска под землю; а потом — так было всегда, вплоть до сегодняшнего дня — смотреть, как она исчезает в другом проходе, и не сметь идти за ней, возвращаться с тяжелым сердцем в наземный мир, забиваться в какое-нибудь кафе и опять жить как живется, пока мало-помалу через часы, дни или недели снова не одолеет охота попытаться счастья и потешить себя надеждой, что все совпадет — женщина и отражение в стекле, радостно встреченная или отвергнутая улыбка, направление поездов,— и тогда наконец, да, наконец с полным правом можно будет приблизиться и сказать ей первые, трудные слова, пробивающие толщу застоявшегося времени, ворох копошащихся в бездне пауков.

Когда мы подъехали к станции «Сен-Сюльпис», кто-то рядом со мной направился к выходу. Сосед Аны тоже вышел, и она сидела теперь одна напротив меня и уже не разглядывала свою сумку, а рассеянно скользнув взглядом по моей фигуре, остановила глаза на картинках, рекламирующих горячие минеральные источники и облепивших все четыре угла вагона. Маргрит не поворачивала головы к окну, чтобы увидеть меня, но это как раз и говорило о возникшем контакте, о его неслышной пульсации. Ана же была, наверное, слишком робка, или ей просто казалось глупым глядеть на отражение лица, которое расточает улыбки Маргрит. Станция «Сен-Сюльпис» имела для меня очень важное значение, потому что до конечной «Порт-д'Орлеан» оставалось восемь остановок, лишь на трех из них были пересадки, и, значит, только в случае если Ана выйдет на одной из этих трех, у меня появится шанс на возможное совпадение. Когда поезд



стал притормаживать перед «Сен-Пласид», я замер, глядя в окно на Маргрит, надеясь встретиться с ней взглядом, а глаза Аны в эту минуту неторопливо блуждали по вагону, словно она была убеждена, что Маргрит больше не взглянет на меня и потому нечего больше и думать об этом отражении лица, которое ждало Маргрит, чтобы улыбнуться только ей.

Она не сошла на «Сен-Пласид», я знал об этом еще до того, как поезд начал тормозить, ибо собирающиеся выйти пассажиры обычно проявляют суетливость, особенно женщины, которые нервно ощупывают свертки, запахивают пальто или, перед тем как встать, оглядывают проход, чтобы не наткнуться на чужие колени, когда внезапное снижение скорости превращает человеческое тело в неуправляемый предмет. Ана равнодушно взирала на станционные рекламы, лицо Маргрит было смыто с окна светом наружных ламп, и я не мог знать, взглянула она на меня или нет, да и мое отражение тонуло в наплывах неоновых огней и рекламных афиш, а потом в мелькании входящих и выходящих людей. Если бы Ана вышла на «Монпарнас-Бьенвеню», мои шансы стали бы минимальны. Как тут не вспомнить о Пауле (об Офелии) — ведь скрещение четырех линий на этой станции сводило почти к нулю возможность угадать ее выбор. И все же в день Паулы (Офелии) я до абсурда был уверен, что наши пути совпадут, и до последнего момента шел в трех метрах позади этой неторопливой девушки с длинными рыжими волосами, словно припорошенными сухой хвоей, и, когда она свернула в переход направо, голова моя дернулась, как от удара в челюсть. Нет, я не хотел, чтобы теперь то же произошло с Маргрит, чтобы вернулся этот страх, чтобы это повторилось на «Монпарнас-Бьенвеню», и незачем было вспоминать о Пауле (об Офелии), прислушиваться к тому, как пауки в бездне начинают душить робкую надежду на то, что Ана (что Маргрит)... Но разве кто-нибудь откажется от наивных самоутешений, которые помогают нам жить? Я тут же сказал себе, что, возможно, Ана (возможно, Маргрит) выйдет не на «Монпарнас-Бьенвеню», а на какой-то другой, еще остающейся станции; что, может быть, она не пойдет в тот переход, который для меня закрыт; что Ана (что Маргрит) не выйдет на «Монпарнас-Бьенвеню» (не вышла), не выйдет на «Вавен» — и она действительно не вышла! — что, может быть, выйдет на

«Распай», на этой первой из двух последних возможных станций... А когда она и тут не вышла, я уже знал, что остается только одна станция, где я мог дальше следовать за ней, ибо три последующие переходов не имели и в счет не шли. Я снова стал искать взглядом Маргрит в стекле окна, стал звать ее из безмолвного и окаменевшего мира, откуда должен был долететь до нее мой призыв о помощи, докатиться прибоем. Я улыбнулся ей, и Ана не могла этого не видеть, а Маргрит не могла этого не чувствовать, хотя и не смотрела на мое отражение, по которому хлестали светом лампы тоннеля перед станцией «Данфер-Рошро». Первый ли толчок тормозов заставил вздрогнуть красную сумку на коленях Аны или всего лишь чувство досады взметнуло ее руку, откинувшую со лба черную прядь? Я не знал, но в эти считанные секунды, пока поезд замирал у платформы, пауки особенно жестоко бередили мое нутро, предвещая новое поражение. Когда Ана легким и гибким движением выпрямила свое тело, когда я увидел ее спину среди пассажиров, я, кажется, продолжал бессмысленно оглядываться, ища лицо Маргрит в стекле, ослепшем от света и мельканий. Затем встал, словно не сознавая, что делаю, и выскочил из вагона и устремился покорной тенью за той, что шла по платформе, пока вдруг не очнулся от мысли, что сейчас мне предстоит последнее испытание, будет сделан выбор, окончательный и бесповоротный.

Понятно, что Ана (Маргрит) либо пойдет своим обычным путем, либо свернет, куда ей вздумается, я же, еще входя в вагон, твердо знал: если кто-нибудь окажется в игре и выйдет на «Данфер-Рошро», в мою комбинацию будет включен переход на линию «Насьон-Этуаль». Равным образом, если бы Ана (если бы Маргрит) вышла на «Шателе», я имел бы право следовать за ней лишь по переходу к «Венсен-Нейи». На этом, решающем, этапе игра была бы проиграна, если бы Ана (если бы Маргрит) направилась к линии «Де Ско» или к выходу на улицу. Все должно было решиться моментально, ибо на станции «Данфер-Рошро» нет вопреки обыкновению бесчисленных коридоров и лестницы быстро доставляют человека к месту назначения или — коль скоро речь идет о моей игре с судьбой — к месту предназначения. Я видел, как она скользит в толпе, как равномерно покачивается красная сумка — будто игрушечный маятник, — как она вертит головой в поисках табличек-указателей и, секунду поко-

лебавшись, сворачивает налево. Но слева был выход прямо на улицу...

Я не знаю, как это выразить: пауки буквально раздирали мне нутро, но я честно вел себя в первую минуту и продолжал идти за ней просто так, машинально, чтобы потом покориться неизбежности и сказать там, наверху: что ж, ступай своей дорогой. Но вдруг, на середине лестницы, я понял, что нет, что, наверное, единственный способ убить пауков — это преступить закон, нарушить правила хотя бы один раз. Пауки, было впившиеся в мой желудок в ту минуту, когда Ана (когда Маргрит) пошла вверх по запретной лестнице, сразу притихли, и весь я внезапно обмяк, по телу разлилась усталость, хотя ноги продолжали автоматически преодолевать ступеньку за ступенькой. Все мысли улетучились, кроме одной: я все еще вижу ее, вижу, как красная сумка, приплясывая, устремляется наверх к улице, как черные волосы ритмично подрагивают в такт шагам. Уже стемнело, порывистый холодный ветер бросал в лицо снег с дождем; я знаю, что Ана (что Маргрит) не испугалась, когда я поравнялся с ней и сказал: «Не может быть, чтобы мы так и разошлись, не успев встретиться».

Позже, в кафе, уже только Ана, ибо образ Маргрит поблек перед реальностью чинзано и сказанных слов, призналась мне, что ничего не понимает, что ее зовут Мари-Клод, что моя улыбка в окне вагона ее смутила, что она было хотела встать и пересесть на другое место, что потом не слышала моих шагов за своей спиной и что на улице — вопреки здравому смыслу — совсем не испугалась. Так говорила она, глядя мне в глаза, потягивая чинзано, улыбаясь без всякого смущения, вовсе не стыдясь того, что не где-нибудь, а на улице и почти без колебаний приняла мое неожиданное приглашение пойти в кафе. В минуты этого счастья, освежавшего брызгами прибоя, ласкавшего тополиным пухом, я не мог рассказать ей о том, что она сочла бы за манию или безумство, что, собственно, и было безумством, если на это взглянуть иными глазами, с иного берега жизни. Я говорил ей о ее непослушной пряди и ее красной сумке, о ее пристрастии к рекламам горячих источников, о том, что улыбался ей не потому, что я скучающий неудачник или донжуан; я желал подарить ей цветок, дать знак, что она мне нравится, что мне хорошо, что хорошо ехать вместе с ней, что хорошо еще одну сигарету, еще рюмку...

Ни одной секунды мы не фальшивили, вели разговор как старые знакомые и как будто все так и надо и смотрели друг на друга без чувства неловкости. Я думаю, что Маргрит тоже не испытывала бы ложного стыда, как и Мари-Клод, если бы ответила на мою улыбку в окне вагона, если бы так много не размышляла об условиях, о том, что нельзя отвечать, когда с тобой заговаривают на улице и хотят угостить конфетами и пригласить в кино... А Мари-Клод тем временем уже отбросила всякую мысль о моей улыбке «только для Маргрит»; Мари-Клод и на улице, и в кафе даже полагала, что это была хорошая улыбка, и что незнакомец в метро улыбался Маргрит вовсе не для того, чтобы закинуть удочку в другой садок, и что моя нелепая манера знакомиться была единственно справедливой и разумной и вполне позволяла ответить «да», да, можно вместе выпить рюмочку и поболтать в кафе.

Не помню, что я рассказывал о себе, вероятно, все, кроме своей игры, а значит, не так-то много. В один прекрасный миг мы вместе рассмеялись, кто-то из нас первым пошутил, а потом оказалось, что нам нравятся одни и те же сигареты и Катрин Денёв. Она разрешила мне проводить ее до дверей дома, протянула руку без тени жеманства и дала согласие прийти в то же самое кафе и в тот же самый час во вторник.

Я взял такси и поехал домой, впервые погрузившись в себя как в какую-то неведомую и чужую страну, повторяя себе, что «да», что Мари-Клод, что «Данфер-Рошро», и плотно смыкал веки, чтобы дольше видеть ее черные волосы, забавное покачивание головой при разговоре, улыбку. Мы никогда не опаздывали и подробно обсуждали фильмы, говорили о своей работе, выясняли причины некоторых наших идейных расхождений. Она продолжала вести себя так, словно каким-то чудесным образом ее вполне устраивает это наше общение — без лишних объяснений, без лишних расспросов, и, кажется, ей даже в голову не приходило, что какой-нибудь пошляк мог бы принять ее за потаскушку или за дурочку; устраивает и то, что я не пытался сесть с ней в кафе на один диванчик, что, пока мы шли по улице Фруадево, ни разу не положил ей руку на плечи, избегая этого первого интимного жеста и зная, что она в общем живет одна — младшая сестра не слишком часто бывала в ее квартире на четвертом этаже, — не просил позволе-

ния подняться к ней.

Увы, она и не подозревала, что существуют пауки. Во время наших трех или четырех встреч они не терзали меня, затаившись в бездне, ожидая дня, когда я одумаюсь, будто бы я уже не думал обо всем, но были вторники, было кафе и была радость, что Мари-Клод уже там или что вот-вот распахнется дверь и влетит это темноволосое упрямое создание, которое, нимало о том не ведая, боролось против вновь проснувшихся пауков, против нарушения правил игры, защищаясь от них легким прикосновением руки, непокорной прядью, то и дело падавшей на лоб. В какой-то момент она, казалось, что-то поняла, умолкла и выжидательно смотрела на меня, очевидно заметив, какие я прилагаю усилия, чтобы продлить передышку, чтобы придержать пауков, снова начинавших орудовать, несмотря на Мари-Клод, против Мари-Клод, которая все-таки ничего не понимала, сидела и молчала в ожидании. Нет — наполнять рюмки, и курить, и болтать с ней, до последнего отстаивая междуцарствие без пауков, расспрашивать о ее жизни, о повседневных хлопотах, о сестре-студентке и немудреных радостях и так желать эту черную прядь, прикрывавшую ей лоб, желать ее самое как конца, как действительно последнюю остановку на последних метрах жизни, но была бездна, была расщелина между моим стулом и этим диванчиком, где мы могли бы поцеловаться, где мои губы впервые прикоснулись бы к аромату Мари-Клод, прежде чем мы пошли бы, обнявшись, к ее дому, поднялись бы по лестнице и избавились от одежд и ожиданий.

И я ей обо всем рассказал. Как сейчас помню: кладбищенская стена и Мари-Клод, прислонившаяся к ней, а я говорю, говорю, зарыв лицо в горячий мех ее пальто, и вовсе не уверен, что мой голос, мои слова доходят до нее, что она может понять. Я сказал ей обо всем, о всех подробностях игры, о ничтожных шансах на счастье, исчезавших вместе со столькими Паулами (столькими Офелиями), которые всегда избирали другой путь; о пауках, которые в конце концов возвращались. Мари-Клод заплакала, я чувствовал, как она дрожит, хотя словно еще пытается защитит меня, подставить плечо, прислонившись к стене мертвых. Она ни о чем меня не спросила, не захотела узнать ни «почему», ни «с каких пор», ей в голову не приходило уничтожить раз и навсегда заведенный механизм, работающий против нее самой,

против города и его табу. Только тихое всхлипывание, похожее на стоны маленького раненого зверька, звучало бессильным протестом против триумфа игры, против дикой пляски пауков в бездне.

В подъезде ее дома я сказал ей, что еще не все потеряно, что от нас обоих зависит, состоится ли наша «настоящая» встреча; теперь и она знает правила игры, и они упрощаются уже потому, что отныне мы будем искать только друг друга. Она сказала, что попросит две недели в счет отпуска и будет брать с собою в метро книгу, и тогда сырое, враждебное время в этом подземном мире пролетит быстрее; что станет придумывать самые разные комбинации и ждать меня, читая книги или разглядывая афиши. Мы не хотели думать о несбыточности, о том, что, если и встретимся в одном вагоне, это еще ничего не значит, что на сей раз нельзя допускать ни малейшего самообмана. Я попросил, чтобы она ничуть не волновалась, спокойно ездила в метро и не плакала эти две недели, пока я буду ее искать. Без слов она поняла, что, если этот срок истечет и мы не увидимся или увидимся, но коридоры уведут нас в разные стороны, уже не имеет смысла возвращаться в кафе или ждать друг друга возле подъезда ее дома.

У подножия лестницы, которую желтый свет лампочек протягивал ввысь, до самого окна той воображаемой Мари-Клод, что спала в своей квартире, в своей постели, раскинувшись во сне, я поцеловал ее волосы и медленно отпустил ее теплые руки. Она не искала моих губ, мягко отстранилась от меня и, повернувшись ко мне спиной, пошла вверх по лестнице, по одной из тех многих лестниц, которые уводили их от меня, не давая идти им вослед.

Я вернулся домой пешком, без пауков, опустошенный, но словно бы омытый новой надеждой. Теперь пауки мне были не страшны, игра начиналась заново, как не один раз прежде, но отныне с одной только Мари-Клод. В понедельник я спустился на станцию «Куронн» ранним утром и поднялся на «Макс Дормуа» поздним вечером, во вторник вошел на «Кримэ», в среду на «Филип-Огюст», точно соблюдая правила, выбирая линии с пятнадцатью станциями, четыре из которых имели пересадку; на первой из них я должен был выбрать «Севр-Монрей», на второй — «Клиши Порт-Дофин», произвольно, не подчиняясь никакой логике, ибо ее здесь

и не могло быть, хотя Мари-Клод, наверное, выходила поблизости от своего дома, на «Данфер-Рошро» или на «Корвизар», возможно делая пересадку на станции «Пастер», чтобы ехать затем к «Фальгиер». Снова и снова мондриановское дерево раскидывало свои безжизненные ветви, случай сплетал красные, синие, белые пунктирные искушения. Четверг, пятница, суббота. Стоять, стоять на платформе, смотреть, как подходит поезд, семь или восемь вагонов, как они замедляют ход, бежать в хвост поезда и втискиваться в последний вагон, но там нет Мари-Клод; выходить на следующей станции и ждать следующего поезда, проезжать остановку и переходить на другую линию, смотреть на скользящие мимо вагоны — без Мари-Клод; опять пропускать один-два поезда, садиться в третий, следовать до конечной остановки, возвращаться на станцию, где можно сделать пересадку, думать, что она может сесть только в четвертый поезд, прекращать поиски и подниматься наверх, чтобы пообедать, а затем, сделав одну-две затяжки горьким сигаретным дымом, снова возвращаться вниз, садиться на скамью и ждать второго, пятого поезда. Понедельник, вторник, среда, четверг — без пауков, ибо я все еще надеюсь, ибо все сижу и жду на этой скамейке, на станции «Шмен-Вер», с этим блокнотом, в котором рука пишет только для того, чтобы изобрести какое-нибудь иное время, задержать шквал, несущий меня к субботе, когда все, вероятно, будет кончено, когда я вернусь домой один, а они опять проснутся и станут яростно терзать, колоть, кусать меня, требуя возобновления игры, других Мари-Клод, других Паул,— неизбежное повторение после каждого краха, раковый рецидив.

Но сегодня еще только четверг, станция «Шмен-Вер», наверху спускается на землю ночь, еще немного можно потешить себя не такой уж абсурдной мыслью, что во втором поезде в четвертом вагоне может оказаться Мари-Клод, она будет сидеть у окна, вот она видит меня и выпрямляется с криком, которого никто не может слышать, никто, кроме меня; крик мне в лицо — и я прыгаю в закрывающиеся двери, втискиваюсь в переполненный вагон, расталкиваю огрызающихся пассажиров, бормочу извинения, которых никто не ждет и не принимает, и, наконец, останавливаюсь у скамейки, занятой пакетами, зонтами и ногами, а Мари-Клод в ее сером пальто у самого окна; черная прядь чуть шевельнулась при резком

рывке вагона, а руки, сложенные на коленях, едва заметно вздрогнули в призыве, которому нет названия, который я сейчас услышу, обязательно услышу. Не надо ни о чем говорить, да и невозможно ничего сказать через эту непроницаемую стену отчужденных лиц и черных зонтов между мной и Мари-Клод. Осталось три станции с пересадками. Мари-Клод должна выбрать одну из них, пройти по платформе, направиться к одному из переходов или к лестнице на улицу, и она ничего не знает об избранном мною пути, с которого я на сей раз не сойду. Поезд подходит к станции «Бастилия», но Мари-Клод сидит, люди входят и выходят, рядом с ней освобождается место, но я не шевелюсь, я не могу туда сесть, не могу вместе с ней волноваться до дрожи, а она, конечно, страшно волнуется. Вот остаются позади и «Ледрю-Роллэн», и «Фуардерб-Шалиньи»; Мари-Клод знает, что на этих, без пересадок, станциях я не имею права следовать за ней, и боится шелохнуться; главные ставки в игре будут сделаны на «Рейи-Дидро» или на «Домениль». Вот поезд подходит к «Рейи-Дидро», и я отвожу глаза, не хочу, чтобы она знала, не хочу, чтобы догадалась, что это не здесь. Когда поезд трогается, я вижу, что она сидит; нам остается последняя надежда: в «Домениле» только один переход и один выход на улицу — красное или черное, да или нет.

И тогда мы глядим друг на друга, Мари-Клод поднимает голову и смотрит мне прямо в лицо, смотрит в побелевшее лицо того, кто судорожно вцепился в поручень и не сводит глаз с ее лица, с лица без единой кровинки, с лица Мари-Клод, которая прижимает к себе красную сумку и встанет, как только поезд поравняется с платформой «Домениль»...

## КИНДБЕРГ

Киндберг... странное название, взять и перевести не вдумываясь, с ходу — детская горка, а можно иначе: милая, приветная гора, впрочем, какая разница, место и место, куда приезжают вечером прямо из ливня, который, бешено фыркая, лупит по ветровому стеклу; старый отель с уходящими вглубь галереями, где все устроено так, чтобы разом забыть, что снаружи по-прежнему льет, скребется, стучит, — словом, место, где можно переодеть-



ся, отойти душой, укрыться от непогоды, от всего; а вот и суп в большой серебряной супнице, белое сухое вино, ты ломаешь хлеб, и первый кусок — Лине, она держит его на ладошке, точно щедрый дар — так оно, отчасти, выходит! — и вдруг дует на него, поди пойми зачем, но до чего красиво взмывает, вздрагивает ее челка, и это дуновение, будто слетевшее с руки, с хлеба, приподнимает наконец занавес крохотного театра, и Марсело сможет теперь увидеть выбежавшие на сцену мысли Лины, образы и воспоминания Лины, которая жадно глотает душистый суп, не переставая улыбаться.

Но нет, чистый, почти детский лоб — без единой складки, и поначалу лишь голос роняет по крупинке что-то от ее сути и дает возможность увидеть Лину в первом приближении: она чилийка, да-да, а то, что непрерывно напевает, — знакомая тема Арчи Шеппа, ногти слегка обкусанные, но чистые, удивительно чистые, при том что все на ней мятое, грязное после автостопа, после ночевки на фермах, в сараях и других пристанищах молодежи. Молодежь, смеется Лина, схлебывая с ложки суп, точно голодный медвежонок, клянусь, ты не имеешь о ней ни малейшего представления — это ископаемые, поверь, ходячие мертвецы, как в том фильме ужасов Ромеро.

Марсело чуть было не спросил, что за Ромеро, хм, слыхом не слыхивал об этом Ромеро, но не стоит, пусть себе болтает, так занятно вдруг оказаться рядом с искренним восторгом от горячей еды, с радостью от комнаты, где ждет, потрескивая, горящий камин, — словом, всего, что вместил в пузырик буржуазного достатка верный покровитель приезжих с тугими бумажниками; и об этот пузырь дробится, разлетается пылью дождь, точь-в-точь как под вечер, в сумерках, он дробился о молочно-белое лицо Лины, стоявшей у края дороги, на опушке леса, что за нелепое место для автостопа? — почему нелепое, ведь повезло же, ну-ка ешь, медвежонок, налей себе еще супа, смотри — заболеешь ангиной, волосы совсем мокрые; но камин ждет, весело потрескивая там, в комнате, где красуется широченная кровать в стиле ампир, зеркала до полу, столики с гнутыми ножками, бахрома, портьеры, да-да, так с чего ты стояла там под таким ливнем, ну скажи, скажи, твоя мама всыпала бы тебе по первое число?

Ходячие мертвецы, повторяет Лина, путешествовать

надо в одиночку, дождь, конечно, не подарок, но в этом плаще, поверь, не промокнешь, разве что волосы и ноги немного, вот и все, ерунда, в случае чего — таблетка аспирина... Опустевшая хлебница снова полна верхом, и медвежонок лихо расправляется с мягким батоном, масло — мечта, а ты что делаешь? Почему разъезжаешь в такой роскошной машине, а почему ты? а-а-а, ты — аргентинец! И в один голос — да, вот он, счастливый случай, не подкачал, надо же, не остановись Марсело за восемь километров отсюда — промочить горло, эта лесная зверюшка сидела бы сейчас в другой машине или торчала в лесу под дождем, кто я? — агент, торгующий прессованными плитами, да-да, без конца в разъездах, а сейчас надо добить два дела сразу. Лина слушает сосредоточенно — что такое прессованные плиты? разумеется, малоинтересная тема, но куда деваться, не соврешь, что ты — укротитель зверей, или кинорежиссер, или, чего там, Пол Маккартни; соль, пожалуйста. Поразительно: как она вдруг резка в движениях — не то птица, жучок, нет — самый настоящий медвежонок, пляшущая челка и прихотливый мотив Арчи Шеппа, та-ра-ра, у тебя есть его пластинки, то есть как? а-а-а, ну понятно. Н-да, понятно, усмехается про себя Марсело, выходит, у него не должно быть этих пластинок, но самое смешное — вот идиот! — что они есть и временами он слушает их с Марлен в Брюсселе, вот так, только ему не дано вжиться в них, как Лине, которая мурлычет Арчи Шеппа чуть не после каждого глотка, ее улыбка — все разом: свсбодный джаз, кусочки гуляша, автостоп, промокший медвежонок, та-ра-ра, никогда так не везло, ты молодчина! Да, молодчина и не промах, Марсело напевает любимую мелодию — вот он, его реванш! — но мяч вне игры, это — аккордеон, а она — другое поколение, старина, она — зверюшка, Арчи Шепп, а не танго, че!

И томительно-сладко щекочет, сводит легкой судорогой все время, с той самой минуты, когда они свернули в Киндберг; машина стоит в огромном ветхом ангаре, старуха светит на дорогу дөгөтөпным фонарем, Марсело — чемодан и портфель, Лина — рюкзак и хлопаящие шаги, приглашение на ужин принято еще в дороге, поговорим-поболтаем, дождь как из пулемета, какой смысл ехать на ночь глядя, давай остановимся в этом Киндберге, поужинаем,— о, прекрасно, спасибо, ну просто

здорово! ты пообсохнешь, а лучше остаться до утра, пусть льет, пусть льет, а зайчишка переждет, ха-ха, конечно! потом гулкие готические галереи до самого холла, ой, как тепло в этом отеле, вот красота! последняя капелька на челке, рюкзак через плечо, лесной медвежонок, герлскаут с добрым дядюшкой, я закажу номера — обсохнешь до ужина. И опять это горячее щекотное внизу, иголочками, а Лина вскидывает глаза, сплошная челка — номера? чего ради? бери один на двоих! Он смотрит в сторону, и снова щекотно тянет, расприятнонеприятно, тогда — о чем речь, тогда — чудо, тогда — зверюшка, супчик, камин, ну и ну! еще одна в твоей жизни, тебе повезло, старина, она очень и очень! Марсело настороженно следит за Линой, а она спиной к нему вытаскивает из рюкзака другие джинсы и черный свитер и без умолку болтает — вот это камин, слышишь, какой пахучий огонь! Он перерывает весь чемодан, отыскивая аспирин среди дезодорантов, витаминов, лосьонов после бритья. Куда ты собралась ехать? не знаю, у меня письмо для одних ребят, хиппи, они в Копенгагене, и рисунки, мне их дала Сесилия в Сантьяго, ребята, сказала, прекрасные, Лина небрежно развешивает мокрую одежду прямо на шелковой ширме и вытряхивает рюкзак — надо видеть! — на столик времен Франца Иосифа, с позолотой и арабесками: Джеймс Болдуин, клинекс, пуговицы, темные очки, коробочки, Пабло Неруда, гигиенические пакеты, карта Германии, ой, умираю от голода, Марсело, мне нравится твое имя — звучит, ну зверски хочу есть! так пошли, малыш, под душем, считай, ты уже побывала, а рюкзак приведешь в порядок потом. Лина резко подымает голову и стреляет глазами: я никогда и нигде не навожу порядка, с какой стати, рюкзак — это как я, или мое путешествие, или политика, все вперемешку, вверх тормашками, какой же смысл? Вот соплюха, ахает про себя Марсело, и по-прежнему щекочет, тянет внизу (аспирин надо дать перед самым кофе, так лучше), но Лина несколько смущена этим словесным барьером: «малыш», «мыслимо ли ездить вот так, одной?»; за супом она рассмеялась: молодежь, поверь, допотопные ископаемые, ходячие мертвецы, как в фильме Ромеро. И постепенно в животе — гуляш, тепло, довольный донельзя медвежонок, вино — вместо щекотного покалывания нарастает что-то похожее на радость, покой, да пусть себе несет свою чепуховину, пусть вещает о взглядах на мир, он и сам, должно быть,

забивал себе этим голову в свое время, а впрочем, стоит ли вспоминать — забылось, туман, пусть смотрит на него из-под занавеса-челочки, вдруг задумчивая, озабоченная, и следом — та-ра-ра, Шепп, ой, как тут хорошо, у меня уже все высохло, а знаешь, под Авиньоном я целых пять часов прождала машину, ветрище жуткий, крыши срывало с домов, на моих глазах — ты веришь? — птица разбилась о дерево и упала, как тряпочная, да-да, перец, пожалуйста!

Значит, ты (уносят пустое блюдо) вот таким манером думаешь попасть в Данию, а хоть какие-то деньги у тебя есть? конечно, доберусь, ты разве не любишь салата? тогда подвинь мне — ем не наемся! Как забавно она наворачивает на вилку листья и жует их старательно, проглатывая вместе с темами Арчи Шеппа, а то вдруг — пфф! — маленький серебристый пузырек в уголке влажного лоснящегося рта, очень красивые губы, твердо очерченные, такие как надо, прямо с рисунков мастеров Возрождения, прошлая осень с Марлен во Флоренции, вспомни эти губы, которые так любили рисовать гениальные мужеложцы, — с чувственным изломом, загадочные и так далее, надо же, как ударил в голову этот рислинг, а медвежонок говорит и говорит, уплетая вовсю, и та-ра-ра, Шепп, непостижимо, как я окончила философский в Сантьяго, мне еще читать не перечитать, теперь возьмусь за книги. Ишь ты, бедная зверюшка, сколько радости от свежего салата и Спинозы, которого собралась проглотить за шесть месяцев заодно с Алленом Гинзбергом и Арчи Шеппом, интересно, что она еще успеет выложить из этой модной муры, пока принесут кофе (не забыть про аспирин, вот соплюха, дождь всю изгваздал, прямо перещупал там, на дороге, еще разболеется, не приведи бог). А между тем с последними кусочками гуляша и неизменным Арчи Шеппом что-то понемногу сдвигалось, какой-то новый поворот, слова вроде те же: Спиноза, Копенгаген, но все — иначе, да-да, перед ним Лина, которая ломает хлеб, пьет вино, сияет довольными глазами, она далеко и в то же время — близко, что-то в ней переменялось к середине ночи, хотя слова «близко» и «далеко» почти ничего не говорят, тут — другое, тут — показ, видимость, будто Лина показывает ему вовсе не себя, тогда что же, ну скажи, скажи. Два тоненьких кусочка швейцарского сыра, почему ты не ешь, Марсело, такая вкуснятина, ты, по-моему, ничего не ел, надо же,

такой солидный человек, настоящий сеньор, правда? и все куришь-ишь-ишь-ишь — и не ешь, даже не при-тронулся, может, вина, ну немного, неужели нет? с таким обалденным сыром, да выпей, не оставляй этот кусочек; да-да, еще хлеба, пожалуйста, с ума сойти, сколько я ем хлеба, и, представь, говорят, что я склонна к полноте, вот то, что слышишь, животик отрос, верно — пока не заметно, а на самом деле — да, Шепп!

Нечего ждать, что она заговорит наконец о чем-то серьезном, основательном, и к чему, собственно (такой солидный человек и настоящий сеньор, правда?), как зачарованно и вместе с тем нацеленным взглядом следит этот медвежонок за столиком на колесах, уставленным сладостями: пирожные, безе, бисквиты, фрукты, ну да — животик, ее пугают, мол, расплывешься, sic! — вот то, где побольше крема, а чем тебе не нравится Копенгаген, Марсело? Но Марсело этого не говорил, просто какой смысл мотаться по дорогам неделями, да в дождь, да еще набитый рюкзак, а там, в Копенгагене, — вероятнее всего! — обнаружить, что твои хиппи уже колесят по Калифорнии, эх ты, ну пойми, наконец, что мне без разницы, я же сказала — в глаза их не видела, вот везу им рисунки из Сантьяго от Сесилии и Маркоса и маленькую пластинку «The mothers of invention», интересно, есть тут проигрыватель, ты бы послушал, хм, удумала — в такой час, да в Киндберге, ладно бы цыганские скрипки, но твои «The mothers of invention» — смекалистые мамыши, — посуды! Лина прыскает, весь рот в креме, под черным свитером теплый животик, и вот они оба заливаются смехом — вообразить вой этих мамочек в благопристойном Киндберге и лицо хозяина отеля, ха-ха, и опять эти горячие волны внизу вместо щекотных иголок и неотвязная мысль: может, с ней не так-то просто, может, в конечном счете посреди постели окажется легендарный меч, в лучшем случае — подушка валиком, и каждый — на своей половине, современный вариант средневекового меча, нравственный заслон, та-ра-ра, Шепп-чи! Так и знал, прими-ка таблетку аспирина, вон несут кофе, сейчас попросим коньяку, с ним аспирин действует лучше всего, я это слышал от знающих людей. Все-таки странно: он же не говорил, что ему не нравится Копенгаген, но, похоже, эта зверюшка улавливает в тоне то, чего нет в словах, как он сам, когда мальчишкой в двенадцать лет влюбился в учительницу: слова были ничто в сравне-

нии с ее воркующим голосом, от которого рождалось желание тепла — пусть укроет, погладит по волосам, да-да, потом спустя годы на сеансе психоанализа: что, тоска? в порядке вещей, обычная ностальгия по материнскому чреву, учтите, дорогой, все изначально плавало в водах, читайте Библию... за пятьдесят тысяч избавился от головокружений, а теперь эта малявка вынимает его нутро по кускам, Шепп-чхи, еще бы, кто же глотает таблетки без воды — застрянет в горле, дурила. А она, помешивая кофе, заглядывает ему в глаза старательно, почти с почтением... хм, если вздумала надо мной посмеяться — ей не сдобровать, нет-нет, кроме шуток, Марсело, мне нравится, когда ты становишься похожим на доктора или заботливого папочку, не сердись, я вечно ляпаю что попало, ну не сердись, да кто сердится, с чего ты взяла, дуреха, нет, ты рассердился за доктора с папочкой, но поверь, я имею в виду совсем другое, правда, ты такой хороший, милый, когда говоришь про аспирин и... подумать, не забыл — принес, а у меня из головы вон, Шепп, видишь, как вовремя, но если честно, Марсело, когда ты держишься со мной таким доктором, мне чуть-чуть смешно, не обижайся, кофе с коньяком — прелесть, спать буду как убитая, ну да, с семи утра в дороге — не веришь? — три машины и грузовик, нет, грех жаловаться, разве что гроза напоследок, но зато — Марсело, коньяк, Киндберг, та-ра, Шепп. Ладонка, перевернутая кверху, доверчиво затихает на скатерти среди крошек, когда Марсело ласково гладит ее — ерунда, он не в обиде, он сам видит, как тронута Лина его вниманием, по сути пустяшным: таблетки аспирина, вытащенные из кармана, и эти наставления, побольше воды, а то застрянет, и кофе с коньяком, обязательно; вот так, неожиданно-негаданно, — друзья, правда, а в комнате, наверно, совсем тепло и горничная откинула одеяло, как, должно быть, водится в Киндберге, — старинный обряд гостеприимства, «добро пожаловать» усталым путникам и глупым медвежатам, готовым мокнуть до самого Копенгагена, чтобы потом, да тьфу на это потом, Марсело, я же сказала — не хочу себя связывать ничем, не желаю-лаю-лаю, Копенгаген — он как мужчина, встретились и разошлись (а-а-а!), день жизни, я вообще не верю в будущее, дома только и талдычат о будущем, плешь проели этим будущим... да-да, у него то же самое: дядюшка Роберто все лаской, лаской, а затиранил малень-

кого Марселито, господи, такая кроха, и без отца, думай о завтрашнем дне, сынок, потом дядина пенсия — смех и слезы, а его речи: «в первую очередь мы нуждаемся в сильном правительстве», «у нынешней молодежи ветер в голове, вот мы в их годы...»; его рука по-прежнему на Лениной ладошке, с чего это он весь размяк и так остро вспомнился Буэнос-Айрес тридцатых-сороковых годов, не дури, старина, лучше Копенгаген, куда лучше Копенгаген, и хиппи, и дождь у леса, ха, но он же никогда не ездил автостопом, можно считать никогда, пару раз до университета, а после появились деньги, какие-никакие, но хватало и на костюмчик от хорошего портного, и все же могло выйти в тот раз, вспомни, когда ребята всей компашкой задумали плыть на паруснике — три месяца до Роттердама, заходы в порт, погрузки, и всего шестьсот песо, не больше, ну помочь команде, то-се, зато встряхнемся, проветримся, какой разговор — плывем, да-да, кафе «Руби» на площади Онсе, какой разговор, Монито, шесть сотен, легко сказать, когда деньги так и летят — сигареты, девочки, встречи в «Руби» кончились сами собой, отпали разговоры о паруснике, думай о завтрашнем дне, сынок, Шепп-чхи! Ага, опять — иди отдыхай, Лина! Сейчас, милый доктор, еще минуточку, видишь коньяк на донышке, такой теплый, попробуй, правда теплый? Что-то он, видимо, сказал — но что именно? — пока перед глазами стоял забытый «Руби», потому что Лина снова уловила, угадала в его голосе то, что пряталось за дурацкими словами «прими аспирин», «иди отдыхай», «дался тебе этот Копенгаген?». И впрямь, теперь, когда белая и горячая ладонь Лины лежит в его руке, все можно назвать Копенгагеном, все могло быть Копенгагеном, парусником, если бы шестьсот песо, если бы побольше пороху и романтики. Лина вскинула на него глаза и тут же опустила, будто его мысли — жалкий мусор времени! — лежали прямо на столе, среди крошек, будто он успел все это сказать, а не долбил как законченный идиот — иди отдыхай, хм, даже не хватило духу на вполне логичное — идем отдыхать, во множественном числе, а Лина, облизывая губы, вспоминала о каких-то лошадях (может, о коровах — он поймал лишь конец фразы...), нет, о лошадях, которые понеслись через поле, словно с перепугу, две белые и одна рыжая, в поместье у дяди, ой, ты не представляешь, какое это чудо — скакать верхом против ветра допоздна, возвращаешься

вдрызг усталая, до чертиков, и, конечно, охи-ахи, хуже мальчишки! ну сейчас, вот допью, и все, она смотрится в него — всей рассыпавшейся челкой, точно еще скачет галопом, втягивая носом воздух — такой крепкий коньяк, да ну, зачем ломать голову, он же не последний дурак — разве не она хлопала по темному коридору, не она улыбалась во все лицо: два номера? чего ради? бери один на двоих, что ж, с ее стороны вполне оправданная экономия, ей-то наперед известно, привыкла, ждет такого финала каждый раз, а вдруг все наоборот? ведь явно что-то не то, вдруг под конец пресловутый меч посредине постели или — пожалуйста — вон канаве в углу, а-а, ладно, он же не хам, интеллигентный человек, не забудь шарф, малышка, ой, Марсело, в жизни не видала такой широ-ченной лестницы, здесь наверняка был дворец и жили важные графы, которые устраивали балы при свечах и всякое такое, а двери, ух ты, посмотри, да это наша, умереть-уснуть, как разрисована,— пастушки, олени, завитушки! И огонь — алые ускользящие саламандры, и огромная раскрытая постель ослепительной свежести, и глухие шторы на окнах, ну как здорово, Марсело, тут спать и спать, дай я покажу тебе пластинку, она такая красивая — им понравится, она на самом дне, где письма и карты, не потерять бы, Шепп! Ты и впрямь простудилась, завтра покажешь, раздевайся скорее, я погашу лампу, и будем смотреть на камин, о, конечно, Марсело, какие угли — мильон кошачьих глаз, а искры, ну погляди, до чего красиво в темноте, хоть всю ночь любуйся; но он вешает пиджак на стул, подходит к медвежонку, свернувшемуся у самого камина, сбрасывает туфли, сгибается чуть не пополам, чтобы сесть рядом, смотрит, как бегут по ее рассыпанным волосам отсветы и дроглые тени, помогает снять блузку и расстегнуть лифчик, губы вминаются в ее голое плечо, руки все настойчивее, смелее среди роя искр, ах ты, лесной медвежонок, такая маленькая, глупышка; они целуются стоя, нагие в бликах пламени, еще и еще, какая прохладная белоснежная постель, а дальше — обвал, сплошной огонь, разбегающийся по всей коже, Линыны губы в его волосах, на его груди, руки под его спиной, тела познают, понимают друг друга, и легкий стон и запаленное дыхание, да-да, только надо сказать, он хотел еще до огня, до забытья, сказать: Лина, это не из благодарности, верно? И руки рванулись двумя хлыстами к его лицу, к горлу — яростные, маленькие,



беззащитные, невыносимо нежные, они стискивают, сжимают что есть силы, громкий всхлип, негодующий голос сквозь слезы: как ты мог, Марсело, как ты мог, теперь... господи, значит — да, значит — правда, ну прости, радость, прости, сладкая, прости, я был должен, взметнувшийся огонь, губы, розовые края ласки, ступени познания и провальная тишина, где все — медленно струящиеся волосы, горячая кожа; взмах ресниц, отказ и настойчивость, минеральная вода прямо из горлышка, к которому приникают в единой жажде его, ее рот, пустая бутылка выскальзывает из пальцев, которые на ощупь находят ночной столик, зажигают лампу, взмах рукой — и абажур прикрыт трусиками или чем-то еще, чтобы Марсело неотрывно смотрел на Лину, под золотистым светом лежащую на боку, спиной к нему, на эту зверюшку, уткнувшуюся в простыни, какая кожа — обалдеть, а Лина уже просит сигарету, приподнимаясь в подушках, да ты худущий и весь волосатый, Шепп-чхи, дай-ка я прикрою тебя одеялом, где оно? а вон, в ногах, слушай, по-моему, оно подпалилось, а мы и не заметили, Шепп!

Потом ленивое, сникающее пламя в камине и в их телах, оно опадает, золотится, вода выпита, сигареты, да ну, лекции в нашем университете — сдохнуть со скуки, не веришь, все самое интересное я узнала из разговоров в нашем кафе, или с Сесилией, с Перучо, или из книг — я их читаю всюду, даже в кино перед сеансами; Марсело слушает — «Руби», в точности как «Руби» двадцать лет тому назад, споры-разговоры, Арльт, Рильке, Элиот, Борхес, но Лина — она попала на парусник... автостопом, в «рено» или «фольксвагенах», медвежонок под ворохом сухих листьев, челка в каплях дождя, что за бред! снова и снова этот окаянный парусник и «Руби», почему, она же знать не знает про это, ее на свете тогда не было, подумать! девочка из Чили, соплюшка-путешественница, разъездилась, Копенгаген, и почему с самого начала, с той супницы, белого вина, Лина, даже не подозревая, стала бросать ему в лицо столько прошлого, несбывшегося, загнанного внутрь, весь его парусник за те проклятущие шестьсот песо. А Лина глядит на него полусонно, соскальзывая с подушек, вздыхает, как сытый зверек, и протягивает к нему руки — ты мне нравишься, такой худущий, все понимаешь — умник, Шепп, я хочу сказать, что с тобой хорошо, ты — чудо, такие большие, сильные руки, при чем тут возраст, в тебе столько жизни, какой

там старый! Стало быть, эта девочка почувала, что он есть, несмотря на, значит, поняла, что он моложе ее сверстников, этих мертвяков из фильма Ромеро, но все-таки — что кроется за этой влажной челочкой-занавесом? теперь она проваливается в сон, прикрытые глаза смотрят прямо на него, да-да, он возьмет ее еще раз, совсем нежно, он чувствует ее всю, до самой глубины, и как бы отпускает на волю, слышит полусердитое: м-м, я хочу спать, Марсело, не надо так, нет так, радость, так, ее тело невесомое и разом отверделое, упрямые ноги, и вдруг ответная вспышка, удвоенный, смелый напор страсти, без удержу... нет больше никакой Марлен в Брюсселе, нет этих женщин, похожих на него, — неторопливых, уверенных, умелых, как непривычно принимает Лина его силу и отвечает на нее, а потом в полусне, все еще на краю ветра, сквозь дождь и вскрики, его запоздало озаряет — это тот самый парусник и Копенгаген, его лицо, спрятанное на Лининой груди в ложбинке, — это лицо оттуда, из «Руби», из первых полунощеских ночей с Мабель, с Нелидой в пустой квартире у Монито, бешеные упругие захлесты, и чуть ли не следом: прогуляемся по центру, дай мне конфеты, а ну если мама пронюхает! Значит, даже теперь, в самом пределе любви нельзя отделаться от этого зеркала, откуда глядит его прошлое, его фотография, где он совсем молодой, от зеркала, которое Лина все время держит прямо перед ним, лаская его, напевая Арчи Шеппа, — та-ра-ра, ну давай поспим, еще глоточек воды, пожалуйста. Будто он стал ею, будто все — сквозь нее, это же бредово, невозвратно, невыносимо... и наконец сон в шепоте последних ласк, в махнувших по лицу волосах, всех разом, словно что-то в ней знало наперед и хотело стереть следы, чтобы он проснулся прежним Марсело, каким он и проснулся в девять утра и увидел Лину: она сидела на софе и причесывалась, напевая, уже готовая к другой дороге, к другому дождю. Они позавтракали наскоро, почти без слов, такое солнце! а на солидном расстоянии от Киндберга он остановил машину: выпьем кофе; Лина — четыре кусочка сахара, лицо словно омытое, отрешенное, воплощение какого-то отвлеченного счастья, и тут: знаешь, только не сердись, скажи, что не сердись, да будет, глупышка, говори, не стесняйся, может быть, что-нибудь надо, так я... и пауза на самом краю расхожей фразы, где каждое слово — вот оно, рядом, ждет, точно деньги в бумажнике, —

пользуйся, но в эту секунду робкая ладонь Лины накрывает его руку, глаза задернуты челкой: нельзя ли проехать с ним еще чуть-чуть, пусть не по пути, неважно, побыть с ним еще немного, ведь так хорошо, пусть это продлится хотя бы до вечера, такое солнце, мы уснем в лесу, я покажу тебе пластинку и рисунки, ладно, если ты не против; а в нем все дрогнуло, да-да, какое там против, почему — против, но он медленно отводит ее руку и говорит, что нет, не стоит, ну посуди, на этом перекрестке ты сразу поймашь машину, и Лина, медвежонок, вся съежилась, точно ее ударили наотмашь, стала далекая-далекая, она поглядывает исподлобья, как он расплачивается, встает, приносит ей рюкзак, целует в волосы, поворачивается спиной и исчезает из виду, бешеное переключение скоростей — пятьдесят, восемьдесят, сто десять, — вот она, свободная дорога агента, торгующего прессованными плитами, дорога, где нет Копенгагена, где во всех кюветах — останки прогнивших парусников, где все более высокие заработки и должности, полузабытый говорок буэнос-айресского «Руби» и у поворота — длинная тень одинокого платана, в который он врзается на скорости сто шестьдесят, пригнув лицо к рулю, как Лина, когда она опустила голову, потому что все медвежата грызут сахар вот так, пригнув голову.

## «ТОТ, КТО ЗДЕСЬ БРОДИТ»

### В ИНОМ СВЕТЕ

По четвергам репетиции на «Радио Бельграно» заканчивались поздно вечером, после чего Лемос обыкновенно зазывал меня к себе и, угощая чинзано, строил планы будущих постановок, а я должен был выслушивать его, мечтая поскорей выбраться на улицу и век не вспоминать о радиотеатре. Но Лемос был модным автором и хорошо платил за то небольшое, к чему сводилось мое участие в его программах, где я исполнял второстепенные и, как правило, малопривлекательные роли. Голос у тебя что надо, хвалил Лемос, радиослушатель начинает ненавидеть тебя после первой же реплики, и, в сущности, не обязательно, чтобы ты предавал кого-нибудь или травил стрихнином собственную мать: стоит тебе раскрыть рот, как половина Аргентины уже мечтает поджарить тебя на медленном огне.

Лусиана к этой половине не принадлежала. Как раз в тот день, когда наш премьер Хорхе Фуэнтес получил после заключительной передачи по «Розам бесчестья» две корзины любовных писем и белого барашка, присланного некой романтической помещицей из Тандиля, малыш Мацца вручил мне первый лиловый конверт от Лусианы. Привыкший к пустословию в бесчисленных его проявлениях, я сунул конверт в карман и спустился в кафе вместе с Хуаресом Сельманом и Оливе (после триумфа «Роз» у нас выдалась неделя передышки, а затем мы приступали к «Птице, застигнутой бурей»). Нам принесли уже по второму martini, когда я внезапно вспомнил о лиловом конверте и сообразил, что письма-то и не прочел. Мне не хотелось распечатывать его при всех, ведь от скуки

люди рады прицепиться к чему угодно, а уж лиловый конверт — это просто золотая жила. Поэтому сначала я вернулся домой, к своей кошке — ее по крайней мере такие вещи не интересовали, — оделил ее молоком и ежедневной порцией ласк и лишь после этого узнал о существовании Лусианы.

Мне не нужна Ваша фотография, писала Лусиана, и неважно, что «Симфония» и «Антенна» печатают портреты Мигеса и Хорхе Фуэнтеса, Ваши же — никогда, зато со мной всегда Ваш голос. Мне неважно, что все относится к Вам с антипатией и презрением, потому что Ваши роли обманывают всех, — напротив, это вселяет в меня надежду на то, что я единственная, кто знает правду: Вы страдаете, когда исполняете такие роли, Вы вкладываете в них свой талант, но я чувствую, что Вы не раскрываетесь до конца, как Мигес или Ракелита Байлей, ведь Вы так непохожи на жестокого принца из «Роз бесчестья». Но люди все путают, они переносят свою ненависть с принца на Вас, я уже поняла это по тете Поли и другим в прошлом году, когда Вы играли Вассилиса, контрабандиста-убийцу. Сегодня мне как-то одиноко, вот и захотелось написать Вам. Возможно, я не единственная, кто говорит Вам об этом, и мне даже хочется, чтобы было именно так: хочется узнать, что и у Вас, несмотря ни на что, есть поклонники. И в то же время я предпочла бы быть той единственной, кто способен разглядеть, что скрывается за Вашими ролями, за Вашим голосом, кто уверен в том, что знает Вас настоящего, кто восхищается Вами больше, чем теми, кому всегда достаются хорошие роли. Это как с Шекспиром, я никогда никому об этом не говорила, но, когда Вы сыграли Яго, он стал мне нравиться больше, чем Отелло. Не считайте себя обязанным ответить мне, указываю свой адрес на случай, если Вы и в самом деле захотите написать, но я и без того буду чувствовать себя счастливой от одной мысли, что высказала Вам все это.

Вечерело, почерк был размашист и стремителен, кошка спала на диванной подушке, наигравшись с лиловым конвертом. Со времени безвозвратного исчезновения Бруны в моем доме уже не готовили ужин, мы с кошкой обходились консервами, правда, мне полагались еще коньяк и трубка. В дни отдыха (перед началом работы над ролью в «Птице, застигнутой бурей») я еще раз

перечитал письмо Лусианы, вовсе не думая отвечать, потому что я как-никак актер, хотя мне и пишут в три года раз. Уважаемая Лусиана, писал я ей в пятницу вечером перед кино, меня глубоко взволновали Ваши слова, и это не вежливая фраза. Какая там вежливая фраза, я писал так, будто эта женщина, которую я воображал себе миниатюрной, с каштановыми волосами и грустными светлыми глазами, сидела напротив меня, а я говорил, как меня взволновали ее слова. Остальная часть вышла более избитой, я не знал, что еще можно сказать после слов правды, надо было чем-то заполнить страницу, две-три фразы с выражением симпатии и благодарности, Ваш друг Тито Балькарсель. Еще одна правдивая строчка содержалась в постскриптуме: рад, что Вы сообщили мне свой адрес, было бы очень грустно, если бы я не имел возможности написать Вам о своих чувствах.

Никто не любит признаваться в том, что без работы начинает в конце концов скучать,— по крайней мере такие люди, как я. В юности у меня хватало любовных приключений, и, когда выдавалось свободное время, я мог заняться проверкой расставленных ловушек и почти всегда уходил с добычей. А потом появилась Бруна, и это продолжалось четыре года, ну а в тридцать пять жизнь в Буэнос-Айресе начинает блекнуть и как-то сужается, во всяком случае для того, кто живет один со своей кошкой и не большой любитель чтения или долгих прогулок. Не то чтобы я чувствовал себя старым, наоборот,— казалось, что все остальные, в том числе и вещи, стареют и покрываются трещинами. Видимо, поэтому я предпочитаю вечерами сидеть дома, репетировать «Птицу, застигнутую бурей» наедине с кошкой, которая не сводит с меня глаз, и по-своему разделяться с этими неблагодарными ролями, доводя их до совершенства, делая их моими, а не Лемосовыми, преобразуя самые безобидные реплики в игру зеркал, в которых множатся и порочные, и притягательные черты персонажа. Таким образом, к моменту, когда я стану читать перед микрофоном, все уже бывало предусмотрено — каждая запятая, каждая интонация,— чтобы радиослушатель прониклся ко мне ненавистью не сразу, а постепенно (опять это был персонаж вполне сносный в начале, но по ходу действия обнаруживающий всю свою подлую сущность; в эпилоге, спасаясь от преследователей, он, к неопишуемому восторгу слушателей, совершает эффектный прыжок в пропасть). Когда я, по-

тянувшись за второй порцией мате<sup>1</sup>, обнаружил письмо Лусианы, забытое на полке среди журналов, и от нечего делать перечитал его, я снова увидел ее как наяву. У меня всегда было хорошо развито воображение, и я могу легко представить себе любую вещь. В первый раз Лусиана показалась мне маленького роста и примерно моих лет. Особенно четко видел я ее светлые до прозрачности глаза. При втором чтении этот образ не претерпел изменений; я снова представлял, как она обдумывает каждую фразу, прежде чем написать ее. В одном я был твердо убежден: Лусиана не из тех женщин, что вначале пишут начерно, наверняка она долго колебалась, прежде чем села за письмо, но услышала меня в «Розах бесчестья» — и нужные слова отыскались сами собой. Чувствовалось, что письмо написано единым духом, и в то же время — возможно, из-за лиловой бумаги, — оно оставяло у меня ощущение старого вина, долго томившегося в бутылке.

Я легко воображал себе даже ее дом, стоило только прикрыть глаза. Он, конечно, был с крытым патио или по крайней мере с галереей, увитой изнутри растениями. Всякий раз, когда я думал о Лусиане, я представлял ее в одном и том же месте — на застекленной галерее, которая в конце концов совсем вытеснила патио. Просачиваясь сквозь ее цветные стекла и полупрозрачные занавески, уличный свет становится сероватым. Лусиана сидит в плетеном кресле и пишет мне письмо, Вы так не похожи на жестокого принца из «Роз бесчестья», она грызет кончик ручки, перед тем как вывести следующую фразу, но никто не подозревает этого, у Вас такой талант, что люди ненавидят Вас, каштановые волосы, освещенные, как на старой фотографии, эти серовато-пепельные и в то же время чистые тона, мне хотелось бы быть единственной, кто способен разглядеть, что скрывается за Вашими ролями, за Вашим голосом.

Накануне первой передачи по «Птице» пришлось обедать с Лемосом и прочей компанией, мы репетировали сцены из числа тех, что Лемос называл ударными, а мы — бездарными. В них были и столкновение темпераментов, и драматические объяснения, а Ракелита Байлей блистала в роли Хосефины — надменной девицы, которую я постепенно опутываю сетями своего коварства, замыш-

---

<sup>1</sup> Мате, или парагвайский чай — распространенный в Южной Америке тонизирующий напиток из листьев растения йерба-мате.

ляя, как всегда, разные мерзости, по части которых Лемос был неистощим. Остальным роли тоже пришлось в самый раз, а в общем-то — никакой разницы между этим и восемнадцатью предыдущими радиоспектаклями, в которых мы участвовали. Если я запомнил эту репетицию, то только потому, что малыш Мацца принес второе письмо от Лусианы, и на этот раз мне захотелось сразу же его прочесть, для чего я на минутку отлучился в уборную, пока Анхелита и Хорхе Фуэнтес клялись друг другу в вечной любви на танцах в спортклубе «Химнасиа и Эсгрима». Подобные места частенько упоминались у Лемоса, что безумно нравилось постоянным слушателям, которые еще полнее могли отождествить себя с главными героями — во всяком случае, по Лемосу и Фрейду, все должно было обстоять именно так.

Я принял ее бесхитростное и трогательное предложение встретиться в кондитерской на Альмагро. За приглашением шло скучное перечисление деталей, по которым мы узнаем друг друга: она будет в красном, я же должен явиться со сложенной вчетверо газетой — без этого, видимо, нельзя было обойтись. Но в остальном это была прежняя Лусиана, она опять писала мне на застекленной галерее, а поодаль сидела ее мать или, может быть, отец, с самого начала я видел какого-то пожилого человека рядом с ней в доме, где некогда жила большая семья, а ныне в пустующих комнатах поселилась печаль — то была тоска матери по второй дочери, умершей или уехавшей неизвестно куда. Да-да, очень возможно, что их дом совсем недавно посетила смерть. Если Вы не захотите или не сможете прийти, я пойму; мне не следовало, конечно, проявлять инициативу, но я ведь знаю, писала она, как о чем-то само собой разумеющемся, что такой человек, как Вы, выше всяких предрассудков. И совершенно неожиданно добавляла, растрогав меня до глубины души: Вы знаете обо мне только из этих двух писем, я же три года живу Вашей жизнью и, слушая Вас в очередной роли, понимаю, какой Вы на самом деле. Я отделяю Вас от театра, и Вы для меня всегда тот же, какую бы маску ни надевали. (Это второе письмо где-то затерялось, но смысл был такой, и слова тоже; первое же письмо, помнится, я засунул в роман Моравиа, который тогда читал; уверен, оно и по сей день лежит в этой книге, пылящейся на полке.)

Расскажи я обо всем этом Лемосу, у того наверняка



родился бы замысел очередного опуса, кульминацией которого стала бы встреча, происходящая после многочисленных перипетий и отсрочек, причем юноша обнаружил бы, что Лусиана точь-в-точь такая, какой он ее себе воображал, и это доказывало бы, что любовь делает человека провидцем — сентенции такого рода всегда были в большом ходу на «Радио Бельграно». Однако Лусиана оказалась женщиной за тридцать (хотя, надо отдать ей должное, выглядела великолепно) и далеко не такой миниатюрной, как незнакомка, писавшая письма на галерее; у нее были роскошные черные волосы, которые, казалось, жили собственной жизнью, особенно когда она вскидывала голову. О лице Лусианы я как-то не составил достаточно ясного представления: светлые грустные глаза — вот, пожалуй, и все. Сейчас же из-под легких черных волос на меня смотрели смеющиеся карие глаза. Грусти в них не было и в помине. То, что она предпочла виски, показалось мне забавным, у Лемоса почти все романтические встречи начинались чаепитием (а с Бруной мы пили кофе с молоком в вагоне поезда). Она не извинилась за то, что пригласила меня, а я, хотя иногда и переигрываю, потому что в глубине души не слишком верю в то, что со мной происходит, на этот раз чувствовал себя очень непринужденно, да и виски оказалось настоящим. Поистине нам было так хорошо, словно наша встреча была случайной, а не назначена заранее. Обычно так и завязываются добрые отношения, когда не приходится ничего демонстрировать или скрывать. Естественно, в основном говорили обо мне: как-никак я был известной личностью, а что такое была она? Два письма и имя — Лусиана. Поэтому, не боясь показаться тщеславным, я не перебивал ее, когда она вспоминала мои роли в разных радиопостановках: в той, где меня убивают после пыток, в той, где рассказывается о шахтерах, погребенных под землей, и в какой-то еще. Понемногу я привыкал к ее лицу и голосу, с трудом освобождаясь от писем, застекленной галереи, плетеного кресла. В конце нашего разговора выяснилось, что живет она в довольно тесной квартирке на первом этаже со своей тетей Поли, которая когда-то играла на фортепьяно и в тридцатые годы даже выступала в Пергамино. Лусиана тоже сверяла про себя вымышленный образ с действительным, как и бывает, если отношения напоминают поначалу игру в жмурки, и наконец призналась, что представляла меня выше ростом,

с вьющимися волосами, серыми глазами. Вьющиеся волосы меня просто убили, ни в одной из ролей я не видел себя с вьющимися волосами, но, возможно, этот образ возник у нее как некое обобщение всех подлостей и измен, которые Лемос нагромоздил в своих пьесах. Я высказал ей это в шутку, но Лусиана возразила, что все персонажи она видела именно такими, какими они были у Лемоса, но в то же время могла отвлечься от них и остаться наедине с моим голосом, со мной, только я по неизвестной причине казался ей выше ростом и с вьющимися волосами.

Не думаю, что я влюбился бы в Лусиану, если бы Бруна по-прежнему существовала в моей жизни; ее отсутствие было еще слишком заметно, вокруг меня образовалась пустота, которую Лусиана начала заполнять, сама того не зная и, быть может, того не желая. В отличие от меня в ней все свершилось гораздо быстрее, в том числе и переход от моего голоса к этому другому Тито Балькарселю с гладкими волосами и куда менее яркой индивидуальностью, чем Лемосовы монстры. Превращения эти не заняли и месяца; сначала были две встречи в кафе, потом еще одна, в моей квартире. Кошка благосклонно отнеслась к запаху духов и кожи Лусианы и задремала было у нее на коленях, как вдруг почувствовала себя лишней. Это ей решительно не понравилось, и, жалобно мяукнув, она спрыгнула на пол. Тетя Поли уехала к сестре в Пергамино, свою миссию она выполнила, а Лусиана на той же неделе перебралась ко мне. Я помогал ей собирать вещи и до боли жалел, что нет застекленной галереи, нет сероватого света; я уже знал, разумеется, что не увижу ничего похожего, и все же мне словно чего-то не хватало. В день переезда тетя Поли с милой улыбкой поведала мне несложную семейную сагу, рассказав о детстве Лусианы, о женихе, который исчез навсегда из ее жизни, соблазнившись работой на чикагских холодильниках, о браке с владельцем гостиницы в районе Примера-Хунта и разрыве с ним через шесть лет. Все это мне было уже известно от Лусианы, но та рассказывала как-то иначе, вроде бы о ком-то другом, а не о себе, начинавшей новую жизнь, в которой были мои объятия, блюдечко с молоком для кошки, кино чуть ли не каждый день, любовь.

Кажется, мы уже работали над «Окровавленными колосьями», когда я попросил Лусиану чуть-чуть подсветить волосы. Вначале она восприняла это как актерскую блажь.

Если хочешь, я куплю парик, рассмеялась она, добавив мимоходом: между прочим, тебе тоже пошел бы завитой паричок. Но когда через несколько дней я вернулся к той же теме, она согласилась, сказав, что, в общем-то, ей все равно, черные или каштановые у нее волосы. Но, скорее всего, она догадалась, что перемена эта связана не с моими актерскими причудами, а совсем с другим: с застекленной галереей, плетеным креслом... Мне не пришлось ее больше упрашивать, я был горд, что она сделала это для меня, и часто повторял ей это в минуты любви, зарывшись лицом в ее волосы и лаская ее грудь, а потом, крепко прижавшись к ней, проваливался в иной, долгий сон. Кажется, на следующий же день — то ли утром, то ли когда она собиралась за покупками — я взял ее волосы в обе руки и закрутил их в пучок, уверяя, что так ей больше к лицу. Она взглянула на себя в зеркало и ничего не сказала, хотя я видел, что она не согласна со мной. И это было понятно: Лусиана не принадлежала к типу женщин, которым идет такая прическа. Ей гораздо больше шли распущенные и темные волосы, но я не стал об этом говорить, потому что хотел видеть ее другой — более прекрасной, чем в тот день, когда она впервые переступила порог кондитерской.

Мне никогда не доставляло удовольствия слушать себя в записи — я просто делал свою работу, и точка. Коллеги поражались отсутствию у меня тщеславия, которого в них самих было хоть отбавляй. Они, должно быть, думали, и, наверное, не без основания, что мне просто не хочется лишний раз вспоминать о своих ролях. Вот почему Лемос вытаращил глаза, когда я попросил у него из архива записи «Роз бесчестья». Он поинтересовался, для чего они мне, и я промямлил что-то вроде того, что хочу поработать над недостатками своей дикции, или что-то еще в этом духе. Когда я пришел домой с альбомом пластинок, Лусиана тоже немного удивилась, поскольку я никогда не говорил с ней о работе — это она на каждом шагу делилась своими впечатлениями и слушала мой голос по вечерам с кошкой на коленях. Я повторил ей то же, что и Лемосу, но вместо того, чтобы слушать записи в другой комнате, внес проигрыватель в гостиную и попросил Лусиану остаться, а потом приготовил чай и переставил торшер, чтобы было уютней. Зачем, удивилась Лусиана, он был хорош и на старом месте. Разумеется, но свет, который он отбрасывал на диван, где сидела Лусиана,

был слишком резок и ярок. Куда лучше приглушенный предвечерний свет, падающий из окна, этот серовато-пепельный свет, что окутывал ее волосы, руки, разливающие чай. Ты меня слишком балуешь, заметила Лусиана, все для меня, а сам забился куда-то в угол и даже не приядешь.

Конечно, я поставил лишь отдельные эпизоды из «Роз», и, пока они звучали, мы успели выпить всего по две чашки чаю да выкурили по сигарете. Мне было приятно смотреть на Лусиану, внимательно следившую за интригой. Заслышав мой голос, она поднимала голову и улыбалась, показывая, что ее несколько не возмущают происки подлого деверя бедной Карменситы, мечтающего завладеть состоянием семьи Пардо и добивающегося своей коварной цели на протяжении всего спектакля, который заканчивался неизбежной победой любви и справедливости в понимании Лемоса. Мне было хорошо в моем углу (я выпил чашку чая, присев рядом с Лусианой, но потом снова отошел в глубину гостиной, объяснив, что оттуда мне якобы лучше слышно); в какое-то мгновение я вновь обрел то, чего мне так недоставало последнее время. Я мечтал, чтобы это никогда не кончилось, чтобы предзакатный свет вечно струился из окна, напоминая о застекленной галерее. Это было, разумеется, невозможно; я выключил проигрыватель, и мы вместе вышли на балкон, но сначала Лусиана переставила обратно торшер, потому что он и в самом деле был не на месте. Тебе хоть немного помогло это прослушивание? — спросила она, ласково поглаживая мою руку. Да, конечно, и я заговорил о постановке дыхания, о гласных, еще о чем-то. Она внимательно слушала меня. В одном только я ей не признался — в том, что в эти прекраснейшие минуты мне для полноты счастья не хватало лишь плетеного кресла да, быть может, задумчиво-грустного выражения, какое появляется на лице, когда человек всматривается в невидимую даль, прежде чем вывести следующую строку письма.

Работа над «Окровавленными колосьями» постепенно приближалась к концу, через три недели мне должны были дать отпуск. Возвращаясь с радио, я заставал Лусиану за чтением или за игрой с кошкой: она сидела в кресле, которое я подарил ей ко дню рождения вместе с таким же плетеным столиком. К нашей обстановке это совсем не подходит, сказала тогда Лусиана улыбаясь, но как-то растерянно. Впрочем, если тебе нравится, мне

и подавно: очень красивая и, главное, удобная мебель. Тебе будет хорошо в этом кресле, особенно если понадобится написать кому-нибудь письмо, заметил я. Да, согласно кивнула Лусиана, а то я все никак не соберусь написать тете Поли, как там она, бедняжка. Поскольку под вечер на старом месте ей стало темновато (вряд ли она догадалась, что я сменил лампочку в торшере), она в конце концов переставила столик с креслом к окну и там вязала или листала журналы. Видимо, в один из этих осенних дней или немного позже я как-то долго сидел с ней рядом, а потом крепко поцеловал и сказал, что никогда еще не любил ее так, как в эту минуту, и что именно такой мне хотелось бы видеть ее всегда. Она ничего не ответила и лишь взъерошила мне волосы. Потом ее голова склонилась ко мне на плечо, и она замерла, словно ушла куда-то. Чего еще можно было ждать от Лусианы в этот предвечерний час? Она сама была похожа на лиловые конверты, на простые и тихие слова своих писем. С этих пор я уже с большим трудом мог представить себе, что мы познакомились в кондитерской и ее непослушные черные волосы взметнулись, как хвосты плетки, когда она, поборов смущение, поздоровалась со мной. Память моей любви хранила застекленную галерею и силуэт в плетеном кресле, мало чем напоминавший рослую и жизнерадостную женщину, которая по утрам расхаживала по дому или играла с кошкой, а под вечер перевоплощалась в другую, которую я боготворил и которая внушала мне любовь к Лусиане.

Возможно, надо было сказать ей об этом. Но я никак не мог собраться, колебался, — думаю, оттого, что предпочитал сохранить все как было. Мое чувство было таким полным, таким всеобъемлющим, что не хотелось задумываться о причинах загадочного молчания, рассеянности, которой я в ней раньше не замечал, новой привычки иногда смотреть на меня так, будто она что-то ищет, а потом взгляд ее вновь возвращался к кошке или к книге. Ведь и это не шло вразрез с грустной обстановкой застекленной галереи, ароматом лиловых конвертов. Помню, что, проснувшись как-то в полночь и взглянув на нее, спящую рядом со мной, я почувствовал, что настало время рассказать ей обо всем, чтобы она поняла, каких усилий стоило мне сплести вокруг нее тонкую любовную паутину, и окончательно стала моей. Я не сделал этого, потому что Лусиана спала, затем — потому что Лусиана

уже встала, потому что в этот вторник мы шли в кино, потому что мы искали подходящий автомобиль для поездки в отпуск, потому что жизнь мелькала перед нами, подобно кинокадрам, замедляя свой бег лишь в те короткие вечерние часы, когда серовато-пепельный свет подчеркивал совершенство силуэта Лусианы на фоне неизменного плетеного кресла. Она очень редко теперь со мной заговаривала и опять и опять смотрела так, будто искала что-то, и это подавляло во мне смутную потребность рассказать ей правду, объяснить, что значили для меня каштановые волосы и пепельный свет на галерее. Я так и не собрался. Случайное изменение в расписании привело меня однажды поздним утром в центр, и я увидел ее, выходящую из дверей отеля. Я узнал ее — и не узнал, и ничего не понял, поняв, что она держит под руку какого-то мужчину выше меня ростом, а тот слегка наклонился к ней, чтобы поцеловать в ушко и потереться кудрявой шевелюрой о каштановые волосы Лусианы.

## ЖАРКИЕ ВЕТРЫ

Трудно решить, кому из них пришло это в голову, — скорее Вере, когда они праздновали день ее рождения. Маурисио захотел открыть еще одну бутылку шампанского, и они, смакуя его маленькими глотками, танцевали в гостиной, где от дыма сигарет и ночной духоты загустевал воздух, а может, это придумал Маурисио в тот миг, когда печальный «Blues in Thirds» принес из далекого далека воспоминания о первой поре, о первых пластинках, о днях рождения, которые были не просто привычным, отлаженным ритуалом, а чем-то иным, особым... Прозвучало это шуткой, когда болтали, улыбались как заговорщики, танцуя в полудреме, дурманной от вина и сигарет, а почему бы и нет, ведь, в конце концов, вполне возможно, чем плохо, проведут там лето; оба равнодушно просматривали проспект бюро путешествий, и вдруг — идея, то ли Веры, то ли Маурисио, взять и позвонить, отправиться в аэропорт, попробовать, может, стоит свеч, такое делается разом — да или нет, в конце концов, плохо ли, хорошо ли, вернуться под защитой безобидной привычной иронии, как возвращались из стольких безрадостных поездок, но теперь надо попытаться по-другому, все взвесить, решить.

На этот раз (в том и новизна идеи, которая пришла Маурисио, хотя могла зародиться от случайно оброненного замечания Веры, как-никак двадцать лет совместной жизни, полное совпадение мыслей: фразу, начатую одним, заканчивает другой на противоположном конце стола или телефонного провода) нет, все может повернуться иначе, надо лишь упорядочить, утвердить кодекс, и — развлекайся хотя бы с самого начала, с того — просто бред! — что они полетят разными самолетами, поселятся в одном отеле, но как совершенно чужие, а потом, дня через два-три, случайно встретятся где-нибудь в столовой или на пляже, у каждого возникнут новые знакомства, как всегда на курортах, договоримся заранее — держаться друг с другом любезно, упомянуть о своей профессии, представиться, ну, скажем, за коктейлем, где будет столько разных профессий и судеб и столько той тяги к легкому, необременительному приятельству летних отпусков.

Нет, никто не обратит внимания, что у них одна и та же фамилия, она такая распространенная, но куда как забавно, что их отношения станут складываться постепенно, подчиняясь ритму жизни всего отеля, оба заведут свои компании, будут развлекаться врозь, не искать встреч друг с другом и лишь время от времени видятся наедине и смотреть глаза в глаза, как сейчас под звуки «Blues in Thirds»; на какой-то миг они останавливались, поднимая бокалы с шампанским, и тихо, в такт музыки, чокались — дружески и утомленно, и вот уже половина первого среди дыма сигарет и аромата духов, сам Маурисио выбрал их для этого вечера, но вдруг засомневался — не спутала ли Вера, а она, вздергивая чуть-чуть нос, втягивая воздух, принюхивалась, это было ее, какое-то особенное движение.

Все дни рождения они без нетерпения, любезно дожидались ухода последних гостей, а потом любили друг друга в спальне, но на этот раз не было никого, им просто не захотелось никого приглашать, потому что на людях еще скучнее; они дотанцевали до конца пластинки и, обнявшись, полусонно глядя друг в друга, вышли из гостиной, все еще сохраняя ритм смолкшей музыки, и, потерянные, почти счастливые, босиком ступили на ковер спальни, а потом неспешно раздевались на краю постели, помогали, мешали друг другу — поцелуи, пуговицы, поцелуи и ... вот еще одна встреча, самые приятные, но давно заученные ласки при зажженной лампе,

которая как бы ведет их на поводу, разрешает только эти привычные жесты, а потом медленное, усталое погружение в нерадостное забытие после всех изведанных формул любви, которым подневольны их тела, их слова.

Утром — было воскресенье, и шел дождь — они завтракали в постели и все решили всерьез, надо лишь обсудить заранее, чтобы это не стало еще одним тусклым путешествием и, главное, еще одним очередным возвращением. Они перечислили все пункты, загибая пальцы. Поедут отдельно — это раз; поселятся порознь в одном и том же отеле и возьмут от лета все блага — два; никаких упреков и осуждающих взглядов, так хорошо знакомых каждому, — три; встречи наедине, но только чтобы поделиться впечатлениями, осмыслить, стоило ли затевать это, — четыре; и наконец, пятый пункт — все опять как прежде, домой одним самолетом, до других людей им уже не будет дела (а там как знать — ясность внесет четвертый пункт). То, что произойдет потом, в счет пока не шло, это — зона, обозначенная раз и навсегда, но нечеткая, тут речь может идти о сумме случайных величин, где допустимо все, а о ней пока говорить рано.

Рейсы в Найроби были по четвергам и субботам, Маурисио улетел первый, в четверг после обеда, где была лососина, тосты и обмен талисманами, главное — не забудь хинин и не оставь, как всегда, крем для бритья и свои пляжные сандалии.

Забавно приехать в Момбасу, а потом — час езды на такси — подкатить прямо к «Trade Winds»<sup>1</sup>, к бунгало почти на пляже, где на ветвях кокосовых пальм кувыркаются обезьяны и всюду улыбающиеся африканские лица, забавно увидеть издали Маурисио, он уже вполне освоился, играет в настольный теннис с какой-то парой и стариком с рыжими бакенбардами.

После коктейля она вышла на открытую веранду над самым морем и увидела Маурисио вблизи, среди туристов, он появился с женщиной и двумя молодыми людьми в тот момент, когда все увлеченно говорили о раковинах и рифах, и спустя какое-то время поинтересовался, откуда прилетела Вера, да, я тоже из Франции, и по профессии — геолог. Хм, неплохо, если бы он был геологом, подумалось Вере, пока она отвечала на распро-

---

<sup>1</sup> «Пассаты» (англ.).



сы незнакомых людей, да, врач-педиатр, время от времени нужен отдых, чтобы не впасть в депрессию, старик с рыжими бакенбардами оказался дипломатом на пенсии, его супруга одета, словно ей двадцать лет, но пусть, можно простить, в таком месте все смахивало на цветной фильм, включая щеголей официантов и обезьян, и даже название отеля «Trade Winds» тотчас напоминало о Сомерсете Моэме, о Конраде, коктейли подавали в кокосах, рубашки расстегнуты, вечером после ужина прогулка под безжалостно яркой луной по пляжу, испещренному ползущими тенями, к великому изумлению приезжих, уставших от тяжести грязного дымного неба.

Последний всегда впереди, вспомнила Вера пословицу, когда Маурисио сказал, что его комната в самой комфортабельной части отеля, все шикарно, но в бунгало у самого моря особая прелесть. Вечером играли в карты, а день — долгий-долгий диалог солнца и тени, море, спасительный ветерок под пальмами, теплые накаты волн, которым тело отдает накопившуюся усталость, прогулка в пироге к рифам, где ныряли и плавали в масках, совсем рядом со стайками доверчивых рыбок, и любовались кораллами, красными, голубыми. На второй день только и разговоров что о двух морских звездах — одна в розовую крапину, другая в синих треугольниках, ну а на третий время заскользило, покатилося, как ласковая морская вода по коже, Вера плавала с Сандро, который возник где-то между двумя коктейлями, он без умолку говорил о Вероне, об автомобилях, англичанин с рыжими бакенбардами сильно обгорел, и к нему вызвали врача из Момбасы, лангусты были до невероятия огромные в своих последних жилищах из майонеза и кружочков лимона, словом — летний отпуск. Губы Анны слабо улыбались, будто она где-то далеко, отстраненно, а не в баре, откуда на четвертый день вышла со стаканом в руке, ветераны — три дня это срок! — встретили ее на веранде всевозможными советами и наставлениями, к северу полно морских ежей, очень опасных, боже упаси без шляпы в пироге и непременно что-нибудь на плечи, англичанин, бедняга, дорого поплатился, а негры нет чтобы предупредить туристов, да о чем говорить, и Анна благодарно, но без пафоса кивает головой, медленно потягивая martini и как бы показывая всем своим видом, что приехала побыть в одиночестве, наверно из Копенгагена или из Стокгольма, который нужно

забыть. Чутье подсказало Вере, что Маурисио — с Анной, да, наверняка Маурисио и Анна, меньше чем за сутки, она играла в пинг-понг с Сандро и увидела, как они прошли к морю, как легли на песок, Сандро отпустил шуточку насчет Анны, которая показалась ему необщительной, стылой, как северные туманы, он легко выигрывал партии, но как истинный итальянский рыцарь время от времени поддавался, уступал мячи, и Вера, понимая это, про себя благодарила его, двадцать один: восемнадцать, не так уж плохо, дело тренировки. В какой-то миг, засыпая, Маурисио подумал, что, так или иначе, все складывается хорошо, хотя смешно сказать — Вера спит в ста метрах от его комнаты в бунгало под ласковый шорох пальм, тебе повезло, жена, позавидуешь. Они оказались рядом на экскурсии к ближним островам и веселились от души, когда плавали и придумывали разные игры вместе с другими; Анна сожгла плечи, и Вера дала ей свой крем, понимаете, детский врач с годами узнает все про все кремы на свете, англичанин, бедняга, появился сникший, растерянный, на сей раз осмотрительно прикрытый небесно-голубым халатом, вечером по радио без конца говорили о Джомо Кениате и о племенных распрях, кто-то знал уйму всего о воинственных массаи и, опустошая бутылку за бутылкой, занимал общество рассказами об этом народе, страшными историями о львах, баронесса Карен Бликсен, амулеты из слоновьего волоса — ерунда, стопроцентный нейлон, и так что ни возьми в этих странах. Вера не помнила, какой это был день — четверг, среда? — когда Сандро проводил ее до бунгало после прогулки по пляжу, где они целовались так, как надо целоваться на таком пляже, при такой луне, она позволила ему войти, едва он положил руку на ее плечо, и позволила себя любить всю ночь до рассвета, она услышала странные вещи, узнала, как бывает по-другому, и засыпала медленно, наслаждаясь каждой минутой блаженной тишины под москитной сеткой, почти невидимой. У Маурисио это произошло в час сиесты, после обеда, когда его колени коснулись упругого бедра Анны, он довел ее до двери, шепнул: «пока», заметил, как она слегка задержала пальцы на дверной ручке, вошел следом и пропал, утонул в остром блаженстве, которое отпустило их на волю лишь к ночи, когда многие в гостинице уже забеспокоились — может, заболели? — и Вера нетвердо улыбалась, обжигая язык адской смесью

кампари с кенианским ромом, которую Сандро взбивал для нее в баре, к ужасу Мото и Никуку: эти европейцы скоро рехнутся все до одного.

По утвержденному кодексу их встреча прилась на субботу, в семь вечера. Вера, улучив момент, когда на пляже не было никого, кивнула в сторону пальмовой рощи — вполне подходящее место. Они обнялись с прежней нежностью, смеялись, как нашалившие дети, да-да, пункт четвертый, выясним, ну... оба очень милые люди, нет спору. Мягкая пустынность песка и сухие ветви, сигареты и этот бронзовый загар пятого, шестого дня, когда глаза сияют, как новые, и говорить друг с другом — праздник. Все идет прекрасно, чуть ли не сразу сказал Маурисио, а Вера: еще бы, все превосходно, судя по твоему лицу и твоим волосам; почему по волосам? Потому что они блестят по-особому, это от соли, дуреха, может быть, но от этой соли они обычно склеиваются, хохот мешает им говорить, да и к чему слова, они смеются, смотрясь друг в друга, а закатное солнце быстро уходит за край неба, тропики, гляди внимательнее — увидишь легендарный зеленый луч, да я пробовал прямо с балкона и ни черта не увидел, а-а-а, у вас есть балкон, сеньор, да, достойная сеньора, балкон, но вы шикуете в бунгало, лучше не придумать для оргий под звуки океана. И как-то само собой, чуть ли не вскользь, зажигая новую сигарету: да нет, он действительно потрясающий, у него все так... Верю, раз ты говоришь. Ну а твоя, расскажи. Не говори — твоя, это режет ухо. Будто мы члены жюри и распределяем премии. Не будто! Ну ладно, только Анна... О! Сколько меда в твоём голосе, когда ты произносишь ее имя, будто облизываешь каждую букву. Каждую — нет, но. Свинья! А ты? Вообще-то вопрос не ко мне, хотя. Могу себе представить, все итальянцы вышли из Декамерона. Маурисио, ты что, мы же не на сеансе групповой терапии. Прости, это не ревность, да и кто вправе. А-а, ну good bye! Значит — да? Значит — да, нескончаемо прекрасно, невыразимо прекрасно. Поздравляю, я бы не хотел, чтобы тебе было не так хорошо, как мне. Ну, по правде, я не очень представляю твою радость, а четвертый параграф предполагает, вспомни. Твоя правда, хотя нелегко найти слова, Анна как волна, как морская звезда... Красная или фиолетовая?

Всех цветов сразу, золотистая река, розовые кораллы. Ба-ба, этот сеньор — скандинавский поэт! А вы, сеньора, — венецианская блудница. Он из Вероны, а не Венеции. Какая разница, на памяти все равно Шекспир. Действительно, мне не пришло в голову. Итак, все остается в силе? Да, Маурисио, у нас еще пять дней. Главное — пять ночей, проведи их как следует. Не сомневайся, он обещал посвятить меня в таинство, так он именуется это высокое искусство, которое позволит постичь глубинную реальность. Ты мне потом растолкуешь, надеюсь? В подробностях, поверь, а ты расскажешь о твоей золотистой реке и голубых кораллах. Розовых, малыш. Словом, мы, как видишь, не теряем времени даром. Поглядим-посмотрим, во всяком случае, мы не теряем его сейчас, и именно поэтому не следует так долго задерживаться на четвертом пункте. Окунемся перед виски? Виски — фу, пошлость, меня угощают карпано, джином. О! Пардон! Ничего, бывает, хорошие манеры — дело наживное, хотя и требует времени, давай поищем зеленый луч, вдруг повезет?

Пятница — день Робинзона, кто-то вспомнил об этом за коктейлем, и разговор завертелся вокруг островов и кораблекрушений, с моря налетел тугой и яростный порыв ветра, который посеребрил листья пальм и принес нездешний гомон птиц, долгие перелеты, старый моряк и альбатрос, как у Колриджа, эти люди умеют жить, каждая порция виски сдобрена фольклором, старинной песней о Гебридах или о Гваделупе, к концу дня Вера и Маурисио подумали об одном и том же: отель вполне заслуживает свое название, для них это пора жарких ветров — пассатов, Анна, дарующая забытые вихри, Сандро, великий, изощренный творец, жаркие ветры, вернувшие им те времена, где не было привычки, где все — откровение, изначальность, дерзкие выдумки, шквал в постели, где все только теперь и уже не теперь, и поэтому пассаты будут дуть до четверга, до конца дней вне времени, которые обернулись далеким прошлым, мгновенным броском к истокам, к новому цветению, к острому счастью, где — и они оба это знали, может, еще до всех пунктов кодекса, — звучали горькие звуки «Blues in Third».

Они не говорили об этом, встретившись в «Боинге», улетавшем из Найроби, каждый закуривал первую сигарету возвращения. Смотреть друг на друга как раньше?

Но им мешало что-то, для чего нет слов, и они забивали молчание веселыми историями о «Trade Winds», попивая вино; надо было как-то сохранить этот «Trade Winds», жаркие ветры, пассаты должны быть попутными; пусть это плавание, как в прежние времена, милое сердцу, под парусом, которому они препоручили себя, превратит в осколки пропеллеры и покончит с днями, похожими на липкую жирную нефть, которая льется отравой в шампанское их годовщин и в надежды каждой ночи. Затягиваясь сигаретами, они продолжали глотать жаркие ветры Анны и Сандро, подставляя им лица,— почему, Маурисио? Теперь она видит только Сандро: его кожа, его волосы, его голос, и лицо Маурисио становится тоньше, деликатнее, а хриплый смех Анны в самом накале любви стирает улыбку, которой Вера так трогательно пыталась скрыть свое отсутствие. Шестого пункта не было в их кодексе, но они не сговариваясь могли придумать его: что странного в том, если он возьмет и предложит Анне еще виски, а она в знак согласия погладит его ласково по щеке и скажет — да, скажет — да, Сандро, неплохо бы выпить еще виски, чтобы пропала эта дурацкая боязнь высоты, и продолжить эту игру до конца полета и в аэропорту, уже не нуждаясь в новых статьях кодекса, просто решить, что Сандро захочет проводить Анну до дома и она согласится на этот обычный знак мужского внимания, и не более, а у дверей именно она найдет ключ и пригласит Сандро выпить чего-нибудь еще и попросит оставить чемодан в прихожей, проведет его в гостиную, извинится — столько скопилось пыли и не проветрено, раздернет шторы, принесет лед, а Сандро тем временем с видом знатока станет разглядывать гравюру Фридлендера и полку с пластинками. Был двенадцатый час, они выпили за дружбу, и Анна принесла банку печени трески и бисквиты, Сандро помог ей сделать бутерброды, но они не успели их попробовать, руки, губы нашли друг друга, они упали на постель и разделись, путаясь во всех этих пуговицах, тесемках, петлях, и, откинув одеяло, сняв со стола лампу, овладели друг другом не торопясь, с ожиданием и надеждой, с шепотом надежды.

Бог знает, когда пришел черед виски и сигаретам, они сидели на кровати, откинувшись на подушки, и курили при свете лампы, поставленной на пол. Оба прятали глаза, а слова, наталкиваясь на стену, отлетали от нее не упруго,

вяло, точно мячи, брошенные вслепую; она первая сказала вслух, точно задала вопрос самой себе: что будет с Верой и Маурисио после «Trade Winds», что с ними будет, когда вернутся.

— Они, наверное, все уже поняли,— сказал он.— Им все ясно, и теперь ничего нельзя сделать.

— Всегда можно что-то сделать,— сказала она.— Вера не сможет оставить все, как есть, достаточно было посмотреть на нее.

— Маурисио — тоже,— сказал он.— Я с ним был едва знаком, но тут нет сомнений. Ни один из них не сможет оставить все вот так, и, пожалуй, нетрудно представить, что они сделают.

— Да, совсем нетрудно, я их вижу.

— Скорее всего, они не спали, как и мы, и теперь разговаривают, пряча глаза. У них уже нет слов друг для друга, наверно, Маурисио, именно он, откроет ящик и возьмет синий пузырек. Вот как этот, смотри.

— Вера считает все таблетки и поделит их поровну,— сказала она.— Ей всегда приходилось заниматься практическими делами, она с этим справится в один момент. Шестнадцать каждому, четное число, так что проще простого.

— Они будут их глотать по две с виски одновременно, не опережая друг друга.

— Таблетки, наверно, горьковатые на вкус,— сказала она.

— Кислые, сказал бы Маурисио.

— Да, может статься, что кислые. Потом они погасят свет неизвестно зачем...

— Кто знает зачем? Но они вправду погасят свет и обнимутся. Я знаю, наверняка знаю, что обнимутся.

— В темноте,— сказала она, протянув руку к выключателю.— Вот так, правда?

— Так,— сказал он.

## ВО ВТОРОЙ РАЗ

Мы просто поджидали их, каждому был отведен свой день и час, но правда и то, что мы не утруждались, курили, сколько хотелось; время от времени черный Лопес разносил кофе, и тогда мы бросали работу и болтали, почти всегда об одном и том же: о последних распоряжениях

начальника, изменениях в верхах, спектаклях в «Сан-Исидро». Они, конечно, и понятия не имели, что мы их поджидаем, именно поджидаем, тут огрехи недопустимы; вам тревожиться нечего, слово начальника, частенько повторял он для нашего успокоения, вы делайте свое дело, потихоньку-полегоньку, сложностей никаких, если произойдет осечка, нас это не коснется, отвечать будут наверху, а вашего начальника голыми руками не возьмешь, так что вы, ребята, живите спокойно, если что случится — посылайте прямо ко мне, я вас прошу только об одном: не ошибитесь мне с объектом, сначала наведите справки, чтобы не попасть впросак, а потом действуйте безо всяких.

Честно говоря, хлопот с ними не было, начальник подобрал подходящее помещение, чтобы они не сидели друг у друга на головах, а мы принимали их по одному, как полагается, уделяя каждому столько времени, сколько нужно. У нас все культурненько, говаривал начальник, и точно, четкость такая, что и компьютеру не угнаться, работа идет гладко, как по маслу, спешить некуда, никто тебя не подгоняет. Хватало времени и посмаковать кофе-ек, и поспорить о прогнозах на ближайшее воскресенье, и тут начальник первым хотел узнать, на кого ставить, в этих делах тощий Бьянчетти почище любого оракула. И так день за днем, без изменений: мы приходили на службу с газетами под мышкой, черный Лопес обносил нас первыми чашечками кофе, вскоре заявлялись они для прохождения формальностей. Так говорилось в повестке: касающиеся вас формальности, мы же только сидели и поджидали. Но что да, то да, повестка, пусть и на желтой бумаге, всегда выглядит официально; и потому дома Мария Элена несколько раз брала ее в руки, чтобы разглядеть получше: зеленая печать поверх неразборчивой подписи, адрес и число. В автобусе она снова достала повестку из сумочки, а потом завела часы, чтобы придать себе уверенности. Ее вызывали в канцелярию на улице Маса, странное место для министерства, но, как говорит ее сестра, теперь открывают канцелярии где угодно, в министерствах страшная теснота, и, едва сойдя с автобуса, она подумала, что, должно быть, сестра права, район был так себе, трех- и четырехэтажные дома, много мелких лавчонок, даже несколько деревьев — они еще попадались в этой части города.

«Наверное, на доме хотя бы есть флаг», — подумала Мария Элена, подходя к семисотым номерам; может быть,

канцелярия эта вроде посольства, расположившегося среди жилых домов, но его всегда видно издалека благодаря многоцветному флагу, укрепленному где-нибудь на балконе. В повестке был ясно указан номер дома, но ее смутило отсутствие родного флага, и она остановилась на углу (все равно было слишком рано, можно и подождать) и безо всякой надобности спросила у киоскера, в этом ли квартале нужный адрес.

— Конечно,— ответил киоскер,— вот там, посреди квартала, но сперва почему бы вам не поболтать со мной немножко, сами видите, как мне тоскливо здесь совсем одному.

— На обратном пути,— улыбнулась ему Мария Элена, неторопливо отходя от киоска и еще раз сверяясь с желтой повесткой.

Тут почти не было ни автомобилей, ни прохожих, перед одним магазинчиком сидел кот, из парадной двери выходила толстуха, ведя за руку маленькую девочку. Неподалеку от нужного адреса стояло несколько машин, почти в каждой кто-нибудь сидел за рулем, покуривая или читая газету. Парадное, тесное, как и все в квартале, вело в выложенный плиткой подъезд, в глубине которого виднелась лестница; табличка на дверях напоминала табличку доктора или зубного врача: грязноватая, заклеенная внизу полоской бумаги, чтобы скрыть последнюю строчку. Странно, что нет лифта, четвертый этаж — и поднимайся пешком, как-то не этого ждешь, получив такую солидную повестку с подписью и зеленой печатью.

Дверь на четвертом этаже была закрыта, на ней не оказалось ни звонка, ни номера. Мария Элена тронула ручку, и дверь бесшумно открылась; прежде всего в лицо пахло табачным дымом, а уж потом она разглядела голубоватые плитки пола, коридор, скамейки по обеим сторонам и сидящих людей. Их было немного: две пожилые дамы, лысый господин и молодой человек в зеленом галстуке, но в узком коридоре, затянутом дымом, казалось, будто они касаются друг друга коленями. Они наверняка разговаривали, чтобы убить время; открывая дверь, Мария Элена услышала конец фразы, произнесенной одной из дам, но, как водится, все вдруг замолчали, разглядывая вошедшую, и, тоже как водится, Мария Элена залилась краской, браня себя за глупость, еле слышно прошептала «добрый день» и застыла у входа, однако молодой человек сделал ей знак и указал на пустое место возле себя. Когда



она усаживалась, бормоча слова благодарности, дверь на другом конце коридора отворилась, оттуда вышел рыжеволосый мужчина и бесцеремонно пробрался между коленями сидящих, даже не утруждая себя извинениями. Служащий придержал дверь, молча ожидая, пока одна из пожилых дам с трудом поднимется на ноги, извиняясь протиснется между Марией Эленой и лысым господином и войдет в кабинет; наружная дверь и дверь кабинета хлопнули почти одновременно, и оставшиеся в коридоре снова заговорили, поерзывая на скрипучих скамьях.

У каждого, как обычно, была своя тема: лысый господин сетовал на бюрократическую волокиту, если так в первый раз, чего уж ждать дальше, сами посудите, торчишь в коридоре больше получаса, а потом два-три вопроса — и будьте здоровы, по крайней мере так мне кажется.

— Ну, вы не совсем правы, — сказал молодой человек в зеленом галстуке, — я здесь во второй раз, и поверьте, все не так уж быстро, пока они перепечатывают ответы на машинке, да и сам тоже вдруг начнешь вспоминать какую-нибудь дату или еще что-нибудь, в общем, времени уходит немало.

Лысый господин и пожилая дама слушали его с интересом, они, очевидно, были тут в первый раз, так же как Мария Елена, хотя она и не чувствовала себя вправе вступать в разговор. Лысый господин пожелал узнать сколько времени проходит между первым и вторым вызовом, и молодой человек объяснил, что вот ему назначили прийти через три дня. А зачем надо приходиться два раза? — чуть было не спросила Мария Елена и опять залилась краской, ей ужасно хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил с ней, ободрил, втянул в беседу, хотелось, чтобы она наконец перестала быть просто последней. Пожилая дама вытащила из сумочки флакон — наверное, с солями — и, вздыхая, принялась его нюхать. Вероятно, ей стало нехорошо от табачного дыма, молодой человек предложил потушить сигарету, и лысый господин сказал «ну конечно», этот коридор просто срам, если ей плохо, лучше не курить, но дама ответила, что не надо, она лишь слегка утомилась, сейчас все пройдет, дома ее муж и дети курят не переставая, она уж и не замечает. Мария Елена, которой тоже хотелось курить, увидела, что мужчины потушили сигареты, молодой человек гасил окурки о подошву туфли, всегда куришь слишком много, когда приходится ждать, прошлый раз было хуже, перед ним сидело семь или восемь

человек, и в конце концов от дыма в коридоре ничего нельзя было разглядеть.

— Жизнь — это зал ожидания, — сказал лысый господин, заботливо затаптывая свой окурок и глядя на руки, словно теперь уж и не знал, что с ними делать, а пожилая дама понимающе вздохнула, вложив в этот вздох весь свой долголетний опыт, и спрятала флакончик с солями; тут как раз открылась дверь в кабинет, и другая дама вышла уже иной походкой, вызывая всеобщую зависть, и, подойдя к выходу, распростилась с ними, словно жалея остающихся. Но тогда, значит, все не так уж долго, подумала Мария Элена, перед ней всего трое, скажем, по четверти часа на каждого, конечно, с иными могут заниматься дольше, молодой человек здесь уже во второй раз и говорил об этом. Когда лысый господин вошел в кабинет, Мария Элена собралась с духом и все же задала свой вопрос, чтобы узнать поточнее, а молодой человек подумал и ответил, что в первый раз кое-кто задерживался надолго, а другие — нет, никогда не знаешь наверняка. Пожилая дама заметила, что другая дама вышла почти сразу же, но рыжеволосый мужчина сидел там целую вечность.

— Хорошо еще, что нас осталось мало, — сказала Мария Элена, — такие места действуют угнетающе.

— Надо относиться к этому философски, — сказал молодой человек. — Не забывайте, вам придется прийти еще, так что лучше не волноваться. Когда я был здесь в первый раз, не с кем было слова сказать, народу набилось тьма-тьмущая, но не знаю, разговор как-то не клеился, а вот сегодня я и не заметил, как прошло время, все обмениваются мнениями.

Марии Элене было приятно разговаривать с молодым человеком и дамой, минуты летели незаметно; наконец лысый господин вышел, и дама поднялась с легкостью, удивительной для ее лет, бедняжке хотелось поскорее покончить со всем этим.

— Ну вот, теперь остались мы с вами, — сказал молодой человек. — Вы не против, если я закурю? Я просто больше не могу, но сеньоре, похоже, было так нехорошо...

— Мне тоже хочется курить.

Она взяла сигарету, предложенную молодым человеком, и они познакомились, назвали себя, сказали, где работают, им было легко разговаривать, забыв о коридоре, о тишине, которая порой казалась чрезмерной, словно улицы и люди остались где-то очень далеко. Мария Элена то-

же жила в районе Флореста, но еще в детстве, теперь она живет на улице Конституции. Карлосу не нравился этот район, его больше привлекают западные кварталы, там лучше воздух, больше зелени. Его мечтой было жить в Вилья-дель-Парке, когда он женится, может, ему и удастся снять там квартиру, его будущий тесть обещает помочь, а он человек с большими связями и умеет обдѣлывать такие дела.

— Не знаю почему, но мне кажется, я всю жизнь проживу на улице Конституции,— сказала Мария Элена.— В конце концов, там не так уж плохо. И если когда-нибудь...

Она увидела, как открылась дверь в кабинет, и удивленно взглянула на молодого человека, который встал и улыбнулся ей на прощанье, вот видите, за разговором времени и не чувствуешь, дама любезно простилась с ними, было заметно, как она довольна, что уходит отсюда; выйдя из кабинета, все казалось моложе и двигались легче, словно сбросили тяжесть с плеч, формальности окончены, одним делом меньше, снаружи улица, кафе, куда можно заглянуть, выпить рюмочку или чашку чаю, убедиться, что приемная и анкеты действительно остались позади. Теперь для Марии Элены, очутившейся в одиночестве, время потянется медленнее, хотя, если все пойдет как раньше, Карлос выйдет довольно быстро, впрочем, он может пробыть там и дольше, чем остальные, ведь он здесь во второй раз, кто знает, какие формальности ему предстоят.

Поначалу она даже растерялась, когда служащий открыл дверь, взглянул на нее и мотнул головой, приглашая войти. Она тут же подумала, что, наверное, так и надо, Карлосу пришлось задержаться, заполняя бумаги, а тем временем они займутся ею. Она поздоровалась и вошла в кабинет; едва она переступила порог, как другой служащий указал ей на стул перед черным письменным столом. В комнате сидело несколько человек, все мужчины, но Карлоса тут не было. Болезненного вида служащий, работавший за черным столом, уткнулся в какой-то документ; не поднимая глаз, он протянул руку, и Мария Элена не сразу поняла, что он просит повестку; потом она сообразила и стала рыться в сумочке, смущенно бормоча извинения, вытащила сперва какие-то мелочи, прежде чем наткнулась на желтую бумажку.

— Заполните это,— сказал служащий, протягивая ей анкету.— Заглавными буквами и пояснее.

Это была обычная чепуха: имя и фамилия, возраст, пол, адрес. Начав отвечать на вопросы, Мария Элена ощутила, будто ей что-то мешает, что-то еще неясное. Не в анкете, заполнять пробелы было несложно, а вокруг, словно чего-то здесь не хватает или что-то стоит не на месте. Она перестала писать и огляделась: рядом столы, люди работают или переговариваются, грязные стены с плакатами и фотографиями, два окна, дверь, в которую она вошла, единственная в кабинете дверь. «Профессия» и затем пунктир; она машинально заполнила графу. Единственная в кабинете дверь, но Карлоса здесь не было. «Стаж работы». Заглавными буквами, пояснее.

Когда она ставила внизу свою подпись, служащий за черным столом смотрел на нее так, будто, заполняя анкету, она слишком долго проканителилась. С минуту он изучал документ, нашел, что все в порядке, и спрятал его в папку. Потом последовали вопросы, иные бессмысленные, потому что она ответила на них в анкете, но тоже касавшиеся семьи, смены адресов за последние годы, страховки, часто ли она ездит и куда, обращалась ли за заграничным паспортом и думает ли обращаться. Никто, казалось, особенно не интересовался ее ответами, во всяком случае, служащий их не записывал. Потом он внезапно сказал Марии Элене, что она может идти, но должна вернуться через два дня, в одиннадцать часов: вторичной повестки не требуется, она и так должна помнить.

— Да, сеньор,— сказала Мария Элена, вставая,— значит, в четверг, в одиннадцать часов.

— Всего хорошего,— отозвался служащий, не глядя на нее.

В коридоре никого не было, и, проходя по нему, она чувствовала себя так же, как другие, скорее, скорее, дышится уже легче, не терпится очутиться на улице, оставить все позади. Мария Элена открыла дверь на лестницу и, начав спускаться, снова подумала о Карлосе, странно, что Карлос не вышел, как все остальные. Странно, потому что в кабинете лишь одна дверь, конечно, слишком внимательно она не присматривалась, куда бы это годилось, служащий открыл дверь и впустил ее, но Карлос не столкнулся с ней на пороге и не вышел перед тем, как все прочие — рыжеволосый мужчина, дамы, все, кроме Карлоса.

Солнце накалило тротуар, на улице было много воздуха и привычных звуков; Мария Элена прошла несколько шагов и встала под деревом, подальше от машин. Она

взглянула на подъезд, сказала себе, что подождет немножко, пока не выйдет Карлос. Быть не может, чтобы Карлос не вышел, все выходили оттуда, покончив с формальностями. Она подумала, что, наверное, он задержался потому, что, единственный из всех, пришел сюда во второй раз; кто знает, может, причина именно в этом. Было очень странно, что она не увидела его в кабинете, хотя, наверное, там есть еще одна дверь, замаскированная плакатами, чего-нибудь она да не разглядела, но все равно это странно, все остальные выходили через коридор, как она сама,— все, кто был в первый раз, выходили через коридор.

Перед тем как уйти (она подождала немного, но нельзя же торчать тут целый день), она подумала, что сама вернется в четверг. Может, тогда все будет по-другому, ее выпустят в другие двери, хотя и непонятно, куда и зачем. Ясное дело, откуда ей было это знать, но мы-то знали, мы-то будем поджидать ее и всех остальных, неторопливо покуривая и болтая между собой, пока черный Лопес готовит по новой чашечке кофе, а сколько таких чашечек выпивали мы за утро...

## АПОКАЛИПСИС СОЛЕНТИНАМЕ

«Тико» — они «тико» и есть, с виду тихони, но каждый раз какой-нибудь сюрприз: приземляешься в их костатико-риканской столице Сан-Хосе и там тебя встречают Кармен Наранхо с Самуэлем Ровинским и Серхио Рамирес (он из Никарагуа и не «тико», хотя какая, в сущности, разница, ей-богу, между мной, аргентинцем, который мог бы по-свойски называть себя «тино», и любимым из «ника» или «тико»). Стояла невероятная жара, и все бы ничего, но тут же — с корабля на бал — содеялась пресс-конференция по старому шаблону: почему не живешь на родине, как получилось, что антониониевский «Blow up» так отличается от твоего рассказа, считаешь ли ты, что писатель должен быть непременно ангажированным? Я давно уже догадываюсь, что последнее интервью мне устроят у дверей ада и вопросы будут точно такими же, будь интервьюером хоть сам святой Петр: не кажется ли вам, что там, внизу, вы писали для народа слишком недоступно?

Потом — отель «Европа» и душ, так славно венчающий любое из путешествий неспешным диалогом мыла

и тишины. А в шесть, когда пришла пора прогуляться по городу, чтобы удостовериться, такой ли он простой и домашний, как мне об этом рассказывали, чья-то рука ухватила меня за пиджак, оглядываюсь — а это Эрнесто Карденаль, дай мне тебя обнять, дружище поэт, вот здорово, что я вижу тебя здесь после римской встречи, после стольких встреч на бумаге все эти годы! Всякий раз меня потрясает, всякий раз волнует, когда кто-нибудь вроде Эрнесто разыскивает меня, чтобы повидаться, и, если кто скажет, будто я млею от ложной скромности, я отвечу тому: шакал воет, автобус идет, — нет уж, видно, мне так и суждено остаться собачонком, который признательно пожирает глазами тех, кто любит его, — это выше моего разума, так что — точка и абзац.

Что касается абзаца, то Эрнесто знал, что я должен прибыть в Коста-Рику и все такое прочее, — вот он и прилетел на самолете со своего острова Солентинаме, потому что птичка, которая приносит ему в клюве новости, ввела его в курс дел насчет того, что «тико» готовят мою поездку на остров, и он не мог отказаться от желания загодя разыскать меня — так что два дня спустя все мы, Серхио, Оскар, Эрнесто и я, перегрузили собой и без того перегруженный норматив одного из самолетиков компании «Пипер Ацтек», чье название навсегда останется для меня загадкой; перемежая икоту зловещим попукиванием, он все же летел, ведомый белобрсым пилотом, который ловил по радио строптивные ритмы калипсо и, казалось, был совершенно безразличен к тому, что «ацтек» волок нас прямехонько на Пирамиду Жертвоприношений. Конечно, все обошлось, и мы приземлились в Лос-Чилес, откуда аналогично подпрыгивающий джип доставил нас в загородный дом поэта Хосе Коронеля Уртечо, заслуживающего, чтобы его читали гораздо больше, где мы отдохнули, беседуя о многих наших друзьях поэтах, о Роке Дальтоне, Гертруде Стайн и Карлосе Мартинесе Ривасе, пока не пришел Луис Коронель и мы не отправились в Никарагуа на его джипе и на его не менее скоростном жаргоне. Но сперва сфотографировались на память с помощью самоновейшей камеры, которая скромненько выделяет голубоватую бумажонку, где мало-помалу и неизвестно каким чудесным и полароидным способом материализуются ленивые образы, сперва в виде тревожащих душу эктоплазм, постепенно обнаруживая нос, вьющиеся волосы и улыбку

Эрнесто с его назаретянской головной повязкой, донью Марию и дону Иосифа, выплывающих вместе с верандой. Для них это было в порядке вещей, они-то привыкли сниматься подобной камерой, но для меня все это было внове: появление из ничего, из квадратненького небытия лиц и прощальных улыбок привело меня в изумление, и я им сознался в этом — помнится, я спросил у Оскара, что произошло бы, если как-нибудь вслед за семейной фотографией пустая квадратная голубизна разродилась бы Наполеоном на лошади, — дон Хосе Коронель по обыкновению расхохотался, а там сели в джип и отправились к озеру.

На Солентинаме добрались к ночи, нас встретила Тереса, Вильям, один соединенно-штатский поэт и ребята из коммуны, почти тут же отправились спать, но прежде мне попались на глаза картинки — Эрнесто беседовал со своими, доставая из мешка продукты и привезенные из Сан-Хосе подарки, кто-то спал в гамаке, — а я увидел картинки и стал их разглядывать. Кто-то, сейчас не помню кто, объяснил, что это работы местных крестьян: вот это нарисовано Висенте, это — Рамоной, некоторые картинки были подписаны, другие без подписи, но все на диво хороши — этакое первооткрытие мира, бесхитростный взгляд человека, воспевающего все, что его окружает: крошечные коровки на маковых лугах, бело-сахарная хижина, из которой, подобно муравьям, высыпают люди, лошадь с зелеными глазами на фоне сахарного тростника, крещение в церквушке, лишенной перспективы, так что она одновременно и взмывает, и рушится, озеро с похожими на башмаки лодками, на заднем плане огромная рыба, которая улыбается, раздвинув бирюзового цвета губы. Подошедший Эрнесто стал объяснять, что продажа картинок помогает двигать дальше их дело, завтра он покажет мне работы из камня и дерева, а также скульптуры, сделанные крестьянами, — все стали укладываться спать, но я все еще перебирал картинки, наваленные в углу грудой пестрых лоскутьев, где были и коровки, и цветы, мать, стоящая на коленях рядом с двумя детьми, одетыми в белое и красное, под небом, усыпанным столькими звездами, что единственная туча испуганно жалась в сторонке, у края рисунка, наполовину за его пределами.

На следующий день было воскресенье, а значит, и месса в одиннадцать утра, чисто солентинамейская месса,

во время которой крестьяне, вместе с Эрнесто и гостями, обсуждали очередную главу Евангелия — темой этого дня был арест Иисуса в Гефсиманском саду, — обитатели Солентинаме говорили об этом, словно речь шла о них самих и о вечных опасностях, которые их окружают ночью и днем, о постоянной неопределенности жизни, будь то на островах или на суше или во всей Никарагуа, и не только во всей Никарагуа, а и почти во всей Латинской Америке, — о жизни под страхом смерти, о жизни в Гватемале и о жизни в Сальвадоре, о жизни в Аргентине и в Боливии, о жизни в Чили и в Санто-Доминго, о жизни в Парагвае, о жизни в Бразилии и Колумбии.

А потом надо было подумать о возвращении, и я снова вспомнил о картинках, пошел в зал коммуны и стал вглядываться в яростные акриловые и масляные краски, усиленные безумным светом полдня, растворяясь во всех этих лошадках, подсолнухах, гуляниях на лугу и симметрично растущих пальмах. Я вспомнил, что моя камера заряжена диапозитивной пленкой, и вышел на веранду с охапкой картинок под мышкой, подошедший Серхио помог разложить и расправить их на солнце, и я стал подряд щелкать их, старательно кадрируя каждую картинку таким образом, чтобы она заняла все пространство в видоискателе. Если уж везет, так везет: мне как раз хватило пленки для всех картинок, ни одна не осталась обойденной, и, когда пришел Эрнесто с вестью о том, что драндулет подан, я сказал ему о съемке и он стал смеяться — чертов похититель картин, воришка чужих образов. Смейся, смейся, сказал я ему, я увожу их, все до одной, — дома, на экране, они будут побольше этих и куда живописнее, — что, заткнулся?

Я вернулся в Сан-Хосе, потом побывал в Гаване, где у меня были кое-какие дела, и возвратился в Париж усталым и тоскующим; милая моя тихоня Клодин ждала меня в Орли, снова, как ручные часы, затикала жизнь: «мерси, месье», «бонжур, мадам», комитеты, кино, красное вино и Клодин, квартеты Моцарта и Клодин. Среди прочих вещей раздувшиеся жабы чемоданов изрыгнули на кровать и на ковер журналы, газетные вырезки, платки, книги центральноамериканских поэтов и серые пластиковые футляры с фотопленкой, отснятой на протяжении этих бесконечных двух месяцев, — школа имени Ленина в Гаване, улочки Тринидада, профили вулкана



Ирасу и его каменистая лохань с булькающей зеленой водой, где Самуэль, я и Сарита ходили на вареных уток, плавающих в облаке серного пара. Клодин отнесла проявить пленки, как-то под вечер, проходя по Латинскому Кварталу, я вспомнил о них и, так как квитанция была при мне, забрал их — восемь коробочек с готовыми слайдами — и тут же подумал о солентинамейских кадрах; придя домой, я открыл коробочки и стал просматривать первые диапозитивы каждой серии: я вспомнил, что, прежде чем фотографировать картинки, я использовал несколько кадров, снимая мессу Эрнесто, играющих среди пальм детей, точь-в-точь как на картинках, пальмы и коров на фоне ослепительно синего неба и чуть зеленоватого озера, а возможно, и наоборот — все чуточку забылось. Я заправил в барабан проектора слайды с детьми и мессой, зная, что тут же вслед пойдут картинки — до самого конца серии.

Смеркалось, я был один — с работы Клодин пошла на концерт, — я наладил экран и стакан рома с доброй порцией льда, подсоединил к проектору дистанционное управление с кнопкой, — не нужно было задерживать шторы: услужливые сумерки уже плыли по комнатам, оживляя бра и благоухание рома, — было приятно предвкушать, что вот сейчас все снова возникнет — после солентинамейских картинок я заправлю барабан кубинскими слайдами, — но почему картинки сначала, почему искажение жизни рукоеслом, выдумка прежде, чем сама жизнь, — а почему бы и нет, ответила первая, продолжая вечный упрямый диалог, дружескую и язвительную перебранку, почему не посмотреть сперва картинки из Солентинаме — ведь это тоже жизнь, а значит, какая разница?

Прошли слайды с мессой, довольно неудачные из-за ошибок в экспозиции, а вот дети, наоборот, играли очень четко и в хорошем освещении, зубы у них были белые-пребелые. Каждый раз я медлил нажимать на кнопку, готовый до бесконечности разглядывать эти фото, теперь уже неотделимые от воспоминаний, — маленький хрупкий мир Солентинаме, окруженный водой и ищейками, как окружен ими этот мальчик, на которого я смотрел, ничего не понимая, — я нажал на кнопку, и мальчик возник на втором плане как живой: широкое гладкое лицо с выражением крайнего недоумения, в то время, как его осевшее тело падало вперед, на лбу

четко обозначилась дыра — по револьверу офицера еще можно было проследить направление выстрела, а рядом другие, с автоматами, на нечетком фоне домов и деревьев.

Первая мысль всегда торопится, опережая смысл, который топчется позади; я подумал: вот идиоты в этой фотолаборатории — отдали мне слайды другого клиента, но как же тогда месса и играющие на лужайке дети, как понять? Пальцы не слушались, но я снова нажал на кнопку и увидел бескрайнюю селитряную равнину с несколькими постройками, крытыми заржавленной жестью, полдень, а левее сгрудились люди, они глядели на простертые навзничь тела с широко раскинутыми руками под голым серым небом, — надо хорошенько всмотреться, чтобы различить в глубине фигуры в военной форме, удалявшиеся по направлению к джипу, ожидавшему на вершине холма.

Помню, я пошел дальше; единственное, что мне оставалось в этой невероятной ситуации, которая никак не укладывалась в сознании, — нажимать на кнопку и смотреть, как на углу Корьентес и Сан-Мартина застыл черный автомобиль с четырьмя типами, целящимися в сторону ограды, у которой мечется фигура в белой рубашке и сандалиях, как две женщины пытаются укрыться за стоящим грузовиком, затем повернутое к камере лицо, с выражением растерянности и ужаса, рука, скользкая к подбородку, словно для того, чтобы потрогать себя и удостовериться, что еще жив, и внезапно — какая-то полутемная комната, грязный свет, падающий из зарешеченного под потолком окошка, стол, и на нем совсем голая девушка, лицом вверх, волосы спадают почти до пола, а стоящий спиной призрак тычет в раскинутые ноги электрический провод, два типа, лицом ко мне, переговариваются о чем-то, — синий галстук и зеленый свитер. Не знаю, нажимал ли я еще на кнопку, но только увидел лесную поляну, соломенную крышу и деревья на первом плане и у ствола ближайшего дерева — худого парня, глядящего влево на смутно различимую группу людей — пять или шесть человек, стоящих плечом к плечу, целились в него из винтовок и пистолетов, — парень, с удлинненным лицом и спадающей на смуглый лоб прядью, смотрел на них, одна рука чуть поднята, а другая, скорее всего, в кармане брюк; казалось, он что-то говорит им, не торопясь и как-то неохотно, и, хотя фото было плохим, я почувствовал и поверил, что

парень этот — Роке Дальтон, и тогда уж надавил на кнопку, словно мог спасти его от позора этой смерти, и тут же увидел автомобиль, разлетающийся на куски в самом центре города, похожего на Буэнос-Айрес или Сан-Пауло; снова и снова я нажимал на кнопку, отшатываясь от шквала окровавленных лиц, кусков человеческого мяса и лавины женщин и детей, бегущих по откосам Боливии или Гватемалы,— неожиданно на экране возникло ртутное мерцание, пустота и профиль Клодин, которая тихонько входила, отбросив на экран тень, перед тем как наклониться и поцеловать меня в волосы и спросить: хороши ли слайды, доволен ли я ими, не хочу ли ей их показать?

Я открутил барабан и поставил его на нулевую отметку — иногда, когда преступаешь порог неведомого, не знаешь мотивы и причины своих действий. Не глядя на нее, потому что она бы поняла или просто испугалась моего лица, и ничего не объясняя, потому что мое тело от горла до пальцев ног словно одеревенело, я встал и спокойно усадил ее в свое кресло и вроде бы что-то сказал насчет того, что пойду приготовить ей что-нибудь выпить, а она может поглядеть, да, может поглядеть, пока я принесу ей что-нибудь выпить. В ванной меня то ли стошнило, то ли я просто заплакал, а стошнило меня потом, или ничего этого не было, и я сидел на краю ванны, переживая, пока не почувствовал, что могу пойти на кухню и приготовить для Клодин ее любимую смесь, положить побольше льда, потом я услышал тишину, поняв, что Клодин не кричит и не бежит ко мне с расспросами,— просто тишину и слащавенькое болеро, тихонько доносившееся от соседей. Не знаю, как долго я шел по коридору из кухни в комнату, где как раз увидел с изнанки экрана, что Клодин дошла до конца — комната озарилась мгновенным отсветом ртутного мерцания, а потом сумерки, Клодин выключила проектор и откинулась в кресле, чтобы принять из моих рук стакан и медленно улыбнуться, зажмурившись, как котенок, от удовольствия и ощущения покоя.

— Ты чудесно все это снял, особенно рыбу, которая смеется, мать с двумя детьми и коровок в поле. Послушай, а крещение в церкви кто нарисовал, там не видно подписи.

Сидя на полу, не глядя на нее, я нашел свой стакан и осушил его залпом. И ничего не ответил — что я мог ей сказать,— помню только, лениво подумал: что, если

задать этот идиотский вопрос, спросить, не видела ли она в какой-то момент фотографию Наполеона на лошади? Ничего такого я не спросил, конечно.

Сан-Хосе — Гавана, апрель, 1976 г.

### ЗАКАТНЫЙ ЧАС «МАНТЕКИЛЬЯ»

Такое мог придумать только наш Перальта — вот голова! — в подробности он, как всегда, не вдавался, но на этот раз был откровеннее обычного и сказал, что это вроде анекдота с украденным письмом. Эстевес поначалу ничего не понял и выжидающе уставился на Перальту, а что дальше? Но Перальта пожал плечами, словно отмахнулся, и сунул ему билет на бокс. Эстевес увидел красную цифру 3, крупно выведенную на желтом, но первое, что схватили глаза, — еще бы! — это МОНСОН — НАПОЛЕС, четкими буквами. Второй билет, сказал Перальта, передадут Вальтеру. Ты придешь до начала (Перальта никогда не повторял дважды, и Эстевес ловил каждое слово), а Вальтер — посередине первого из предварительных боев, его место рядом, справа от тебя. Будь начеку: в последние минуты начинается суетня, каждый норовит сесть поближе, спроси его что-нибудь по-испански — для верности. У него будет сумка, хипповая, из материи, он поставит ее между вами на скамейку, а если стулья — на пол. Говори только о боксе, и чтоб ухо остро — вокруг наверняка будут мексиканцы или аргентинцы, проверься перед тем, как опустить пакет в сумку. Вальтер знает, что сумку нужно раскрыть заранее? — спросил Эстевес. Да, глядя вбок, словно сдувая с лацкана муху, сказал Перальта, но не спеши, сделай это ближе к концу, когда по сторонам не glareют. Когда на арене Монсон, glareют только на Монсона, сказал Эстевес. Когда «Мантекилья» — то же самое, сказал Перальта. И без лишнего трепса, запомни. Вальтер уйдет первым, а ты — как схлынет толпа, через другой выход.

Он снова все обдумал, провернул в голове, пока ехал в вагоне метро до станции «Дефанс», на бокс, куда, судя по всему, ехали и остальные, в основном мужчины, по двое, по трое, все больше французы, озабоченные позорным поражением своего идола — Буттье, которого дважды

измолотил Монсон, надеются небось на реванш, хоть какой-никакой, а может, втайне уже смирились. Нет, Перальта просто гений, разумеется, дело серьезное, раз он сам поручил ему все, но зато попаду на матч, который по карману одним миллионерам. До него наконец дошел намек на украденное письмо, ну кому стукнет в голову, что они с Вальтером встретятся на боксе, дело-то не в самой встрече, ее можно устроить в любом уголке Парижа, их тысячи,— дело в том, как тщательно взвесил и продумал все Перальта. Для тех, кто мог бы держать их на крюке, самые привычные места встреч — кафе, кино, частные квартиры, но, если они ткнутся сюда, в это шапито, поставленное Аленом Делоном,— дудки, их номер не пройдет: матч на звание чемпиона мира, шутка ли! — попрутся все, кто при деньгах, одного престижа ради, и вход только по этим желтеньким билетам, а они распроданы еще на прошлой неделе, как пишут газеты. И еще — тоже спасибо Перальте! — если будут хвосты за ним или за Вальтером, их не увидят вместе ни на выходе, ни у входа, подумаешь, два обыкновенных болельщика среди тысяч и тысяч, которые выбиваются клубами дыма из метро, автобусов, и чем ближе к началу встречи, тем гуще валит толпа, и только в одном направлении — к шапито.

Ну ловкач Ален Делон! Огромный шапито стоит прямо на пустыре, и пройти туда можно лишь по мосткам, а дальше по дощатым настилам. Ночью лил дождь, и люди шли осторожно, стараясь не оступиться в грязь, а повсюду, прямо от самого метро,— огромные разноцветные стрелы-указатели с броской надписью: **МОНСОН — НАПОЛЕС**. Ну и шустрик Ален Делон, сумел наклеить эти стрелы даже на неприкосновенных стенах метро, небось заплатил будь здоров; Эстевесу был не по душе этот выскочка — ишь ты, всемогущий,— организовал за свой счет матч на звание чемпиона мира, отгрохал эту брезентовую громадину и поди знай, какой куш сорвал с заявочных взносов, но кое в чем он молодец: Монсон и Наполес — вообще нет слов, а взять цветные указатели, да еще в самом метро, широкий жест, вот, мол, как я встречаю болельщиков, а то бы устроили давку у выходов и на раскисшей глине пустыря...

Эстевес пришел в самое время: зал только заполнялся. Остановившись на минуту у дверей, он глянул по сторонам: полицейские фургоны, огромные, освещенные сна-

ружи трейлеры с зашторенными окнами, придвинутые вплотную к крытым проходам, которые вели прямо к шипито, как к самолетам в аэропортах. Там, скорее всего, боксеры, подумал Эстевес, в том белом, самом новеньком, наверняка наш Карлитос, он такого и заслуживает, а трейлер Наполеса, наверно, с другой стороны, тут все по правилам и в то же время на скорую руку, еще бы, этакая махина из брезента, прицепа на голом, заброшенном пустыре. Вот так делают деньги, грустно вздохнул Эстевес, главное — мозги и хватка, че!

Его ряд, пятый от зоны ринга, отгороженной канатом, — обыкновенная скамья с крупными номерами, похоже, радушие Делона иссякло в зоне ринга, дальше все как в самом плохоньком цирке, впрочем, молоденькие билетерши в немислимых мини разом заставят забыть, где что не так. Эстевес тотчас увидел, куда идти, но девочка, сияя улыбкой, проводила его до места, будто он отродясь не учился арифметике. Усевшись, Эстевес развернул пухлую газету и подумал, что потом подложит ее под себя. В голове пронеслось: Вальтер сядет справа, пакет с деньгами и бумагами в левом кармане пиджака, в нужный момент он вытащит его правой рукой, сразу к колену — и тут же в раскрытую сумку.

Время тянулось, и Эстевес ушел в мысли о Марисе и малыше, должно быть, кончают ужинать, сын, наверно, полуспит, а Мариса уткнулась в телевизор. А ну как показывают эту встречу, и она смотрит именно ее, он, разумеется, промолчит, не скажет, что был, разве потом, когда все образуется. Он лениво листал газету (если Мариса досмотрит все до конца, то попробуй удержишься, когда она станет рассуждать о Монсоне и Наполесе, вот смехота!), и, пока пробежал глазами сообщения о Вьетнаме и полицейскую хронику, зал почти заполнился, позади азартно спорили о шансах Наполеса какие-то французы, слева уселся странный фендрик, он слишком долго и с явным ужасом разглядывал скамью, будто опасался замарать свои безупречные синие брюки. Впереди расположились парочки, компании, трое тарактели по-испански, пожалуй с мексиканским выговором; Эстевес, правда, не очень разбирался в акцентах, но уж кого-кого, а мексиканских болельщиков здесь дополна: их Наполес — ты подумай! — замахнулся на корону самого Монсона. Справа от Эстевеса еще пустовало несколько мест, однако у входов уже сбивались толпы и расторопные билетерши

каким-то чудом поддерживали порядок. Эстевесу показалось, что слишком резко освещен ринг и слишком много поп-музыки, но публика, похоже, ничего не замечала, теперь все с интересом следили за первым предварительным боем — очень слабый, сплошь опасные движения головой и клинчи, в ту минуту, когда Вальтер сел рядом, мысли Эстевеса были заняты тем, что в зале, по крайней мере возле него, нет настоящих знатоков бокса, так, профаны, снобы, им все сойдет, им лишь бы увидеть Монсона и Наполеса.

— Простите,— сказал Вальтер, с трудом вклиниваясь между Эстевесом и толстухой, почти лежавшей на коленях своего мужа, тоже раскормленного толстяка, который следил за боксерами с понимающим видом.

— Садитесь поудобнее,— сказал Эстевес.— Да-да, непросто, у этих французов расчет только на худых.

Вальтер усмехнулся, а Эстевес осторожно — не дай бог, психанет тип в синих брючках! — поднажал влево; в конце концов между ним и Вальтером образовался просвет и Вальтер переложил синюю сумку с колен на скамью. Шел второй предварительный бой — тоже никудышный, короткий, внимание зрителей переключилось на зал, где появилась большая группа мексиканцев в огромных крестьянских шляпах-чарро, но при этом одетых с иголки, еще бы, таким богатеям раз плюнуть — зафрахтовать целый самолет, взяли и прилетели из Мексики ради своего кумира «Мантекильи», — все коренастые, приземистые, задницы отклячены, а лицами смахивают на Панчо Вилью, слишком уж фольклорные — кричат, спорят, бросают вверх чарро, будто их Наполес уже на ринге, и никак не рассядутся в зоне ринга. Ален Делон, вот лиса, все предусмотрел: из динамиков тут же хлынуло нечто похожее на мексиканское корридо, хотя мексиканцы, пожалуй, не узнали родную музыку. Эстевес с Вальтером усмешливо переглянулись, и в этот миг из входа напротив с воплем «Аргентина! Аргентина!» вломилась целая толпа, впереди — пять-шесть женщин, дородных тетех в белых свитерах, а за ними взметнулся огромный национальный флаг. Вся орава, тесня в стороны билетерш, подалась вниз мимо скамеек к самому рингу, наверняка не на свои места. Продолжая орать, они все-таки выстроились, и роскошные девочки в мини с помощью улыбающихся молодчиков-горилл повели их к двум свободным скамьям, что-то объясняя на ходу.

На спинах аргентинок густо чернели крупные буквы — МОНСОН. Все это донельзя потешало публику, большинству-то неважно, какой национальности боксеры, раз это не французы; третья пара работала плотно, упорно, хотя Алэн Делон поди-ка не очень затратился на это мелочь, на плотву; какой смысл, если в трейлерах ждут выхода две настоящие акулы и ради них, по сути, пришли все.

Вдруг что-то разом стронулось в душе Эстевеса и к горлу подкатил комок: из динамиков поплыло танго, играл оркестр, может самого Освальдо Пуглиесе. Вот теперь Вальтер глянул на него цепко и с симпатией, Эстевес встрепенулся: может, соотечественник. Они, в общем, словом не перекинулись, разве что два-три замечания насчет боксеров, нет, пожалуй, он уругваец или чилиец, но никаких вопросов, Перальта объяснил — яснее нельзя: сидели рядом — раз, оба — вот случай! — говорят по-испански — два, и аут, точка!

— Теперь начнется самое оно! — сказал Эстевес.

Все повскакали с мест, несмотря на негодующие крики и свист, в левой стороне — рев, шквальные аплодисменты, летящие вверх чарро, «Мантекилья» вбегает на ринг, и свет прожекторов становится как бы ярче, но вот все головы повернулись вправо, где пока ничего не происходит, на смену овациям — накат выжидательного гула; Вальтеру и Эстевесу не виден проход к другому углу ринга, внезапная тишина, и за ней — многоголосый вопль, да, теперь они оба видят белый халат у самых канатов: Монсон спиной к ним переговаривается со своими, Наполес направляется к нему, едва заметный приветственный кивок под вспышки магния, судья в ожидании, когда спустят микрофон. Понемногу зрители усаживаются, лишь одинокая шляпа-чарро отлетает далеко в сторону, и кто-то забавы ради кидает ее обратно — запоздалый бумеранг, оставленный без внимания, потому что начались представления, приветствия, Жорж Карпантье, Нино Бенвенути, французский чемпион Жан Клод Буттье, аплодисменты, фотокамеры, вскоре ринг пустеет, торжественные звуки мексиканского гимна, снова шляпы в воздухе, и, наконец, чуть опережая аргентинский гимн, взвывается огромный сине-белый флаг. Эстевес с Вальтером сидят не шелохнувшись, но у Эстевеса стынет в груди, нет, он не вправе, это было бы оплошкой, ненужным риском, ладно хоть увидел, что поблизости нет аргентинцев, а те



с флагом поют последние строки гимна, и сине-белое полотнище так сильно ходит из стороны в сторону, что встревоженные молодчики-гориллы устремились туда. Голос объявляет имена и весовые категории, секунданты за ринг!

— Чья возьмет, как думаешь? — спросил Эстевес. Он по-мальчишески поддался волнению, занервничал в тот миг, когда перчатки боксеров приветственно прикоснулись друг к другу, Монсон встал в стойку, вроде бы раскрыт, значит, не в защите, руки длинные, как плети, худые, и сам чуть не щуплый рядом с «Мантекильей», этот пониже, крепыш, вон уже сделал два пробных удара.

— Я люблю вот таких отчаянных, бросил вызов самому чемпиону, — сказал Вальтер, а сзади француз кому-то жарко втолковывал: преимущество Монсона — рост; опять пробные удары. Н-да, значит, ему нравятся отчаянные, будь он аргентинец, так не сказал бы, но выговор, наверно уругваец, спрошу у Перальты, хотя тот не скажет. Одно ясно — Вальтер во Франции недавно: когда толстяк, обнимавший жену, обратился к нему, тот ответил так невнятно, что француз досадливо поморщился и заговорил с сидящим впереди. Удар у Наполеса жесткий, точный, с тревогой подумал Эстевес, дважды Монсона отбросило назад, и он чуть-чуть опоздал с ответом — Эстевес видел! — может, оба удара его достали; похоже, «Мантекилья» понял, что его единственный шанс — удар, что «фехтовать» с Монсоном, а это был его конек, — без толку, Монсон ловкий, быстрый, уходит нырками, и кулак Наполеса при его прославленной резкости все время повисает в пустоте, Монсон — раз, еще раз прямо в лицо противнику, а француз сзади, уже распаляясь: видите, видите, как ему помогают руки; второй раунд, пожалуй, остался за Наполесом, зал притаился, там-тут как бы некстати раздавались одинокие выкрики, в третьем раунде «Мантекилья» выкладывался еще больше, ну ладно, подумал Эстевес, сейчас наш Карлитос вам покажет, а Монсон, отжавшись от канатов, гибким ивовым прутом летит вперед, удар левой-правой, и стремительно входит в клинч, чтоб оторваться от канатов, и жесткий обмен ударами до конца раунда, мексиканцы все как один стоят, сзади них вой, свист, все повскакали с мест — видеть, видеть, не пропустить!

— Красивый бой, че! — сказал Эстевес. — То что надо!

— Угу.

Оба одновременно вынули сигареты и, улыбаясь, протянули друг другу, щелкнула зажигалка Вальтера, и Эстевес, прикуривая, пробежал взглядом по его профилю и тут же посмотрел прямо в глаза, ничего приметного: волосы с сединой, а на вид совсем молод, в джинсах, в коричневой спортивной рубашке. Студент, инженер? Один из многих, кто выдрался оттуда, но не сложил оружия, наверно, погибли друзья в Монтевидео или в Буэнос-Айресе, а может, и в Сантьяго, расспросить бы Перальту, впрочем зачем, им не свидеться больше, у каждого свой путь, разве что вспомнят когда-нибудь «Мантекилья» и этот вечер, а мексиканец уже в пятом раунде шел ва-банк, все стояли, вопили, бесновались, аргентинцев и мексиканцев смыли волной французы — этим главное бокс, а не боксеры, наметанным глазом ловили они малейшее движение, игру ног, Эстевес вдруг понял, что большинство зрителей следят за борьбой с полным знанием дела, если не считать немногих болванов, которых приводят в восторг красивые, эффектные, но бесполезные удары и которые ни бельмеса не смыслят в том, что происходит на ринге, где, по-прежнему легкий, мелькает Монсон, ведет бой на разных дистанциях, наращивая темп, за которым явно и все заметнее не поспевает «Мантекилья»; он отяжелел, оглушен и уже лезет в драку напролом, а в ответ гибкие, как ива, длинные руки Монсона, тот снова отжимается от каната, и раз, раз — град ударов сверху, снизу, точные, сухие. Когда зазвучал гонг, Эстевес снова взглянул на Вальтера, который полез за сигаретами.

— Что ж, не судьба,— сказал Вальтер, протягивая сигареты,— когда не можешь — не можешь.

Говорить в таком грохоте было бессмысленно, зрители понимали, что следующий раунд, скорее всего, решающий, болельщики подбадривали Наполеса — точно прощаются с ним навсегда, подумал Эстевес с искренним сочувствием, теперь-то Монсон открыто напал, шел на противника — двадцать нескончаемых минут, хлесткие удары прямо по лицу, по корпусу Наполеса, а тот пытается войти в клинч, точно бросается в воду, зажмурив глаза. Все, больше не выдержит, подумал Эстевес и, оторвав через силу взгляд от ринга, покосился на сумку: сделай сейчас, когда все станут усаживаться, а то потом снова подымутся, и сумка опять будет сиротливо торчать на скамейке, два удара левой прямо в лицо Наполеса, тот снова пытается войти в клинч, но Монсон, проворняга, мгновенно меняет

дистанцию, уходит и, рванувшись вперед, бьет хорошим крюком в лицо, теперь смотри — ноги, главное — ноги, уж в этом Эстевес разбирается, вон как отяжелел, сел на ноги «Мантекилья», отрывается от канатов, но где его прославленная четкость? А Монсон танцует, кружит по рингу, вбок, назад, прекрасный ритм, и — раз! — решающий удар правой прямо в солнечное сплетение! Мало кто расслышал гонг в истошном взреве, но Эстевес с Вальтером — да! Вальтер сел, выровнял сумку, а Эстевес, опустившийся секундой позже, молниеносно сунул в нее пакет и, подняв пустую руку, с жаром замахал перед самым носом франта в синих брючках, который, похоже, мало смыслил в том, что творится на ринге.

— Вот что такое чемпион! — тихо сказал ему Эстевес, зная, что в таком шуме все равно ничего не услышишь. — Карлитос, язвы их...

Он посмотрел на Вальтера, который спокойно курил, что ж, смирился, куда деваться, не судьба — значит, не судьба. К началу седьмого раунда все стояли в ожидании гонга, и вдруг обостренная, натянутая тишина, а за ней — слитный вопль: на ринг выброшено полотенце. Наполес как пришит к своему углу, а Монсон выбегает на середину, победно вскидывая над головой перчатки, — вот это чемпион, он приветствует публику и тут же тонет в водовороте объятий, вспышек магния, толпы. Финал не слишком красивый, но бесспорный. «Мантекилья» сдался, и правильно, зачем превращаться в боксерскую грушу Монсона, да, полный провал, закатный час «Мантекильи», который подходит к победителю и как-то ласково поднимает перчатки к его лицу, а Монсон кладет свои ему на плечи, и они расходятся, теперь — навсегда, думает Эстевес, на ринге им не встречаться.

— Отличный бой! — сказал он Вальтеру, который, закинув сумку за плечо, покачивался на ногах, точно они одеревенели.

— Слишком поторопились, — сказал Вальтер. — Секунданты, наверно, не пустили Наполеса.

— А чего ради? Ты же видел, как он «поплыл». Наполес умный боксер, че, сам понял.

— Да, но таким, как он, надо держаться до конца, мало ли, а вдруг?!

— С Монсоном не бывает «вдруг»! — сказал Эстевес и, вспомнив о наставлениях Перальты, приветливо протянул руку: — Был очень рад...

— Взаимно. Всего доброго.

— Чао!

Он проводил глазами Вальтера, который двинул вслед за толстяком, громко спорившим о чем-то со своей женой. А сам пошел позади типа в синих брючках, явно никуда не спешившего; в конце концов их отнесло влево, к проходу. Рядом кто-то спорил о техничности боксеров, но Эстевес загляделся на женщину — она обнимала не то мужа, не то дружка, что-то крича ему в самое ухо, все обнимала, целовала в губы, в шею. Если этот мужик не полный идиот, усмехнулся про себя Эстевес, ему бы понять, что не его она целует — Монсона. Пакет не оттягивал больше карман пиджака, можно вздохнуть повольготнее, посмотреть по сторонам, вон как прильнула к своему спутнику молодая девушка, а вон те мексиканцы, и шляпы вроде не такие уж большие, аргентинский флаг наполовину свернут, но поднят над головами, два плотненьких итальянца понимающе переглядываются, и один торжественно говорит: «*Glief'а messo in culo*»<sup>1</sup>, а другой полностью согласен с таким четким резюме; в дверях толкотня; люди устало шагают по дощатым настилам в холодной темноте, мелкий дождик, мостки проседают под тяжестью ног, а в конце, привалившись к перилам, курят Перальта и Чавес, они как застыли: уверены, что Эстевес заметит, не выкажет удивления, а просто подойдет, как подошел, вынимая на ходу сигареты.

— Он его отделал! — сказал Эстевес.

— Знаю,— ответил Перальта.— Сам видел.

Эстевес глянул удивленно, но Перальта с Чавесом отвернулись и пошли с мостков прямо в толпу, которая заметно редела. Эстевес понял: надо следовать за ними, увидел, как они пересекли шоссе, ведущее к метро, и свернули в плохо освещенную улочку. Чавес лишь раз оглянулся — не потерял ли их Эстевес, а потом они прямоком направились к машине и сели в нее тут же, но без торопливости. Эстевес сел сзади, рядом с Перальтой, и машина рванула в южную часть города.

— Выходит, ты был?! — сказал Эстевес.— Вот не думал, что тебе нравится бокс.

— Гори он огнем! — сказал Перальта.— Хотя Монсон стоит всех денег. Я пришел на всякий случай, подстраховать тебя, если что.

---

<sup>1</sup> Вставил ему перо в зад (*итал.*).

— Стало быть, ты видел. А Вальтер, бедняга, болел за Наполеса...

— Это был не Вальтер.

Машина по-прежнему шла к югу. Какое-то седьмое чувство подсказало Эстевесу, что они едут не к площади Бастилии, но это мелькнуло подспудно, в самой глубине, потому что его словно ослепило взрывом, словно Монсон нанес удар прямо в лицо ему, а не «Мантекилье». У него не было сил спрашивать, он молча смотрел на Перальту и ждал.

— Мы не смогли тебя предупредить,— сказал Перальта.— Ты, как назло, ушел слишком рано, и, когда мы позвонили, Мариса сказала, что тебя нет и она не знает, когда ты вернешься.

— Захотелось немного пройтись пешком,— сказал Эстевес.— Но объясни...

— Все лопнуло,— сказал Перальта.— Вальтер позвонил утром прямо из Орли, как прилетел, мы ему сказали, что надо делать, он подтвердил, что билет на бокс у него,— словом, все было на мази. Договорились, что перед уходом он позвонит от Лучо, для верности. В полвосьмого — никакого звонка, мы звоним Женевьеве, а она перезвонила и говорит, что Вальтер даже не заходил к Лучо.

— Они стерегли его на выходе в аэропорту,— подал голос Чавес.

— Но кто же тогда...— начал Эстевес и осекся, он разом все понял, холодный пот, выступивший на шее, потек за ворот, желудок свело судорогой.

— За семь часов они вытянули из него все,— сказал Перальта.— Доказательство налицо — этот тип до тонкости знал, как себя вести. Ты же представляешь их работу, даже Вальтер не выдержал.

— Завтра или послезавтра его найдут на каком-нибудь пустыре,— устало и отрешенно прозвучал голос Чавеса.

— Какая теперь разница,— сказал Перальта.— До прихода в шапито я успел всех предупредить, чтобы сматывали удочки. У меня, понимаешь, еще была слабая надежда, когда я примчался в этот растреклятый цирк, но тип уже сидел рядом с тобой, и куда деваться.

— Но после,— спросил Эстевес,— когда он пошел с деньгами?

— Ясно, что я следом.

— А раньше, коль скоро ты знал...

— Куда деваться,— повторил Перальта.— Пойми он, что завалился, ему крышка так и так. Устроил бы такое, что нас замели бы всех, сам знаешь, кто их опекает.

— Ну и дальше?

— Снаружи его ждали трое, у одного было какое-то удостоверение, короче, я опомниться не успел — а они уже в машине на стоянке, отгороженной для дружков Делона и богатеев, а кругом до черта полицейских. Словом, я вернулся на мостки, где ждал Чавес, вот и все. Ну запомнил номер машины, а на хрена он теперь?

— Мы едем за город? — спросил Эстевес.

— Да, в одно местечко, где поспокойнее. Тебе, надеюсь, ясно, что теперь проблема номер один — ты.

— Почему я?

— Потому что тот молодчик знает тебя в лицо, и они все силы положат, чтобы разыскать тебя, а у нас ни одной «крыши» после того, что случилось с Вальтером.

— Выходит, мне уезжать? — сказал Эстевес. И сразу пронзило: а как же Мариса, малыш, как увезти их с собой, как оставить, мысли путались, мелькали, как и деревья ночного леса, и назойливо жужжали, будто толпа все еще ревет: «Монсон! Монсон!», прежде чем ошеломленно смолкнуть, когда на середину ринга упадет полотенце, в этот закатный час «Мантекильи», бедный старик. А тип болел за «Мантекилью», надо же, за неудачника, ему бы в самый раз болеть за Монсона, который забрал все деньги и ушел, как он, не глядя, показав противнику спину и тем еще больше унижая его, потерпевшего поражение, беднягу с рассобаченной мордой, надо же — протянул руку, «был очень рад»... Машина затормозила среди деревьев, и Чавес выключил мотор. В темноте вспыхнула сигарета — закурил Перальта.

— Стало быть, мне уезжать! — повторил Эстевес.— В Бельгию, наверно, ты же знаешь, кто там...

— Если доберешься, считай, что спасен,— сказал Перальта.— Но вон что вышло с Вальтером, у них всюду люди, и какая выучка.

— Меня не схватят!

— А Вальтер? Кто думал, что его схватят и расколют. А ты знаешь побольше Вальтера, вот что худо.

— Меня не схватят! — повторил Эстевес.— Но пойми, надо подумать о Марисе, о парне, раз все прахом, их нельзя оставить здесь, они прикончат Марису просто из мести. За день я управлюсь, все устрою и увезу их в

Бельгию, там увижусь с самим, а потом соображу, куда двинуть.

— День — слишком много,— сказал Чавес, обращаясь к ним. Глаза Эстевеса, привыкшие к темноте, различили его силуэт и лицо Перальты, когда тот затягивался сигаретой.

— Хорошо, я уеду, как только смогу! — сказал Эстевес.

— Прямо сейчас,— сказал Перальта и вынул пистолет.

## «НЕКТО ЛУКАС»

### ЛУКАС — ЕГО БИТВЫ С ГИДРОЙ

Лишь теперь, начав стареть, он понимает: убить ее не так-то просто.

Быть гидрой просто, а убить ее — нет, потому что если и вправду для убийства гидры надо отсечь ее многочисленные головы (от семи до девяти, по мнению авторитетных знатоков и определителей животного мира), то необходимо оставить хотя бы одну, поскольку гидра — сам Лукас и чего он хочет — так это выбраться из гидры, но остаться в Лукасе, перейти из много- в одноголовое существо. Поглядел бы я на тебя, шипит Лукас, завидуя Гераклу, не испытавшему никаких затруднений с лернейской гидрой, от которой, после того как он прибил ее, остался живописный фонтан с семью или девятью струями крови. Одно дело убить гидру, а другое — быть этой гидрой, которая однажды была просто Лукасом, кем он и желает снова стать. К примеру, оглоушиваешь ее ударом по голове, коллекционирующей грампластинки, и другим ударом — по той, что неизменно помещает курительную трубку в левой части письменного стола, а стакан с фломастерами в правой и чуть в глубине. И начинаешь оценивать результаты.

Хм, кое-что достигнуто, две заминусованные головы приводят в критическое состояние оставшиеся, которые лихорадочно шевелят мозгами перед лицом столь рокового события. Иначе говоря, на какое-то время перестает быть навязчивой идея срочно дополнить собрание мадригалов Джезуальдо ди Веноза, князя (Лукасу недостает двух дисков этой серии, похоже, они распроданы и не будут переиздаваться, а это уменьшает ценность остальных.



Бац — и не стало головы с этими ее размышлениями, хотениями и зудениями). К тому же настораживающим новшеством является то, что рука, ищущая трубку, обнаруживает: она не находится на своем месте. Воспользовавшись этой тягой к беспорядку, тут же и отхватим голову, обожающую уединение, кресло для чтения рядом с торшером, виски в полседьмого с двумя кубиками льда и умеренным количеством содовой, книги и журналы, сложенные в порядке их поступления.

И все же убить гидру и вернуться в Лукаса очень трудно, думает он в самый разгар этой жестокой битвы. Для начала он принимается описывать ее на листке бумаги, вынутом из второго ящика письменного стола справа, хотя бумага лежит и на столе, и вообще повсюду, но нет уж, сеньор, так заведено, и прекратим разговоры о суставчатой итальянской лампе, четыре позиции, сто ватт, стоящей вроде крана на стройке и тонко сбалансированной таким образом, что пучок света и т. д. Молниеносный удар, и прощай голова — египетский писец в сидячем положении! Одной меньше, уф! Лукас все ближе к самому себе, дело пошло на лад.

Он так и не узнает, от скольких еще голов ему остается избавиться, потому что раздается телефонный звонок: это Клодин, которая говорит, что надо идти — только по-бы-стрей! — в кино, где показывают что-то с Вуди Алленом. Разумеется, Лукас оттяпывал головы не в онтологическом порядке, как надо бы, поэтому первая его реакция — нет, ни в коем случае, Клодин кипит на другом конце провода, словно маленький рачок в воде: Вуди-Аллен-Вуди-Аллен, а Лукас: милочка, не гони, если хочешь, чтобы у меня был сносный вид, ты что же считаешь, что я должен бежать с поля боя, истекая плазмой и резус-фактором, лишь потому, что тебе втемяшился в голову Вуди Аллен, пойми, есть таланты и таланты. Когда на другом конце обрушивают на крючок Джомолунгму в виде телефонной трубки, Лукас смекает, что сперва надо было оттяпать голову, которая упорядочивает, обхаживает и соразмеряет время, возможно, тогда все сразу облегчилось бы и выстроилось: трубка-Клодин-фломастеры-Джезуальдо-в-разных-видах-ну-и-Вуди-Аллен, конечно. Но поздно — нет ни Клодин, ни даже слов, чтобы продолжить рассказ о битве, так как и битвы-то уже нет, какую голову отрубать, если всегда найдется еще одна, более начальственная, самое время отвечать с запозданием

на письма, через десять минут виски с кубиками льда и содовой, совершенно очевидно, что они у него снова отросли, как он ни сшибал их — ни к чему это не привело. В ванной Лукас видит в зеркале всю гидру целиком с ее ртами, расплывшимися в ослепительных улыбках, зубами наружу. Семь голов, по одной на каждую декаду, хуже всего — подозрение, что у него могут вырасти две новые, чтобы потрафить некоторым специалистам в гидровой области,— конечно, все зависит от здоровья.

## ЛУКАС — ЕГО ПОКУПКИ

Так как Тота попросила его спуститься вниз и купить коробок спичек, Лукас выходит из дому в пижаме — в столице царит непереносимый зной — и обосновывается в кафе толстяка Муччио, но, прежде чем купить спички, решает заказать что-нибудь поаперитивнее с содовой. Не успел он ополовинить этот знатный для пищеварения эликсир, как вваливается его, тоже в пижаме, друг Хуарес и, увидев его, раздражается сестрой, у которой острый отит, и аптекарем, не желающим отпускать для нее успокоительные капли, мол, не вижу рецепта, а капли галлюциноидные и нокаутировали не менее четырех хиппи из их квартала. Тебя-то он уважает и немедленно продаст, побежали, Росита в корчах, мне на нее глядеть страшно.

Лукас расплачивается, забыв о спичках, и идет с Хуаресом в аптеку, где старик Оливетти говорит, что случай не смертельный и хватит об этом, поищите где-нибудь еще, тут-то и выходит из кладовой его супруга с «кодаком» в руке — уж вы-то, сеньор Лукас, наверняка знаете, как его заряжать, у нас тут день рождения крошки, и надо же, пленка как раз кончилась, именно сейчас. Видите ли, мне надо отнести спички Тоте, говорит Лукас прежде, чем Хуарес успевает наступить ему на ногу, и Лукас милостиво заряжает аппарат, смекнув, что старик Оливетти вознаградит его усилия ненавистными каплями; Хуарес рассыпается в благодарностях и, матерясь, выбегает, в то время как супруга Оливетти вцепляется в Лукаса и, весьма довольная, затаскивает его на день рождения, вы ведь не уйдете, не отведав торта, который спекла донья Луиса, так что будь счастлива, детка, говорит Лукас девочке, которая отвечает ему фыркотней, поедая пятый кусок торта. Все поют *чтоб-росла-ты-взросла* и

еще другой тост под апельсиновый сок, но у сеньоры есть бутылочка хорошо охлажденного пива для сеньора Лукаса, который сейчас всех снимет, здесь, правда, тесновато, и вот Лукас со вспышкой — сейчас птичка вылетит — стоит посреди двора, потому что детка хочет, чтобы вышел также и щегол, — хочу-у-у.

— Ладно, — говорит Лукас, — мне пора, потому что Тота... — Фраза эта остается на веки вечные неоконченной, поскольку в аптеке разрастаются вопли и разного рода наставления и контрприказы, Лукас бежит поглядеть, а может быть, и встрять и сталкивается с мужской половиной семьи Салинских, а в центре сам старик Салинский, свалившийся со стула, его принесли сюда, потому что они живут рядом, и в общем-то не стоит беспокоить докторов, если только речь не идет о переломе копчика или чего похуже. Меньшой Салинский свирепо хватает Лукаса за пижаму и говорит, что старик крепок, но что цементный пол еще покрепче, так что не исключен смертельный исход, и как раз в этот момент старик становится зеленым и больше не делает попыток почесать зад, что прежде было ему свойственно. Это противоречие не ускользает от старого Оливетти, который усаживает жену за телефон, и менее чем через пятнадцать минут прибывает «скорая» с двумя санитарями, Лукас помогает нести старика, который невесть почему сбвил его шею обеими руками, совершенно не обращая внимания на своих сыновей, но, когда Лукас хочет выйти из «скорой», санитары перед самым его носом захлопывают дверки, потому что спорят о воскресной встрече «Боки» с «Ривером», где уж тут отвлекаться на родственников, — в общем и целом, после сверхзвукового старта Лукас оказывается на полу кабины, а старик Салинский с носилок: вот, теперь и ты поймешь, едрен'ть, что значит, когда болит!

В больнице, находящейся на другом конце клубка, Лукас должен объяснить что к чему, а на это в лечебных заведениях уходит время, так что вы из его семьи, нет, дело в том, что я, в таком случае как же, погодите, я объясню вам, что произошло, хорошо, но покажите ваши документы, но я ведь в пижаме, доктор, но в вашей пижаме два кармана, верно, но дело в том, что Тота, не станете же вы утверждать, что этого старика зовут Тота, я хочу сказать, что должен был купить коробок спичек для Тоты, а тут прибегает Хуарес, и. Хорошо, вздыхает врач, Моргада, спустите старику трусы, а вы

можете идти. Я останусь, покуда не придут родственники и не дадут мне денег на такси, говорит Лукас, в таком виде я не поеду на общественном транспорте. А почему бы и нет, говорит врач, нынче носят такие фантастические наряды, мода настолько переменчива, сделайте ему рентген локтевой кости, Моргада.

Когда Салинские вываливаются из такси, Лукас сообщает им новости, меньшей отсчитывает ему сколько положено и, уж конечно, целых пять минут благодарит за солидарность и дружеское участие, как на грех такси нигде нет, и Лукас, не в силах больше терпеть, пускается пешком по улице — за пределами родного квартала идти в пижаме все равно что нагишом, с ним никогда такого не приключалось, и, как назло, ни одного автобуса, но вот наконец завиднелся 128-й, и Лукас ни жив ни мертв втиснулся между двумя девочками, которые таращат на него глаза, а старуха со своего сиденья скользит взглядом вверх по полоскам его пижамы, словно определяя, насколько приличен этот наряд, отнюдь не скрадывающий некоторых контуров, Санта-Фе и угол Кэннинга все еще далеко, чему есть свое объяснение, поскольку Лукас сел в автобус, идущий в сторону Сааведры, скорее выйти и подождать встречный, место смахивает на сломанную расческу: редкая трава и два дерева; Тота, наверно, сейчас как пантера в прачечной, полтора часа, мамочка родная, и когда же это, черт подери, придет автобус.

Быть может, никогда не придет, говорит себе Лукас в мрачном озарении, быть может, все это что-то вроде отдаления от Альмутасима, думает просвещенный Лукас. Он почти не замечает, как внезапно к нему причаливает беззубая старушенция, которая спрашивает, нет ли у него по случаю спички.

## ЛУКАС — ЕГО ПАТРИОТИЗМ

В моем паспорте мне нравятся страницы для новых пометок и печати виз, круглые / квадратные / черные / овальные / красные; из моего представления о Буэнос-Айресе — паром через Риачуэло, площадь Ирландии, бульвары Агрономии, кое-какие кафе, которых, должно быть, больше нет, кровать в одном из апартаментов на Майпу, почти на стыке с Кордовой, запах и тишина порта в летнюю полночь, деревья площади Лавалье.

От страны у меня остался запах каналов в Мендосе, тополя Успальяты, густо-фиолетовый цвет горы Веласко в Ла-Риохе, звезды Чако в пампе близ Гуанакос, когда едешь из Сальты в Мисьонес в поезде сорок второго года, лошадь, на которой я скакал в Саладилльо, запах чинзано с джином «Гордон» в «Бостоне», на улице Флорида, чуть аллергический запах партера в театре «Колумба», суперпоезд в Луна-парке с Карлосом Беульчи и Марио Диасом, некоторые молочные на рассвете, уродливость площади Онсе, чтение журнала «Сур» в нежно-наивные годы, грошовые выпуски «Кларидад» с Роберто Арльтом и Кастельнуово, ну и, разумеется, некоторые дворы, тени, о которых я умалчиваю, и умершие.

### ЛУКАС — ЕГО СВЯЗИ С МИРОМ

Так как он не только пишет, но и не прочь отправиться на другой конец света, чтобы прочитать написанное другим, Лукаса поражает порой, с каким трудом он доходит до некоторых вещей. Не то чтобы это были вопросы узко своеобычные (жутковатое слово, думает Лукас, склонный прикидывать вес слов на ладони, чтобы привыкнуть к ним или отвергнуть их в зависимости от цвета, запаха и текстуры), но неожиданно образуется нечто вроде мутного стекла между ним и тем, что он читает,— в результате беспокойство, повторное, через силу, чтение, ссора в дверях и в заключение великий перелет журнала или книги к ближайшей стене с последующим падением и влажным «плюх».

Когда чтение заканчивается подобным образом, Лукас задается вопросом, какая дьявольщина могла затруднить внешне несложный путь от того, кто сообщает, к тому, кому сообщают. Задаться таким вопросом ему стоит труда: по отношению к себе у него такого вопроса никогда не возникает, и, каким бы странным ни был его стиль, с какими бы величайшими затратами времени отдельные его вещи ни приходили бы к нему и ни доходили бы до других, Лукас никогда не удосуживался выяснить, стоило ли им приходиться и с какими превеликими затруднениями связано было их дохождение. Его мало интересует состояние читательских душ, он верит в существование некоего волшебного многообъемного размера, который в большинстве случаев всем впору, как хорошо скроенный кос-

твом, так что нет необходимости ломать голову, как приходит и как доходит,— между ним и остальными всегда найдется связь, лишь бы написанное рождалось из семечка, а не от привоя. В его самых бредовых наитиях есть одновременно что-то очень простое — очень от птички божьей и дешевой метлы. Просто надо писать не для других, а для одного и того же, этот один и тот же и является другими,— все это так *elementary, my dear Watson*<sup>1</sup>, что и не верится,— в самый раз задаться вопросом, нет ли подсознательной демагогии в этой взаимосвязанности отправителя, отправления и адресата. Лукас взвешивает на ладони слово «адресат», поглаживает его шерстку и возвращает зверушку в ее непонятную норку, плевать ему на адресат, ему до него рукой подать: разве не он читает то, что пишет, разве не он пишет то, что читает,— и пошло все к чертям собачьим.

## ЛУКАС — ЕГО ИНТРАПОЛЯЦИИ

В одной документальной и югославской картине видно, как инстинкт самки осьминога вступает в действие, чтобы любыми средствами защитить отложенные яйца, и среди других способов защиты организует самомаскировку: прячется за собранными водорослями и этим спасает себя от нападения мурен в течение всех двух месяцев инкубационного периода.

Подобно остальным, Лукас антропоморфно созерцает кадры: самка осьминога *решает* защитить себя, *ищет* водоросли, *размещает* их перед своим укрытием, *прячется*. Все это (с первой же попытки антропоморфного объяснения названное когда-то инстинктом, за неимением лучшего названия) находится за пределами какого-либо разума, за пределами какого-либо, пусть даже самого рудиментарного, знания. Когда со своей стороны Лукас делает усилие, чтобы участвовать как бы извне в этом процессе,— что ему остается? Голый *механизм*, недоступный его воображению,— нечто вроде движения поршней в цилиндрах или скольжения жидкости по наклонной плоскости.

Весьма удрученный Лукас говорит себе, что на этом уровне единственное, что остается,— это своего рода интраполяция: то, о чем он думает в настоящий момент,

---

<sup>1</sup> Элементарно, мой дорогой Ватсон (*англ.*).

тоже лишь механизм, который его разум надеется постичь и контролировать, а разве это не тот же антропоморфизм, наивно применяемый к самому человеку.

«Мы — ничто», — думает Лукас за себя и за самку осьминога.

## ЛУКАС — ЕГО РАСКОНЦЕРТИРОВАНИЕ

Некогда, в эпоху гофия<sup>1</sup>, Лукас частенько посещал концерты — ах, Шопен, Золтан Кодай и Пуччиверди, а уж Брамс и Бетховен, ну, и Отторино Респиги и сезоны послабей.

Теперь он посещать перестал, а выкручивается с помощью пластинок, радио или насвистывая свои воспоминания типа Менухина, Фридриха Гульды или Мариан Андерсон, все это в наши скоростные времена несколько попахивает палеолитом, но если начистоту — с концертами у него шло настолько по нисходящей, что однажды пришлось даже заключить джентльменское соглашение между Лукасом, который перестал посещать, и билетерами вкупе с частью публики, которые его перестали выгонять пинками. Чем были вызваны столь судорожные разногласия? Если ты его спросишь, Лукас кое-что припомнит, например, вечер в «Колумбе», когда пианист, бисируя, обрушил руки, вооруженные саблями Хачатуряна, на совершенно незащитную клавиатуру, чем воспользовалась публика, позволившая себе истерический припадок, размеры которого точно соответствовали грохоту, достигнутому артистом в заключительных пароксизмах, — и вот мы видим Лукаса, который демонстративно что-то ищет на полу между рядами, хватаясь за что ни попало.

— Вы что-нибудь потеряли, сеньор? — решила допытаться дама, между щиколотками которой сновали пальцы Лукаса.

— Музыку, сеньора! — ответил Лукас за секунду до того, как сенатор Польятти нанес ему первый пинок в зад.

Точно так же во время вокального вечера, когда одна дама, деликатно воспользовавшись тончайшим пианиссимо Лотте Леман, воспроизвела кашель, достойный рупоров тибетского храма, тут же слышался голос Лукаса, кото-

---

<sup>1</sup> См. примечание X. Кортасара к рассказу «Плавание в бассейне с гофием».

рый сказал: «Умей коровы кашлять, они бы кашляли, как эта сеньора» — данный диагноз определил патриотическую интервенцию доктора Чучо Белаустеги и волочение Лукаса лицом по земле до его конечного освобождения за оградой на улице Свободы.

Трудно наслаждаться концертами, когда происходят подобные вещи, лучше уж at home <sup>1</sup>.

## ЛУКАС — ЕГО НОВОЕ ИСКУССТВО ЧИТАТЬ ЛЕКЦИИ

— Дамы и господа и т. д. Для меня большая честь и т. д. В этом зале, украшенном такими и т. д. Да будет мне сейчас позволено и т. д. Я не могу начать без того, чтобы, и т. д.

Прежде всего я хотел бы наиболее точно определить смысл и рамки нашей темы. Всегда есть нечто пугающее в любом обращении к будущему, ведь даже простое познание настоящего — настоящий туман и расплывчатость, ведь даже категория вечного пространства-времени, где мы с вами — феномен мгновения, которое исчезает в тот самый момент, когда мы подумали о нем, скорее рабочая гипотеза, нежели хоть как-то доказанная реальность. И однако, поборов тягу к регрессии, которая ставит под сомнение малейшие побуждения духа, попытаемся допустить реальность настоящего и даже истории в целом, которая объединяет нас, гарантируя достаточные возможности для того, чтобы сконцентрировать устойчивые элементы и в особенности динамические факторы на предмет определения будущего Гондураса в сообществе латиноамериканских демократий. На неоглядной сцене континента (*жест руки, охватывающий весь зал*) столь маленькая страна, как Гондурас (*жест руки над поверхностью стола*), всего лишь один из разноцветных кубиков, образующих гигантскую мозаику. Этот фрагмент (*ощупывает более внимательно стол, взглядываясь в него так, будто видит его впервые*) странным образом конкретен и одновременно неосязаем, впрочем как и все в мире материи. Чем является то, что я трогаю? Конечно, это дерево и, в своей совокупности, объемный предмет, находящийся

---

<sup>1</sup> Дома (англ.).



между вами и мной,— то, что, в конечном счете, нас разделяет этим бесстрастным и зловредным рубежом из каобы. Стол! Но что это?! Совершенно очевидно, что вот здесь, внизу, между его четырьмя ножками, расположена враждебная область, еще более коварная, нежели его твердые части,— воздушный параллелепипед, похожий на аквариум с прозрачными медузами, находящимися в заговоре против нас, в то время как сверху (*проводит рукой по столешнице, словно бы для того, чтобы удостовериться*) все как всегда гладко и скользко, ну прямо как в японской разведке. Можем ли мы понять друг друга, разделенные столскими преградами? Если бы вот эта почти уснувшая сеньора, поразительно напоминающая крота, который мучается несварением желудка, согласилась залезть под стол и поведать нам результаты ее обследования, возможно, мы и смогли бы упразднить преграду, заставляющую меня обращаться к вам так, как если бы я удалялся от причала Саутгемптона на борту «Квин Мери», на которой я всегда старался путешествовать, и платочком, влажным от слез и лаванды «Ярдлей», посылая единственно видимый еще привет креслам, мрачно нагроможденным на причале. Омерзительная для нас всех пустота,— почему дирекция поместила ее между нами в виде этого стола, похожего на непристойного кашалота? И напрасно, сеньор, вы предлагаете его убрать,— нерешенная проблема вернется через подсознание, как это со всей очевидностью доказала Мари Бонапарт в анализе случая с мадам Лефевр, которая убила ехавшую в автомобиле сноху. Благодарю вас за добрую волю и мускулы, имеющие предрасположение к действию, но я полагаю крайне важным проникнуть в природу этого неопишуемого дромадера и не нахожу иного выхода, нежели стройными рядами, вы с вашей стороны, а я со своей, схватиться с лигниновой диктатурой, которая изнутри медленно горбатит свой омерзительный кенотаф. Долой мракобесный предмет! Куда там — он не исчезнет. Топор, скорее топор! Он нисколько не испугается — видите, это живое воплощение мертвой неподвижности, присущее наихудшим проявлениям негативизма, каковой скрытно проникает во все акты воображения, дабы не дозволить последнему воспарить, выбросив балласт смертности, к облакам, которые были бы по праву его истинным тронem, если бы тяготение — этот всеобъемлющий и вездесущий стол — не придавало бы столько веса всем вашим жилетам, пряжке

моего ремня и даже ресницам этой вот прелести, которая с пятого ряда только и делает, что молчаливо умоляет меня безотлагательно переместить ее в Гондурас. Я замечаю нетерпеливые жесты, контролеры разгневаны, последуют жалобы в дирекцию, я предвижу незамедлительное сокращение средств на культурные акции — мы входим в состояние оторопелой энтропии, словно становимся похожими на ласточку, угодившую в кастрюлю с маниоковой похлебкой, уже никто не ведает, что происходит, чего и добивается этот сукин сын стол, желающий остаться в совершенно пустом зале, а мы в это время будем рыдать или колошматить друг друга на выходных лестницах. Что же — позволить тебе праздновать победу, отвратительный василиск? Пусть никто не притворяется, будто не замечает присутствия этого предмета, который делает нереальным любой вид коммуникабельности, любой вид семантической связи. Взгляните: вот он торчит между нами, находящимися по разные стороны этой ужасной стены, между нами, напоминающими сборище идиотов в зале, где прогрессивный дирижер намеревается ознакомить публику с музыкой Штокхаузена. Ну конечно же, мы полагали себя свободными, председательница собрания припасла букет роз, который мне должна преподнести младшая дочь секретаря, в то время как вы с помощью горячих аплодисментов разогреете холодную циркулирующую крови в ваших ягодицах. Но ничего подобного не произойдет по вине этой тошнотворной конкреции, о которой мы прежде слыхом не слыхивали и на которую, войдя в зал, взирали как на нечто само собой разумеющееся, пока случайное прикосновение моей руки внезапно не обнаружило ее во всей ее затаившейся агрессивной враждебности. Как мы могли верить в свободу и собраться здесь, если очевидно, что мы ничего не постигнем, ничего не осуществим, прежде чем не освободимся от этого стола? Прилипчивая молекула гигантской загадки, клейкое свидетельство наихудшего закабаления! Сама идея Гондураса выглядит сейчас как воздушный шарик, лопнувший в разгар детского праздника. Кто способен думать о Гондурасе, разве это слово имеет какой-либо смысл, пока мы находимся на разных сторонах этой темно-огненной реки? А я еще хотел выступить с лекцией! И вы были готовы слушать меня! Нет, хватит, наберемся по крайней мере мужества, чтобы очнуться или на худой конец допустить, что хотим очнуться, ведь единственное, что может спасти

нас,— почти непереносимое желание провести рукой по этому бесстрастно-геометрическому бесстыдству, возглашая хором: «Метр двадцать в ширину и около двух сорока в длину, стол из цельного дуба или из красного дерева, если не из полированной сосны». Разве не пора положить ему конец, узнав, что он есть на самом деле? А впрочем, как знать, может, все это и без пользы. Вот тут, например, я вижу нечто похожее на сучок. Вы полагаете, сеньора, что это и есть сучок? А вот здесь то, что мы назвали бы ножкой,— но чем является на самом деле эта перпендикулярная поспешность, этот отвердевший поток рвоты на пол? А сам пол, эта опора для нашей ходьбы,— что скрывается под начищенным паркетом?..

(Обычно лекция заканчивается — или ее заканчивают — намного раньше, и стол остается в одиночестве в совершенно пустом зале, поэтому никто не видит, как он задирает ногу, что обычно и делают столы, когда остаются одни.)

## ЛУКАС — ЕГО БОЛЬНИЦЫ (I)

Так как больница, куда лег Лукас, высшего разряда, где больной-всегда-прав и сказать «нет», даже когда он просит невесть что, куда как серьезная проблема для медсестер, всем они обворожительно и наперегонки отвечают «да» — по причинам, указанным выше.

Конечно, невозможно удовлетворить просьбу толстяка из 12-й палаты, который в разгар цирроза печени требует каждые три часа бутылку джина, зато с каким удовольствием девушки сказали «да», «само собой», «ну конечно», когда Лукас, увидевший во время проветривания палаты букетик ромашек в холле, почти застенчиво попросил разрешения унести одну ромашку в палату, чтобы хоть как-то скрасить обстановку.

Положив ромашку на тумбочку, Лукас нажимает на кнопку звонка и просит принести стакан с водой, чтобы придать растению более свойственное ему положение. Не успевают принести стакан и поставить туда цветок, как Лукас замечает, что тумбочка загромождена склянками, журналами, сигаретами и почтовыми открытками, так что нельзя ли поставить какой-нибудь столик к изножью кро-

вати, это позволит наслаждаться видом ромашки, не рискуя вывихнуть шею в процессе обнаружения цветка среди различных предметов, размножающихся на тумбочке.

Медсестра тут же приносит требуемое и помещает стакан с ромашкой в наилучшем для обозрения ракурсе, за что Лукас тут же ее благодарит, замечая вскользь, что его посещают многочисленные друзья, а стульев маловато и было бы весьма кстати, воспользовавшись тем, что столик уже принесен, добавить два-три удобных кресла, что создало бы более располагающую к беседе атмосферу.

Не успевают медсестры появиться со стульями, как Лукас говорит, что чувствует себя крайне обязанным по отношению к друзьям, которые должны делить с ним его горькую участь, в силу чего большой стол был бы как нельзя кстати, предварительно покрытый, конечно, скатерткой под две-три бутылки виски и полдюжины бокалов, желательного граненого стекла, не говоря уже о термосе со льдом и нескольких бутылках содовой.

Девушки разбегаются в поисках всех этих предметов и художественно располагают их на принесенном столе, при этом Лукас позволяет себе заметить, что присутствием бокалов и бутылок значительно снижается эстетический эффект ромашки, она прямо-таки затерялась в ансамбле, хотя выход из положения весьма прост — ведь если чего-то и не хватает в помещении, так это шкафа для одежды и обуви, кое-как сваленных в стенном шкафу в коридоре, так что достаточно поместить стакан с ромашкой на шкаф, и цветок будет доминировать в палате, придав ей тот таинственный шарм, который является ключом к любому успешному выздоровлению.

Сверх всякой меры уставшие, но верные правилам больницы, девушки с трудом вдвигают в палату огромный шкаф — на нем в конце концов и водружается ромашка, напоминающая несколько удивленный, но доброжелательный глаз. Медсестры карабкаются на шкаф, чтобы подлить немного воды в стакан, и тогда Лукас закрывает глаза и говорит, что теперь все в полном порядке и он попытается уснуть. Как только закрывают дверь, он вскакивает, вытаскивает ромашку из стакана и выбрасывает ее в окно, потому что ромашка не самый любимый его цветок.

## МОЛЧАЛИВЫЙ СПУТНИК

Любопытная связь, возникающая между одной историей и одной догадкой о том, что случилось много лет назад и на довольно отдаленном расстоянии, сейчас может считаться фактом. Однако до неожиданной беседы в Париже то, что произошло лет двадцать назад на безлюдном шоссе в аргентинской провинции Кордова, не вязалось со всем остальным.

Историю рассказал Альдо Францескини, а догадку высказал я в мастерской художника на улице Поля Валери, где мы попивали вино, курили и наслаждались воспоминаниями о нашей стране, но без эффектных фольклорных вздохов, обычно испускаемых аргентинцами, которые шатаются здесь неведомо почему. По-моему, сперва заговорили о братьях Гальвес и тополях Успальяты, во всяком случае, я помянул Мендосу, и Альдо, который сам оттуда, завелся, что называется, с пол-оборота, и не успели мы оглянуться, как он уже несся на автомобиле из Мендосы в Буэнос-Айрес, пересекая в полночь Кордову, и вдруг посреди дороги у него кончился то ли бензин, то ли вода в радиаторе. А история его сводится к следующему.

— Ночь была темная, место совершенно пустынное, и не оставалось ничего другого, как дожидаться какой-нибудь машины, которая бы нам помогла выйти из положения. В те годы на такие длинные перегоны многие прихватывали запасные канистры с бензином и водой. На худой конец, нас с женой подбросили бы в ближайшее селение, где была гостиница. В сплошной темноте мы поставили машину у самой обочины, курили и ждали. Около часа ночи появился идущий в сторону Буэнос-Айреса автомобиль, и я стал сигналить с дороги фонарем.

Такие вещи сразу трудно понять или объяснить, но еще прежде, чем автомобиль затормозил, я почувствовал, что водитель останавливаться не хотел, что эта машина, которая мчалась как угорелая, готова была гнать дальше, даже если б я валялся на дороге с пробитой головой. В последний момент я все же отпрянул в сторону — по милости чертовых тормозов машину пронесло еще метров на сорок вперед, я бросился вслед и подбежал к ней со стороны водительского окна. Я погасил фонарь, доска приборов достаточно освещала лицо человека, который

вел машину. Я сказал ему, в чем дело, и попросил помочь, и, пока я говорил, душа у меня уходила в пятки — по правде сказать, еще когда я приближался к машине, я начал испытывать страх, безотчетный страх и, в общем-то, неоправданный, ведь в таком месте и в такую тьму скорее следовало бояться шоферу. Объясняя ему, что да как, я заглянул внутрь автомобиля: сзади никого не было, но рядом с водителем что-то сидело. Я говорю «что-то» за неимением лучшего слова, все началось и закончилось тут же, единственно реальным был страх, какого я никогда не переживал. Клянусь тебе, когда водитель, резко нажав на газ и сказав: «Нет у нас бензина!», рванул вперед, я испытал облегчение. Вернувшись к нашей машине, я не мог объяснить жене случившегося, но этого и не требовалось, она сама почувствовала какую-то непонятную угрозу, исходившую от этого автомобиля, причем почувствовала на расстоянии, даже не видя того, что увидел я.

Ты спросишь, что я увидел, а я и сейчас тебе не скажу. Рядом с водителем, я говорил, было нечто черное, что не шевельнулось и не повернуло головы в мою сторону. В конце концов, мне ничего не стоило снова зажечь фонарь и осветить обоих, но объясни на милость, почему я не решился на это, почему все длилось лишь миг, почему я чуть ли не благодарил бога, когда автомобиль рванул с места и исчез, и в особенности — какого хрена я радовался, что просидел в открытом поле всю ночь, пока на рассвете водитель какого-то грузовика не протянул нам руку помощи и флягу с граппой?

Чего я никогда не пойму, так это чувства, которое возникло прежде, чем я увидел то, что увидел и что ко всему прочему почти ничем и не было. Словно бы я испугался прежде, еще когда понял, что эти, в автомобиле, не хотели останавливаться и сделали это против воли, только чтобы не сбить меня, но и это не объяснение: кому нравится, когда его останавливают поздно ночью в такой глуши. Мне показалось, все началось, когда я заговорил с водителем, но, пожалуй, я стал что-то смутно чувствовать, когда приближался к автомобилю, — какое-то напряжение, что ли. Иначе трудно объяснить тот озноб, который бил меня, пока мы обменялись несколькими словами с человеком за рулем, и тут я увидел того, другого, и понял, что боюсь именно его и вообще все происходит из-за него. Поди тут догадайся: был это монстр, какой-

нибудь дефективный страшила, которого везли темной ночью, чтобы его никто не увидел? Больной с деформированным или покрытым гнойниками лицом? Безумец, от которого исходили какие-то зловещие флюиды, гибельная сила? Бог весть. Только знаешь, брат, никогда мне не было так страшно...

Так как при мне всегда тридцать восемь лет тщательно отсортированных аргентинских воспоминаний, рассказ Альдо в определенной его части вызвал щелчок, и моя ЭВМ, мгновение поверещав, выбросила карточку с догадкой, а возможно и объяснением. Я вспомнил, что, услышав о таком же случае в одном из буэнос-айресских кафе, испытал нечто подобное — этаким первозданным ужас, как в кино на «Вампире», — через много лет этот ужас соотнесся с ужасом Альдо, и, как всегда, подобное соотнесение сделало догадку правдоподобной.

— Ехал в ту ночь рядом с водителем, — сказал я ему, — мертвец. Странно, что ты раньше не слышал об индустрии перевозки трупов в тридцатые и сороковые годы, были это в основном чахоточные, которые умирали в санаториях Кордовы, а семьи хотели похоронить их в Буэнос-Айресе. Местные законы или что-то там еще очень удорожило перевозку трупов, вот и родилась идея: слегка подмалевав мертвеца, сажать его рядом с водителем и делать перегон от Кордовы до Буэнос-Айреса за одну ночь, чтобы затемно добраться до столицы. Когда мне рассказывали об этом, я ощутил почти то же, что и ты, и потом не раз силился понять, насколько отсутствует воображение у людей, которые зарабатывали на жизнь подобным образом, да так и не мог. Представь себе: сидишь в кабине с мертвецом, который притиснулся к твоему плечу, жмешь со скоростью сто двадцать по безлюдной пампе. За пять или шесть часов могло произойти всякое — труп ведь не столь закаменелый, как полагают, и живой тоже не настолько толстокож, как это иногда кажется. Но вот что я тебе скажу, а ты плесни-ка вина, — по крайней мере двое из тех, кто перевозил трупы, стали позже знаменитыми гонщиками в соревнованиях на шоссе. Заметь, этот разговор у нас и начался с братьев Гальвес. Не думаю, чтоб они занимались этим делом, но состязались-то они с теми, кто им занимался. И верно — в этих сумасшедших гонках смерть всегда у твоего плеча.

## СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

Тетушку Ангустьяс настолько ненавидят, что используют даже отпуска, чтобы напомнить ей об этом. Едва семейство отправится по различным туристским маршрутам — тут же поток почтовых открыток: «Агфа-келор», «Кодак-хром», даже черно-белых, если под рукой не было других, и все как одна полны оскорблений. Из Росарио, из Сан-Андреса-де-Гилес, из Чивилкойя, с угла Чакабуко и Морено — пять-шесть раз на день почтальоны матерятся, а тетушка Ангустьяс — на вершине блаженства. Она никогда не выходит на улицу — топчется во дворе, проводит целые дни за получением почтовых открыток и донельзя рада.

Образцы открыток: «Привет, страшилище, разрази тебя гром. Густаво», «Плюю на твою крышу, Хосефина», «Чтоб от кошачьей мочи засохли твои мальвы паршивые. Твоя сестрица». И так далее.

Тетушка Ангустьяс встает чуть свет, чтобы встретить почтальонов у калитки и отблагодарить их. Она читает открытки, любуется фотографиями и перечитывает послания. К ночи она достает свой альбом-дневник и со всеми предосторожностями помещает в него дневной улов таким образом, что можно не только рассмотреть виды, но прочитать приветы. «Бедные мои ангелочки, сколько же им открыток приходится мне посылать, — думает тетушка Ангустьяс. — Эта вот с коровкой, эта с церковью, тут озеро Трафуль, а здесь букет цветов». Она растроганно разглядывает их одну за одной и втыкает в каждую по булавке, чтоб не выпали из альбома, только вот обязательно протыкает подпись — знать бы, почему?

## ОБ ИСКУССТВЕ ХОЖДЕНИЯ РЯДОМ

Важнейшие открытия делаются при обстоятельствах и в местах самых необычных. Взять яблоко Ньютона — разве не потрясающе? Случилось так, что во время делового совещания, сам не знаю почему, я подумал о кошках (которые с повесткой дня никак не были связаны) и внезапно открыл, что кошки — телефоны. Так вот сразу — гениальное всегда просто.

Разумеется, подобные открытия вызывают определенное удивление: никто не привык к тому, чтобы телефоны



разгуливали взад-вперед да еще лакали молоко и обожали рыбу. Требуется время, чтобы понять: речь идет о телефонах особых, вроде «воки-токи», у которых нет проводов, и, помимо этого, учитывать, что мы тоже необычны, раз до сих пор не поняли, что коты — телефоны, — вот нам и не приходило в голову использовать их.

Учитывая, что это неведение восходит к самой отдаленной древности, сегодня не приходится особенно надеяться на связь, которую бы мы попытались наладить с помощью моего открытия, — ведь совершенно очевидно отсутствие кода, который позволил бы расшифровать послание, точно определить происхождение и нрав отправителей. Как было замечено, речь идет не о том, чтобы снимать несуществующую трубку и набирать номер, не имеющий ничего общего с нашими цифрами, и, уж конечно, не о том, чтобы на другом конце провода могли говорить с нами по какому-нибудь весьма туманному поводу. То, что телефоны действуют, подтверждает любой кот, с достоинством, плохо вознагражденным двуногими абонентами, — никто не сможет отрицать, что его черный, белый, бело-пегий или ангорский телефон то и дело решительно приближается, останавливается у ног абонента и выделяет послание, которое нашей примитивной патетической литературой по-дурацки транскрибируется в форме «мяу» и других похожих фонем. Шелковистые глаголы, плюшевые прилагательные, простые и сложные предложения, неизменно мылкие и глицериноподобные, образуют речь, которая в иных случаях связана с чувством голода: в этих случаях телефон не что иное, как кот, но в других случаях он изъясняется, отвлекаясь от своей личности, и это свидетельствует, что в это время кот является телефоном.

Тупые и претенциозные, мы на протяжении тысячелетий не отвечали на вызовы, не задавались вопросом, откуда они, кто на другом конце провода, о чем нам без устали напоминал трепещущий хвост в любом из домов земли. На что мне и вам мое открытие? Каждый кот — телефон, но каждый человек — просто человек. Нужно ли нам знать, о чем они продолжают нас оповещать, какие горизонты нам открывают, — что касается меня, то меня хватило лишь на то, чтобы набрать на обычном телефоне номер университета, на который я тружусь, и чуть ли не со стыдом обнародовать свое открытие. Излишне говорить о немоте замороженной маниоки, с какой встретили мое сообщение ученые, отвечающие на такого рода звонки.

## МАЛЕНЬКИЙ РАЙ

Радость может принимать самые разные формы, и поэтому не должно удивлять, что жители страны, управляемой генералом Орангу, считают себя счастливыми с того самого дня, когда их кровь наполняется золотыми рыбками.

На самом деле рыбки не золотые, а лишь позолоченные, но стоит увидеть их ослепительные трепыхания, как тут же хочется обладать ими. Правительство знало, что делало, когда, после поимки первых экземпляров одним естествоиспытателем, безотлагательно стало их разводить в благоприятных условиях. Известная под научным названием Z-8, золотая рыбка настолько мала, что если можно было бы вообразить курицу мушиных размеров, то рыбкин размер был бы с эту курицу. Поэтому не представляет особого труда внедрить их в систему кровообращения граждан при достижении восемнадцатилетия: как этот возраст, так и сама процедура обусловлены законом.

И вот каждый юноша и каждая девушка страны ждут не дождутся дня, когда им будет дозволено посетить один из центров впускания, и они посещают его в обстановке семейного энтузиазма, присущего от веку большим событиям. Посредством трубки одна из вен на руке сообщается с прозрачной банкой, наполненной физиологическим раствором, куда в надлежащий момент впускают двадцать золотых рыбок. Семья и виновник торжества могут длительное время любоваться мельтешением и маневрами золотых рыбок в стеклянной банке, пока они, втянутые одна за другой в трубку, обмякнув и несколько удивленно, не исчезнут, подобно золотым пузырькам, в вене. Полчаса спустя гражданин, обладающий полным комплектом золотых рыбок, покидает центр, чтобы долгим празднованием отметить свое приобщение к радости.

Если приглядеться, то жители счастливы скорее в воображении, нежели от непосредственного контакта с действительностью. Хотя они и не могут созерцать золотых рыбок, каждый знает, что те путешествуют по ветвистому дереву артерий и вен, и перед сном каждый словно бы видит, как под куполом век проносятся блестящие искорки, еще более золотые на алом фоне рек и ручейков, по которым они скользят. Больше всего возбуждает сознание, что двадцать золотых рыбок не замедлят размножиться, и вот наплывает видение бесчисленных сверкающих

стаек, которые снуют повсюду, скользят за лобной костью, добираются до кончиков пальцев, скопляются в больших феморальных артериях, в яремной вене или вертко проскальзывают в самых узких и деликатных местах. Периодическое их прохождение через сердце порождает наиболее сладостный образ внутреннего зрения, так как там, по-видимому, золотые рыбки находят кровостоки и кровопады для игр и кровохранилища для сборищ, и скорее всего именно в этой большой шумной закрови они знакомятся, выбирают друг дружку и спариваются. Когда парень и девушка влюбляются, они убеждены, что в их сердце золотая рыбка встретила пару. Даже зуд или раздражение тут же относятся на счет скопления золотых рыбок в соответствующем месте. Таким образом взаимосвязываются основные жизненные циклы, как внешние, так и внутренние, — трудно и представить более гармоничную радость.

Единственным диссонансом этой гармонии является смерть той или иной золотой рыбки. Хотя они и долгожители, все же наступает день, когда каждой рыбке приходит конец, и ее тело, влекомое потоком крови, рано или поздно закупоривает место впадения артерии в вену или вены — в кровеносный сосуд. Гражданам знакомы эти симптомы, к тому же недвусмысленные: затрудненное дыхание, а порою и обмороки. В подобных случаях обычно прибегают к инъекции сыворотки, которая есть про запас у каждого. Через считанные минуты сыворотка разлагает тело умершей рыбки, и кровообращение становится нормальным. Предусмотрительное правительство призывает жителей делать две или три инъекции в месяц в связи с тем, что золотые рыбки исключительно сильно размножились и индекс их смертности неуклонно растет.

Правительство генерала Орангу установило цену за одну ампулу сыворотки в двадцать долларов, что подразумевает годовой доход в несколько миллионов. Хотя для иностранных наблюдателей это выглядит как тяжелое налогообложение, жители смотрят на это по-иному, ибо каждая инъекция возвращает им радость и платить за это они считают справедливым. В случае когда семья не имеет средств, что случается сплошь и рядом, правительство предоставляет сыворотку в кредит, разумеется взимая при этом половину стоимости наличными. Если и на таких условиях сыворотка некоторым недоступна, им остается прибегнуть к процветающему здесь черному рынку, кото-

рому добросердое правительство снисходительно позволяет процветать, к пушей радости народа и отдельных полковников. В конце концов, что значит нищета, когда известно, что у каждого есть свои золотые рыбки и что не за горами день, когда подрастающее поколение в свою очередь обзаведется ими, и будут праздники, и будут песни, и будут танцы!

## ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Пробуждение сеньоры де Синамомо не из веселых: всунув ноги в пантуфли, она убеждается, что они у нее полны улиток. Вооружившись молотком, сеньора де Синамомо добивается разбития улиток вдребезги, после чего пантуфли пригодны лишь для того, чтобы выбросить их в мусорный ящик. С этой целью она идет на кухню, где и пускается в беседу с горничной.

— С отъездом Ньяты дом теперь будет таким пустынным.

— Да, сеньора,— говорит горничная.

— Вчера вечером на станции было столпотворение. Все перроны были забиты народом. Ньята была так взволнована.

— Отправляется много поездов,— говорит горничная.

— Верно, дочурка. Железная дорога идет во все места.

— Что и говорить, прогресс,— говорит горничная.

— Расписание точнехонькое. Поезд отправлялся в восемь одну и тронулся как в аптеке, а ведь он полный.

— Так и должно,— говорит горничная.

— Видела бы ты купе, доставшееся Ньяте! Все в позолоченных полосках.

— Видать, первый класс,— говорит горничная.

— С одной стороны вроде балкона из прозрачного пластика.

— Ух ты,— говорит горничная.

— Ехало всего три пассажира, места у них были зарезервированы, над каждым — дивная табличка. Ньяте досталось место у окошка возле позолоченных полосок.

— Надо же,— говорит горничная.

— Она была так довольна. Могла наклоняться и поливать с балкона растения.

— Какие растения?— спрашивает горничная.

— Которые между путями растут. Просишь стакан во-

ды и поливаешь. Нятя тут же попросила.

— И принесли?— спрашивает горничная.

— Нет,— печально говорит сеньора де Синамомо, выбрасывая в мусорный ящик пантуфли, полные мертвых улиток.

## ПЛАВАНИЕ В БАССЕЙНЕ С ГОФИЕМ

Профессор Хосе Мигелетес изобрел в 1964 году бассейн с гофием, (I) не поддержал в начале значительное техническое усовершенствование, привнесенное профессором Мигелетесом в искусство плавания. Однако результаты в этой области не замедлили сказаться, когда на Экологических играх в Багдаде японский чемпион Акиро Тешума побил мировой рекорд, проплыв пять метров за одну минуту четыре секунды.

В интервью потрясенным журналистам Тешума отметил, что плавание в гофии намного превосходит плавание в H<sub>2</sub>O. Во-первых, не чувствуется сила тяжести, более того, для погружения тела в мягкую мучнистую перину необходимо определенное усилие — таким образом, начальный нырок в основном заключается в скольжении по гофию, и кто поднаторел в этом, уже на старте выигрывает

---

(I) который, к сведению тех, кому это неизвестно, всего лишь тонко смолотая гороховая мука,— будучи смешанной с сахарной пудрой, она была любимым лакомством аргентинских ребят времен моего детства. Некоторые считают, что гофий производится из кукурузной муки, но на этом настаивает лишь словарь испанской академии, а в этом случае — сами понимаете. Гофий представляет собой коричневатый порошок, упакованный в бумажные мешочки, содержимое которых дети отправляют в рот, в результате чего дело часто оканчивается удушьем. Когда я учился в четвертом классе в Банфилде (Южная Железная дорога), мы в часы досуга употребляли столько гофия, что из тридцати учеников лишь двадцать два окончили школу. Перепуганные насмерть учительницы советовали нам перед заглатыванием гофия набирать воздух в легкие, но попробуйте сладить с детьми. Ознакомившись с изложением достоинств и недостатков столь питательной субстанции, читатель может подняться в верхнюю часть страницы и узнать, что никто

у своих напыжившихся соперников несколько сантиметров. После этой фазы плавательные движения основываются на традиционной технике ложкой по каше, в то время как ноги производят вращение велосипедного типа, а лучше сказать, повторяют стиль почтенных колесных пароходов, которые все еще курсируют по некоторым фильмам. А вот проблема, требующая безукоризненной отработки,— это, как все догадываются, проблема дыхания. Так как доказано, что плавание на спине не помогает продвижению в гофии, плавать приходится ртом вниз или чуть вбок, вследствие чего глаза, уши и рот тут же погружаются в более чем летучий слой, который лишь некоторые, самые богатые, клубы сдобривают сахарной пудрой. Средства против этого незначительного неудобства весьма просты: контактные линзы с соответственным силикатным слоем предохраняют от разъедающих свойств гофия, два резиновых катышка разрешают проблему ушей, для носа предусматриваются защитные клапаны, что же касается рта, каждый выкручивается как может, хотя, по подсчетам Токуо Medical Research Center, на протяжении дистанции в десять метров заглатывается лишь четыреста граммов гофия, что увеличивает выделение адреналина, метаболическую деятельность и мускульный тонус, особенно существенный в таком виде соревнований.

Спрошенный о причинах, по которым атлеты всех стран проявляют все большую склонность к плаванию в гофии, Тешума ответил, что многие тысячелетия ушли лишь на то, чтобы убедиться в монотонности неизменного ныряния в воду и выхода из оной совершенно мокрыми, что не внесло ощутимых изменений в спортивные результаты. Он дал понять, что мало-помалу на первое место выходит фантазия и что настала пора революционных преобразований в застарелых видах спорта, единственным стимулом которых является борьба за доли секунды, когда это достижимо, а достижимо это крайне редко. Он скромно признался, что не способен предложить нечто подобное для футбола или тенниса, хотя косвенно и высказался за новый подход к спорту и рассказал о стеклянном мяче, использованном во время баскетбольной встречи в Наге, который непредвиденно, хотя это и предвиделось, разбился, что побудило виновную команду сделать харакири. Всего можно ожидать от японской культуры, особенно когда она подражает мексиканской, но не будем отрывать-ся от Запада и от гофия — последний начал котироваться

очень высоко, к вящей радости стран-производителей, поголовно принадлежащих к «третьему миру». Смерть от удушья семи австралийских детей, решивших заняться прыжками в новом бассейне в Канберре, показывает, однако, пределы использования этого интересного продукта, которым не следует злоупотреблять непрофессионалам.

## СМЕХ СМЕХОМ, А НЕ СТАЛО ШЕСТЕРЫХ

Чуть за пятьдесят — все мы мало-помалу начинаем умирать с другими умершими. Великие маги-волшебники нашей молодости один за другим покидают этот мир. Мы уже и не думали о них, они остались где-то там, в истории, «other voices, other rooms»<sup>1</sup> привлекли наше внимание. Конечно, и там они остались лишь в виде картин, на которые глядят не так, как прежде, в виде стихов, которые лишь слабо благоухают в памяти.

И вот (у каждого свои любимые тени, свои великие посредники) настает день, когда первый из них так страшно заполняет собой газеты и радиопередачи. Возможно, мы не сразу поймем, что в этот день началось и наше умирание — я-то догадался об этом в тот вечер, когда в разгар ужина кто-то вскользь упомянул о сообщении по телевидению: в Мийи-ля-Форе только что скончался Жан Кокто, — словно частица меня самого упала на скатерть под ничего не значащие реплики.

А там и другие, всегда одинаково — по радио или из газет: Луи Армстронг, Пабло Пикассо, Стравинский, Дюк Эллингтон, а вчера вечером, когда я кашлял в гаванской больнице, — вчера вечером голос друга принес мне в постель сообщение извне: Чарли Чаплин! Нет сомнения, я выйду из этой больницы здоровым, но раз в шесть чуть менее живым.

## ЗАКАТОЛОВ

Будь я киношником, я бы занялся охотой на закаты. Все до мелочей продумано, за исключением средств, необходимых для сафари, — закаты ведь не позволяют отлавливать себя просто так, то есть иногда, поначалу, всех

---

<sup>1</sup> «Иные голоса — иные комнаты» (англ.).

дел — с гулькин нос, а когда уже махнул было рукой — все перья наружу, или наоборот — сперва сплошное хроматическое расточительство, и вдруг остается один намыленный попугай, и в обоих случаях предполагаются кинокамера с хорошей цветной пленкой, путевые расходы, заблаговременно устроенный ночлег, наблюдения за небом и выбор наиболее подходящего горизонта — вещи куда как не дешевые. И все же думаю: будь я киношником, я бы на все пошел, лишь бы охотиться на закаты, вернее, отловить один-единственный закат — ведь прежде, чем окончательно остановишься на каком-нибудь закате, надо снять их штук сорок или пятьдесят, потому что, будь я киношником, я был бы к ним столь же требовательным, как к слову, женщине или геополитике.

Но все не так просто, и я лишь тешу себя фантазиями об уже пойманном закате, спящем на своей длиннющей спирали в плоской банке. В мои планы входит не только сама охота, но и возвращение закатов ближним, которые почти о них забыли, — я подразумеваю горожан, видящих заходящее солнце, если они его видят, где-нибудь за зданием почты, учреждением напротив или в подгоризонте телеантенн и уличных фонарей. Фильм был бы немым или со звуковой дорожкой, на которой были бы синхронно записанные шумы — скажем, лай собаки или жужжание слепней, а если повезет — овечий бубенчик или удар волны в случае заката морского.

По опыту и наручным часам я знаю, что хороший закат может продержаться минут двадцать от климакса до антиклимакса, каковые я исключил бы, оставив лишь само медленное внутреннее развитие, этот калейдоскоп едва уловимых мутаций, — таким образом и получился бы фильм из числа фильмов, называемых документальными, которые идут перед Брижит Бардо, когда люди располагаются поудобнее и глядят на экран, словно они еще в автобусе или метро. Моя лента сопровождалась бы текстом (а может быть, и голосом за кадром) — скажем, таким: «То, что вы сейчас увидите, является закатом от 7 июня 1976 года, снятым без перерыва, со штатива, в месте X, на пленку M, в течение Z минут. Уведомляем публику, что, помимо заката, ничего больше не произойдет, ввиду чего советуем чувствовать себя как дома и делать что бог на душу положит — например, глядеть на закат, повернуться к нему спиной, разговаривать с соседями, прогуливаться и т. д. Сожалеем, что не можем



посоветовать закурить — в час заката это особенно приятно, — но средневековое состояние кинозалов, как известно, вынуждает воспретить эту дивную привычку. В то же время не будет чиниться никаких препятствий к доброму глотку из карманной фляжки, которую вы можете приобрести у прокатчиков фильма в фойе».

Трудно предсказать судьбу моей ленты: люди идут в кино, чтобы забыться, а закат влечет как раз к обратному — в эту пору мы сами у себя как бы на ладони, по крайней мере так оно со мной, что приводит к полезным угрызениям совести, только не знаешь, воспользуются ли этим другие.

## **ЛУКАС — ЕГО НАБЛЮДЕНИЯ НАД ОБЩЕСТВОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

Так как у прогресса ни-конца-ни-краю, в Испании стали продавать пакеты с тридцатью двумя спичечными коробками, на каждом из которых воспроизведено по фигуре из полного шахматного комплекта.

Тут же один смекалистый сеньор выбросил в продажу набор шахмат, каждая из тридцати двух фигур которого может служить кофейной чашечкой. Почти одновременно Базар Два Света выпустил в продажу кофейные чашки, которые предоставляют относительно мягкотелым дамам большой выбор достаточно твердых бюстгальтеров, после чего Ив Сен-Лоран незамедлительно скумекал лифчик, позволяющий подавать два яйца всмятку этим довольно возбуждающим воображение способом.

Жаль, что до сих пор никто не нашел дополнительного применения яйцам всмятку — это и обескураживает тех, кто кушает их, испуская тяжелые вздохи, — так рвется цепь радостных превращений, которая остается простой цепочкой, к слову сказать, довольно-таки дорогой.

## **ЛУКАС — ЕГО ДРУЗЬЯ**

Их реестр огромен и разнообразен, но поди пойми, почему сейчас ему взбрело на ум думать исключительно о Седронах, а думать о Седронах — значит думать о стольких вещах, что не знаешь, с чего начать. Единственная выгода для Лукаса заключается в том, что он знает не

всех Седронов, а лишь троих, но кто ведает, в конце концов, выгода ли это. Похоже, что количество братьев сводится к скромной цифре шесть или девять; как бы там ни было, он-то знаком с тремя, и — держись крепче, Каталина, сейчас поскачем.

Эти трое Седронов состоят из музыканта Таты (по метрике он Хуан, хотя — попутно: не глупо ли связывать рождение с системой стихосложения?), из киношника Хорхе и из художника Альберто. Общаться с каждым из них порознь — дело уже серьезное, но, когда они все в куче и приглашают тебя на пироги, тут уж они, ни дать ни взять, смерть в трех томах.

Представь: ты приходишь на одну из парижских улиц и слышишь доносящийся с верхнего этажа кузнечный шум, и, если тебе попадется по дороге один из соседей, ты увидишь на его лице характерную трупную бледность существа, присутствующего при событии, далеко превосходящем мерки этого строгого и обморочного народа. Нет ни малейшей необходимости выяснять, на каком именно этаже обретаются Седроны, — грохот приводит тебя к двери, которая не столь похожа на дверь, как другие, и, помимо этого, производит впечатление раскаленной докрасна от того, что творится за ней, а потому не следует стучать очень часто, ибо у тебя могут обуглиться костяшки. В общем-то, эта дверь всегда лишь прикрыта, так как Седроны то и дело выбегают и вбегают, да и к тому же — для чего закрывать дверь, если через нее хорошо тянет на лестницу?

То, что происходит внутри, не поддается сколь-нибудь связному описанию: едва ты переступил порог, тут же обнаруживается крошка, которая хватает тебя за колени и замусливает полы твоего плаща слюной, а малыш, поднявшийся на библиотечную антресоль, плюхается тебе на загривок, словно камикадзе, так что, если у тебя и была экзотическая идея заявиться с бутылкой красненького, от нее мгновенно остается броская лужа на ковре. Естественно, это мало кого волнует, потому что тут же из разных комнат выбегают жены Седронов, и пока одна из них стаскивает повисших на тебе сорванцов, другие вытирают злосчастное бургундское тряпками, которые, по всей видимости, можно отнести к эпохе Крестовых походов. Для полноты картины появляется Хорхе и подробно пересказывает две-три новеллы, которые собирается экранизировать, Альберто удерживает двух мальчишек, во-

оруженных луком и стрелами и, что намного неприятней, отменной меткостью, а тут и Тата показывается из кухни в переднике — последний был когда-то белым и теперь величественно завязан под мышками, придавая Тате поразительное сходство с Марком Антонием или типами, которые паразитируют в Лувре либо работают статуями в парках. Первейшая новость, одновременно объявленная десятью-двенадцатью голосами, заключается в том, что в производстве пирогов заняты жена Таты и Тата himself<sup>1</sup> и что рецепт значительно усовершенствован Альберто, который высказывает мнение, что оставлять Тату и его жену одних на кухне — значит способствовать ужаснейшему из катаклизмов. Что касается Хорхе, то он вовсе не самоустранялся от того, что грядет, ибо ответствен за щедрые порции вина, тут вся компания, завершив предварительную толкотню, расслаживается на кровати, на полу и вообще всюду, где нет рыдающих или писающих карапузов, которые делают это где-то поблизости.

Вечер в компании Седронов и их самоотверженных жен (я говорю «самоотверженных», потому что, будь я женой, да к тому же одного из Седронов, я давно бы хлебным ножом положил добровольный конец своим страданиям, но они не только не страдают, но сами еще почище Седронов, и это меня радует — хорошо, если бы кто-то время от времени заколачивал в них гвоздь, а уж жены, я полагаю, заколачивают без передышки), — вечер в компании Седронов — своего рода южноамериканская квинтэссенция, и здесь становится понятным и логичным то остолбенелое восхищение, с которым европейцы знакомятся с музыкой, литературой, живописью и кино (или театром) нашего континента. Сейчас, думая об этом, я вспоминаю рассказ ребят из группы «Килапайун», столь же сумасшедших хронопов, как Седроны, но еще и музыкантов, а не известно, лучше это или хуже. Во время гастролей в Германии (Восточной, но, думается, для данного примера это не имеет значения) ребята из «Килапайуна» решили жарить мясо по-чилийски на открытом воздухе и, к своему удивлению, узнали, что в этой стране нельзя заладить пикник в лесу без разрешения властей. Добиться разрешения, отметим это, было нетрудно, и в полиции отнеслись к нему столь серьезно, что к моменту, когда запалили костер и расположили

---

<sup>1</sup> Собственной персоной (англ.).

мясо бедных животных на соответствующих решетках, появилась машина пожарной части — эта часть рассыпалась по лесной окрестности и в течение пяти часов следила за тем, чтобы огонь не распространился на почитаемые вагнеровские ели и другую преобладающую в тевтонских лесах растительность. Если память мне не изменяет, некоторые из этих пожарных под конец не уронили чести своей корпорации и плотно закусили, так что день этот был ознаменован не столь уж частым содружеством форменной и штатской одежды. Конечно, пожарная форма не такая сукина дочь, как все остальные формы, и в тот день, когда с помощью миллионов килапайунов и седронов мы отправим на свалку все южноамериканские униформы, мы оставим лишь пожарную, а может быть, придумаем для них фасон поинтереснее, чтобы им было веселее тушить пожары и спасать несчастных опозоренных девчонок, которые решились броситься в реку за неимением лучшего.

Между тем пироги улечиваются со скоростью, достойной едоков, поглядывающих друг на друга со звериной ненавистью, потому что этот — семь, а другой только пять, и вот у кого-то в руках блюдо замирает, а какой-то идиот предлагает кофе, как будто это продукт питания. Наименее заинтересованными кажутся детишки, количество которых так и останется для Лукаса загадкой, потому что, едва один исчезнет за кроватью или в коридоре, два других сваливаются со шкафа или соскальзывают по какому-нибудь шлангу, шлепнувшись как раз посредине блюда с пирогами. Детвора выказывает деланное пренебрежение к достолавному аргентинскому яству, давая понять, что каждого мать предусмотрительно накормила полчаса назад, но, если учесть скорость исчезновения пирогов, придется признать, что последние являются важным элементом в контактах детского организма и окружающей среды, и, если бы царь Ирод побывал здесь этим вечером, нам пропел бы другой петух — Лукас вместо двенадцати пирогов мог бы съесть семнадцать, естественно, с интервалами, необходимыми для того, чтобы спосылать в погребок за парой литров вина, которое, как известно, осаживает протеин.

Поверх, снизу и меж пирогов царит ор, в котором можно различить высказывания, вопросы, протесты, хохот, всеобщее проявление радости и нежных чувств, по сравнению со всем этим военный совет индейцев-техуэльче

или мапуче показался бы бдением у гроба профессора права с проспекта Кинтаны. Время от времени доносятся удары в потолок, в пол и в две смежные стены, и почти всегда именно Тата (ответственный съемщик) сообщает, что это просто соседи, так что нет совершенно никаких оснований беспокоиться. Никого нисколько не смущает, что уже час ночи, а потом и полтретьего, когда мы спускаемся с лестницы вчетвером, распевая: *на каждом углу ждет кафешка с милонгой*. Было достаточно времени, чтобы разрешить большинство проблем нашей планеты, мы договорились взяться за тех, кто того стоит, и уточнили как, записные книжки наполнились телефонами и адресами, названиями кафе и других заведений, а завтра Седроны разлетятся: Альберто возвращается в Рим, Тата выезжает со своим квартетом в Пуатье, а Хорхе — черт его знает куда, но с неизменным экспонетром в руке, — ищи-свищи его потом. Нелишне добавить, что Лукас возвращается домой с ощущением, будто у него на плечах тыква, полная слепней, типа «Боинг-707», и несколько соло с наложениями Макса Роача. Но что такое похмелье по сравнению с чем-то горяченьким, на чем он лежит, похожим на пирог, а выше нечто погорячее — сердце, которое выстукивает: вот суки, вот суки, ну и суки, какие суки, сдохла бы сука, которая их родила.

## ЛУКАС — ЕГО ПОДАРКИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Купить торт в кондитерской «Два китайца» было бы слишком просто, Глэдис догадалась бы, хотя она и чуть близорука, и Лукас считает вполне оправданным потратить полдня, чтобы самому изготовить подарок для той, которая заслуживает не только этого, но и гораздо большего, а уж это-то во всяком случае. С самого утра он носится по кварталу, покупая наилучшую муку и тростниковый сахар, после чего внимательнейшим образом перечитывает рецепт торта «Пять звезд», шедевр доньи Гертруды, матери всех добрых застолий, и вскоре кухня его квартиры превращается в подобие лаборатории доктора Мабузе. Друзья, забегающие к нему, чтобы перебраться скачечными прогнозами, незамедлительно уходят, почувствовав первые признаки удушья: Лукас просеивает, процеживает, взбалтывает и распудривает различные тонкие ингредиенты с таким усердием, что воздуху уже трудно

справиться со своими прямыми обязанностями.

Лукас — мастер своего дела, к тому же торт не для кого-нибудь, а для Глэдис, значит, он будет слоеный (не легко сделать хорошее слоеное тесто), между слоями — изысканные конфитюры, чешуйки венесуэльского миндаля, тертый кокосовый орех, даже и не тертый, а размолотый в обсидиановой ступке на атомы, снаружи украшен наподобие картин Рауля Солъди, но с выкрутасами, в значительной степени вдохновленными Джэксоном Поллоком; нетронутым останется только место, отведенное под надпись «ЛИШЬ ДЛЯ ТЕБЯ», чей ошеломляющий рельеф лучше инкрустировать вишенками и мандариновыми корочками в сиропе, — и все это Лукас выписывает шрифтом «баскервиль», четырнадцатого кегля, что придает надписи почти возвышенный характер.

Нести торт «Пять звезд» на подносе или блюде Лукас считает пошлостью, достойной банкета в «Жокей-клубе», и он осторожно помещает его на белый картонный круг чуть больше торта. Незадолго до торжества он надевает костюм в полоску и появляется в переполненной гостями прихожей, неся круг с тортом в правой руке — что уже само по себе подвиг, — а левой дружески отстраняет зачарованных родственников и более чем четверых просочившихся чужаков — все они клянутся, что скорее тут же и умрут геройской смертью, нежели откажутся от дегустации блистательного дара. Вот почему за спиной Лукаса образуется что-то вроде кортежа, в котором то и дело раздаются крики, аплодисменты и звуки сглатываемой слюны, а появление всех в гостиной очень напоминает провинциальную постановку «Аиды». Понимая всю торжественность момента, родители Глэдис складывают руки в довольно банальном, но вполне уместном жесте, и гости прерывают беседу, сразу утратившую всякий интерес, дабы пробиться поближе к тарту со всеми зубами наружу и глазами, обращенными к небесам. Счастливый, удовлетворенный, чувствуя, что долгие часы труда завершаются почти апофеозом, Лукас решается на финальное действие в этом Великом Предприятии: его рука, взмывшая в жесте дароносца, довольно рискованно описывает кривую перед страждущими взорами публики и швыряет торт прямо в лицо Глэдис. Все это занимает приблизительно столько же времени, сколько необходимо Лукасу для ознакомления с текстурой брусчатки, что сопровождается ливнем пинков, весьма напоминающим потоп.

## ЛУКАС — ЕГО ДИСКУССИИ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

Начало почти всегда одинаковое: впечатляющее внутрипартийное соглашение по множеству вопросов при большом взаимном доверии, но в какой-то момент нелитературные члены, любезно обратившись к членам литературным, в тридесятый раз поставят перед ними вопрос о направленности, о понятности для наибольшего числа читателей (или слушателей, или зрителей, но в основном — о да! — читателей).

В подобных случаях Лукас склонен отмалчиваться, ибо его книжонки уже высказались за него, но порою на него все же более или менее дружески насаждают (что и говорить — нет дружественнее тумака, чем от лучшего дружка), Лукас делает кислое лицо и выдавливает из себя, скажем, такое:

— Друзья, вопрос подобный никогда не стал бы ставить, я вас уверяю, писатель, твердо верящий в свое предназначенье носовой скульптуры, летящей с носом корабля вперед, наперекор ветрам и соли. Точка.

А ставить он его не стал бы, ибо писатель { поэт,  
                  { рассказчик  
                  { и бытописатель,  
то бишь мечтатель, выдумщик, художник, оракул, мифотворец и т. п., своей первейшею задачей ставит язык как средство, чье посредство нас связует постоянно со средой.

Короче, на два тома с приложением, — вы недвусмысленно хотите, чтобы писатель { поэт,  
                  { рассказчик  
                  { и бытописатель,  
отверг идею продвигаться с носом, чтоб hic et nunc<sup>1</sup> (переведите, Лопес!)

<sup>1</sup> Здесь и сейчас (лат.).

застыл и паче чаянья не вышел  
за семантические и к тому же  
за синтаксические и, конечно,  
за познавательные и притом  
параметрические рамки смысла,  
понятного обычным людям. Хм.

Иначе говоря, чтоб воздержался  
от поиска того, что за пределом  
отысканного, или чтоб искал,  
подыскивая тут же объяснение  
искомому, чтоб сысканное стало  
подробно завершенным изысканьем.

На это предложенье  
ответу я, друзья:  
как можно — быть в движенье,  
все время тормозя? (А вышло лихо!)

Научные законы отвергают  
возможность столь двояких побуждений,  
скажу еще прямее: нет пределов  
воображению, как нет пределов  
глаголу! Закадычные враги —  
язык и выдумка! От их борьбы  
рождается на свет литература,—  
диалектическая встреча Музы  
с Писцом, неизреченного — со словом.  
Не хочет слово быть произнесенным,  
пока ему мы шею не свернем,  
так Муза примиряется с Писцом  
в редчайший миг, который мы зовем  
Вальехо или, скажем, Маяковский.

Устанавливается довольно пещерное молчание.

— Допустим,— говорит кто-то,— но перед лицом исторической конъюнктуры каждый писатель и художник, если только он не законченный башне-слоново-костист, должен, более того — обязан канализировать свою направленность в сторону наибольшего удобопонимания.— Аплодисменты.

— Я и раньше догадывался,— скромненько замечает Лукас,— что подобных писателей подавляющее большинство, именно поэтому меня и удивляет столь упорное стремление довести большинство подавляющее до абсолютного! Что вы рас-так-так всего боитесь?! Ведь только



обиженных и подозрительных может раздражать опыт, прямо скажем, передовой и посему трудный (трудный в первую голову для самого писателя и лишь во вторую голову для читающей публики, и это я подчеркиваю особо), — разве не очевидно, что только немногие могут развить подобный опыт? Не свидетельствует ли это, понимаете, что некоторые слои считают то, что не сразу ясно, преступно темным? Не кроется ли здесь тайное, а подчас и низменное побуждение уравнивать шкалу ценностей, чтобы кое-кто мог хоть как-то удержаться на плаву?

— Есть только один ответ, — говорит кто-то, — вот он: ясность трудно достижима, в силу чего темное становится стратегией, чтобы под видом трудного протащить легкое. — Запоздалые овации.

— Мы можем спорить с вами много лет, — хрипит Лукас, —

но камнем преткновенья будет снова  
и снова сложная проблема слова.

(Кивки.) Никто не вступит, — лишь Поэт,  
и то порой, — на белую арену  
бумаги, над которой вьется дым  
неведомых законов, да, законов  
капризного соитья смысла с ритмом,  
когда внезапно посреди рассказа  
или строфы всплывает Атлантида.  
От этого защиты нет, поскольку  
об этом знанье нет у нас познаний,  
фатальность эта позволяет нам  
плыть под водой действительности и,  
взнуздав какое-либо междометье,  
нащупать ритм, открыть сто островов, —  
пираты ремингтонов (или перьев),  
вперед на штурм глаголов и наречий,  
пусть по лицу крылом нас подлежаще  
бьет существительное-альбатрос!

Или, говоря проще, — заключает Лукас, сытый по горло,  
как и его товарищи, — предлагаю, ну, скажем, пакт.

— Никаких сделок! — ревет без которого в этих случаях не обходится.

— Просто пакт. Для вас *primum vivere, deinde filosofare*<sup>1</sup> подсознательно ассоциируется с «*vivere*» в прошед-

---

<sup>1</sup> Сначала жизнь, потом философия (лат.).

шем времени, в чем нет ничего плохого и что, пожалуй, дает единственную возможность взрыхлить почву для философии, творчества и поэзии во времени будущем. И я надеюсь упразднить удручающее нас разногласие пактом, смысл которого в том, что вы и мы одновременно откажемся от наших наиболее впечатляющих достижений, дабы общение с ближним достигло своего максимального объема. Мы откажемся от словотворчества на самом сверхзвуковом и разреженном уровне, а вы — от науки и технологии в их соответственно сверхзвуковых и разреженных формах, то есть от компьютеров и реактивных самолетов. Если вы препятствуете нашему поэтическому наступлению, с какой стати вы должны лакомиться от пуза научным прогрессом?!

— А вот это уж дудки,— говорит который в очках.

— Естественно,— язвит Лукас,— смешно было бы ждать иного ответа. А уступить все-таки придется. Итак, мы будем писать проще (это только так говорится, потому что мы проще не можем), а вы упраздните телевидение (чего вы тоже не можете). Мы двинемся в направлении прямой коммуникабельности, а вы откажетесь от автомобилей и тракторов — картошку вы и с лопатой сможете сажать. Представляете, что будет означать это двойное возвращение к простоте, к тому, что будет понятно сразу всем, к единению с природой без посредников?!

— Предлагаю предварительно-немедленную дефенестрацию единодушия,— говорит которого перекосило усмешкой.

— А я голосую против,— говорит Лукас, вертя бокал с пивом, которое всегда в подобных случаях поспекает вовремя.

## ЛУКАС — ЕГО БОЛЬНИЦЫ (II)

Головокружение, внезапная нереальность. Вот когда другая, незамечаемая, потаенная реальность плюхается жабой на твое лицо где-нибудь посреди улицы (какой именно?) августовским утром в Марселе. Не части, Лукас, давай по порядку, ведь нужна хоть какая-то связность. Само собой. Связность. Ладно, по рукам, но попробуем сделать это, ухватив нитку за конец, иначе не распутать клубка,— известно, что в больницу обычно попадаешь в качестве больного, а еще в качестве сопровождающего,

так оно и вышло с тобой три дня назад, точнее, позавчера перед рассветом, когда карета «скорой помощи» повезла Сандру и тебя с нею, тебя, который держал ее руку в своей, который стал свидетелем ее приступа, ее бреда и которому только и хватило времени, чтобы сунуть в сумку несколько по ошибке взятых или бесполезных вещей, тебя, легко одетого, как и подобает в августе в Провансе,— штаны, рубашка и сандалии, тебя, потратившего битый час на поиск больницы, на вызов «скорой», на артачившуюся Сандру и врача, сделавшего успокоительный укол, а там друзья из гостеприимного селеньица среди холмов помогли санитарам задвинуть носилки с Сандрой в карету, быстрый утренний туалет, несколько телефонных звонков, добрые напутствия, белые створки задней двери захлопнулись, оставив вас в капсуле, если не в склепе, и вот Sandra тихо бредит на носилках, а ты рядом подпрыгиваешь при толчках, потому что карета, прежде чем достигнет шоссе, должна съехать по усыпанной камнями дорожке, темнота, и ты рядом с Сандрой и двумя санитарями, а потом свет, на этот раз больничный, трубки и пузырьки и запах «скорой», которая в предрассветной мгле среди холмов искала наикратчайший путь к шоссе, пыхла, словно выбившись из сил, а после во весь дух неслась, выпуская состоящий из двух нот вой, который столько раз слышишь и всегда с тем же спазмом в желудке и желанием не слышать.

Конечно, маршрут был тебе знаком, но Марсель огромен, больница на окраине, а две ночи без сна не помогают узнавать все повороты и проезды, карета «скорой»— белая коробочка без окошек, и в ней только Sandra, санитары и ты, целых два часа езды до ворот, регистрация, расписки, койка, дежурный врач, чек за карету «скорой», чаевые, все почти в приятном тумане, спасительной дремоте, Sandra уснула, и ты тоже можешь прилечь, медсестра принесла тебе раскладное кресло, которое одним своим видом дает понять, что сон в нем будет не горизонтальный и не вертикальный, а скорее по кривой траектории, с коликками в почках и с ногами на весу. Но Sandra спит, и, значит, все хорошо, Лукас выкуривает еще одну сигарету, и кресло кажется ему даже удобным, и вот так мы оказываемся в позавчерашнем рассвете, палата номер 303, большое окно с видом на далекие горы и слишком близкие паркинги, где рабочие неторопливо передвигаются среди труб, грузовиков и мусорных баков,— все это и помогает Сандре и Лукасу воспрянуть духом.

Все идет как нельзя лучше, ведь Сандре после сна полегчало, ее взгляд прояснел, она шутит с Лукасом, появляются врачи и профессор с медперсоналом, и происходит то, что должно происходить утром в больнице, надеешься тут же выйти и вернуться на холмы, к отдыху, кефиру и минеральной воде, а там — термометр в Сандрин задний проходик, кровяное давление, новые документы, которые надо подписать в канцелярии, и вот тогда-то Лукас, спустившись эти бумаги подписывать, на обратном пути сбивается с курса, не находя ни коридоров, ни лифтов, — вот тогда-то у него и возникает первое и пока еще слабое ощущение, что на лицо плюхнулась жаба, длится это лишь мгновение, потому что все прекрасно, Сандра лежит в постели и просит купить ей сигареты (хороший признак) и позвонить друзьям, пусть знают — все идет хорошо, и Сандра очень скоро вместе с Лукасом вернется на холмы, к покою, и Лукас отвечает: хорошо, милая, ну конечно, хотя знает: «очень скоро» будет совсем не скоро, ищет деньги, которые, к счастью, прихватил с собой, записывает телефоны, и тогда Сандра говорит, что у нее нет пасты (хороший признак) и полотенце — ведь во французские больницы надо являться со своим полотенцем и своим мылом, а иногда и со своим столовым прибором, — вот Лукас и составляет список гигиенических покупок, присовокупляя рубашку на смену для себя и еще пару трусов, а для Сандры ночную рубашку и туфли, потому что в карету «скорой» Сандру, само собой, выносили разутой — кто ночью станет думать о таких вещах после двух бессонных дней и ночей.

На этот раз Лукас с первой же попытки добирается до выхода, что не так уж и трудно — на лифте до первого этажа, там временный проход по дощатому настилу и просто по земляному покрытию (больницу модернизируют, и надо следовать по стрелкам, указующим проходы, хотя порой они их не указывают или указывают двояко), затем длинный переход, на этот раз взаправдашний, этакий королевский переход через бесконечные коридоры с конторами и канцеляриями по сторонам, различными кабинетами, в том числе рентгеновскими, мимо санитаров с носилками и с больными, а не то одних санитаров или одних больных, поворот налево, еще один коридор со всеми вышеперечисленными помещениями и еще разными, тесная галерея, выводящая на пересечение коридоров, и, наконец, последняя галерея, ведущая к выходу. Десять часов

утра, и немного сонный Лукас спрашивает у дежурной в «Справочном», где можно купить вещи из его списка, дежурная отвечает, что надо выйти из больницы через левый или правый выход, это безразлично, и дорога сама приведет к торговым центрам, разумеется, это не близко, так как больница огромна и может функционировать лишь на периферии города,— объяснение Лукас счел бы безукоризненным, если бы не был столь оглоушенным, столь не в своей тарелке, столь в другом контексте все еще длящегося пребывания на холмах,— и, стало быть, вот он шаркает в своих сандалиях и рубашке, которую он измял, когда ночью ворочался в предполагающем отдых кресле, сбивается с пути и выходит к одному из корпусов больницы, возвращается по внутренним проездам и наконец отыскивает выход — до этой поры пока все в норме, если не считать возникающего время от времени ощущения жабы на лице, но он цепко держится за воображаемый провод, провод, связывающий его с Сандрой, находящейся там, наверху, в этом невидимом уже корпусе, и ему приятно думать, что Сандре немного лучше, что он принесет ей рубашку, если найдет, и пасту, и туфли. Он бредет вниз по улице вдоль ограды больницы, которая навевает мысли об ограде кладбищенской, жара разогнала по домам всех, нет *никогошеньки*, только автомобили задевают его на ходу, так как улица очень узкая, без деревьев и тени, в зените солнце, столь воспетое поэтами и столь терзающее Лукаса, который чувствует некоторый упадок сил и одиночество, надеясь увидеть наконец супермаркет или, на худой конец, две-три лавчонки, но нет ни того, ни другого, еще полкилометра, поворот, и убеждаешься, что мамона не испарилась — сперва завиднелась заправочная станция, а это уже кое-что, лавка (запертая) и чуть ниже — супермаркет со снующими туда-сюда старухами, обвешанными корзинками, автомобильчики и переполненные стоянки. И вот Лукас блуждает по различным секциям, находит мыло и пасту, но не находит всего остального, нельзя вернуться к Сандре без полотенца и ночной рубашки, он беседует с кассиршей, которая советует пойти направо, потом налево (не совсем налево, а как бы) по улице Мишле, где находится супермаркет, торгующий полотенцами и всем таким. Все как в дурном сне, Лукас валится от усталости с ног, стоит ужасающая жара, поблизости ни одного такси, и каждое новое разъяснение все больше удаляет его от больницы. «Мы победим!» — бормочет про

себя Лукас, обтирая лицо рукой, и вправду все как в дурном сне, бедная лапочка Сандра, и все же мы победим, вот увидишь, у тебя будут полотенце, и ночная рубашка, и туфли, черт бы их побрал!

Два-три раза он останавливался, чтобы отереть лицо, пот какой-то неестественный, он чувствует подобие страха, жуткую бесприютность посреди (или на окраине) густонаселенного города, второго во Франции, и опять — словно бы жаба плюхнулась промеж глаз, и он уже не знает, где находится (в Марселе, конечно, но где, и это «где» тоже ведь не то место, где он находится), все становится каким-то смешным и нелепым, а взаправдашним — лишь полдень, и встречающая женщина говорит: а, вам супермаркет, так и идите, потом свернете направо, окажетесь на бульваре, прямо напротив будет Ле Корбюзье, а рядом супермаркет, а как же, ночные рубашки там есть, это точно, моя оттуда, не за что, так что запомните, сперва прямо, а после свернете.

Сандалии на ногах Лукаса словно огненные, штаны измяты, не говоря уже о трусах, которые словно под кожу ушли, сперва прямо, потом свернуть, и вдруг Cité Radieuse <sup>1</sup>, а потом еще раз, и Лукас видит бульвар с деревьями и через дорогу — знаменитое здание Ле Корбюзье, которое он посетил двадцать лет тому назад, путешествуя по югу, но тогда за блистательным зданием не было никакого супермаркета, а за плечами Лукаса — этих двадцати лет. Но это и не важно, ибо блистательное здание также обшарпано и малоблистательно, как в тот раз, когда он увидел его впервые. И совсем не важно, что он тащится сейчас под брюхом этого огромного животного из бетона, приближаясь к ночным рубашкам и полотенцам. И все же это происходит именно здесь — именно в этом месте, единственно знакомом Лукасу на марсельских окраинах, куда он неведомым образом попал, словно парашютист, выброшенный в два часа ночи на незнакомую территорию, на больницу-лабиринт, и вынужденный блуждать и блуждать, придерживаясь инструкций и безлюдных улиц, одинокий пешеход среди автомобилей, похожих на бесстрастные болиды, и здесь, под брюхом и бетонными лапами того, что ему только и знакомо и что он может узнать среди незнакомого, — именно здесь жаба взаправду плюхается ему на лицо, и вот головокружение, внезапная нереаль-

---

<sup>1</sup> Лучезарный город (франц.).

ность, и другая, незамечаемая, потаенная реальность на миг разверзается, как трещина в магме, которая повсюду вокруг него, — Лукас таращится, страдает, дрожит, принюхивается к правде — боже, заблудиться, обливаться потом, вдали от основ и опор, от знакомого и родного, от дома на холмах, от хлама в закромах, от милой рутины, более того, вдали от Сандры, которая где-то близко, но где — снова надо расспрашивать, как вернуться, и он никогда не найдет такси в этом враждебном районе, да и Сандра — не Сандра, а горестная зверушка на больничной койке, да-да, вот что такое Сандра, весь этот пот и эта скорбь — это и есть Сандра, которая маячит где-то неподалеку от его сомнений и рвоты, от последней реальности, вот уж чепуха — заблудиться с больной Сандрой в Марселе, вместо того чтобы быть счастливым с Сандрой в доме на холмах!..

Конечно, эта реальность продержится недолго, конечно, Лукас и Сандра выберутся из больницы, и Лукас забудет тот миг, когда он, одинокий и потерянный, постиг, что нелепо быть не одиноким и не потерянным, и все же, и все же... И вот он лениво (почувствовал себя лучше) начинает посмеиваться над этим ребячеством и вспоминает рассказ, прочитанный чуть ли не столетие назад, о фальшивом оркестре в одном из кинотеатров Буэнос-Айреса. Есть что-то общее между типом, который выдумал этот рассказ, и им — неведомо что, но есть, во всяком случае, Лукас пожимает плечами (он и впрямь делает это) и в конце концов находит ночную рубашку и туфли, жаль, правда, что нет удобной обуви для него — вещь небывалая для города в самый полдень.

## ЛУКАС — ЕГО ДОЛГИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Всему миру известно, что Земля отдалена от других систем тем или иным количеством световых лет. Но лишь немногие знают (в сущности, только я), что Маргариту отделяет от меня внушительное количество лет улитковых.

Сперва я думал, что имею дело с черепаховыми годами, но должен был отказаться от этой единицы измерения как от слишком оптимистической. При всей черепашьей медлительности я бы так или иначе добрался до Маргариты — совсем иное дело Ева, моя особо любимая улитка, не оставляющая мне в этом смысле ни малейшей надежды. Не помню уже, когда она начала свой путь, так незначи-

тельно отдаливший ее от моего левого башмака, после того как я с исключительным тщанием сориентировал ее по курсу, который мог привести ее к моей Маргарите. Окруженная свежим салатом-латуком, заботой и вниманием, она довольно обнадеживающе двинулась в дорогу, внушив мне надежду, что прежде, чем сосна вырастет выше крыши, серебристые рожки Евы попадут в поле Маргаритино-го зрения, растрогав ее этим милым знаком моего внимания, а я бы в это время радовался на расстоянии, представляя ее радость, волнение ее кос и рук при виде приближающейся улитки.

Возможно, все световые годы одной длины, с улитковыми не так, и Ева рискует совсем выйти из моего доверия. Не то чтобы она останавливалась — я имел возможность удостовериться по ее серебристому следу, что она движется, к тому же в правильном направлении, хотя ей приходится карабкаться и спускаться по бесчисленным стенам, а порой преодолевать целиком какую-нибудь фабрику по производству лапши. Но очень уж затруднительно для меня проверять ее похвальную точность: дважды я был задержан разъяренными сторожами, должен был несусветно лгать, поскольку правда стоила бы мне множества тумачков. Печальнее всего, что Маргарита в своем кресле, обитом розовым бархатом, ждет меня совсем с другой стороны города. Если бы, отвергнув услуги Евы, я вел счет на световые годы, у нас были бы уже внуки, но, когда любишь долго и нежно, когда растягиваешь удовольствие от ожидания, естественней всего выбрать годы улитковые. В конечном счете не просто решить, в чем преимущество, а в чем неудобство избранных нами решений.



## «МЫ ТАК ЛЮБИМ ГЛЕНДУ»

### МЫ ТАК ЛЮБИМ ГЛЕНДУ

Тогда, в то время, узнать это было трудно. Идешь в кино или в театр и приятно проводишь вечер, не думаешь о тех, кто делал это до тебя, выбираешь время и место, наряжаешься и названиваешь по телефону, и ряд одиннадцатый или пятый, мрак, музыка, земля ничейная и всем принадлежащая, там, где все — никто; мужчина или женщина в кресле партера, роняешь слова извинения, что опоздал, реплика вполголоса, на которую ты или отвечаешь, или пропускаешь мимо ушей, но обычно молчание, взоры, устремленные на огни рампы или на экран, отверженные от того, что рядом, по сю сторону. Поистине трудно было установить, пренебрегая популярностью, бесконечными очередями, критическими статьями и отзывами, что нас, любящих Гленду, так много.

Но прошло года три-четыре, и уже нельзя было с уверенностью утверждать, что кружок сформировался с легкой руки Ирасусты либо Дианы Риверо, они сами не знали, когда это свершилось, возможно, за рюмкой в компании друзей после киносеанса они говорили или умолчали о чем-то, что позволило вдруг создать союз, который позднее все назвали «ядром», а самые молодые окрестили «клубом». Клуба, конечно, никакого не было, просто мы любили Гленду Гарсон, и этого достаточно было, чтобы отмежеваться от тех, кто только восхищался ею. Нас не меньше этих других восхищала Гленда, боготворили мы также Анук Эме, Мэрилин, Анни Жирардо и Сильвану Пампанини, да и против Марчелло Мастрояни, Ива, Витторио и Дэрка мы ничего не имели, но превыше всего любили Гленду, и кружок сложился из этого, и

от этого было что-то известное только нам, и доверяли мы только тем, кто в неторопливой застольной беседе признавался наконец в любви к Гленде.

С почина Дианы или Ирасусты кружок медленно расширялся, в год «Снега в огне» нас было всего шесть-семь, но после премьеры «Как быть элегантной» кружок увеличился, он разросся до невыносимых размеров, и мы оказались под угрозой снобистского подражания либо сезонной чувствительности. Первыми заявили протест Ирасуста и Диана, потом еще двое-трое, и мы решили сомкнуть ряды, не допуская никого без экзамена, но не того экзамена, что маскируют виски и браваурной эрудицией (этими ночными испытаниями Буэнос-Айрес ничуть не уступает Лондону или Мехико). В час премьеры «Мимолетных возвращений» мы с невеселым торжеством оказались вынужденными признать, что нас, любящих Гленду, стало много. Конфликты в кино, косые взгляды после сеанса, растерянные лица женщин и мрачное молчание мужчин были красноречивей, нежели штандарт или пароль и отзыв. Нехитрые пружины свели нас в кафе в центре города, уединенные столики стали сближаться, возникла милая привычка заказывать один и тот же коктейль, чтобы отбросить ненужную подозрительность и прямо посмотреть в глаза друг другу, в глаза, где еще дышал последний образ Гленды в последнем кадре последнего фильма.

Двадцать или тридцать, мы так и не узнали в точности, ибо Гленду показывали то в одном зале, то одновременно еще в двух или в четырех, а потом точно грянул гром среди ясного неба: Гленда сыграла молодую убийцу в «Одержимых» и успех фильма прорвал плотины и породил случайных энтузиастов, чей пыл мы не разделяли. Уже тогда мы были знакомы, многие из нас ходили в гости друг к другу, дабы поговорить о Гленде. С самого начала, кажется, Ирасуста молча возглавил нас, хотя никогда не посягал на это, а Диана Риверо медленно вела шахматную партию приема и отторжения, обеспечивая нам полнейшую аутентичность и охраняя от вторжения разных придурков. То, что зародилось как свободный союз читателей, приобрело теперь структуру касты, клана, робкие расплывчатые вопросы первой поры сменились жесткими, требующими прямого ответа: эпизод с падением в «Как быть элегантной», заключительная реплика «Снега в огне», вторая эротическая сцена в «Мимолетных возвращениях». Мы так любили Гленду, что не могли терпеть назойливых

втируш, надоед лесбиянок, эрудитов от эстетики. И даже (мы так и не узнаем как именно) было решено ходить в кафе по пятницам, когда в центре идет фильм с Глендой, а потом, пока фильм демонстрируется вторым экраном в заштатных кинотеатрах, мы выжидали еще неделю, чтобы все успели посмотреть; все шло строго заведенным порядком, регламент не подлежал обсуждению, отступить от него значило вызвать презрительную улыбку Ирасусты или взгляд, мягкий, но грозный, каким Диана Риверо казнила отступников.

В те времена наши собрания целиком были посвящены Гленде, ее прекрасный образ жил в сердце каждого из нас, и мы ничего не желали знать про неудачи и первые тревожные предупреждения. Лишь понемногу, сначала с виноватым видом, кое-кто осмелился критиковать отдельные срывы, выказать растерянность либо недоумение по поводу менее удачного эпизода, шаблонных, избитых приемов. Мы знали, что Гленда не несет ответственности за просчеты, которые губили порой прозрачную ясность «Бича» или финал «Никто не знает почему». Мы знали все о других работах ее режиссеров, об интригах и сценариях и были к ним беспощадны, ибо начинали понимать, что наше чувство к Гленде не вмещается в рамки чисто артистические и что лишь она одна спасена от несовершенства, которым отмечены остальные. Диана первая заговорила о миссии, с той уклончивостью, с какой всегда говорила о вещах, для нее важных, притворяясь, будто они ей безразличны; она радовалась двойному виски и плотоядно усмехалась, когда мы окончательно признали — да, точно, нельзя остановиться только на кино, кафе и безмерной любви к Гленде.

Но и тогда мы не говорили прямо, мы не нуждались в этом. В счет шло лишь ощущение счастья от того, что Гленда в душе каждого из нас, счастье это могло быть рождено только совершенством. Ошибки, промахи вдруг стали нам невыносимы: мы не соглашались с концовкой в «Никто не знает почему», а в «Снеге» нас коробили гнусные кадры игры в покер (Гленда в этой сцене не участвовала, но все равно она марала Гленду как блевотина: нелепый жест Нэнси Филипс и недопустимое возвращение раскаявшегося сына). Разъяснить ожидающую нас миссию выпало на долю (почти как всегда) Ирасусте, и в тот вечер мы разошлись по домам словно раздавленные свалившейся на нас ответственностью и в то же время

предвкушая наслаждение незапятнанным будущим Гленды — без измен и неуклюжих поз.

Инстинктивно кружок сомкнул ряды, дело не допускало сомнительной многочисленности. Водворившись на вилле Ресифе де Лобос, Ирасуста заговорил о лаборатории. Мы распределили работу между теми, кто должен был завладеть всеми копиями «Мимолетных возвращений», на этой ленте мы остановились потому, что несовершенство ее было относительно невелико. О деньгах никто и не думал, Ирасуста когда-то был компаньоном Говарда Хьюза, в оловянных рудниках Пичинчи, — в высшей степени простой механизм давал нам в руки необходимую власть, связи, прибыль; специальных служб у нас не было, зато компьютер Хейгара Лосса запрограммировал задания и этапы работы. Спустя два месяца после предложения Дианы Риверо лаборатория смогла заменить в «Мимолетных возвращениях» слабый кадр с птицами другим кадром, который вновь придавал движениям Гленды точный ритм и подлинную драматичность. Лента была уже старая, и ее восстановление никого в международных кругах не удивило: память часто играет с нами шутки, навязывая собственные версии и пермутации, возможно, даже сама Гленда не заметила бы подмены. Зато заметит ведь, и мы заметим чудо полного совпадения с воспоминанием, отмытым от всех наслоений, точно соответствующим желаемому.

Дело шло успешно; как только мы убедились в надежности лаборатории, мы взялись за «Снег» и «Призму»; потом другие ленты вступили в процесс обновления в ритме, точно предусмотренном персоналом Хейгара Лосса и лаборатории. Труднее оказалось с лентой «Как быть элегантной», ибо жители нефтяных эмиратов хранили копии для личного пользования и пришлось проявить исключительную ловкость и изворотливость, дабы украсть их (ни к чему бояться этого слова), а потом водворить на место так, чтобы владельцы ничего не заметили. Лаборатория работала на уровне, который вначале казался нам недостижимым, хоть признаться в этом Ирасусте мы не смели. Любопытно: самым большим скептиком была Диана, но, когда Ирасуста показал нам подлинный конец в «Никто не знает почему» (Гленда, вместо того чтобы вернуться в дом Романо, направляет автомобиль на скалу) и он потряс нас своим блистательным, да, блистательным и неизбежным падением в стремнину, мы поняли, что совершенство возможно в нашем мире и что теперь

Гленда совершенна навеки, навеки совершенна для нас.

Самым трудным, конечно, было согласовать между собой новые кадры и купюры, изменения в монтаже и ритме: мы по-разному воспринимали Гленду, и отсюда проистекали ожесточенные стычки, которые разрешались только скрупулезным анализом, а порой и давлением большинства. Но хотя иные, потерпев поражение, смотрели новую версию с некоторой горечью — ведь она не вполне отвечала их мечтам,— никого, полагаю, не разочаровала проделанная работа: мы так любили Гленду, что конечный результат оправдывали чаще, чем можно было ожидать. Нас даже не встревожило письмо читателя «Таймс», которая, как известно, никогда не ошибается: читатель удивлялся, что три эпизода в «Снеге» следуют друг за другом не в том порядке, как раньше; не встревожила и статья критика «Опиньон», протестовавшего против купюры в «Призме», которую он отнес за счет ханжества бюрократов. Во всех подобных случаях принимались быстрые меры, дабы избежать нежелательных последствий; это было нетрудно, ведь люди легкомысленны, и забывают, и примиряются либо радуются новизне, охотятся за новинками; да, мир кино преходящ как историческая реальность, но не для тех, разумеется, кто так любит Гленду.

Опаснее были споры в кружке, угроза раскола либо рассеивания. Хоть мы чувствовали себя как нельзя более сплоченными единой миссией, однажды вечером раздался голоса аналитиков, зараженных политической философией; в разгар работы возникали моральные проблемы, ставились вопросы, не вступаем ли мы в галерею кривых зеркал, не впадаем ли в барочное безумие подобно резчикам по слоновой кости или на зернышке риса. Нелегко было повернуться спиной к подобным маловерам, ведь кружок мог выполнять свое дело, лишь как выполняет свое сердце или самолет, подчиняясь совершенному ритму. Нелегко было выслушивать нападки, обвинения в эскапизме и бессмысленной трате сил в наше время, когда сама действительность настойчиво требует их приложения. И тем не менее не было нужды решительно пресекать едва наметившуюся ересь, даже эти маловеры требовали лишь скромных уступок, частичных мелких исправлений — они так же, как и мы, любили Гленду; возобладало чувство, оно, несмотря на расхождения, этические либо исторические, всегда объединяло нас, как и твердая уве-

ренность, что совершенствование Гленды усовершенствует нас самих, усовершенствует весь мир. Мы верили даже, что будем щедро вознаграждены, когда некий философ, преодолев этот период эфемерных угрызений совести, восстановит равновесие, из его уст мы слышали, что всякое отдельно взятое деяние есть также история: великое открытие книгопечатания родилось из самого индивидуального и сугубо частного из желаний — желания повторить и увековечить имя женщины.

Итак, мы добрались до дня, когда у нас уже были доказательства, что образ Гленды появляется теперь на экране без малейшего искажения; ленты всего мира показывали ее такой, какой — мы были убеждены — она сама хотела бы быть на экране, и, может быть, в силу этого нас не слишком удивило сообщение прессы о том, что Гленда уходит со сцены и из кино. Невольный влад Гленды в наше дело не мог быть ни простым совпадением, ни чудом, просто что-то в ней невольно откликнулось на безвестную нашу любовь, из недр ее существа исторгся единственно возможный ответ, проявление страсти, заключившей нас в последние объятия, и только для профанов это было бы отсутствием. Мы пережили блаженство седьмого дня, последнего дня творенья, да, отдых после сотворения мира; теперь мы могли смотреть все шедевры Гленды, не опасаясь коварной угрозы, что в какое-то утро мы вновь столкнемся с ошибками и промахами; теперь мы собирались — невесомые, словно ангелы или птицы, — в абсолютном настоящем, которое даже было в чем-то сходно с вечностью.

Все это так, но некий поэт, родившийся под теми же небесами, что и Гленда, сказал, что вечность влюблена во временное и преходящее, узнать новость выпало Диане, и случилось это всего лишь через год. Так уж водится, и это в природе человека: Гленда сообщала о своем возвращении, приведя всегдашние избитые доводы о невозможности жить без игры в кино и на сцене, о роли, которая создана будто нарочно для нее, и вот она снова снимается. Никто не забудет тот вечер в кафе сразу же после просмотра «Как быть элегантно», возобновленного в центральных кинотеатрах. Едва ли была нужда в словах Ирасусты — у всех во рту был привкус несправедливости и бунта. Мы так любили Гленду, что наша обида на нее не распространялась, не виновата же она в самом деле, что она актриса и что она Гленда; чудовищной

была поломка отлаженного механизма, реальность цифр и престижа, всех этих «Оскаров», от которых наш с таким трудом обретенный рай дал опасную трещину. Когда Диана положила руку на плечо Ирасусты и сказала: «Да, это единственное, что нам остается», она говорила от имени всех, совещаться нам не было нужды. Никогда еще наш кружок не обладал такой ужасающей силой, никогда еще не требовалось так мало слов, чтобы пустить эту силу в ход. Мы расстались, с тяжелым сердцем переживая то, что свершится позднее, а когда именно — будет известно заранее только одному из нас. Мы были уверены, что не соберемся больше в кафе, каждый затаит в своем одиночестве совершенство нашего царства. Ирасуста, знали мы, совершит необходимое — что может быть проще для такого, как он. Мы даже не простились, как это вошло у нас в привычку, когда подразумевалось, что мы соберемся после «Мимолетных возвращений» или «Бича». Лучше было отвернуться, сослаться на поздний час, на то, что уже пора уходить; мы вышли поодиночке, желая забвения до тех пор, пока все не свершится, но мы знали, что его не будет, что в какое-то утро мы развернем газету и прочитаем известие, глупые слова, заученные профессиональные соболезнования. Мы никогда ни с кем об этом не заговорим, мы будем вежливо избегать друг друга в помещении и на улицах и молчать о совершенном, ибо для кружка это станет единственной возможностью сохранить себе верность. Мы так любили Гленду, что предложили ей последнее нерушимое совершенство. На недостижимой высоте, куда мы ее вознесли, мы уберем ее от падения, верующие в нее могут ее боготворить, не боясь позора: с креста не снимают живых.

## ЗАПИСИ В БЛОКНОТЕ

Об учете пассажиров — сейчас уместно вспомнить об этом — мы разговорились, когда речь зашла о неопределенности всякого бессистемного анализа. Хорхе Гарсиа Боуса сначала вспомнил метро в Монреале, а потом уже линию «Англо» в Буэнос-Айресе. Он, правда, не сказал, но я подозреваю — это как-то было связано со специальными исследованиями, которые проводила его фирма, если только она занималась учетом. Каким-то особым способом — по незнанию своему я могу охарактеризовать его

только так, хотя Гарсиа Боуса настаивал на его необыкновенной простоте,— было установлено точное количество пассажиров, в течение недели ежедневно пользующихся метро. Поскольку следовало узнать наплыв людей на разных станциях, а также число тех, кто ездит из конца в конец и между промежуточными станциями, учет производился с максимальной строгостью у каждого входа и выхода, от станции «Примера Хунта» до «Пласа де Майо»; в те времена — я говорю о сороковых годах — линия «Англо» еще не соединялась с сетью новых станций подземки, и это облегчало дело.

В понедельник намеченной недели общая цифра была самой большой; во вторник — приблизительно такой же; в среду результаты исследований были неожиданными: из вошедших в метро 113 987 человек на поверхность вышли 113 983. Здравый смысл подсказывал, что в расчетах произошла ошибка, поэтому ответственные за проведение операции объехали все места учета, выискивая возможные упущения. Старший инспектор Монтесано (сейчас у меня есть данные, о которых не знал Гарсиа Боуса,— я добыл их позже) самолично прибыл помочь сотрудникам, занимавшимся учетом. Обуреваемый сомнениями, он проехал подземку из конца в конец, а рабочие и машинисты поездов должны были при выходе предъявлять ему удостоверения. Все это заставляет меня думать, что старший инспектор Монтесано уже смутно догадывался о том, что хорошо известно теперь нам обоим. Нет необходимости добавлять, что никто не обнаружил мнимой ошибки, из-за которой предполагались (и одновременно исключались) четверо исчезнувших пассажиров.

В четверг все было в порядке: сто семь тысяч триста двадцать восемь жителей Буэнос-Айреса, как обычно, появились, готовые к временному погружению в подземелье. В пятницу (теперь, после принятых мер, считалось, что учет ведется безошибочно) число людей, вышедших из метро, превышало на единицу число вошедших. В субботу цифры совпали, и фирма посчитала свою задачу выполненной. Несоответствия же не были доведены до сведения общественности, так что, кроме старшего инспектора Монтесано и операторов счетных машин на «Пласа Онсе», мало кто знал о происшедшем. Полагаю, однако, что и эти немногие (кроме, я настаиваю, старшего инспектора) сочли за лучшее забыть о случившемся, как о простой ошибке в расчетах машины или оператора.



Произошло это в 1946 году, может быть, в начале 1947-го. Вскоре мне пришлось часто ездить по линии «Англо»; поскольку ехать было долго, я иногда вспоминал разговор с Гарсиа Боусой и, с иронией поглядывая на людей вокруг, которые либо сидели, либо, держась за кожаную ручку, мотались из стороны в сторону, словно бычьи туши на крюках, вот что открыл. Дважды на станции «Хосе Мариа Морена» мне вдруг пришла абсурдная мысль, что кое-кто в вагоне (сначала один мужчина, а потом две пожилые женщины) был не просто пассажиром, как остальные. Затем как-то в четверг вечером, на станции «Медрано» — я возвращался после матча, где победил Хасинто Льянес, — мне показалось, что девушка, дремавшая на скамейке платформы, здесь совсем не для того, чтобы дожидаться следующего поезда. Она, правда, вошла в тот же вагон, что и я, но только для того, чтобы выйти на «Рио-де-Жанейро» и остаться там — будто засомневалась в чем-то, или очень устала, или была раздражена.

Об этом я говорю сейчас, когда уже не осталось ничего невыясненного; так бывает, если случится кража: все вдруг вспоминают, что и в самом деле какие-то подозрительные молодые люди бродили по кварталу. И все же с самого начала что-то в этих фантазиях, которые я рассеянно сплетал, продолжало само собой развиваться, оставляя у меня привкус подозрения; поэтому в тот вечер, когда Гарсиа Боуса вскользь упомянул о любопытных результатах учета, одно соединилось с другим, и с удивлением, почти со страхом я понял, что картина начинает проясняться. Возможно, из тех, кто не имел к учету прямого отношения, я был первым, кто догадался.

Затем настал смутный период, когда за все растущим желанием подтвердить возникшие подозрения последовал ужин в «Пескадито», сблизивший меня с Монтесано, а потом осторожные и все более частые погружения в метро, которое я теперь воспринимал совсем по-иному, словно трудное, чужое дыхание или пульс, который почему-то перестал биться для города, а само метро стало не только одним из видов городского транспорта. Но прежде чем действительно погрузиться (я имею в виду не обычную поездку в метро, какую совершают все пассажиры), я долго размышлял и анализировал. На протяжении трех месяцев, когда я ездил 86-м трамваем, чтобы избежать и подтверждений, и обманчивых случайностей, меня удер-

живала на поверхности одна достойная внимания теория Луиса М. Бодиссона. Как-то полусутя я упомянул при нем о том, что рассказал мне Гарсиа Боуса, и как возможное объяснение случившемуся он выдвинул гипотезу некоей разновидности атомного распада, могущего произойти в местах большого скопления народа. Никто никогда не считал, сколько людей выходит со стадиона «Ривер Плейт» в воскресенье после матча, никто не сравнивал эту цифру с количеством купленных билетов. Стадо в пять тысяч буйволов, которое несется по узкому коридору, — кто знает, разве их выбежало столько же, сколько вбежало? Постоянные касания людей друг о друга на улице Флорида незаметно стирают рукава пальто, тыльную сторону перчаток. А когда 113 987 пассажиров набиваются в переполненные поезда и их трясет и трет друг о друга на каждом повороте или при торможении, это может привести (благодаря процессу исчезновения индивидуального и растворению его во множественном) к потере четырех единиц каждые двадцать часов. Что касается другой странности, я имею в виду пятницу, когда появился один лишний пассажир, тут Бодиссон всего лишь согласился с Монтесано и приписал это ошибке в расчетах. Выслушав эти предположения, достаточно голословные, я снова почувствовал себя в полном одиночестве, у меня не только не было собственной теории — напротив, я ощущал спазмы в желудке всякий раз, когда приближался к метро. Поэтому-то я шел к цели своим путем — двигался по спирали, поэтому я столько времени ездил на трамвае, прежде чем почувствовал, что могу вернуться на «Англо», погрузиться в буквальном смысле, и не только затем, чтобы сесть в вагон метро.

Здесь следует сказать, что от них я не видел ни малейшей помощи, скорее, наоборот, ждать или искать их поддержки было бы бессмысленно. Они там даже и не знают, что с этого параграфа я начинаю писать их историю. Но мне бы не хотелось их выдавать, и в любом случае я не назову тех немногих, имена которых стали мне известны за несколько недель, что я прожил в их мире; если я и сделал все это, если пишу сейчас эти заметки, так только из добрых побуждений — я хотел помочь жителям Буэнос-Айреса, вечно озабоченным проблемой транспорта. Но речь теперь даже не о том,

сейчас мне просто страшно спускаться туда, хотя и глупо тащиться в неудобном трамвае, когда в двух шагах метро, и все на нем ездят, и никто не боится. Я достаточно честен, чтобы признать: если они выброшены из общества без огласки и никто особенно ими не заинтересуется, мне будет спокойнее. И не только потому, что чувствую угрозу для своей жизни, пока нахожусь внизу,— ни на одну минуту я не ощущаю себя в безопасности, даже когда занимаюсь своими исследованиями вот уже столько ночей подряд (там всегда ночь, нет ничего более фальшивого, искусственного, чем солнечные лучи, врывающиеся в маленькие окна на перегонах между станциями или до половины заливающие светом лестницы); вполне вероятно, дело кончится тем, что я себя обнаружу, они узнают, для чего я столько времени провожу в метро, так же как я безошибочно различаю их в густой толпе на станциях. Они такие бледные, но действуют четко и продуманно; они такие бледные и такие грустные, почти все такие грустные...

Любопытно, но с самого начала мне очень хотелось разузнать, как они живут, хотя узнать, почему они так живут, было бы важнее. Почти сразу я оставил мысль о тупиках и заброшенных тоннелях: их существование было открытым и совпадало с движением пассажиров между станциями. Например, между «Лория» и «Пласа Онсе» можно было различить своего рода *Nades*<sup>1</sup>, с кузнечными горнами, запасными путями, хозяйственными складами и странными домиками с темными окнами. Это подобие ада я разглядел в те несколько секунд, что поезд, отчаянно встряхивая нас на поворотах, приближался к станции, сверкающей особенно ярко после темного тоннеля. Однако едва я вспомнил, сколько рабочих и служащих спуют по этим грязным ходам, как сейчас же отбросил мысль, будто они могут быть использованы в качестве укрытий: разместиться там, по крайней мере на первых порах, было невозможно. Мне достаточно было понаблюдать в течение нескольких поездок, и я убедился, что лишь на самой линии, то есть на станциях и в почти непрерывно движущихся поездах, они могут найти место и условия для жизни. Отбросив тупики, боковые ветки и

---

<sup>1</sup> Преисподняя (*миф.*).

склады, я неизбежно пришел к ясной и ужасающей истине,— пришел именно там, в этом сумрачном царстве, где проблески этой истины не раз маячили передо мной. Существование, которое я описываю сейчас в общих чертах (кое-кто скажет — предполагаемое), явилось мне как результат жестокой и непреклонной необходимости; последовательным исключением различных вариантов я получил единственно возможный. Они — теперь это было совершенно ясно — жили прямо в метро, в поездах, в постоянном движении. Их существование и циркуляция их крови — они такие бледные! — защищены и по сей день их безымянностью.

Поняв это, остальное было нетрудно установить. Лишь на рассвете или глубокой ночью поезда на «Англо» идут пустыми, поскольку жители Буэнос-Айреса полуночники и обязательно кто-нибудь войдет в метро перед самым закрытием. Возможно, последний поезд и можно было бы счесть ненужным, лишь потому, что он значится в расписании, ибо в него уже никто не садится, но мне никогда не доводилось видеть такого. Или нет, видел несколько раз; но он был пустым только для меня; его редкими пассажирами были те из них, кто проводил здесь ночь, выполняя строжайшее предписание. Я так и не смог обнаружить место их вынужденного прибежища в течение трех часов — с двух ночи до пяти утра,— когда «Англо» закрыта. Остаются ли они в поезде, который идет в депо (в этом случае машинист должен быть одним из них), или смешиваются с ночными уборщиками? Последнее наименее вероятно, так как у них нет спецодежды и уборщики знают друг друга в лицо. Я склоняюсь к мысли, что они используют тоннель, неизвестный обычным пассажирам, который соединяет «Пласа Онсе» с портом. Кроме того, почему в помещении на станции «Хосе Мария Морено», где на дверях написано «Вход воспрещен», полно бумажных свертков, не говоря уже о странном ящике, где можно хранить что угодно? Очевидная ненадежность этих дверей наводит на весьма определенные подозрения; итак, хоть это и кажется невероятным, я полагаю, что они каким-то образом живут, как я уже говорил, в поездах или на станциях; какая-то эстетическая целесообразность придает мне уверенность в этом, почти убежденность. Постоянное движение от одной конечной станции к другой не оставляет им иной сколько-нибудь серьезной возможности.

Я сказал об эстетической целесообразности, но, возможно, соображения мои носят скорее прагматический характер. Их план должен быть в высшей степени прост, чтобы каждый из них в любой момент их подземного существования мог действовать четко и безошибочно. Допустим, как я убедился благодаря своему долготерпению, каждый из них знает, что больше одной поездки в одном и том же вагоне делать нельзя, иначе привлечешь к себе внимание; с другой стороны, на конечной станции «Пласа де Майо» можно остаться на своем месте, поскольку на станции «Флорида» садится очень много народа и все норовят занять места, чтобы опередить тех, кто войдет на конечной. А на «Примера Хунта» достаточно выйти, пройти несколько метров и смешаться с толпой пассажиров, которые едут в противоположную сторону. В любом случае они играют наверняка, потому что подавляющее большинство пассажиров проезжают только часть линии. А когда через некоторое время люди снова спустятся к поездам — лишь полчаса они проводят в метро и восемь часов на работе, — едва ли они узнают тех, кто был с ними рядом утром, тем более и вагон и поезд уже будут другие. Последнее соображение, в котором я удостоверился с трудом, весьма тонкое и вполне укладывается в рамки схемы, призванной исключить возможность быть признанным служителями или пассажирами, попадающими в тот же поезд (что случается от двух до пяти раз в зависимости от часа и наплыва людей). Сейчас я, например, знаю, что девушка, которая в тот вечер ждала на «Медрано», сошла с предыдущего поезда и села в мой, чтобы ехать до «Рио-де-Жанейро», и что там она сядет в следующий; как и все они, она располагала точным предписанием до конца недели.

Они научились спать сидя, причем не больше пятнадцати минут. Даже тот, кто ездит по «Англо» лишь время от времени, в конце концов по малейшему изгибу пути, легкому повороту привыкает безошибочно узнавать, едет ли он от «Конгресо» до «Саэнс Пенья» или направляется к «Лориа». В них же привычка сильна настолько, что они просыпаются именно в тот момент, когда нужно выйти и пересест в другой поезд. Они сохраняют достоинство даже во сне — сидят прямо, чуть склонив голову на грудь. Двадцать раз по пятнадцать минут им

достаточно, чтобы отдохнуть, кроме того, у них есть еще те непостижимые для меня три часа, когда «Англо» закрыта. Когда я узнал, что в их распоряжении целый поезд — а это подтвердило мою гипотезу о тупике в ночные часы,— я сказал себе, что они обрели в своей жизни такую ценность, как общение, к тому же приятное, если они могут ездить в этом поезде вместе. Быстро, зато с аппетитом и в компании поглощаемая еда, пока поезд идет от одной станции к другой, крепкий сон между двумя конечными остановками, радость дружеских бесед, а может, и родственных контактов. Однако я убедился, что они строго придерживаются правила не собираться в своем поезде (если только он один, поскольку их число медленно, но неуклонно растет): они слишком хорошо знают, что любое узнавание будет для них роковым и что три лица, увиденные вместе, память удерживает лучше, нежели те же лица, увиденные порознь и в разное время,— во всяком случае, это подтверждает практика допросов.

В своем поезде они видятся только мельком, чтобы получить новое расписание на неделю, которое Первый из них пишет на листках из блокнота и каждое воскресенье раздает руководителям групп; там же они получают деньги на недельное пропитание, и там же помощник Первого — безусловно, машинист поезда — выслушивает всех, кому надо что-нибудь из одежды или что-то передать наверх, а также тех, кто жалуется на здоровье. Поскольку по расписанию каждому из них надлежит постоянно менять поезда и вагоны, встречи для них практически невозможны, и пути их расходятся до конца недели. Итак, можно сказать — а к этому я пришел после напряженных раздумий, после того, как представил себя одним из них, как страдал и радовался вместе с ними,— так вот, можно сказать, что они ждут воскресенья так же, как мы наверху ждем нашего,— оно приносит отдых. Почему Первый выбрал именно этот день? Вовсе не из уважения к традиции — это как раз могло бы меня удивить; просто он знает, что по воскресеньям в метро ездят другие пассажиры, а значит, меньше шансов быть узнаваемыми, чем в понедельник или в пятницу.

Осторожно соединив куски мозаики, я разгадал первичную фазу операции и начал с поезда. Те четверо, согласно результатам учета, спустились в метро во вторник. Вечером того же дня на станции «Саэнс Пенья» они изучали лица проезжающих машинистов в раме окна.

Наконец Первый подал знак, и они сели в поезд. Теперь надо было ждать до «Пласа де Майо» и, пока поезд проезжает тринадцать следующих станций, устроиться как-то так, чтобы не попасть в один вагон со служителем. Самое трудное — улучшить момент, когда, кроме них, в вагоне никого не будет; им помогло рыцарское распоряжение Транспортной корпорации Буэнос-Айреса, которое отводит первый вагон для женщин и детей, и по укоренившейся привычке жители города не жалуют этот вагон своим вниманием. От станции «Перу» в вагоне ехали две сеньоры, которые говорили о распродаже в «Доме Ламота» («Карлота одевается только там»), и мальчик, погруженный в неподходящее для него чтение «Красного и черного» (журнала, а не романа Стендаля). Служитель был, наверно, в середине состава, когда Первый вошел в вагон для женщин и негромко постучал в дверь кабины машиниста. Тот открыл, удивленный, но пока еще ничего не подозревая, а поезд уже приближался к «Пьедрас». «Лиму», «Сазнс Пенья», «Конгресо» проехали без происшествий. На «Паско» была задержка с отправлением, но служитель был на другом конце состава и беспокойства не проявил. Перед «Рио-де-Жанейро» Первый вернулся в вагон, где его ждали трое остальных. Через сорок восемь часов машинист, одетый в штатское — одежда была ему немного велика, — смешался с толпой, вышедшей на «Медрано», и, увеличив на единицу число пассажиров в пятницу, послужил причиной осложнений для старшего инспектора Монтесано. А Первый тем временем уже вел состав, тайком обучая этому делу остальных троих, чтобы они могли заменить его, когда понадобится. Полагаю, они проделали то же самое и с машинистами тех поездов, которыми завладели.

А завладев поездами, они располагали подвижной территорией, где могли действовать в относительной безопасности. По-видимому, я никогда не узнаю, чем Первый брал машинистов — вынуждал ли их или подкупал — и как ускользал от возможного разоблачения, когда встречался с другими служащими, получая зарплату или расписываясь в ведомости. Я могу лишь строить смутные догадки, постигая механизмы их вегетативного существования и внешнюю сторону их поведения. Тяжело было думать, что едят они, как правило, то, что продается в станционных киосках, пока я не понял, что самое страшное в их жизни — это отсутствие привязанностей. Они

покупают шоколадки и медовые пряники, сладкие молочные и кокосовые пастилки, халву и питательные карамельки. Едят их с безразличным видом человека, привыкшего к лакомствам, но, когда оказываются в одном из своих поездов, на пару решаются купить огромный медовый пряник с орехами и миндалем, пропитанный сладким молоком, и едят его стыдливо, маленькими кусочками, испытывая удовольствие как от настоящей еды. Но она-то и есть неразрешимая для них проблема; сколько раз их будет мучить голод, и сладкое станет противно, и воспоминание о соли тяжелой волной поднимется в роту, повергая их в мучительное наслаждение, а после соли вспомнится вкус недостижимого жаркого и супа, пахнувшего петрушкой и сельдереем. Как раз в то время на «Пласа Онсе» открыли закусную, и порой запах горячих колбасок и сэндвичей с мясом проникал вниз. Но они не могли туда ходить, потому что закусочная помещалась по другую сторону турникетов, на платформе, откуда поезда отправляются на «Морено».

Не меньшие трудности были связаны с одеждой. Брюки, юбки, нижние юбки изнашиваются быстро. Медленнее — пиджаки и блузки, но их надо время от времени менять хотя бы из соображений безопасности. Однажды утром, когда, пытаясь лучше понять их порядки, я наблюдал за одним из них, я открыл способ, каким они поддерживают отношения с теми, кто наверху. Происходит это так: они приезжают по одному на указанную станцию в указанный день и час. А сверху является кто-нибудь со сменой одежды (позже я убедился, что обслуживали их полностью: белье регулярно отдавалось в стирку, а костюм или платье время от времени в чистку), и они садятся в один вагон подошедшего поезда. Там они могут поговорить, сверток переходит из рук в руки, а на следующей станции надо переодеться — и это самое трудное — в грязном туалете. На следующей станции тот же человек ждет их на перроне, они вместе едут до ближайшей остановки, и человек поднимается вверх со свертком ношеной одежды.

Уже когда я был уверен, что знаю почти досконально этот мир, я вдруг по чистой случайности обнаружил, что они не только меняют белье и одежду, но у них еще есть склад, где весьма ненадежно хранятся кое-какие носильные и другие вещи для непредвиденных ситуаций, возможно, чтобы на первых порах снабдить новичков,



число которых определить не берусь, но думаю, оно велико. Один мой приятель показал мне как-то под арками Кабильдо старика, по-видимому букиниста. Я искал тогда старый номер журнала «Сур»; и к моему удивлению, а возможно, потому, что я был готов принять неизбежное, букинист посоветовал мне спуститься на станцию метро «Перу» и повернуть налево от платформы, в проход, где всегда полно народа и, как полагается в метро, очень душно. Там-то и были беспорядочно навалены груды книг и журналов. «Сур» я не нашел, но зато увидел неплотно прикрытую дверцу в соседнее помещение; какой-то мужчина стоял спиной ко мне, затылок и шея у него были бледные, какие бывают только у них; на полу, мне показалось, лежали какие-то пальто, платки, шарфы; букинист принимал этого человека за бродячего торговца или перекупщика вроде его самого; я не стал разубеждать старика и купил ему «Трильсе» в прекрасном издании. Что же касается одежды, я узнал нечто ужасающее. Имея лишние деньги и стремясь их истратить (думаю, в тюрьмах нестрогого режима происходит то же самое), они удовлетворяют свои капризы с невероятным упорством, поразившим меня. Я следил тогда за молодым блондином, которого видел всегда в одном и том же коричневом костюме; он менял только галстуки, для чего два-три раза в день заходил в туалет. В полдень он выходил на станции «Лима», чтобы в киоске на платформе купить еще один галстук, он долго выбирал, все не решаясь, это было его субботнее приключение, его радость. Заметив, что карманы его пиджака оттопырены, набитые галстуками, я почувствовал, как меня охватывает ужас.

Женщины покупают платочки, маленькие безделушки, брелоки — все, что помещается в киоске и в сумочке. Иногда они выходят на станциях «Лима» или «Перу» и остаются на платформе посмотреть витрины, где выставлена мебель, долго разглядывают шкафы и кровати, подавляя робкое желание купить их, а когда покупают газету или «Марибель», надолго углубляются в объявления о распродаже, рекламу духов, модной одежды, перчаток. Они едва ли не готовы забыть инструкции, предписывающие сохранять безразлично-отрешенный вид, когда видят матерей, везущих своих детей на прогулку; две из них крепилась несколько дней, но в конце концов встали со своих мест и начали ходить около детей, почти касаясь их; я бы не очень удивился, если бы они погладили ребен-

ка по головке или дали ему конфету; в буэнос-айресском метро обычно такого не увидишь, да, наверно, и ни в каком ином.

Долгое время я спрашивал себя, почему Первый спустился с тремя другими именно в тот день, когда производили подсчет пассажиров. Зная его методы — но не зная еще его самого, — я считал бы ошибкой приписать ему мелкое тщеславие, желание вызвать скандал, если станет известно несоответствие в цифрах. Гораздо больше соображается с его тонким умом другое предположение: в эти дни внимание персонала метро вольно и невольное было занято подсчетом пассажиров. Захват поезда представлялся поэтому более реальным, и даже возвращение наверх подмененного машиниста не могло привести к опасным последствиям. Лишь через три месяца происшедшая в парке «Лесама» случайная встреча бывшего машиниста со старшим инспектором Монтесано и выводы, молча сделанные последним, смогли приблизить его и меня к истине.

Тогда — это, кстати, было совсем недавно — они владели тремя поездами, и думаю, хотя и не уверен, у них есть свой человек в диспетчерской на «Примера Хунта». А самоубийство рассеяло мои последние сомнения. В тот вечер я следил за одной из них и видел, как она вошла в телефонную будку на станции «Хосе Мариа Морено». Перрон был почти пуст, и я прислонился к боковой перегородке, будто бы устал после рабочего дня. Первый раз я наблюдал кого-то из них в телефонной будке и не удивился таинственному и немного испуганному виду девушки, ее секунднему замешательству, тому, что она огляделась по сторонам, прежде чем войти в кабину. Услышал я немного: сначала она всхлинула, потом щелкнула замком сумочки, высморкалась, спросила: «Как там канарейка, ты приглядываешь за ней? Даешь ей по утрам семя и немножко ванили?» Незначительность разговора поразила меня, да и голос совсем не походил на тот, каким распоряжаются, в нем слышались слезы, он пресекался. Я сел в поезд раньше, чем она могла меня заметить, и сделал полный круг, продолжая изучать, как они встречаются и меняют одежду. Когда я снова оказался на «Хосе Мариа Морено», она уже застрелилась (сначала, говорят, перекрестившись); я узнал ее по красным туфлям и светлой сумочке. Собрался народ, многие толпились

около машиниста и служителя в ожидании полиции. Я увидел двоих из них (они такие бледные) и подумал, что случившееся послужит испытанием для замыслов Первого, потому что одно дело занять чье-то место под землей и совсем другое — столкнуться с полицией. Последующая неделя не принесла ничего нового — обычное самоубийство, из тех, что случаются едва ли не ежедневно, никого не заинтересовало, вот тогда я и стал бояться метро.

Я понимаю, что должен еще многое узнать, может быть, самое главное, но страх сильнее меня. Теперь я только подхожу к входу на «Лиму» — это моя станция, — вдыхаю спертый запах «Англо», который чувствуется и наверху, слушаю шум поездов. А потом сижу в каком-нибудь кафе и, ругая себя последними словами, задаю вопрос: неужели я не сделаю двух шагов, которые остались до полного их разоблачения? Я уже столько узнал и смог бы принести пользу обществу, если бы сообщил о происходящем. Мне, например, известно, что в последние недели у них было уже восемь поездов и что число их быстро растет. Новичков пока трудно распознать, поскольку кожа обесцвечивается медленно и, кроме того, они, без сомнения, принимают меры предосторожности. Едва ли в планах Первого есть просчеты, и мне представляется невозможным установить точно их количество. Чутье подсказывало мне, когда еще у меня хватало смелости спускаться и следить за ними, что большинство поездов полно ими, что обычных пассажиров становится все меньше и меньше; и я не удивляюсь, почему газеты кричат, что нужны новые линии, что поездов не хватает и надо принимать срочные меры.

Я повидался с Монтесано и кое-что ему рассказал, надеясь, что об остальном он сам догадается. Однако мне показалось, что я не вызвал у него доверия, что он идет в этом деле своим путем, а вернее, предпочитает вежливо уклониться, коль скоро случившееся выходит за рамки его воображения, не говоря уже о воображении начальства. После того как он со словами «Вы устали, вам бы неплохо попутешествовать» похлопал меня по плечу, я понял, что бесполезно дальше говорить с ним, еще обвинит меня, будто я отравляю ему жизнь своими шизофреническими фантазиями.

А попутешествовать я мог только по «Англо». Меня

немного удивило, что Монтесано не принимает никаких мер, по крайней мере против Первого и тех троих, не рубит верхушку этого дерева, корни которого все глубже и глубже проникают сквозь асфальт в землю. Затхлый воздух, лязг тормозов останавливающегося поезда, и вот на лестницу хлынул поток усталых людей, обалдевших от тесноты в битком набитых вагонах, где они простояли всю дорогу. Я должен бы подойти к ним, оттащить по одному в сторону и все объяснить, но в этот момент я слышу шум приближающегося поезда и меня охватывает страх. Когда я узнаю кого-нибудь из тех, кто спускается или поднимается со свертком одежды, я скрываюсь в кафе и долго не выхожу оттуда. За стопкой джина я думаю о том, что, как только мужество вернется ко мне, я спущусь и установлю их количество. По-моему, сейчас в их руках все поезда, сотрудники многих станций и частично ремонтных мастерских. Продавщица кондитерского киоска на станции «Лима» могла бы заметить, что товаров у нее расходуется все больше. С трудом подавив спазмы в желудке, я спустился на перрон, повторяя себе, что в поезд садиться не буду, не буду смешиваться с ними; всего два вопроса — и навверх, а там я в безопасности. Я опустил монету в автомат, подошел к киоску и, делая покупку, заметил, что продавщица пристально смотрит на меня. Красивая, но такая бледная, очень бледная. В отчаянии я бросился к лестнице и, спотыкаясь, побежал навверх. Сейчас мне кажется, я никогда больше не смогу спуститься туда — меня уже знают, кончилось тем, что меня узнали.

Я провел в кафе целый час, прежде чем решился снова ступить на верхнюю ступеньку лестницы, постоять среди людей, снующих вверх-вниз, хотя на меня и поглядывали, не понимая, почему я застыл там, где все движется. Невероятно! Неужели, завершив анализ их общих методов, я не сделаю окончательного шага, который позволит мне разоблачить их самих и их намерения? Не хочется признать, что страх до такой степени владеет мной; возможно, я решусь, возможно, будет лучше, если я, ухватившись за лестничные перила, буду кричать, что знаю все об их планах, знаю кое-что о Первом (я скажу это, пусть Монтесано и не понравится, если я нарушу ход его собственного расследования) и о том, чем все это может кончиться для жителей Буэнос-Айреса. Я все пишу, сидя в

кафе. Ощущение, что я наверху и в безопасном месте, наполняет мою душу покоем, который тотчас исчезает, едва я спускаюсь и подхожу к киоску. И все же я чувствую, что так или иначе спущусь, я заставлю себя спуститься по лестнице шаг за шагом, но будет лучше, если я прежде закончу свои записи и пошлю их префекту или начальнику полиции, а копии — Монтесано, потом заплачу за кофе и обязательно спущусь, хотя не знаю пока, как я это сделаю, где я возьму силы, чтобы спуститься ступенька за ступенькой сейчас, когда меня знают, сейчас, когда меня в конце концов узнали, но это уже неважно, записи будут закончены, и я скажу: господин префект или господин начальник полиции, кто-то ходит там, внизу, кто-то ходит по перрону и, когда никто, кроме меня, не видит и не слышит, заходит в едва освещенную кабину и открывает сумочку. А потом плачет, совсем недолго плачет, а потом, господин префект, говорит: «Как там канарейка, ты приглаживаешь за ней? Дашь ей по утрам семя и немножко ванили?»

## ГРАФФИТИ

Так часто все начинается, да и заканчивается, как игра,— представляю, как приятно тебе было увидеть рядом с твоим рисунком другой: ты счел это случайностью или чьей-то шуткой и только во второй раз понял, что это неспроста, и тогда рассмотрел новый рисунок как следует и даже вернулся чуть позже, чтобы поглядеть сызнова, улучив с обычной предосторожностью момент, когда на улице ни души, а на углу ни одной патрульной машины,— тогда-то ты с безразличным видом и приблизился, но не стал пялиться на это граффити, а с противоположного тротуара, наискосок, скользнул взглядом, словно бы заинтересовался соседней витриной, и тут же удалился.

Сам-то ты начал свою игру со скуки, а вовсе не из протеста, не из-за обстановки в городе, комендантского часа и недвусмысленного запрета расклеивать плакаты и писать на стенах. Просто тебя забавляло рисовать цветными мелками (термин «графффити», столь отдающий искусствоведением, тебе не нравился) и время от времени наведываться, чтобы поглядеть, а если повезет — подгадать к приезду муниципального грузовика и к бесполезной ругне уборщиков, стирающих твои рисунки. Им было наплевать,

что рисунки эти были не политические,— запрет распространялся на все и вся, и, если бы какой-нибудь малыш отважился намалевать дом или собаку, они бы и их соскоблили, сыпля ругательствами и угрозами. В городе совершенно утратили понимание, чего еще можно не бояться, потому, наверное, ты и развлекался пересиливанием своей боязни: выбрав подходящее время и место, ты набрасывал очередной рисунок.

Ты ни разу не попался, так как действовал с умом, и часы до прибытия грузовиков с уборщиками были исполнены для тебя невыразимой чистоты, чуть ли не надежды. Разглядывая свою работу на расстоянии, ты замечал людей, бросавших на нее быстрые взгляды на ходу — разумеется, никто не останавливался, но не было ни одного, кто бы не поглядел на рисунок,— была ли это абстрактная композиция в два цвета, профиль птицы или две переплетенные фигуры. Только раз ты сделал подпись черным углем: «Мне тоже больно». Она не продержалась и двух часов — на этот раз полицейский уничтожил ее своими руками. Потом ты ограничивался лишь рисунками.

Когда рядом появился еще чей-то рисунок, ты почти испугался: неожиданно опасность удвоилась, кто-то решился, как ты, поразвлечься у порога тюрьмы, если не преисподней, в довершение ко всему это была женщина. Да, женщина,— ты не смог бы это доказать, но было что-то более верное, нежели все доказательства,— штрих, расположенность к ярким мелкам, нерв. Возможно, ты просто вообразил это, так как был одинок, вообразил, чтобы скрасить свое одиночество,— ты восхищался ею, боялся за нее, надеялся, что ее безумный поступок не повторится, а когда вновь увидел ее рисунок рядом со своим, чуть не выдал себя — так захотелось рассмеяться и отстаться около него, будто полицейские были слепцами или идиотами.

Отныне все стало другим, более таинственным, прекрасным и одновременно угрожающим. Пренебрегая службой, ты стал отлучаться, в надежде как-нибудь застать ее, теперь ты выбирал для рисунков улицы, которые мог бы обежать сразу, без остановки,— ты появлялся там на рассвете, под вечер, а иногда и ночью. Ты пережил пору невыносимых противоречий, разочарований, ты искал, искал ее рисунки рядом с твоими — но улицы были пустыны, и еще более пустынными делали их твои напрасные поиски. Однажды ночью ты впервые увидел ее само-

стоятельный рисунок — она сделала его красным и синим мелкими на дверях гаража, использовав фактуру выщербленных досок и шляпки гвоздей. Рисунок несомненно принадлежал ей, о том свидетельствовали каждая линия, весь колорит, но, помимо этого, сквозила в рисунке то ли мольба, то ли вопрос — своеобразный призыв к тебе. И ты снова пришел сюда затемно, после того, как патруль забелил неровную поверхность доски, и на нетронутой части гаражной двери бегло набросал пейзаж с парусами и гаванью — если не вглядываться, могло показаться, что это случайная игра света и тени, но она бы вгляделась. Этой ночью ты чудом ускользнул от двух патрулей, а потом в своей комнатенке все наливал и наливал себе джину и разговаривал с ней — говорил все, что приходило на ум, словно бы создавал новые яркие рисунки гавани с парусами, — ты воображал ее смуглой и молчаливой, ты выбирал для нее губы и груди, как бы даже был с нею.

Тут тебя осенило, что раз она ждала ответа, то должна бы вернуться к своему рисунку, как ты возвращался каждый раз к своим, и, хотя после покушений на рынке обстановка стала более чем опасной, ты решил держаться поближе к гаражу и, кружа по кварталу, выпил бессчетное число кружек пива в баре на углу. Вот уж абсурд, вряд ли она остановилась бы, увидев твой рисунок, — любая из множества женщин, проходивших мимо, могла быть ею. На рассвете следующего дня ты выбрал серую каменную ограду и нарисовал белый треугольник, окружив его пятнами, напоминающими дубовые листья, — из того же бара на углу ты мог посматривать на ограду (дверь гаража уже замазали, и около нее то и дело показывались взбешенные патрули); к вечеру ты покинул бар, но не ушел совсем, а стал бродить поблизости, меняя пункты наблюдения и покупая в лавках всякую мелочь, чтобы не вызвать лишних подозрений. Была глубокая ночь, когда ты услышал сирену и по глазам полоснуло светом фар. Рядом с оградой возникла какая-то кутерьма — забыв осторожность, ты бросился туда, и выручил тебя только случай: автомобиль, выехавший из-за угла, при виде полицейской машины резко затормозил, он-то тебя и загородил, но ты успел услышать крик, заметить борьбу, пинки, черные волосы, в которые вцепились руки в перчатках, а потом мелькнули голубые джинсы, ее втолкнули в машину и увезли.

Много позже (было ужасно, испытывая дрожь в теле,

думать, что во всем виноват твой рисунок на серой ограде) ты смешался с прохожими и мог взглянуть на сине-оранжевый набросок, словно бы это — ее имя, и ее рот, и вся она; рисунок был изувечен, полицейские успели заляпать его, перед тем как ее увезти, но того, что осталось, было достаточно, чтобы понять: она хотела ответить твоему треугольнику другой фигурой — кругом или даже спиралью, красивой и полной формой, неким «да», или «всегда», или «сейчас».

Ты-то знал — у тебя было достаточно времени, чтобы представить себе в подробностях все, что могло произойти в центральном полицейском участке: правда мало-помалу просачивалась в город, люди были наслышаны о судьбе узников, и, если один из них снова встречался на улице, от него шарахались — они согласились бы лучше не встретить его, оставить, как и многих других, в забвении, которое никто не отважился нарушить. Все ты знал, в ту ночь тебе не помог даже джин — оставалось разве что кусать пальцы, топтать цветные мелки, прежде чем ты забылся в опьянении и бессвязных рыданиях.

Но дни шли, и ты понял, что уже не можешь жить по-другому. Ты снова отлучался с работы, снова бродил по улицам, исподтишка оглядывал стены и двери, на которых ты и она рисовали. Все чистенько, безупречно чистенько — хоть бы какой-нибудь цветок, нарисованный бездумным школяром, который прихватил в школе мел и не может противиться соблазну. И ты тоже не смог противиться искушению: месяц спустя, встав засветло, ты снова пришел на улицу, где находился злополучный гараж. Патрулей не было, стены были образцово чистыми, только кот украдкой поглядел на тебя с порога соседнего подъезда, когда ты достал мелки и на том же месте, где она оставила свой рисунок, выплеснул на доски зеленый крик и красную вспышку признательности и любви, заключив рисунок в овал, который был также твоим призывом к ней и надеждой. Шаги на углу обратили тебя в паническое бегство, ты метнулся за гору пустых ящиков, — это был пьяный, он шатался и напевал что-то; увидев кота, он хотел дать ему пинка и рухнул лицом вниз, как раз под рисунком. Успокоившись, ты медленно побрел домой и с первыми лучами солнца заснул, как не спал давно.

В то же утро ты рассмотрел гараж издали — рисунок еще не смыли. Ты вернулся в полночь — почти не пони-



мая, что делаешь,— он был все еще там. Волнения в предместьях (от сведущих людей ты уже слышал об этом) нарушили однообразие полицейских маршрутов, к ночи ты снова пришел на него поглядеть, как глядели на него многие в течение этого дня. Потом ты наведалься в три ночи — улица была пуста и темна. Тут-то ты и различил другой рисунок — только ты мог обнаружить его, такой он был маленький, чуть выше и левее твоего. Ты приблизился к нему со смешанным чувством надежды и страха и увидел оранжевый контур и фиолетовые пятна, словно намечавшие отекшее лицо, вывалившийся глаз, расплюсченные пинками губы. Да, конечно... Что еще она могла нарисовать тебе? Что еще имело бы смысл нарисовать сейчас? Хоть как-то она должна была проститься с тобой и сказать, чтобы ты продолжал рисовать дальше. Хоть что-то, говорила она, я должна оставить тебе, прежде чем вернуться в свое убежище, где нет зеркал, в свою щель, куда я могу забиться, укрывшись в полной темноте, о стольком вспоминая, и порою, точно так же, как я думала о твоей жизни, думать, что ты продолжаешь рисовать, выходишь по ночам, чтобы рисовать, рисовать, рисовать...

## **ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ Я РАССКАЗЫВАЮ СЕБЕ**

Истории я рассказываю себе, когда сплю один, когда кровать шире обычного и холоднее, но я рассказываю их себе и тогда, когда рядом Ниагара — она засыпает раньше меня, свертывается улиткой и спит, удовлетворенно мурлыкающая, словно бы и она рассказывает себе историю. Я не раз пробовал ее добудиться, чтобы узнать, о чем ее история (она только мурлычет во сне, а это разве история!), но Ниагара возвращается с работы настолько усталой, что было бы несправедливо да и некрасиво будить ее, когда она только что уснула и блаженствует в самой глубине своей благоуханной мурлыкающей ракушки, так что я позволяю ей спать, а сам рассказываю себе историю, словно у нее ночное дежурство и я сплю один на чересчур широкой кровати.

Истории, которые я себе рассказываю,— обо всем, но почти неизменно в главной роли я, этаким буэнос-айресский Вальтер Митти, воображающий себя в ситуациях довольно ненормальных, глупых или исполненных напряженного, тщательно отработанного драматизма, дабы тот,

кто вникает в эту историю, потешил себя мелодрамой, банальщиной или юмором, которые умышленно навязывает ему тот, кто эту историю рассказывает. Ведь обыкновенно этот Вальтер Митти наделен еще и чертами Джекиля и Хайда — несомненно, англосаксонская литература нанесла профану определенный ущерб, так что истории у него почти всегда получаются слишком книжные и как бы подготовленные для типографии, тоже вымышленной. Сама идея записать истории, которые я себе рассказываю перед сном, наутро кажется мне бредовой — у каждого должно быть свое тайное сокровище, свое молчаливое расточительство, которыми посторонние воспользовались бы с жадностью. Дело еще и в суеверии: я всегда считал, если записать какую-либо историю из тех, что я себе рассказываю, история эта станет последней, по причине, необъяснимой для меня, но, возможно, имеющей отношение к таким понятиям, как нарушение договора или возмездие, — я и думать боюсь, что придется ждать сна, лежа рядом с Ниагарой или в одиночестве, считать в уме идиотских барашков или — того хуже — перебирать в памяти дневные дела, которые никак не хотят вспоминаться, и не рассказывать себе историю.

Все зависит от настроения, мне ни разу не приходилось выбирать тот или иной тип истории, — едва я гашу (или мы гасим) свет и я, под сомкнутыми ресницами, врываюсь под этот второй прекрасный покров черноты — история тут как тут, это может быть пустынная улица с приближающимся издали автомобилем, или лицо Марсело Масиаса, узнавшего о повышении, что само по себе невероятно, если учесть его ограниченность, или просто слово или звук, которые повторяются пять или десять раз и из которых начинают вырисовываться первые контуры истории. Иногда меня поражает, что после эпизода, который можно оценить как бюрократический, на следующую ночь рождается эротическая или спортивная история, — несомненно, я выдумщик, хотя это проявляется лишь перед сном, но столь неожиданно разнообразный и богатый репертуар не перестает меня удивлять. Например, Дилия, — почему Дилия должна была появиться в этой истории, именно в этой, когда Дилия совсем не та женщина, которая хоть как-то подходит для подобной истории, — почему Дилия?

Впрочем, уже давно я взял за правило не спрашивать, почему Дилия, или Транссибирский экспресс, или Мухаммед Али, или какой-либо другой сценарий, по которому

разыгрывается история, которую я себе рассказываю. И если сейчас, за пределами этой истории, я вспоминаю о Дилии, то совсем по другим причинам, также находящимся за ее пределами, так что это уже не только сама история — должно быть, только поэтому я и делаю то, что не стал бы и не мог бы сделать с историями, которые я себе рассказываю. В той истории (в постели я был один, Ниагара возвращалась из больницы в восемь утра) устрашающе быстро проносился горный пейзаж и дорога, заставляя рулить с предельной осторожностью, фары ощупывали каждый поворот, выискивая видимые глазу опасности — одиночество, полночь и этот огромный грузовик, трудный в управлении на горном серпантине. Шоферское дело всегда вызывало во мне зависть, для меня это наипростейшая форма свободы — передвигаться из одного места в другое на грузовике, который одновременно является твоим домом, где есть койка, позволяющая выспаться в какой-нибудь аллее, лампа, чтобы читать, консервы, пиво, транзистор, чтобы в полнейшей тишине слушать джаз, и чувство, что ты забыт всеми на свете и никто не знает, этот маршрут ты выбрал или другой, и еще столько новых возможностей, поселков и дорожных приключений, в том числе драк и походов, в которых ты всегда остаешься победителем, как и надлежит Вальтеру Митти.

Однажды я задумался: почему водитель грузовика, а не летчик или капитан трансатлантического лайнера, и понял, что это отвечает моей простецкой сущности и приземленности, которые я сплошь и рядом должен скрывать днем: шофер — это парень, который разговаривает с шоферами, это места, где обретается шофер, так что когда я рассказываю себе историю о свободе, то довольно часто она начинается с этого грузовика, на котором я пересекаю пампу или местность, воображаемую, как сейчас, — то ли Анды, то ли Скалистые горы, но уж дорога хуже нет, ночь, подъем, и вдруг хрупкий светловолосый силуэт Дилии у подножья скалы, резко вырванной из пустоты фарами, лиловая громада делала еще меньше, еще сиротливей фигурку Дилии, чьи жесты недвусмысленно звали о помощи, словно бы позади большой путь пешком с рюкзаком за плечами.

Если шоферская жизнь — история, которую я себе рассказывал столько раз, то, понятно, было делом обычным встречать женщин, просивших, чтобы их подбросили,

как это сделала Дилия, хотя, разумеется, подобные происшествия почти всегда завершали вымысел, в котором ночь, грузовик и одиночество являлись превосходным оправданием для краткой радости в конце маршрута. Иногда все было иначе, иногда это был лишь камнепад, от которого я спасался неведомо как, или тормоза, начинавшие барахлить на спуске, когда за окошком все бешено мелькало, и я был вынужден открыть глаза, приостанавливая дальнейший спуск, искать другой способ заснуть или теплую спину Ниагары, радуясь, что избежал худшего. Когда в истории обнаруживалась женщина на обочине, это всегда была незнакомка, и по прихоти истории обычно рыжая или мулатка, увиденная в кино или на журнальной фотографии и забытая в дневной сумятице, пока не появлялась вдруг в очередной истории, не узнанная мной. Так что увидеть Дилию было больше чем неожиданностью, тут пахло скандалом, потому что на этой дороге делать Дилии было совершенно нечего, и своим умоляющим и одновременно угрожающим жестом она эту историю некоторым образом губила. Дилия и Альфонсо — наши друзья, с которыми Ниагара и я время от времени встречаемся, они обитают на другой орбите, и сближает нас верность университетским временам, общие темы бесед и вкусы, так что иногда мы ужинаем у них, иногда у нас, и со стороны следим за жизнью их семьи с одним младенцем и солидным капиталом. Какого дьявола было Дилии торчать здесь, ведь история сотворялась таким образом, что и любая девчонка была бы в самый раз, но только вот не Дилия, потому что в этой ситуации требовалось лишь встретить по дороге девушку, а там совершилось бы то, что часто совершается, когда вы руливаете на равнину и останавливаешься отдохнуть после долгого и напряженного перегона; все ясно с самого начала: ужин с другими шоферами в сельской харчевне в предгорье — история не очень-то оригинальная, но всегда приятная из-за своих вариантов и загадок, но на этот раз загадка была другого рода, загадка была в Дилии, в ее бессмысленном появлении на повороте дороги.

Возможно, если бы Ниагара лежала рядом, мурлыкая и посапывая во сне, я предпочел бы не подвозить Дилию, взял бы да и стер, открыв глаза, ее, грузовик и всю историю, сказав Ниагаре: «Как странно, я чуть не лег спать с женщиной, и это была Дилия», а Ниагара, возможно, тоже открыла бы глаза и поцеловала меня в щеку, назвав

дураком, или намекнула на Фрейда, спросив, желал ли я хоть раз Дилию, и услышала бы от меня правду или «вот еще чего», и тогда бы снова намекнула на Фрейда или кого-нибудь в том же роде. Но, чувствуя себя в этой истории таким одиноким, каким только может быть шофер грузовика в полночь на перегоне в горах, я не мог проехать мимо: я медленно притормозил, открыл дверцу и позволил Дилии подняться, а она, усталая и полусонная, едва слышно буркнула «спасибо» и откинулась на сиденье, поставив дорожную сумку в ногах.

Правила игры в историях, которые я себе рассказываю, должны соблюдаться с первого же момента. Дилия была Дилией, но в этой истории я для Дилии был водителем грузовика, и никем иным, и мне даже не пришло бы в голову спросить, что она делает тут поздней ночью, или назвать ее по имени. Думаю, самое невероятное в данной истории — что эта девушка была точной копией Дилии: с гладкими светлыми волосами, ясными глазами, ногами, стройными, как у кобылки, и слишком длинными для ее роста, но во всем остальном история обошлась с ней, как с любой другой девицей без имени и прошлого,— дивная случайная встреча. Мы обменялись двумя-тремя фразами, я протянул ей сигарету и закурил сам, мы стали медленно спускаться под уклон, как и должен спускаться тяжелый грузовик, Дилия все больше вытягивалась на сиденье и курила, погруженная в оцепененье и полудрему после долгих часов ходьбы в горах, а возможно, и страха.

Я подумал, что она тут же уснет и что было бы приятно вообразить ее сонной, пока не приедем на равнину, подумал, что, наверно, с моей стороны было бы любезно предложить ей всамделишную койку, в глубине кабины, но ни в одной истории обстоятельства ни разу не позволили мне это сделать — любая из девушек, предположив худшее, окинула бы меня взглядом, исполненным горечи и отчаяния, и стала бы нащупывать ручку дверцы, чтобы незамедлительно бежать. Как в историях, так и в жизни любого шофера события не могли развиваться подобным образом, сперва надо поговорить, покурить, сдружиться, достичь согласия, почти всегда безмолвного, на остановку в лесу или в каком-нибудь укромном уголке, позволения на то, что следовало за этим и уже не вызывало ни огорчения, ни злобы,— попросту продолжить то, что было начато беседой, курением и первой бутылкой пива, которое пили из горлышка между двумя виражами.

Я позволил ей задремать — ну что ж, история развивалась так, как я любил, чтобы развивались истории, которые я себе рассказываю: детальное описание каждого предмета и действия, будто замедленная съемка, чтобы блаженство все больше разливалось по телу, слова и безмолвие. Я все еще спрашивал, почему этой ночью — Дилия, но вскоре перестал спрашивать, теперь мне казалось даже естественным, что Дилия полудремлет здесь, рядом со мной, берет у меня время от времени новую сигарету или шепотом объясняет, почему она тут, в горах,— история тем временем искусно ткалась между зевками и обрывками фраз, да и не все ли равно, почему Дилия оказалась здесь, на самом глухом отрезке дороги, в полночь. В какой-то момент она замолчала и с улыбкой посмотрела на меня, с той девичьей улыбкой, которую Альфонсо считает подкупающей, и я назвал ей свое имя водителя грузовика (в любой из историй я неизменно Оскар), а она сказала: Дилия — и добавила, как она это делала всегда, идиотское имя, а во всем виновата тетя, любительница романов розовой серии, и, сам тому не веря, я подумал, что она не узнала меня, что в этой истории я Оскар, а она меня не узнала.

После было все, что истории мне рассказывают и что мне так не рассказать,— разве что получатся смутные отрывки, почти обманчивые видения, фонарь, освещающий складной столик в кабине грузовика, поставленного под укрытием деревьев, шипением яичницы, а затем, после сыра и джема, Дилия смотрит на меня, словно что-то хочет сказать и не решается, да и нет необходимости что-либо говорить, для того чтобы спуститься с грузовика и сходить за кусты, я помогаю ей выйти из затруднения, занявшись кофе, который почти готов, и даже предлагаю глоток граппы, веки Дилии смыкаются между глотками и словами, небрежно я перенес лампу к табурету, стоявшему рядом с койкой, а там — вытащить еще одно одеяло на случай, если похолодает, сказать, что надо закрыть как следует дверки кабины, на этих пустынных отрезках дороги никогда не ведаешь, что может случиться, а она, опустив глаза: не вздумай спать на сиденьях, не будь идиотом, и я поворачиваюсь спиной, чтобы она не видела моего лица, на котором отражается легкое удивление, хотя тем или иным образом так происходило всегда — порой какая-нибудь индианочка объявляла, что пойдет спать под деревья, или цыганка располагалась на сиденье и надо было

хватать их за талию и тащить к койке, не обращая внимания на слезы и кулаки, но с Дилией было не так: Дилия не торопясь прошла от столика к постели, нащупывая язычок «молнии» на джинсах жестом, который я видел, хотя и стоял к ней спиной, войдя в кабину и желая дать ей время на то, чтобы сказать «да», — все должно быть, как бывало не раз, одна непрерывная чарующая съемка, медленное-премедленное панорамирование от неподвижного силуэта под фарами на горном вираже до почти невидимой сейчас под шерстяными одеялами Дилии, и тут неизменный обрыв — гасишь лампу, чтобы осталось лишь пепельное мерцание ночи, втекающее через заднее окошко под редкие жалобы птицы неподалеку.

На этот раз история длилась без перерыва, потому что ни Дилия, ни я не хотели, чтобы она прерывалась; есть истории, которые я не прочь продлить, но какая-нибудь японская девушка или холодная снисходительность норвежской туристки не позволяют им длиться, и, хотя историей распоряжаюсь я сам, наступает момент, когда у меня не остается не только сил, но и желания продлевать то, что после наслаждения сводится на нет, когда надо изобретать новые альтернативы или врываются события, которые позволяют истории не умереть, а мне — не отправиться спать после небрежного поцелуя или почти бесполезных слез. А Дилия не хотела, чтобы история кончалась, с первого ее жеста, когда я скользнул к ней и вместо обычного отпора почувствовал, что она устремилась навстречу мне, с первых взаимных ласк я понял: история только начинается, ночь в этой истории будет столь же долгой, как ночь, на протяжении которой я эту историю себе рассказываю. Только сейчас ничего не осталось, кроме слов, рассказывающих эту историю, таких слов, как «спички», «стоны», «сигареты», «смех», мольбы и просьбы, кофе на рассвете, сон, как в омуте, с проблесками, всплываниями и погружениями, с первым робким языком солнца в окошке, пришедшим лизнуть спину Дилии, вытянувшейся на мне, и ослепить меня, а я прижимаю ее к себе и чувствую, как она снова открывается мне навстречу.

Тут-то история и закончилась без притворных прощаний в ближайшем поселке, чем почти неизбежно все завершалось, из истории я перешел в сон, еще ощущая тело Дилии, тоже уснувшей на мне после блаженного вздоха; когда я прснулся, Ниагара говорила что-то о завтраке и о делах на вечер. Помню, я был почти готов рас-

сказать ей обо всем, но что-то меня остановило — словно бы рука Дилии возвращала меня в ночь и запрещала мне слова, которые бы все запятнали. Да-выспался-на-славу-конечно-в-шесть встречаемся на углу площади, чтобы повидаться с четой Марини.

В эти же дни мы узнали от Альфонсо, что мать Дилии очень больна и что Дилия поехала к ней в Никочеа, Альфонсо остался с ребенком, это принесло ему много хлопот, может, мы придем, когда вернется Дилия? Больная умерла через несколько дней, и целых два месяца Дилия никого не хотела видеть, а потом мы отправились к ним поужинать, прихватив коньяк и погремушку для малыша, все было как нельзя лучше, у Дилии уже была готова утка с апельсинами, а у Альфонсо — столик для игры в канасту. Ужин удался, как и следовало ожидать, Альфонсо и Дилия умеют жить, сперва они поведали о своем горе, но быстро покончили с этой темой, словно бы опустили занавес, чтобы вернуться к делам земным, к нашим обычным играм, не утратив ни такта, ни юмора, которые помогают приятно проводить время. Было поздно и коньячно, когда Дилия упомянула о поездке в Сан-Хуан, которую она предприняла, чтобы забыть хоть на время кончину матери и неурядицы с родственниками, которые так отравляют жизнь. Мне показалось, что рассказывала она для Альфонсо, хотя Альфонсо будто бы уже слышал это: он лишь любезно улыбался, подливая нам коньяк,— поломка автомобиля на горной пустынной дороге, ночь, бесконечное ожидание на обочине, где пугала каждая ночная птица, неизбежное возвращение детских страхов, огни грузовика, испуг, что водитель тоже испугается и пронесется мимо, ослепительные огни фар, пригвоздившие ее к скале, и уж после — сказочный скрип тормозов, теплая кабина, спуск под пустую болтовню, ненужную, но приносящую облегчение.

— Все это ее травмировало,— сказал Альфонсо.— Ты мне уже об этом рассказывала, милая, каждый раз я узнаю новые подробности о твоём избавлении, об этом святом Георгии в комбинезоне, спасающем тебя от злобного дракона ночи.

— Не так-то просто забыть,— сказала Дилия.— Все вспоминаю и вспоминаю, сама не знаю почему.

Возможно, и так, возможно, Дилия не знала почему, но я-то знал, я выпил коньяк залпом и налил снова — Альфонсо высоко поднял брови, удивленный этим резким



жестом, которого он прежде за мной не знал. В то же время его намеки были более чем прозрачными, дескать, почему бы Дилии хоть разок не довести рассказ до конца, первой-то частью он сыт по горло, но, уж наверно, есть и вторая, это настолько очевидно, настолько *ночевидно*, когда грузовик и все такое прочее,— чего уж там, а?

Я ушел в ванную и некоторое время старался не глядеть на себя в зеркало, чтобы, к своему ужасу, не увидеть там того, кем я был, когда рассказывал себе историю, которую почувствовал сегодня снова, на этот раз здесь, сейчас, в этот вечер, то, что начало медленно овладевать моим телом, то, о чем я никогда бы не помыслил на протяжении стольких лет, когда я и жена встречались с Дилией и Альфонсо, ходили на праздники, в кино, обменивались поцелуями в щеку. Сейчас все стало по-другому: была Дилия — но после того, желание — но по эту сторону, голос Дилии долетал до меня из гостинной, смех Дилии и Ниагары, которые подтрунивали над Альфонсо, над его постоянной ревностью. Было уже поздно, мы все еще пили коньяк, сварили последний кофе, сверху донесся плач младенца, и Дилия помчалась к нему, она принесла его, он был мокрый и замызганный, как поросенок, я перепеленаю его в ванной, и Альфонсо: валяй, потому что это выкраивало ему еще полчаса, чтобы поспорить с Ниагарой о преимуществах Виласа во встрече с Боргом, еще стопку, крошка, а мы неплохо подлечились, а?

Только не я,— я отправился в ванную, чтобы помочь Дилии, она положила сына на столик и начала искать смену в шкафчике. И вроде бы она знала наперед, что я скажу: Дилия, а ведь я знаю вторую часть, и я сказал ей, что этого не может быть, но вот ведь — знаю, а Дилия повернулась ко мне спиной и начала раздевать малыша, и я увидел, как она пригнулась, не только потому, что надо было раскрыть конверт и вытащить пеленку, а словно бы внезапно ее пригнула тяжесть, от которой она хотела освободиться и начала освобождаться, когда повернулась, глядя мне в глаза, и сказала: да, верно, я дура, и это не имеет никакого значения, но это так, я легла с шофером, скажи об этом Альфонсо, если хочешь, все равно он по-своему убежден, не верит, но уверен.

Так оно и было: я ничего не успел сказать, а она, сама не понимая почему, рассказала мне о том, о чем я ее не спрашивал, и ведь сказал я то, что она не могла понять по эту сторону истории. Я почувствовал, как мои

глаза, будто пальцы, спускаются от ее губ по шее, ищут ее грудь, которую облегал черная блузка, подобно тому как мои руки облегали их всю ночь,— всю эту историю. Я ощутил желание, похожее на сжатую пружину, на абсолютное право приблизиться к ней, найти под блузкой ее тело, заключить ее в объятия. Я увидел, как она повернулась, снова нагнулась, на этот раз с облегчением, освободившись от немоты, ловко убрала грязные пеленки, запах которых донесся до меня одновременно с мурлыканьем Дилии, уговаривавшей ребенка не плакать, я увидел ее руки, которые искали вату и засовывали ее между задранными ножками малыша, увидел, что ее руки обтирают его, вместо того чтобы протянуться ко мне, как они протягивались в темноте грузовика, столько раз выручавшего меня в историях, которые я рассказываю себе.

## КЛОН<sup>1</sup>

Все, похоже, вертится вокруг Джезуальдо, имел ли он право на содеянное или отомстил своей жене за собственную вину. Между двумя репетициями, спускаясь передохнуть в бар отеля, Паола спорит с Лучо и Роберто, остальные играют в канасту либо идут в свои номера. Прав был он, упорствует Роберто, с тех пор ничего не переменялось, жена обманывала его, вот он ее и убил, еще один партнер в танго, Паолита. Ты похабный врун, говорит Паола, еще один, ясное дело, но теперь есть женщины, которые сами сочиняют танго, и нельзя вечно петь одно и то же. Надо бы копнуть поглубже, робко вставляет Лучо, не так-то легко понять, почему изменяют и почему убивают. Возможно, так у вас в Чили, говорит Роберто, вы такие утонченные, но мы, мы из Ла-Риохи, сразу хватаемся за нож. Хохот, Паола заказывает джин с тоником, верно, надо бы забраться поглубже в историю, Карло Джезуальдо застал свою жену в постели с другим мужчиной и убил их или приказал убить, таково донесение полиции или flash<sup>2</sup> в половине первого, все остальное (а безусловно, в остальном и кроется подлинная суть) подлежит расследованию, а это нелегко спустя четыре века. О Джезуальдо написано немало, вспоминает Лучо, если тебе это так ин-

---

<sup>1</sup> Генетически одинаковое потомство одного организма.

<sup>2</sup> Flash — здесь: последнее экстренное сообщение в газете (англ.).

интересно, справься, когда мы в марте вернемся в Рим. Отличная мысль, соглашается Паола, но еще неизвестно, вернемся ли мы в Рим.

Роберто смотрит на нее молча, Лучо опускает голову и подзывает официанта — попросить еще выпивки. Ты имеешь в виду Сандро? — говорит Роберто, видя, что Паола опять размышляет о Джезуальдо либо следит за мухой, вьющейся под потолком. Да не специально Сандро, говорит Паола, но согласись, что положение теперь нелегкое. Все уладится, говорит Лучо, это одни только капризы и паясничанье, дальше Сандро не пойдет. Да, соглашается Роберто, но, пока суд да дело, наша группа платит за разбитую посуду, мы репетируем мало и плохо, и до добра это не доведет. Верно, говорит Лучо, мы поем вразброд, боимся осрамиться. Мы уже осрамылись в Каракасе, говорит Паола, слава богу еще, публика не знает Джезуальдо, фальшь Марио показала им гармонической дерзостью. Скверно будет, если такая штука приключится у нас с Монтеверди, выдавливая из себя Роберто, его все знают наизусть, че.

Невероятно, но факт: единственной прочной парой из всего нашего ансамбля были Франка с Марио. Поглядывая изредка на Марио — он беседовал с Сандро за партитурой и двумя кружками пива, — Паола подумала, что тем не менее эфемерные союзы, парочки на краткий срок для ансамбля, пожалуй, не характерны — разве что в какой-нибудь уик-энд Карен уединится с Лучо (или Карен с Лили, насчет Карен все догадывались, а Лили, может, по доброте душевной или желая разведать, с чем это едят, хотя Лили бывала и с Сандро, в конце концов и у Карен, и у Лили были широкие интересы). Да, надо признать, что единственно прочным союзом, вполне достойным этого названия, был союз Франки и Марио, с обручальным кольцом и всем прочим. Что же до нее, Паолы, она в Бергамо порой соглашалась на комнату в отеле — какая бы убогая там ни была обстановка — с Роберто в кровати, похожей на лебедя, быстрая интерлюдия без будущего, а дружба все та же, развлечение между двумя концертами, почти между двумя мадригалами, Карен и Лучо, Карен и Лили, Сандро и Лили. А дружба все та же, потому что подлинные пары составлялись в конце гастролей, в Буэнос-Айресе и Монтевидео, там ждали жены, и мужья, и дети,

и дома, и собаки до новых гастролей, жизнь моряков с ее неизбежными издержками, ничего особенного, люди современные. До определенной поры. Потому что с тех пор что-то изменилось. Не умею мыслить, подумала Паола, все разбивается вдребезги. Все мы слишком напряженно живем, damn it<sup>1</sup>. Так, по-другому посмотрев на Марио и Сандро, которые спорят о музыке, можно вообразить совсем иной спор. Но нет, об этом они не говорили, как раз об этом не говорили, это несомненно. В конце концов остается фактом, что единственная безупречная пара у них — это Марио и Франка, хотя наверняка не об этом спорили Марио и Сандро. А впрочем, может, иносказательно, все время иносказательно.

Втроем пойдут они на пляж Ипанема — вечером ансамбль будет петь в Рио, — надо воспользоваться случаем. Франке нравится гулять с Лучо, у них одинаковый взгляд на вещи, они щупают их не пальцами, а глазами, забавляются. Роберто присоединится к ним в последнюю минуту, жаль, он ко всему относится всерьез и разглагольствует как оратор, его оставят в тенишке читать «Таймс», а сами будут играть в мяч на песке, плавать и обмениваться мнениями, пока Роберто дремлет и в полусне объясняется с Сандро насчет того, что Сандро постепенно теряет контакт с ансамблем и что от его скрытого упрямства все страдают. Сейчас Франка бросит красно-белый мяч, Лучо кинется его перехватить, при каждом пасае будет дикий хохот, трудно сосредоточиться на «Таймсе», трудно сохранить равновесие, когда дирижер теряет контакт, как это случилось с Сандро, и не по вине Франки, конечно, это не ее вина, так же как не вина Франки, что мяч ударил по стаканам людей, пьющих пиво под тентом, и надо бежать к ним извиняться. Складывая «Таймс», Роберто вспомнит о разговоре с Паолой и Лучо в баре; да, если Марио не сделает решительного шага, не скажет Сандро, что Франка не меняет партнеров, все полетит к чертям; Сандро не только плохо дирижирует на репетициях, но даже поет плохо, теряет сосредоточенность, которая когда-то спланивала ансамбль, придавала ему единство и музыкальную выразительность, о чем часто писали рецензенты. Мяч в воде, Лучо бросается за ним первым, следом Франка ныряет в волну. Да, Марио должен понять (не может быть, чтобы он до сих пор не понял), что ансамбль полетит

---

<sup>1</sup> Черт побери (англ.).

ко всем чертям, если Марио не предпримет героических мер. Но в чем должно заключаться его геройство и какие это будут меры, если ничего не случилось, если никто не может сказать, что что-то случилось?

Начинаются подозрения, знаю, но что мне делать, если это как болезнь, если без боли и блаженства в то же время я не могу на нее глядеть, дать ей знак вступать, все вокруг дрожит и сыплется, как песок, ветер на сцене, река у моих ног. Ах, если бы дирижировал кто-нибудь другой, если бы дирижировали Карен или Роберто, а я бы мог раствориться в общем звучании, просто тенор среди других голосов, быть может, тогда, быть может, наконец. Теперь он всегда такой, говорит Паола, видит сны наяву, когда исполняется самый трудный из всех мадригалов Джезуальдо, где так легко сфальшивить, именно тогда он парит в облаках, тысяча чертей! Девчурка, говорит Лучо, порядочные женщины так не выражаются. Но какой выбрать предлог для замены, поговорить с Карен или с Роберто, вряд ли они согласятся, я дирижирую ими уже давно, так сразу не рвут, не говоря уж о технике. Вчера вечером было до того скверно, на минутку я даже испугался, что кто-нибудь скажет мне это в антракте, видно, они совсем выдохлись. Ты в своем праве вольничать, говорит Лучо. Да, в сущности, но это идиотизм, говорит Паола, Сандро самый одаренный из всех нас, без него мы не были бы тем, что есть. Тем, что были, бормочет Лучо.

Сейчас выдаются вечера, когда все будто бесконечно растягивается, древнее празднество — слегка скованное, прежде чем потонуть в ликовании каждой мелодии,— вместо которого все чаще приходится надевать перчатки, в бешенстве говорит Роберто, и выходить на ринг, зная, что тебе расквасят нос. Изысканные сравнения, комментирует Лучо, обращаясь к Паоле. Он прав, так-перетак, говорит Паола, для меня петь было все равно что любовью заниматься, а теперь наоборот, нудятина. Ишь ты, ну и сравнения, смеется Роберто, а ведь и правда, мы были другие; на днях читал научную фантастику и нашел то самое слово: мы были «клон». Чего? (Паола.) Понимаю тебя, понимаю, вздыхает Лучо, да, да, пение, и жизнь, и самые мысли были неким единством в восьми телах.

Как три мушкетера, спрашивает Паола, все за одного и один за всех? Именно, доченька, соглашается Роберто, но теперь это называют «клон» — оригинальнее. И пели и жили в унисон, бормочет Лучо, а теперь еле плетемся на репетицию и на концерт, какие-то бесконечные программы, бесконечные. Меня обуревают страх, говорит Паола, каждый раз думаю, что кто-нибудь опять собьется, гляжу на Сандро, словно он спасательный круг, а он, кретин, не сводит глаз с Франки, она же при любой возможности впиается взглядом в Марио. И хорошо делает, говорит Лучо, на него ей и надо смотреть. Конечно, хорошо, но все вот-вот полетит к чертям. Хуже то, что беда крадется тихой сапой, кораблекрушение в замедленной съемке, говорит Роберто.

С этим Джезуальдо они носились как маньяки. Любили его, ясное дело, ведь петь его мадригалы порой почти невозможно, и усилия надо было прилагать еще и для штудирования текстов, чтоб найти наилучшее единство стихов и мелодии, какими сотворил их князь Венозы в своей мрачной гениальной манере. Каждый голос, каждый оттенок должны были обрести то хрупкое равновесие, из которого и возникала бы сущность мадригала, а не одна из множества механических версий, какие они порой слушали на пластинках, чтобы сравнить, подучиться, стать немножко самим Джезуальдо, князем-убийцей, властителем музыки.

Тогда разгорались споры, заводилами почти всегда были Роберто и Паола, Лучо — умеренный, но стрелы его попадали в цель, у каждого свое восприятие Джезуальдо, трудно согласиться с мнением другого, хотя бы его трактовка и отклонялась совсем немного от желаемого. Роберто был прав: «клон» распадался, и с каждым днем все больше расходились отдельные его члены, бросая вызов другим; в конце Сандро, как всегда, приводил все к одному знаменателю, никто не возражал против его манеры интерпретировать Джезуальдо, кроме Карен и иногда Марио, на репетициях именно они предлагали изменения и находили недостатки, Карен с ядовитым ехидством против Сандро (старая несбывшаяся любовь, по мнению Паолы), Марио в полном блеске своих сравнений, примеров и законов музыки. Как в восходящей модуляции, конфликты длились часами до мировой сделки или внезапного согла-

сия. Каждый мадригал Дездемо, включаемый в репертуар, был новым поводом для столкновения, как бы отголоском той ночи, когда князь выхватил из ножен кинжал, увидав нагих спящих любовников.

Лили и Роберто слушают, как Сандро и Лучо блещут интеллектом после двух scotchs<sup>1</sup>. Речь идет о Бриттене и Веберне, но в конце все сводится к этому из Венезы, сегодня надо особенно выделить «O voi, troppo felici»<sup>2</sup> (Сандро) либо дать свободно течь зыбкой мелодии (Лучо). То «да», то «нет», и ради удовольствия обмен репликами и колкостями, как мячом в пинг-понге. Вот помотришь, когда будем репетировать (Сандро), может, нас ждет неудача (Лучо), хотел бы я знать почему, а Лучо уже на пределе, открывает рот, чтобы сказать то, что сказали бы и Роберто с Лили, если бы Роберто не смилился, смягчая слова Лучо, предлагая еще выпить, а Лили: да, еще, конечно, и побольше льда.

Но возвращается навязчивая идея, разновидность *captus firmus*<sup>3</sup>, вокруг которой вращается жизнь ансамбля. Сандро первый это чувствует, когда-то таким центром была музыка, а вокруг нее — светочи восьми жизней, восьми игр, восемь маленьких планет вокруг солнца Монтеверди, солнца Жоскена Дебре, солнца Дездемо. Тогда Франка мало-помалу поднимается в небо звуков, зеленые глаза ее внимательно ждут знака вступления, еле заметных ритмических указаний, не ведает она, что изменяет, невольно нарушает спаянность «клона»; мысли Роберто и Лили совпадают, а Лучо и Сандро уже спокойней относятся к вопросу о «O voi, troppo felici», ищут общий путь, ищут с тем пылом, который всегда появляется после третьего стакана виски.

Почему он убил ее? Так уж водится, говорит Роберто Лили, он застал ее в укромной спальне и в объятиях дру-

---

<sup>1</sup> Шотландских виски (англ.).

<sup>2</sup> О вы, слишком счастливые (итал.).

<sup>3</sup> Мелодия, неизменная в одном из голосов, как основа для сочетания других (лат.).

гого, как в танго Риверо; не долго думая, пронзил их кинжалом сам, а может, приказал своим палачам, а потом скрылся от мести братьев убитой и прятался в замках, где годами ткал изысканную паутину мадригалов. Роберто и Лили развлекаются, придумывая варианты драматические и эротические, они по горло сыты проблемой «O voi, troppo felici», которая со знанием дела обсуждается на соседнем диване. По всему чувствуется, Сандро понял, что хотел сказать ему Лучо: если репетиции будут продолжаться на таком уровне, как сейчас, исполнение станет с каждым разом все более механическим и, хоть не отступят они ни на йоту от партитуры и текста, это будет Карло Джезуальдо без любви и без ревности, без кинжала и отщепенца — всего лишь старательный сочинитель мадригалов среди множества ему подобных.

— Порепетируем с тобой, — предложит, наверное, Сандро на следующее утро. — Взаправду будет лучше, если дирижировать будешь ты, Лучо.

— Не морочьте голову, — скажет Роберто.

— Вот именно, — скажет Лили.

— Да, порепетируем с тобой, поглядим, что получится, и, если остальные согласятся, ты нас возглавишь.

— Нет, — скажет Лучо; он покраснел и ненавидит сам себя за то, что покраснел.

— Дело не в том, чтобы сменить дирижера, — скажет Роберто.

— Ясное дело, нет, — скажет Лили.

— Просто ты способней, — скажет Сандро, — и так будет лучше для нас всех.

— Как бы там ни было, я отказываюсь, — скажет Лучо. — Не вижу себя в этой роли, как хочешь. У меня, как у всякого, есть свои идеи, но границы своих возможностей я знаю.

— Прелесть этот чилиец, — скажет Роберто.

— Прелесть, — скажет Лили.

— Решайте сами, — скажет Сандро, — я иду спать.

— Утро вечера мудренее, — скажет Роберто.

Он поискал его после концерта, не то чтобы дело было плохо, но снова эта скованность, явная угроза опасности, ошибки; Карен и Паола поют без воодушевления, Лили бледна, Франка почти не смотрит на него, мужчины сосредоточены и в то же время как бы отсут-



ствуют; все его внимание поглощено голосом, он дирижирует хладнокровно, но по мере исполнения программы его обуревают страх, гондурасская публика в восторге, но от этого не проходит какой-то неприятный привкус во рту, вот почему после концерта он стал искать Лучо, и в баре отеля с Карен, Марио, Роберто и Лили они пили почти молча на сон грядущий, развлекаясь пошлыми старыми анекдотами; Карен и Марио скоро ушли, но Лучо, казалось, не мог расстаться с Лили и Роберто, пришлось ему, хоть и поневоле, остаться, потягивая из спасительного стакана. В конце-то концов, лучше, что мы опять такие, как в прошлый раз, сказал Сандро, словно опрометью бросаясь в воду; я искал тебя, чтобы снова предложить то, о чем говорил. Ох, отрезал Лучо, но я повторяю свой отказ. Роберто и Лили подхватывают с готовностью, возможны варианты, на Лучо клином свет не сошелся. Как хотите, мне все равно, сказал Сандро, одним глотком выпивая виски, поговорите между собой, потом сообщите решение. Я — за Лучо. Я — за Марио, сказал Лучо. Сейчас мы не голосуем, какого черта (Роберто раздражен, и это передается Лили). Решено, время у нас есть, следующий концерт в Буэнос-Айресе через две недели. Я заскочу в Ла-Риоху повидаться со старухой (Роберто, а Лили: мне надо купить сумку). Ты меня ищешь, чтобы предложить мне это, говорит Лучо, ладно, но такое дело требует объяснений, здесь у каждого собственная теория, у тебя тоже, разумеется, пора выложить карты на стол. Во всяком случае, не сегодня вечером, постановил Роберто за Лили, конечно, умираю хочу спать, а Сандро, бледный, невидящими глазами уставился на пустой стакан.

«Теперь скандал не на шутку,— подумала Паола после путаных объяснений и совещаний с Карен, Роберто и еще кем-то; следующего концерта нам не выдержать, тем более что он в Буэнос-Айресе, и, чуется мое сердце, там мы провалимся, ну ничего, как-нибудь поддержит семья, а на худой конец стану жить с мамой и сестрой в ожидании лучшего».

«У каждого, должно быть, своя идея,— подумал Лучо, который без лишних слов прощупал почву повсюду.— Каждый все истолкует на свой манер, раз нет единства «клона», как сказал бы Роберто, но в Буэнос-Айресе

обожем крылышки, чутье мне подсказывает. На этот раз чаша переполнилась».

Cherchez la femme. La femme? <sup>1</sup> Роберто знает, что правильной искать мужа, если хочешь найти что-нибудь незыблемое и верное; Франка, как всегда, ускользнет, гибкими движениями рыбы в аквариуме, быстрые взгляды огромных невинных зеленых глаз, в конце концов она, кажется, ни в чем не виновата, и тогда надо искать и найти Марио. В сигарном дыму Марио почти улыбается, да, старый друг имеет все права, ну конечно, угадал, началось в Брюсселе полгода назад, Франка сразу мне рассказала. А ты? Роберто из Ла-Риохи вонзает острие ножа. Ба, я не в счет, я Марио — спокойный, мудрый знаток тропических сигар и огромных зеленых глаз, я ничего не могу поделать, старина, раз уж сошлись, значит, сошлись. «Но она», — хотел бы сказать Роберто, однако не говорит.

А вот Паола говорит, и кто остановит Паолу на ее пути к истине? Она тоже разыскала Марио (они приехали в Буэнос-Айрес накануне, оставалась неделя до сольного концерта, первая репетиция после перерыва была вялой и неинтересной, Жанекен, Дезуальдо, ох, тошно). Сделай что-нибудь, Марио, не знаю что, но сделай. Единственно возможное — не делать ничего, сказал Марио; коли Лучо отказывается дирижировать, я не вижу, кто мог бы заменить Сандро. Ты, черт тебя подери! Да, но не стану. Тогда, надо думать, ты это делаешь нарочно, закричала Паола, мало того, что даешь водить себя за нос, ты еще всех нас бросаешь на произвол судьбы. Не ори, говорит Марио, я отлично слышу тебя, поверь.

Все так и было, как я рассказываю, я крикнула ему прямо в лицо, и ты видишь, что отвечает мне этот сукин сын. Тише, девочка, говорит Роберто, рогоносец — дрянное слово, если ты отпустишь его на мой счет, тебе достанется. Это у меня невольно вырвалось, робко оправдывается Паола, никто не знает, спят ли они, и в конце концов разница невелика: ложиться ли в пос-

---

<sup>1</sup> Ищите женщину. Женщину? (франц.)

тель или с похотью смотреть друг на друга в разгар концерта, дело совсем в другом. Тут ты не права, говорит Роберто, этот идиот вонючий, Сандро, и впрямь на нее смотрит, теряет голову, летит как бабочка на огонь, а Франка не виновата, что он на нее пялится, как только она оказывается перед ним. Но Марио, настаивает Паола, как он может это терпеть! Он ей доверяет, полагаю, говорит Роберто, и он-то уж влюблен по уши, ему не нужно ни пялиться на нее, ни строить томные мины. Допустим, соглашается Паола, но почему он отказывается дирижировать, когда Сандро первым согласился, когда Лучо сам его просил и мы все просили.

Если месть — искусство, надо стремиться к таким ее формам, которые придадут ей большую утонченность. «Любопытно,— думает Марио,— человек, способный воспринять мир звуков, рожденный мадригалами, мстит жестоко, словно какой-нибудь мужлан, когда в его власти ткать изысканную паутину, завлекать в нее жертвы, медленно высасывать из них кровь, превращать в мадригалы недельную или месячную муку». Он смотрит на Паолу, повторяющую пассаж из «Poichè l'avida sete...»<sup>1</sup>, и дружески улыбается ей. Он отлично знает, почему Паола снова заговорила о Джезуальдо, почему все, за немногим исключением, смотрят на него, когда речь идет о Джезуальдо, опускают глаза, меняют тему. «Sete», говорит он ей, не налегай так на «sete», Паолита, жажда будет ощущаться сильнее, если ты произнесешь это слово тихо. Не забывай об эпохе, о тогдашней любви к умолчаниям, о сильных страстях.

Видели, как они вместе вышли из отеля, Марио обнимал Франку за плечи, Лучо и Роберто следили из бара, как они медленно удаляются, рука Франки обвивала талию Марио, а он слегка поворачивал голову, обращаясь к ней. Они взяли такси — поток машин городского центра поглотил их как удав.

— Не понимаю, старина,— сказал Роберто Лучо,— ничего не понимаю, кланусь.

— Кому ты говоришь, приятель!

---

<sup>1</sup> «Ибо неутолимая жажда...» (итал.)

— Никогда еще это не было так явно, как сегодня утром, прямо в глаза бросалось, только слепой не заметил бы жалких потуг Сандро, этот болван слишком поздно спохватился, что ему надо притворяться, а она — напротив — впервые пела для него, и только для него.

— Карен обратила мое внимание, ты прав, на этот раз она смотрела на него, пожирала его глазами, а уж эти глаза многое смогут, если полюбят.

— Итак, ты видишь,— сказал Роберто,— с одной стороны, у нас самый плачевный разброд, какого не было с тех пор, как мы начали выступать, и это за шесть часов до концерта, и какого концерта, там не простят, ты знаешь. И еще совершенно очевидно, что дело было, я это чувствую всей кровью, всеми печенками, от меня такое никогда не ускользало.

— Слово в слово то же сказали Карен и Паола, за исключением печенок,— сказал Лучо.— Я, наверно, менее сексуален, чем все вы, но и у меня не остается сомнений.

— А с другой стороны, вот вам Марио, такой довольный, ходит с ней по магазинам и кабаре, примерная супружеская пара.

— Не может быть, чтобы он не знал.

— И позволял ей, как дешевой шлюхе, делать авансы.

— Полно, Роберто.

— Да какого черта, чилиец, дай мне по крайней мере душу облегчить!

— На здоровье,— сказал Лучо.— Это необходимо перед концертом.

— Концерт,— сказал Роберто.— Да, от него никуда не денешься.

Они переглянулись, как и следовало ожидать, пожали плечами и достали сигареты.

Никто их не увидит, но все равно им будет не по себе, когда они встретятся в вестибюле, Лили посмотрит на Сандро, будто хочет что-то сказать, но не решается, она остановится у витрины, а Сандро, небрежно махнув рукой в знак приветствия, вернется к табачному киоску и попросит «Кэмел», почувствует на затылке взгляд Лили, расплатится и направится к лифтам, Лили отойдет от витрины и поравняется с ним, будто шагнув из другого времени, из былой мимолетной встречи, которую она

теперь вновь с грустью переживает. Сандро пробормочет «как дела», опустит глаза, распечатывая пачку сигарет. Из кабины лифта он увидит, как она остановится у входа в бар, обернется к нему. Он деловито зажжет сигарету и поднимется одеться для концерта, Лили подойдет к стойке и закажет коньяк, который не стоит пить в этот час, как не стоит курить две сигареты подряд, когда тебя ждут пятнадцать мадригалов.

Как всегда в Буэнос-Айресе, друзей полно, и не только в партере, но и в уборных и за кулисами, встречи, приветствия, хлопки по плечу, наконец-то вы у нас, братцы, Паолита, как ты похорошела, представляю тебе матушку моего жениха, а ты, Роберто, чересчур располнел, привет, Сандро, я читал рецензии в мексиканских газетах, потрясающе; шум полного зала, Марио приветствует старого друга, который справляется о Франке, она где-нибудь здесь, публика постепенно затихает на своих местах, осталось десять минут, Сандро собирает всех неторопливым жестом, Лучо с трудом отделяется от двух назойливых чилиек, коллекционирующих автографы, Лили почти бежит, они очень милы, но нельзя же болтать со всеми, Лучо рядом с Роберто, окидывает его взглядом и вдруг ошарашивает новостью, и почти в ту же минуту Карен и Паола хватились Франки, ансамбль на сцене, но куда же подевалась Франка, Роберто спрашивает Марио, и Марио: почему я знаю, я оставил ее в центре, в семь часов; Паола: где же Франка? за ней — Лили и Карен, Сандро смотрит на Марио, говорю тебе, она возвращалась одна, вот-вот явится, осталось пять минут, Сандро направляется к Марио мимо молчаливого Роберто, ты должен знать, что происходит, а Марио: я тебе сказал, не знаю, он бледен и рассеян, распорядитель обращается к Сандро и Лучо, бегодня в кулисах, ее нет, сеньор, никто ее не видел, Пасла закрывает лицо и сгибается, словно к горлу подступает рвота, Карен ее поддерживает, а Лучо: ради бога, Паола, возьми себя в руки, осталось две минуты, Роберто смотрит на Марио, молчаливого и бледного, наверно, таким молчаливым и бледным вышел Джезуальдо из спальни, пять его мадригалов в программе, нетерпеливые аплодисменты, а занавес все еще опущен, ее нет, сеньор, мы все обыскали, она не приходила в театр, Роберто вклинивается между Сандро и Марио, это твоих рук дело, где Франка, вопит он, сдержанный ропот по ту сторону занавеса,

дрожащий импресарио выходит к рампе, дамы и господа, минутку терпения, пожалуйста, истерический крик Паолы, Лучо изо всех сил удерживает ее, а Карен отворачивается, удаляется шаг за шагом, Сандро отбивается от Роберто, который трясет его как соломенное чучело, и смотрит на бледного неподвижного Марио, Роберто наконец понимает, что это должно было случиться здесь, здесь, в Буэнос-Айресе, вот Марио, а концерта больше не будет, никогда не будет, последний мадригал они поют в пустоту, поют без Франки, поют для публики, которая их не слушает и начинает в замешательстве расходиться.

*Примечание к теме, предложенной королем, и мести князя*

Когда наступает момент, я пишу не задумываясь, как под диктовку; поэтому время от времени я ставлю себе жесткие рамки, словно выбираю вариант, который в конце концов оказывается единственным. В данном рассказе задача заключалась в том, чтобы упорядочить еще не созданное произведение, взяв за образец «Музыкальное приношение» Иоганна Себастьяна Баха.

Как известно, тема для этой серии вариаций в форме канона и фуги была предложена Баху Фридрихом Великим, причем композитор, исполнив экспромтом одну фугу на эту тему — невыигрышную и трудную, — написал затем «Музыкальное приношение», где королевская тема разрабатывается более разнообразно и полно. Бах указал инструменты, для которых был создан опус, только в «Трио-сонате»: для флейты, скрипки и клавесина; в дальнейшем даже порядок частей стал зависеть от произвола музыкантов, играющих произведение. Вот почему я воспользовался трактовкой Миллисент Сильвер для восьми инструментов времен Баха, которая позволяет следить за всеми деталями и пассажами и была записана на пластинку «Сага Х1D 5237» лондонским ансамблем «Харпсихорд».

Избрав эту версию (или же после того, как она избрала меня, ведь, пока я ее слушал, мне пришла в голову идея рассказа, который подошел бы к ее звучанию), я отложил ее: поспешность вредит творчеству, а полузабвение, рассеянность, сны и неожиданные происшествия незаметно ткут свой будущий узор. Я отправился к морю,

захватив фотокопию конверта пластинки, где Фредерик Юенс анализирует части «Музыкального приношения»; как бы ощупью я сочинил рассказ, но он тут же показался мне слишком заумным. Правила игры были жесткими: восемь инструментов следовало представить восемью персонажами, восемь звуковых зарисовок должны были — перекликаясь, чередуясь или противопоставляя себя друг другу — найти отражение в чувствах, поведении и отношениях восьми человек. Сочинять литературный дубль лондонского ансамбля «Харпсихорд» показалось мне глупым, если скрипач или флейтист не следуют в частной жизни исполняемым музыкальным темам; но в то же время понятие сообщества, содружества должно было существовать с самого начала, учитывая, что маленький рассказ не вместит восемь персонажей, если они не были связаны какими-либо узами *до* повествования. Случайный разговор привел мне на память образ Карло Дездемалдо, гениального сочинителя мадригалов и убийцы своей жены; все заварилось в одну секунду, и восемь инструментов претворились в участников вокального ансамбля; с первой фразы уже существовало сообщество: все члены его были между собой знакомы, любили или ненавидели друг друга прежде; кроме того, они, конечно, пели мадригалы Дездемалдо, положение обязывает. Вообразить драматическое действие в таком контексте было нетрудно, оно подчинялось бы смене ритмов «Музыкального приношения» и содержало бы вызов, я хочу сказать, сулило наслаждение, которое всего важнее для писателя.

Без этой литературной кухни нельзя обойтись, и глубинные хитросплетения обнаружались бы в свое время, как и бывает почти всегда. Для начала восьми инструментам Миллисент Сильвер соответствовали восемь певцов, чьи голосовые регистры соотносились аналогично инструментам. Вот что получилось:

Флейта: Сандро, тенор.

Скрипка: Лучо, тенор.

Гобой: Франка, сопрано.

Английский рожок: Карен, меццо-сопрано.

Альт: Паола, контральто.

Виолончель: Роберто, баритон.

Фагот: Марио, бас.

Клавесин: Лили, сопрано.

Персонажи воплотились в неких латиноамериканцев,

обретающихся в Буэнос-Айресе, где они дали бы заключительный концерт после длительных гастролей по разным странам. Они начинали переживать кризис, пока еще неясный (скорее для меня, чем для них), явной пока была лишь трещина, которая исподволь разрушала единство этого ансамбля, исполняющего мадригалы. Первые строки я написал наобум — я не изменил их, никогда я не менял неопределенное начало стольких моих писаний, это было бы наихудшей изменой моему писательскому делу, — но я тут же понял, что нельзя подогнуть рассказ к «Музыкальному приношению», не указав точно, какие инструменты, то есть какие персонажи, участвовали бы в каждом отрывке до самого конца. Тогда, по вдохновению, которое, к счастью, меня не покинуло, я увидел, что в последнем фрагменте персонажей должно было стать *на одного меньше*. Именно из-за этого одного на первых, уже написанных страницах образовалась трещина, расколовшая единство того, что другой персонаж обозначил как «клон». В один миг насильственное исчезновение Франки и история Карло Джезуальдо, все время бывшая в подтексте моего сочинения, сплелись воедино — так муха попадает в паутину. Я мог продолжать, все было предreshено с самого начала.

О написанном, каким оно получилось: фрагменты расположены в том порядке, в каком Миллисент Сильвер взяла их для «Музыкального приношения»; развитие каждого отрывка уподобляется музыкальной форме (канон, трио-соната, каноническая фуга и т. д.) и содержит лишь персонажей, заменяющих инструменты, причем все исполнители — наивысшего класса. Итак, будет полезно (полезно для любопытных, но всякий любопытный обычно бывает полезен) указать здесь части, как их перечисляет Фредерик Юенс, с инструментами, выбранными госпожой Сильвер:

«Терцет»: скрипка, альт и виолончель.

«Бесконечный канон»: флейта, альт и фагот.

«Канон в унисон»: скрипка, гобой и виолончель.

«Канон в обращении»: флейта, скрипка и альт.

«Канон в увеличении и в обращении»: скрипка, альт и виолончель.

«Двухголосный канон, восходящий по тонам»: флейта, английский рожок, фагот, скрипка, альт и виолончель.



«Трио-соната»: флейта, скрипка и continuo (виолончель и клавесин):

- 1) Largo
- 2) Allegro
- 3) Andante
- 4) Allegro.

«Бесконечный канон»: флейта, скрипка и continuo.

«Канон ракоходный»: скрипка и альт.

«Канон загадочный»:

- а) Фагот и виолончель
- б) Альт и фагот
- с) Альт и виолончель
- д) Альт и фагот.

«Канон четырехголосный»: скрипка, гобой, виолончель и фагот.

«Фуга каноническая»: флейта и клавесин.

«Секстет»: флейта, английский рожок, фагот, скрипка, альт и виолончель, в сопровождении клавесина.

(В финале, озаглавленном «Секстет», клавесин, исполняющий continuo, является седьмым участником.)

Поскольку это примечание почти такое же пространное, как сам рассказ, я без угрызений совести продолжу его. Я полнейший профан насчет вокальных ансамблей, и профессионалы власть надо мной посмеются. Почти все свои знания о музыке и музыкантах я почерпнул из объяснений на конвертах пластинок, каковые читаю очень старательно и с пользой. Оттуда же взяты параллели с Дезюальдо, чьи мадригалы я слушаю с незапамятных пор. Он убил свою жену, это точно; о других возможных ассоциациях следует спросить у Марио.

Из книги

## «ВНЕ ВРЕМЕНИ»

### САТАРСА

*Воля не манна: ан на меня лов.*

Чтоб определиться и решить, что делать, Лосано прибегает к уловкам вроде теперешней: *atar a la rata* — «связать крысу», очередной банальный и навязчивый палиндром, он всегда был одержим этими играми и относится к ним по-особенному, ибо воспринимает все на манер зеркала, которое лжет и в то же время говорит правду, говорит ему правду, потому что показывает его правое ухо, но и лжет, так как Лаура или кто другой увидят правое ухо Лосано как левое, хотя тут же признают в нем правое; они просто видят его слева — мысленная поправка, на которую не способно ни одно зеркало, и поэтому оно говорит Лосано правду и ложь, и это издавна приучило его думать как перед зеркалом; и если *atar a la rata* не дает ему ничего нового, то стоит задуматься над вариантами, и тогда Лосано замирает, уставившись в пол, и предоставляет словам играть, а сам подстерегает их, как охотники из Калагасты подстерегают гигантских крыс, чтоб схватить их живьем.

Он может продолжать в таком духе часами, но сейчас о крысах приходится думать всерьез и не остается времени на то, чтоб погрузиться в варианты. Эта почти нарочитая ненормальность его не пугает, порой он пожимает плечами, словно желая стряхнуть с себя нечто, чего объяснить не умеет; с Лаурой он привык говорить о крысах как о чем-то вполне естественном, и ведь действительно, охота на крыс в Калагасте — обычная штука, охота на крыс с Йарара и мулатом Иллой. Этим

же вечером им придется вновь поехать к северным холмам, потому что скоро опять будут отправлять крыс, и эту возможность нужно использовать полностью, в Калагасте все это знают, и жители устраивают облавы в горах, не приближаясь, впрочем, к холмам; и крысы, конечно, тоже знают об этом, и с каждым разом все труднее становится поджидать и ловить их живьем.

По всем этим причинам Лосано отнюдь не кажется странным, что люди в Калагасте живут теперь почти одной охотой на гигантских крыс; он готовит арканы из тонкой кожи, когда ему приходит на ум этот палиндром — *atar a la gata*; замерев с арканом в руке, глядя на Лауру, которая стряпает, напевая вполголоса, он думает о том, что палиндром лжет и говорит правду, как и все зеркала; конечно же, нужно связать крысу — это единственный способ держать их живыми, пока не рассуешь по клеткам и не передашь Порсене, который грузит их в машину, идущую по четвергам на побережье, где ждет пароход. Но ведь это и ложь, потому что никому еще не удавалось связать гигантскую крысу, разве что в переносном смысле, — схватив за шею рогаатиной и затягивая петлю аркана, пока не забросишь ее в клетку, держа руки подальше от кровавой пасти и когтей, полосующих воздух, как осколки стекла. Никто и никогда не свяжет крысу, тем более после той лунной ночи, когда Илла, Йарара и остальные почувствовали, что крысы меняют тактику, становятся все опаснее, невидимые, скрытые в убежищах, которыми раньше не пользовались, и что ловить их будет с каждым разом все труднее, поскольку крысы теперь их знают и даже им угрожают.

— Еще три или четыре месяца, — говорит Лосано Лауре, которая ставит тарелки на стол под навесом у ранчо. — А потом сможем перебраться на ту сторону, похоже, там стало потише.

— Возможно, — отвечает Лаура, — но лучше вперед не загадывать, сколько раз мы уже ошибались.

— Да. Но не останемся же мы здесь навсегда охотиться на крыс.

— Уж лучше так, чем перебраться на ту сторону и самим стать крысами для тех.

Лосано смеется, затягивает другой узел. Им, конечно, не так уж плохо, Порсена платит за крыс поштучно, и этим живут здесь все, пока будет на них охота, будет

и еда в Калагасте, датская компания, присылающая из Копенгагена суда, с каждым разом требует все больше крыс, Порсена считает, что они используют их для лабораторных опытов по генетике. Хоть на это стодятся, говорит иногда Лаура.

Из колыбели, которую Лосано смастерил из пустого ящика от пива, доносится первый протест Лауриты. Лосано зовет ее хронометром, хныканье всегда раздается именно в ту минуту, когда Лаура кончает готовить еду и натягивает на бутылочку соску. С Лауритой им и часы ни к чему, она указывает время точнее, чем сигналы по радио, со смехом говорит Лаура, берет ее на руки и подносит бутылочку с соской; Лаурита улыбается, у нее зеленые глаза, и обрубок правой руки похлопывает по ладони левой, как по барабану, крошечное розовое предплечье заканчивается гладкой полусферой кожи; доктор Фуэнтес (который вовсе не доктор, но в Калагасте это не важно) сработал отлично, и шрама почти не видно, словно у Лауриты и не было никогда руки, руки, которую сожрали крысы, когда жители Калагасты стали охотиться на них за деньги, что платили датчане, и крысы отступали до тех пор, пока однажды не бросились в контратаку, яростное ночное вторжение вызвало паническое бегство, это была открытая война, после которой многие отказались от охоты на крыс, перебивались кое-как при помощи капканов и ружей, стали опять сажать маниоку или уходили на работу в другие селенья в горах. Но остальные продолжали охотиться, Порсена платил поштучно, и грузовик отправлялся на побережье каждый четверг; Лосано первый сказал, что не бросит охоту, сказал прямо здесь, на ранчо, пока Порсена разглядывал крысу, которую Лосано забил сапогами, в то время как Лаура мчалась с Лауритой к доктору Фуэнтесу, но уже ничего нельзя было сделать, только отрезать искалеченную часть руки, оставив этот безупречный шрам, чтобы Лаурита могла придумать свой барабанчик, свою нешумную игру.

Мулата Иллу не тревожит, что Лосано играет словами, с ума каждый сходит по-своему, думает он, но его настораживает то, что Лосано увлекается и начинает требовать, чтобы все вокруг подстраивались под его игры, чтобы Илла, Йарара и Лаура следовали за ним и в этом, как следовали во многом другом со времени бегства по

северным ущельям после резни. Все эти годы, думает Илла,— и не сказать уже «недели» или «года» — все было зеленым, бесконечным: сельва, с ее собственным временем без солнца и звезд, а потом ущелья, время красноватого оттенка, время камня, стремнин и голода, прежде всего голода; начиная считать те дни и недели, он словно чувствовал еще больший голод, голод-долог — как-то сказал Лосано; тогда они пробирались вчетвером, сначала — впятером, но Риос сорвался в пропасть, а Лаура едва не померла от холода на склоне, она была уже на шестом месяце и уставала мгновенно, поди узнай, сколько они проторчали там, отогревая ее костерками из сухой травы, пока она не смогла идти; порой Илла снова видит Лосано, несущего на руках Лауру, которая сопротивляется, говорит, что хватит уже, что она уже может идти, все дальше на север, до той самой ночи, когда они увидели огоньки Калагасты и поняли, что теперь все будет хорошо и они поедят на каком-нибудь ранчо, даже если потом на них донесут и первый же вертолет их прикончит. Но никто не донес, тут не знали даже возможных причин для доноса, тут все помирили с голоду, как они, пока кто-то не обнаружил у холмов гигантских крыс, а Порсена не удумал послать на побережье образчик.

— *Atar a la rata* — это всего лишь *atar a la rata*,— говорит Лосано.— Здесь только у д а л ь л а д у, но нет никакой силы, потому что это не дает ничего нового и, кроме того, крысу никто не может связать. Приходишь к тому, с чего начал, вот она — вечная заковырка с палиндромами.

— Ага,— поддакивает мулат Илла.

— Но стоит прикинуть во множественном числе, как все меняется. *Atar a las ratas* — это не то же, что *atar a la rata*.

— Особой разницы не видать.

— Потому что уже не годится как палиндром,— продолжает Лосано.— Стоит поставить во множественном, как все меняется, получается нечто новое, это уже не зеркало или совсем иное зеркало, которое показывает тебе что-то, чего ты не знал.

— Ну и что в этом нового?

— А то, что *atar a las ratas* дает *Satarsa la rata* — крыса Сатарса.

— Сатарса?

— Это имя, но все имена обособляют и определяют. Теперь известно, что есть крыса по имени Сатарса. У них, конечно, у всех есть имена, но теперь есть одна, которую зовут Сатарса.

— Ну и что тебе это дает?

— Пока не знаю, но я продолжаю. Ночью я решил попробовать наоборот: переиграть «связать» на «развязать». И когда я подумал о том, чтоб развязать их — *desatarlas*, — я прочел слово с конца, и это дало *sal, gata, sed* — «соль», «крыса», «жажда». Совсем новые вещи, гляди-ка, — жажда и соль.

— Не такие уж новые, — откликается издали Йара-ра. — Разве что встречаются на пару.

— Положим, — говорит Лосано, — но они подсказывают путь, возможно, это единственный способ разом покончить с крысами. Так, через игру: палиндром — и ни морд, ни лап!

— Не стоит так быстро кончать с ними, — смеется Илла. — На что мы тогда будем жить?

Лаура приносит первый мате, замирает, легонько прислонившись к плечу Лосано. Мулат Илла опять думает о том, что Лосано чересчур увлекается этими играми, что как-нибудь он зарвется, перегнет палку, и все тогда полетит к чертям.

Лосано также размышляет, готовя арканы из кожи, и, когда они остаются одни с Лаурой и Лауритой, заговаривает с ними, говорит, обращаясь к обеим, словно Лаурита тоже его понимает, и Лауре приятно, что он включает и дочь в разговор, что они втроем чувствуют себя ближе друг другу, пока Лосано рассказывает им о Сатарсе и о том, как посолить воду, чтобы покончить с крысами.

— Чтобы связать их по-настоящему, — смеется Лосано. — Любопытно, в первом палиндроме, который я узнал в своей жизни, уже говорилось о веревке, не знаю, кто там имелся в виду, но, может, уже тогда это была Сатарса.

— Кажется, ты говорил мне об этом в Мендосе, я уже подзабыла.

— Маниа — как веревка каинам, — произносит Лосано размеренно, почти нареспев, для Лауриты,

которая заливается смехом в колыбельке и играет со своим белым пончо.

Лаура соглашается, в этом палиндроме и впрямь говорится о веревке, но в качестве ее здесь фигурирует мания, которая вдобавок приписывается Каину и ему подобным.

— А-а,— бросает Лосано,— вечные условности, чистенькая совесть во всей истории от начала времен, хороший Авель и плохой Каин, как в старых ковбойских фильмах.

— Про парня и бандита,— почти ностальгически вспоминает Лаура.

— Впрочем, если б создателя этого палиндрома звали Бодлер, маниакальность — читай: демоничность — не имела бы отрицательного значения, совсем наоборот. Помнишь?

— Немного,— говорит Лаура.— Род Авеля, ешь, пей и спи, господь внимает тебе благосклонный.

— Род Каина, пресмыкаясь живите, и в подлости мрите в трясилах.

— Да, а в одном месте говорится что-то вроде: Род Авеля, прах твой удобрит дымящуюся землю, а потом: Род Каина, дорогами влачи в отчаянии семьи, кажется, так...

— Пока крысы не пожрут твоих детей,— почти неслышно заканчивает Лосано.

Лаура прячет лицо в ладонях, она так давно научилась плакать беззвучно и знает, что Лосано не станет ее утешать, а вот Лаурита — да, Лаурите кажется забавным этот жест, и она смеется, пока Лаура не опускает рук и не корчит заговорщицкую мину. Наступает время мате.

Йарара считает, что мулат Илла прав, что как-нибудь блажь Лосано положит конец этой отсрочке, во время которой они хотя бы вне опасности, по крайней мере живут с людьми в Калагасте, хоть и не двигаются с места, ибо это единственное, что им остается в ожидании, пока время немного вытравит воспоминания о той стороне и пока те, с другой стороны, тоже подзабудут, что не смогли схватить их и что в каком-нибудь затерянном месте они еще живы и потому виновны и потому назначена цена за их головы, в том числе и за голову бедного

Риоса, сорвавшегoся с откоса уже столько времени тому назад.

— Все дело в том, чтоб не идти у него на поводу,— размышляет Илла вслух.— Не знаю, для меня он всегда — главный, есть в нем это, понимаешь, уж не знаю, что именно, только есть, и этого мне достаточно.

— У него заскок от учебы,— говорит Йарара.— Вечно думает о чем-то или читает, оттого вся беда.

— Может быть. Не пойму, в чем тут дело, Лаура тоже ходила на факультет, а ведь с ней все в порядке. Я думаю, это не от учебы, он бесится оттого, что мы торчим в этой дыре, да еще из-за того, что случилось с Лауритой, бедная девчушка.

— Отомстить,— говорит Йарара.— Отомстить — вот чего он хочет.

— Все мы хотим отомстить, одни — солдатне, другие — крысам, где уж тут иметь трезвую голову.

Илла вдруг понимает, что блажь Лосано ничего не меняет, что крысы продолжают существовать и ловить их совсем не просто, что жители Калагасты не рискуют заходить далеко, потому что помнят истории со скелетом старика Мильяна и с рукой Лауриты. Но даже и они помешаны на этих крысах, особенно Порсена со своим грузовиком и клетками, а те, с побережья, и датчане,— те уж и вовсе психи, швыряют деньги на крыс, поди узнай зачем. Так не может долго продолжаться, любой дури порою приходит конец, Лосано сам однажды сказал: событие — и ты бос, и тогда снова голод, в лучшем случае — маниока, мрущие дети со вздутыми животами. А потому уж лучше и вправду быть психами.

— Уж лучше быть психами,— говорит Илла, и Йарара глядит на него с удивлением, а потом смеется, почти соглашаясь:

— Главное — не идти у него на поводу, когда он заводится с этой Сатарсой и солью и прочими штуками, все одно ничего не изменишь, а он всегда будет лучшим охотником.

— Восемьдесят две крысы,— говорит Илла.— Он побил рекорд Хуана Лопеса, у того было семьдесят восемь.

— Не трави душу,— отзывается Йарара,— я вон едва тридцать пять набираю.

— Вот видишь,— говорит Илла,— видишь, во всем, с какой стороны ни глянь, первым всегда будет он.



Никогда не узнаешь толком, откуда берутся новости; вдруг оказывается, что в лавке турка Абада кто-то о чем-то сообщил, источник называют редко, но люди здесь живут так обособленно, что вести для них как порыв западного ветра, только и приносящего немного свежести и временами дождя,— ветра редкого, как новости, и слабого, как дождь, что едва ли спасет посевы, всегда желтые, всегда чахлые. Новость, даже плохая, помогает не падать духом.

Лаура узнает ее от жены Абада, возвращается на ранчо, рассказывает тихо, словно Лаурита может понять, протягивает еще один мате Лосано; тот не спеша посасывает его, глядя на пол, по которому медленно ползет в сторону очага черный таракан. Двинув ногой, он давит таракана, допивает мате и не глядя возвращает сосуд Лауре, из рук в руки, как уже столько раз возвращал столько всего.

— Надо уходить,— говорит Лосано.— Если это правда, они будут здесь очень скоро.

— И куда же?

— Не знаю, и никто здесь не знает, они тут живут так, словно, кроме них, нет на земле людей. На грузовике, на побережье, думаю, Порсена не будет против.

— Как в анекдоте,— говорит Йарара, скручивая сигарету неторопливыми движениями гончара.— Ехать вместе с крысиными клетками, ну и дела. А потом?

— Потом все проще,— отвечает Лосано.— Но для этого «потом» нужны деньги. Побережье вам не Калагаста, придется платить, чтоб нам дали пробраться на север.

— Платить,— подхватывает Йарара.— До чего ж мы дошли — менять крыс на свободу.

— Зато они меняют свободу на крыс,— отрезает Лосано.

Илла, который в своем углу упрямо и тщетно латает сапог, откликается смехом, похожим на кашель. Еще одна игра слов, но порой Лосано бьет прямо в яблочко, и тогда кажется, что он прав, когда как одержимый крутит и выворачивает все наизнанку, смотрит на мир с какой-то своей точки зрения. Колдовство бедняка — назвал это как-то Лосано.

— Еще вопрос — как быть с девчужкой,— говорит Йарара.— Мы не можем лезть с нею в горы.

— Точно,— отвечает Лосано,— но на берегу можно сыскать рыбака, который доставит нас подальше, это уже

вопрос удачи и денег.

Лаура протягивает ему мате, ждет, но все замолкают.

— Я думаю, вам двоим надо уйти немедленно,— говорит она, ни на кого не глядя.— Мы с Лосано выкрутимся, а вам не стоит откладывать, отправляйтесь прямо сейчас через горы.

Йарара зажигает сигарету, дым закрывает его лицо. Плохой табак в Калагасте, от него слезятся глаза и всех пробирает кашель.

— Ты где-нибудь еще встречал таких ненормальных? — спрашивает он у Иллы.

— Нет, че. Впрочем, может, она хочет избавиться от нас.

— Пошли вы к черту,— говорит Лаура, поворачиваясь к ним спиной, не поддаваясь слезам.

— Деньги можно добыть,— замечает Лосано.— Если мы поймаем достаточно крыс.

— Если поймаем...

— Можно,— настаивает Лосано.— Надо только не тянуть, отправиться за ними сегодня же. А Порсена выложит деньги и даст нам уехать на грузовике.

— Согласен,— говорит Йарара,— только ведь сам знаешь — скоро лишь сказка сказывается...

Лаура ждет и смотрит на губы Лосано, словно так она может не видеть его глаз, вперившихся куда-то в пустоту.

— Надо идти к пещерам,— произносит Лосано.— Не говорить никому ни слова, взять повозку Гусмана и захватить все клетки. Стоит проговориться, как они пойдут плести про старика Мильяна и не дадут нам поехать, вы же знаете, как они к нам относятся. Старик в тот раз тоже ничего не сказал, отправился на свой страх и риск.

— Тоже мне пример,— говорит Йарара.

— Потому что он был один, потому что ему не повезло, да почему угодно. А нас трое, и мы не старики. Обложим их у пещеры — а я думаю, что там одна, а не несколько пещер,— и выкурим всех оттуда. Лаура разрежет нам эту коровью шкуру, обернем ноги выше сапог. А с деньгами двинем на север.

— На всякий случай прихватим все патроны,— говорит Илла Лауре.— Если твой муж прав, там хватит крыс, чтоб набить десять клеток, а остальных постреляем, и пусть гниют себе к чертовой матери.

— Мильян тоже был при ружье, — замечает Йарара. — Впрочем, конечно, старик, да еще в одиночку...

Он достает нож и пробует лезвие пальцем, встает, снимает со стены шкуру и принимается резать ее ровными полосами. Он справится с этим лучше Лауры, женщины не умеют орудовать ножом.

Гнедой упрямо тянет влево, но пегий его сдерживает, и повозка, оставляя нечеткий след, движется по пастбищу прямо на север; Йарара сильнее натягивает вожжи и покрикивает на гнедого, который встряхивает головой, будто не соглашаясь. К подножию скалы они добираются уже в сумерках, успев издали разглядеть вход в пещеру, темнеющий на фоне белого камня; две или три крысы, учуяв их, скрываются в пещере, пока они сгружают проволочные клетки и расставляют их полукругом около входа. Мулат Илла берет мачете и принимается валить сухую траву; с повозки снимают паклю и керосин; Лосано подходит к пещере, видит, что может войти, едва наклонив голову. Остальные кричат ему, чтобы он не дурил, оставался снаружи; луч фонаря обегает стены в поисках самого узкого, непроходимого отверстия — черная дыра кишит красными точками, которые от света начинают беспорядочно метаться.

— Что ты там делаешь? — доносится голос Йарары. — Вылезай, черт тебя дер!

— Сатарса, — говорит Лосано негромко, обращаясь к отверстию, откуда следит за ним круговорот крысиных глаз. — Вылезай, Сатарса, вылезай, королева крыс, вот мы и встретились, я, Лаурита и ты, сучье твоё отродье.

— Лосано!

— Иду, парень, иду, — медленно произносит Лосано, выбирает пару глаз поближе, удерживает их в луче света, вытаскивает револьвер и стреляет. Сноп красных искр, и больше ничего; наверно, промазал. Теперь дело за дымом, теперь — удачи и чаду, выбраться из пещеры и помочь Илле, который наваливает траву и паклю, ветер им на руку, Йарара подносит спичку, и все трое замирают около клеток; Илла оставил хорошо видимый проход, чтобы крысы выскакивали из ловушки не обжигаясь, чтобы встретить их прямо перед раскрытыми клетками.

— И этого боялись в Калагасте? — говорит Йарара. — Поди старый Мильян помер от чего другого и достался

им на закуску уже холодным.

— Ты не очень-то хорохорься,— откликается Илла.

Выскакивает первая крыса, рогатина Лосано стискивает ей горло, аркан поднимает в воздух и забрасывает в клетку; Йарара упускает следующую, но теперь вылетают четверо или пятеро, из пещеры доносится визг, и они едва успевают схватить одну, как уже пять или шесть тварей мечутся, скользя по-змеиному, пытаясь миновать клетки и затеряться на выгоне. Поток крыс вырывается из пещеры красноватой блевотиной, там, куда вонзаются рогатины, возникают запруды, клетки заполняет какая-то судорожно дрожащая масса, они чувствуют крыс ногами, а те все лезут, уже верхом одни на других, полосуют друг друга зубами, лишь бы спастись от жара в пещере, бросаются врассыпную в темноте. Лосано, как всегда, самый быстрый, он уже наполнил одну клетку и наполовину — вторую, Илла приглушенно вскрикивает и вскидывает ногу, вонзает ее в бурлящий поток, крыса не отпускает, и Йарара прижимает ее своей рогатиной, накидывает аркан, Илла матерится и смотрит на полосу коровьей шкуры с таким видом, словно крыса все еще кусает его. Под конец выскакивают самые огромные, эти и на крыс-то не похожи, лишь с трудом удается, поймав их рогатиной, поднять над землей, аркан Йарары рвется, и крыса улепetyвает, волоча обрывок петли, но Лосано кричит, что это не важно, что осталась одна клетка, вместе с Иллой они наполняют ее и захлопывают ударами рогатин, задвигают засовы, проволочными крюками поднимают клетки и грузят на повозку; лошади пугаются, и Йарара берет их под уздцы и говорит им что-то, пока остальные забираются на козлы. Между тем уже глухая ночь, и костер начинает гаснуть.

Лошади чуют крыс, и поначалу их приходится подстегивать; тогда они бросаются в галоп, словно желая разнести повозку вдребезги, Йарара вынужден попридерживать их, Илла помогает ему, четыре руки натягивают повод, пока галоп не сменяется неровной рысью, повозку заносит, колеса врезаются в бурьян и камни, крысы позади вопят и крошат друг друга, от клеток уже воняет салом и жидким дерьмом, кони чуют смрад и ржут, стараясь избавиться от мундштука, вырваться и убежать; Лосано хватает повод вместе с остальными, и втроем они

понемногу выравнивают ход, взлетают на лысую гору, видят вдаль долину, Калагасту — три или четыре огонька в беззвездной ночи, а слева, от силы в пятистах метрах, как прореха на поле, — свет ранчо, скачущий вверх и вниз вместе с повозкой и внезапно исчезающий, только они влетают в заросли сорных трав, которые бьют их колючками по лицу, где тропа — едва видный след, который лошади находят вернее, чем люди, отпускающие понемногу повод; крысы вопят и перекатываются при каждом толчке, кони смирились, но тащат так, словно хотят поскорее добраться до дома, оказаться там, где их избавят наконец от этой вони и от этих воплей, отпустят на гору встречать свою ночь, когда останется позади то, что их преследовало, гнало и лишало рассудка.

— Ты сразу лети за Порсеной, — поворачивается Лосано к Йараре, — пусть немедленно идет считать крыс и несет деньги, надо договориться, чтобы выехать на грузовике рано утром.

Первый выстрел, одиночный и слабый, кажется шуточным, Йарара не успевает ответить Лосано, как треском сухого тростника, расколотого о землю, доносится очередь, едва заглушая вопли в клетках, удар в бок, и повозка вылетает в бурьян, гнедой слева рывками пытается высвободиться, Лосано и Йарара спрыгивают одновременно, Илла — на другую сторону, распластавшись в зарослях, а повозка с воящими крысами останавливается в трех метрах от них, упавший гнедой бьет копытами оземь, пегий ржет и рвется в узде, не в силах двинуться с места.

— Сматывайся, — говорит приглушенно Лосано.

— Какого черта, — откликается Йарара, — они добрались раньше, теперь все одно уже поздно.

Илла присоединяется к ним, поднимает револьвер и вглядывается в заросли, словно выискивая просвет. Огня ранчо не видно, но они знают, что оно там, сразу за кустарником, в ста метрах. Слышны голоса, один выкрикивает какой-то приказ, затем тишина и новая очередь, щелканье пуль по кустам, другая — пониже, вслепую, не жалеют пуль, сукины дети, будут палить до упаду. Под защитой повозки и клеток, упавшего коня и второго, который высится как живая стена и ржет, пока Йарара не прицеливается ему в голову и не добивает, — бедный пегий, такой был красивый, такой приветливый, тело его, скользнув вдоль дышла, заваливается

на круп гнедого, который временами еще вздрагивает, крысы выдают их воплями, захлестывающими ночь, уже никто не заткнет им пасти, надо пробираться влево, плыть, гребок за гребком, в колючем бурьяне, выбрасывая вперед ружья и упираясь, чтоб выгадать еще полметра, удаляться от повозки, на которой теперь сосредоточили огонь, где крысы визжат и вопят, словно что-то понимают, словно в отместку, крыс нельзя связать, думает Илла, прав ты был, старшой, чтоб тебя с твоими играми, но ты был прав, мать твою и твоей Сатарсы, как же ты был прав, так тебя и растак.

Воспользоваться тем, что кусты редуют, что перед ним десять метров почти одной травы, проплешина, которую можно пересечь, перекаtywаясь с боку на бок — знакомый прием, — так, перекатом, добраться до густо заросшей лужайки, вскинуть резко голову, чтобы охватить все разом, и снова спрятаться, увидев свет на ранчо и движенье силуэтов, мгновенный блеск винтовки, услышав голос, выкрикивающий команды, залп по вопящей и визжащей повозке. Вбок и назад Лосано не смотрит, там только тишина, там Йарара и Илла, мертвые иль все еще скользящие, как и он, по кустарнику в поисках укрытия, прокладывая тропу бросками тела, обжигая лицо колючками, слепые и окровавленные кроты, убегающие от крыс, потому что теперь это действительно крысы, Лосано видит их перед тем, как снова нырнуть в бурьян; вопли со стороны повозки становятся все неистовее, но те, другие, крысы — не там, другие крысы перекрыли ему дорогу на ранчо, и, хотя свет там еще горит, Лосано знает, что Лауры и Лауриты на ранчо нет или они там, но это уже не Лаура и Лаурита, потому что туда пришли крысы и у них хватало времени на то, что они наверняка уже сделали, и чтоб засесть, поджидая его между повозкой и ранчо, выпуская очередь за очередью, приказывая и подчиняясь и паля почем зря, и, хотя не имеет уже смысла пробираться на ранчо, тем не менее еще один метр, снова перекаат, руки обжигают шипы, голова высовывается, чтобы оглядеться, чтобы увидеть Сатарсу, понять, что этот, раздающий команды, и есть Сатарса, и все остальные — Сатарса, выпрямиться и выпустить бесполезный теперь заряд дроби в Сатарсу, который резко дергается в его сторону,

вскидывает руки к лицу и валится назад, настигнутый дробью, хлестнувшей по глазам, разворотившей рот; Лосано выпускает второй заряд в того, кто поворачивает на него пулемет, слабый ружейный выстрел тонет в треске очереди; хруст кустов под тяжестью тела Лосано, падающего грудью в шипы, которые впиваются ему в лицо, в открытые глаза.

## НОЧНАЯ ШКОЛА

Что стало с Нито, я не знаю и не хочу знать. Столько лет прошло, и столько всего случилось, может, он все еще там, а может, умер или занесло его в чужие края. Лучше не думать о нем, но что поделаешь, иногда снятся мне тридцатые годы в Буэнос-Айресе, те годы, когда я ходил в так называемую нормальную школу, а бывает, и та ночь, когда мы с Нито забрались в школу, потом от сна почти ничего не остается, только Нито как будто витает в воздухе, я изо всех сил стараюсь забыться, пусть пропадет-сгинет до следующего сна, да без толку, и снова я вижу все, как сейчас.

Мысль о том, чтобы забраться ночью в нашу ненормальную школу (так называли мы ее назло, но были и другие причины, посерьезнее), — мысль эта пришла в голову Нито, я хорошо помню: мы сидели в «Жемчужине», в квартале Онсе, и пили «чинзано-биттер». Я ему сразу сказал, что такое придумать — куриные мозги надо иметь, но нисматрываето (так мы писали тогда из мести, калечили ошибками язык, чем, верно, тоже обязаны были школе) Нито стоял на своем, мол, школа ночью — это потрясающе, забраться, мол, туда и разведать, что к чему, но зачем разведывать, Нито, она и без того у нас в печенках сидит, и все-таки мысль мне понравилась, и я спорил с ним просто так, ради спора, а в душе все больше и больше склонялся к его затее.

И наконец я начал сдаваться, потихоньку сдаваться, у меня школа не слишком сидела в печенках, хотя мы уже шесть лет с половиной тянули это ярмо, четыре — ради учительского диплома, и почти три — чтобы стать преподавателями литературы, для чего приходилось изучать такие непостижимые вещи, как нервная система, диетическое питание и испанская литература, и послед-

няя была самой непостижимой, потому что к третьему триместру мы еще не сдвинулись с «Графа Луканора».

И может быть, именно потому, что мы бездарно теряли время, школа нам с Нито казалась немного странной, было такое чувство, словно нам недодавали чего-то, что нам хотелось бы узнать получше. Возможно, были другие причины, мне школа виделась не такой нормальной, как о том возвещало ее название, и, я знаю, Нито думал так же, он сказал мне об этом, едва мы с ним сблизились, в далекие дни первого года обучения, до краев заполненные робостью, тетрадками и циркулями. Потом много лет мы больше об этом не говорили, но в то утро в «Жемчужине» мне показалось, что план Нито шел оттуда, издалека, и потому постепенно одолел меня; как будто, прежде чем закончить школу и навсегда повернуться к ней спиной, нам надо было свести с ней счеты и до конца уяснить себе причину неловкого чувства, возникавшего у нас с Нито то на школьном дворе, то на школьной лестнице, а у меня, кроме того, легонько сжимался желудок каждое утро, с самого первого дня, стоило мне миновать щетинившуюся пиками решетку, за которой начинались торжественная колоннада, желтизна коридоров и два марша лестницы.

— Кстати, о решетке, надо только дождаться полуночи,— сказал тогда Нито,— и перелезть через нее там, где, я видел, погнуты два прута, положить на них пончо — и готово дело.

— Легче легкого,— сказал я,— только тут выскочит сторож из-за угла или старушка из дома напротив завопит, поднимет тревогу.

— Насмотрелся ты кино, Тото. Когда ты видел здесь кого-нибудь так поздно? Спустилась ночь над нами, и тело отдыхает, как поется в танго, старик.

А я позволял ему потихоньку уговаривать меня и соблазнять, убежденный, что дурак он, ничего не обнаружится ни внутри, ни снаружи, та же самая школа, что и днем, ну, может, в темноте немного пострашнее, как в фильмах о Франкенштейне, и не более, что там найдешь, кроме скамей да грифельных досок, ну, глядишь, кот вынюхивает мышку — это пожалуйста. Но Нито гнул свое: пончо да фонарь; надо сказать, мы зверски скучали в те времена, молоденьких девушек мамы с папами записали на ключ, на два оборота, суровый образ жизни вели поневоле, к танцам и футболу нас не очень тянуло,



и день-деньской мы читали как безумные, а вечерами бродили вдвоем — иногда с нами Фернандо Лопес ходил, тот, что умер совсем молодым,— так мы и узнали Буэнос-Айрес, творения Кастиельнуово, и кафе в нижних кварталах, и южный док,— словом, ничего странного, что нам захотелось залезть в школу ночью, дополнить неполное и хранить это потом в тайне и смотреть на других мальчишек сверху вниз: бедняги, отбывают тут свой срок с восьми до полудня ежедневно заодно с «Графом Лукарном».

Нито решил твердо, и, если бы я не согласился пойти с ним, он бы в субботу один прыгнул в ночь, он объяснил, что выбрал субботу, потому что если вдруг не сойдет все, как задумано, и его запрут, то будет время поискать выход. Не один год вызревала в нем эта мысль, может, с самого первого дня, когда школа была еще неведомым миром и мы, первоклассники, внизу, во дворе, жались к дверям своего класса, как цыплята. Понемногу мы стали выходить в коридоры и на лестницы и составили свое представление об этой огромной желтой обувной коробке с колоннами и мраморной облицовкой, где запах мыла мешался с гвалтом перемен и бормотанием классных комнат, однако, став нам знакомой, школа не утратила до конца того, что было в ней от чужой земли, хотя мы и свыклись с ее обычаями, узнали там приятелей и познакомились с математикой. Нито вспоминал, что ему снились ночью кошмары, которые начисто выметались из памяти резким пробуждением, и помнилось только одно: все происходило в школьных коридорах, в комнате, где мы сидели в третьем классе, на мраморной школьной лестнице; и всегда ночью, разумеется, и всегда он оказывался один на окаменевшей от ночи лестнице, и этого Нито не мог забыть даже утром, среди сотен школьников и школьных шумов. Мне же, напротив, школа никогда не снилась, но я понял, что тоже думаю, какая она при свете полной луны, как выглядит внутренний двор, высокие галереи, воображал себе ясный ртутный свет, заливающий пустые дворы, и безупречную тень от колонн. Иногда на перемене я говорил об этом с Нито, отойдя в сторонку от остальных и глядя вверх, на галерею, где перила перерезали тела пополам и поверху двигались головы и туловища до пояса, а понизу — брюки и ботинки, иногда, казалось, принадлежавшие совсем другим ученикам. Если мне случалось подниматься по большой

мраморной лестнице одному, в то время как остальные сидели в классе, я чувствовал себя всеми покинутым и мчался вверх или вниз через две ступеньки, но, наверное, по той же самой причине через несколько дней снова просил позволения выйти из класса и повторял весь путь с таким видом, будто вышел за мелом или в туалет. Совсем как в кино, когда сидишь с разинутым от изумления ртом, и потому, должно быть, я так слабо сопротивлялся плану Нито, его затее встретиться со школой лицом к лицу; мне бы самому никогда не пришло в голову соваться в школу ночью, но Нито подумал за нас обоих, вот здорово, мы вполне заслужили еще по порции чинзано и не выпили только потому, что у нас не было на это денег.

Приготовления оказались совсем простыми, я раздобыл фонарь, а Нито ждал меня на Онсе, зажав под мышкой свернутое пончо; к концу той недели стало совсем жарко, однако на площади было немного народу, мы свернули на улицу Уркиса, почти не разговаривая, и, когда уже были в квартале, где находилась школа, я оглянулся: Нито был прав, кто нас заметит, на улице ни души, кошек и то не видно. Только тогда я понял, что на небе стоит луна, мы нарочно не подгадывали, да я и не знал, хорошо это или плохо, однако и хорошее тоже было — можно пройти по галерее, не зажигая фонаря.

Для верности мы обошли квартал вокруг и говорили про директора, который жил в соседнем со школой доме, коридор вверх соединялся со школьным зданием, так что директор мог напрямиком из квартиры попадать к себе в кабинет. Привратники жили в другом доме, и мы были уверены, что ночного сторожа нет, что охранять ему в школе, где нет ничего ценного, разве только наполовину разбитый скелет, драные географические карты да секретарская комната с двумя или тремя пишущими машинками, похожими на птеродактилей. Нито пришло в голову, что ценности могут скрываться в директорском кабинете, он видел, как тот запирает его на ключ, отправляясь на урок математики, — это в школе, битком набитой людьми, или как раз именно поэтому. Мы все — и я, и Нито, да и остальные — не любили директора, которого чаще всего называли Хромым, и не потому, что он был строг и в любой момент за любую чепуху готов был отчитать нас или выгнать с уроков, а, скорее, за то, что лицом он смахивал на забальзамированную

птицу, всегда появлялся незаметно и в класс входил с таким видом, будто приговор уже вынесен. Два преподавателя, дружившие с нами (один вел уроки музыки и рассказывал нам сальные анекдоты, а другой преподавал неврологию, прекрасно понимая, как глупо обучать этому будущих учителей-словесников), так вот они говорили, что Хромой не просто убежденный и закоренелый холостяк, но и страстный женоненавистник, и по этой самой причине у нас в школе не было ни одной учительницы. Однако как раз в том году министерство поняло, по-видимому, что всему есть предел, и направило к нам сеньориту Маджи, которая вела органическую химию на отделении естественных наук. Бедняжка приходила в школу всегда с напуганным видом, а мы с Нито представляли, какое делалось лицо у Хромого, когда он сталкивался с ней в учительской, или саму несчастную сеньориту Маджи, объясняющую в седьмом классе формулу глицерина юным преступникам с отделения естественных наук.

— Здесь, — сказал Нито.

Я чуть не напоролся рукой на шип решетки, но все-таки перепрыгнул: теперь пригнуться, вдруг кто-нибудь из дома напротив выглянет в окно, и ползти до самого что ни на есть знаменитого укрытия — до постамента, на котором водружен бюст Ван-Гельдерена, голландца, основателя школы. Пока добрались до колоннады, мы успели напоздаться и напрыгаться, и теперь нас одолевал нервный смех. Нито спрятал пончо за подножье колонны, и мы свернули вправо по коридору, за первым поворотом которого начиналась лестница.

От жары школой пахло еще острее, странно было видеть закрытые двери классов, и мы толкнули одну из них: ну конечно, сторожа-испанцы не заперли дверь на ключ, и мы вошли в комнату, где семь лет назад начались наши школьные занятия.

— Я сидел вон там.

— А я позади тебя, не помню только, там или чуть правее.

— Смотри-ка, глобус оставили.

— Помнишь Гассано, который никогда не мог найти Африку?

Захотелось взять в руки мел и нарисовать что-нибудь на доске, но Нито чувствовал, что пришел сюда не в игрушки играть, что заиграйся — и не ощутишь этой

тишины, которая окутывала, точно отзвуком музыки, и звенела в клетке лестницы; мы услышали, как затормозил трамвай, а потом — совсем ничего. Можно было подниматься по лестнице без фонаря, мрамор словно притягивал лунный свет, хотя верхний этаж отгораживал лестницу от луны. Нито остановился на середине лестницы и предложил мне сигарету, а сам закурил другую; он всегда принимался курить в самое неподходящее время.

Сверху мы смотрели на внутренний двор нижнего этажа, квадратный, как почти все в школе, включая и преподавание. Мы пошли по коридору, окаймлявшему двор, по дороге заглянули в один или два класса и дошли до первого поворота, где находилась лаборатория: ее-то, конечно, сторожа заперли на ключ, будто кто-то станет воровать потрескавшиеся пробирки и микроскоп времен Галилея. Из второго коридора мы увидели залитый лунным светом коридор по ту сторону внутреннего двора, где находились секретариат, учительская и кабинет Хромого. Первым бросился на пол я, а через секунду и Нито, потому что мы оба в одно и то же время увидели: в учительской горел свет.

— Мать твою, там кто-то есть.

— Смываемся, Нито.

— Погоди, может, сторожа забыли свет погасить.

Не знаю, сколько времени прошло, но теперь стало ясно, что музыка доносилась оттуда, она казалась такой же далекой, как и та, что почудилась нам на лестнице, но мы поняли, что она слышится из коридора напротив, камерная музыка, и все инструменты — под сурдинку. Все было так неожиданно-негаданно, что мы забыли о страхе, а он — о нас, и сразу как будто объявилась причина оказаться нам тут, и будто не был тому виною Нито с его любовью к приключениям. Мы смотрели друг на друга молча, и он вдруг по-кошачьи стал красться, прижимаясь к перилам, и вот он у поворота в третий коридор. Запах мочи из соседствующих с коридором уборных, как всегда, оказался сильнее соединенных усилий уборщиков-испанцев и душистых дезодорантов. Когда мы доползли до дверей нашего класса, Нито обернулся ко мне и дал знак приблизиться: поглядим?

Я кивнул, самым разумным в этот момент казалось безумие, и мы на четвереньках двинулись дальше, а луна все больше высвечивала и выдавала нас. Я почти не удивился, когда фаталист Нито выпрямился метрах

в пяти, а то и меньше, от последнего поворота, за которым неплотно притворенные двери секретариата и учительской пропускали свет. Музыка разом зазвучала громче, а может, просто расстояние сократилось; мы услышали звуки голосов, смех, звон стаканов. Первый, кого мы увидели, был Рагуззи из седьмого класса точных наук, чемпион по атлетике и выдающийся сукин сын, из тех, кто пробивает себе путь кулаками и приятельскими связями. Он стоял к нам спиной, почти прижавшись к двери, но тут отпрянул от нее, и свет лег на пол точно хлыст, разрезанный в нескольких местах ритмом матчиша, тенями двух танцующих пар. Гомес, с которым я был едва знаком, танцевал вяло, а другой был, кажется, Курчин, из пятого класса гуманитарного отделения, парень с поросьячей мордой, в очках, и он был выржен бабой: крашенные черные волосы, длинное платье, жемчуга на шее. Все это было, мы это видели и слышали, но, конечно же, этого быть не могло, как не могли мы и вдруг почувствовать чью-то руку, спокойно, без нажима легшую нам на плечи.

— Ваших милостей не приглашали,— сказал испанец Маноло,— но, коли вы тут, входите и будьте как дома.

И он толкнул нас, одного и другого, так, что мы чуть не врезались в танцующую пару, но успели осадить и тут в первый раз увидели сразу всех, восемь или десять человек, у граммофона коротышка Ларраньяга занимался пластинками, стол был превращен в бар, огни притушены, и лица узнававших нас не выражали удивления, должно быть, они думали, что мы приглашены, а Ларраньяга даже приветственно помахал нам рукой. Нито и тут, как всегда, оказался проворнее и в два прыжка очутился у боковой стены, я поспешил к нему, и, прижавшись к стене, как тараканы, мы только теперь начинали по-настоящему видеть и воспринимать то, что происходило вокруг. При слабом свете и скоплении людей учительская казалась в два раза больше, на окнах зеленые шторы, о которых я и не подозревал, когда утром, идя мимо по коридору, заглядывал в дверь посмотреть, пришел ли учитель логики Мигойя, страх и ужас нашего класса. Теперь учительская выглядела клубом, все было приспособлено как бы для субботнего вечера: стаканы и пепельницы, граммофон и лампы, освещающие только необходимое, а остальное тонуло в полутьме, и от этого зал казался таким большим.

Не знаю, сколько времени ушло у меня на то, чтобы хоть в малой мере применить к происходящему ту самую логику, которой нас обучал Мигоя, но Нито во всем был быстрее и лишь бросил взгляд окрест, как сразу же узнал соучеников и преподавателя Ириарте и понял, что женщины — всего-навсего переодетые ребята, Перроне и Масиас и еще один, из седьмого класса с отделения точных наук, не помню его имени. Двое или трое были в масках, один выряжен гавайкой, и ему это нравилось, судя по тому, как он вилял бедрами перед носом у Ириарте. Испанец Фернандо распоряжался баром, и почти у каждого в руке был стакан, но вот зазвучало танго в исполнении оркестра Ломуто, все разобрались по парам, те, кому не хватило женщин, пустились танцевать друг с дружкой, и я не слишком удивился, когда Нито обхватил меня за талию и потащил на середину.

— Если будем стоять, они нам устроят,— сказал он.— Да не наступай мне на ноги, горе ты мое.

— Я не умею танцевать,— сказал я, хотя он это делал гораздо хуже меня. Половина танго отгремела, Нито все время поглядывал на приоткрытую дверь и потихоньку уводил меня на край, собираясь воспользоваться первым же случаем, но тут заметил, что испанец Маноло все еще там, и мы вернулись на середину и даже попытались переброситься шуткой с Курчином и Гомесом, танцевавшими парой. Никто не заметил, как двустворчатая дверь, ведущая в приемную перед кабинетом Хромого, открылась, но коротышка Ларраньяга резко остановил пластинку, и мы замерли, глядя друг на друга, а я почувствовал, что рука Нито, прежде чем сорваться с моей талии, задрожала.

До меня все доходит медленно, и Нито уже понял, когда я только начал догадываться, что две женщины, стоявшие в дверях рука об руку, были Хромой и сеньорита Маджи. Хромой был выряжен так вызывающе, что двое или трое попытались было захлопать в ладоши, но тут же наступило молчание, густое, как застывший суп, просто дырка во времени, и только. Мне случалось видеть переодетых мужчин в кабаре, в нижних кварталах, но такого я не видел никогда: рыжий парик, ресницы в пять сантиметров, резиновые груди дрожали под блузкой цвета лососины, плиссированная юбка и высоченные каблуки. Руки все в браслетах, руки набеленные, тщательно очищенные от волос, и кольца плясали на его кривых

пальцах, вот он выпустил руку сеньориты Маджи и склонился в невероятно манерном поклоне, представляя ее собранию и пропуская вперед. Нито недоумевал, почему сеньорита Маджи, несмотря на белокурый парик, откинутые назад волосы и узкое, облегающее белое платье, почему она все-таки была похожа на самое себя. Лицо едва тронуто гримом, только, пожалуй, брови чуть подведены, но это было лицо сеньориты Маджи, а не фруктовый торт, в который превратили лицо Хромого румяна, помада и рыжие кудри. Они входили в зал, приветствуя собравшихся с некоторой холодностью и, пожалуй, даже снисходительностью, Хромой удивленно глянул на нас и рассеянно примирился, словно кто-то его предупредил о нашем приходе.

— Не догадался,— сказал я Нито как можно тише.

— Твоя бабушка не догадалась,— сказал Нито,— думаешь, он не видит, как мы одеты — точно каторжники на балу.

Нито был прав, мы нарочно надели старые штаны, собираясь перелезть через решетку; кроме штанов, на мне была только рубашка, а на Нито — тоненький свитер со здоровой дырой на локте. Хромой обратился к испанцу Фернандо и попросил рюмочку чего-нибудь не слишком крепкого, попросил с ужимкой капризной проститутки, а сеньорита Маджи заказала виски, совсем сухого, суше, наверное, чем тон, которым она это произнесла. Снова зазвучало танго, и все пустились танцевать, а мы — первыми, со страху, и двое вновь пришедших тоже вышли в круг, сеньорита Маджи вела Хромого, откровенно прижимаясь к нему. Нито хотел было приблизиться к Курчину, попробовать вытянуть из него что-нибудь, Курчина мы знали немного больше других, но подойти к нему было очень трудно: пары двигались, не касаясь друг друга, но и места, чтобы протиснуться между ними, не оставалось. Дверь, выходящая в приемную Хромого, была все еще открыта, и, когда мы, сделав круг, оказались рядом с нею, Нито увидел, что дверь в кабинет тоже открыта и что в кабинете тоже люди, пьют и разговаривают. Издали мы узнали Фьори, противного типа из шестого класса гуманитарного отделения, он был наряжен военным, а брюнетка с волосами, падавшими на лицо, и пышными бедрами, должно быть, была Морейрой, пятиклассником, имевшим ту еще славу.

Фьори подошел к нам, и мы не успели уклониться

от встречи, в форме он казался старше, и Нито почувствовалась даже седина в его прилизанных волосах — я-то уверен, он посыпал их тальком для красоты.

— Новенькие,— сказал Фьори.— Через офтальмологию прошли?

Ответ, верно, был написан на наших лицах, и Фьори уставился на нас пристально, а мы все больше чувствовали себя новобранцами перед бывалым лейтенантом.

— Вон туда,— сказал Фьори, подбородком указывая на неплотно притворенную боковую дверь.— На следующее собрание принесете мне результаты анализов.

— Будет сделано,— сказал Нито и резко толкнул меня. Я хотел было высказать ему, что я думаю по поводу его холуйского «будет сделано», но тут Морейра (теперь я был уверен, что это Морейра) подошел к нам у самой двери и схватил меня за руку:

— Пошли, блондинчик, потанцуем в другой комнате, здесь все такие скучные.

— Потом,— сказал Нито за меня.— Мы сейчас вернемся.

— Все меня сегодня бросают.

Я вышел первым и почему-то не открыл дверь, а прошмыгнул в щель. Но в этот момент нам было не до «почему», Нито шел за мной и молча глядел в даль тонувшего в полутьме коридора, ну вот, еще один страшный сон про школу, где нет места никаким «почему», а надо просто следовать дальше, и единственно возможное «почему» — это приказ Фьори, мерзкого кретина, вырядившегося военным, который разом подвел итоги всем «почему» и отдал приказ, смысл и ценность которого в том, что это приказ в чистом виде и мы должны ему подчиняться, офицер приказал, какие могут быть разговоры. Однако это не привиделось в страшном сне, я был рядом с Нито, а один страшный сон сразу двоим не снится.

— Давай мотать отсюда, Нито,— сказал я, когда мы дошли до середины коридора.— Есть же какой-то выход, такого просто быть не может.

— Конечно, только погоди немного, я чую, за нами следят.

— Никого нет, Нито.

— Вот именно, болван.

— Не спеши, Нито, давай постоим немного тут. Я должен разобраться, что происходит, разве ты не



видишь, что...

— Гляди,— сказал Нито; и правда, дверь, мимо которой мы только что прошли, теперь была распахнута настежь и за ней виднелась форма Фьори. Не было никакой причины подчиняться Фьори, надо было вернуться назад, подойти к нему и толкнуть его, как тысячи раз мы толкали друг друга в шутку или всерьез на переменах. И не было причины идти дальше по коридору к двум закрытым дверям, одна прямо перед нами, а другая — сбоку, и незачем было Нито лезть в одну из них и слишком поздно понять, что меня нет рядом, что я как дурак сунулся почему-то в другую, то ли по ошибке, то ли желая характер показать. И уже не повернешься и не выйдешь, комната залита фиолетовым светом, и все лица обращены к тому, на что и он уставился тотчас же, едва вошел: аквариум посреди комнаты, прозрачный, почти до самого потолка куб, и такой огромный, что едва оставалось место для тех, кто припал к его стеклу и смотрел в зеленоватую воду, рыбы медленно скользили, а в комнате стояла такая тишина, как будто это не комната, а тоже аквариум с окаменевшими мужчинами и женщинами (это были мужчины, но они были женщинами), прилипшими к стеклу, и тут-то Нито обернулся, тут-то и подумал, ну где же он, этот мерзавец Тото, куда подевался, болван, и хотел уже повернуться и выскочить назад, да зачем, ведь ничего не происходит, и застыл на месте, как остальные, и смотрел на них, разглядывающих рыб, и узнавал одного за другим: Мути-са, Борова-Делусиа и остальных из шестого гуманитарного, задаваясь вопросом, почему они, а не другие, как уже спрашивал себя, почему такие, как Рагуззи, и Фьори, и Морейра, почему именно те, которые не были нам друзьями днем, почему все это странное дерьмо, именно они, а не Лайнес, или Делич, или кто-нибудь еще из наших товарищей, с которыми мы часто говорили, бродили, строили планы, и почему в таком случае Тото и он оказались среди этих других, хотя, конечно, сами виноваты, полезли в школу ночью, и эта вина повязала их со всеми теми, кого днем они терпеть не могли, с отборными сукиными детьми, не говоря уже о Хромом, о сухаре Ириарте и сеньорите Маджи, и она тоже здесь, единственная взаправдашняя женщина среди всех этих подонков, этого отребья.

И тут залаяла собака, не залаяла, а тявкнула, но

нарушила тишину, и все взгляды устремились в глубину комнаты, где ничего не было видно, и Нито различил, как оттуда, из-за лиловой пелены, выступил Калетти, пятиклассник с отделения точных наук, с высоко поднятыми руками, он словно скользил между собравшимися, а в поднятых руках держал беленькую собачку, и та снова залаяла, вырываясь, лапы у нее были спутаны красной лентой, а к концу ленты привязан, похоже, кусок свинца, который медленно стал тонуть в аквариуме, куда Калетти точным движением швырнул свою ношу; Нито видел, как песик шел на дно, судорожно дергаясь, стараясь выпростать лапы и подняться на поверхность, и видел, как он начал задыхаться, из открытой пасти пошли пузырьки, но раньше еще, чем он потонул, рыбы набросились на него и рвали клочья шерсти, и вода окрасилась красным, красное облачко становилось все гуще вокруг собаки, а та все еще дергалась в закипающем вокруг нее месиве из рыб и крови.

Всего этого я не мог видеть, потому что за дверью, которая, по-моему, закрылась сама собой, было черным-черно, я оцепенел, не зная, что делать, никого не слыша за собой, а где же Нито, что же он, в конце концов. Шагнуть в темноту или стоять, как стоял, и то и другое страшно, и вдруг запахло чем-то дезинфицирующим, больницей, операцией аппендицита, я еще не понял как следует чем, а глаза уже начали привыкать к темноте, да и не к темноте вовсе, потому что там, в глубине, светились два огонька: зеленый, а за ним желтый, и очерчивались контуры шкафа, кресла, и чей-то силуэт двинулся и выступил из глубины.

— Идите, детка, идите,— произнес голос.— Идите сюда, не бойтесь.

Я не знал, как двинуться, воздух и пол слились в сплошной губчатый ковер, кресло с хромированными рычажками, стеклянные приборы, огоньки; белокурый гладкий парик и белое платье сеньориты Маджи светились туманом. На плечо мне легла рука и подтолкнула вперед, другая рука надавила на макушку, заставляя сесть в кресло, я почувствовал на лбу холодок стекла, в то время как сеньорита Маджи пристраивала мою голову между двумя упорами. Почти перед самыми глазами засверкала беловатая сфера с крошечной красной точкой посередине, и я почувствовал, как меня коснулись колени сеньориты Маджи, которая села в кресло по дру-

гую сторону сооружения из стекла. Она принялась орудовать рычагами и колесиками, еще крепче зажала мне голову, свет сперва стал зеленым, а потом снова белым, красная точка росла и перемещалась с одной стороны на другую, а я из своего положения мог смотреть только вверх и видеть лишь нимб вокруг белокурой головы сеньориты Маджи, наши лица разделяли только стекло с огоньками и трубочка, в которую она, должно быть, рассматривала меня.

— Сиди спокойно и внимательно смотри на красную точку,— сказала сеньорита Маджи.— Хорошо ее видишь?

— Да, но...

— Не разговаривай, сиди тихо, вот так. И скажи, когда перестанешь видеть красную точку.

Кто его знает, видел я точку или нет, я замолчал, а она все смотрела на меня с той стороны, и вдруг я понял, что, кроме света в центре, я вижу еще и глаза сеньориты Маджи, ее глаза за стеклами прибора, карие глаза, а над ними расплывался отблеск белокурого парика. Прошел бесконечно короткий миг, и послышалось тяжелое дыхание, я подумал, что это я так дышу, чего только я не подумал, а свет постепенно менялся и сосредоточился весь на красном треугольнике с фиолетовыми краями, да нет, все-таки это не я дышал так шумно.

— Все еще видишь красный свет?

— Нет, не вижу, но мне кажется...

— Не шевелись, не разговаривай. Смотри хорошенько.

Дыхание доходило до меня горячими душистыми выдохами, треугольник превращался в ряд параллельных черточек, белых и синих; зажатый резиновым упором, болел подбородок, как хотелось поднять голову и вырваться из этой клетки, к которой я был крепко-накрепко привязан; ласка пришла издалека, рука прокралась к моим ногам, нашаривая одну за другой пуговицы, вот растегнула их все и пробралась внутрь, огни снова стали белыми-белыми, и красная точка опять появилась в центре. Должно быть, я пытался вырваться, потому что почувствовал боль в макушке и в подбородке, невозможно было выскочить из этой точно пригнанной, а может, даже и запертой клетки, я снова почувствовал частое душистое дыхание, огни заплясали перед глазами, все набегало и отступало, набегало и отступало, как рука сеньориты Маджи, медленно заливая меня нескончаемым ощущением беспомощности.

— Погоди,— голос шел оттуда же, откуда и частое дыхание, или это дыхание складывалось в слова,— расслабься, детка, ты должен дать мне хотя бы несколько капель для анализа, ну вот, вот и все.

Я почувствовал прикосновение сосуда и даже не очень понял, что теперь перед глазами у меня одно только темное стекло и что время идет, а сеньорита Маджи уже у меня за спиной отпускает ремни, которыми стянута голова. Желтый свет бичом ударил по мне, пока я распрямлялся и застегивался, и вот уже дверь в глубине комнаты, и сеньорита Маджи указывает мне, где выход, и смотрит на меня безо всякого выражения, гладкое удовлетворенное лицо, и парик под диким желтым светом. Другой бы накинулся на нее без лишних слов, схватил бы ее покрепче, теперь-то почему не схватить, да исцеловал бы ее или отколотил, другой бы, Фьори или Рагуззи, например, а может, никто ничего подобного не сделал, и дверь закрылась за ними точно так же, как захлопнулась она у меня за спиной, и я оказался снова в коридоре, но в другом, который вдалеке заворачивал и терялся за поворотом,— оказался совсем один, и мне так не хватало Нито, до смерти не хватало Нито, я кинулся вперед и увидел единственную за поворотом дверь, толкнулся в нее, но дверь была заперта на ключ, я ударил в дверь кулаком, и удар отозвался криком, я привалился к двери и медленно сполз по ней на пол, на колени, наверное, от слабости после того, что сделала сеньорита Маджи. А за дверью слышались крики и смех.

Потому что там хохотали и орали, кто-то оттолкнул Нито с дороги, все бросились в проход между аквариумом и левой стеной к двери, Калетти указывал путь, подняв руки кверху, как поднял он их, когда вошел и показал собравшимся песика, и все потянулись за ним, вопя и толкаясь, кто-то сзади пнул Нито, обозвал соней и дерьмаком, и не все еще вошли в дверь, а уже началась игра: Нито узнал Хромого, тот вошел с другой стороны с завязанными глазами, испанец Фернандо и Рагуззи поддерживали его, чтобы не споткнулся и не ударился, а остальные прятались кто за стулья, кто за шкаф или под кровать, Курчин забрался на стул, а с него на самый верх книжных полок, и все рассыпались по огромному залу и ждали, куда двинется Хромой, чтобы на цыпочках вернуться от него или окликнуть его тонким, измененным голосом, а Хромой шел враскачку, что-то выкрикивая,

и растопыренными руками пытался поймать кого-нибудь, Нито пришлось отбежать к самой стене и спрятаться за столом с цветами и книгами, а когда Хромой с победным воплем схватил коротышку Ларраньягу, все, аплодируя, вышли из укрытия, и Хромой сорвал повязку и завязал глаза Ларраньяге, затянул изо всех сил, не обращая внимания на протесты коротышки, приговорил его водить, быть «жмуркой», и затянул ему глаза так же безжалостно, как безжалостно спутали лапы бедному песику. И снова, шушукаясь и смеясь, все разбежались в разные стороны, учитель Ириарте прыгал и скакал, Фьори ни на минуту не терял снисходительного спокойствия, Рагуззи с воплями выпячивал грудь в двух метрах от коротышки Ларраньяги, а тот, балансируя, чтобы не упасть, хватал вокруг себя один только воздух, Рагуззи выскакивал у него из-под рук с криком: «О Тарзан, я твоя Джейн, дубина!», коротышка в замешательстве крутился на месте, шаря в пустоте, сеньорита Маджи вновь появилась и, обнявшись с Хромым, вместе с ним смеялась над Ларраньягой, но оба в страхе вскрикнули, когда коротышка метнулся в их сторону, и увернулись почти из самых его протянутых рук, Нито отскочил назад и увидел, как коротышка схватил за волосы зазевавшегося Курчина, Курчин заорал, а Ларраньяга, не выпуская из рук жертвы, стащил с глаз повязку, все разразилось криками и аплодисментами, и вдруг наступила тишина, потому что Хромой вскинул кверху руку, Фьори, стоявший рядом с ним, вытянулся по стойке «смирно» и отдал приказ, которого никто не понял, но все равно, форма на Фьори сама по себе была приказом, все застыли, даже Курчин со слезами на глазах, потому что Ларраньяга едва не выдрал ему волосы, вцепился и не отпускал.

— Готовьсь,— командовал Хромой.— А теперь в чехарду. Ставьте его.

Ларраньяга не понял, но Фьори коротко кивнул на Курчина, и тогда коротышка потянул Курчина за волосы, заставляя его сгибаться все ниже и ниже, все строились в очередь, женщины кричали и подбирали юбки, первым встал Перроне, за ним Ириарте, жеманный Морейра, Калетти и Боров-Делусиа, длинная очередь уходила в глубину зала, а Ларраньяга все гнул Курчина к земле и сразу же отпустил его, как только Хромой сделал знак, а Фьори командовал: «Прыгать, не бить!» И тут же Перроне, а следом за ним и все остальные,

опираясь в прыжке на спину Курчина — ни дать ни взять поросенок, — один за другим стали перепрыгивать через него и, оказываясь над Курчином, выкрикивали «Прыгать!» или «Не бить!», а потом снова вставали в очередь и, дождавшись своей минуты, прыгали, Нито прыгал почти последним и постарался прыгнуть как можно выше, чтобы не придавить Курчина, а за ним Масиас, как мешок, рухнул на Курчина всем своим весом, услышав сорвавшийся на визг приказ Хромого: «Прыгать и бить!», и снова весь строй проскакал над Курчином, но на этот раз все старались, подпрыгнув, пнуть его или ударить, очередь рассыпалась, все столпились вокруг Курчина и били его по голове, по спине, Нито поднял было руку и увидел, как Рагуззи первым пнул того в зад, Курчин вскрикнул и скрючился, Перроне и Мутис принялись ногами колотить его по ногам, а женщины с удовольствием занялись его спиной, тот взвыл и хотел распрямиться, но всякий раз подходил Фьори и снова пригибал его к земле, выкрикивая: «Чехарда, чехарда, бить, бить!», и чьи-то кулаки обрушивались на бока и на голову Курчина, который кричал, просил отпустить его, но не мог избавиться от Фьори, от ливня пинков и ударов, сыпавшихся на него со всех сторон. Но вот Хромой и сеньорита Маджи одновременно выкрикнули какое-то приказание, и Фьори выпустил Курчина, тот повалился на бок, рот в крови, из глубины зала подскочил Маноло, поднял его, точно мешок, поволок прочь, и все бешено заплодировали, а Фьори подошел к Хромому и сеньорите Маджи словно бы за советом.

Нито еще раньше отступил назад и теперь оказался на самом краю круга, который начинал неохотно распадаться, как будто всем хотелось продолжать игру или пуститься в новую, со своего места Нито видел, как Хромой пальцем указал на учителя Ириарте, видел, как Фьори подходил к тому, что-то говорил, и вот короткий приказ — и все уже строятся в шеренгу по четыре, женщины позади, и Рагуззи, как командир отряда, свирепо глядит на Нито, который никак не может отыскать своего места во втором ряду. Все это я прекрасно видел, в то время как испанец Фернандо тащил меня за руку, он нашел меня у запертой двери и, открыв дверь, втолкнул внутрь, я видел, как Хромой с сеньоритой Маджи устраивались на софе, у стены, а остальные равнялись в шеренге с Фьори и Рагуззи во главе, я

видел бледного Нито во втором ряду и учителя Ириарте, который, стоя перед строем, словно перед классом, церемонно приветствовал Хромого с сеньоритой Маджи, а я, как мог, старался затеряться в последних рядах среди психопаток, которые смотрели на меня, пересмеиваясь и перешептываясь, пока Ириарте не откашлялся, и тогда наступила тишина, и длилась она неизвестно сколько.

— Изложим десять заповедей,— сказал Ириарте.—  
Первая.

Я смотрел на Нито, будто он все еще мог помочь мне, с глупой надеждой, что он укажет мне выход, какую-нибудь дверь, чтобы бежать, но Нито, похоже, не замечал, что я тут, позади него, и пристально смотрел перед собой, застыв так же, как и все остальные.

Размеренно, почти по слогам, строй проговорил:

— Порядок рождает силу, и сила рождает порядок.

— Следствие! — приказал Ириарте.

— Повинуйся, чтобы приказывать, и приказывай, чтобы повиноваться! — отчеканил строй.

Бесполезно было ждать, что Нито обернется, мне показалось даже, будто я видел, как его губы двигались, вторя остальным. Я прислонился к стене, к деревянной панели, и она хрустнула, а одна из психопаток, кажется Морейра, посмотрела на меня встревоженно. «Вторая заповедь»,— приказывал Ириарте, и в этот миг я почувствовал, что за спиной у меня не панель, что за спиной у меня дверь и что она поддается, меж тем как я сползаю в почти приятную дурноту. «Ой, что с тобой, красавчик»,— прошептал все-таки Морейра, а строй уже рубил новые слова, которых я не понимал, я перекатился по двери, очутился по другую сторону, закрыл дверь и, чувствуя, как руки Морейры и Масиаса жмут на нее и давят, стараются открыть, задвинул щеколду, чудесным образом светившуюся в темноте; я кинулся по галерее, поворот, две комнаты, пустые, темные, за ними еще коридор, и снова коридор по ту сторону внутреннего двора, напротив того коридора, куда выходит учительская. Из всего этого я мало что запомнил, я весь был — бег, нечто несшееся в потемках и старавшееся не производить шума, скользившее по плитчатому полу и влетевшее на мраморную лестницу, а потом скатившееся по ней через три ступеньки, как будто кто швырнул меня вниз до самой колоннады, туда, где ждали меня пончо и раскинутые в стороны

руки испанца Маноло, заступившего мне путь. Я уже сказал: я мало что помню из всего этого, может быть, я воткнулся головой ему прямо в желудок, может, сбил его с ног пинком в живот, пончо зацепилось у меня за острия решетки, но я все равно вскарабкался по ней и перепрыгнул, на улице занималась серая заря и медленно трусил старичок, грязно-серый рассвет и старик, который замер и уставился на меня рыбьей мордой, разинув рот, чтоб крикнуть, но крика не вышло.

Все то воскресенье я не выходил из дому, к счастью, домашние хорошо меня знали, и ни один не задал мне вопроса, который все равно остался бы без ответа, в полдень я по телефону позвонил Нито, но его мать сказала, что Нито нет дома, днем я узнал, что Нито вернулся, но снова ушел куда-то, и, когда я позвонил ему в десять вечера, его брат сказал, что не знает, где он. Я удивился, что он не зашел ко мне, а в понедельник, придя в школу, удивился еще больше, встретив его у входа, это его-то, побившего все рекорды по опозданиям. Он разговаривал с Деличем и, отойдя от него, подошел ко мне, протянул руку, и я пожал ему руку, хотя все это было странно, не привыкли мы в школе здороваться за руку. Но какое это имело значение, если меня распирало другое, всего пять минут оставалось до звонка, а нам еще надо было столько рассказать друг другу, что ты придумал, как удрал, а меня схватил испанец, и я, ну да, я знаю, говорил мне Нито, не волнуйся так, Тото, погоди, дай сказать. Но ведь... Да, конечно, только не стоит так нервничать. Как это не стоит, Нито, ты меня что, за дурака принимаешь? Давай сейчас же пойдем и расскажем все про Хромого, прямо перед всеми. Постой, постой, не горячись, Тото.

Так мы и твердили два монолога, каждый свой, и я начал понимать: что-то не так и Нито какой-то другой. Прошел Морейра и поздоровался, подмигнув, издали я видел, как вбежали Боров-Делусиа и Рагуззи в своем спортивном пиджаке, сукины дети шли вперемешку с товарищами и друзьями вроде Льянса и Алерми и тоже говорили: привет, видел, как победил Ривер, что я тебе обещал, старина, а Нито смотрел на меня и все повторял: только не здесь, только не сейчас, Тото, после уроков поговорим в кафе. Смотри-ка, смотри-ка, Нито, Курчин с перевязанной головой, я не могу молчать, пошли вместе, Нито, или я пойду один, клянусь тебе, пойду один, прямо



сейчас. Нет, сказал Нито, и как будто другой голос прозвучал в этом единственном слове, ты не пойдешь сейчас, Тото, сначала мы с тобой поговорим.

Это был он, конечно он, только я вдруг его не узнавал. Он сказал мне «нет» так, как это мог бы сказать Фьори, который подходил в этот момент, посвистывая, в цивильном костюме, разумеется, и поздоровался с нами, слишком широко улыбаясь, чего раньше я за ним не замечал. И мне показалось, что все сосредоточилось как раз в этом, не в Нито, а в невообразимой улыбке Фьори; и на меня снова накатила тот ночной страх, когда я не бежал, а летел по лестнице и у колоннады угодил в объятия Маноло.

— Почему это не пойду? — глупо упирался я. — Почему не пойду и не расскажу всю правду про Хромого, про Ириарте и остальных?

— Потому что это опасно, — сказал Нито. — Здесь сейчас мы говорить не можем, а в кафе я тебе все объясню. Я дольше тебя там был, сам знаешь.

— Но в конце ты тоже сбежал, — сказал я в последней надежде, словно желая отыскать того, другого, Нито за этим, что стоял передо мной.

— Нет, мне незачем было бежать, Тото. И потому говорю тебе: молчи.

— Почему я должен тебя слушаться? — закричал я, готовый заплакать, готовый ударить его или заключить в объятия.

— Потому что так лучше для тебя, — сказал другой голос Нито. — Потому что ты не идиот и поймешь: если откроешь рот — дорого заплатишь. А пока ты этого не понял, пора на урок. Но повторю, скажешь хоть слово — будешь каяться всю жизнь, если, конечно, останешься живым.

Он, разумеется, шутил, не мог же он говорить мне это всерьез, но какой у него был голос, как твердо был сжат его рот и как убежденно он говорил. Точь-в-точь как Рагуззи, как Фьори, так же убежденно и с таким же твердо сжатым ртом. Я не знаю, что объясняли в тот день на уроках, все время спиной я чувствовал колкий взгляд Нито. И Нито тоже не слушал уроков, какое значение это имело теперь — все эти дымовые завесы, пускаемые Хромым и сеньоритой Маджи для того, чтобы то, иное, по-настоящему важное, сбывалось одно за другим, точно так же, как одна за другой произносились

для него все священные заповеди, все, что он усвоил, что пообещал и в чем поклялся той ночью и что в один прекрасный день сбудется на благо отчизны, когда пробьет час и Хромой с сеньоритой Маджи отдадут приказ начинать.

## ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ ДЛЯ РАССКАЗА

*2 февраля 1982 года*

Порою, когда меня начинает одолевать зуд рассказа, этот тайный, все нарастающий зов, который подталкивает меня вопреки желанию все ближе и ближе к моей «Олимпии-тревеллер-люкс»

(люксового в ней, бедняжке, нет ничего, но зато она и вправду, как настоящий путешественник, тревеллер, плавала через семь голубых морей и сносила все прямые и не прямые удары, какие только могут выпасть на долю портативной пишущей машинки, втиснутой в чемодан меж брюками, бутылками с ромом и книгами),

итак, порою, когда опустится ночь, и я вставляю чистый лист в каретку, и закуриваю «Житан», и называю себя дураком

(зачем, в конце концов, писать рассказ, не лучше ли раскрыть сборник рассказов другого писателя или послушать какую-нибудь пластинку?),

все же бывает, что я не могу ничего другого и сажусь и начинаю писать рассказ, как мне хотелось бы написать этот, и вот тогда-то я бы желал быть Адольфо Биеом Касаресом.

Я бы желал быть Биеом, потому что всегда восхищался им как писателем и уважал как человека, хотя наша стеснительность не помогла нам стать друзьями, помимо других существенных причин, в том числе и океана, довольно рано и в буквальном смысле слова пролегшего между нами. Посчитав хорошенько, я пришел к выводу, что в этой жизни мы с Биеом виделись всего три раза. Первый раз — на банкете в Аргентинской книжной палате, где я присутствовал, поскольку в сороковые годы был директором-распорядителем этого учреждения, а он уж не знаю почему, и в ходе банкета мы представились друг

другу поверх блюда с равиолями, мы улыбались друг другу с симпатией, но весь наш разговор свелся к тому, что в какой-то момент он попросил меня передать ему солонку. Второй раз Биой в Париже пришел ко мне домой и фотографировал меня, однако зачем — не могу вспомнить, но тем не менее мы довольно долго разговаривали с ним о Конраде, кажется. В последний раз, наоборот, я в Буэнос-Айресе ужинал у него, и в тот вечер мы разговаривали главным образом о вампирах. Разумеется, ни в одну из этих трех встреч мы не говорили об Анабел, но вовсе не потому я бы желал быть Биоём, а потому, что мне ужасно хочется написать об Анабел так, как написал бы о ней он, если бы знал ее и если бы решил писать о ней рассказ. В этом случае Биой сумел бы рассказать об Анабел так, как я не способен, показал бы ее вблизи и изнутри, сохраняя одновременно отстраненность, какую он намеренно сохраняет (я и мысли не допускаю, что это происходит ненамеренно) между некоторыми своими персонажами и рассказчиком. Для меня это совершенно невозможно, и не потому, что я знал Анабел; когда я придумываю персонажи, я тоже не могу отстраниться от них, хотя иногда мне это и представляется столь же необходимым, сколь необходимо художнику отойти на некоторое расстояние от мольберта, чтобы охватить картину целиком и увидеть, куда следует положить решающие мазки. Я бы так не сумел, ибо чувствую, что Анабел сразу же захватит меня целиком и полностью, точно так же, как тогда, в Буэнос-Айресе, когда я познакомился с нею в конце сороковых годов, и хотя она не в состоянии была бы представить этот рассказ — если она еще жива, если еще бродит по свету, старая, как и я, — она все равно бы сделала все возможное, чтобы помешать мне написать так, как мне хотелось бы, другими словами, так, как это написал бы Биой, если бы он знал Анабел.

*3 февраля*

Не потому ли я так долго плету слова, хожу вокруг да около, как пес, обнюхивающий дерево? Вот бы позабавился Биой, прочти он это, позабавился бы и вдобавок, чтобы раздражить меня, процитировал бы произведение, где указано время, место и имя, что, по его мнению, подтвердило бы истинность рассказа.

Итак, на великолепном английском языке:

It was many and many years ago,  
In kingdom by the sea,  
That maiden there lived whom you know  
By the name of Annabel Lee <sup>1</sup>.

— Ну что ж,— сказал бы я,— начнем, начнем с того, что дело было в республике, а не в королевстве, и, кроме того, Анабел писала свое имя с одним «н», не говоря о том, что «давным-давно» она перестала быть «невинной девой», по вине не Эдгара Аллана По, а одного коммивояжера из Тренке-Лаукена, который лишил невинности ее, тринадцатилетнюю девочку. А кроме того, фамилия ее была Флорес, а не Ли, и сама бы она о себе сказала, что ее насильничали, поскольку другого слова, разумеется, не знала.

4 февраля

Интересно, что вчера я не смог писать (я имею в виду историю с коммивояжером), возможно, как раз потому, что чувствовал искушение написать, а мне мешала Анабел с ее манерой рассказывать. Можно ли рассказать об Анабел и не впасть при этом в подражание, другими словами, не исказить ее образ? Я знаю, что бесполезно даже пытаться, что стоит мне начать, и я непременно подчинюсь ее воле, а мне, как в боксе, недостает хорошей работы ног и умения держать точную дистанцию, как Биой, чтобы набирать очки, а самому не получать серьезных ударов. Именно по этой причине я глупо тешу себя мыслью написать то, что будет не просто рассказом (написать так, чтобы была не одна только Анабел, разумеется), и потому позволил себе роскошь цитировать По, и потому хожу вокруг да около, как сейчас, и мне до смерти хочется перевести кусочек из Жака Дерриды, который вчера вечером я вычитал в «La vérité en peinture» <sup>2</sup> и который не имеет ничего общего с моим рассказом, но по необъяснимой аналогии может быть приложим к нему, подобно тому как отшлифованные полудрагоценные камни являют нам неузнаваемые пейзажи, неведомые зам-

---

<sup>1</sup> Давным-давно было дело,  
В королевстве далекой земли  
Жила невинная дева  
По имени Эннабел Ли.

<sup>2</sup> «Правда в живописи» (франц.).

ки, города или горы. Фрагмент этот труден для понимания, как всегда chez Деррида, и я переведу его ближе к той манере, в которой я воспитан (он пишет так же, хотя, кажется, образован лучше):

«Почти ничего не остается (у меня): ни самой вещи, ни ее существования, ни моего, ни чистого объекта, ни чистого субъекта, никакого интереса к чему бы то ни было. И тем не менее я люблю — нет, пожалуй, это слишком сильно сказано, без сомнения, это просто означает интерес к существованию. Я не люблю, однако мне приятно, что я не испытываю интереса, а значит, не так важно, люблю я или нет. Это сладкое чувство, что я могу брать, а могу и не брать и скорее отдал бы; я отдаю то, что беру, получаю то, что отдал, и не пользуюсь тем, что получил. И все же я беру. Могу ли я сказать, что беру? Это настолько всеобъемлюще субъективно — и на мой взгляд, и с общепринятой точки зрения,— что может прийти только извне как такового. Это невоспринимаемо. В конечном счете, это сладкое чувство, это удовольствие, которое я себе доставляю или, скорее, которому я предаюсь и ради которого я готов на многое, я даже не испытываю, если «испытывать» означает «ощущать»: феноменологически, эмпирически, в пространстве и времени моего существования, ощущающего интерес или интерес представляющего. Это удовольствие для меня — непостижимый опыт. Я его не испытываю, не получаю, не отдаю, не доставляю себе никогда, потому что я (я, субъект, существующий) не способен постичь прекрасное как таковое. И сколько я ни существую, я не знаю, что такое чистое наслаждение».

Деррида говорит о человеке, который столкнулся с тем, что кажется ему прекрасным, и отсюда проистекает все; предо мною же — ничто, а именно ненаписанный рассказ, дырка от рассказа, засасывающая воронка рассказа, и я непостижимым образом чувствую, что это и есть Анабел, иными словами, есть Анабел, хотя рассказа и нет. И наслаждение состоит именно в этом, даже если это не наслаждение, а, скорее, похоже на соленую жажду, и хочется отказаться от какого бы то ни было писания,

но все-таки я пишу (пишу в перерывах между работой над другими вещами, поскольку я не Бией и мне никогда не удастся рассказать об Анабел так, как, полагаю, я должен был бы это сделать).

### *Ночью*

Я перечитываю то, что написал Деррида, и убеждаюсь, что оно не имеет ничего общего с моим состоянием духа и даже с моими намерениями; аналогия есть, но она в ином, она в отношении к красоте, содержащемуся в приведенном мною отрывке и в моем ощущении Анабел; в обоих случаях полностью отрицается даже возможность подступиться, навести мосты, и если тому, от лица кого ведется речь в отрывке Дерриды, не доступно прекрасное как таковое, то мне, ведущему речь от своего имени (ошибка, которой ни за что бы не совершил Бией), как это ни тяжело, но мне, я знаю, никогда не дастся Анабел как Анабел, а именно такая, какая она есть, и написать рассказ о ней, рассказать о ней хотя бы отчасти в ее манере — невозможно. Таким образом, завершая аналогию, я снова прочувствовал ее начало, начальные слова отрывка, которые прочитал вчера вечером и которые представлялись мне неким будоражащим продолжением того, что я чувствую, оставаясь один на один с «Олимпией», один на один с недающимся рассказом и с тоской по умелости Бией. Точь-в-точь как в начале отрывка: «Почти ничего не остается (у меня): ни самой вещи, ни ее существования, ни моего, ни чистого объекта, ни чистого субъекта, никакого интереса к чему бы то ни было». То же самое отчаянное противостояние один на один с ничто, распадающимся на целый ряд субничто, не поддающихся никакому словесному выражению; ибо сегодня, по прошествии стольких лет, у меня не осталось ни Анабел, ни бытия Анабел, ни моего бытия, сопричастного ее бытию, ни чистого объекта — Анабел, ни тогдашнего меня, в чистом виде субъекта по отношению к Анабел в ее комнате на улице Реконкисты, и никакого интереса к чему бы то ни было, поскольку все постепенно сошло на нет давным-давно, many and many years ago, в стране, которая сегодня — лишь то, что привиделось мне, или я привиделся ей, во времена, которые ныне не более чем пепел от сигарет «Житан», что копится день за днем до тех пор, пока мадам Перрэн не придет убирать мою квартиру.

6 февраля

Эта фотография Анабел служила закладкой не где-нибудь, а в романе Онетти, и вновь обнаружилась благодаря закону притяжения во время одного из переездов с квартиры на квартиру года два назад: взял стопку старых книг с полки, из одной выпала фотография, и я не сразу узнал Анабел.

На мой взгляд, она вышла довольно похоже, хотя причесана необычно: когда она пришла ко мне в контору первый раз, волосы у нее были подобраны; мои тогдашние ощущения словно бы сгустились, и я помню, что с головой был погружен в перевод промышленного патента. Из всех видов работ, за которые мне случалось браться, а мне случалось браться за все, что называется переводом, худшим были патенты, приходилось часами перемалывать подробные пояснения усовершенствований электрической швейной машины или корабельных турбин, и, разумеется, я ничего не понимал в этих пояснениях и почти не разбирался в технической лексике, а потому валял перевод слово за слово, заботясь главным образом о том, чтобы не пропустить строчку, не имея ни малейшего представления, что такое гидровибрирующий геликоидальный ствол, который в магнитном поле соответствует тензорам  $1$ ,  $1'$  и  $1''$  (рис. 14). Наверняка Анабел постучала в дверь, а я не услышал, но, когда я поднял взгляд, она стояла у моего письменного стола, и первым делом в глаза бросились блестящая клеенчатая сумочка и туфли, которые меньше всего подходили для одиннадцати часов обычного, хлопотливого буэнос-айресского утра.

Вечером

Я уже начал писать рассказ или это все еще наброски — вполне возможно — для ничего? Старый-престарый, весь перепутанный клубок с множеством концов, и я могу дернуть за любой, не зная, к чему это приведет; тот, за который я дернул сегодня утром, оказался первым по хронологии, ибо то был первый приход Анабел. Разбирать или не разбирать эти нити одну за другой: последовательность наводит на меня скуку, но в равной мере не нравятся мне и дешевые flash-backs<sup>1</sup>, которые лишь

---

<sup>1</sup> Здесь: ретроспекции (англ.).

усложняют столькие фильмы и столькие рассказы. Если они возникают сами собой, пожалуйста — в конце концов, кто знает, что такое на самом деле время, — но только не планировать их заранее. О фотографии Анабел следовало бы рассказать после многих других вещей, которые дали бы о ней больше представления, хотя бывает и так, вспомнится что-то, как вот теперь вспомнился листок бумаги, прищипленный булавкой на двери моей конторы, мы уже были близко знакомы, и, хотя послание это могло уронить меня в глазах уважаемых клиентов, мне все равно было бесконечно приятно прочитать: ТЕБЯ НЕТ, НЕБЛАГОДАРНЫЙ, ПРИДУ В КОНЦЕ ДНЯ (запятае расставил я, а не надо бы, но ничего не попишешь, воспитание). К концу дня она не пришла, потому что в конце дня начиналась ее работа, о которой я четкого представления не имел, но, в общем и целом, знал, что это занятие в газетах именовалось проституцией. В ту пору, когда мне удалось составить некоторое представление о ее жизни, занятие Анабел было полно превратностей, не проходило недели, чтобы она как-нибудь утром не бросила мне мимоходом: в ближайшие дни мы не увидимся, в «Фениксе» требуется подавальщица и платят хорошо, или же, вздохнув и выругавшись, не сказала бы, что дела идут худо и придется на несколько дней податься в «Чемпе», чтобы заплатить за квартиру к концу месяца.

Беда в том, что Анабел, как и все ее товарки, полагала: ничто на свете не долговечно, даже переписка с матросами, и недолгой практики в моей конторе мне хватило, чтобы подсчитать и убедиться, что подобная переписка, как правило, ограничивалась двумя или тремя письмами, кому посчастливится — четыремя, поскольку моряк быстро уставал или забывал о своей подружке или она о нем, и, кроме того, моим переводам, наверное, не хватало сексуальной завлекательности или завлекательной чувствительности, а моряки в свою очередь не владели, как говорится, пером, и в результате все заканчивалось довольно быстро. Как плохо я объясняю, мне докучает писание и надоедает пускать слова, как собак, по следу Анабел, на мгновение поверив, что они притащат мне ее такой, какой она была, какими были мы many and many years ago.



8 февраля

Хуже всего, что мне утомительно перечитывать написанное, чтобы поймать нить, да и какой же это рассказ: в то утро, когда Анабел вошла ко мне в контору на улице Сан-Мартин, почти на углу Коррьентес, я гораздо больше запомнил клеенчатую сумочку и туфли на пробковой платформе, чем ее лицо (и вправду, первое впечатление от лица не имеет ничего общего с тем, какое складывается у нас со временем и в силу привычки). Я работал за старым письменным столом, который за год до того получил в наследство вместе с остальной рухлядью в конторе, и все не мог собраться с духом обновить ее; в этот момент я как раз подошел к самому непонятному месту в патенте и пробирался вперед фраза за фразой, не в состоянии оторваться от технических словарей и от ощущения, что обманываю Марвела и О'Доннела, которые платят мне за переводы. Появление Анабел было так же не к месту, как не к месту было бы влететь сиамской кошке в зал с вычислительными машинами, и я бы сказал, она это понимала, потому что посмотрела на меня почти жалостливо, прежде чем сообщила, что мой адрес дала ей подруга Маруча. Я попросил ее сесть и из чистого пижонства доперевел фразу, в которой промежуточный калиброванный каландр вступал в таинственное соприкосновение с антимагнитным бронированным картером X<sup>2</sup>. Тогда она закурила сигарету светлого табака, а я — черного, и, хотя мне достаточно было одного имени Маручи, чтобы все стало ясно, я все равно дал ей говорить.

9 февраля

Упорное сопротивление диалогу, в котором в любом случае больше всего было бы вымысла. Главным образом мне запомнились словечки Анабел, ее манера называть меня то «юноша», то «сеньор», говорить то и дело «а вот какое предположение» или ронять «ой, расскажу — не поверите». И курить у нее тоже была своя манерка — тотчас выпускала дым, не затягиваясь. Она принесла мне письмо от некоего Уильяма, отправленное из Тампико месяцем ранее, и я перевел ей письмо вслух, прежде чем сделать письменный перевод, о чем она тут же меня попросила. «Как бы не забыть», — сказала Анабел, доставая пять песо, чтобы расплатиться со мной. Я сказал ей, что не стоит, что прежний мой компаньон назначил эту

нелепую цену в те времена, когда он работал один и вызвался переводить девушкам из нижних кварталов письма от моряков и их ответные послания. Я ему тогда сказал: «Почему вы берете так мало? Берите с них или больше, или вообще ничего, это не ваша работа, вы ее делаете по доброте душевной». А тот объяснил мне, что он слишком стар, чтобы противиться желанию время от времени переспать с какой-нибудь из них, и потому взялся переводить им письма, чтобы всегда были под рукой, а не назначь он им такую символическую плату, глядишь, они бы все превратились в мадам де Севинье, а этого он ни за что не допустит. Потом мой компаньон уехал из страны, а я унаследовал эту лавочку и по инерции продолжал его линию. Все шло прекрасно, Маруча и остальные (их тогда было четыре) поклялись мне, что никому на свете не дадут моего адреса, и в среднем на месяц приходилось по два письма, одно надо было прочитать по-испански, а другое составить на английском (гораздо реже — на французском). Но тут, как видно, Маруча забыла про клятву, и, помахивая нелепой, блестящей клеенчатой сумочкой, вошла Анабел.

*10 февраля*

А времена были — перонистская демагогия грохотала и оглушала прямо из громкоговорителя в центре города, испанец-привратник приходил ко мне в контору с фотографией Эвиты и весьма нелюбезно просил оказать любезность: повесить фотографию на стенку (во избежание предлога он приносил с собой четыре кнопки). Вальтер Гизекинг дал серию восхитительных вечеров в зале Колон, а Хосе Мариа Гатика, как мешок с картошкой, рухнул на ринге в Соединенных Штатах. В свободные минуты я переводил «Жизнь и переписку Джона Китса», написанную лордом Хьютоном, а еще более свободные коротал во «Фрегате», почти напротив конторы, с приятелями адвокатами, которым тоже нравился хорошо взбитый «демария». А иногда Сусана —

Нет, нелегко проследивать нить, я все время утопаю в воспоминаниях, желая, наоборот, уйти от них, но для того, чтобы заковать их, заставить замолчать, надо их описать (а в таком случае приходится собирать их все до единого, в том-то и беда). Я бы хотел рассказать все с самого начала, теряющегося в тумане, начать оттуда,

где нити расползлись от времени (и, как в насмешку, ясно вижу черную сумочку Анабел и отчетливо слышу ее «благодарю вас, юноша», вслед за тем как, дочитав письмо Уильяма, я дал ей сдачи десять песо). Только теперь я по-настоящему знаю, что к чему, а тогда не очень-то понимал, что происходило, другими словами, не видел глубинных пружин того дешевого танго, в которое я пустился с Анабел, вернее, начиная с Анабел. Да и как мне было разобраться в той чудовищно сплясанной милонге, где была по крайней мере одна смерть и — как ни крути — пузырек с ядом, не могла же сама Анабел рассказать чистую правду — если допустить, что она ее знала, — переводчику с собственной конторой и бронзовой дощечкой на двери. В ту пору я во многом руководствовался абстрактными идеями, и теперь, в конце пути, спрашиваю себя, как мог я жить, держась на поверхности, в то время как внизу скользили и жалили друг друга создания, рожденные ночным Буэнос-Айресом, огромные рыбыны, обитавшие в этой мутной реке, которой я, как и многие другие, совершенно не знал. Глупо, что теперь мне хочется рассказать о том, чего я не способен постигнуть в то время, когда это происходило; словно в пародии на Пруста, я намереваюсь проникнуть в воспоминания о событиях, в которые не проник, когда они случились, проникнуть, чтобы наконец-то пережить их по-настоящему. Наверное, я делаю это из-за Анабел, я хочу написать рассказ, чтобы она предстала передо мной заново и чтобы она сама увидела себя так, как, я думаю, она тогда себя не видела, потому что и Анабел тоже плавала в тяжелом и грязном воздухе Буэнос-Айреса, который держал ее и в то же время выталкивал, как какие-нибудь запредельные отбросы, как весь этот портовый люмпен, из жалких комнатушек, выходящих в коридор, куда выходит множество других точно таких же, и в каждой звучит свое танго, мешаясь с крикливыми ссорами, жалобами, а иногда и смехом, ну конечно, иногда и смехом, потому что Анабел с Маручей рассказывали друг другу анекдоты и сальности, запивая их мате или пивом, которое никогда не бывало достаточно холодным. Вырвать бы Анабел из этого сумбурного и захватанного образа, который остался от нее, такого же сумбурного и захватанного, какими порою бывали письма Уильяма, и когда она клала мне их на ладонь, казалось, что я притронулся к грязному носовому платку.

11 февраля

В то утро я узнал, что грузовое судно Уильяма простоило в Буэнос-Айресе неделю, а теперь пришло первое письмо от Уильяма из Тампико и с ним — классический пакетик с обещанными подарками: нейлоновые трусики, фосфоресцирующий браслет и флакон духов. Письма и подарки, которые получали девушки от своих приятелей, не слишком отличались друг от друга, девушки всегда просили нейлоновое белье, которое в те поры в Буэнос-Айресе достать было трудно, и моряки слали подарки, сопровождая их весточками почти всегда романтического свойства, в которых вдруг прорывались такие подробности, что мне бывало трудно переводить их девушкам вслух, а те, разумеется, диктовали мне ответные письма или приносили черновики, в которых они бесконечно скучали, вспоминали танцы по ночам и просили прислать нейлоновые чулки и кофточки цвета танго. И с Анабел было точно так же: не успел я перевести ей письмо Уильяма, как она принялась диктовать ответ, но я хорошо знал своих клиенток и потому попросил ее лишь обозначить темы, а письмо я позже напишу сам. Анабел уставилась на меня с удивлением.

— А как же чувства, — сказала она. — Надо вложить побольше чувств.

— Разумеется, не беспокойтесь, пожалуйста, скажите мне только, что я должен ему сообщить.

То был обычный и обыденный перечень: получила его письмо, чувствует себя хорошо, но устала, когда же Уильям вернется, и пусть посылает по крайней мере по одной открытке из каждого порта, да передаст какому-то Перри, чтобы тот не забыл выслать фото, он их фотографировал на берегу. Ах да, еще скажите, что с Долли все по-прежнему.

— Не объясните ли вы мне поподробнее насчет... — начал было я.

— Просто скажите, что с Долли все по-прежнему, и ничего больше. А в конце напишите, ну, вы сами знаете, в общем, про чувства, вы меня поняли.

— Ну конечно, не беспокойтесь.

Она сказала, что зайдет на следующий день, и пришла, поставила свою подпись, проглядев письмо мельком, видно было, что она понимала довольно много слов, на некоторых абзацах она задерживалась, а потом подписала письмо и показала мне листок, где Уильям проставил

все порты и даты прибытия в них. Мы решили, что лучше всего послать письмо в Окленд, к тому времени лед между нами уже растаял, и Анабел взяла предложенную мною первую сигарету; опершись на край стола и напевая что-то, она смотрела, как я надписываю конверт. Через неделю она принесла мне черновик, чтобы я срочно написал Уильяму, она выглядела встревоженной и попросила меня написать письмо сразу же, но я был по горло занят переводом итальянских свидетельств о рождении и пообещал ей написать к вечеру, подписать письмо за нее и отправить по дороге домой. Она поглядела на меня как бы с сомнением, но потом согласилась и ушла. На следующее утро она явилась в половине двенадцатого, чтобы убедиться, что я послал письмо. И вот тогда я поцеловал ее в первый раз и мы условились, что пойдём к ней, как только я закончу работу.

*12 февраля*

Нельзя сказать, чтобы мне в ту пору нравились девушки из нижних кварталов, у меня сложился маленький удобный мирок, постоянная связь с некой особой, которой я дам имя Сусана и назову ее кинесиологом, правда, порою этот мирок казался мне чересчур маленьким и слишком удобным, и тогда появлялась настоятельная потребность как бы погрузиться снова во времена юности, когда я в одиночестве бродил по южным кварталам, а там после рюмки-другой чего-нибудь по мимолетной прихоти пускался с кем-нибудь в короткие интерлюдии, скорее эстетического, чем эротического свойства, наподобие того как написан этот кусок, который я перечитываю и который следовало бы вычеркнуть, но я его оставляю, потому что именно так происходило все то, что я называю погружениями; эти падения на дно объективно совершенно ненужные, если принять во внимание Сусану, если принять во внимание Т. С. Элиота, если принять во внимание Вильгельма Бакхауза, и тем не менее, тем не менее.

*13 февраля*

Вчера я разозлился на себя, смешно вспомнить. Я же с самого начала знал, что Анабел не даст мне написать рассказ, потому что, во-первых, это выйдет не рассказ, и, кроме того, Анабел сделает (как она это делала всегда, сама того не зная, бедняжка), сделает все воз-

можно, чтобы оставить меня одного перед зеркалом. Мне достаточно перечитать этот дневник, чтобы понять: она не более чем катализатор, который старается затащить меня в самую глубину, на каждой странице, которой мне потому и не хочется писать, выволочь на самую середину зеркала, где я хотел бы увидеть ее, а вместо этого из глубины выступает переводчик, имеющий частную практику, и все, какие положено, дипломы, и даже свою Сусану, что вполне можно было предвидеть, свою-свиристящую-своюсусану, вот незадача, почему я не назвал ее Амалией или Бертой. Когда пишешь — проблемы на каждом шагу, не всякое имя годится для... (Ну, будешь писать дальше?)

### *Ночью*

Комнату Анабел на улице Реконкиста, в районе пяти-сотых номеров, мне бы не хотелось вспоминать, главным образом, наверное, потому, что, хотя Анабел этого и не знала, комната ее оказалась слишком близко от моей квартиры на двенадцатом этаже, выходившей окнами на реку цвета львиной шкуры. Я помню (невероятно, что помнятся такие вещи), когда мы уговаривались о встрече, меня так и подмывало сказать, чтобы она пришла в мою холостяцкую квартиру, где у нас будет и виски, должным образом охлажденное, и постель, какая мне нравится, однако я сдержался при мысли о том, что привратник Фермин, еще более глазастый, чем Аргус, увидит, как она входит или выходит из лифта, и я упаду в его глазах ниже некуда, ведь он почти растроганно здоровался с Сусаной, когда видел нас выходящими или входящими вместе, а уж он-то разбирался в таких вещах, как макияж, как дамские сумочки и каблучки. Я раскаялся, едва начал подниматься по лестнице, и чуть было не повернул назад, очутившись в коридоре, куда выходило несчетное количество дверей, из-за которых пробивалось столько же поющих пластинок и запахов разнообразных духов. Анабел уже улыбалась мне с порога своей комнаты, к тому же у нее было виски, хотя и не охлажденное, и непрменные куколки, но зато и репродукция картины Кинкелы Мартина. Процедура свершилась без спешки, мы выпили, сидя на софе, и Анабел желала узнать, когда я познакомился с Маручей, а также поинтересовалась моим прежним компаньоном, о котором рассказывали ей другие девушки. Когда я положил руку

ей на колено и поцеловал в ушко, она улыбнулась мне совершенно естественно и поднялась снять с постели розовое покрывало. И при прощании, когда я клал под пепельницу несколько купюр, она улыбнулась мне той же самой улыбкой, с отстраненным принятием происходящего, и ее улыбка тронула меня искренностью, хотя другие, возможно, назвали бы ее профессиональной. И, помню, я ушел, так и не поговорив с ней, как собирался, о ее последнем письме к Уильяму, да и какое мне было дело до их отношений, в конце концов, и я мог ей улыбаться так, как она улыбнулась мне, я тоже был профессионалом.

*16 февраля*

Невинность Анабел — как тот рисунок, что она рисовала однажды у меня в конторе, пока ждала, когда я закончу срочный перевод, рисунок, который, наверное, заблудился в какой-нибудь книге и в один прекрасный день выпадет из нее, как и фотография Анабел, когда я стану переезжать на следующую квартиру или возьмусь перечитывать книгу. На рисунке домики, как в предместье, куры ходят по улице. Но при чем тут невинность? Легче всего приписать Анабел наивное неведение, которое волкло-тащило ее то туда, то сюда; но откуда тогда внезапные порывы, довольно низменные, которые угадывались только по глазам или после того, как решение уже было принято, откуда это предощущение того, что проходило мимо меня и что сама Анабел немного драматично называла «жизнью», а для меня было запретной зоной, которую могли мне возместить лишь воображение или книги Роберто Арльта. (Мне вспоминается Ардой, мой приятель адвокат, впутывавший меня, бывало, во всяческие переделки где-нибудь в предместье, поскольку тосковал по вещам, которые в глубине души считал для себя невозможными, однако сам он в этих переделках никогда по-настоящему участия не принимал, оставаясь всего лишь свидетелем, как и я — свидетель жизни Анабел, и не более. Нет, невинными были мы, носившие галстук и владевшие тремя языками; и Ардой, как хороший адвокат, не зря ценил свою роль очевидца, считая ее едва ли не миссией. Однако не ему, а мне хочется написать рассказ про Анабел.)

17 февраля

Я не назову это близостью, для этого я бы должен был уметь давать Анабел то, что она мне давала так естественно, должен был бы привести ее к себе домой, например, установить хоть какое-то равенство, даже если между нами и были отношения, какие складываются между постоянным клиентом и женщиной, которая ведет ночную жизнь. В те времена я не задумывался, как теперь, над тем, что Анабел ни разу не упрекнула меня за то, что я держал ее строго на расстоянии; должно быть, она считала это одним из условий игры, что вовсе не исключало отношений настолько дружеских, чтобы заполнять смехом и шутками пустые, не в постели, и всегда самые тяжкие минуты. Какую я вел жизнь, Анабел совершенно не заботило, вопросы она задавала редко и, как правило, в таком духе: «У тебя в детстве была собачка?» или «Ты всегда стригся так коротко?» Я знал достаточно и о Долли, и о Маруче, и о всяческих перипетиях в жизни Анабел, а она по-прежнему не имела понятия и ее совершенно не интересовало, что у меня были сестра и брат, и последний — певец-баритон. Маручу я знал и раньше, из-за писем, иногда мы собирались в кафе «Качабамба», с нею и с Анабел, выпить импортного пива. Из одного письма к Уильяму я узнал о ссорах между Маручей и Долли, однако то, что я назову историей с пузырьком, не принимало серьезного оборота еще довольно долго и вначале выглядело до смешного невинно (я уже говорил о невинности Анабел? Тоска берет перечитывать этот дневник, чем дальше, тем все меньше он помогает мне писать рассказ), потому что Анабел, которая была неразлучна с Маручей, рассказала Уильяму, что Долли продолжала отнимать у Маручи лучшие места, отбивать денежных клиентов и даже увела сына комиссара, совсем как в танго,— словом, до невозможности осложнила ей жизнь в «Чемпе» и без зазрения совести пользовалась тем, что у Маручи начали выпадать волосы, что у нее возникали проблемы с зубами, и в постели — тоже, и так далее, и тому подобное. Все это Маруча выплакала Анабел, мне она всего не рассказывала, видно не слишком доверяла, да и что с меня взять, делаю переводы — и на том спасибо; она говорит, ты просто чудо, рассказывала мне Анабел, ты ей так хорошо переводишь, что кок с французского судна стал посылать еще больше подарков, Маруча считает, это из-за чувств, ты их так здорово



описываешь.

— А тебе не стали посылать больше?

— Нет. Наверное, из ревности мне ты пишешь скупее.

Она говорила что-нибудь в этом роде, и мы ужасно смеялись. И так же, смеясь, она рассказала про пузырек, который уже раз или два мелькал в письмах к Уильяму, и я ни о чем не спрашивал, потому что одним из удовольствий для меня было дать ей созреть, пока она сама не выговорится. Помню, она рассказала мне об этом у себя в комнате, когда мы открывали бутылку виски, заработав право хлебнуть по глоточку.

— Клянусь, я прямо остолбенела. Он всегда мне казался немного с приветом, может потому, что не очень понимаю его речи, но в конце-то концов он всегда делает так, что поймешь. Ты его не знаешь, а если бы видел, какие у него глаза, как у рыжего кота, и ему идет, он парень видный, когда на берег сходит, то, я тебе скажу, одевается будь здоров как, во все синтетическое,— словом, понимаешь.

— А что он тебе сказал?

— Что в следующий раз привезет пузырек. Нарисовал пузырек на салфетке, а над ним — череп и скрещенные кости. Ты меня слушаешь?

— Слушаю, но не понимаю зачем. Ты ему рассказала про Долли?

— Ну конечно, в ту ночь, когда он пришел ко мне, как только приплыло судно, Маруча была у меня и плакала, ее даже вырвало, мне пришлось вцепиться в нее и держать, чтобы она не выскочила опрометью и не порезала бы Долли физиономию. Это было как раз в тот день, когда она узнала, что Долли переманила у нее старика, который ходил по четвергам, кто его знает, что эта сучка сказала ему про Маручу, может, про волосы рассказала или что она, мол, заразная. Мы с Уильямом дали ей снотворное, она и заснула прямо на моей кровати, а мы пошли потанцевать. Я ему все про Долли рассказала, я уверена, он понял, что-то, а у меня он понимает все до капельки, он как впился в меня своими желтыми глазами, мне пришлось только отдельные слова ему повторить.

— Погоди, давай-ка выпьем еще по одной, сегодня у нас все в двойном размере,— сказал я, шлепнув ее, и мы захохотали, потому что и от первой-то рюмки нас здорово разобрало.— А ты что сказала?

— Думаешь, я круглая дура? Еще чего, я разорвала

салфетку в мелкие клочки, чтобы понял. А он все про пузырек, что придет мне его для Маручи, пусть, мол, подольет ей в вино. In a drink<sup>1</sup>, сказал. И нарисовал легавого на другой салфетке, а потом перечеркнул его крестом, хотел сказать, мол, никто ни о чем не догадается.

— Замечательно,— сказал я,— этот янки считает, что наши судебные врачи просто шляпы. Ты правильно поступила, детка, как-никак, а пузырек попадет в твои руки.

— Ну да.

(Не помню, каким образом вспомнился мне этот разговор. Но он вспомнился, я пишу и слышу его, а может, придумываю, копируя с того, что было, или копирую и по ходу дела придумываю. Надо бы спросить как-нибудь, не это ли и есть литература.)

*19 февраля*

Но порою все не так, а гораздо тоньше и сложнее. Иногда вдруг по каким-то параллельным или симметричным ассоциациям раз и навсегда запечатлеваются в памяти фразы и события, ничем особенно не примечательные (мой случай именно таков), при том что множество гораздо более важных вещей начисто забывается.

Нет, не всегда только вымысел или копирование. Вчера вечером я лишь подумал, что должен писать дальше про Анабел и что, может быть, это приведет меня к рассказу, в котором и будет заключена окончательная правда, как вдруг опять — комната на улице Реконкиста, мартовская, не то февральская жара, а в комнате по другую сторону коридора парень из Риохи без конца крутит пластинки Альберто Кастильо, этот тип никак не мог распротиться со своей замечательной пампой, даже Анабел и то надоело, а уж как она любит музыку, прощааааай моя пааааампа, и Анабел, голая, сидит на постели и вспоминает свою пампу, там, вокруг Тренке-Лаукена. Сколько шуму из-за этой пампы, Анабел презрительно закуривает сигарету, всю плешь проел своей вонючей пампой, а что в ней такого, одни коровы. Но, Анабел, детка, я думал, в тебе больше патриотизма. Говорю тебе, там одна вонь и скука, и если бы я не приехала в Буэнос-Айрес, то пропала бы. Одно за другим новые воспоминания в подкрепление, и вдруг так, словно она не может не рассказать,— история с ком-

---

<sup>1</sup> Здесь: в выпивку (англ.).

мивояжером, она еще и слова не проронила, а я уже чувствовал, что знаю эту историю, что мне ее рассказывали. Я позволил ей рассказать, потому что рассказ просто рвался у нее с языка, раньше история с пузырьком, а теперь эта, с коммивояжером, но меня с ней в этот момент не было, то, что она рассказывала, поведали мне как бы иные голоса иных комнат, да простит мне Трумэн Капоте, это пришло ко мне из гостиничной столовой пыльного селения Боливар, селения в пампе, где я прожил два года давным-давно, или с вечеринки, на которой собрались друзья и случайные люди и где говорилось обо всем на свете, но главным образом о женщинах, которых мы, молодые ребята, в те времена называли «кадрами» и которых так не хватало в нашей захолустной холостяцкой жизни.

Как ясно помнится мне тот летний вечер и послеобеденная беседа за кофе с граппой, лысому Росатти пришли на память былые дни, в этом человеке мы ценили чувство юмора и щедрость, и в тот вечер он, после довольно возвышенного рассказа не то Флореса Диеса, не то зануды Саласа, вдруг пустился в воспоминания об одной метиске, уже не молодой, к которой ездил на ранчо неподалеку от Касбаса, где она жила на свою вдовью пенсию, на то, что выручала, разводя кур, и в крайней бедности растила тринадцатилетнюю дочь.

Росатти продавал автомобили, новые и подержанные, и во время поездок, если ему приходила охота, заезжал на ранчо к вдове, привозил ей какой-нибудь подарочек и спал с нею до следующего утра. Она была ласковой, заваривала хороший мате, жарила ему пирожки и, по словам Росатти, была недурна и в постели. А Чолу, полукровку, они отсылали спать под навес, где в прежние времена покойник держал теперь уже проданный автомобильчик; Чола была молчаливая девочка, всегда прятала глаза и тотчас же пропадала из виду, стоило Росатти появиться, а за ужином сидела, низко опустив голову, и почти не разговаривала. Иногда он привозил ей игрушку или конфеты, ее почти насильно заставляли взять гостинцы, и всякий раз она говорила «спасибо, дон». В тот вечер, когда Росатти привез подарков больше, чем обычно, потому что утром он продал «плимут» и был доволен, вдова схватила Чолу за плечо и велела ей как следует поблагодарить дона Карлоса и не быть такой букой. Росатти засмеялся и сказал, что прощает ее, он знал, какой у нее характер, но тут, взглянув на смущенную девочку, он первый раз увидел ее, увидел ее

чернящие глаза и ее четырнадцать лет, которые уже начинали приподымать легкую ткань кофточки. Той ночью в постели он вдруг почувствовал разницу, и, наверное, вдова тоже ее почувствовала, потому что заплакала и сказала, что он уже не любит ее, как раньше, и наверняка скоро забудет, она чувствует, он с ней уже не такой, как бывало. Подробностей сговора мы не узнали, но только вдова побежала за Чолой, притащила ее и втолкнула в дом. Помню, Росатти чуть опустил голову и сказал не то со стыдом, не то с вызовом: «Как она плакала...» Никто из нас не проронил ни слова, и густое молчание держалось до тех пор, пока зануда Салас не отпустил какую-то свою шуточку, и тогда все, и в первую очередь Росатти, разом заговорили о другом.

И я, выслушав рассказ Анабел, не сказал ни слова. Что я мог ей сказать? Что знал все до мельчайших подробностей, хотя две истории разделяло по крайней мере двадцать лет, и коммивояжер из Тренке-Лаукена был не Росатти, а Анабел — не Чола? Что все более или менее получается именно так со всеми Анабел в этом мире, хотя иногда их и зовут Чола?

*23 февраля*

А клиенты Анабел — она лишь иногда мельком называла какое-нибудь имя или коротко рассказывала, что было. Случайная встреча в кафе нижних кварталов, глянули друг другу в лицо, перебросились словом. Разумеется, все это меня совершенно не трогало, я полагаю, что при такого рода взаимных отношениях никто не чувствовал бы себя клиентом, а я, кроме того, мог быть уверенным в своем преимуществе, во-первых, из-за писем и, во-вторых, из-за себя самого, что-то во мне нравилось Анабел, и мне доставалось больше, чем остальным: доставалось целыми днями сидеть у нее в комнате, вместе ходить в кино, плясать милонгу и еще доставалось то, что, наверное, называется нежностью и любовью, во всяком случае, все время, по каждому пустяку хотелось смеяться и была непритворной щедрость, с которой Анабел хотела давать и давала наслаждение. Невозможно, чтобы она была такой и с другими, с клиентами, и потому они были мне совершенно безразличны (я-то полагал, что мне безразлична была Анабел, но почему в таком случае сегодня вспоминается все это), хотя в глубине души я бы предпочел быть единственным и жить вот так с Анабел, и с Сусаной

тоже, разумеется. Но Анабел должна была зарабатывать на жизнь, и время от времени я сталкивался с конкретным подтверждением этого, к примеру, встретил однажды на углу толстяка — я не знал и никогда не спрашивал, как его зовут, а она называла его просто толстяком — и увидел, как он вошел к ней в дом, а потом представил, как он проделал мой путь, ступенька за ступенькой, на галерею и в комнату к Анабел, ну и все остальное. Помню, я пошел тогда и выпил виски в «Фрегате» и прочитал от корки до корки все новости из-за рубежа в «Ла Расоне», не переставая подспудно ощущать, что толстяк сейчас у Анабел, это было глупо, но я чувствовал себя так, словно он забрался в мою постель и безо всякого на то права.

Возможно, поэтому я был не очень любезен с Анабел, когда она через несколько дней появилась у меня в конторе. Своих эпистолярных клиенток (еще одно любопытное выражение получилось, как оно тебе, Зигмунд?) я знал как облупленных и угадывал все их прихоти и настроения, едва они принимались диктовать письмо, а потому я бровью не повел, когда Анабел почти прокричала, чтобы я сейчас же написал Уильяму, пусть пришлет пузырек, эта сукина дочь не имеет права жить на свете. *Du calme*<sup>1</sup>, сказал я ей (она довольно понимала по-французски), разве можно так выходить из себя, не глотнув даже вермута. Но Анабел была в ярости и, вместо того чтобы диктовать письмо, рассказала, что Долли увела у Маручи еще одного дядю с машиной, а в «Чемпе» болтает направо и налево, что сделала это исключительно ради того, чтобы уберечь его от сифилиса. Я закурил сигарету, словно выбрасывая белый флаг, и написал письмо, где глупейшим образом вынужден был просить пузырек заодно с серебряными босоножками тридцать шестого с половиной размера (в крайнем случае — тридцать седьмого). Мне пришлось пересчитать размер на пятый или пятый с половиной, чтобы не создавать лишних проблем Уильяму, и письмо вышло очень коротким и деловым, никаких чувств, чего обычно требовала Анабел, хотя чем дальше, тем меньше она этого требовала по совершенно очевидным причинам. (А как, по ее представлению, заканчивал я теперь ее письма к Уильяму? Она больше не заставляла меня перечитывать готовое письмо и сразу же уходила, попросив отправить его, а я оставался верен своему стилю

---

<sup>1</sup> Успокойся (франц.).

и по-прежнему приписывал в конце, что она тоскует и любит, не потому, что был слишком добр, а потому, что следовало позаботиться об ответе и о подарках, а это наверняка было для Анабел самым надежным барометром.)

В тот день я без спешки все обдумал и, прежде чем запечатать конверт, вложил в него еще один листок, на котором кратко представился Уильяму как переводчик Анабел и просил его зайти ко мне сразу же, как только он высадится на берег, во всяком случае раньше, чем он поведается с Анабел. Когда через две недели он вошел ко мне, то его желтые глаза поразили меня гораздо больше, чем весь его сдержанно-агрессивный вид, какой бывает у всех моряков на суше. Мы не тратили слов, я просто сказал, что знаю насчет пузырька, но положение не так ужасно, как это представляется Анабел. Я ловко дал понять, что беспокоюсь за безопасность Анабел, которая, если запахнет жареным, не сможет отчалить к другим берегам, как намеревается сделать он ровно через три дня.

— Но она меня попросила,— сказал Уильям не моргнув глазом.— Мне жалко Маручу, а это — лучший способ уладить дело.

Если ему верить, содержимое пузырька не оставляло никаких следов, а это удивительным образом, в глазах Уильяма, как бы снимало всякую вину. Я почувствовал опасность и постарался, не переживая, провести свою линию. По сути дела, склоки с Долли не стали меньше или больше со времен его последнего приезда, ну конечно, Маруче надоело, и это, само собой, отражается на бедняжке Анабел. Меня это интересует лишь постольку, поскольку я перевожу для девушек, хорошо их знаю и т. д. и т. п. Я достал виски, предварительно повесив на дверь табличку «Вышел», запер дверь на ключ, и мы сели с Уильямом пить и курить. С первого взгляда я увидел в нем человека незамысловатого, сентиментального и опасного. То, что я был переводчиком писем Анабел, в которых она изливала свои чувства, похоже, придало мне авторитет почти исповедника, и за вторым стаканом виски я узнал, что он по-настоящему влюблен в Анабел и хочет вытащить ее из этой жизни, увезти в Штаты, года через два, как только уладит, сказал он, кое-какие дела. Невозможно было не встать на его сторону, не одобрить по-рыцарски его намерения и не поддержать его с тем, чтобы попытаться убедить: ничего хуже этой затеи с пузырьком для Анабел

он и придумать не мог. Он разделил мою точку зрения, однако не скрыл от меня, что Анабел никогда не простила бы, если бы он ее подвел, сочла бы его слабаком и сукиным сыном, а такого он ни от кого не потерпит, даже от Анабел.

Воспользовавшись тем, что удалось еще плеснуть ему в стакан виски, я предложил план, в котором он мог бы иметь меня союзником. Разумеется, он вручит Анабел пузырек, но в нем будет чай или кока-кола; а я со своей стороны буду держать его в курсе всех новостей, вкладывая каждый раз отдельный листок, чтобы в письмах Анабел было только то, что касается их двоих, и я уверен, что Долли с Маручей сами перестанут враждовать, устанут в конце концов. А если нет — в чем-то надо было и уступить этим желтым глазам, которые смотрели все пристальнее, — то я напишу ему, чтобы он все-таки прислал настоящий пузырек, что же касается Анабел, я уверен, она все поймет, а я ради общего блага вину за обман возьму на себя, и так далее, и тому подобное.

— О'кей, — сказал Уильям. Первый раз я услышал от него это выражение, и оно показалось мне не таким глупым, как в устах моих приятелей. В дверях мы подали друг другу руки, он поглядел на меня долгим желтым взглядом и сказал: «Спасибо за письма». Он сказал «письма» во множественном числе и, возможно, думал в это время о письмах Анабел, а не о моем отдельно вложенном листке. Только почему от этого «спасибо» я почувствовал себя так скверно и почему, оставшись один, я, прежде чем запереть контору и отправиться обедать, еще раз глотнул виски?

*26 февраля*

Писатели, которых я ценю, умеют изящно высмеять язык таких, как Анабел. Конечно, читать смешно, однако в подобном зубоскальстве мне видится некоторая подлость, я бы тоже мог набрать разных фразочек у Анабел или у нашего привратника-испанца и даже мог бы использовать их здесь, это дело нехитрое, если я напишу все-таки рассказ. Но в те времена я скорее занимался тем, что мысленно сравнивал язык Анабел и Сусаны, и язык раздевал каждую из них гораздо ловчее, чем мои руки, обнаруживая то, что у них на виду и что скрыто, их слабости и их силу, и чего каждая из них стоила в этой жизни. Никогда я не слышал от Анабел слова «демократия», ко-

торое, без сомнения, она двадцать раз на дню слышала или читала, а Сусана, наоборот, употребляла его по любому поводу и всегда со спокойной совестью собственника. Интимные отношения, например, Сусана вполне могла назвать половой жизнью, в то время как Анабел для подобных случаев находила слова, которые приводили на память морскую волну или взмах ресниц. Вот уже десять минут я топчусь на месте и никак не решусь продолжить и досказать то, что осталось (а осталось немного, но это не совсем то, что я смутно надеялся написать), — одним словом, всю неделю я, как и следовало ожидать, ничего не знал об Анабел, вероятно, она все время проводила с Уильямом, и вдруг однажды около полудня явилась, вся в нейлоновых дарах Уильяма и с новой сумочкой из шкуры кого-то там с Аляски, при одном взгляде на которую в это время года становилось еще жарче. Она пришла сказать, что Уильям только что отбыл, но для меня это не было новостью, и что он привез ей эту штуку (странно, но она не хотела произносить слова «пузырек») и эта штука уже у Маручи.

У меня не было никаких оснований беспокоиться, однако лучше было показаться обеспокоенным и спросить, отдает ли себе Маруча отчет в том, как это чудовищно и т. д. и т. п., и Анабел пояснила, что заставила Маручу поклясться родной матерью и пресвятой девой Луханской, что только в том случае, если Долли снова возьмется за свое, и т. д. и т. п. Мимоходом она поинтересовалась, как я нахожу ее сумочку и нейлоновые чулки, и мы договорились встретиться у нее дома на следующей неделе, потому что у нее накопилась куча дел после такой full-time<sup>1</sup> с Уильямом. И, уже уходя, вспомнила:

— Знаешь, он такой хороший. Представляешь, во что ему обошлась эта сумка? Я ничего не хотела ему говорить про тебя, но он сам все время твердил про письма и что ты здорово передаешь чувства.

— А, — отозвался я, не очень понимая, почему это известие стало мне поперек горла.

— Смотри-ка, у нее двойная застежка для страховки. Потом я сказала ему, что просто ты меня хорошо знаешь и потому так здорово переводишь письма, я ему все сказала, ему-то что, он тебя даже в глаза не видел.

— Конечно, что ему, — выговорил я наконец.

---

<sup>1</sup> Здесь (иронич.): работы без продыху (англ.).



— Он пообещал, что в следующий раз привезет мне проигрыватель с радиолой и все такое, вот тогда сосед у нас заткнется со своей пампой, если, конечно, ты купишь мне пластинки Канаро и Д'Арбенцо.

Не успела она уйти, как мне позвонила Сусана, на которую, видно, в очередной раз напала охота к перемене мест, и пригласила меня поехать с ней на машине в Некочча. Мы договорились на субботу и воскресенье, до которых оставалось еще три дня, и все эти три дня я только и делал, что думал, чувствуя, как что-то незнакомое подкатывает к самому зеву желудка (интересно, есть у желудка зев?). Первое: Уильям не сказал Анабел о своем намерении жениться, а это почти наверняка означало, что саморазоблачение Анабел ударило его как обухом по голове (и то, что он, по-видимому, это скрыл, тревожило больше всего). Или совсем другое.

Бесполезно говорить мне, что я предавался дедуктивным размышлениям в духе Диксона Карра или Эллери Квина и что, в конце концов, у такого, как Уильям, незачем было отнимать иллюзии, будто я всего лишь один из клиентов Анабел. И все равно я чувствовал, что дело не в этом, как раз такой, как Уильям, мог бы отреагировать совершенно иначе, тут бы и могла выплеснуться его сентиментальность и агрессия, которые я уловил в нем, едва он вошел. Потому что вот оно — второе: узнав, что я несколько больше чем переводчик писем Анабел, почему он не пришел сказать мне об этом, сказать по-хорошему или по-плохому? Я никак не мог забыть, что он испытал ко мне доверие и даже восхищение, а получилось, что он открылся тому, кто, наверное, уписался, смеясь над его наивностью, вот это Уильям наверняка почувствовал в тот момент, когда Анабел так глупо раскрылась. До чего легко было представить: Уильям укладывает ее одним ударом кулака и идет прямо ко мне в контору, чтобы проделать то же и со мной. Однако не случилось ни того, ни другого; а значит...

А это значит. И я сказал себе, как сказал бы всякий, наполняя стакан вином: в конце концов, его судно уже далеко и остались одни предположения; время и волны Некочча понемногу смывают и предположения, а кроме того, Сусана читает сейчас Олдоса Хаксли, значит, будут и другие темы для размышлений, — словом, в добрый час. Я тоже купил несколько новых книг по дороге домой, помнит-ся, что-то Борхеса и/или Биоя.

Хотя теперь этого уже почти никто не помнит, но меня продолжает волновать то, как Спэндрелл в «Контрапункте» ждет и принимает смерть. В сороковые годы этот эпизод не мог так живо тронуть аргентинских читателей, а сегодня мог бы, но теперь его никто не помнит. Мои чувства к Спэндреллу остались прежними (я никогда не перечитывал этого романа, и у меня нет его под рукой), и, хотя детали стерлись в памяти, мне кажется, я вижу эту сцену, когда он слушает запись своего любимого квартета Бетховена, зная, что фашисты подходят к дому, чтобы убить его, и это придает его окончательному выбору смысл, который еще больше унижает убийц. Сусану тоже тронула эта сцена, хотя причины, по которым она взволновалась, по-моему, не были в точности теми же, что у меня и, возможно, у Хаксли; мы еще продолжали спорить на террасе гостиницы, когда мимо прошел разносчик газет, я купил «Ла Расон» и на восьмой странице увидел полицейский отчет о загадочной смерти, увидел фотографию Долли, на которой ее невозможно было узнать, и прочел ее полное имя, упоминание о ее в дурном смысле слова публичном занятии и сообщение о том, что она через два часа после того, как была срочно доставлена в больницу «Рамос Мехиа», скончалась от сильнодействующего яда. Давай не возвращаться сегодня в город, сказал я Сусане, все равно дождь, какая разница, здесь или там. Она рассердилась и, я слышал, назвала меня деспотом. Отомстил все-таки, думал я, не мешая Сусане говорить, и чувствовал, как спазма подымается от паха к желудку, отомстил, сучий сын, вот, должно быть, радуется теперь на своем судне, вот тебе и чай, вот тебе и кока-кола, а эта сучка Маруча через десять минут запоет как милерьякая. Вспышки страха пронзали меня после каждой фразы рассерженной Сусаны, двойное виски, судорога, чемодан, запоет, сучка, запоет, выложит все до последнего, стоит ее разок хлестануть по физиономии.

Но Маруча не запела, и на следующий день под дверью в конторе оказалась записка от Анабел, в семь мы встретились в кафе у Черного, она пришла совершенно спокойная и с этой своей сумочкой из шкуры, она мысли не допускала, что Маруча может впутать и ее. Клятва есть клятва, решено и подписано, говорила она мне так спокойно, что я бы восхитился, если бы не испытывал желания вклеить ей как следует. Признание Маручи занимало половину га-

зетной страницы, и именно его читала Анабел, когда я пришел в кафе. Журналист не пошел дальше положенных ему по должности общих рассуждений: женщина призналась, что раздобыла мгновенно действующий яд и добавила его в рюмку ликера или чинзано, который Долли глушила литрами. Соперничество женщин достигло кульминационной точки, заключал репортер-всезнайка, и вот она, трагическая развязка, и т. д.

Неудивительно, что я забыл почти все подробности той встречи с Анабел. Вижу только, как она улыбается мне, и слышу, как говорит: адвокаты докажут, что Маруча — жертва, и ей дадут меньше года; и еще от того дня у меня осталось ощущение полной нелепости, какого невозможно выразить словами, в тот момент Анабел представилась мне как бы ангелом, парящим над реальной действительностью, твердо верящим, что Маруча права (она и была права, но по сути, а не по форме) и что ни с кем ничего страшного не случится. Она рассказывала мне все это будто какой-нибудь душещипательный радиоспектакль, так, словно совершенно ни при чем тут была она, а главное — я, и ни при чем были письма, главное — письма, которые с полным основанием повязывали меня с Уильямом и с ней. Она говорила со мной оттуда, из радиоспектакля, и неизмеримо огромное расстояние пролегало между нею и мной, между ее миром и моим ужасом, который хватался за сигареты и снова за виски, ну конечно, конечно, Маруча — баба что надо, конечно, она не запоет.

Но одно я знал твердо в этот момент: я ничего не могу рассказать этому ангелу. Мерзко было бы говорить ей, что Уильям на этом не остановится и наверняка напишет, мстить так мстить, и обвинит Анабел, а заодно и меня впускает, мол, знал и покрывал. Она бы только взглянула на меня как потерянная, а может, сумку бы стала показывать в доказательство его честности, он мне ее подарил, как ты можешь о нем так думать, о нем, и все такое прочее.

Не знаю, о чем мы с ней разговаривали после этого, я вернулся домой подумать, а на следующий день договорился со своим коллегой, что он месяца два побудет вместо меня в конторе; хотя Анабел и не знала моего адреса, я, терзаясь сомнениями, переехал на квартиру, которую Сусана снимала в Бельграно, и носу не высывал из этого богоспасаемого квартала, чтобы ненароком не встретить в центре Анабел. Ардой, которому я полностью дове-

рял, с превеликим удовольствием взялся последить за нею и прямо-таки купался в атмосфере этого, как он говорил, дна. Такие предосторожности были вовсе не нужны, однако же они сделали свое дело, я стал спать лучше, прочитал гору книг и даже открыл новые и неожиданно привлекательные черты в Сусане, а бедняжка была убеждена, что я решил просто отдохнуть, и вывозила меня погулять на машине. Полтора месяца спустя прибыло судно Уильяма, и я узнал от Ардоя, что в тот же вечер они с Анабел встретились и до трех часов утра танцевали милонгу в «Палермо». Было бы логично испытать облегчение, но я облегчения не испытывал, а вместо того почувствовал, что Диксон Карр с Эллери Квином — дерьмо собачье, а ум и образованность хуже всякого дерьма в сравнении с этой милонгой, в которой один ангел встретился с другим ангелом (per modo di dire<sup>1</sup>, разумеется), чтобы походя, в перерыве между двумя танго, от души плюнуть мне в лицо, и они плевали, даже не видя меня, ничего не зная обо мне, и главное, что при этом им не было до меня никакого дела — так, не глядя, плюют на мостовую. У них, в их мире ангелов, свои законы, у них Маруча и в определенном смысле — Долли, а я по другую сторону, я, со своими спазмами и успокоительными таблетками, с Сусаной и Ардоем, который все рассказывал и рассказывал мне про милонгу, так и не поняв, что я вынул носовой платок — не переставая слушать его и благодарить за дружескую услугу, — что я вынул платок не просто вытереть лицо, а утереться от плевка.

28 февраля

Остались совсем мелкие детали: когда я вернулся в контору, у меня уже было продумано, как убедительно объяснить Анабел мое отсутствие; я знал, она не любопытна и наверняка примет все, что я ни скажу, теперь она, должно быть, уже написала очередное письмо и захочет перевести его, если, конечно, не нашла за это время другого переводчика. Но Анабел так и не пришла ко мне в контору, может, виной тому было обещание, которое она дала Уильяму, поклявшись для верности пресвятой девой Луханской, а может, и вправду обиделась, что я пропал, или была по горло занята в «Чемпе». Вначале, думаю, я все-таки ждал ее, хотя и не уверен, что ее приход доставил бы мне радость, однако в глубине души я чувствовал себя

---

<sup>1</sup> Здесь: если так можно сказать (итал.).

оскорбленным, до чего легко она вычеркнула меня: кто еще переведет ей письма, как я, кто разберется в Уильяме или в ней лучше, чем я. Два или три раза я застывал над патентом или свидетельством о рождении, рука замирала в воздухе, и я ждал: вот откроется дверь и войдет Анабел в новых туфлях, но в дверь вежливо стучали, и оказывалось, что принесли счет из консульства или завещание. Я по-прежнему старался избегать мест, где бы мы могли встретиться вечером или ночью. Ардой тоже больше не видел ее, и вот тогда судьба сама распорядилась, и я надумал ненадолго съездить в Европу, да там и остался, и прижился, и дожил до седых волос, и до диабета, который приковал меня к этой конторе, и до этих вот воспоминаний. Сказать правду, мне хотелось бы записать свои воспоминания, написать рассказ про Анабел и про те времена, и, глядишь, почувствовал бы себя лучше, все пришло бы в порядок, но я уже не верю, что сделаю это когда-нибудь; есть тетрадь, вся из лоскутных обрывков, и есть желание собрать их и дополнить, заполнить пустоты и рассказать про Анабел еще много другого, а могу только одно — твердить себе, как хочется написать рассказ про Анабел, а в результате — еще одна страница в дневнике, еще один день прошел, а рассказ так и не начат. Вот в чем беда: я не перестаю убеждать себя, что не смогу написать этот рассказ, потому что я просто не способен написать про Анабел, и ни к чему склеивать разрозненные обрывки; как ни взгляни, они все не про Анабел, а про меня, такое ощущение, будто не я, а Анабел захотела написать рассказ и вспоминает про меня, про то, как я не привел ее к себе в дом, про то, как ужас на два месяца выгнал меня из ее жизни, про все то, что теперь возвращается, хотя наверняка ей, Анабел, это было почти безразлично, и только я еще помню о чем-то, что так малó, но все-таки возвращается и возвращается оттуда, из того, что, возможно, должно было быть совсем иным, как и я и как почти всё — и там, и тут. И вот я думаю: бесконечно прав Деррида, когда говорит, когда говорит мне: «Почти ничего не остается (у меня): ни самой вещи, ни ее существования, ни моего, ни чистого объекта, ни чистого субъекта, никакого интереса к чему бы то ни было». И в самом деле: какой интерес отыскивать Анабел в глубине времени, для меня это всегда означает снова углубляться в самого себя, а это так грустно, писать о себе, в то время как хотелось бы и дальше воображать, будто пишу про Анабел.

## КОММЕНТАРИИ

### 62. Модель для сборки

С. 25 *...под владычеством Цинары...*— Цитата из обращенной к богине Венере оды римского поэта Горация (IV,1), упоминающая его давно умершую возлюбленную: «Уж не тот я, каким я был / при Цинаре моей» (пер. Г. Церетели); здесь в смысле — в прежние, лучшие времена.

С. 26 *Графиня* — Эршебет Батори (ок. 1560—1614), племянница польского короля Стефана Батория, жена графа Ференца Надашди, венгерская графиня, прозванная Кровавой: уверившись в том, что это возвращает ей молодость, она принимала ванны из крови девушек, которых заманивали в ее замок Чейте из окрестных сел; число ее жертв достигло 80, по другим источникам — 650; после раскрытия преступления ее сообщников казнили, а графиню приговорили к пожизненному заключению в башне замка, где она через три года умерла, видимо от яда; в гербе Баториев было изображение дракона, что связывается еще с одним мотивом романа — василиском.

*...заказанное толстяком блюдо...*— развиваемая далее игра слов построена на созвучности французского слова «замок» / château / и названия блюда из жареного мяса, изобретенного поваром французского писателя Франсуа Рене де Шатобриана (1768—1848), о котором герой читает: блюдо в разговорной речи именуется «шато» (château).

С. 27 *«Гостиница Венгерского Короля»* — старая гостиница в Вене на Шулерштрассе, рядом с Блютгассе, не раз упоминаемой далее.

С. 30 *«Дом с Василиском»* — старинное здание в Вене на Шёнлатернгассе; согласно легенде, в доме, построенном в 1212 г., обитал василиск, уничтожавший всех посмотревших на него своим взглядом и дыханием и окаменевший, когда увидел себя в одном из зеркал здания; этот слепок украшает теперь фасад дома.

С. 31 *...разбитой куклой...*— Этот гротескный образ, проходящий через весь роман, навеян работами близкого к сюрреалистам французского художника Ганса Беллтера (1902—1975).

С. 33 *Мишель Бютор* (р. 1926) — французский писатель, представитель «нового романа», автор многочисленных эссе о литературе; упоминается его книга-коллаж «6810000 литров в секунду», вышедшая осенью 1965 г.

С. 34 *...бетховенским стуком...*— Имеются в виду начальные такты, задающие тему I части Пятой симфонии Бетховена и нередко трактуемые как стук Судьбы в дверь.

С. 38 *...географическое название...*— «Сильванер» ассоциируется с Трансильванией, вновь отсылая к «Кровавой графине» (в ее времена эта область была венгерским княжеством) и вместе с тем — к вампирам, согласно многим легендам распространенным в этих краях.

С. 52 *Верцингеториг* — вождь антиримского восстания галлов в 52 г. до н. э., после захвата Цезарем города-крепости Алезия взят в плен и в 46 г. казнен.

С. 55 *Тилли Кеттл* (1735—1786) — английский исторический живописец и портретист.

*Институт Куртолда* — Институт искусства в Лондоне, включающий собрание картин и художественных архивов, начало которому положил фабрикант и коллекционер Сэмюэл Куртолд (1876—1947).

*С. 57 «Те рериоа»* (1897) — картина Поля Гогена «Сон, или Грезы», принадлежащая Институту Куртолда.

*«Бар в Фоли-Бержер»* (1881—1882) — полотно Эдуарда Мане, находится в Институте Куртолда.

*С. 59 Уильям Тернер* (1775—1851) — английский пейзажист, мастер колорита.

*Уолтер Ричард Сиккерт* (1860—1942) — английский живописец, развивавший достижения французского импрессионизма.

*Александр Архипенко* (1887—1964) — американский скульптор-кубист, по происхождению украинец.

*Джейкоб Эпстайн* (1880—1959) — американский и английский скульптор-монументалист.

*С. 62 Премия Гуггенхейма* — награда за достижения в искусстве из фонда Джона Саймона Гуггенхейма, учрежденного в США в 1925 г.

*С. 63 Лори Ли* (р. 1914) — английский поэт, прозаик и эссеист, автор монографии о творчестве Дж. Эпстайна.

*С. 70 ...венскими полотнами Брейгеля...* — В Художественно-историческом музее Вены находятся такие шедевры Питера Брейгеля Старшего, как «Детские игры», «Вавилонская башня», «Битва Масленицы с Великим Постом», «Охотники на снегу», «Избиение младенцев в Вифлееме» и др.

*С. 73 фрай Луис де Леон* (1527—1591) — испанский поэт-мистик; в цитируемой строке из его оды, обращенной к Фелипе Руису, в виду имеется действительно северо-западный ветер со стороны Галисии.

*С. 75 берганизм* — от фамилии шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана (р. 1918), чьи героини часто наделены болезненно-хрупкой психикой и испытывают тягостные душевные переживания.

*С. 81 Андреа Палладио* (1508—1580) — итальянский архитектор; речь идет о созданной им для семьи Фоскари вилле, получившей название «Недовольная», поскольку в ней была заключена взбунтовавшаяся дочь семейства.

*С. 82 Джулио Романо* (1482—1546) — итальянский архитектор и живописец; имеется в виду построенный им в Мантуе для герцога Гонзага «Чайный дворец»: фрески одного из его залов изображают гигантомахию — битву гигантов с богами Олимпа.

*Леон Баттиста Альберти* (1404—1472) — итальянский архитектор и теоретик искусства, среди построек которого — церковь Сант-Андреа в Мантуе.

*С. 83 Леопольд фон Захер-Мазох* (1836—1895) — австрийский писатель, развиваемые им в ряде романов мотивы болезненной страсти к мукам и унижению в любви сделали его имя нарицательным.

*Существование предшествует сущности...* — Одна из ключевых идей философии экзистенциализма, в таком виде сформулированная Ж.-П. Сартром («Экзистенциализм — это гуманизм», 1952); впрочем, в раннем немецком экзистенциализме близкую формулировку дал Мартин Хайдеггер: «Сущность» бытия — в его существовании» («Бытие и время», 1927).

*С. 84 Лента (лист) Мёбиуса* — замкнутая односторонняя поверхность ленты, склеенной из прямоугольника, создана немецким математиком Августом Фердинандом Мёбиусом (1790—1868); так называется один из рассказов книги «Мы так любим Гленду».

*Ганс (Жан) Арп (1887—1966)* — французский художник, скульптор и писатель-авангардист.

*Константин Бранкузи (Бранкузи, 1876—1957)* — французский скульптор румынского происхождения, близкий к абстракционизму.

*Хайду* — округ в Венгрии.

*...кронзенный стрелой лучник...* — воин римской армии императора Диоклетиана Себастьян, за отказ отречься от веры в Христа привязанный к дереву и пронзенный стрелами лучников в 288 г., христианский мученик, причисленный к лику святых.

*Коммод (161—192)* — римский император с 180 г., был известен красотой, мужеством в гладиаторских боях и разгульным поведением, часто изображался скульпторами в образе Геракла и повелел именовать себя так.

*«Дама из Эльче»* — иберийское скульптурное изображение, обнаруженное в испанском городе Эльче, ныне — в музее Прадо.

*...жестокость инфанты посреди просителей и карликов...* — очевидно, имеется в виду известная картина Диего Веласкеса (1599—1660) «Менины».

*«Невеста, раздетая холостяками» (1914—1923)* — на шумевшая живописная композиция французского художника и скульптора-авангардиста Марселя Дюшана (1887—1968).

*С. 85 Блютгассе со своим недвусмысленным названием...* — на немецком языке, принятом в Австрии, это значит «кровавая улица», что вновь отсылает к лейтмотиву романа, введенному первой фразой.

*С. 91 Джозеф Шеридан Ле Фанно (1814—1873)* — ирландский писатель, автор романов и новелл, синтезирующих фольклорную фантастику с традициями готической и детективной литературы.

*С. 92 Элизабет Арден (р. 1891)* — глава американской косметической фирмы, известной в Европе.

*С. 94 Nevermore* — при зловещем колорите романа здесь не исключен намек на безысходный рефрен знаменитого стихотворения Эдгара По «Ворон».

*Зигмунд из Вены* — австрийский психиатр и психолог Зигмунд Фрейд (1856—1939).

*Парсифаль, Кундри* — здесь персонажи музыкальной драмы Рихарда Вагнера «Парсифаль» (1882), перерабатывающей мотивы германской мифологии и европейского рыцарского эпоса, рыцарь, отправившийся на поиски священной чаши Грааль, и волшебница, соблазняющая его на этом пути, проклятая за отречение от Христа на вековечное блуждание по свету (мотив Агасфера), но впоследствии раскаявшаяся и принявшая от него крещение, Парсифаль же становится хранителем чаши; цитируется лейтмотив Парсифаля-простеца из I акта драмы.

*С. 96 «Барон Корво»* — псевдоним английского писателя Фредерика Уильяма Ролфа (1860—1913), биографически связанного с Италией и нередко обращавшегося к итальянским сюжетам; предложением для его упоминания здесь может быть его посмертно изданный автобиографический роман «Жажда и поиски целого» (1935), действие которого происходит в Венеции.

*С. 97 Мерлин* — поэт и чародей, герой кельтского (валлийского) фольклора, повествований английского писателя XII в. Гальфрида Монмутского, легенд о короле Артуре и их позднейших обработок.

*Леприкауны* — персонажи ирландской мифологии, плутоватые эльфы, хранители подземных сокровищ.

*Уильям Бёрд (ок. 1543—1623)* — английский композитор и органист, родоначальник отечественного мадригала.



«Мученичество Святого Себастьяна» — симфонические фрагменты французского композитора Клода Дебюсси на текст поэмы итальянского поэта и прозаика Габриэле Д'Аннунцио, составившие мистерию-ораторию, опубликованную в 1912 г. и поставленную в 1915 г.

С. 98 ...*Себастьян плясал перед императором...* — эпизод из I акта оратории Дебюсси — Д'Аннунцио.

С. 104 ...*лотереи Гелиогабала...* — О розыгрышах жребиев среди гостей за трапезой у римского императора Гелиогабала рассказывает в его жизнеописании Элий Лампридий (XXII); этот эпизод упоминает в новелле «Лотерея в Вавилоне» Хорхе Луис Борхес, на что здесь, быть может, намекается, причем намек усилен упоминанием ниже «топологической теории лабиринтов» — излюбленной темы Борхеса.

*Элиан Спартанский* — Элий Спартиан, один из авторов т. н. «Жизнеописаний цезарей» (Адриана, Каракаллы и др.).

С. 105 *Ифигения* — героиня греческой мифологии и ее позднейших переработок в литературе и искусстве; предназначена в жертву богине Артемиде, но спасена ею и в качестве жрицы ее храма в Тавриде должна убивать чужеземцев, оказавшихся в этих краях.

С. 109 *Эрик де Вальдerráбано* (ок. 1500 — после 1557) — испанский музыкант, теоретик музыкального искусства, мастер и собиратель светской песни.

С. 124 *Джон Рескин* (1819—1890) — английский писатель и эссеист, идеолог возвращения современного искусства к чистоте и простодушию средневекового ремесла.

*Георгий Иванович Гурджиев* (1877—1949) — оккультный философ русского происхождения, известный в Западной Европе и США.

С. 126 *Зомби* — в архаическом, восходящем к западноафриканским ритуалам культе водy на Гаити так называют тела людей, чьи души похитил колдун, полностью распоряжающийся их безвольной оболочкой.

С. 127 *Джон Ле Карре* (р. 1931) — английский писатель, автор детективных романов, по-французски его фамилия-псевдоним значит «прямоугольный», в переносном смысле — «прямолобый».

С. 130 *Багуала* — фольклорный жанр аргентинской музыки, развившийся на основе старинной индейской песни женщин и детей в северо-западных и андских районах страны.

*Генри Пёрселл* (ок. 1659—1695) — английский композитор.

С. 132 *Словарь Эпплтона* — вероятно, англо-испанский и испанско-английский словарь фирмы Дэнисла Эпплтона (1785—1849), выпускающей литературу для Латинской Америки.

С. 136 *Эжен-Жорж Османн* (1809—1891) — французский административный деятель, префект департамента Сены, инициатор широко-масштабных работ по застройке Парижа и в основном — его буржуазных кварталов.

С. 144 *Мартин Лютер Кинг* (1929—1968) — баптистский пастор, глава движения за гражданские права черного населения в США, убит расистами.

С. 145 *Джованни Джакомо Казанова* (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор известных «Мемуаров».

С. 150 ...*такие имена встречаются только у Борхеса...* — Намек на подчеркнутую «литературность» интеллектуальной новеллистики Борхеса, в частности на его пристрастие к навязанным мифологией скандинавским сюжетам и героям.

С. 151 *Вишну* — один из трех главных богов индуистского мифологического пантеона, хранитель мироздания, изображается четырехруким юношей-гигантом.

С. 154 *Жан-Люк Годар* (р. 1930) — французский кинорежиссер «новой волны», одна из характерных фигур во Франции 60-х годов.

С. 157 *Раффлс* — уголовный герой романа «Взломщик-любитель» английского писателя Эрнеста Уильяма Хорнунга (1866—1921), не раз экранизовавшегося.

*Ник Картер* — авторский псевдоним и герой серии «дешевых» детективно-приключенческих романов американских писателей Джона Корриела (1848—1924), а позднее — Фредерика Ван Ренсселера Дея (1865—1922).

С. 166 *Бен Вебстер* (1909—1973) — американский сакс-тенор и пианист, упоминаются исполнявшиеся им джазовые мелодии 30—40-х гг.

*Петр Александрович Кропоткин* (1842—1921) — русский князь, ученый-географ, революционер, теоретик анархизма.

*Потемкин* — как ясно из дальнейшего, фильм С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» (1925); ложная слуховая ассоциация с Кропоткиным отсылает к фавориту и сподвижнику Екатерины II князю Григорию Александровичу Потемкину.

С. 169 *Катары* (греч. «чистые») — приверженцы христианской ереси, распространившейся в XI—XIII вв. в Италии, Франции и др., сторонники крайнего аскетизма и абсолютного отречения от греховного и неподлинного мира.

С. 178 *Лесбия* — оставшееся в истории условное имя возлюбленной римского поэта I в. до н. э. Гая Валерия Катулла.

С. 181 *Вивьен Ли* (1913—1967) — английская актриса театра и кино; «*Мост Ватерлоо*» (1940) — психологическая драма американского кинорежиссера Мервина Ле Роя (р. 1900) с ее участием.

С. 186 *Верю, потому что нелепо.* — Ставшая ходячей искаженная фраза христианского богослова Тертуллиана (ок. 160— после 220): «Это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно» (пер. С. С. Аверинцева).

С. 190 *Джеймс Кук* (1728—1779) — английский мореплаватель.

С. 191 *Гильермо Браун* (1777—1857) — аргентинский адмирал, участник Войны за независимость и последующих гражданских войн, символ морской истории страны.

*Иполито Бучард* (1783—1837) — аргентинский адмирал, сподвижник Сан-Мартина в Войне за независимость, капитан первого аргентинского судна, совершившего кругосветное плавание (1817—1819).

*Пассакалья* — старинный медленный танец, позднее — музыкальная пьеса возвышенного, часто скорбного звучания, образцы которой оставили Г. Пёрселл, И. С. Бах и др.

С. 193 *Жак Ив Кусто* (р. 1910) — французский океанограф.

С. 194 *Генри Мортон Стенли* (1841—1904) — американский журналист, исследователь Африки.

*Дэвид Ливингстон* (1813—1873) — английский путешественник, исследователь Африки.

С. 196 *...превращался из Парсифаля в Галаада...* — персонажи европейских легенд и рыцарского эпоса, рыцари, отправившиеся на поиски священной чаши Грааль, причём Парсифаль, по английским версиям, лишь взглянул на чашу, хотя позднее и стал ее хранителем, Галаад (Галахад) же держал ее в руках и ощущал господню плоть, тем самым превзойдя своего соперника.

*Виланелла* — жанр итальянской бытовой музыки, происходящий от неаполитанской народной песни и распространившийся в Европе в XV—XVI вв.

*...подобен герою Виктора Гюго...* — Жильят, герой романа «Труженики моря» (1866), погибающий, стоя в волнах прилива.

*С. 200 Крестовый поход детей* — имеются в виду массовые выступления сельской бедноты в Германии и Франции, отправившейся в 1212 г. освободить Иерусалим от арабов; как полагают современные историки, среди них были и дети, но приводимые средневековыми хронистами (Винцент из Бовэ, Матвей Парижский, Альбрик де Труафонтен и др.) подробности о десятках тысяч детей, выступивших в поход, погибших от лишений в пути и проданных средиземноморскими пиратами в рабство, считаются не вполне достоверными.

*С. 203 ...под Кавдинским ярмом...* — отсылка к эпизоду т. н. Второй самнитской войны — победе италийского народа самнитов над римлянами в Кавдинском ущелье в 321 г. до н. э., после чего римляне должны были для вящего унижения пройти «под ярмом» — аркой из сложенного ими оружия.

*С. 206 Пьер Боннар (1867—1947)* — французский художник, тонкий колорист.

*С. 217 Актеон* — в греческой мифологии охотник, обращенный богиней Артемидой (Дианой) в оленя за то, что увидел ее обнаженной (по другим версиям, пытался овладеть ею), после чего был разорван собственными псами.

*С. 220 Sambre-et-Meuse (1879)* — популярный французский марш на музыку Робера Планкета (1848—1903).

*С. 221 Андре Мальро (1901—1976)* — французский писатель и теоретик искусства, автор ряда трудов о живописи, скульптуре и художественном музее как культурном явлении; в 1959—1969 гг. министр культуры.

*С. 222 ...русалочка Андерсена...* — символический памятник Гансу Христиану Андерсену, бронзовая статуя героини его одноименной сказки, у входа в копенгагенский порт (1913, скульптор Э. Эриксен).

*С. 223 Милош Форман (р. 1932)* — американский кинорежиссер чешского происхождения.

*С. 224 Иренео Легисамо (р. 1903)* — аргентинский жокей.

*С. 228 Жан-Поль Сартр (1905—1980)* — французский философ и писатель, крупнейшая фигура французского экзистенциализма, основные темы которого: поиски абсолютной свободы, абсурдность бытия.

*С. 229 Сёрен Кьеркегор (1813—1855)* — датский философ и богослов, исследуя иррациональные стороны и ситуации человеческого бытия, пытался противопоставить субъективную диалектику личности диалектике Гегеля, повлиял на позднейший экзистенциализм.

*С. 231 Жюль Мишле (1798—1874)* — французский историк.

## Рассказы

*С. 249 Эваристо Карриего (1883—1912)* — аргентинский поэт, певец буэнос-айресских окраин.

*Альфонсина Сторни (1892—1938)* — крупнейшая аргентинская поэтесса, мастер напряженной психологической лирики.

*Альмафуэрте (Педро Бонифасио Паласьос, 1854—1917)* — аргентинский поэт и прозаик, поздний романтик по драматическим конфликтам и пророческим интонациям своей лирики.

*Карлос де ла Пуа (1898—1950)* — аргентинский поэт, тяготеющий к поэтике танго и буэнос-айресскому жаргону («лунфардо»).

*С. 252 Андре Моруа (1885—1967)* — французский прозаик, эссеист, автор многочисленных романизированных биографий.

*С. 253 Хуан Мануэль Фанхио (р. 1911)* — аргентинский автогонщик, пятикратный чемпион мира.

С. 255 *Байрон... проснулся знаменитым...* — Речь идет о необыкновенном успехе двух первых глав поэмы Д. Г. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда», опубликованных в марте 1812 г.

С. 257 *Рубен Дарио (1867—1916)* — никарагуанский поэт, реформатор испаноязычной лирики.

*Андре Жид (1869—1951)* — французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1947 г.

*Фернандель (1903—1971)* — французский киноактер, мастер комедийного жанра.

С. 258 *Дилан Томас (1914—1953)* — английский (валлийский) поэт, прозаик и драматург, лирик-новатор.

С. 270 *...мондрианово дерево...* — Имеется в виду живописная манера голландского абстракциониста Пита Мондриана (1872—1944), создавшего геометрические композиции из разноцветных линий и плоскостей.

С. 275 *Катрин Денёв (р. 1943)* — французская киноактриса.

С. 280 *Арчи Шепп (р. 1937)* — американский сакс-тенор и джазовый композитор.

*Джордж Ромеро (р. 1939)* — американский кинорежиссер, упоминается его фильм «Ночь живого мертвеца» (1968).

С. 281 *Пол Маккартни (р. 1942)* — английский композитор, автор и исполнитель песен, в 1960—1970 гг. участник ансамбля «Битлз».

С. 282 *Джеймс Болдуин (р. 1924)* — американский негритянский писатель, борец за права негров.

*Пабло Неруда (1904—1973)* — выдающийся чилийский поэт.

С. 283 *Бенедикт (Барух) Спиноза (1632—1677)* — нидерландский мыслитель-рационалист.

*Аллен Гинзберг (р. 1926)* — американский поэт поколения битников.

С. 284 *„The Mothers of invention“* (или просто «Mothers») — американская рок-группа, известная с 1966 г.

*Легендарный меч* — реалия германо-скандинавской мифологии и ее позднейших переработок, меч—символ девственности, разделяющий брачное ложе Брунгильды (Брунгильды) и ее нелюбимого супруга Гуннара (Гунтера), в чьем образе это испытание выдерживает забывший наоборотную ее прежний возлюбленный Сигурд (Зигфрид).

С. 288 *Роберто Альт (1900—1942)* — аргентинский прозаик и драматург, мастер социального гротеска.

*Райнер Мария Рильке (1875—1926)* — австрийский поэт, прозаик и эссеист, одна из крупнейших фигур немецкоязычной культуры XX в.

*Томас Стернз Элиот (1888—1965)* — английский поэт, драматург и эссеист, новатор-традиционалист, оказавший большое влияние на европейскую лирику и литературно-критическую мысль.

*Хорхе Луис Борхес (р. 1899)* — аргентинский поэт, прозаик, эссеист, исследователь мировой культуры.

С. 295 *Фрейд.* — Имеется в виду изученное и описанное им явление идентификации — отождествления себя с тем или иным значимым образцом (человеком, литературным героем и др.).

*Альберто Моравиа (р. 1907)* — итальянский писатель.

С. 304 *Сомерсет Моэм (1874—1965)* — английский писатель, неоднократно обращавшийся к морской и экзотической тематике.

*Джозеф Конрад (1857—1924)* — английский писатель, поздний романтик, чьи герои нередко ведут полную опасностей и чреватую крахом и гибелью жизнь в тропиках.

- С. 305 *Джомо Кениата (1893—1978)* — африканский политический деятель; с 1964 г. — президент Республики Кения.
- С. 307 *Сэмюэл Тейлор Колридж (1772—1834)* — английский поэт и мыслитель-романтик; в его символической «Поэме о старом моряке» странствующий герой убивает птицу добрых предвестий — альбатроса и обречен нести за это мучительную кару.
- С. 308 *Джонни Фридендер (р. 1912)* — немецкий график и книжный иллюстратор, после второй мировой войны работает в Париже.
- С. 316 *Кармен Наранхо (р. 1931)* — коста-риканский прозаик.  
*Самуэль Ровинский (р. 1934)* — коста-риканский писатель.  
*Серхио Рамирес (р. 1942)* — никарагуанский прозаик, общественный и политический деятель, в 1984 г. избран вице-президентом страны.  
*Микеланджело Антониони (р. 1912)* — итальянский кинорежиссер, чей известный фильм «Blow up» («Крупным планом», 1967) снят по мотивам новеллы Кортасара «Слюни дьявола».
- С. 317 *Эрнесто Карденаль (р. 1925)* — никарагуанский поэт, революционер, деятель культуры.  
*Хосе Коронель Уртечо (р. 1926)* — никарагуанский писатель.  
*Роке Дальтон (1935—1975)* — сальвадорский поэт и прозаик, коммунист; убит террористами.  
*Гертруда Стайн (1874—1946)* — американская писательница, влиятельная фигура межвоенного литературного авангарда.  
*Карлос Мартинес Ривас (р. 1924)* — никарагуанский поэт.
- С. 323 «*Мантекилья*» — прозвище кубинского боксера Хосе Наполеса (р. 1940), чемпиона мира (1969, 1971).  
*...анекдот с украденным письмом...* — сюжет детективной новеллы Эдгара По «Похищенное письмо» (1844), построенный на том, что искомое покоится у всех на виду, о чем никому не приходит в голову подумать.  
*Карлос Монсон (р. 1942)* — аргентинский боксер, чемпион страны (1966—1971) и мира (1970).  
*Жан Клод Буттье (р. 1943)* — французский боксер, чемпион Европы (1971).
- С. 324 *Ален Делон (р. 1935)* — французский киноактер и бизнесмен.
- С. 326 *Панчо Вилья (Франсиско Вилья, 1877—1923)* — руководитель освободительной борьбы крестьян в ходе Мексиканской революции 1910—1917 гг.; впрочем, в данном контексте может иметься в виду и выступавший под этим именем известный филиппинский боксер (1901—1925), чемпион мира 1922 г.
- С. 327 *Освальдо Пуглиесе (р. 1905)* — аргентинский композитор, пианист и руководитель оркестра танго.  
*Жорж Карпантье (р. 1894)* — французский боксер.  
*Нино Бенвенути (р. 1938)* — итальянский боксер, чемпион Европы (1965) и мира (1967).
- С. 335 *Карло Дездевальдо Ди Веноза (ок. 1560—1613 или 1614)* — итальянский композитор-мадригалист.
- С. 336 *Вуди Аллен (р. 1935)* — американский писатель, актер и кинорежиссер.
- С. 339 *...отдаление от Альмутасима...* — намек на новеллу Х. Л. Борхеса «Приближение к Альмутасиму», символический и незримый герой которой воплощает искомое и недостижимое тождество с собой и единство с миром.
- С. 340 *Элиас Кастиельнуово (р. 1893)* — аргентинский прозаик социально-критического направления.

- С. 342 *Золтан Кодай (1882—1967)* — венгерский композитор и фольклорист.
- Отторино Респиги (1879—1936)* — итальянский композитор.
- Иегуди Менухин (р. 1916)* — американский скрипач.
- Фридрих Гульда (р. 1930)* — австрийский пианист и композитор.
- Мариан Андерсон (р. 1902)* — американская негритянская певица.
- Лотте Леман (1888—1976)* — немецкая певица.
- С. 344 *Мари Бонапарт (1882—1962)* — французская исследовательница-психоаналитик, ученица и переводчица З. Фрейда.
- С. 345 *Карлхайнц Штокхаузен (р. 1928)* — немецкий композитор-авангардист.
- С. 348 *Братья Оскар Альфредо (р. 1913) и Хуан (р. 1916) Гальвес* — аргентинские автогонщики.
- С. 350 *«Вампир» (1932)* — фильм датского режиссера Карла Теодора Дрейера (1889—1968).
- С. 358 *«Смех смехом, а не стало шестерых».* — Измененная строка сонета из драмы Лопе де Веги «Девушка из серебра»: «Смех смехом, только три уже готовы» (речь о строках сонета, заказанного герою).
- «Иные голоса — иные комнаты» (1948)* — повесть американского писателя Трумена Капоте (1924—1984).
- Жан Кокто (1889—1963)* — французский писатель, деятель театра и кино.
- Луи Армстронг (1900—1971)* — американский джазовый композитор, трубач и певец, «величайший хроноп», по выражению Кортасара, не раз писавшего о любимом музыканте в очерках и рассказах («Преследователь» и др.).
- Дюк (Эдуард) Эллингтон (1899—1974)* — американский джазовый композитор и пианист, руководитель оркестра.
- Игорь Стравинский* скончался в 1971 г., *Пабло Пикассо* — в 1973 г., *Чарли (Чарлз Спенсер) Чаплин* — в 1977 г.
- С. 359 *Брижит Бардо (р. 1934)* — французская киноактриса.
- С. 360 *Ив Сен-Лоран (р. 1936)* — французский модельер, художник по костюмам в театре и кино.
- С. 364 *Милонга* — песенно-танцевальный жанр аргентинского городского фольклора, известна книга стихов Х. Л. Борхеса в этой манере («Для шести струн», 1965).
- Максвелл (Макс) Роач (р. 1925)* — американский джазовый музыкант-ударник.
- Доктор Мабузе* — герой одноименного экспрессионистского фильма ужасов (1922) немецкого режиссера Фрица Ланга (1890—1976).
- С. 365 *Рауль Соьды (р. 1905)* — аргентинский художник, иллюстратор, театральный оформитель, тяготеющий к декоративизму.
- Джэксон Поллок (1912—1956)* — американский живописец-абстракционист, работавший яркими цветовыми пятнами.
- С. 367 *Сесар Вальехо (1892—1938)* — перуанский поэт и прозаик, бунтарь и новатор.
- С. 369 *Дефенестрация* — акт возмездия габсбургским наместникам-католикам Я. Мортиницу и В. Славате, выброшенным из окон Пражского града 23 мая 1618 г. оскорбленными в своих религиозных чувствах протестантами, что послужило началом Тридцатилетней войны.
- С. 373 *Шарль Эдуар Ле Корбюзье (1887—1965)* — французский архитектор и теоретик искусства, упоминается построенный по его проекту в 1948—1952 гг. жилой ансамбль в Марселе; «Лучезарный город» — его книга (1935).

С. 376 «Мы так любим Гленду». — Стимулом к созданию рассказа послужили роли английской актрисы театра и кино Гленды Джексон (р. 1936).  
Анук Эме (р. 1932), Мэрилин Монро (1926—1962), Анни Жирардо (р. 1931), Сильвана Пампанини (р. 1925), Марчелло Мастрояни (р. 1923), Из Монтан (р. 1921), Витторио Гассман (р. 1922), Дэрк Богард (р. 1921) — известные актеры кино.

С. 392 «Трильсе» (1922) — сборник стихотворений Сесара Вальехо, один из самых смелых и удачных поэтических экспериментов XX в.

С. 401 Джекиль и Хайд — персонажи-двойники, герои новеллы Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» (1886), многократно экранизированной (1920, 1932, 1937, 1941, 1959 и др.).

Мухаммед Али (Кассиус Клей, р. 1942) — американский боксер.

С. 410 Клаудио Монтеверди (1567—1643) — итальянский композитор.

С. 414 Бенджамин Бриттен (1913—1976) — английский композитор.  
Антон Веберн (1883—1945) — австрийский композитор-экспрессионист.

Жоскен Депре (ок. 1440—1521 или 1524) — франко-фламандский композитор, мастер церковной музыки и светской песни.

С. 417 Клеман Жанкен (ок. 1475—ок. 1560) — французский композитор, автор многих песен.

С. 421 Миллисент Сильвер (р. 1905) — английская клавесинистка.

С. 430 Шарль Бодлер (1821—1867) — французский поэт, обновитель эстетического строя европейской лирики; цитируется его богоборческое стихотворение «Авель и Каин».

С. 439 «Граф Луканор» (1328—1335) — книга притч испанского писателя и политического деятеля Хуана Мануэля (1282—1348).

Франкентейн — ученый, создавший искусственного человека, заглавный герой романа (1848) английской романтической писательницы Мэри Шелли (1797—1851), многократно экранизированного (1931, 1943, 1958 и др.).

С. 442 Адольфо Ван-Гельдерен (1833—1918) — аргентинский педагог.

С. 445 Ломуто — семья аргентинских музыкантов и композиторов танго, может иметься в виду Франсиско Ломуто (1893—1950) или его брат Энрике (р. 1906).

С. 457 Адольфо Бийо Касарес (р. 1914) — аргентинский писатель, друг и соавтор Х. Л. Борхеса, близкий ему по интеллектуальной иронико-фантастической поэтике.

С. 459 Эннабел Ли — героиня одноименного стихотворения Эдгара По (1849), запредельная и недостижимая возлюбленная.

Жак Деррида (р. 1930) — французский философ культуры, исследователь структур языка, литературы и искусства.

С. 462 Хуан Карлос Онетти (р. 1909) — уругвайский прозаик.

С. 465 Маркиза де Севинье (1626—1696) — французская писательница, автор известных «Писем» к дочери, ставших образцом жанра.

Хуан Доминго Перон (1895—1974) — аргентинский политический деятель, президент страны в 1946—1955 и 1973—1974 гг., установивший в 1949 г. режим диктатуры, который тяжело сказался на судьбах национальной интеллигенции и на жизненном пути самого Кортасара.

Эвита — супруга Перона, «мать-родина», предмет официального культа в годы диктатуры.

Вальтер Гизекинг (1895—1956) — немецкий пианист и композитор.

Джон Китс (1795—1821) — английский поэт-романтик, тонкий

лирик, в 40-х гг. Кортасар писал о нем книгу (частью опубликована в 1946 г.).

С. 466 *Марсель Пруст (1871—1922)* — французский писатель, автор новаторского романа-воспоминания «В поисках утраченного времени», оказавшего решающее воздействие на романную поэтику XX в.

С. 468 *Вильгельм Бакхауз (1884—1969)* — немецкий пианист.

С. 469 *Бенито Кинкела Мартин (1890—1977)* — аргентинский художник.

С. 473 *Альберто Кастильо (р. 1914)* — аргентинский певец и киноактер, исполнитель танго.

С. 480 *Канаро* — пятеро братьев, аргентинских композиторов и исполнителей танго, наиболее известен из которых Франсиско Канаро (1888—1964).

*Хуан Д'Ариенцо (1900—1976)* — аргентинский композитор, автор музыки в стиле танго.

*Джон Диксон Карр (р. 1905)* — американский писатель, автор детективных романов.

*Эллери Квин* — псевдоним и герой детективных романов американских писателей Фредерика Даннэ (р. 1905) и его двоюродного брата Манфреда Б. Ли (р. 1905).

*Олдос Хаксли (1894—1963)* — английский писатель, автор романа «Контрапункт» (1928).



# Содержание

<i>И. Тертерян. Хулио Кортасар: игра взаправду . . . . .</i>	3
<b>62. МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ. Перевод Е. Лысенко . . . . .</b>	<b>23</b>

## РАССКАЗЫ

### ИЗ КНИГИ «ВОСЬМИГРАННИК»

* Шаги по следам. Перевод М. Былинкиной . . . . .	249
* Из блокнота, найденного в кармане. Перевод М. Былинкиной . . . . .	267
Киндберг. Перевод Э. Брагинской . . . . .	279

### ИЗ КНИГИ «ТОТ, КТО ЗДЕСЬ БРОДИТ»

* В ином свете. Перевод В. Капанадзе . . . . .	291
Жаркие ветры. Перевод Э. Брагинской . . . . .	301
Во второй раз. Перевод В. Спасской . . . . .	309
* Апокалипсис Солентинаме. Перевод П. Грушко . . . . .	316
Закатный час «Мантекиль». Перевод Э. Брагинской . . . . .	323

### ИЗ КНИГИ «НЕКТО ЛУКАС». Перевод П. Грушко

* Лукас — его битвы с гидрой . . . . .	335
Лукас — его покупки . . . . .	337
Лукас — его патриотизм . . . . .	339
Лукас — его связи с миром . . . . .	340
Лукас — его интраполяции . . . . .	341
Лукас — его расконцертирование . . . . .	342
Лукас — его новое искусство читать лекции . . . . .	343
* Лукас — его больницы (I) . . . . .	346
* Молчаливый спутник . . . . .	348
Семейные узы . . . . .	351
Об искусстве хождения рядом . . . . .	351
Маленький рай . . . . .	353
Железнодорожные наблюдения . . . . .	355
Плаванье в бассейне с гофием . . . . .	356
* Смех смехом, а не стало шестерых . . . . .	358
Закатолов . . . . .	358
* Лукас — его наблюдения над обществом потребления . . . . .	360
Лукас — его друзья . . . . .	360
* Лукас — его подарки ко дню рождения . . . . .	364
* Лукас — его дискуссии с единомышленниками . . . . .	366
* Лукас — его больницы (II) . . . . .	369
* Лукас — его долгие путешествия . . . . .	374

### ИЗ КНИГИ «МЫ ТАК ЛЮБИМ ГЛЕНДУ»

Мы так любим Гленду. Перевод М. Абезгауз . . . . .	376
* Записи в блокноте. Перевод А. Борисовой . . . . .	382
* Граффити. Перевод П. Грушко . . . . .	396
Истории, которые я рассказываю себе. Перевод П. Грушко . . . . .	400
Клон. Перевод М. Абезгауз . . . . .	409

### ИЗ КНИГИ «ВНЕ ВРЕМЕНИ»

Сатарса. Перевод С. Имберта . . . . .	425
Ночная школа. Перевод Л. Синянской . . . . .	438
Дневниковые записи для рассказа. Перевод Л. Синянской . . . . .	457
Б. Дубин. Комментарии . . . . .	485